

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya.ludmila.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://ulitskaya.ludmila.ru/> приятного чтения!

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая

Сонечка

Повесть

От первого детства, едва выйдя из младенчества, Сонечка погрузилась в чтение. Старший брат Ефрем, домашний остро слов, постоянно повторял одну и ту же шутку, старомодную уже при своем рождении:

– От бесконечного чтения у Сонечки зад принял форму стула, а нос – форму груши.

К сожалению, в шутке не было большого преувеличения: нос ее был действительно грушевидно-расплывчатым, а сама Сонечка, долговязая, широкоплечая, с сухими ногами и отсиделым тощим задом, имела лишь одну статью – большую бабью грудь, рано отросшую да как-то не к месту приставленную к худому телу. Сонечка сводила плечи, сутулилась, носила широкие балахоны, стесняясь своего никчемного богатства спереди и унылой плоскости сзади.

Сострадательная старшая сестра, давно замужняя, великодушно говорила что-то о красоте ее глаз. Но глаза были самые обыкновенные, небольшие, карие. Правда, редко обильные ресницы росли в три ряда, оттягивая припухший край века, но и в этом особенной красоты не было, скорее даже помеха, поскольку близорукая Сонечка с раннего возраста носила очки.

Целых двадцать лет, с семи до двадцати семи, Сонечка читала без перерыва. Она впадала в чтение как в обморок, оканчивавшийся с последней страницей книги.

Был у нее незаурядный читательский талант, а может, и своего рода гениальность. Отзывчивость ее к печатному слову была столь велика, что вымышленные герои стояли в одном ряду с живыми, близкими людьми, и светлые страдания Наташи Ростовской у постели умирающего князя Андрея по своей достоверности были совершенно равны жгучему горю сестры, потерявшей четырехлетнюю дочку по глупому недосмотру: заболтавшись с соседкой, она не заметила, как соскользнула в колодец толстая, неповоротливая девочка с медленными глазами.

Что это было – полное непонимание игры, заложенной в любом искусстве, умопомрачительная доверчивость невыросшего ребенка, отсутствие воображения, приводящее к разрушению границы между вымышленным и реальным, или, напротив, столь самозабвенный уход в область фантастического, что все, остающееся вне его пределов, теряло смысл и содержание?

Сонечкино чтение, ставшее легкой формой помешательства, не оставляло ее и во сне: свои сны она тоже как бы читала. Ей снились увлекательные исторические романы, и по характеру действия она угадывала шрифт книги, чувствовала странным образом абзацы и отточия. Это внутреннее смещение, связанное с ее болезненной страстью, во сне даже усугублялось, и она выступала там полноправной героиней или героем, существуя на тонкой грани между ощутимой авторской волей, заведомо ей известной, и своим собственным стремлением к движению, действию, поступку...

Выдыхался нэп. Отец, потомок местечкового кузнеца из Белоруссии, самородный механик, не лишенный и практической сметки, свернул свою часовую мастерскую и, преодолевая врожденное отвращение к поточному изготовлению чего бы то ни было, поступил на часовой завод, отводя упрямую душу в вечерних починках уникальных механизмов, созданных мыслящими руками его разноплеменных предшественников.

Мать, до самой смерти носившая глупый паричок под чистой гороховой косынкой, тайно строчила на зингеровской машинке, обшивая соседок незамысловатой ситцевой одеждой, созвучной громкому и нищему времени, все страхи которого сводились для нее к грозному имени фининспектора.

А Сонечка, кое-как выучив уроки, каждодневно и ежеминутно увиливала от необходимости жить в патетических и крикливых тридцатых годах и пасла свою душу на просторах великой русской литературы, то опускаясь в тревожные бездны подозрительного Достоевского, то выныривая в тенистые аллеи Тургенева и провинциальные усадьбы, согретые беспринципной и щедрой любовью почему-то второсортного Лескова.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Она окончила библиотечный техникум, стала работать в подвальном хранилище старой библиотеки и была одним из редких счастливых, с легкой болью прерванного наслаждения покидающих в конце рабочего дня свой пыльный и душный подвал, не успев насытиться за день ни чередой каталожных карточек, ни белесыми листками требований, которые приходили к ней сверху, из читального зала, ни живой тяжестью томов, опускавшихся в ее худые руки.

Многие годы она рассматривала само писательство как священнодействие: второразрядного писателя Павлова, и Павсания, и Паламу считала в каком-то смысле равносильными авторами – на том основании, что они занимали в энциклопедическом словаре место на одной странице. С годами она научилась самостоятельно отличать в огромном книжном океане крупные волны от мелких, а мелкие – от прибрежной пены, заполнявшей почти сплошь аскетические шкафы раздела современной литературы.

Прослужив отрешенно-монашески несколько лет в книгохранилище, Сонечка сдалась на уговоры своей начальницы, такой же одержимой чтитицы, как и сама Сонечка, и решила поступать в университет на отделение русской филологии. И стала готовиться по большой и нелепой программе и совсем уж было собралась сдавать экзамены, как вдруг все рухнуло, все в один момент изменилось: началась война.

Возможно, это было первое событие за всю ее молодую жизнь, которое вытолкнуло ее из туманного состояния непрерывного чтения, в котором она пребывала. Вместе с отцом, работавшим в те годы в инструментальной мастерской, она была эвакуирована в Свердловск, где очень скоро оказалась в единственном надежном местообитании – в библиотеке, в подвале...

Неясно, была ли это традиция, угнездившаяся с давних пор в нашем отечестве – помещать драгоценные плоды духа, как и плоды земли, непременно в холодное подполье, – или предохранительная прививка для будущего десятилетия Сонечкиной жизни, которое ей предстояло провести именно с человеком из подполья, будущим ее мужем, который появился в этот беспросветно тяжкий первый год эвакуации.

Роберт Викторович пришел в библиотеку в тот день, когда Сонечка заменяла заболевшую заведующую на выдаче книг. Он был ростом мал, остро-худ и серо-сед и не привлек бы внимания Сони, если бы не спросил ее, где находится каталог книг на французском языке. Книжки-то французские были, но вот каталог на них давно затерялся за ненадобностью. Посетителей в этот вечерний час, перед закрытием, не было, и Сонечка повела необычного читателя в свой подвал, в дальний западноевропейский угол.

Долго и ошеломленно стоял он перед шкафом, склонив голову набок, с голодным и изумленным лицом ребенка, увидевшего блюдо пирожных. Сонечка стояла за его спиной, возвышаясь над ним на полголовы, и сама замирала от передававшегося ей волнения.

Он обернулся к ней, поцеловал неожиданно ее худую руку и голосом низким и богатым мерцаниями, как свет синей лампы из простуженного детства, сказал:

– Чудо какое... Какая роскошь... Монтень... Паскаль... – И, все еще не отпуская ее руки, со вздохом добавил: – И даже в эльзевировских изданиях...

– Здесь девять Эльзевиров, – с гордостью кивнула растроганная Сонечка, отлично усвоившая книговедение, и он посмотрел на нее странным взглядом снизу вверх, но как бы сверху вниз, улыбнулся тонкими губами, показал щербатый рот, помедлил, как будто собираясь сказать что-то важное, но, передумав, сказал другое:

– Выпишите мне, пожалуйста, читательскую карточку, или как это у вас называется?

Соня вытянула свою руку, забытую в его сухих ладонях, и они поднялись вверх по хищно-холодной лестнице, отбиравшей и малое тепло от всяких ног, ее касающихся... Здесь, в тесном зальчике старого купеческого особняка, она впервые написала своей рукой его фамилию, совершенно ей дотоле неизвестную и которая ровно через две недели станет ее собственной. А пока она писала неловкие буквы чернильным карандашом, мелко крутящимся в штопаных шерстяных перчатках, он смотрел на ее чистый лоб и внутренне улыбался ее чудному сходству с молодым верблюдом, терпеливым и нежным животным, и думал: «И даже колорит: смуглое,

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru печально-умбристое и розоватое, теплое...»

Она кончила писать, подняла указательным пальцем съехавшие очки. Смотрела доброжелательно, незаинтересованно и выжидательно: он не продиктовал своего адреса.

Он же был в глубоком замешательстве от напавшего на него внезапно, как ливень с высоты безмятежно-ясного неба, сильнеешего чувства совершения судьбы: он понял, что перед ним – его жена.

Накануне ему исполнилось сорок семь лет. Он был человеком-легендой, но легенда эта благодаря внезапному и, как считали друзья, немотивированному возвращению на родину из Франции в начале тридцатых годов оказалась отрезанной от него и доживала свою устную жизнь в вымирающих галереях оккупированного Парижа вместе с его странными картинами, пережившими хулу, забвение, а впоследствии воскрешение и посмертную славу. Но ничего этого он не знал. В черном прожженном ватнике, с серым полотенцем вокруг кадыкастой шеи, счастливейший из неудачников, отсидевший ничтожный пятилетний срок и работающий теперь условно художником в заводоуправлении, он стоял перед нескладной девушкой и улыбался, понимая, что в нем совершается сейчас очередная измена, которыми столь богата была его поворотливая жизнь: он изменял и вере предков, и надежде родителей, и любви учителя, изменял науке и порывал дружеские связи, жестко и резко, как только начинал чувствовать оковы своей свободе... На этот раз он изменял твердому обету безбрачия, принятому в годы раннего и обманчивого успеха, отнюдь не связанному, впрочем, с обетом целомудрия.

Был он женолюбом и потребителем, многую пищу получал от этого неиссякающего источника, но бдительно оберегался от зависимости, боялся сам превратиться в пищу той женской стихии, которая столь парадоксально щедра к берущим от нее и истребительно-жестока к дающим.

А безмятежная душа Сонечки, закутанная в кокон из тысяч прочитанных томов, забаяканная дымчатым рокотом греческих мифов, гипнотически-резкими звуками флейты Средневековья, туманной ветреной тоской Ибсена, подробнейшей тягомотиной Бальзака, астральной музыкой Данте, сиреническим пением острых голосов Рильке и Новалиса, обольщенная нравоучительным, направленным в сердце самого неба отчаяньем великих русских, – безмятежная душа Сонечки не узнавала своей великой минуты, и мысли ее были заняты только тем, не совершает ли она рискованного шага, отдавая на руки читателю книги, которые имеет право отпускать лишь в читальный зал...

– Адрес, – кротко попросила Сонечка.

– Я, видите ли, прикомандирован. Я живу в заводоуправлении, – объяснил странный читатель.

– Ну паспорт дайте, прописку, – попросила Сонечка.

Он порывлся в каком-то глубоком кармане и вынул мятую справку. Она долго смотрела сквозь очки, потом покачала головой.

– Нет, не могу. Вы же областной...

Кибела показала ему красный язык. Все пропало, показалось ему. Он сунул справку в глубину кармана.

– Мы сделаем так: я возьму на свой формуляр, а вы перед отъездом принесете мне книги, – извиняющимся голосом сказала Сонечка.

И он понял, что все в порядке.

– Я только прошу вас, очень аккуратно, – ласково попросила она и завернула в лохматящуюся газету три малоформатных томика.

Он сухо поблагодарил ее и вышел.

Пока Роберт Викторович с отвращением размышлял о технологии знакомства и тяготах ухаживания, Сонечка неспешно закончила свой долгий рабочий день и собиралась

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru домой. Она уже нимало не беспокоилась о возврате трех ценных книг, которые беспечно выдала незнакомцу. Все мысли ее были о дороге домой через холодный и темный город.

* * *

Те особые, женские глаза, которые, подобно мистическому третьему глазу, открываются у девочек чрезвычайно рано, не то что были у Сони вовсе закрыты – скорее они были зажмурены.

В ранней юности, по четырнадцатому году, словно повинувшись древней программе рода, тысячелетиями выдававшего замуж девиц в этом нежном возрасте, она влюбилась в своего одноклассника, миловидного курносенького Витьку Старостина. Влюбленность эта выражалась исключительно в нестерпимом желании на него смотреть, и ее ищущий взгляд вскоре был отмечен не только обладателем кукольной мордочки, но и всеми остальными одноклассниками, обнаружившими этот интересный аттракцион раньше, чем Соня отдала себе в этом отчет.

Она старалась с собой справиться и все пыталась найти иной объект для глаза – прямоугольник доски ли, тетради, пыльного окна, – но взгляд с упорством компасной стрелки сам собой возвращался к русому затылку, все искал встречи с этим голубым, холодным, притягательным... Уже и сострадательная подруга Зоя шепнула ей, чтобы она так не тарасилась. Но Сонечка с этим ничего не могла поделать. Глаз жадно требовал русоголовой пищи.

Кончилось все это самым ужасным и незабываемым образом. Брутальный Онегин, изнемогший под тяжестью влюбленного взора, назначил своей молчаливой поклоннице свидание в боковой аллее скверика и не больно, но убийственно оскорбительно шлепнул ее два раза под одобрительный гогот четырех засевших в кустах одноклассников, которых можно было бы порицать за душевную грубость, если бы все эти юные соглядатаи поголовно не погибли в первую же зиму грядущей войны.

Воспитательный урок тринадцатилетнего рыцаря был между тем настолько убедительным, что девочка заболела. Пролежала две недели в сильном жару. Очевидно, огонь влюбленности покидал ее таким классическим способом. Когда же, поправившись, она пришла в школу в ожидании нового унижения, трагикомическое ее приключение было совершенно заслонено самоубийством школьной красавицы Нины Борисовой, повесившейся в классе после окончания вечерней смены.

Что же касается жестокосердного героя Витьки Старостина, он, к Сониному счастью, тем временем переехал с родителями в другой город, и Сонечка осталась при горьком сознании полной и окончательной исчерпанности женской биографии, что на всю жизнь освободило ее от старания нравиться, увлекать и очаровывать. Она не испытывала к своим удачливым сверстницам ни разрушительной зависти, ни изнуряющего душу раздражения и вернулась к своей рьяной и опьяняющей страсти – к чтению.

...Роберт Викторович пришел через два дня, когда Сонечка уже не работала на выдаче. Он вызвал ее. Она поднялась из подвала, в три приема вырастая из темной дыры, близоруко и долго узнавала его, потом закивала как хорошему знакомому.

– Сядьте, пожалуйста, – придвинул он стул.

В маленьком читальном зале сидели несколько тепло одетых посетителей. Было холодно – едва топили.

Сонечка присела на край стула. Расползающийся матерчатый треух лежал на краю стола рядом со свертком, который мужчина неторопливо и очень тщательно распаковывал.

– Давеча я забыл у вас спросить, – своим светящимся голосом проговорил он, а Сонечка улыбнулась хорошему слову «давеча», которое давно ушло из общепринятого обихода в просторечье, – забыл я спросить ваше имя. Простите?

– Соня, – коротко ответила она, все поглядывая, как он разворачивает сверток.

– Сонечка... Хорошо, – как бы согласился он.

Наконец обертка отшелушилась, и Соня увидела женский портрет, написанный на

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
рыхлой грубоволокнистой бумаге нежной коричневой краской, сепией. Портрет был чудесный, и женское лицо было благородным, тонким, нездешнего времени. Ее, Сонечкино, лицо. Она вдохнула в себя немного воздуха – и запахло холодным морем.

– Это мой свадебный подарок, – сказал он. – Я, собственно, пришел, чтобы сделать вам предложение. – И он выжидательно посмотрел на нее.

И тут Сонечка впервые разглядела его: прямые брови, нос с тонкой хребтиной, сухой рот с выровненными губами, глубокие вертикальные морщины вдоль щек и блеклые глаза, умные и угрюмые...

Губы ее дрогнули. Она молчала, опустив глаза. Ей очень хотелось еще раз посмотреть в его лицо, такое значительное и притягательное, но призрак Витьки Старостина промелькнул за спиной, и она, уставившись в легкие извилистые линии рисунка, вдруг переставшего обозначать женское, а тем более ее собственное лицо, выговорила еле слышным, но холодным и отстраняющим голосом:

– Это что, шутка?

И тогда он испугался. Он давно уже не строил никаких планов: судьба завела его в такое мрачное место, в преддверие ада, его звериная воля к жизни почти исчерпалась, и сумерки посястороннего существования не казались уже привлекательными, и вот теперь он видел женщину, освещенную изнутри подлинным светом, предчувствовал в ней жену, удерживающую в хрупких руках его изнемогающую, прильнувшую к земле жизнь, и видел одновременно, что она будет сладкой ношей для его не утружденных семей плеч, для трусливого его мужества, избегавшего тягот отцовства, обязанностей семейного человека... Но как он подумал... как не пришло ему в голову раньше... может, она уже принадлежит другому, какому-нибудь молодому лейтенанту или инженеру в штопаном свитере?

Кибела снова дразнила его красным острым языком, и ее веселая свита, составленная из непотребных, страшных, но все сплошь знакомых ему женщин, кривлялась в багровых отсветах.

Он хрипло и принужденно засмеялся, придвинул к ней лист и сказал:

– Я не шутил. Я просто не подумал, что вы можете быть замужем.

Он встал, взял в руки свою немыслимую шапку:

– Простите меня.

И по-староофицерски резко поклонился, бросив вниз стриженую голову, и двинул к выходу. И тогда Сонечка крикнула ему в спину:

– Пойдите! Нет! Нет! Я не замужем!

Сидящий за читальным столиком старик с подшивкой газет неодобрительно посмотрел в ее сторону. Роберт Викторович обернулся, улыбнулся ровными губами и от своей недавней растерянности, когда было заподозрил, что женщина от него ускользает, перешел к еще более глубокой: он совершенно не знал, что же говорить и делать он должен теперь.

* * *

Откуда взялись у истощенного Роберта Викторовича и хрупкой от природы Сонечки силы, чтобы посреди бедственной пустыни эвакуационной жизни, посреди нищеты, подавленности, исступленного лозунга, едва покрывающего подспудный ужас первой военной зимы, выстраивать новую жизнь, замкнутую и уединенную, как сванская башня, однако вмещающую без малейших купюр все их разъединенное прошлое: ломаную, как движение ослепленной ночной бабочки, жизнь Роберта Викторовича с молниеносными и радостными поворотами от иудаики к математике и, наконец, к важнейшему делу его жизни, бессмысленному и притягательному размазыванию краски, как он сам определил свое ремесло, и Сонечкину жизнь, питающуюся чужими книжными выдумками, лживыми и пленительными.

Теперь же Сонечка вкладывала в их совместную жизнь какое-то возвышенное и священное отсутствие опыта, безграничную отзывчивость ко всему тому важному, высокому, не вполне понятному содержанию, которое изливал на нее Роберт

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Викторович, сам не переставая дивиться, каким обновленным и переосмысленным становится его прошлое после долгих ночных разговоров. Наподобие касания к философскому камню, ночные беседы с женой оказывались волшебным механизмом очищения прошлого...

Из пяти лагерных лет, вспоминал Роберт Викторович, особенно тяжелыми были первые два, потом как-то обмялось – стал писать портреты начальственных жен, делал по заказу копии с копий... Сами оригиналы были нищенскими образчиками падшего искусства, и Роберт Викторович, выполняя их, обычно развлекал себя каким-нибудь формальным способом, например, писал левой рукой. Попутно он сделал открытие об изменившемся в связи с временной леворукостью цветовосприятии.

По внутренней организации Роберт Викторович был человеком аскетического склада, всегда умел обходиться минимальным, но, лишенный в течение многих лет того, что сам считал необходимым – зубной пасты, хорошего лезвия и горячей воды для бритья, носового платка и туалетной бумаги, – он радовался теперь каждой малой малости, каждому новому дню, освещенному присутствием жены Сони, относительной свободе человека, чудом освобожденного из лагеря и обязанного всего лишь в неделю раз отмечаться в местной милиции...

Они жили лучше многих. В подвале заводоуправления художнику выделили безоконную комнату рядом с котельной. Было тепло. Почти никогда не отключали электричества. Истопник варил им картошку, которую приносил Сонечкин отец, добывающий дополнительное питание своим безотказным мастерством.

Однажды Соня с легким оттенком пафоса, вообще ей не свойственного, сказала мечтательно:

– Вот мы победим, кончится война, и тогда заживем такой счастливой жизнью...

Муж прервал ее сухо и желчно:

– Не обольщайся. Мы прекрасно живем – сейчас. А что касается победы... Мы с тобой всегда останемся в проигрыше, какой бы из людоедов ни победил. – И мрачно закончил странной фразой: – От воспитателя моего я получил то, что не стал ни зеленым, ни синим, ни пармударием, ни скутарием...

– О чем ты? – с тревогой спросила Соня.

– Это не я. Это Марк Аврелий. Синие и зеленые – это цвета партий на ипподроме. Я хотел сказать, что меня никогда не интересовало, чья лошадь придет первой. Для нас это не важно. В любом случае гибнет человек, его частная жизнь. Спи, Соня.

Он накрутил себе на голову полотенце – была у него такая странная, в лагере нажитая привычка – и мгновенно заснул. А Сонечка долго лежала в темноте, мучаясь от недоговоренности и отодвигая от себя еще более ужасную, чем эта недоговоренность, догадку: муж ее обладал знанием столь опасным, что лучше было этого не касаться, – и она уводила свою тревожную мысль в другое место, к тонким переборам внизу живота, и пыталась представить себе, как пальчики размером в четверть спички в такой же темноте, которая окружает сейчас и ее, легко проводят по мягкой стенке своего первого жилища, и улыбалась.

А Сонечкино дарование яркого и живого восприятия книжной жизни отуманилось, как-то одеревенело, и оказалось вдруг, что самое незначительное событие по эту сторону книжных страниц – поимка мышки в самодельную ловушку, распустившаяся в стакане заскорузлая и сплошь мертвая ветка, горсть китайского чая, случайно добытая Робертом Викторовичем, – важнее и значительнее и чужой первой любви, и чуждой смерти, и даже самого спуска в преисподнюю, той крайней литературной точки, где совершенно сходились вкусы молодых супругов.

Еще на второй неделе их скоропалительного брака Соня узнала от своего мужа нечто для нее ужасное: он был совершенно равнодушен к русской литературе, находил ее голой, тенденциозной и нестерпимо нравоучительной. Для одного только Пушкина неохотно делал исключение... Завязалась дискуссия, в которой Сонечкиной горячности Роберт Викторович противопоставил строгую и холодную аргументацию, Сонечкой не вполне понятую, и кончилась эта домашняя конференция горькими слезами и сладкими объятиями.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Упрямый Роберт Викторович, оставлявший всегда последнее слово за собой, в глухом прудутреннем часу успел еще сказать засыпающей жене:

– Чума! Чума все эти авторитеты, от Гамалиила до Маркса... А уж ваши... Горький, весь дутый, и Эренбург, насмерть перепуганный... И Аполлинер тоже дутый...

Сонечка на Аполлинере встрепенулась:

– А ты и Аполлинера знал?

– Знал, – нехотя отозвался он. – Во время той войны... Я с ним два месяца жилье делил. Потом меня в Бельгию перевели, под город Ипр. Знаешь такой?

– Да, иприт, помню, – пробормотала Сонечка, восхищенная неисчерпаемостью его биографии.

– Ну, слава Богу... Я как раз и попал в эту газовую атаку. Но я был на холме, с подветренной стороны, потому и не был отравлен. Я ведь везучий... счастливчик... – И чтобы еще раз удостовериться в своем исключительном, избранническом везении, просунул руку под Сонины плечи.

К русской литературе они больше не возвращались.

* * *

За месяц до рождения ребенка срок неопределенной командировки Роберта Викторовича, которую он длил до последней возможности, кончился, и он получил предписание немедленно вернуться в башкирское село Давлеканово, где и надлежало ему дотягивать ссылку в надежде на будущее, которое все еще представлялось Сонечке прекрасным и в чем сильно сомневался Роберт Викторович.

И отец, и совсем разболевшаяся легкими мать Сони уговаривали ее остаться в городе хоть до родов, но Сонечка твердо решила ехать вместе с мужем, да и сам Роберт Викторович не хотел разделяться с женой. На этом самом месте и проскользнула единственная тень недовольства зятем со стороны старого часовщика. Старик, потеряв к этому времени сына и старшего зятя, бессловесно и близко сошелся с Робертом Викторовичем: различие в их социальном уровне теперь, в перевернутом мире, оказалось не то чтобы несущественным, а, скорее, выявляло все мнимые преимущества интеллигента перед пролетарием. Что же касалось всего прочего, подводная часть культурного айсберга была у них единой.

Семья собирала Сою сутки – столько времени отвели Роберту Викторовичу для окончания всех его дел. Мать, роняя желтые слезы, стремительно подрубала пеленки, тонкой заветной иглой нежно обметывала распашонки, выкроенные из собственной старой рубахи. Старшая сестра Сони, недавно потерявшая на фронте мужа, вязала из красной шерсти маленькие носочки, глядя перед собой неподвижными глазами. Отец, добывший пуд пшена, пересыпал его по маленьким мешочкам и все поглядывал с недоверием на Сою, которая хоть и была на девятом месяце, но так похудела за последнее время, что даже пуговицы на юбке не переставила, а беременность ее угадывалась скорее не по изменению фигуры, а по расплывшемуся лицу и припухшим губам.

– Девочка, девочка будет, – тихонько говорила мать. – Дочери, они всегда материнскую красоту пьют...

Сестра Сони безучастно кивала, а Сонечка растерянно улыбалась и все твердила про себя:

«Господи, если можно, девочку... – если можно, беленькую...»

* * *

Ночью знакомый железнодорожник посадил их в маленький, трехвагонный состав, стоявший в полутора километрах от станции, в вагон, сохранивший следы благородного происхождения в виде добротных деревянных панелей. Впрочем, мягкие диваны и откидные столики давно были выломаны и пульмановская роскошь заменена дощатыми скамьями.

От Свердловска до Уфы ехали больше полутора суток в туго набитом вагоне, и всю дорогу почему-то вспоминалась Роберту Викторовичу его шальная юношеская поездка

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru в Барселону, куда рванул он, получив первые крупные деньги, году в двадцать третьем или двадцать четвертом знакомиться с Гауди.

Сонечка доверчиво спала почти все время их путешествия, упершись ногами в пышный узел одеяла и привалившись плечом к худой груди мужа, а он все вспоминал кривую, ползущую вверх улицу, на которой стояла его гостиница, круглый наивный фонтанчик перед окном, смуглое лицо с вырезанными ноздрями необыкновенно красивой проститутки, с которой он купчески кутил всю ту барселонскую неделю. Он шарил в памяти и легко находил в ней мелкие и яркие детали: совершенно совиную морду официанта в гостиничном ресторане, чудесные плетеные туфли из палевой телячьей кожи, купленные в магазине с огромной синей вывеской «Гомер», и даже имя этой барселонской девчонки вспомнил – кончетта! Итальянка она была, приезжая, родом из Абрुцци... А Гауди ему совершенно не понравился... Во всех подробностях теперь, через четверть века, он видел перед собой эти странные сооружения, совершенно растительные, сплошь надуманные и неправдоподобные...

Сонечка чихнула, полупроснулась, что-то пробормотала. Он прижал к себе ее сонную руку, вернулся в окрестности Уфы, в дикую Башкирию, и улыбнулся, качая седой головой и недоумевая: «Да я ли был там? Я ли теперь здесь? Нет, нет никакой реальности вообще...»

* * *

Родильный дом, куда на исходе женского срока при первых же знаках приближающихся родов повел Роберт Викторович Сонечку, стоял на окраине большого плоского села, в безлесном растоптанном месте. Само строение было из глиняных, вымешанных с соломой кирпичей, убогое, с маленькими мутными окнами.

Единственным врачом был легко краснеющий немолодой блондин с тонкой белой кожей, пан Жувальский, беженец из Польши, в недавнем прошлом модный варшавский доктор, светский человек и любитель хороших вин. Он стоял спиной к вошедшим посетителям, сверкая голубоватой белизной халата, неуместной, но успокаивающей, кусал концы светлых усов и протирал замшевой тряпочкой стекла своих крупных очков. Сюда, к этому окну, он подходил несколько раз в день, смотрел на бесформенную, в грязных клочьях травы землю, вместо стройной Ерусалимской аллеи, куда выходили окна его варшавской клиники, и промакивал слезящиеся глаза красным, в зеленую клетку английским платком, последним из сохранившихся.

Он только что осмотрел приехавшую за сорок верст верхом немолодую башкирку, крикнул санитарке: «Подмойте даму!» – и стоял теперь, унимая невольную дрожь оскорбления в груди и с тоской вспоминая своих атласных пациенток, молочно-сладковатые запахи их выхоленных дорогостоящих гениталий.

Он обернулся, почувствовав чье-то присутствие у себя за спиной, и обнаружил сидящую на скамье крупную молодую женщину в светлом поношенном пальто и остролицего седого мужчину в залатанной тужурке.

– Я осмелился побеспокоить вас, доктор, – заговорил мужчина, и пан Жувальский, с первых звуков голоса почуввав в нем принадлежность к своей касте, к попоранной европейской интеллигенции, двинулся навстречу с улыбкой узнавания.

– Прошу вас... Пожалуйста. Вы с супругой? – полувопросительно произнес пан Жувальский, отметив их большую разницу в возрасте, допуская и какие-то иные отношения между этими по виду мало подходящими друг другу людьми. Он указал на занавеску, где был выгорожен для него крохотный кабинетик.

Еще через пятнадцать минут он осмотрел Сонечку, подтвердил приближение родов, однако велел набраться терпения часов до десяти, если все пойдет правильно и своевременно.

Соню положили на кровать, покрытую каляной холодной клеенкой, пан Жувальский похлопал ее по животу жестом скорее ветеринарским и отошел к башкирке, которая, как выяснилось, три дня назад родила мертвого ребенка, и все было хорошо, а теперь вот стало нехорошо.

Через два с половиной часа доктор с большими слезами на чисто выбритых щеках вышел на крыльцо, где сидел, никуда не отходя, сумрачный Роберт Викторович, и громко, трагически зашептал ему в ухо:

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru – Меня надо расстреливать. Я не имею права оперировать в таких условиях. У меня ничего, буквально ничего нет. Но не оперировать я не могу. Через сутки она умрет от сепсиса!

– Что с ней? – одеревеневшим языком спросил Роберт Викторович, представив себе умирающую Сонечку.

– Ах, боже мой! Простите! С вашей женой все в порядке, идут схватки, я про эту несчастную башкирку...

Роберт Викторович хрупнул зубами, выматерился про себя: он терпеть не мог нервических мужчин, одержимых желанием ежеминутно выговаривать свои переживания. Он зажевал губами и посмотрел в сторону.

Маленькая двухкилограммовая девочка, которую родила Соня в те пятнадцать минут, пока пан Жувальский разговаривал на крыльце, была беленькой и узколицей, точь-в-точь такой, какой Соня ее задумала.

* * *

Все у Сонечки изменилось так полно и глубоко, как будто прежняя жизнь отвернулась и увела с собой все книжное, столь любимое Соней содержание и взамен оставила невыносимые тяготы неустроенности, нищеты, холода и каждодневных беспокойных мыслей о маленькой Тане и Роберте Викторовиче, которые попеременно болели.

Семье не выжить бы, если б не постоянная помощь отца, который ухитрялся добывать для них и посылать все самое необходимое, чем они жили. На все уговоры родителей переехать с ребенком в Свердловск на это самое тяжелое время Соня отвечала одним: мы с Робертом Викторовичем должны быть вместе.

После дождливого, похожего на нескончаемую осень лета без всякого перехода наступила суровая зима. В зыбком домике из сырых саманных кирпичей подвальная комната в заводууправлении вспоминалась как тропический райский сад.

Главной заботой было топливо. Школа комбайнёров, где Роберт Викторович служил бухгалтером, давала иногда лошадь, и он еще с осени довольно часто уезжал в степь, чтобы нарезать сухостойных высоких трав, похожих на камыш, названия которых он так и не узнал. С верхом груженной телеги хватало на двое суток топки, это он знал по опыту той зимы, которую провел в селе до отъезда в Свердловск.

Он прессовал траву, забивал самодельными брикетами пристройку. Поднял часть пола, который сам и настелил в свое время, не подумав о необходимости хранилища для картошки. Вырыл подпол, осушил его, укрепил ворованными досками. Он построил уборную, и его сосед старик Рагимов качал головой и усмехался: в здешних краях деревянную доску с вырезанным очком считали излишней роскошью и обходились испокон веку тем недалёким местом, что называлось «до ветру».

Он был вынослив и жилист, и физическая усталость была утешительна его душе, страдающей острым отвращением к бессмысленному счету фальшивых цифр, составлению ложных сводок и фиктивных актов о списании разворованного горючего, украденных запчастей и проданных на местном базаре овощей с подсобного хозяйства, которым ведал прохода огородник, веселый и бесстыжий хохол с искалеченной правой рукой.

Зато каждый вечер он отворял дверь своего дома и в живом огнедышащем свете керосиновой лампы, в неровном мерцающем облаке он видел Соню, сидящую на единственном стуле, переоборудованном Робертом Викторовичем в кресло, и к заостренному концу ее подушкообразной груди была словно приклеена серенькая и нежно-лохматая, как теннисный мяч, головка ребенка. И все это тишайшим образом колебалось и пульсировало: волны неровного света и волны невидимого теплого молока, и еще какие-то незримые токи, от которых он замирал, забывая закрыть дверь. «Двери!» – протяжным шепотом возглашала Сонечка, вся улыбаясь навстречу мужу, и, положив дочку поперек их единственной кровати, доставала из-под подушки кастрюлю и ставила ее на середину пустого стола. В лучшие дни это был густой суп из конины, картошки с подсобного огорода и пшена, присланного отцом.

Просыпалась Сонечка на рассвете от мелкого копошения девочки, прижимала ее к животу, сонной спиной ощущая присутствие мужа. Не раскрывая глаз, она

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru расстегивала кофту, вытягивала отвердевшую к утру грудь, дважды нажимала на сосок, и две длинные струи падали в цветастую тряпочку, которой она сосок обтирала. Девочка начинала ворочаться, собирать губы в комочек, чмокать и ловила сосок, как маленькая рыбка большую наживу. Молока было много, оно шло легко, и кормление с маленькими торканьями соска, подергиванием, легким прикусыванием груди беззубыми деснами доставляло Соне наслаждение, которое непостижимым образом чувствовал муж, безошибочно просыпаясь в это предутреннее раннее время. Он обнимал ее широкую спину, ревниво прижимал к себе, и она обмирала от этого двойного груза непереносимого счастья. И улыбалась в первом свете утра, и тело ее молчаливо и радостно утоляло голод двух драгоценных и неотделимых от нее существ.

Это утреннее чувство отсвечивало весь день, все дела делались как бы сами собой, легко и ловко, и каждый божий день, не сливаясь с соседствующими, запоминался Сонечкой в своей отдельности: то с полуденным ленивым дождем, то с прилетевшей и усевшейся на ограде крупной кривоногой птицей ржаво-железною цвета, то с первой ребристой полоской раннего зуба в набухшей десне дочки. На всю жизнь сохранила Соня – кому нужна эта кропотливая и бессмысленная работа памяти – рисунок каждого дня, его запахи и оттенки и особенно, преувеличенно и полновесно – каждое слово, сказанное мужем во всех сиюминутных обстоятельствах.

Много лет спустя Роберт Викторович не раз удивлялся неразборчивой памятью жены, сложившей на потаенное дно весь ворох чисел, часов, деталей. Даже игрушки, которые во множестве и с давно забытой творческой радостью мастерил для подрастающей дочери Роберт Викторович, Сонечка помнила все до единой. Всякую мелочь – вырезанных из дерева животных, скрученных из веревок летающих птиц, деревянных кукол с опасными лицами – Сонечка увезла потом в Москву, но никогда не забыла и того, что было оставлено рагимовским детям и внукам, дружной стайке одинаковых тощих воробышков: раздвижную крепость для куклы-короля с готической башней и подъемным мостом, римский цирк со спичечными фигурками рабов и зверей и довольно громоздкое сооружение с ручкой и множеством цветных дощечек, способных двигаться, трещать и производить смешную варварскую музыку...

Затеи эти много превосходили игровые возможности маленького ребенка. Остропамятливая девочка, сохранившая, как и мать, множество воспоминаний этого времени, не запомнила этих игрушек, может быть, отчасти и потому, что уже в Александрове, куда переселилась семья с Урала в сорок шестом году, Роберт Викторович строил ей целые фантастические города из щепок и крашеной бумаги, богатые подходы к тому, что впоследствии назвали бумажной архитектурой. Хрупкие эти игрушки исчезли в многочисленных переездах семьи в конце сороковых и начале пятидесятых.

Если первая половина жизни Роберта Викторовича проходила в крупных и шальных географических бросках из России во Францию, потом в Америку, на Балканы, в Алжир, снова во Францию и, наконец, опять в Россию, то вторая половина, отбитая лагерем и ссылкой, проходила в мелких перебежках: Александров, Калинин, Пушкино, Лианозово. Так целое десятилетие он снова приближался к Москве, которая отнюдь не казалась ему ни Афинами, ни Иерусалимом.

Эти первые послевоенные годы семью кормила Сонечка, унаследовавшая материнскую швейную машинку и невинную дерзость самоучки, способной пристроичить рукав к вырезу проймы. Заказчики ее были нетребовательны, а сама мастерица старательна и без запроса.

Роберт Викторович работал на каких-то полуинвалидных работах, то сторожем в школе, то счетоводом в артели, производящей чудовищные железные скобы неизвестного назначения. Вскормленный на вольных парижских хлебах, Роберт Викторович и помыслить не мог о профессиональной работе на службе у скучного и унылого государства, даже если бы и смог примириться с его тупой кровожадностью и бесстыдной лживостью.

Свои художественные фантазии он удовлетворял на белоснежных планшетах, сооружая третье поколение бумажно-щепочных строений, которыми когда-то занимал дочь. Мимоходом в нем открылось особое качество видения разверток, точное чутье на пространственно-плоскостные отношения, и глаз нельзя было отвести от причудливых фигур, которые он вырезал из цельного листа и потом, где-то чуть промяв, где-то согнув и вывернув наизнанку, складывал предмет, не имеющий имени и никогда доньше не существовавший в природе. Игра, выдуманная когда-то для дочери, стала

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru его собственной.

Женская доверчивость Сони не знала границ. Талант мужа был однажды принят на веру, и она в благоговейном восхищении рассматривала все, что выходило из его рук. Она не понимала ни сложных пространственных задач, ни тем более элегантных решений, но она чуяла в его странных игрушках отражение его личности, движение таинственных сил и счастливо проговаривала про себя свой заветный мотив: «Господи, господи, за что же мне такое счастье...»

Живопись Роберт Викторович, можно сказать, забросил. Из его прежних развлечений с Танечкой вышло новое ремесло. Покровительствовал, как всегда, случай: в александровской электричке он столкнулся с известным художником Тимлером, знакомым ему еще по Парижу и поддерживавшим с ним отношения после возвращения в Москву вплоть до ареста. Художник этот с репутацией формалиста – кто и когда объяснит, что имела в виду под этой кличкой зарвавшаяся и узаконенная бездарность, – укрывался в те годы в театре. Он приехал к Роберту Викторовичу, полтора часа простоял в дощатом сарае перед несколькими композициями, подписанными рядами арабских цифр и еврейских букв, и, сын местечкового плотника, два года проучившийся в хедере, оценив их исключительное качество, постеснялся спросить автора о значении этих странных рядов, а самому Роберту Викторовичу и в голову не пришло пускаться в объяснение этой несомненной для него связи каббалистической азбуки, сухого остатка его юношеского увлечения иудаикой и дерзких игр с разъятием и выворачиванием пространства.

Тимлер долго молча пил чай, а перед отъездом хмуро сказал:

– Здесь очень сыро, Роберт, вы можете перевезти свои работы в мою мастерскую.

Предложение это означало полное признание и было весьма благородным, но Роберт Викторович им не воспользовался. Вызванные к случайному существованию необозначенные предметы вернулись в небытие, сгнив в одном из последующих сараев и не переживя многих переездов.

Здесь же, в сарае, знаменитый Тимлер дал Роберту Викторовичу первый заказ на театральные макеты. Спустя некоторое время макеты его прославились по всей театральной Москве, и заказы не переводились. На полуметровой сцене он сооружал то горьковскую ночлежку, то выморочный кабинет покойника, то громоздил бессмертные лабазы Островского.

* * *

Между дровяными сараями, голубятнями и скрипучими качелями ходила странная Таня. Она любила носить старые материнские платья. Тощая высокая девочка тонула в Сонечкиных балахонах, подвязанных в талии блеклым кашемировым платком. Вокруг узкого лица, как зрелое, но не облетевшее еще одуванчиковое семя, держались стоячие упругие волосы, не продираемые гребнем, не заплетающиеся в косички. Она сновала в густом воздухе, перегруженном запахами старых бочек, тлеющей садовой мебели и плотными, слишком плотными тенями, которые окружают обветшалые и ненужные вещи, и вдруг, как хамелеон, исчезала в них. Она замирала надолго и вздрагивала, когда ее окликали. Сонечка беспокоилась, жаловалась мужу на нервность, странную задумчивость дочери. Он клал руку на Сонино плечо и говорил:

– Оставь ее. Ты же не хочешь, чтобы она маршировала...

Сонечка пыталась приохотить Таню к книгам, но Таня, слушая мастерское Сонино чтение, стекленела глазами и уплывала, куда Соне и не снилось.

За годы своего замужества сама Сонечка превратилась из возвышенной девицы в довольно практичную хозяйку. Ей страстно хотелось нормального человеческого дома, с водопроводным краном на кухне, с отдельной комнатой для дочери, с мастерской для мужа, с котлетами, компотами, с белыми крахмальными простынями, не сшитыми из трех неравных кусков. Во имя этой великой цели Соня работала на двух работах, строчила ночами на машинке и втайне от мужа копила деньги. К тому же она мечтала объединиться с овдовевшим отцом, который почти ослеп и был очень слаб.

Мотаясь в пригородных автобусах и расхлябанных электричках, она быстро и некрасиво старилась: нежный пушок над верхней губой превращался в неопрятную бесполою поросль, веки ползли вниз, придавая лицу собачье выражение, а тени

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
утомления в подглазьях уже не проходили ни после воскресного отдыха, ни после двухнедельного отпуска.

Но горечь старения совсем не отравляла Сонечке жизнь, как это случается с гордыми красавицами: незыблемое старшинство мужа оставляло у нее непреходящее ощущение собственной неувядающей молодости, а неиссякаемое супружеское рвение Роберта подтверждало это. И каждое утро было окрашено цветом незаслуженного женского счастья, столь яркого, что привыкнуть к нему было невозможно. В глубине же души жила тайная готовность ежеминутно утратить это счастье – как случайное, по чьей-то ошибке или недосмотру на нее свалившееся. Милая дочка Таня тоже казалась ей случайным даром, что в свой час подтвердил и гинеколог: матка у Сонечки была так называемая детская, недоразвитая и не способная к деторождению, и никогда больше после Танечки Соня не беременела, о чем горевала и даже плакала. Ей все казалось, что она недостойна любви своего мужа, если не может приносить ему новых детей.

* * *

В начале пятидесятых Сониными огромными трудами и хлопотами семья полуобменяла-полуприкупила жилье, и въехали они в целую четверть двухэтажного деревянного дома, одного из немногих оставшихся к тому времени строений в почти сведенном Петровском парке, возле метро «Динамо». Дом был чудесный – бывшая дача известного до революции адвоката. Четверть сада, примыкавшего к дому, тоже была в придачу к квартире.

Все состоялось. У Тани была отдельная комната, светелка во втором этаже, Сонин отец, доживавший последний свой год, занимал угловушку, на утепленной террасе Роберт Викторович устроил мастерскую. Стало просторней и с деньгами.

По случайному стечению квартирообменных обстоятельств Роберт Викторович оказался вблизи московского Монмартра, в десяти минутах ходьбы от целого городка художников. К полной своей неожиданности, в том месте, которое он считал опустошенным и вытоптаным, он нашел себе если не единомышленников, то по крайней мере собеседников: российского барбизонца, покровителя бездомных котов и подбитых птиц, Александра Ивановича К., писавшего свои буйные картины, сидя на сырой земле, и утверждавшего, что это Антеево прикосновение его седалища придает ему творческие силы; лысого украинского дзэн-буддиста Григория Л., устраивавшего на бумаге прозрачный фарфор и шелк, десятки раз перекрывая акварельные слои то чаем, то молоком; пестроволосого, с перепитым носом поэта Гаврилина, обладавшего врожденным даром рисовальщика: на больших, неровно обрезанных листах оберточной бумаги среди замысловатых фигур он рисовал свои поэмы-палиндромы, словесно-шрифтовые шифровки, восхищавшие Роберта Викторовича.

Все эти странные люди, обнаружившие себя в начале обманчивой оттепели, тянулись к Роберту Викторовичу, и постепенно его замкнутый дом превратился в своего рода клуб, где сам хозяин играл роль почетного председателя.

Он был, как всегда, немногословен, но одного его скептического замечания, одной усмешки было достаточно, чтобы выправить заблудшую дискуссию или повести разговор в новое русло. Тяжко молчавшая много лет страна заговорила, но этот вольный разговор велся при закрытых дверях, страх еще стоял за спиной.

Сонечка штопала Танин чулок, натянув его на скользкий деревянный мухомор, и прислушивалась к разговору мужчин. То, о чем они говорили – о зимних воробьях, о видениях Мейстера Экхарда, о способах заварки чая, о теории цвета Гёте, – никак не соотносилось с заботами стоявшего на дворе времени, но Сонечка благоговейно грелась перед огнем этого всемирного разговора и все твердила про себя: «Господи, Господи, за что же мне все это...»

* * *

Плосконосый Гаврилин, любитель всех искусств, имел привычку лазать по журналам. Однажды он наткнулся в библиотеке в американском искусствоведческом журнале на большую статью о Роберте Викторовиче. Краткая биографическая справка о художнике оканчивалась несколько преувеличенным сообщением о его смерти в сталинских лагерях в конце тридцатых годов. Аналитическая часть статьи была написана слишком сложным для поэта языком, он не все понял, но из того, что ему удалось перевести, следовало, что Роберт Викторович чуть ли не классик и уж, во всяком случае, пионер художественного направления, изо всех сил расцветающего теперь в Европе. К статье прилагалось четыре цветные репродукции.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

На следующий же день Роберт Викторович в сопровождении друга-барбизонца пошел в московскую библиотеку, разыскал статью и пришел в неопишемую ярость оттого, что одна из четырех репродуцируемых картин не имела к нему никакого отношения, ибо принадлежала Моранди, а другая напечатана вверх ногами. Когда же он прочитал статью, он пришел в еще большую ярость.

– Америка еще в двадцатые годы производила на меня впечатление страны беспросветных дураков. Видно, она не поумнела, – фыркнул он.

Однако Гаврилин растрезвонил об этой статье по всему околотку, и старого макетчика вспомнили даже разбитные быстродействующие театральные художники и прибежали заново знакомиться.

Неожиданным следствием всей этой беготни было принятие Роберта Викторовича в Союз художников и получение им мастерской. Это было хорошее ателье, окнами на стадион «Динамо», ничуть не хуже того последнего, парижского, мансарды на улице Гей-Люссак, с видом на Люксембургский сад.

* * *

Сонечке было уже под сорок. Она поседела и сильно располнела. Легкий и сухой, как саранча, Роберт Викторович мало менялся, и они постепенно как-то сравнялись в возрасте. Таня немного стеснялась старости своих родителей, так же как и своего большого роста, ступней, груди. Все было не в масштабе, не в размере того десятилетия, когда акселераты еще не народились. Но в отличие от Сони рядом с ней не было подсмеивающегося старшего брата, а со всех стен благотворно смотрели ее чудесные портреты во всех детских возрастах. И эти портреты смягчали Танино недовольство собой. С седьмого класса она начала получать убедительные доказательства своей привлекательности от недоросших одноклассников и более старших мальчиков.

С раннего детства все Танины желания были легко удовлетворимы. Любящие родители по этой части сильно усердствовали, обычно забегая впереди ее желаний. Рыбки, собака, пианино появлялись едва ли не в тот же день, когда девочка о них заговаривала.

С самого рождения она была окружена чудесными игрушками, и игра, самостоятельная, не требующая иных участников, была главным содержанием ее жизни. Так и получилось, что, выйдя из развлечений своего затянувшегося детства, года два проспала она, промаялась на известном переходе и, рано поняв, какую именно игру предпочитают взрослые, отдалась ей с ясным сознанием своего права на удовольствия и свободой неподавленной личности.

Ничего и близко похожего на унижительную любовь Сонечки к Вите Старостину у Тани не было. Хотя она не была красавицей усредненного канона и была совершенно лишена общепонятной миловидности, ее длинное лицо с тонким в хребте носом, в сильно вздыбленных кудрявых волосах, узкие светло-стеклянные глаза были на редкость притягательными. Ровесников привлекала также Танина манера постоянно играть: с книгой, карандашом, с собственной шапкой. В ее руках постоянно происходил маленький, заметный только ближайшему соседу театр.

Однажды, заигравшись с пальцами и губами своего приятеля Бориски, к которому бегала списывать домашние задания по математике, она обнаружила некий предмет, ей не принадлежавший, который чрезвычайно увлек ее. Дверь в комнату родителей Бориски в этот вечерний час была приоткрыта, и эта светлая широкая щель с двумя толстыми тенями перед телевизором тоже как бы входила в условия игры, которые они прекрасно соблюли, подавая друг другу реплики, совершенно не имеющие отношения к происходящему. И хотя сеанс этот начался с невинного детского обмена вопросами: «А ты никогда не пробовал?», «А ты?» – после чего не знающая ни в чем отказа Танечка предложила: «Давай попробуем!» – сеанс этот закончился кратким введением – в прямом и переносном смысле – в новый предмет.

В обжигающий момент из соседней комнаты поступило несвоевременное предложение поужинать, и дальнейшие пробы были отложены до более благоприятного времени.

Следующие встречи происходили уже в отсутствие родителей. Самым увлекательным для Тани было новое осознание своего тела: оказалось, что каждая его часть – пальцы, грудь, живот, спина – обладает разной отзывчивостью к прикосновениям и

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru позволяет извлекать из себя всякие прелестные ощущения, и это взаимоисследование доставляло обоим массу удовольствия.

Щуплый веснушчатый мальчик с выпирающими вперед крупными зубами и воспаленными уголками губ также проявил незаурядный талант, и в течение двух месяцев юные экспериментаторы, вдохновенно трудясь от трех до половины седьмого, то есть до прихода Борискиных родителей, в полном объеме усвоили всю механическую сторону любви, не испытав при этом ни малейшего чувства, выходящего за рамки дружеского и делового партнерства.

А потом между ними произошел конфликт, что называется, на производственной почве: Таня взяла у Бориски тетрадь по геометрии – и потеряла. И сообщила ему об этом в совершенно легкомысленной форме, даже не извинившись. Бориска, человек аккуратный и даже педантичный, страшно возмутился – не столько фактом потери тетради, сколько полным непониманием Таней неприличия своего поведения. Таня назвала его занудой, он ее – жлобихой. Они поссорились.

В высвободившееся от трех до половины седьмого время Бориска стал усиленно заниматься математикой, полностью определил свое призвание в области точных наук, а Танечка, нисколько не гонявшаяся за жизнеустройством, выдувала плохонькую деревянную музыку из флейты в своей светелке, грызла ногти и читала... О, бедная Сонечка, светлая ее юность, прошедшая на высокогорьях всемирной литературы! – фантастику, только фантастику, как зарубежную, так и отечественную, читала ее гуманитарно невинная дочь...

Тем временем на шаткие звуки Таниной флейты стягивались войска поклонников. Самый воздух вокруг нее был накален, ее наэлектризованные кудри стояли дыбом и искрились мелкими разрядами при одном только приближении руки. Сонечка еле успевала открывать и затворять двери за молодыми людьми в зоологических свитерах с угловатыми оленями и сизых гимнастерках и кителях, анахронической одежде школьников конца пятидесятих годов, придуманной в припадке ностальгического слабоумия каким-то престарелым министром наробразования.

Владимир А., выдающийся музыкант, скандальнейшим образом оставшийся в Европе в те годы, когда по эту сторону границы такой поступок воспринимался как политическое преступление, в книге своих воспоминаний, изданной в конце девяностых годов и обнаружившей в нем незаурядные дарования литератора, опишет музыкальные вечера в Таниной комнате, ее прямострунное пианино с чудесным звуком и нуждающееся в ежедневной настройке. С нежностью вспоминает он этот странный инструмент, открывший начинающему музыканту тайну индивидуальности вещи. Он говорит о нем, как можно было бы говорить о старенькой, давно умершей родственнице, кормившей автора в детстве незабываемыми пирожками с начинкой из одной вишни.

По свидетельству Владимира А., именно в Таниной комнате, выходящей затейливым окном в сад, на старую яблоню с раздвоенным стволом, аккомпанируя слабенькой Таниной флейте, он впервые испытал волнение творческого взаимопонимания и радостно шел на некоторое музыкальное самоуничтожение, чтобы предоставить робкой флейте более значительное положение.

Владимир А., в ту пору маленький, толстоватый, похожий на тапира мальчик, был влюблен в Таню. Она оставила глубокий след в его жизни и душе, и обе его жены – первая, московская, и вторая, лондонская, – несомненно, принадлежали к тому женскому типу.

Вторым музыкальным собеседником был Алеша Питерский – под такой кличкой его знали в Москве. Классической выучке Володи он противопоставлял гитарную свободу и полное владение всеми предметами, которые могли издавать звук, от губной гармошки до двух консервных банок. К тому же он был поэт и высоким петрушечьим голосом пел первые песни новой подпольной культуры.

Были еще несколько мальчиков, скорее присутствователей, чем участников, но и они были необходимы, поскольку создавали восхищенную аудиторию, в которой нуждались обе будущие знаменитости.

* * *

В годы своей юности Роберт Викторович тоже был центром завихрения каких-то невидимых потоков, но это были потоки иного свойства, интеллектуального. На них,

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru как и на зов Таниной дудочки, тоже стекались молодые люди. Примечательно, что кружок этих рано взрослевших еврейских мальчиков, тинейджеров по современным понятиям, в острые предвоенные годы исследовал не модный в ту пору марксизм, а «Сефер ха-зохари», «Книгу сияний», основной трактат каббалы. Эти мальчики с Подола, еврейской окраины Киева, собирались в доме Авигодора-мельника, отца Роберта Викторовича, и дом этот примыкал стена к стене к соседнему, принадлежащему Шварцману, отцу Льва Шестова, с которым спустя двадцать лет, уже в Париже, близко сойдется Роберт Викторович.

Ни один из тех мальчиков, кому выпало пережить годы войн и революций, не стал ни традиционным еврейским философом, ни вероучителем. Все они выросли в «эпикейрес», то есть в «свободомыслящих». Один стал блестящим теоретиком и несколько менее удачливым практиком начинающего кинематографа, второй – известным музыкантом, третий – хирургом с благословенными руками, и все они были вскормлены одним молоком, тем молодым электричеством, что накапливалось под крышей Авигодора-мельника.

Происходящее вокруг Тани, как догадался Роберт Викторович, было то самое, чем и его молодость была заряжена, но под знаком иной стихии, женской, столь ему враждебной, да еще с поправкой на обнищавшее, выродившееся поколение...

Роберт Викторович первым заметил, что поздние Танины посетители уходят иногда рано утром. Сохранивший на всю жизнь привычку к раннему просыпанию, Роберт Викторович, выйдя в шестом часу утра из жилой части дома в свою мастерскую-террасу, где любил проводить эти первые, наиболее чистые, по его ощущению, часы, заметил свежие следы, ведущие с крыльца к калитке по только что выпавшему снегу. Через несколько дней он заметил их снова и осторожно спросил у жены, не ночевала ли у них Сонина сестра. Сонечка удивилась: нет, Аня не ночевала...

Роберт Викторович не стал производить расследование, поскольку на следующее утро увидел, как через садик выходит высокий молодой человек в тощей курточке. Соне о своем открытии он ни слова не сказал. И Сонечка клонила ночную тяжелую голову на мужнее плечо и жаловалась:

– Она не учится... ничего не делает... в школе ее ругают... какие-то намеки гадкие эта ее... Раиса Семеновна...

Роберт Викторович утешал ее:

– Оставь, Соня, оставь. Это все мертвое и смердит отвратительно... Да пусть она бросит эту убогую школу. Кому она нужна...

– Что ты! Что ты! – пугалась Соня. – Образование нужно.

– Да угомонись ты, – обрывал ее муж. – Оставь девчонку в покое. Не хочет – и не надо. Пусть играет на своей дудке, в этом не меньше проку...

– Роберт, но эти мальчики. Меня так беспокоит... – шла в робкую атаку Сонечка. – Мне кажется, один у нее всю ночь просидел, она потом в школу не пошла.

Роберт Викторович не поделился с Соней своими утренними наблюдениями, промолчал.

С тех пор как Таня дала отставку Бориске, началась настоящая собачья свадьба. Переполненные стероидами юноши клубились возле нее настойчиво и неотвязно. С несколькими из претендентов она испробовала новое развлечение. Сравнение шло в пользу Бориски – по всем статьям и статьям.

К весне стало ясно, что в девятый класс ее не переведут. Школьная маета была совсем уж непереносима, и Роберт Викторович, слова не говоря Соне, отнес Танины документы в вечернюю школу, что повлекло за собой глубочайшие последствия для всей семьи, в первую очередь для него самого.

* * *

Властная прихоть судьбы, некогда определившая Сонечку в жены Роберту Викторовичу, настигла и Таню. Предметом страстной влюбленности стала школьная уборщица, а заодно и одноклассница, восемнадцатилетняя Яся, маленькая полячка с гладким, как свежеснесенное яичко, лицом. Дружба их медленно завязывалась на

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru предпоследней парте. Крупная и размашистая Таня с обожанием смотрела на прозрачную, вроде отмытого аптечного пузырька, Ясю и страдала от застенчивости. Яся была молчалива, односложно отвечала на редкие Танины вопросы и вид имела сдержанно-высокомерный. Была она дочерью польских коммунистов, бежавших от фашистского нашествия – по воле обстоятельств в разные стороны: отец – на запад, мать с грудной девочкой – на восток, в Россию. Ей не удалось раствориться в миллионной стране, и она была человеколюбиво сослана в Казахстан, где, промыкавшись горько десять лет, не утратив возвышенных безумных идеалов, и умерла.

Яся попала в детский дом, проявила незаурядную привязчивость к жизни, выжив в условиях, как будто специально созданных для медленного умирания души и тела, и вырвалась оттуда благодаря умению максимально использовать предлагаемые обстоятельства.

Высоко поднятые над серыми глазами брови и нежный кошачий ротик, казалось, просили о покровительстве, и покровительство действительно находилось. В числе ее покровителей бывали и мужчины и женщины, но в силу природной независимости она предпочитала мужчин, с раннего возраста усвоив недорогой способ с ними расчесться.

Один из последних ее покровителей, возникший уже после ее зачисления в какое-то чудовищное ремесленное училище для детдомовских и продуманного побега из него, был толстый сорокалетний татарин Равиль, проводник, доvezший ее до самого Казанского вокзала города Москвы, откуда она планировала начать свое восхождение. В боковом кармане ее клетчатой хозяйственной сумки лежали выкраденный из директорского кабинета, незадолго до этого выписанный на ее имя паспорт и двадцать три дореформенных рубля, стянутые у спящего Равиля на подъезде к Оренбургу. Ворованные эти деньги не жгли ей рук по двум причинам: она взяла совсем немного из толстой пачки и, кроме того, чувствовала себя вполне отработавшей эти деньги за четырехдневную дорогу.

Равиль дорожной кражи не заметил и сильно огорчился, когда девочка не пришла через сутки к седьмому вагону, чтобы вернуться с ним обратно в Казахстан, как обещала.

С улыбкой тонкого снисхождения к себе, такой наивной дурочке в недавнем прошлом, она рассказывала Тане, как, намочив серое железнодорожное полотенце в раковине общественной уборной Казанского вокзала, раздевшись догола на глазах очумевших азиаток, клубящихся в этом смрадном месте, она обтерлась с ног до головы, достала из той же клетчатой сумки завернутую в две газеты, давно хранимую для этого случая белую блузку с оборкой на воротнике, переделась и, бросив полотенце в ржавую проволочную корзину, пошла завоевывать Москву, начав с первой попавшейся позиции, то есть со знаменитой площади у трех вокзалов.

В клетчатой сумке лежали две пары трусов, грязная синяя блузка, тетрадь с переписанными собственноручно стихами и пачка открыток знаменитых актеров. Она была тверда, сообразительна и действительно до неправдоподобия наивна: она мечтала стать киноактрисой.

Все располагало к тому, чтобы Яся стала профессиональной проституткой, но этого не произошло.

За два года, проведенных в Москве, она достигла значительных успехов; у нее была временная прописка, временное жилье в чулане при школе, где она работала уборщицей и куда время от времени забегал к ней участковый Малинин, пожилой красноречивый благодетель, через которого она и получила все эти временные подарки судьбы. Посещения Малинина были кратки, для Яси необременительны и не слишком привлекательны для самого Малинина; но он был вдохновенным взяточником и вымогателем, а поскольку от Яси взять было совершенно нечего, то приходилось брать то, что дают.

В этом самом чулане на физкультурном мате, удачно заменяющем постель, Яся и рассказала Тане свою историю. Таня приняла все в сердце, испытыв при этом сильнейшее сложносоставное чувство жалости, зависти и стыда за свое беспросветное благополучие. Яся, подробно, точно и сухо рассказав о себе все, что помнила, неожиданно увидела все прожитое со стороны и возненавидела его так сильно и окончательно, что никогда и никому уже больше не рассказывала этой

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru правды. Она придумала себе новое прошлое, с аристократической бабушкой, имением в Польше и французскими родственниками, которые как черт из коробочки вынырнут еще в ее жизни в свой час...

Кроме Ясиного чулана было при школе еще одно жилое помещение, которое занимала преподавательница русского языка и литературы, военная вдова Таисия Сергеевна. К посещениям Малинина она относилась крайне неодобрительно, но это не мешало ей поручать Ясе надзор за своими малолетними детьми и всяческое мытье. За все эти соседские услуги Ясе разрешено было пользоваться книжным шкафом учительницы и не посещать уроков литературы. Таисия Сергеевна предпочитала, чтобы Яся в это время сидела с ее детьми.

Отслужив эти часы равнодушно и безупречно, Яся ложилась на пахнущий потной кожей физкультурный мат и учила наизусть басни Крылова, без которых во все времена невозможно было поступить ни в какое театральное училище. Или читала вслух Шекспира от первого тома до последнего, разыгрывая трагическим шепотом все женские роли – от Миранды, дочери Просперо, до Марины, дочери Перикла.

Учителя вечерней школы, успевшие измотаться еще до обеда, обучая младших, дневных братьев своих вечерних учеников, не сильно донимали их уроками. К тому же половину класса составляли обитатели милицейского общежития, находившегося неподалеку, и усталые молодые мужики мирно дремали в полутемном классе, получали свои тройки и успешно шли учиться дальше, кто на юриста, кто по партийной линии... Яся была единственной во всем классе, кому парта была по росту, остальные застревали в этих деревянных станках, специально придуманных для мучительства малолетних...

Резкая, размашистая Таня двигалась шумно, с невоспитанной свободой жеребенка. Садясь за парту, она сдвигала ее так, что Яся слегка подпрыгивала своей легкой головкой. Сама Яся выходила из-за парты бесшумно, откидывая крышку и делая скользкое и ласковое движение бедрами. Она шла по узкому проходу к доске, нижняя часть ее тела как бы чуть отставала от верхней, и та нога ее, что в шаг была позади, чуть приволакивалась, замирала на носочке, а коленями она двигала так, словно толкала тяжелую ткань длинного вечернего платья, а не задрипанной юбочки. И прогиб в пояснице был какой-то особенный, и каждая часть ее тела совершала свои отдельные движения, и все они – и маленькое поигрывание грудью, и зыбкость бедер, и особое покачивание в щиколотке, – все вместе это было не отработанными приемами кокетки, а женской музыкой тела, требующего внимания и восхищения. Немолодой тридцатилетний милиционер Чурилин с крупным лицом в черных военных порошинах тряс головой ей вслед и бормотал:

– Ишь ты... ммм...

И непонятно было, что в этом мычании – отвращение или восторг. Впрочем, держалась Яся так независимо, что дальше чурилинского мычания у милиционеров дело не шло.

Возвращаясь домой, Таня все пыталась пройти в темноте ночного парка этой походкой, сыграть Ясину музыку своими коленями, бедрами, плечами – тянула вверх шею, приволакивала ногу, качала бедрами. Ей казалось, что большой рост мешал ей быть такой же привлекательно-зыбкой, как Яся, и она сутулилась. «В ней есть что-то от эльфа», – думала Таня и, устав от своих ходильно-балетных упражнений, неслась к дому, разбрасывая длиннющие ноги, делая неравномерные отмашки то правой, то левой рукой, вскидывая головой, отбрасывая назад набравшие вечернего тумана волосы, а Роберт Викторович, частенько выходивший встречать ее в парке в эти вечерние часы, издали узнавал ее походку и весь ее характер, запечатленный в несоразмерных движениях, и улыбался силе и несурзности на полголовы переросшей его дочери.

Оба они любили этот вечерний парк, ценили молчаливое взаимопонимание, тайное подтверждение их не высказанного вслух заговора против Сонечки. Роберт Викторович по врожденному высокомерию, Таня – по юности и наследственности, оба претендовали на благую часть отборного интеллектуализма, оставляя за Сонечкой низменные столы и хлеба.

Но Сонечке и в голову не приходило печалиться своей участью, ревновать о высшем: чисто мыла она тарелки и кастрюли, со страстным старанием готовила еду, сверяясь с рецептами, выписанными расплывающимися лиловыми чернилами из сестриной книги

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Елены Молоховец, кипятила баки с бельем, подсинивала и крахмалила, а Роберт Викторович иногда внимательно смотрел из-за ее большой спины на синьку, манку, струганное хозяйственное мыло, фасоль и со свойственной ему остротой отмечал убедительную художественность, высокую осмысленность и красоту Сонечкиного домашнего творчества. «Мудр, мудр мир муравья...» – думал он мимолетно и затворял за собой дверь на теплую террасу, где водились его суровые бумаги, свинцовые белила и еще немного, что он допускал в свои строгие упражнения.

Тане дела не было до материнской кухонной жизни: она существовала теперь в дымке влюбленности. Просыпаясь утром, долго лежала с закрытыми глазами, представляя себе Ясю, себя с Ясей в каких-то привлекательно-вымышленных обстоятельствах: то они скачут через молодой луг на белых лошадях, то плывут на яхте по Средиземному, например, морю.

Ее вольное и бесцеремонное даже обращение со священным инструментарием природы обернулось для нее тем, что инстинкты ее немного заблудились и, деля со стройными мальчиками веселые телесные удовольствия, душой она тосковала по высокому общению, соединению, слиянию, взаимности, не имеющей ни границ, ни берегов. Ясю выбрала ее душа, и всеми усилиями разума стремилась она обосновать этот выбор, дать ему рациональное объяснение.

– Ах, мама, она кажется слабой, воздушной, а сильная – необычайно! – восхищалась Таня, рассказывая матери о своей новой подруге, о жестокой детдомовщине, побегах, побоях, победах. Яся в своих рассказах Тане из природной осторожности кое-что обошла: про ссылку матери, про детскую дешевую торговлю телом, про укоренившуюся привычку мелочного воровства.

Но Сонечке и сказанного было достаточно, чтобы заранее отозваться на детское страдание и догадаться о том, что от Тани оставалось сокрытым. «Бедная, бедная девочка, – думала про себя Соня. – И наша Танечка вот так же могла бы, ведь столько всего было...»

И она вспоминала все те многие случаи, когда Бог уберег их от ранней смерти: как Роберта выбросили из вагона александровской электрички, как рухнула балка в помещении, где она работала, и половина комнаты, из которой она за минуту до этого вышла, оказалась заваленной темным старинным кирпичом, и как умирала она на больничном столе после гнойного аппендицита... «Бедная девочка», – вздыхала Сонечка, и эта незнакомая девочка приобретала черты Тани...

* * *

До самого Нового года Таня не могла позвать Ясю в гости. Яся, пожимая плечами, все отказывалась, но не объясняла Тане свой упорный отказ.

А дело было в том, что ею давно уже овладело сильное и смутное предчувствие нового многообещающего пространства, и она, как полководец перед решающим боем, тайно и тщательно готовилась к этому визиту, связывая с ним самые неопределенные надежды.

В магазине «Ткани» у Никитских ворот она купила кусок холодной на ощупь и горячей на глаз, какого-то ошпаренного цвета тафты и поздними вечерами шила мельчайшими стежками, на руках, нарядное платье – в тишине и одиночестве, молитвенно и сосредоточенно, как беременная женщина, немного боясь сглазить заблаговременностью шитья одежд нерожденному ребенку самый акт появления его на свет.

Она пришла в двенадцатом часу тридцать первого декабря, к накрытому столу, за которым сидели и барбизонец, и поэт, и сверх того режиссер с птичьим носом и лягушечьим ртом. Она еще толком не разглядела их значительных лиц, но уже внутренне ликовала, понимая, что попала в яблочко предвкушаемой мишени. Именно они, эти взрослые самостоятельные мужчины, и нужны ей были для разгона, для взлета, для полной и окончательной победы.

Ласковый и благодарный взгляд она бросила в сторону Тани, которая счастливо и розово сверкала ей навстречу подкрашенными щеками. Таня до последней минуты не была уверена, что Яся придет, и теперь гордилась Ясиной красотой, как будто сама ее придумала и нарисовала.

Платье Яси громко и шелково шуршало, а тяжелые русые волосы были цельными,

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru словно отлитыми из светлой смолы, и лежали на плечах как подрубленные, точно как у Марины Влади в знаменитом в тот год фильме «Колдунья». Вырез платья был глубоким, и козы ее груди, прижатые одна к другой, образовывали нежную дорожку вниз, и талия была тоненькая и еще специально утянутая в рюмочку, и щиколотки тонки под плотными икрами, и запястья казались особенно узкими из-за некоторой припухлости предплечий. Именно не гитарная грубость, а стеклянная прелесть маленькой рюмки, мимолетно отметил про себя Роберт Викторович.

Несколько разочарована была Сонечка. Заранее отозвавшись на трудную судьбу Таниной подруги, она не была готова вместо золушки-замарашки увидеть нарядную красотку с подведенными глазами, во всей притягательности светлой славянской красоты.

Яся отвечала на вопросы односложно, глаза ее были опущены, пока она не вскидывала утяжеленные тушью ресницы, чтобы вымолвить, именно вымолвить со смиренно-королевской интонацией своей покойной матери: «Спасибо, нет, благодарю вас, да...» В немногословных ее ответах чуткое ухо могло уловить польский акцент – эти слипшиеся «в» и «л».

Сонечка с умилением подкладывала Ясе на тарелку еду. Яся вздыхала, отказывалась, а потом все-таки съедала и утиную ножку, и еще кусочек студня, и салат с крабами.

– Я уже больше не могу, благодарю вас, – обаятельно и почти жалобно говорила Яся, а Сонечка все не могла выпустить из своего сердца сочувствия: сирота, бедная девочка, детдом... Господи, ну как же так можно...

Барбизонец Александр Иванович уже пел темным дьяконским голосом оперные арии на итальянском языке, напившийся Гаврилин безумно смешно изображал, как собачка ищет блоху. Закатывая глаза, рычал то злобно, то блаженно, залезал головой себе под мышку, всех смешил до изнеможения. Роберт Викторович улыбался, посверкивая двойным металлом – глаз и свежевставленных зубов.

В третьем часу пришел Алеша Питерский, Танин рьяный поклонник, с будущей славой, которую он уже на себя примеривал, и мешочком серой травы – был он из первых любителей азиатского кайфа на невских берегах. Алеша не чинясь расцехлил гитару и спел несколько печально-остроумных и смешных песен, яростно кривляясь и растягивая петрушечий рот балаганного актера.

Алеша был влюблен в Таню, Танечка – в Ясю, а Яся в этот новогодний вечер влюбилась в Танин дом. Под утро, когда гости разошлись и девочки помогли убрать со стола, Соня оставила Ясю ночевать в пустующей угловой комнате, где и обнаружил ее днем Роберт Викторович, зайдя туда в поисках рулона серой бумаги.

В доме было тихо. Соня, убрав в доме после гостей, уехала к сестре, Таня спала в своей светелке, а Яся, проснувшись от звука скрипнувшей двери, открыла глаза и довольно долго наблюдала, как Роберт Викторович роется за шкафом, тихонько чертыхается. Она смотрела ему в спину и все пыталась вспомнить, на какого именно американского актера он похож. Видела она такое же вот лицо, такой же серебряный бобрик в польском журнале «Пшегленд артистичен», который изучала от корки до корки. Она никак не могла вспомнить фамилию актера, но ей показалось, что даже и рубашка у того американца была такая же, в крупную и редкую клетку.

Она села на кровати. Кровать скрипнула. Роберт Викторович обернулся. Из огромной Сониной ночной рубахи выглядывала маленькая светлая голова на короткой шее. Девчушка облизнулась, улыбнулась, потянула рубашку за рукава, и она легко поползла вниз через горловину. Двинув ногой, сбросила на пол одеяло, встала во весь рост, и огромная рубаха легко соскользнула вниз. Детскими короткими ступнями она пробежала по холодному крашеному полу к Роберту Викторовичу, вынула из его рук наконец-то отысканный рулон и, как будто заменив его собой, оказалась в руках Роберта Викторовича.

– Один разок, и быстренько, – сказала деловитая фея без всякого кокетства, как говорила обычно своему благодетелю милиционеру Малинину. Но там-то она знала, зачем это делает, а здесь – ни корысти, ни расчета. И сама не знала почему. Из благодарности к дому... И еще – он здорово был похож на того актера, американского, знаменитого. Питер О’Тул, что ли...

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
А про то, что мужчина может отказаться от предложенной ему милости, знака внимания и благодарности, она просто и не знала. Маленькая, как будто на токарном станке выточенная из самого белого и теплого дерева, тянула она к нему свое праздничное личико.

Чуть попятившись к шкафу, он сказал строго: «Быстро под одеяло, простудишься!» – и вышел из комнаты, забыв рулон бумаги. Никогда не видел он такой лунной, такой металлической яркости тела.

Яся укрылась еще не успевшим остыть одеялом и через минуту опять спала. Спала с наслаждением, и во сне не забывая о сладости этого домашнего сна в домашнем доме, и ночная Сонина рубашка, которую она уже больше на себя не надела, лежала у нее под щекой и райски пахла.

А ужаленный Роберт Викторович ходил по соседней комнате, ежился и крутил головой. Ранние сумерки только что начавшегося года смотрели в окно, и Соня все не шла, а Таня не спускалась вниз по скрипучей лестнице. И он осторожно отворил дверь в угловую комнату, тихо подошел к кровати. Девчонка была укрыта почти с головой, только русый затылок был на поверхности. Он сунул свои сухие ладони под теплый сугроб одеяла. И вмешательство его рук в Ясин сон не оборвало его, ничего не испортило. Яся развернулась навстречу его рукам, и еще одна, последняя жизнь началась у Роберта Викторовича.

* * *

Честный новогодний мороз к вечеру окреп. На столе подсыхали развороченные остатки прошлогоднего уже кушанья. Роберт Викторович не ел. Вчерашняя еда вызывала отвращение, и он думал о своих мудрых предках, сжигавших остатки пасхальной еды, не допуская такого вот ее поношения...

Сонечка бессмысленно размешивала ложечкой чай, в котором не было сахара, и все собиралась сказать мужу важное, но не находила для этого подходящих слов.

Роберт Викторович с задумчивым лицом ловил глухие отзвуки счастливого гула в сердцевине своих состарившихся костей и пытался вспомнить, когда уже он испытывал это... откуда странное чувство припоминания... Может, что-то похожее было в детстве, когда, накувыркавшись досыта в тяжелой днепровской воде, он вылезал на хрусткий перегретый песок, зарывался в него и грелся в этой песчаной бане до сладкого отзыва в костях... И еще что-то схожее с острым озарением детства, когда, выйдя ночью по малой нужде, маленький Рувим, сын Авигдора, превратившийся с годами в Роберта Викторовича, запрокинул голову и увидел, что все звезды мира смотрят на него сверху живыми и любопытствующими глазами, и тихий перезвон покрывает небо складчатым плащом, и он, маленький мальчик, как будто держит на себе все нити мира, и на конце каждой звенит пронзительный мелкозвучный колокольчик, и во всей этой гигантской музыкальной шкатулке он и есть сердцевина, и весь мир послушно отзывается на биение его сердца, на каждый вздох, на ток крови и на излияние теплой мочи... Он опустил задранную ночную рубашку, поднял медленно вверх руки, словно дирижируя этим небесным оркестром... И музыка пронизала его насквозь, сладкой волной проходя по сердцевине костей...

Он забыл, забыл эту музыку, и только воспоминание о ней долгие годы не стиралось.

– Роберт, пусть эта девочка поживет у нас в доме. Угловая свободна, – тихо сказала Сонечка, остановив ложечку в стакане.

Роберт Викторович посмотрел на жену удивленным взглядом и сказал свое обычное, что говорил всегда, когда речь шла о вещах, мало его трогающих:

– Если ты считаешь нужным, Соня. Делай, как считаешь нужным.

И вышел в свою комнату.

* * *

Яся перебралась в дом Сонечки. Ее молчаливое миловидное присутствие было приятно Соне и ласкало ее тайную гордость – приютить сироту, это была «мицва», доброе дело, а для Сони, с течением лет все отчетливее слышавшей в себе еврейское начало, это было одновременно и радостью, и приятным исполнением долга.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
В ней просыпалась память о субботе, и тянуло к упорядоченно-ритуальной жизни предков с ее незыблемой основой, прочным, тяжелоногим столом, покрытым жесткой торжественной скатертью, со свечами, с домашним хлебом и тем семейным таинством, которое совершалось в канун субботы в каждом еврейском доме. И, оторванная от этой древней жизни, она вкладывала весь свой неопознанно-религиозный пыл в кухонную возню с мясом, луком и морковью, в жестко-белые салфетки, во всеустройство стола, где судок для приправ, подставки для ножей, тарелочки справа, слева грамотно были расставлены, как велел совсем другой канон, новый, буржуазный. Но до этого Соня не додумалась.

Последние годы, годы относительного благополучия, ей вдруг стала мала ее семья, и она втайне горевала, что не было ей суждено народить множество детей, как было принято в ее племени. Она все прикупала, прикупала разрозненные кузнецовские соусники и фаянсовые английские тарелки по баснословно блошиным ценам в комиссионке на Нижней Масловке, словно настраиваясь на грядущее многочадие дочери Тани.

Религия Сони, как и Библия, состояла из трех разделов. Только вместо Торы, Небиим и Ктувим это было Первое, Второе и Третье.

Ясино присутствие за столом создавало Соне иллюзию увеличения семьи и украшало застолье – так естественно и мило она держалась за столом, ела как будто бы немного, но с несгораемым аппетитом, до смешной усталости, потому что память о детском постоянном голоде была в ней неистребима. Откидываясь на спинку стула, она тихонько стонала:

– Ой, тетя Соня! Так вкусно было... Опять я объелась...

А Сонечка блаженно улыбалась и ставила на стол низенькие стеклянные вазочки с компотом.

* * *

Прошло два месяца. Благодаря Ясиной кошачьей приспособляемости и врожденной деликатности она не только заняла угловую комнату, но сверх того определилась в семье в статусе полуродственницы.

Ранним утром она убегала мыть шершавые школьные коридоры и слякотные уборные, вечерами вместе с Таней ходила в ту же школу на занятия. Иногда до школы не доходили, прогуливая убогие уроки засыпающих учителей. Их отношения с Таней определились как сестринские, причем Таня, по возрасту младшая, с переездом Яси в их дом незаметно заняла место старшей сестры, и ее влюбленность в Ясю перестала быть такой восторженной и напряженной.

Девочки часто забирались в Танину светелку. Таня, усевшись в позе лотоса, играла свою неверную музыку на флейте, а Яся, свернувшись клубком у ее ног, немного шепелявым шепотом читала вымирающие пьесы Островского. Готовилась в театральное училище.

Соню умиляло Ясино пристрастие к чтению. К тому же ей казалось, что Танечка попутно приобщается к большой культуре. В этом она заблуждалась.

Если девочки о чем и говорили, то Яся главным образом довольствовалась ролью вежливой слушательницы. Без особого интереса и внутреннего сочувствия она слушала о Таниных любовных приключениях. Энтузиазм подруги был ей совершенно чужд, а Таня ошибочно относилась Ясино равнодушие за счет незначительности ее собственного опыта в сравнении с богатством переживаний подруги. Ей и в голову не приходило, что Яся – с двенадцати лет впервые – свободна от необходимости впускать в свое совершенно незаинтересованное тело «ихние противные штучки»...

* * *

Роберт Викторович от Ясиного присутствия изнемогал. Этот эпизод в угловой комнате, в ранних сумерках первого дня года, он вспоминал как наваждение, как подсмотренный чужой сон. Ясю он впускал теперь лишь в обзор бокового зрения, воровато услаждая свой глаз ее тихой белизной, и плавился на огне молодого желания. Никаких даже самых малых движений в ее сторону он не допускал, но не потому, что какие-либо мелкие моральные мотивы его беспокоили. Желание принадлежало ему, женщина ему не принадлежала и, более того, занимая Сониными стараниями табулированное место рядом с дочерью, принадлежать не могла.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Он часами смотрел в тонко меняющуюся от освещения и влажности белизну снега за окном, вглядывался в плавкий белый бок фаянсового кувшина, в обрезки крупнозернистого ватмана на столе, в тускло-белые гипсовые отливки старых рельефов с едва намеченными в них телами букв древнего алфавита.

На исходе второго месяца он снова стал писать – через двадцать лет после лагерных упражнений, прихотливого копирования скучной дичи.

Теперь это были сплошь белые натюрморты, в них выстраивались многотрудные мысли Роберта Викторовича о природе белого, о форме и фактуре, поработавшей живописное начало, и слогами, словами его размышлений были фарфоровые сахарницы, белые вафельные полотенца, молоко в стеклянной банке и все то, что житейскому взгляду кажется белым, а Роберту Викторовичу представлялось мучительной дорогой в поисках идеального и тайного.

Однажды, когда зима уже стронулась и снежное величие Петровского парка увяло и съезжилось, ранним утром они одновременно вышли на крыльцо: Роберт Викторович с двумя подрамниками и рулоном крафта и Яся с красной матерчатой сумочкой, в которой бултыхались два вечерних учебника.

– Подержите, пожалуйста. – Он сунул ей рулон в руки со смутным чувством, что нечто подобное уже где-то промелькивало.

Яся поспешно притянула к себе рулон, пока он поудобнее перехватывал подрамники.

– Может, я помогу вам донести, – предложила, не поднимая глаз, девочка.

Он молчал, она подняла голову, и впервые за время их совместного проживания под одной крышей он острыми зрачками воткнулся в самую сердцевину ее безмятежных глаз. Он кивнул, и она согласно опустила голову в белой пуховой косынке и пошла за ним, колдовски ступая детскими резиновыми ботинками в его следы.

Он не оборачивался всю недлинную дорогу. Так, гуськом, они дошли до подъезда многоэтажного дома, где в длинных коридорах, дверь к двери, трудолюбиво и деловито создавалось прилично оплачиваемое социалистическое искусство, и в унылых коридорах громоздились изводы лысого гиганта мысли...

Прижимаясь спиной к гранитному боку монумента, неловко придерживая ногой дверь, он пропустил вперед Ясю. В момент, когда дверь захлопнулась, он почувствовал сильное и гулкое сердцебиение, но не в груди, а где-то в глубине живота. Сердцебиение восходило в нем вверх, как солнце от горизонта, морской гул наполнил голову, виски, даже кончики пальцев. Он поставил подрамники и принял рулон из Ясиных рук. Тут он и вспомнил, когда это было.

Он улыбнулся, положив руку на отсыревший пух ее косынки, а она уже сметливо расстегивала огромные пуговицы своего самодельного пальто, которое многие вечера шила из старого пледа вместе с Сонечкой. В тот год был припадок моды на большие пуговицы. И юбка Яси, и блузка были ушиты стаями коричневых и белых пуговок, и она, сбросив пальто, серьезно и вдумчиво вытаскивала их одну за другой из аккуратных обметанных петель.

Сердцебиение, достигшее набатной мощи, заполнившее все закоулки самых малых капилляров, разом вдруг прекратилось, и в ослепительной тишине она села на сломанное кресло, поджав под себя тугие ножки. Потом отпустила на свободу стянутые на макушке резинкой волосы и стала ждать, покуда он выйдет из своего столбняка и возьмет ту малость, которой ей было не жаль...

С того дня Яся почти каждый день забегала в мастерскую. Горячим и странно безмолвным был их роман. Обычно она приходила, садилась в раз и навсегда избранное кресло и распускала волосы. Он ставил чайник на плитку, заваривал крепкий чай, распускал в белой эмалированной кружке пять кусков сахара – по детдомовской памяти она все не могла наесться сладким – и ставил перед ней белую фарфоровую сахарницу, потому что пила не только внакладку, но и вприкуску.

Он смотрел на нее долго-долго, пока она медленно пила свой сироп, а он всегда вдумывался в ее белизну, которая ярче радуги сияла перед ним на фоне матовой побелки пустой стены. И блеск эмали кухонной кружки в ее розовой, но все же

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru белой руке, и куски крупного колотого сахара в кристаллических изломах, и белесое небо за окном – все это хроматической гаммой мудро восходило к ее яично-белому личику, которое было чудо белого, теплого и живого, и лицо это было основным тоном, из которого все производилось, росло, играло и пело о тайне белого мертвого и белого живого.

Он любовался ею, а она это чужая и возносилась под его взглядом, таяла от маленькой женской гордости, наслаждалась своей безраздельной властью, потому что знала: скажет она ему свое бесстыдно-детское: «Хочешь разочек?» – он кивнет и отнесет ее на покрытую старым ковром тахту, а нет, так и будет на нее тарашиться, бедняга, дурачок, чудной, совсем особенный, и любит ее безумно...

«Безумно», – повторяла она про себя, и гордая улыбка чуть трогала ее губы, и он чувствовал глуповатое ее торжество, но все смотрел и смотрел на нее, пока она не говорила:

– Ну все... Я пошла...

Вопросов он ей никогда не задавал, она о себе тоже ничего не рассказывала, да в этом и не было нужды. Его безграничная тяга к ней, как и ее неизменное желание находиться рядом с ним, не нуждалась ни в каких словесных подтверждениях. В его присутствии она чувствовала себя уже совершившей свою задуманную карьеру: богатой, красивой и свободной. И театральное училище было ненужным.

В середине апреля он начал писать ее портрет. Сначала один, с чайником и белыми цветами, потом другой. И стала образовываться целая анфилада белых лиц, так что одно уходило в тень другого, снова проступало, а лица эти были связаны каким-то оптически обдуманном способом между собой.

Роберт Викторович писал быстро. И хотя она была рядом с ним и это было важно для художника, это не была работа с натуры. Он словно впитал ее в себя и теперь только заглядывал в свой тайник. Работал он весь световой день, все больше времени проводил в мастерской. Он и раньше любил уходить сюда спозаранку, теперь же он часто оставался здесь ночевать.

В это самое время, когда притяжение дома ослабло и жизнь Роберта Викторовича все более перемещалась в мастерскую, а мастерская мягко и своднически принимала в себя молчаливую любовницу, над домом собрались тучи.

Весь их небольшой поселок был определен под снос. Многолетние разговоры, настойчивые, но неубедительные, в один прекрасный день реализовались в гадкую, с размытой печатью бумажку – постановление о сносе дома и переселении жильцов. Бумагу вручили не лично, как подобает в таких случаях, а прислали по почте, и посреди дня, уже после утренней разности, Соня заметила в почтовом ящике эту зловещую бумажку.

Зажимая ее в пальцах, Соня прибежала в мастерскую к мужу, куда обычно не ходила, соблюдая невысказанный, но известный запрет. Роберт Викторович был один, работал. Соня села в хрупнувшее под ней кресло. Муж молча сидел напротив. Соня долго смотрела на холсты с блеклыми белоглазыми женщинами и поняла, кто есть настоящая снежная королева. И Роберт Викторович понял, что она поняла. И они ничего не сказали друг другу.

Соня молча посидела, потом положила на стол печальное извещение и вышла из мастерской. У подъезда она остановилась пораженная. Ей казалось, что кругом должен лежать снег, – а на улице клубилась, кудрявилась разноцветно-зеленая майская зелень, и зеленым цветом отзывались длинные трамвайные трели.

Она шла к своему дому, любимому счастливому дому, который почему-то должны были раскатать по бревнышку, и слезы текли по длинным морщинистым щекам, и она шептала враз пересохшими губами:

– Это должно было случиться давно, давно... я же всегда знала, что этого не может быть... не могло этого быть...

И за эти десять минут, что она шла к дому, она осознала, что семнадцать лет ее счастливого замужества окончились, что ей ничего не принадлежит, ни Роберт Викторович, – а когда, кому он принадлежал? – ни Таня, которая вся насквозь

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru другая, отцова ли, дедова, но не ее робкой породы, ни дом, вздохи и кряхтенье которого она чувствовала ночами так, как старики ощущают свое отчуждающееся с годами тело... «Как это справедливо, что рядом с ним будет эта молодая красotka, нежная и тонкая, и равная ему по всей исключительности и незаурядности, и как мудро устроила жизнь, что привела ему под старость такое чудо, которое заставило его снова обернуться к тому, что в нем есть самое главное, к его художеству...» – думала Соня. Совершенно опустошенная, легкая, с прозрачным звоном в ушах, вошла она к себе, подошла к книжному шкафу, сняла наугад с полки книгу и легла, раскрыв ее посередине. Это была «Барышня-крестьянка». Лиза как раз вышла к обеду, набеленная по уши, насурьмленная пуще самой мисс Жаксон. Алексей Берестов играл роль рассеянного и задумчивого, и от этих страниц засветило на Соню тихим счастьем совершенного слова и воплощенного благородства...

* * *

Шли многодневные сборы. Сонечка вязала узлы, набивала ящики из-под папирос кастрюльками и тряпками и пребывала в странно торжественном настроении: ей казалось, что она хоронит прожитую жизнь, и в каждом из упакованных ящиков сложены ее счастливые минуты, дни, ночи и годы, и она гладила с нежностью эти картонные гробы.

Неприбранная Таня отрешенно бродила по дому, натываясь на мебель, сошедшую с привычных мест и как будто приобретающую самостоятельную подвижность. Дверцы шкафов неожиданно отворялись сами собой, стулья ставили подножки.

Матери Таня не помогала. Преданная одним лишь своим ощущениям, она полностью погрузилась в величайшее отвращение к происходящему в доме.

Было еще одно обстоятельство, отвлекавшее ее от сборов: замкнутая, с недоразвившейся в ту пору речью, она выворачивала перед Ясей все завитушки своей растрепанной души, и Яся с ее умным молчанием оказалась для Тани единственным в своем роде собеседником, который принимал ее вполне мелководные переживания с такой плодотворной для Тани доброжелательной нейтральностью, что в этих беседах, которые были скорее монологами, Таня училась формулировать мысли, ловить с лета образы, и это доставляло ей огромное удовольствие.

Другие ее друзья, ёрник и выворачиватель всего на свете Алеша и Володя с океанским талантом, всепожирающей памятью, с плотно упакованными сведениями обо всем на свете, насильственно вовлекали ее в их собственные соблазнительные миры, и только Яся оставляла ей возможность самостоятельно мыслить, рассуждать вслух, на ощупь выбирать те мелочи, из которых человек произвольно складывает тот первоначальный рисунок, по которому будет развиваться весь последующий узор жизни. Именно отсюда рождалось Танино чувство теснейшей с Ясей близости и смутной благодарности.

Во время какого-то редкого просвета в самоувлечении Таня заметила, что у Яси есть какая-то отдельная жизнь. Однако все ее попытки проникнуть в это заповедное пространство дневных – не школьных и не домашних – часов разбивались о нежное и уклончивое молчание или неопределенные слова. Первая попавшаяся версия – тайного романа – выдвигала перед Таней жгучий вопрос: кто же он?

Вопрос этот разрешился самым случайным образом. Таня столкнулась с отцом и Ясей возле метро и была незамеченной свидетельницей совершенно невозможной сцены: они ели мороженое на ходу, смеясь. Мороженое стекало густыми каплями, и Роберт Викторович стер с Ясиной щеки белое липкое пятно таким движением пальцев, что Таня, великий специалист по части касаний, дрогнула от нового, прежде неизвестного ей чувства ревности.

Ни женские интересы матери, ни какие бы то ни было соображения нравственного порядка Таню совершенно не беспокоили. Возмущало только одно – подлое сокрытие этого во всех отношениях неинтересного ей романа...

Таня устроила Ясе сцену. Яся, внутренне готовая давно к тому или иному разоблачению, немедленно собрала свои вещи и выскользнула с резного крыльца, оставив Таню в горе и недоумении. Ей-то казалось, что их отношения с Ясей гораздо важнее любых романов...

Роберт Викторович тем временем разбирал построенный им когда-то стеллаж и даже не сразу заметил Ясино отсутствие.

И вот наконец настал день, когда вещи вынесли. В свете яркого летнего дня обшарпанная мебель, такая уютная и обжитая, купленная в некотором охотничьем азарте на Преображенском рынке, казалась совсем нищенской. Все погрузили в крытый фургон и перевезли в удручающие Лихоборы, в неудобную трехкомнатную квартиру, где все, решительно все было униженно убогим: тощие стены, крохотная, узкая Соне в локтях кухня, недоношенная ванна.

С помощью Гаврилина Роберт Викторович расставлял мебель. Каждая вещь упрямо сопротивлялась, не желая занимать отведенное ей место, все топорщилось лишними углами, везде не хватало нескольких сантиметров. Роберту Викторовичу пришлось сорвать плинтус, чтобы загнать однодверный, совсем небольшой платяной шкаф в отведенный ему простенок. Таня чуть не плакала над окованным сундучком с выпуклой крышкой, который рисковал вообще не вписаться в новое жилье.

В запроходную комнату Соня велела поставить Танину тахту и Ясину кровать и сказала:

– Вот будет девичья.

Яся, приглашенная Сонечкой на помощь в переезде, насторожила ушко. Она никак не могла взять в толк, что же происходит. Да это было и не так уж важно для нее. Не этим домом она так дорожила, а совсем другим. И ей казалось, что самое главное она крепко держит в руках.

А Сонечка вытащила откуда-то большую коричневую сумку, достала из нее скатерть-самобранку с салфетками, холодными котлетками и ледяной окрошкой из термоса.

Сонечка по-прежнему подкладывала Ясе хорошие кусочки на тарелку. Яся благодарно улыбалась. Удивительна была ей Сонечка. «А может, просто хитренькая такая», – с некоторым умственным усилием соображала Яся. Но душой знала, что это не так.

И вдруг посреди обеда Таня, вскинув локти, стала рыдать, трясая волосами и грудями, потом закатилась в истерическом хохоте, а когда припадок неожиданно закончился, она, еще мокрая от слез и вылитой на нее воды, заявила, что немедленно уезжает в Питер.

Яся увела ее в новообъявленную девичью, которой не суждено было никогда быть приютом какой-нибудь девы. Они влезли в Ясину постель. Яся сняла резинку с толстого хвоста на макушке, и они совершенно примирились, поглаживая друг друга по волосам.

Однако решения своего Таня не поменяла и в тот же вечер укатила к своему прокуренному сладкой травкой барду.

Роберт Викторович с Гаврилиным и Ясей уехали на Масловку, и, проведив своих домочадцев, в первый же лихоборский вечер Сонечка осталась одна. С грустью подумала она о развалившейся по всем швам жизни, о напавшем внезапно одиночестве, а потом легла на неразобранный диван в проходной комнате, вынула из перевязанной пачки случайного Шиллера и до утра читала – кто бы мог за этим чтением не уснуть! – читала Валленштейна, добровольно отдавшись литературному наркозу, в котором прошла ее юность.

* * *

Вопреки Сонечкиному предположению Роберт Викторович вовсе не собирался ее оставлять. Он приезжал в Лихоборы непременно по субботам и один-два раза в неделю, приезжал вместе с тихонькой Ясей, и пока она со своим шелковым шуршанием возилась в девичьей, перебирала там свои и Танины тряпочки и бумажки, Роберт Викторович заменил подоконники на более широкие, укрепил полки, распилил стеллаж и сделал из него два, развесил Танины портреты.

Они ужинали в средней комнате, которая закрепилась за Соне. Немного говорили о Тане, которая уже месяц как была в Питере и все откладывала свое возвращение в эти жуткие Лихоборы.

В непозднем часу расходились спать. Яся – в девичью, Роберт Викторович – в назначенную ему отдельную комнату при входе, а Сонечка тяжело заваливалась на

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru диван и, засыпая, радовалась, что Роберт здесь, за тонкой стеной, по правую руку, а тонкая красивая Яшенька – по левую. И жаль только, что Танечки нет...

Наутро Сонечка складывала в баночки вчерашний салат, и котлетки, и гречневую кашу, обвязав горловинки, ставила все в коричневую сумку и отдавала Ясе.

– Спасибо, тетя Соня, – опуская глаза, благодарила Яся.

Когда случился день рождения Александра Ивановича, Роберт Викторович велел Соне заехать в мастерскую, чтобы вместе идти. Это был их первый семейный выход. Александр Иванович, девственник и монах от чрева матери, не замеченный во всю жизнь ни в каких шашнях с дамами и на этом основании подозреваемый доброжелательным обществом в каких-то более интересных грехах, был единственным во всей компании, кто воспринял это трио как вполне естественное.

Прочие гости, особенно художественные дамы, сладострастно по углам обсуждали создавшийся треугольник, выходя из себя, как тесто из квашни. Рыжая, слегка бесноватая Магдалина так исстрадалась за Сонечку, что у нее началась мигрень. И совершенно напрасно: Соня радовалась, что Роберт взял ее с собой, гордилась его верностью, которую, как она полагала, он проявил по отношению к ней, старой и некрасивой жене, и восхищалась Ясиной красотой.

По просьбе Александра Ивановича она немного хозяйничала за столом, обносила гостей покупной едой и, помня о вечных Ясиных желудочных болях, шептала ей в ухо:

– Деточка, мне кажется, эти голубцы немного того... Ты поосторожней...

Некоторые дамы были готовы укорить Соню в притворстве – уж больно хорошо она выглядела в этой, казалось бы, невыгодной комбинации; другим хотелось бы Соне посочувствовать, выразить порицание Роберту Викторовичу. Но это было совершенно невозможно, ибо держались они по-семейному, так и сидели за столом домашним треугольником: Роберт Викторович посредине, по правую руку на полголовы над ним возвышающаяся Сонечка, по левую сияла Яшенька своей белизной и маленьким острым бриллиантом на пальце.

Невозможно было себе представить Роберта Викторовича покупающим в ювелирном магазине бриллиант своей девчонке. Но справедливости ради надо признать, что она именно была из породы маленьких беззащитниц, которым так и хочется на пальчик надеть камушек, а на зябкие плечики – меха...

Не дал Роберт Викторович возможности посторонним людям, то есть друзьям, делать выбор между супругами, выразить сочувствие, порицание, негодование...

И вечер катился своей чередой. Подвыпивший Гаврилин изображал умирающего лебедя, потом Ленина и на бис – уже известную всем собачку, которая ищет блоху. Потом была представлена шарада, где фигурировал призрак, который не столько бродил, сколько ползал по Европе, шестиногой корове, составленной из трех самых толстых дам, покрытых холщовой занавеской.

В этой части праздника все вспомнили о Тане, остроумнейшей придумщице шарад, а самые проникательные из дам переглянулись: бедная девочка!

Бедная девочка тем временем проживала в симпатичном логове на Васильевском острове у друга Алешки. В Питере стояли белые ночи, она была бесстрашной и любопытной, ежеминутно готовой во что-нибудь серьезно поиграть. Им совершенно не хотелось расставаться, в четыре глаза они глядели по сторонам, и Алеша с удивлением замечал, что ее присутствие не только не мешает его непредсказуемой жизни, а, пожалуй, сообщает дополнительные возможности по части отрыва от «совухи», как называл он презрительно общепринятое существование.

Спустя несколько дней после празднования у Александра Ивановича Соня поехала в Ленинград навестить дочь, прождала ее полдня во дворике, потом еще сорок минут посидела с Таней и Алешей за столом, на котором горой громоздились книги, пластинки, объедки и пустые бутылки, выпила чаю и вечерним поездом уехала обратно, просив дочь звонить почаще тетке и оставив денег.

В поезде Соня не уснула, все думала о том, какая прекрасная жизнь происходит у

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru ее дочери и мужа, какое молодое цветение вокруг, как жаль, что у нее уже все прошло, и какое счастье, что все это было... Она старчески качала головой, подчиняясь мелким сотрясениям вагона, предвосхищая тик, который появится у нее спустя два десятилетия.

* * *

А потом опять наступила зима. Девочки должны были заканчивать школу, но обе бросили. Таня всю зиму ездила по привычному маршруту. Она постоянно ссорилась с Алешей, возвращалась домой, но Лихоборы наводили на нее такую тоску, что она снова неслась в свой любимый Питер.

Роберт Викторович всю зиму писал. Он сильно исхудал, но лицом посветлел и стал как-то ласковее со всеми. Маленькая его сожительница тихонько существовала около него, то шуршала конфетными бумажками, то шелестела дешевым шелком – она постоянно шила себе разноцветные, одинакового фасона платья, мелко сверкая иглой, – то листала польские журналы.

В то время было повальное увлечение Польшей. Оттуда несло западной вольницей, слегка отяжелевшей в перелете над Восточной Европой.

Яся к тому времени перестала скрывать свое польское происхождение, и оказалось, что она прекрасно помнит свой детский язык, на котором говорила с матерью. Роберт Викторович, кроме общепринятых европейских, знал и польский, и этот обаятельно-шепелявый, ласковый язык разговорил их, и, как когда-то Соне, он рассказывал теперь Ясе маленькие истории, смешные, невероятные и страшные случаи, и это тоже была его жизнь, хотя, из какого-то вербального целомудрия, это была какая-то иная жизнь, как будто стоявшая за скобками той, что по рассказам была известна Сонечке.

Яся смеялась, плакала, вскрикивала: «Езус Мария!» – и гордилась, и восхищалась, и так радовалась, что даже научилась испытывать некоторые приятные ощущения, о коих прежде и не догадывалась, невзирая на ранний и долгий опыт общения с мужчинами.

А он все вглядывался в ее нетленную шею, в новенькую кожу лица, в белый пушок под узкой бровью и думал о драгоценности молодой материи, о той форме совершенства, про которую говорил единственный русский гений – «не достаивает быть умной».

Плен Роберта Викторовича был плодотворен. Ему пришлось построить в мастерской новую антресоль, подрамники некуда было складывать. Он заканчивал свои белые серии. Открытия, как ему казалось, не состоялось. Он вскопал ту почву, что подалась, и это было немало, но сама тайна, обещавшая вот-вот открыться, ускользнула, оставив сладкую боль приближения и свою полноправную представительницу такой сокрушительной прелести, что побеждала его усталость, и возраст, и всю изношенность плоти. Не в тягость были старому Роберту неумеренные любовные труды.

В конце апреля, в середине сырой ночной оттепели, он крепко сжал Ясины плечи и тяжело уткнулся дрогнувшей головой в жесткую подушку.

Прошло некоторое время, прежде чем Яся поняла, что он умирает. С воем выскочила она в коридор, куда выходили двери еще семи мастерских. Художники здесь не жили, мало кто оставался ночевать. Она рванула ручки двух соседних дверей и понеслась с четвертого этажа вниз к телефону, который стоял в привратничке.

Старуха с тонкой распутанной косой тихо взвизгнула, увидев голую Ясю, но та отпихнула ее:

– «Скорую», скорее... «Скорую»...

И трясущимися руками набрала номер.

Когда приехали врачи, Роберт Викторович уже не дышал. Он лежал на животе, уткнувшись темным лицом в подушку. Яся так и не смогла его перевернуть.

Обстоятельства смерти были очевидны.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya.ludmila.ru
– Кровоизлияние в мозг, – буркнул толстый неприятный врач, пахнувший алкоголем и дурной едой. И написал телефон морга.

Громыхая непригодившимися носилками, санитары спустились вниз.

– Старик, а на бабе умер. Молоденькая, – сказал один.

– А что? Лучше, чем в больнице–то гнить, – отозвался второй.

* * *

Лихоборская квартира была без телефона. Яся приехала к Соне, когда та собиралась выпить свою утреннюю чашку кофе. Соня мелко затрясла головой, схватила в охапку Ясю, прижала к себе, и они долго плакали в прихожей.

Потом поехали в мастерскую. Тело уже увезли в морг. Тот не бытовой, страшный беспорядок, который образовался в мастерской после пребывания двух бригад, медиков и труповозов, они быстро убрали.

Соня сняла с тахты стыдное для чужого глаза белье и спрятала его себе в сумку. Потом пошли звонить в Ленинград Тане, но соседи сказали, что они с Алешей уехали куда-то. Яся держала все время Соню за руку, вцепившись, как ребенок. Была она сирота, а Соня была мать.

Привратница уже успела проникновенно рассказать всем желающим ее выслушать о скандальной смерти старого Роберта. Соседи художники заходили с полудня в мастерскую. Несли кто что считал уместным в этих обстоятельствах: цветы, водку, деньги...

Попутно формировалось общественное мнение: Роберта жалели, Ясю ненавидели и презирали, с Соней было как-то сложнее, от нее чего-то ждали, смотрели с интересом, вполне, впрочем, сочувственным.

Поздним вечером, когда в мастерской остались лишь близкие друзья, Соня после тихого и бесслезного плача вдруг твердо сказала:

– Достаньте зал побольше. Я хочу, чтобы там, где будет стоять гроб, были развешаны эти картины. – И она указала наверх, на антресоли, где стояли подрамники.

Барбизонец переглянулся с Гаврилыным. Кивнули.

Так все оно и было.

Худфонд выделил зал. Накануне развешивали картины. Их оказалось пятьдесят две. Соня руководила развеской, и вряд ли кто мог бы сделать это лучше. Вдруг просунулось откуда-то солнце, болезненно-яркое, резкое, оно мешало, даже вмешивалось в Сонину работу. Холсты зеркалили, бликовали, и Соня попросила опустить казенные сборчатые шторы. Развесила. Шторы подняли. Солнце к этому времени утихомирилось, и оказалось все на своих местах. И сам Роберт Викторович не сделал бы лучше.

На следующий день к двенадцати стал стекаться народ. И представить себе было нельзя, сколько набежало людей на эти похороны. Пришли старые, маститые, заработавшие мозоли и медали на изготовлении парадных портретов кого надо, пришли средние, умеренно новой волны, пришли и те, кого на порог не пускали почтенные члены Союза, – шпана, лианозовщина, авангард драный.

Посмертная эта выставка не располагала к обсуждению. Да и сам Роберт Викторович никогда не испытывал потребности к обсуждению своего дела.

Посреди зала стоял гроб. Лицо умершего было темным, как бы оплавленным, и только сложенные на груди руки сверкали ледяной белизной того сорта, который Роберт Викторович называл белое–неживое.

Яся в черном шелковом платье лепилась к большой и бесформенной Сонечке, выглядывала из-под ее руки, как птенец из-под крыла пингвина. Тани не было, ее не смогли разыскать в веселой Средней Азии, куда двинули они в поисках зеленого пастбища.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Весь шепоток, вся скандальность этой смерти оставались в раздевалке. Здесь, в зале, даже самые жадные до чужих потрохов люди примолкали. Подходили к Соне, произносили неловкие слова соболезнования. Соня, чуть выталкивая впереди себя Ясю, механически отвечала:

– Да, такое горе... На нас свалилось такое горе...

А Тимлер, в обществе молодой любовницы пришедший проститься со своим старым другом, сказал тоскливым тонким голосом:

– Красиво как... Лия и Рахиль... Никогда не знал, как красива бывает Лия.

* * *

Бог послал Сонечке долгую жизнь в лихоборской квартире, долгую и одинокую.

Таня, постепенно выйдя замуж за Алешу и получив от него в приданое колдовской неласковый город, в котором приживаются лишь гордые и независимые люди, стала петербурженкой. Дарования ее раскрывались поздно. Уже после двадцати оказалось, что она невероятно способна и к музыке, и к рисованию, и ко всему, на что только не упадет ее рассеянный глаз. Играючи она выучила французский, потом итальянский и немецкий – только к английскому питала странное отвращение – и все металась, покуда в середине семидесятых годов, уже расставшись с Алешей и еще двумя кратковременными мужьями, с полугодовалым сыном на руках и сумкой через плечо не эмигрировала в Израиль. Через короткое время она получила прекрасную должность в ООН, чему в немалой мере способствовала всемирная известность ее отца.

В течение нескольких лет Яся жила у Сонечки в лихоборской квартире. Сонечка нежно ухаживала за Ясей, испытывая благоговейную благодарность к провидению, пославшему ее дорогому мужу Роберту такое украшение, такое утешение на старости лет.

Яся вернулась к идее поступления в театральное училище, но как-то вяло. Вместе с Сонечкой они с удовольствием рукодельничали, то вязали какой-то необыкновенный ковровый свитер для Танечки, то шили на заказчиц, но главным образом все-таки сидели и пили неумеренно черный кофе с медовыми Сониными пирогами. Яся стала постепенно захиревать, и тогда Сонечка разыскала в Польше посредством большой, втайне от Яси ведущейся переписки Ясиных двух теток и бабушку, совсем не аристократического, а вполне скромного происхождения. Снаряженная Соней, Яся уехала в Польшу, где вскоре и завершился канонически сказочный сюжет: вышла замуж за француза, красивого, молодого и богатого. Живет она теперь в Париже, неподалеку от Люксембургского сада, в двух шагах от дома, где было когда-то ателье Роберта Викторовича, о чем она, конечно, не знает.

Дом в Петровском парке, выселенный, с выбитыми стеклами, в следах мелких мальчишеских поджогов, простоял еще много лет никому не нужный. В нем ночевали бродячие собаки и люди. Однажды там нашли убитого человека. Потом обрушилась крыша, и непонятно было, зачем с такой поспешностью расселяли когда-то жильцов по безжизненным окраинам.

Пятьдесят две белые картины Роберта Викторовича разошлись по миру. На аукционах современного искусства каждая вновь появляющаяся приводит коллекционеров в предынфарктное состояние. Работы же довоенные, парижские, стоят баснословных денег. Их сохранилось очень немного, всего одиннадцать.

Толстая усатая старуха Софья Иосифовна живет в Лихоборах, на третьем этаже хрущевской пятиэтажки. Она не желает переселяться ни на свою историческую родину, где гражданствует ее дочь, ни в Швейцарию, где Таня сейчас работает, ни даже в столь любимый Робертом Викторовичем город Париж, куда постоянно зовет ее вторая девочка, Яся.

Здоровье портится. Видимо, начинается болезнь Паркинсона. Книга трясется в ее руках.

Весной она ездит на Востряковское кладбище, сажает на могиле мужа белые цветы, которые никогда не приживаются.

Вечерами, надев на грушевидный нос легкие швейцарские очки, она уходит с головой

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
в сладкие глубины, в темные аллеи, в вешние воды.

Бедные родственники

Рассказы

Счастливые

Каждое воскресенье Берта и Матиас отправлялись к сыну. Берта делала бутерброды, наливала в термос чай и аккуратно обвязывала бумажной веревкой веник. Брала, на всякий случай, банку и все это упаковывала в чиненную Матиасом сумку. Матиас подавал ей пальто, или плащ, или жакетку, и они шли на рынок покупать цветы. Потом у трамвайной остановки они долго ждали редкого трамвая.

С годами Матиас делался все приземистей и все более походил на шкаф красного дерева; его рыжая масть угадывалась по темно-розовому лицу и бурым веснушкам на руках. Берта, кажется, была когда-то одного с ним роста, но теперь она возвышалась над ним на полголовы. В отличие от мужа с годами она становилась как-то менее некрасивой. Большие рыхлые усы, которые в молодости ее портили, хотя и сильно разрослись, стали менее заметны на старом лице.

Они долго тряслись в трамвае, где было жарко или холодно в зависимости от времени года, но всегда душно. Они окаменело сидели – им всегда уступали места. Впрочем, когда они поженились, им тоже уже уступали места.

Дорога, не оставляя места для сомнений, приводила их к кирпичной ограде, проводила под аркой и оставляла на опрятной грустной тропинке, по обе стороны которой, среди зелени, или снега, или сырого нежного тумана, их встречали старые знакомые: Исаак Бенционович Гальперин с ярко-синими глазками, закатно-малиновыми щеками и голубой лысиной; его жена Фаина Львовна, расчетливая женщина с крепко захлопнутым ртом и трясущимися руками; полковник инженерных войск Иван Митрофанович Семерко, широкоплечий, как Илья Муромец, прекрасно играет на гитаре и поет и такой молодой, бедняга; потом со стершимися бабушкой и дедушкой Боренька Медников, два года два месяца; малосимпатичная семья Крафт, рослые, неповоротливые, белотелые, объявившие о себе вычурно стройными готическими буквами; необыкновенно приветливые старики Рабиновичи с рифмующимися именами – Хая Рафаиловна и Хаим Габриилович, всегда в обнимку, со светло-серыми волосами, одинаково поредевшими к старости, сухие, легкие, почти праздничные, взлетевшие отсюда в один день, оставив всех свидетелей этого чуда в недоумении...

За поворотом тропинка сужалась и приводила их прямо к сыну. Вовочка Леви, семь лет четыре месяца, встречал их много лет тому назад выбранной для этого случая улыбкой, отодвинувшей губу и обнажившей полоску квадратных, не доросших до взрослого размера зубов, среди которых темнело место только что выпавшего.

Все остальные выражения его широкого милого лица, мстя за то, что не они были выбраны для представительства, незаметно ускользнули и улетучились, оставив эту раз и навсегда единственную улыбку из всего неисчислимого множества движений лица.

Берта доставала сверток с веником, развязывала узелок, складывала вчетверо газету, в которую он был завернут, а Матиас смахивал веником пыль или снег с незамысловато зеленой скамеечки. Берта стелила сложенную газету и садилась. Они немного отдыхали, а потом прибирали этот дом – ловко, не торопясь, но быстро, как хорошие хозяева.

На маленьком прямоугольном столике Берта стелила бумажную салфетку, наливала в скользкие пластмассовые крышки чай, ставила стопочку сделанных один в один новеньких бутербродов. Это была их семейная еженедельная трапеза, которая за долгие годы превратилась в сердцевину всего этого обряда, начинающегося с заворачивания веника и оканчивающегося завинчиванием крышки пустого термоса.

Глубокое молчание, наполненное общими воспоминаниями, не нарушалось никаким случайным словом – для слов были отведены другие часы и другие годы. Отслужив свою мессу, они уходили, оставляя после себя запах свежeweмытых полов и проветренных комнат.

Дома, за обедом, Матиас выпивал воскресные полбутылки водки.

Трижды налил он в большую серебряную рюмку с грубым рисунком, пасхальную рюмку Бертиного отца, трижды по-коровьи глубоко вздохнула Берта, не умеющая ответить

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru ему иначе. Потом она отнесла посуду на кухню, особенным способом – с мылом и нашатырным спиртом – вымыла ее, вытерла старым чистым полотенцем, и они возлегли на высокую супружескую кровать.

– Ох, ты старый, – сказала шепотом Берта, закрывая маленькие глаза большими веками.

– Ничего, ничего, – пробормотал он, сильно и тяжело поворачивая к себе левой рукой отвернувшуюся жену.

Им снились обычные воскресные сны, послеобеденные сны, счастливейшие восемь лет, которые они прожили втроем, начиная с того нестершегося, всю жизнь переломившего дня, когда она, измученная дурными мыслями, пошла со своей разбухшей грудью и прочими неполадками к онкологу, не сказав об этом мужу. Старая врачиха, сестра ее подруги, долго ее теребила, жала на соски и, задав несколько бесстыдных медицинских вопросов, сказала ей:

– Берта, ты беременна, и срок большой.

Берта села на стул, не надев лифчика, и заплакала, сморщив старое лицо. Большие слезы быстро текли по морщинам вдоль щек, замедляясь на усах, и холодно капали на большую белую грудь с черными курносими сосками.

Матиас посмотрел на нее с удивлением, когда она сказала ему об этом, – он знал давно, потому что первая его жена четырежды рожала ему девочек, но дым их тел давно уже рассеялся над бледными полями Польши. Ее молчание он понимал по-своему и – что тут говорить – никак не думал, что она сама об этом не знает.

– Мне сорок семь, а тебе скоро шестьдесят.

Он пожал плечами и ласково сказал:

– Значит, мы, старые дураки, на старости лет будем родителями.

Они долго не могли выбрать имя своему мальчику и звали его до двух месяцев «ингеле», по-еврейски «мальчик».

– Правильно было бы назвать его Исаак, – говорил Матиас.

– Нет, так теперь детей не называют. Пусть будет лучше Яков, в честь моего покойного отца.

– Его можно было бы назвать Иегуда, он рыжий.

– Глупости не говори. Ребенок и вправду очень красив, но не называть же его Соломоном.

Назвали его Владимиром. Он был Вовочкой – молчаливым, как Матиас, и кротким, как Берта.

Когда ему исполнилось пять лет, отец начал учить его тому, чему его самого обучали в этом возрасте. В три дня мальчик выучил корявые, похожие друг на друга, как муравьи, буквы, а еще через неделю начал читать книгу, которую всю жизнь справа налево читал его отец. Через месяц он легко читал и русские книги. Берта уходила на кухню и сокрушенно мыла посуду.

– О, какой мальчик! Какой мальчик!

Она восхищалась им, но порой холодная струйка, подобная той, что отрывается зимой от заклеенной рамы и как иголкой касается голой разгоряченной руки, касалась сердца.

Она мыла свою посуду, взбивала сливки, которые никогда не взбивались у соседок, пекла пирожные и делала паштеты. Она слегка помешалась на кулинарных рецептах и совсем забыла о бедной пшеничной каше, расплывающейся по дну алюминиевых мисок, о жидких зеленых щах, которые варила из молодой жгучей крапивы, сорванной на задах разваливающегося двухэтажного дома, в котором жило сначала сорок восемь, а в конце войны восемьдесят вечно голодных, больных и грязных детей. Она забыла

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru про голубые нежно-шершавые головы мальчиков, их голо торчащие беззащитные уши, тонкие ключицы и синие вены на шеях девочек. Ее острая любовь ко всем этим детям вообще острым лучом сошлась теперь на Вовочке.

Каждый день своей жизни она наслаждалась близостью рыженького пухлого мальчика, часто трогала его руками, чтобы убедиться в том, что он у нее есть. Она купала его, он кричал, а она восхищенно смотрела на непропорционально большие ступни и сокровенный маленький конус.

Когда он подрос, она с таким же восхищением наблюдала за его детскими играми, похожими на настоящую и скучную работу, – он часами плел из разноцветных полосок коврики, хитро соединял их между собой. Матиас, варшавский портной парижской выучки, работал в закрытом ателье и приносил сыну лоскутки. Сам же и помогал ему резать их на ленточки...

Берта в глубине души стеснялась своей непомерно разросшейся любви, считала ее даже несколько греховной. Не склонная к самоанализу, она не приводила свои ощущения к тому порогу, когда надо их словесно определить, жила, внутренне этого избегая.

Матиас приходил с работы, обедал и садился на диван. Вовочка пристраивался рядом, как пирожок, испеченный из остатков теста, рядом с большим рыжим пирогом. Они читали, разговаривали, а Берта суеверно уходила мыть свою сверкающую посуду...

Во сне она легко, как в соседнюю комнату, входила в прошлое и легко двигалась в нем, счастливо дыша одним воздухом со своим сыном. Муж ее, Матиас, с усами сталинского покроя, молчаливо присутствовал как главная деталь декорации. Сны эти походили на много раз виденный спектакль с наркотическим обаянием, который шел долго-долго и всегда кончался за четверть часа до того, как Берта на вытянутых руках внесла со двора Вовочку – бледного, со свежей царапиной на щеке, следом его утренних трудов над моделью самолета, пришедшей на смену хитроумно сплетенным коврикам. Ворот полосатой рубашки был расстегнут, и на шее, целиком открытой и удлинившейся из-за запрокинутой головы, не билась ни одна жилка.

Все произошло мгновенно и напоминало плохой плакат – большой красно-синий мяч резко выкатило на середину дороги, за ним вылетел, как пущенный из рогатки, мальчик, раздался скрежет тормозов чуть ли не единственной проехавшей за все воскресное утро машины. Мяч еще продолжал свое ленивое движение, успев пересечь дорогу грузовика и утратить к движению всякий интерес, а мальчик, раскинув руки, лежал на спине в последней неподвижности, еще совершенно здоровый, со свежей, не выплеснувшейся ни на каплю кровью, не остановившей еще своего тока в кончиках пальцев, но уже необратимо мертвой.

Матиас стоял возле маленького настенного зеркала с намыленными щеками и задранной подбородком и, отведя правую руку с тяжелым лезвием, примеривался к трудному месту на шее.

...В седьмом часу старики проснулись. Берта сунула худые серые ноги в меховые тапочки и пошла ставить чайник. Они сидели за круглым столом, покрытым жесткой, как фанера, скатертью. Посреди стола торжествовала вынутая из буфета вазочка с самодельными медовыми пряниками. За спиной Матиаса в углу стоял детский стульчик, на котором пятнадцатый год висела маленькая коричневая курточка, собственноручно перешитая им из собственного пиджака. Левое плечо, то, что к окну, сильно выгорело, но сейчас, при электрическом освещении, это было незаметно.

– Ну что же, сдавай, – сказала Берта и потянулась за очками. Матиас тасовал.

Бедные родственники

Двадцать первого числа, если оно не приходилось на воскресенье, в пустоватом проеме между обедом и чаем, к Анне Марковне приходила ее троюродная сестра Ася Шафран. Если двадцать первое приходилось на воскресенье, когда вся семья была в сборе, то Ася приходила двадцать второго, в понедельник, потому что она стеснялась своей бедности и слабоумия.

Часа в четыре она звонила в дверь и через некоторое время слышала из глубины квартиры тяжелые шаги и бессмысленное: «Кто там?», потому что по дурацкому хихиканью за дверью, да и по календарю, Анна Марковна должна была знать, что

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru пришла Ася.

«Это я пришла, Анечка, я мимо проходила, думаю, загляну, может, ты дома...» – целуя Анечкину полную щеку и не переставая хихикать, избыточно и фальшиво говорила Ася... потому что не было ничего очевиднее того, что это пришла она, Ася, бедная родственница, за своим ежемесячным пособием.

Когда-то они учились в одном классе гимназии, ходили в одинаковых серо-голубых форменных платьях, пошитых у лучшего в Калуге портного, носили на пышных грудях одинаковые гимназические значки «КЖГС», на много лет предвосхитившие собой время повальных аббревиатур. Однако эти ажурные буквы означали не «государственный совет» по «К» и «Ж», который мог быть кожевенным или железнодорожным, по моде грядущих лет, но всего лишь калужскую женскую гимназию Саговой, которая, будучи частным заведением, позволяла себе обучать богатых еврейских девочек в той пропорции, которую могло обеспечить реденькое еврейское население насквозь русской полудеревенской Калуги с наглыми козами, блуждающими по улицам будущей столицы космонавтики.

Анечка была отличницей с толстой косой, перекинутой через плечо; в ее тетрадках последняя страница не отличалась от первой, особенно красивой и старательной. У Аси не было такого рвения к учению, что у Ани: французские глаголы, нескончаемые частоколы дат и красивые безделушки теорем влетали в одно ее ухо, полуприкрытое пружинистыми беспорядочно-курчавыми белесыми волосами, и, покуда она рисовала тонко очиненным карандашом карикатуру на подлого преподавателя истории Семена Афанасьевича, вылетали из другого. Ася была живая, веселая и славная барышня, но никто, кроме Анны Марковны, не помнил ее такой...

Глупо покрашенная Ася, слегка подрагивая головой, сняла с себя расшитое черными шелковыми ленточками абрикосового цвета пальто Анны Марковны, которая всю жизнь отдавала ей свои старые вещи и давно уже смирилась с тем, как ловко, иногда одним движением своих прикладистых рук, Ася превращала ее почтенную одежду в лохмотья сумасшедшего. Пришитые Асей черные ленточки в некоторых местах отстали и образовали петли и бантики, и все вместе это напоминало остроумный маскарадный костюм нотной тетради.

Из-под зеленого берета на лоб свисала черная бахрома, гибрид вуали и челки, а на губы была всегда натянута зачаточная улыбка, готовая немедленно исчезнуть – или рассыпаться искательным хихиканьем.

– Проходи, Ася, – приветливо и величественно пропустила ее Анна Марковна в столовую. На ковровой кушетке лежал Григорий Вениаминович, муж Анны Марковны. Он неважно себя чувствовал, пораньше ушел из университета, оставив два лекционных часа своего блестящего курса по гистологии очень толковому, но довольно небрежному ассистенту.

Увидев Асю, он кисло хмыкнул, спросил у нее, как дела, и, не дожидаясь ответа, ушел в смежную со столовой спальню, закрыв за собой двойную стеклянную дверь.

– Гриша себя неважно чувствует, – объяснила Анна Марковна и его дневное присутствие, и исчезновение.

– Я на минуточку зашла, Анечка. В Петровском пассаже есть китайские термосы. Я купила несколько, – соврала она. – Очень красивые. С птичками. Не купить тебе?

– Нет, спасибо. У меня один есть, и он мне совершенно не нужен, слава богу. – В ее голове термос был связан с поездками в больницу, а не с загородными экскурсиями.

– Как Ирочка? – спросила Ася о внучке.

Ей не надо было каждый раз придумывать вопросы, она спрашивала последовательно о всех членах семьи, и обычно Анна Марковна коротко отвечала, иногда увлекаясь и вкладывая в свои ответы подробности, предназначенные для более значительных собеседников. На этот раз первый же вопрос оказался удачным, потому что Ирочка вчера объявила, что выходит замуж, и вся семья, совершенно не подготовленная к этому, была взволнована и несколько огорчена. И поэтому Анна Марковна начала довольно странно рассказывать об этом событии, располагая четко, в два столбца, его плюсы и минусы.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Мальчик хороший, они дружат со школы, он тоже на втором курсе, в авиационном, учится хорошо, внешне ничего, но ужасно длинный, худой, в Ирку влюблен без памяти, звонит каждый день по пять раз, музыкальный – никогда не учился, пришел, сел за пианино, прекрасно, по слуху, любую мелодию подбирает. Семья, конечно, ты понимаешь... – Ася понимающе затрясла головой, – очень простая. Отец – домоуправ, инвалид. Говорят, попивает. – При этих словах Ася довольно уместно захихикала, а Анна Марковна продолжала: – Но мать – очень приличная женщина. Очень достойная. Четверо детей, два старших мальчика в институте, младшие, близняшки, мальчик и девочка, прелестные... – У Анны Марковны все дети без исключения были прелестными. – Я их видела: чистенькие, опрятные, воспитанные. Сережкину мать я знаю давно, она работала в Ирочкиной школе секретарем. Ничего плохого, во всяком случае, про нее сказать не могу. Он, конечно, очень молодой, ни кола ни двора, их обоим еще долго тянуть надо, но не в этом дело. Гриша считает, что они должны жить отдельно. Снимать! Ты представляешь? Ирка, ей надо учиться, а она будет бегать за продуктами, стряпать, стирать, а то и родит... институт бросит! Да я себе этого не прощу!

Наконец Анна Марковна спохватилась, что всего этого Асе знать вовсе не надо. Но Ася сидела с наслаждением на черном дубовом стуле, оперши накрашенную щеку на руку, и счастливо улыбалась, и нетерпеливо дергала веками, выбирая зазор между словами Анны Марковны, чтобы сказать:

– Анечка, а пусть у меня они живут!

– Да ты что, Ася?! – всерьез отозвалась она, представив себе длинную Асину комнату на Пятницкой, в конце коленчатого коридора, возле кухни. Какая-то лавка старьевщика, а не жилье. Все стены в беспорядочно вбитых гвоздях всех размеров, на одном мужское пальто, на другом – блузка, на третьем – открыточка или пучок травы. Запах – невозможный, настоящее жилище сумасшедшего; и повсюду еще стопки газет, к которым Ася питала необъяснимое пристрастие...

Анна Марковна засмеялась – как это она в первое мгновение об этом серьезно подумала?

Ася в ответ на смех тоже послушно засмеялась, а потом спросила:

– А почему нет? У меня и ширмочка есть. Я бы завтрак им готовила. Пусть живут.

Анна Марковна отмахнулась:

– Ладно, сами разберутся. У Ирочки, в конце концов, родители есть. Пусть подумают хоть раз в жизни, а то он привык, – родители незаметно ополовинились до одного зятя, которого не очень любили в семье, – всю жизнь на всем готовом... Давай чаю попьем, Ася, – предложила Анна Марковна и крикнула в открытую дверь: – Нина, поставьте, пожалуйста, чайник!.. А какие у тебя новости, Ася? – спросила вежливо и незаинтересованно Анна Марковна.

– Вот вчера я была у Берты. Она хочет Матиасу пальто купить, а он не дается. У них Рая из Ленинграда гостит. Фотографии показывала своих внушек.

– Сколько им лет? – заинтересовалась Анна Марковна.

– Одна совсем большая, невеста, а другой лет двенадцать.

– Да что ты! Когда это они успели вырасти?

Они плели этот житейский вздор, Анна Марковна – снисходительно, с ощущением выполняемого родственного долга, Ася – чистосердечно и старательно.

Вошла с чайником и поставила его на подставку домработница Нина, красавица с перманентными волосами венником на плечи, с двумя заколками на висках.

Далее разговор дам шел по-французски, что всегда приводило Нину в тихую ярость. Она была уверена, что хозяйка ругает ее по-еврейски.

– Наша новая домработница. Очень хорошая девочка. Дусина племянница, из ее деревни. Это она нам после замужества выписала в подарок, – засмеялась Анна

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru Марковна.

– Очень красивая, – залюбовалась на Нину Ася.

– Да, – с гордостью отозвалась Анна Марковна, – настоящая русская красавица.

У Анны Марковны была легкая рука – устраивать жизнь деревенских девушек, своих домработниц. Они учились в вечерней школе, куда их непременно устраивала Анна Марковна, ходили на какие-то курсы, потом выходили замуж и приходили в гости по праздникам с детьми и мужьями.

Чай пили из богатых синих чашек. В розовые розетки из такого странного стекла, что они казались оббитыми, Анна Марковна положила зеленое варенье из крыжовника, сваренное по редкому рецепту, который она считала своим достоянием.

– Какое варенье у тебя красивое! – восхитилась Ася.

– А помнишь наши уроки домоводства?

– Конечно, сама Лидия Григорьевна Салова вела. У меня всегда хуже всех получалось, – с парадоксальной гордостью поддержала Ася.

– Помнишь, торт именной всегда пекли ей на день ангела... Да, да, – спохватилась Анна Марковна, что много времени даром потратила, – у меня тут для тебя кое-что приготовлено. Вот, ночная рубашка, зашьешь немного, она крепкая, перчатки верблюжьих Гришины, ну и там по мелочи, – не вдаваясь в унизительные подробности, поскольку на стуле были стопкой сложены заплатанные женские трико...

Доисторическая сумочка с большим черепаховым замком на устах торопливо проглотила всю эту мануфактуру вместе с четырьмя завернутыми в салфетку кусками пирога и банкой с рыбой. Их часовое свидание приближалось к кульминации – и к развязке. Анна Марковна вставала, шла в спальню, звенела там ключами от шкафа и через минуту выносила оттуда заготовленный заранее серый конверт с большой радужной сторублевкой – не по теперешнему, разумеется, счету.

– Это тебе, Асенька, – с оттенком торжественности передавала она конверт. Ася, которая была намного выше Анны Марковны, по-детски краснела и сутулилась, чтобы придать происходящему правильную пропорцию: она, маленькая Асенька, принимает подарок от своей большой и старшей сестры. В обе руки она брала конверт, набитая туго сумка висела на искривленном запястье, и она пыталась одновременно снять ее с руки, расстегнуть и засунуть большой конверт в набитую туго сумочку...

Свидание было окончено. Анна Марковна провожала гостью в прихожую, с колыхнувшейся сердечностью целовала ее в накрашенную щеку, и Ася, испытывая облегчение, слегка унижающее ее искреннюю любовь и безмерное почтение к троюродной сестре, скатывалась чуть ли не вприпрыжку со второго этажа, легкими худыми ногами отмахивала по Долгоруковской до Садового кольца и ровно через сорок минут была в Костянском переулке, у своей подружки Маруськи Фомичевой.

На шаткий стол, припертый к сырой стене, она выгружала богатые подарки. Поколебавшись минуту над верблюжьими перчатками, она выложила их, а под стопку с чиненым бельем засунула большой серый конверт.

– Ишь ты, ишь ты, Ася Самолна, балуешь ты меня, – бормотала скомканная полупарализованная старуха.

И Ася Шафран, наша полоумная родственница, сияла.

Бронька

Как рассказывала впоследствии Анна Марковна, Симку прибило в московский двор волной какого-то переселения еще до войны. Извозчик выгрузил ее, тощую, длинноносую, в завинченных вокруг худых ног чулках и больших мужских ботинках, и, громко ругаясь, уехал. Симка, удачно отбредиваясь вслед и крутя руками как ветряная мельница, осталась посреди двора со своим имуществом, состоящим из огромной пятнастой перины, двух подушек и маленькой Броньки, прижимавшей к груди меньшую из двух подушек, ту, что была в розовом напернике и напоминала дохлого поросенка.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru Заселив, к неудовольствию прочих жильцов, каморку при кухне и вынудив тем самым разнести по комнатам хранившийся там хлам, главным образом дырявые тазы и корыта, она не вызвала к себе большой любви будущих соседей, обитателей одного из самых ветхих строений сложно разветвленного двора.

Но операцией руководил управляющий домами Кузмичев, одорукий негодяй и доносчик, и все смолчали. Какой прок Кузмичеву было заселять в каморку Симку, так никто и не узнал, но явно не за Симкину красоту. Видимо, она как-то удачно заморочила ему голову, на что, как выяснилось, она была большой мастерицей.

Симка вымыла общественной тряпкой пол в каморке – тряпку в жилистых руках она держала с нежностью и твердостью профессионала, – на просохший пол поверх газет положила свою пухлую перину и обратилась к соседке Марии Васильевне с коренным вопросом:

– Послушайте, Мария Васильевна, а вообще где здесь живут интеллигентные люди?

Мария Васильевна, разгадав молниеносно извилистый вопрос, прямым ходом направила Симку к Анне Марковне, и через несколько минут Симка сидела перед белой скатертью, держа в руках синюю кобальтовую чашку с золотым ободком, а бедная Анна Марковна, сочувственно кивая нарядной серебристо-курчавой головой, так что вспыхивал синий огонек то в одной, то в другой длинной мочке, прикидывала, сколько и чего надо дать просительнице и как одновременно оградить себя от ежедневных покушений простодушной нахалки.

Тончайшее взаимопонимание было полным, ибо Симка, рассказывая о своих злоключениях, отчасти вымышленных, виртуозно обходила подлинные события, оставляя то незаполненный пробел, то темную цензорскую вымарку, а Анна Марковна тактично не задавала тех вопросов, которые могли бы расстроить приблизительное правдоподобие повествования. Достоверным было лишь то, что Симка, похоронив мужа, сбежала из доморощенного Сиона, раскинувшегося на берегах Амура, невзирая на все препоны властей, начальств и небесных сил.

Через некоторое время Симка вынесла от Анны Марковны небольшое приданое, в котором было все – от керосинки до мелкой пуговицы. Одновременно с этим Симке было дано понять, что в случае необходимости она может обращаться за помощью, но к чаепитиям ее приглашать не собираются. Симку это вполне устраивало.

Как ни странно, она быстро вписалась в общественную жизнь. Двор принял ее, оценив острый язык и совершенно непривычный вид скандальности – с оттенком добродушия и готовности посреди самого крутого соседского междоусобия залиристо рассмеяться, обхватив руками грудную клетку, в которой самым выдающимся местом был мощный и костистый, как у старой курицы, киль, и тряся рогатым узлом завязанного надо лбом платка.

В карьере ее тоже наблюдался если не взлет, то рост: она по-прежнему была уборщицей, но из конторы управления домами она перешла сначала в заводоуправление, а потом, уже перед самой войной, ее взяли в Наркомздрав.

В работе она была азартна и неутомима, начинала свой рабочий день в шесть утра на казенной службе, потом бежала домой кормить дочку, а потом еще справлять уборку мест общего пользования чуть ли не в половине квартир соседнего, приличного, постройки начала века и заселенного итээровцами дома. Так вертелась она с пяти утра до поздней ночи и жила не хуже других.

Самой удивительной Симкиной чертой было непомерное тщеславие. Она нахваливала свою половую тряпку, сшитую из мешковины лучшего сорта; развешивая весной для проветривания свою необъятную перину, она раздувалась от гордости так, как будто на веревке перед ней качалась по меньшей мере соболья шуба; она перевозносила своего покойного мужа, лучшего из покойников; даже полное отсутствие зубов в собственном рту она рассматривала как интереснейший факт, достойный если не восхищения, то удивления.

Главным пунктом, возносящим ее над всем прочим человечеством, была ее дочь Бронька, которая незаметно росла, лежа животом на подоконнике полуподвального окна и разглядывая круглогодично меняющийся куст сирени и неизменно обтрепанные штаны мальчишек, пробегающих мимо окна в поисках неизвестно куда улетевшего деревянного чижа.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Бронька была и впрямь существом особенным, нездешним – с какой-то балетной летучей походкой, натянутым, как тетива, позвоночником и запрокинутой головой. Материнского нахальства не было в ней и следа. Взгляд ее был всегда вверх или мимо. Первыми бросались в глаза рыжеватые, растительно-пышные волосы да низкий, изысканной фигурной скобкой очерченный лоб, и лишь потом, при особо внимательном рассмотрении, видна была вся прочая ее красота, собранная из мелких неправильностей: чуть под углом поставленных прозрачно-белых передних зубов, немного приподнятой верхней губы и таких больших светло-желтых глаз, что, казалось, они сдавливали переносицу и простирались до висков. И ко всему этому – обаятельно-сонливое выражение, как будто она только что проснулась и пытается вспомнить ускользнувший сон.

На групповой школьной фотографии сорок седьмого года двенадцатилетняя Бронька не смотрит в объектив. Она отвернулась: видна лишь часть щеки и толстая колбаса косы, скрученной над ухом.

Раздельное обучение уже ввели, но формы еще не узаконили. Одеты разномастно, но опытный взгляд определит одну общую особенность – все в перешитом, в комбинированном, в перелицованном.

Впрочем, две девочки в передничках старорежимного покроя. Это Бронька и внучка Анны Марковны, преданной по гроб жизни гимназическим представлениям о мире, заслуживающим глубокого, но запоздалого уважения. Ирочка, в соответствии с идеалами бабушки, в темном платье с белым воротничком, имитирующем грядущую форму, Бронька – в шерстяной кофточке и сатиновых нарукавниках. Все дети мелкие, недокормленные, толстяков нет. Про нарушения обмена веществ стало известно позже, в более сытые времена. Бронька стоит немного боком, и заметно, что под фартучком ее проросла вполне заметная возвышенность.

Через два года, в седьмом классе, Бронька была с позором изъята из школы чуть ли не на последнем месяце беременности. Как это ни смешно, беременность Броньки классная руководительница Клавдия Дмитриевна, старая дева с черной круглой гребенкой в макушке, заметила раньше, чем дошла Симка.

Симку вызвали в школу и оповестили.

Симка исследовала и убедилась.

Ее визг и вой оглушил ко всему привычную Котяшкину деревню – так поэтически назывался двор. Звуковая партитура действия, развернувшегося в Симкиной камерке, включала в себя, кроме проклятий на общедоступном русском языке и малопонятном еврейском, все возможные вокализы на «а-а», «о-о» и «у-у», звон стеклянной и грохот металлической посуды, а также треск кое-какой мебели и шлепки оплеух.

Справедливости ради надо сказать, что Бронька звуков никаких не издавала, что в конце концов так обеспокоило соседей, что они вломились всем миром, облили Симку водой, увели белую и совершенно бесчувственную Броньку, а потом, поочередно и хором, стали внущать Симке, что дело житейское, со всеми случается и не надо так уж убиваться.

Анна Марковна, посетившая знаменитое родительское собрание с бурным обсуждением, самоотверженно заменив свою дочь, женщину слабого здоровья, которую тошнило от одного только приближения к школе, на вопрос внучки Ирочки относительно Броньки сухо ответила, что у Броньки будет ребенок и больше в школе она не появится. При этом Анна Марковна так поджала губы, что стало понятно: никаких увлекательных подробностей Бронькиной биографии сообщено не будет.

Беременность свою Бронька доносила, не выходя из камерки, но, когда родился ребенок, как ни в чем не бывало она вылезла с младенцем на прогулку. Она стояла в палисаднике, чуть левее крыльца, с ребенком в руках, и прогулка ее продолжалась ровно полтора часа.

Первое время дворовые мальчишки пытались высказать ей свое отношение к происшедшему, а также делали разнообразные предложения, связанные с посещением чердака или сараюшки, но Бронька поднимала свои прозрачные глаза, бесстыдно и снисходительно улыбалась и никогда не достаивала их ответом. Она и прежде была молчалива, малообщительна и по-своему независима, а теперь она и с матерью почти

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru перестала разговаривать.

Для Симки это было дополнительным мучением. Она долго пыталась дочь, кто осчастливил ее потомством. В душе она лелеяла облегчительную версию изнасилования. Но Бронька молчала, как скала, не проявляя никакого смущения. Это приводило Симку в полную ярость, но ничто не могло поколебать этого несколько даже слабоумного спокойствия Броньки. Пожалуй, выражение ее лица можно было назвать счастливым.

Рождение ребенка вместе с нераскрытой тайной отцовства отнюдь не разрушило Симкиного тщеславия. Мальчик, которого называли Юрочкой, вышел в другую породу – темненький, сероглазый, и Симка, восхищаясь его правильной миловидностью, все всматривалась в его черты, надеясь уловить сходство. С кем? Неизвестно...

Поведение Броньки как до рождения ребенка, так и после было безукоризненным. Она и раньше не толкалась по подворотням и чердакам, не заглядывала в голубятни к проворным молодцам в повернутых назад козырьками кепках, а теперь, при младенце, она пролетала своей балетной походкой в магазин, когда ее посылала за чем-нибудь мать, и совсем уж бегом неслась обратно, боясь оставить младенца без своего личного присмотра на лишнюю минуту. Вечерами обычно она сидела в своей клетушке на кровати и если не кормила, то просто любовалась спящим сыном.

Симка, проникаясь иногда взбалмошным сочувствием к одиночеству дочери, гнала ее из дому: пошла бы, что ли, в гости, к подружкам! Но Бронька пожимала плечами и отказывалась. Те школьные девочки, с которыми она недавно ходила в седьмой класс, смотрели на нее издали округлившимися от ужаса глазами и вовсе не испытывали желания поддерживать с ней отношения. Только отважная Ира подошла однажды к прогуливающей ребенка Броньке и попросила разрешения на него посмотреть. Бронька отвела от лица сына простынку, и ее бывшая одноклассница восхитилась:

– Вот это да! Хорошенький какой!

И ушла, смутно размышляя о том, что при всем ужасающем стыде такого события ребеночек очень симпатичный, а Бронька принадлежит отныне к миру более серьезному, чем тот, в котором пребывают теорема подобия треугольников, выборы в учком и скакание через кожаного козла. Для своих четырнадцати лет, принимая во внимание общую оголтелость того времени, Ира была девочкой неглупой, хотя дружить ей с Бронькой было совершенно «не о чем».

К тому времени, как мальчик Юрочка пошел и стал лепетать свои «баба» и «мама», обнаружилось, что Бронька опять крепко беременна. Симка на этот раз не устроила скандала, но произвела строгое разыскание. Она унизилась до того, что расспрашивала Марию Васильевну, не ходит ли кто к Броньке, пока она, Симка, на работе. Соседки, обсудив и осудив на кухонном собрании всесторонне Бронькино поведение, все же единодушно признали, что мужиков к себе Бронька не водила. По крайней мере, никто ее на этом не накрыл. Вела она себя при этом так тихо и скромно, так смиренно и безразлично выслушивала полагающиеся ей всякие слова, что общаться с ней соседям было неинтересно. Пожалуй, ее даже жалели.

Так или иначе, родился второй мальчик, в точности похожий на первого, тоже темненький, смугловатый, с серыми круглыми глазами. Бронька – вместо того чтобы рвать на себе волосы – была совершенно счастлива, играла с детьми, как молодая кошка с котятками, кормила младшего грудью, не отказывала иногда и старшему. Он был умненький и, отсосав дочиста после младшего брата остатки молока, говорил «спасибо».

С самого рождения младшего Юрочка воспылал к нему нежным чувством, которое с годами несколько не умалялось. Дети были улыбочивыми, ласковыми, соседи их любили и баловали чем могли, жалея Симку и дуреху Броньку. Кто совал пирожок, кто печенье.

Виктор Петрович Попов, старый фотограф на пенсии, проживавший одиноко в восемнадцатиметровой, самой большой в квартире комнате, иногда пускал их к себе играть. Они садились на полу, на мелкорисунчатом красном ковре, а он вырезал им из черной бумаги зверей и велосипеды...

А Бронька опять стала беременная. Симкина еврейская душа, закаленная в

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
тысячелетних огнях и водах диаспоры, вкупе с собственным дважды переселенческим опытом, не выдерживала этого наваждения: дочь приносила что ни год по ребенку, ни одного мужика не было и в помине. Симка выбивалась из сил. Стала попивать.

Теснота в каморке была такая, что Симка с двумя детьми спала на своей знаменитой перине, а Бронька ставила себе раскладушку на кухне, возле двери каморки, и спала там, привязанная за ногу веревкой, которую Симка, отроду не читавшая Боккаччо, держала в своей крепкой руке. Третья Бронькина беременность, уже всем заметная, не ослабляла тщетной материнской бдительности.

Новенький Бронькин сын Гришка родился в день ее рождения, когда ей исполнилось семнадцать лет. В отличие от своих старших братьев он был болезненным и крикливым. Бронька до года не спускала его с рук. Он несуразно двигал ручками, кривил обиженно рот, и Симка прикипела к нему душой.

Старшие, Юрка и Мишка, целыми днями вертелись на кухне, пока старуха Кротова не вылила однажды на Мишку кастрюлю горячего супа. С этих пор Бронька перестала выпускать их на кухню, и, если погода была плохая, они сидели в комнате старого Попова, который вырезал им из черной бумаги целый мир, населив его диковинными безмянными зверями, читал сказки Андерсена и никогда не проявлял ни усталости, ни раздражения.

Младшенький постепенно выправлялся, хотя ходить стал поздно, после полутора лет, и задерживался немного в развитии. Бронька возилась с ним больше, чем со старшими, но ее усиленные заботы о детях не помешали ей в положенный срок забрюхатеть. Соседи уж и удивляться перестали такой детородной способности. Симка же к рождению очередного внука стала относиться с той же неизбежностью, как к смене сезонов.

Последний сын Броньки, Сашка, был того же смугло-сероглазого образца, родился он незадолго до смерти старого фотографа, и в самый день похорон Симка, Бронька и четверо детей после небольших поминок и крупного кухонного скандала, разразившегося по поводу самовольного вселения Симкиных потомков в бывшую поповскую комнату, въехали туда и зажили по-царски.

В первый же вечер подвыпившая Симка кричала на кухне Броньке, моющей под краном детские бутылочки – молока у нее на четвертого не пришло:

– Шлюха ты, Бронька, шлюха! Я смолоду одна из-за тебя осталась! Ты думаешь, я замуж выйти не могла? Рожай, рожай, не стесняй себя! На восемнадцать-то метров этого гороха во-он сколько уложить можно! – и плакала, стряхивала со щек слезы.

Бронька дернулась, бутылочки звякнули о металлическую раковину. Руки ее пошли вверх, она вся запрокинулась и упала на цементный пол.

А потом Бронька успокоилась. Младшему исполнился и год, и три, и Юрочка уже пошел в школу, в ту самую, из которой его когда-то выгнали вместе с матерью. Школа была уже не раздельнополой, а общей. Девочки ходили в гимназических формах, мальчики были стрижены наголо, и только некоторые, богема и вольнодумцы, от молодых ногтей обрекли себя на противостояние обществу, носили прозрачные, как рыбий хвост, чубчики. Учился Юрочка у тех самых учителей, которые учили, да ничему хорошему не выучили его непутевую мать.

Бронька пошла работать в булочную уборщицей. При булочной была пекарня, и кроме зарплаты Броньке давали хлеба – сколько съест, и четверо ее ребят на этом припеке росли один в одного, рослые, крепкие. Даже болезненный Гришка выравнился, и были они ровные, как дети одного отца.

Во дворе, среди сверстников, они верховодили, да и как было противостоять их братскому фаланстеру. Время от времени отворялась форточка, и Симка хрипло кричала:

– Юрка, Мишка, Гришка, Сашка, домой! – и была какая-то смешная музыка в этом гортанном выкрике. Теперь Симкино тщеславие кормилось от этих исключительных, таких удачных, таких талантливых – слава богу! – и таких умных – боже мой! – и здоровых – тьфу-тьфу не сглазить! – мальчиков.

Потом настали новые времена. Казалось даже, что именно с Котяшкиной деревни они

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru и начинались. Ходили слухи, что ее снесут. Симка, пронырливая Симка, еще загодя устроилась работать в райисполком уборщицей, какая-то комиссия перемерила ей комнату, и оказалось, что в ней не восемнадцать метров, а семнадцать и восемь десятых, и стало приходиться меньше трех метров на человека, и они получили трехкомнатную квартиру раньше всех, еще до всеобщего выселения.

Никто не верил, пока Симка не повезла соседей на эту самую Вятскую улицу, за Савеловским вокзалом, куда ходил трамвай прямо от Новослободской, и показала эту самую квартиру, даже с ванной.

Первое время Бронькины мальчишки часто приезжали в старый двор, а потом привыкли к новому, да и старый стал меняться: ветхие строения, деревянные сараи и голубятни сносили, жильцы разъезжались. Кончились последние остатки провинциальной Москвы с немощеными дворами, бельевыми веревками, натянутыми между старых тополей, и пышными палисадами с лопухами и золотыми шарами...

Ирина Михайловна, полная и немолодая уже женщина с серебристо-курчавой головой и синими огоньками алмазов в длинных мочках ушей, промахнулась со временем. Она должна была встретиться со своим мужем Сергеем Ивановичем на площади Маяковского в семь часов, но заседание кафедры отменилось, и у нее образовалось окно в два с лишним часа. Ехать домой было не с руки, поскольку они собирались с мужем в гости на другой конец Москвы.

Она приехала на площадь много раньше назначенного времени, намереваясь зайти в магазин «Малыш» и купить что-то внуку, но магазин был на ремонте, и она стояла в растерянности, оказавшись в пустом не запланированном и не расписанном на минуты заранее времени. Она огляделась по сторонам обновленным и бесцельным взглядом и увидела то, чего лет тридцать не замечала: постепенно, исподволь изменилась площадь, мало осталось домов того раннепослевоенного времени, когда она бегала к памятнику на свидание к Сереже; и какая стоит хорошая дымчатая осень, без сильного света, но и без ранних дождей.

Ирина Михайловна впала в не свойственное ей элегическое настроение. Ей некуда было спешить, было прекрасно.

Она купила зачем-то букет мелких разноцветных астр, улыбнулась его жизнерадостной безвкусице, а потом подошла к филармонической будочке, торгующей билетами, и стала изучать большой лист с перечислением абонементов.

Сидящая в будочке женщина, вытянув шею, с не меньшим интересом изучала самое Ирину Михайловну, а изучив, окликнула:

– Ира! Ирочка!!

Ирина Михайловна посмотрела на женщину, и сердце ее защемило: лицо было таким родным, мучительно знакомым, словно бы выученным когда-то наизусть. Фигурная скобка лба, узкий носик, тонкая переносица и по-египетски, до висков раскинувшиеся глаза, – лицо незабываемое и забытое, как многожды виденный сон... в детстве... в детстве... еще одно усилие памяти, еще один нырок на заповедное дно.

– Не узнаешь? – умоляюще улыбнулась женщина, и продольная вмятинка обозначилась на щеке. – Неужели не узнаешь?

– Господи! Бронька! – изумилась Ирина Михайловна, которая мысленно перебирала самых отдаленных родственников по отцовской линии.

– Я, Ирочка, я! Бронька! – И радость в ней была такая, что Ирина Михайловна даже смутилась. А Бронька моргала ресницами и собиралась плакать. Она закрыла окошечко и выбралась из будки. – Подожди, подожди, ради бога, – зачастила она. – Ты ведь не спешишь? – с надеждой в голосе спросила она. Выйдя из будки, она оказалась такой же маленькой и худенькой, как в детстве.

Она обхватила Ирину и, уткнувшись ей в бок, уже сквозь быстрые легковесные слезы говорила скороговоркой:

– Ирочка! Ой, Ирочка! Да как же я рада, что ты нашлась! Ты ведь у меня одна подруга была, других не было... Если бы ты знала, что ты для меня в детстве значила... Ведь единственная подруга... Я помню, помню, как ты Юрочку просила

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru показать... И бабушка твоя... она нам помогала... Ирочка, вот радость-то... – Бронька смахнула со щеки слезу.

Ирина Михайловна слегка забеспокоилась: неожиданность узнавания, легкое волнение от касания к детству уже прошло, а Бронька, судя по настораживающе-истерической ноте, была немного не в себе – так показалось Ирине, человеку сдержанному и не расположенному к открытым эмоциям.

– Пойдем ко мне, я тут совсем недалеко, рядом, три минуты, – умоляюще предложила Бронька.

Ирина посмотрела на часы – пустого времени было два часа.

– У меня есть минут сорок, я с мужем договорилась здесь встретиться, – ответила Ирина, а Бронька уже засовывала в большую кожаную сумку кипу билетов и запирала будку.

Тут только заметила Ирина Михайловна, что выглядит Бронька невероятно молодо и одета в зеленый лайковый костюм, которые отнюдь не на каждом углу продаются.

– Пойдем, пойдем же, – теребила Бронька Ирину и уже волокла куда-то через дорогу. – Я тут рядом. А мама, мама как тебе обрадуется... – И снова Бронька говорила о том, как Ира была ее единственной подругой во все времена ее ужасного, невыносимого детства...

– А мама-то жива, подумать... сколько же ей лет? – удивилась Ирина.

– Восемьдесят четыре. Инсульт у нее был, ходит с палкой, скандалит. С памятью не все, конечно, в порядке, забывает, что близко... А прошлое помнит очень хорошо. Не хуже меня, – с оттенком умной грусти сказала Бронька.

Они вошли в хороший, из тех, что прежде назывались генеральскими, дом, в приличную квартиру. Когда хлопнула дверь, раздалось шарканье и стук палки. В коридор вышла Симка, сморщенная, воспаленно-красного цвета, голова ее была повязана косынкой, все тем же фасоном – козой, с двумя рожками надо лбом. Двумя руками она опиралась о палку, подволакивала левую ногу, сухое личико ее было искривлено съехавшим вниз ртом.

– А, это ты пришла, я думала – Лева, – не совсем внятно произнесла старая Симка.

– Мама, Лева уехал в командировку, в командировке Лева, – крикнула Бронька, а Ирине сказала тихо: – Муж в командировке вторую неделю, а она никак запомнить не может. – И снова, близко к крику: – Мама, ты посмотри, кто к нам пришел! Это Ирочка, внучка Анны Марковны. Ты помнишь Анну Марковну, в старом дворе?

– А-а, – кивнула Симка. – Конечно, я помню Анну Марковну. Она жива? Нет?

– Давно умерла. Почти двадцать лет, – ответила Ирина, испытывая странное чувство замешательства. – И бабушка, и дедушка, и мамы давно уже нет.

– Анна Марковна была хорошая женщина, – снисходительно, словно от ее мнения зависело нынешнее благосостояние покойной. – Она меня очень уважала, очень уважала, – с гримасой гордого достоинства выговорила с некоторым трудом Симка.

Ирина Михайловна никак не могла вспомнить ее отчества. Не могла – потому что никогда его и не знала. Никто никогда не знал отчества Симки – по крайней мере, в те времена...

Бронька отвела мать в дальнюю комнату. Ирина огляделась: безликое жилье со стандартной, как у самой Ирины, стенкой, множество дорогой музыкальной техники.

– Я чайник поставлю, – сказала Бронька. – У меня конфеты есть «юбилейные», большая редкость теперь...

Широкие рукава шелковой блузки красиво летали за тонкими Бронькиными руками, когда она доставала конфеты с высокой полки. Она подняла руку, поправила заколку в волосах, в русых, еще сохранивших рыжий отсвет волосах, и все жесты ее казались Ирине необыкновенно женственными, красивыми. А Бронька все бормотала

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru свое:

– Ирочка, сколько лет, Ирочка. Боже мой, сколько же лет...

«А Бронька–то красавица», – вдруг догадалась Ирина. Раньше ей и в голову такое не приходило. Была замухрышка на тонких ножках, рыжая, хмурая.

«В те годы мы такой красоты не понимали, – подумала Ирина. – Она была слишком тонка по тем временам».

Бронька поставила на стол синие кобальтовые чашки с густым золотом внутри. Знакомые, знакомые чашки. Ирина очень отчетливо вдруг увидела, как молодая Симка с синей чашкой в руках сидит перед жесткой белизной их семейного стола и как бабушка, склонив набок голову, слушает скороговорную, не совсем понятную речь, пересыпаемую еврейскими словами и резкими жестами, которые все кажутся невпопад, а она, Ирочка, сидит под золоченым круглым столиком в углу комнаты и смотрит на странную гостью через бежевую бахрому скатерти, свисающей до самого пола.

– Как мальчики твои? – спросила Ирина.

– Хорошо, Ирочка. Взрослые. Мало сказать взрослые... Сейчас покажу, – и вынула шкатулку, а из нее пластиковые стопки ярких цветных фотографий. – Это Юрочка, он в Калифорнии живет, вот. Инженер по электронике, какое-то дело у него большое. Богатый. Не по-нашему, по-настоящему. Это жена его, трое детей. Американцы. Девочки красивые, правда? А это Мишка. Он врач–невропатолог. Он там образование получил. Юрочка ему помог. Это мои американцы. Это Мишина жена, китайка. Представь, на китайке женился. У них там, в Америке, все перемешано. Особенно в Калифорнии.

Ирина с интересом смотрела на красивых крепких людей, на неестественно яркую, фальшивую по цвету жизнь, а Бронька взяла скромную стопку черно-белых и продолжала:

– А Гришка и Саша здесь, с нами. То есть не с нами. Гришенька на Вятской живет. Развелся он, как-то неладно у него, а Саша в Ленинграде. Внуков нарожали. Три девочки у нас есть, Джейн и Лиза у Юры и вот эта, Лилечка, Сашина. А это Левы, мужа моего, дочка от первого брака. Сейчас чай принесу. – Бронька улыбнулась и вышла.

Перед Ириной лежала горка фотографий, так же далеко отстоящих от подлинной жизни, как Бронька в сером деревенском платке, с ребенком, завернутым в тяжелое ватное одеяло, слева от крыльца, почти сорок лет тому назад, – с той только разницей, что эти фотографии были лживы и реальны, а облик Броньки того времени правдив, но не воплотим...

– Ах, как я рада, как я рада тебя видеть, – с простодушным многословием повторяла Бронька. – Но ты расскажи о себе, как ты-то живешь? Что делаешь?

Ирина улыбнулась, пожала плечами – она жила хорошо.

– Хорошо, – сказала она, – дочка... в аспирантуре, внук, муж профессор, я преподаю... доцент, в институте.

И вдруг в душе ее возникла необъяснимая тень недовольства своей жизнью, неловкости за свое полное и заслуженное благополучие. «Да нет, глупости, – промелькнуло в мыслях, – чего же плохого в том, что родители дали мне хорошее образование и обеспечили всем необходимым для жизни и мы все то же дали своей дочери...» И она, вернувшись глазами к фотографиям, сменила тему:

– Хорошие фотографии... Я очень люблю фотографии...

– Да? – со странным выражением спросила Бронька. – Ты действительно любишь фотографии?

Ирина кивнула.

Бронька исчезла в смежной комнате, что-то там грохнуло, посыпалось, прошло еще несколько минут, и она появилась, держа в руках довольно большую пыльную папку.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Сдула пыль и положила ее перед Ириной:

– Посмотри вот эти.

Ирина развязала тесемку папки. Сверху лежала старинная бледно-коричневая фотография крупного формата.

Совсем юный темноволосый студент со свежими, недавно отпущенными усами сидел в кресле, расслабленно положив правую руку на маленький круглый столик, в центре которого, на месте предполагаемой вазы с цветами, лежала новая фуражка. Смутная улыбка бликовала на губах, бодро сверкали металлические пуговицы необношенного мундира.

На шелковистом коричневом картоне стоял золотой факсимильный росчерк и строгий штампик: Салонь Теодора Гросицкого, Ново-Ивановский Спускъ. Саратовъ.

– Теодор Гросицкий был из семьи ссыльных поляков, огромный человек, пьяница и задира. Но был он очень добрым и удивительным мастером в фотографии. На спор пошел он в ледолом через Волгу и не вернулся. Утонул. Один из его фотоаппаратов долго хранился у нас, а потом дети его уничтожили, – с неожиданной интонацией смотрителя музея сказала Бронька.

На следующей фотографии, тоже приклеенной на коричневато-серый картон, на фоне темного мелкорисунчатого ковра, подтянув колени к подбородку и обхватив руками маленькие голые ступни, в чем-то светло-кружевном, дамском, сидит юная девушка, удивительно похожая на Броньку.

– Красивая фотография, правда? Мастер делал, – улыбнулась Бронька и положила перед недоумевающей Ириной еще одну: из овала смотрела еще одна Бронька, в маленькой, нэповских времен, шляпке с большим бантом; волосы густо лежат на плечах, вид томный и лукавый. Фотография по виду старинная.

– Да, да, я, – подтвердила Бронька. – Пятнадцати лет.

А в руках у нее была уже небольшая, формата открытки, фотография того же красивого студента, на этот раз в косоворотке с незастегнутыми верхними пуговицами, рядом с юной, но как будто слегка располневшей Бронькой, защищенной от солнца пыльным сборчатым зонтом.

– Вот здесь, – Бронька указала в глубь фотографии, – была беседка, оттуда – спуск к реке. После дождя глиняные ступени становились ужасно скользкими, и поставили легкие металлические перильца, выкрашенные в белый цвет.

«Бред какой-то. Видимо, это какая-то очень похожая женщина на фотографии, а Бронька... Бронька на почве этого сходства сошла с ума», – объяснила себе Ирина странные Бронькины слова.

Рядом легла еще одна фотография, с уже знакомым сюжетом: тот же молодой студент в кресле, те же крупные и мелкие складки занавеса, но по левую сторону, симметрично, в таком же кресле сидит тоненькая девушка с подобранными вверх, закрученными на широкую ленту дымчатыми волосами. Она смотрит на молодого человека, он смотрит в объектив. Девушка все та же.

– Странно, не узнаешь! И это я. А фотография сделана в одиннадцатом году, и я прекрасно знаю все обстоятельства этого дня, и дом, и улицу, где все это было...

«Определенно сумасшедшая, – подумала Ирина. – Нелепость какая-то или детское бессмысленное вранье?»

Бронька правильно прочла Ирины мысли.

– Нет, я не сумасшедшая. Рассказать? – Бронька опустила подбородок в ладони, оттянув вверх щеки. Лицо ее окитаилось, но не стало некрасивым. – Действительно рассказать?

Ирина кивнула.

– Ты, Ирочка, единственный человек, который еще может его помнить... Скажи,

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
помнишь Виктора Петровича Попова?

– Попова? – переспросила Ирина. – Нет, не помню.

– Старый фотограф, он иногда ходил к твоему деду в шахматы играть. Высокий, худой, по виду барин. Не помнишь?

– Нет. К деду много народу ходило. Ученики, друзья. А в шахматы он играл обычно со своим ассистентом Гречковым. Попова не помню, нет.

– Жаль, – вздохнула Бронька. – Впрочем, теперь это не важно, фотография эта – монтаж. И эта, – она ткнула пальцем в себя с зонтиком. – Здесь он был со своей сестрой. Он очень любил меня фотографировать. Он был не просто фотограф, он был художник, актеров снимал и для музеев фотографии делал. Что-то он переснимал, клеил, ретушировал. Один раз театральный костюм принес – сфотографировал меня в нем. Он, Ирочка, считал меня красавицей. – Бронька засмеялась тихим глуповатым смехом. – Ты правильно, правильно подумала. Конечно, я сумасшедшая. В детстве я была совершенно сумасшедшая. Жила как во сне. Как в кошмарном сне. Мне все казалось, что вот проснусь, и все будет хорошо и правильно. Хотя как правильно – я понятия не имела. Я только твердо знала, что не могут так люди жить, как мы жили. Так есть, спать, разговаривать. Мне все казалось – сейчас это кончится и начнется другое, настоящее. Я все ждала, каждую минуту, что все это распадется и исчезнет и настанет новая, правильная жизнь, без этого безобразия... А, ты этого не знала. Белая скатерть и синие чашки на столе – о чем моя мать мечтала, это же все у тебя было, может, ты и не знаешь этой детской тоски, а может, это было такое психическое расстройство.

Ирина внимательно слушала Броньку – ошеломленно и с тонкой неприязнью: не должно было быть у этой маленькой бывшей потаскушки, посмешища всего двора, таких сложных чувств, глубоких переживаний. Это нарушало представления о жизни, которые были у Ирины Михайловны тверды и плотны...

– Ах, как жаль, что ты не помнишь Виктора Петровича, – продолжала Бронька. – Он был наш сосед. Мать просила его, чтоб он помог мне по математике, я стала ходить к нему в шестом классе. Ира, он обращался ко мне на «вы»! Он ко всем обращался на «вы»! Вокруг него, как это тебе объяснить, была другая жизнь, и она не касалась той, которой жили все остальные... Он ото всего был как-то огражден, относился с уважением ко всем, даже к кошке. Хамство ужасное и грубость, ты даже представить себе не можешь, какое хамство, а его это не касалось. Я приходила к нему – по алгебре ничего не соображаю и соображать не хочу. Хочу сидеть за его столом и не уходить. У него в комнате – как на острове. А я тупая была! Ничего не понимала, а от этих буквочек алгебраических у меня такое отвращение было. А он терпелив необыкновенно, ни одного раздраженного слова.

Однажды он показал мне фотографии – старые семейные фотографии, вот эти. И рассказал. О своем отце, о матери, о Теодоре Гросицком, о кузинах... Господи, что со мной стало! Как я плакала... Виктор Петрович испугался, понять не может: «Что с вами? Что с вами?» А я на фотографиях и в рассказах узнала ту жизнь, которая должна... которую я все ждала... не знала, что она прошлая, а не будущая и ко мне вообще отношения не имеет, а мне – вот все это невыносимое, что в нашей квартире, в нашем дворе...

Ира, я влюбилась. Я влюбилась в него, молодого, на этих фотографиях. Если б я не влюбилась, я бы, наверное, повесилась в каком-нибудь дровяном сарае, так было невыносимо...

А Виктор Петрович, он и в старости был очень красив, очень. С тех пор я не встречала таких красивых людей. Теперь я понимаю, что в молодые годы – видишь ту фотографию – он не был так красив, как в старости. Но это теперь. А тогда я смотрела как раз наоборот – видела в нем этого студента в новеньком мундире. Он был для меня богом, Ирочка.

Когда я поняла, что люблю его и что никого другого не полюблю, потому что никакого другого – такого! – нет на свете, тупость моя прошла, я стала сообразительна и остра. О возрасте же – и моем, и его – я совершенно не задумывалась, а замечу тебе, что Виктору Петровичу было тогда, к началу нашего романа, шестьдесят девять лет. А мне не было и четырнадцати. А страсти были – не дай бог! Кровь южная, горячая... У Виктора Петровича тоже кровь не простая – мать

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
грузинка, княжна грузинская.

Первое время я изнывала и страшно томилась.

Ему, конечно, невдомек. Однажды прихожу я к нему, алгеброй заниматься, а у него дама знакомая, в розовом костюме, в пудре.. Он попросил меня зайти завтра, и до завтра я не сомкнула глаз. Ужасные минуты ревности я пережила. Ночь не спала – и зарядилась я в эту ночь на одно – совратить Виктора Петровича. Слов я таких, конечно, не произносила, это теперь могу так оценивать, а тогда – буря в душе. Сказать я ему ничего не могла. Я ведь тогда почти совсем не разговаривала. Писать мне казалось еще ужасней. И что писать-то? Я встала среди ночи, в одной рубашке, босиком. Мать спала как убитая, а я – к нему, по темному коридору, вся трясусь от страха не перед темнотой, перед самой собой... И я его победила, Ирочка. Не без труда. Отдать ему надо должное – он сопротивлялся.

Бронька улыбнулась. Ирина покачала головой и тихо сказала:

– Представить себе не могу. Как в романе каком-то...

– Он меня очень любил, Ира, – вздохнула Бронька. – Очень. Если бы открылось, его бы посадили за растление. Хотя сажать надо было меня, это я его обставила. Ну я, конечно, скорей бы повесилась, чем кому-нибудь рассказала. Я берегла его. Никто на него не думал. Хотя мы с детьми у него много времени проводили.

А когда Юрочка родился, я выйду, стану возле его окна, а он в кресле сидит, через занавеску на нас смотрит. Сколько мы гуляем, столько он на нас смотрит...

Ирина сидела с синей чашкой в руке, на золотом ободке отпечатался след ее малиновой помады. Она слушала Броньку как сквозь сон, как сквозь воду.

– Молодые люди так не умеют любить. Вообще теперешние мужчины. Это я потом узнала. После его смерти много лет прошло, прежде чем я на мужчин смотреть стала. Да и некогда мне было, понимаешь сама.

Умирал Виктор Петрович три дня. Умер от пневмонии. Трудно ему было. Задышался. Я от него не отходила. Он глаза открыл и говорит: «Душа моя, спасибо. Господи, спасибо». Вот и все...

А мать моя была очень догадлива, она сразу догадалась, что я на комнату Виктора Петровича мечу. И пока он умирал, она мне не мешала, даже в комнату не входила. Детей держала, только под конец он попросил, чтобы пришли. Ну Сашеньке-то всего два месяца было... Такие дела, Ирочка. Тайна моя, за которую я бы умерла тридцать лет назад, теперь ничего не стоит. И никому не интересна. Никому давно не интересно, кто отец моих детей. Даже маме...

Ирина Михайловна посмотрела на часы. Муж уже ждал ее на Маяковке.

– Спасибо тебе, Броня. Я опаздываю, меня муж ждет. Я рада, что мы встретились.

Бронька проводила ее к двери.

– Нужны будут какие-нибудь билеты, заходи. Я все могу достать. Спасибо тебе. Такая радость.

Они поцеловались. Ирина ушла. Телефонами они не обменялись.

...Стояла все та же дымчатая осень, и день недели был тот же, и год, но Ирина Михайловна несла в себе какое-то глубокое и горькое изменение и никак не могла понять, что же произошло... Ее собственная жизнь, и жизнь родителей, и жизнь дочери показались вдруг обесцененными, обесцвеченными, хотя все было достойно и правильно – старики в их семье умирали в преклонном возрасте, взрослые были здоровыми и трудолюбивыми, а дети – послушными...

И вспомнила, вспомнила Ирина Виктора Петровича, худого высокого старика с твердым бритым лицом, чистыми усами, светлыми глазами в складчатых кожаных мешках и черно-серебряным перстнем на желтой руке...

И нелепая, дикая, ничем не объяснимая зависть к Броньке зашевелилась в ее

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru сердце. Впрочем, всего на одну минуту...

Генеле-сумочница

По темпераменту тетя Генеле была общественным деятелем, но крупные задачи ей в жизни как-то не подвернулись, и по необходимости она занималась проблемами относительно мелкими, в частности, следила за чистотой северо-западного угла дворового довольно обширного скверика. Собственно, масштаба ее хватило бы и на весь сквер, но она предпочитала взять более мелкий участок, но зато уж здесь добиться совершенства. Тетя Генеле очень любила совершенство.

Как только слегка подсыхала грязь, она, увязая ботинками в замаскированных послезимним сором лужах, притаскивалась на свою позицию – еще не покрашенную скамью возле разрушенного фонтана – и садилась поджидать нарушителей.

Весенняя предпраздничная уборка еще не началась, и дорожки были покрыты линялыми конфетными обертками, разбухшими окурками и мелкими, наскоро использованными предметами бесприютной любви.

Время было еще мертвое, посетители редко заглядывали в сквер, но Генеле начинала свой сезон загодя, опережая первого посетителя на день-другой.

На этот раз первым зашел мужчина с портфелем, сел неподалеку, закурил и бросил спичку за спину. Генеле вся встрепенулась, как охотничья собака, и, сладко улыбаясь, сделала пристрелку:

– Гражданин, от вас урна в двух шагах, неужели трудно?

Гражданин непонимающе посмотрел на нее озабоченными отвлеченными глазами:

– Простите, вы что-то сказали?

– Да, – раздельно и наставительно произнесла Генеле, – от вас урна в двух шагах, а вы бросаете спичку прямо на землю!

Он неожиданно засмеялся, встал, поднял спичку, которая свежо белела среди потемневшего серого мусора, и бросил ее в урну.

Старуха разочарованно отвернулась: дичь была ненастоящая. Мужчина покурив и ушел, бросив окурки куда положено.

– Всегда бы так, – проводила она его презрительным словом, полная уверенности, что следующую спичку без ее надзора он все равно бросит мимо урны.

Потом пешком пришли три опухших потрепанных голубя. Вид у них был похмельный. Генеле вытащила из хозяйственной сумочки банку с размоченным хлебом, который она собирала по соседям – у нее у самой никогда хлеб не заваливался, – намяла хлеб и ровно разделила на три порции. Но глупые птицы справедливости не понимали, а может, были убежденными коллективистами. Отталкивая друг друга, они кинулись втроем на ближайшую кучку и жадно расклевали ее, а двух других и вовсе не заметили.

Генеле пыталась обратить их внимание на пищу, но, как всегда, осталась непонятой.

Она дождалась обеденного времени и, когда проглянуло чахлое солнышко, потащилась на кривеньких костяных ногах к себе домой. Настроение у нее было прекрасное – межсезонье закончилось, и она ощущала душевный подъем. К тому же после обеда наступало время исполнения ею главного жизненного долга – визита к родственникам. Ходила она к ним по графику: сестра Маруся, племянница Вера, племянница Галя, внучатая племянница Тамара и племянник Виктор составляли один цикл, второй возглавлял брат Наум, проживающий с неженатым и немного неудачным сыном Григорием. Потом следовали племянник Александр и племянница Рая. Были еще две бездетные сестры, Мотя и Нюся, а замыкала родственный круг Анна Марковна, родственница дальняя, но в глазах Генеле достойная визитов.

Так как родственников было достаточно много, то Генеле попадала в один и тот же дом обыкновенно не раньше, чем через месяц. И с этим все мирилось, понимая, что она выполняет функции некоего цемента, не позволяющего семье окончательно

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru распахнуться.

Маленькая, опрятно одетая, белокудрявая, она входила в дом и произносила фразу, которая на первый взгляд казалась комплиментом, что-нибудь вроде:

– Маруся, в прошлый раз ты так прекрасно выглядела...

Она была гением по этой части: никогда никому она не говорила ничего неприятного, только комплименты, но все же они были какие-то подпорченные.

– Ах, если бы вы знали, какой у Шуры сын! Круглый отличник, одни сплошные пятерки! Но вы же понимаете, какой теперь в школе уровень?

– Ах, Галя! Очень вкусный пирог! Если бы ты знала, какие пироги с капустой печет Рая, это просто объедение! – восклицала она, доедая пирог, испеченный как раз Галей.

Она входила в дом, увешанная мелкими хозяйственными сумочками, а под левым локтем у нее плотно сидела большая дамская сумка, с которой она никогда не расставалась. Именно из-за нее она и получила свое прозвище – Сумочница.

Сумка эта была привезена из Швейцарии еще до Первой мировой войны состоятельной тетей, изучавшей в Цюрихе зубоврачебное дело. Изначально эта сумка была коричневого цвета, темного, с богатым лиловым оттенком и шелковым блеском. С годами она сначала темнела, стала почти черной, а потом вместе с хозяйкой начала сесть и приобрела неопишимо изысканный желтовато-серый цвет. Сумка эта несколько раз входила в моду и выходила из нее. На заднем фасаде был глубокий шов, заделанный тщательной рукой хозяйки, – однажды, в сорок четвертом году, сумочка подверглась ножевому бандитскому нападению и пострадала. На замке растительно и вяло извивались линии умирающего модерна, тонкие узловатые пальчики хозяйки легко вплетались в этот узор, изношенная кожа обеих, казалось, происходила от одного и того же вымершего животного.

Драгоценную свою сумочку Генеле прилюдно никогда не раскрывала, а вот из многочисленных хозяйственных она доставала самодельный гостинец – капусту-провансаль, которую она готовила по какому-то нелепому рецепту из семнадцати компонентов, среди которых попадались странные вещи: корень петрушки, изюм и лимонные корочки.

Некоторые родственники считали, что знаменитая капуста – чистая отравка, но никому не приходило в голову отказаться от приношения, подносимого обыкновенно с таинственным и взволнованным видом.

Пенсия у Генеле, как всем было известно, составляла смехотворно мизерную сумму, однако она никогда не жаловалась на недостаток в деньгах, а, напротив, вела себя с достоинством богатой родственницы. Своих племянниц, а впоследствии их дочек она наставляла в тонких законах ведения домашнего хозяйства, полагая себя корифеем в этом высоком жанре.

– Покупать надо понемногу, но самого лучшего, – просвещала она неразумных племянниц, и однажды она дала Гале, своей любимице, незабываемый урок закупки продовольствия.

Генеле привела ее на Тишинский рынок в воскресенье, к концу торговли, приблизительно за час до закрытия рынка.

– Первым делом надо все обойти и хорошенько рассмотреть. Заметь себе для памяти, у кого самый лучший товар. Второй круг – ты уже знаешь, у кого самое лучшее, – теперь ты интересуешься ценой. А с третьего раза покупаешь, и никогда никакой ошибки ты не сделаешь.

И Генеле с пылающими глазами летала по рынку, приглядываясь, ругала товар, хвалила погоду, какой-то толстой украинке, спешащей на поезд, желала доброго здоровьечка, успела обозвать унылого длиннолицего восточного человека «сумасшедшим на всю голову»; она размахивала руками, теребила петрушку, мимоходом объясняла Гале, что морковь надо выбирать только с круглым кончиком, мяла увядший баклажан, нюхала острым носом огурцы «с пипырьшками», как она их называла, ругала засол, растирала между большим и указательным пальцами каплю

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
меда и шептала племяннице:

– Чистый мед впитывается весь, без остатка, а если остаток, значит, нечистый!

У простенькой подмосковной бабушки она купила морковь, свеклу и две репки за половину уже сниженной цены, а в придачу получила еще и последний кривой кабачок, который отложила в свою сумочку, считая его законной комиссией за покупки, которые оплачивала Галя.

– Мне нужно сто пятьдесят грамм, – требовала она у продавщицы, но та, не привыкшая обращаться с такими малыми количествами, сбросила с ножа на весы тонкий пласт слоистого творога, который весил почти триста.

– Зачем мне столько, мне нужно сто пятьдесят! Неужели я не могу взять сколько мне нужно, а? – настаивала она, и флегматическая продавщица заворачивала в белую бумагу творог и презрительно ворчала:

– Да ладно уж, я не обеднею.

А Генеле, победно глядя на Галя, шепотом вещала:

– Ну, ты понимаешь? Голову надо иметь! Голову! Я же вижу по ее повадке, она такая ленивая, что ей лень даже обратно отложить. А сто пятьдесят грамм они вообще положить не могут, всегда больше!

Галино бледное лицо покрылось красными нервическими пятнами, она умоляла уйти, но Генеле вошла в раж. Она хотела показать свой талант в полном блеске и, увлеченная, уговаривала продавщицу из базарной кулинарии скинуть ей полтинник на казенном гуляше.

Галя всю жизнь с ужасом вспоминала тот поход, рассказывала о нем своим дочерям. Тетушкины высказывания того базарного дня вошли в семейные устоявшиеся шутки. При упоминании моркови обязательно кто-нибудь из домочадцев спрашивал: «С круглым кончиком?», огурцы назывались «пипырчатые» или «совершенно не пипырчатые».

А жила Генеле в глубочайшей нищете. Впрочем, если бы кто-нибудь ей намекнул на это, она бы удивилась. Потому что она жила именно так, как хотела. Среди бесчисленного множества людей, живущих вынужденно, связанных разного рода узами, она была так независимо одинока, что даже свои родственные визиты рассматривала как дань людям, которые нуждаются в общении с ней, в ее советах и наставлениях.

Ее бедность несла монашески-радостный оттенок, чистота в ее длинной одиннадцатиметровой комнате была праздничной и даже вызывающей: так жестко топорщилась белая накрахмаленная салфетка на маленьком столике с провощенными ножками, медицински пласталось белое покрывало, так официально-приветливы были суровые чехлы на двух белых стульях.

В гордой своей нищете она неукоснительно выполняла свой главный принцип – покупать все самое лучшее. Поэтому, не ленясь, она отправлялась через день в Филипповскую булочную и покупала там лучший в мире калач – ей хватало его на два дня. Потом она заходила в Елисеевский и покупала там сто граммов швейцарского сыра. Относительно сыра у нее было подозрение, что бывают сыры получше. Но здесь, в России, лучшим был этот самый швейцарский, из Елисеевского.

Остальную пищу составляли гречневая и пшенная каши, про которые она скромно говорила, что лучше ее никто не умеет их готовить. Это было похоже на правду. Заправляла она свои каши постным рыночным маслом и съедала за обедом четвертинку яблока или луковицы или маленькую морковку с круглым кончиком.

В год раз, на Пасху, она покупала курицу. Собственно, эта курица и была Пасхой. В день покупки она вставала на исходе ночи, долго и тщательно собиралась, в крепкую шелковую сетку засовывала черную витую веревку и стопку газет и в пять утра отправлялась из дому. Первым трамваем она доезжала от Покровки до Цветного бульвара и приходила на Центральный рынок минут за двадцать до его открытия. Долго, иногда часа два она ждала «своего» продавца, одноглазого бурого еврея, промышлявшего редким по нынешним временам делом – торговлей живым квочущим товаром. Видимо, как и у Генеле, у продавца были свои прихотливые законы жизни.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Так, он не любил выкладывать на прилавок больше одной курицы. Генеле, со своей стороны, подчиняясь своему закону, не могла купить курицы, даже самой великолепной, не ощупав подробнейшим образом всех остальных.

Она поджидала, пока старик неторопливо отпарывал толстую серую тряпку, пришитую к большой овальной корзине, и, запустив руку, не глядя вытаскивал за связанные ноги первую курицу. Генеле опиралась локтем о прилавок и говорила равнодушным голосом человека, случайно проходившего мимо:

– А-а, явился, не запылится... Это что, курица?

Одноглазый не достаивал ответом.

Генеле, прижимая крепче локтем левой руки антикварную свою сумочку, принималась за курицу. Более всего ее манипуляции напоминали серьезный медицинский осмотр. Она заглядывала курице в остановившиеся глаза, раскрывала клюв, исследовала горло, ощупывала грудку и зад. Разведя ей крылья, она, казалось, просматривала своим рентгеновским взглядом ее птичью душу. Потом небрежно отодвигала ее.

– И это все, что у тебя есть? – пренебрежительно спрашивала она.

Одноглазый молча опускал руку в корзину и вытаскивал следующую...

– Что это ты мне показываешь? Сразу убери! – обижалась Генеле.

И продавец, поджимая и без того узкие губы, прихватывал под прилавком еще одну...

Она выбирала ее – как невесту единственному сыну. С трепетом великой ответственности и страхом перед непоправимой ошибкой. Она помнила о своем необъяснимом пристрастии к черно-серым пеструшкам и старалась сохранять объективность, чтобы пристрастие это не исказило точности выбора. Ведь достойнейшей избранницей могла оказаться и белая, и ржаво-коричневая.

Старик испытывал к вьедливой покупательнице внутреннее раздражение, смешанное с возрастающим уважением. Он тоже понимал в курах – в отборных, кормленных чистым зерном почтенных пасхальных курах. Он понимал, что старуха выберет действительно лучшую, и про себя прикидывал, какую же она выберет. Он помнил ее уже много лет и знал, что она не ошибается.

Избранница наконец определялась. Состоялся долгий торг. Генеле доставала из заветной сумки новые деньги, и царская невеста, сохраняя неестественное положение вниз головой, переходила в руки Генеле, которая заворачивала ее во многие газеты, потом в чистую белую тряпку, потом в сетку и, наконец, в хозяйственную сумку.

После всех этих манипуляций Генеле ехала в Малаховку к резнику, выстаивала очередь из двух десятков единоплемениц к сарайчику на задах двухэтажного солидного дома, сдавала на руки маленькому толстому еврею в ермолке бессловесную жертву и ожидала, пока резник прочтет над курицей короткую извинительную молитву и выпустит на волю ее глупую птичью душу, обитающую, как говорили, в небольшом количестве крови, толчками не остановившегося еще сердца изливающейся на цинковый поднос.

Вся сложная вера предков, многочисленные ограничения и запреты, потерявшие за тысячелетия их некогда рациональный смысл, была связана у Генеле с этой безмозглой чистенькой птицей, олицетворяющей собой пасхального агнца...

Впрочем, на этом месте все уподобления заканчивались, поскольку начиналась суетная кулинария. Одна-единственная курица в ее умудренных руках превращалась во множество яств: бульон с клецками из мацы под названием «кнейдлех», и фаршированная шейка, и куриные кнели, и паштет из печенки, и даже заливное. Как это ей удавалось? Удавалось... Между куриными делами и рыба фаршированная образовывалась, и кое-какие в меду сваренные орешки из теста.

А потом она все паковала в баночки, в кастрюльки. Что надо теплым, то укутывала. Все увязывала, уплотняла газетными валиками, чтобы не опрокинулось, и везла к брату Науму отпраздновать Пасху. Бутылку кагора покупал брат.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Он был дважды вдовым непроходимым неудачником. После смерти первой жены, умершей рано, он женился вторично, чтобы новая жена растила его не взрослых еще детей, но она скоро заболела каким-то зловредно-медленным раком и годами умирала, не принося семье пользы, а, напротив, истощая последние Наумовы силы на бесплодное сострадание. Невезучесть его распространялась и на детей, особенно на сына Григория, который родился удачным и здоровым, но претерпел сильный удар электричеством и с тех пор стал слабоумным.

В этот бедующий дом и относил Генеле свои пасхальные дары, чтобы, отслушав наскоро читаемую Наумом известную историю исхода из Египта, не спеша посидеть за праздничным столом и насладиться мудрым миропорядком, в котором отведено место и суетным хлопотам, и достойной праздничной трапезе, и Единому Богу с его посыльным Ангелом, обходящим, как письмоносец, дома детей избранного народа, и слабоумному Григорию, радостно улыбающемуся всем своим блестящим от куриного жира лицом...

И вот в тот самый день, о котором идет речь, Генеле с тремя сумками, наполненными пасхальной снедью, вышла из подъезда своего дома, намереваясь ехать к Науму, и повернула не в ту сторону. Она дошла до угла, искала глазами трамвайную остановку – и не нашла ее. Она не узнавала перекрестка, чуть ли не с детства ей знакомого.

– Боже! Как я попала в чужой город! – ужаснулась она и стала медленно падать, крепко прижимая к себе коричневую сумочку и не выпуская из цепких пальцев драгоценных авосек.

Так, вместе с авоськами и сумочкой, и привезла ее «скорая» к Петровским воротам, в приемный покой бывшей Екатерининской больницы.

С Генеле случилось ужасное: весь простой, прочный и разумно устроенный мир утратил внутренние связи и стал неузнаваемым. Она видела радужную оболочку зеленовато-пестрого глаза склонившегося над ней врача, блестящий излишком крахмала ворот белого халата, щетину, проросшую на смуглой щеке за суточное дежурство, шероховатости белой крашеной стены, бок шкафчика для медикаментов и переплет окна, но детали эти были разрозненны и общей картины из них не слагалось.

Генеле все хотела додумать, силилась выложить словами ускользящую мысль, но не могла. Осталось у нее только чувство, что она, маленькая, заблудилась, потерялась, и ей надо спешить куда-то по делу великой важности. Сумки у нее отобрали, и она все шевелила пальцами левой руки, потому что в руке было ощущение, что чего-то не хватает.

Обиженная, ограбленная, маленькая Генеле лежала на узкой кушетке, испытывая мучительное недоумение. Вопросов, которые ей задавали, она не слышала. Пожилая медсестра раскрыла ее коричневую сумочку и пошарила в ней длиннопалой рукой. Взгляд Генеле упал на сумочку, и она заплакала медленными слезами.

Медсестра вытащила из сумочки завернутую в темную бумагу баночку с кремом, связку мелких ключей и поношенный паспорт. Генеле была опознана.

Ее положили в неврологическое отделение, в бокс. Беспокойство все нарастало. Бедная Генеле ничего не узнавала, словно враз забыла всю свою жизнь. Когда нянька принесла ей воды, она не сразу вспомнила, как надо глотать. Набрала воду в рот и мучительно застопорилась. Опытная нянька постучала по горлу, и она проглотила.

Два врача в ординаторской обсуждали, какой именно участок мозга у нее поражен. Один считал, что имеет место кровоизлияние в ствол, второй полагал, что кровоизлияния нет вообще, а произошел сильный сосудистый спазм с нарушением мозгового кровообращения.

Пока молодые врачи обсуждали этот медицинский казус, в голове у Генеле немного посветлело, мучительная чехарда из бессвязных картинок внутри и снаружи замедлилась, и из нее выплыл один-единственный образ вместе со словом, к нему относящимся. Это была сумка. Не сумка вообще, а та самая, коричневая. Она сказала довольно громко:

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Сумка! Сумка!

И глаза у нее были умоляющие.

– Я же говорил: спазм, – с торжеством сказал один из врачей, – речь-то сохранена!

До самого глухого часа ночи она кричала то единственное слово, которое у нее еще оставалось. Она пыталась вскочить, бежать, дергалась и металась. Чтобы она не упала с кровати и не разбилась, ее обвязали сеткой.

А сумка как будто была уже у нее в руках, и она не хотела ее отдавать и все кричала: сумка! сумка!

И знала – чем громче она кричит, тем больше принадлежит ей эта кожаная ветошь с извилистым узором на роговом замке.

А ласковый и печальный голос кого-то знакомого все говорил ей:

– Брось, брось, оставь!

Но Генеле не сдалась до конца. Так она и умерла, скрючив левую руку и подогнув пальцы, сжимающие невидимый замок.

Наутро печальные племянницы Галя и Рая и старый Наум в коротких широких штанах получили в больнице по описи ее вещи. Галя взяла коричневую сумочку с отдельно означенной небольшой суммой денег, находящихся в ней, Наум – с опозданием дошедшее до него пасхальное угощение.

Потом, когда он развернет дома эти свертки, в термосе он обнаружит еще не остывший бульон, а остальная еда, приготовленная руками Генеле, будет поставлена на поминальный стол – и эта последняя трапеза будет грубым нарушением еврейского обычая, потому что издавна было принято после похорон близкого человека поститься, а отнюдь не наедаться вкусной едой.

Рая пошла по всяким скорбным учреждениям оформлять бумаги, а Галя поехала в Востряково на кладбище, чтобы узнать, какие нужны бумаги, чтобы положить покойную Генеле рядом с сестрами, братьями и родителями.

Вечером племянница Галя пришла к Науму. Рая пришла еще раньше. У него горела маленькая лампочка, которую он зажигал в годовщину смерти родственников. Они сели за шаткий стол. Григорий с радостной улыбкой пошел ставить чайник. Когда он вышел, Наум сказал торжественно племянницам, обращаясь по преимуществу к умной и несколько педантичной Гале:

– Дочери мои! Генеле умерла. И не мучилась. Пусть земля будет ей пухом. Поезжайте к ней в дом, пока соседи не обчистили ее комнату и не наложило печать домоуправление, и хорошо поищите.

– Что там искать, дядя Наум? – недоуменно спросила Рая.

– Во-первых, завещание... – Рая пожала плечами, а Наум строго продолжал: – А во-вторых, нашей Генеле достались от бабушки бриллиантовые серьги. Вот такие бриллианты! – Он сложил из большого и указательного пальцев кольцо, в котором уместился бы грецкий орех.

– Какие бриллианты, дядя Наум, вы бредите? – изумилась Галя. – Всегда были нищими!

– Так вот случилось. Серьги были. Испанской огранки. Непревзойденные! – Наум поцеловал кончики пальцев. – Чтоб я так жил! Бабушка умирала у Генеле. А Генеле была хитрая девочка, она их прибрала. Когда сестры с нее спросили, она сказала: «Ничего не знаю! Я за бабушкой ходила, я кормила, я стирала – это я знаю. А где бриллианты – не знаю!» Ну, понимаете меня! – настаивал Наум. – Поищите в белье, в чулках, ну где женщины прячут, я знаю..

Галя хмуро посмотрела в темное окно, встала:

дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Я пойду, дядя Наум. Саша в командировке, у меня дети одни.

И ушла.

До позднего вечера Галя точно, механически и бездумно делала женские хозяйственные дела, которые не имеют конца.

А потом присела, достала сумочку старой Генеле и с грустью посмотрела на нее. Раскрыла. Там лежали какие-то старинные рецепты, связка маленьких ключей и завернутая в пергамент баночка из-под крема. Она развернула пергамент. В баночке было что-то вроде вазелина, покрытое толстым слоем окиси.

– Бедняжка Генеле! – сочувствовала Галя, высыпая на газету всю мелкую дребедень из старой сумочки. – Что же я могу для нее сделать теперь? Ничего...

И вдруг догадалась. Она смахнула весь залежавшийся хлам обратно в сумочку.

Она знала, как сделать приятное Генеле: когда будут ее хоронить, она незаметно положит в гроб эту самую сумочку.

Так оно и было: развеялся серый дымок над трубой Донского крематория, и пошла себе по небесной дорожке суетливой походочкой сквозистая на просвет ветхая Генеле, прижимая к левому боку тень сумочки, в которой на вечные времена хранились тени бриллиантов, окончательно убереженные ею от властей и от родственников...

Дочь Бухары

Вархаической и слободской московской жизни, ячеистой, закоулочной, с центрами притяжения возле обледенелых колонок и дровяных складов, не существовало семейной тайны. Не было даже обыкновенной частной жизни, ибо любая заплата на подштанниках, развевающихся на общественных веревках, была известна всем и каждому.

Слышимость, видимость и физическое вторжение соседствующей жизни были ежеминутны и неизбежны, и возможность выживания лишь тем и держалась, что раскаты скандала справа уравнивались пьяной и веселой гармонью слева.

В глубине огромного и запутанного, разделенного выгородками дровяных сараев и барачных дворов, прилепившись к брандмауэру соседнего доходного дома, стоял приличный флигель дореволюционной постройки с намеком на архитектурный замысел и отгороженный условно существующей сквозной изгородью. К флигелю прилегал небольшой сад. Жил во флигеле старый доктор.

Однажды, среди бела дня, в конце мая сорок шестого года, когда все, кому было суждено вернуться, уже вернулись, во двор въехал «опель-кадет» и остановился возле калитки докторского дома. Ребята еще не успели как следует облепить трофейную новинку, как распахнулась дверца и из машины вышел майор медицинской службы, такой правильный, белозубый, русо-русский, как будто только что с плаката прыгнувший загорелый воин-освободитель.

Он обошел горбатую машину, распахнул вторую дверку – и медленно-медленно, лениво, как растекающееся по столу варенье, из машины вышла очень молодая женщина невиданной восточной красоты с блестящими, несметной силы волосами, своей тяжестью запрокидывающими назад ее маленькую голову.

Над цветочными горшками в разнокалиберных окнах появились старушечьи лица, соседки уже высыпали во двор, и над суматошными строениями завис высокий торжествующий женский крик: «Дима! Дима докторский вернулся!»

Они стояли у калитки, майор и его спутница. Он, засунув руку сбоку, пытался вслепую отодвинуть засов, а навстречу им по заросшей тропинке, хромя, спешил старый доктор Андрей Иннокентьевич. Ветер поднимал белые пряди волос, старик хмурился, улыбался, скорее догадывался, чем узнавал...

Свет после полумрака его комнаты был каким-то чрезмерным, неземным и стоял столбом – как это бывает с сильным ливнем – над майором и его женщиной. Обернувшись к соседям и махнув им рукой, майор шагнул навстречу деду и обнял

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru его. Красавица с туманно-черными глазами скромно выглядывала из-за его спины.

Этот флигель, и прежде существовавший наособицу, с возвращением докторского внука так и запылал особенной, красивой и богатой жизнью. Со слепоглухотой, свойственной всем счастливым, молодые как будто не замечали душераздирающего контраста между жизнью барачных переселенцев, люмпена, людей не от города и не от деревни, и своей собственной, протекавшей за новым глухим забором, сменившим обветшалую изгородь.

Бухара – так прозвал двор анонимную красавицу – не терпела чужих взглядов, а пока забор не был выстроен, ни одна соседка не упускала случая, проходя, заглянуть в притягательные окна.

И все-таки соседи по двору, полуголодные и нищие, вопреки известным законам справедливости вселишения, всеобщей равной и обязательной нищеты прощали им это аристократическое право жить втроем в трех комнатах, обедать не в кухне, а в столовой и работать в кабинете... И как им было не прощать, если не было во дворе старухи, к которой не приходил бы старый доктор, младенца, которого не приносили бы к старому доктору, и человека, который мог бы сказать, что доктор взял с него хоть рубль за лечение.

Это была даже не семейная традиция, скорее, семейная одержимость. Отец Андрея Иннокентьевича был военным фельдшером, дед – полковым лекарем. Единственный сын, молодой врач, умер от сыпного тифа, заразившись в тифозном бараке и оставив после себя годовалого ребенка, которого дед и воспитал.

Пять последних поколений семьи обладали одной наследственной особенностью: рослые и сильные мужчины рода рождали по одному сыну, как будто было какое-то указание свыше, ограничивающее естественное производство этих крепких профессионалов, гуляющих тугими резиновыми перчатками по операционному полю.

Зная об этом семейном малоплодии, старый Андрей Иннокентьевич с ожиданием смотрел на хрупкую невестку в розовых и лиловых шелковых платьях, с грустью отмечал подростковую узость таза, общую субтильность сложения и вспоминал свою давно ушедшую Танюшу, какой та была в восемнадцать лет – мужского роста, плечистую, с самоварным румянцем и крутой лохматящейся косой, которую она остригла безжалостно и весело в день окончания гимназии...

Пока Дмитрий колебался, принимать ли ему отделение в городской больнице или идти на кафедру в военно-медицинскую академию и перебраться в Ленинград, жена его кропотливо и рьяно занялась домом, потеснив Пашу, старую больничную няню, которая уже чуть не двадцать лет вела незамысловатое докторово хозяйство.

Паша оскорбилась и перестала ходить. Доктор впервые в жизни отправился к Паше в Измайлово, разыскал ее, сел на венский стул, подвязанный шпагатом, положил перед собой на стол свою мятую шляпу и, разглядывая прямым, но подслеповатым взглядом бумажную икону, сказал:

– Не знал, что ты верующая, – покачал головой и строгим докторским голосом закончил: – Я тебе, Паша, отставки не давал. Кухню сдашь, а комнату мою убирать, стирка моя – это на тебе останется. И получать будешь, сколько получала.

Паша заплакала, сложив губы мятой подковой.

– Ну чего ты реवेशь? – строго спросил доктор.

– Да чего там у вас убирать, в кабинете-то? Мне там раз махнуть, и вся работа... А варит-то она как – ни борща сварганить, ни каши... – Она вынула из вылинявшего черного халата белую тряпочку и вытерла глаза.

– Собирайся, Паша, поехали, и не дури, – приказал Андрей Иннокентьевич, и они вместе поехали на долгом трамвае через всю Москву к доктору.

– Нечего тебе обижаться, нам помирать пора. Пусть на свой лад устраивает, ей рожать скоро, – внушал Паше доктор по дороге, но она скорбно трясла головой, молчала и только возле самого дома, собравшись с духом, ответила ему:

– Да смотреть-то обидно. Женился на головешке азиатской... Одно слово – Бухара!

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Видно, Паша еще не прониклась до конца духом полного и окончательного интернационализма.

А «головешка азиатская», которую муж ласково называл Алечкой, молчала, сияла глазами в его сторону, легко и ловко перебирала тонкими пальцами, расчищая запущенный дом.

Доктор, в молодые годы подолгу живший в Средней Азии, многое понимал в особенном устройстве Востока. Знал он, что даже самая образованная азиатская женщина, слагающая стихи на фарси и арабском, по движению брови свекрови отправляется вместе со служанками собирать кизяк и лепить саманные кирпичи...

Из окна кабинета доктор наблюдал, как его беременная невестка сидит на корточках в палисаднике, отчищает старую кастрюлю и ее серповидные тонкие лопатки мелко ходят под легкой тканью платья.

«Бедная девочка, – размышлял старик, – трудно ей будет привыкать».

Но она разобралась быстро.

Не свекровь и не служанка, – определила она старую Пашу. Подумала и догадалась: кормилица.

И с этой минуты не было у Паши никакого недовольства невесткой, потому что хоть та и ошиблась относительно роли старухи, но ошибка оказалась вернее истины. Алечка была с Пашей ласкова и почтительно проста.

Что же касается старого доктора, то одних его седин было бы достаточно, чтобы не поднимать ей на него смиренных глаз. Но, кроме того, доктор напоминал ей отца, узбекского ученого старого толка, умершего незадолго до войны. Ему все не могли определить правильного места в новом пантеоне советских узбекских деятелей, выбирая между образом востоковеда-полиглота, исследователя и знатока фольклора и широко образованного в восточной медицине врача.

Сам он в конце жизни всему предпочитал богословие и писал до последних дней трактат об исре, ночном путешествии Мохаммеда в Небесный Иерусалим, что тоже было серьезным препятствием к официальному посмертному признанию. Однако назвали окраинную улицу столицы в его честь, хотя через несколько лет и переназвали... Был он настолько свободомыслящим человеком, что дал образование не только своим многочисленным сыновьям, но и дочерям. Младшая доучиться не успела при жизни отца, ей досталось всего лишь медицинское училище.

Так Андрей Иннокентьевич и не узнал до самой своей смерти, наступившей внезапно и легко вскоре после рождения правнучки, о том, сколь рафинированная, перегоняемая многими столетиями в лучших медресе Азии кровь течет в жилах крохотной желтолицей и желтоволосой девочки, которую торжественно привезли из роддома имени Крупской в сером «опель-кадете».

С первого же взгляда ребенок очень насторожил старого доктора. Девочка была вялая, отечная, с сильно развитым эпикантом, кожей складкой века, характерной для монгольской расы. Андрей Иннокентьевич отметил про себя гипотонус и полное отсутствие хватательного рефлекса.

Дмитрий, наскоро заканчивавший свое медицинское образование уже после начала войны, специализировался по полевой хирургии, в педиатрии ничего не понимал, но тоже был внутренне встревожен и гнал от себя дурные предчувствия.

Назвали девочку Людмилой, Милочкой, и Аля, совершенно правильно говорившая по-русски, называла ее, смягчая окончание, Милей. Из рук она ее не выпускала и даже на ночь все старалась устроить у себя под боком.

Старый доктор умер, унеся с собой свои подозрения, но к полугоду и самому Дмитрию было совершенно ясно, что ребенок неполноценный.

Он отвез девочку в институт педиатрии, где академик Клосовский, связанный с покойным доктором корпоративной связью былых еще времен, под восхищенными взглядами ординаторов и аспирантов артистически осмотрел ребенка. Он повернул

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
кверху крошечную ладонь, указал на еле видную продольную складочку, ловким движением нажав сбоку на скулы, обнажил белесый язычок ребенка и провозгласил диагноз, по тем временам редкий, – классический синдром Дауна.

Завершив свой блестящий номер, академик оставил девочку на белом холодном столе на попечение старшей медсестры отделения и, взяв под руку смятенного отца, повел его в свой кабинет, уставленный бронзой и препаратами мозга.

После пятиминутной беседы Дмитрию стало ясно, что ребенок безнадежен, что никакая медицина никогда не сможет облегчить его участи и единственное благо, которое посылает природа для смягчения этого несчастья, – такое анатомическое строение носоглотки, при котором неизбежны постоянные простуды, сопряженные с этим воспаления легких и, как следствие, ранняя гибель. Вообще, утешил академик, дети эти редко доживают до совершеннолетия.

На возвратном пути неполноценная девочка безмятежно спала, красавица мать прижимала к себе свою драгоценность с такой углубленной важностью, что Дмитрий напряженно думал, вполне ли поняла его жена весь невообразимый ужас происшедшего, и не решался ее об этом спросить.

Со временем Дмитрий Иванович проштудировал американские медицинские журналы, разобрался с происхождением этого заболевания и, проклиная могущественный вейсманизм-морганизм, мучительно вспоминал о самых счастливых минутах его жизни, о первых днях внезапно постигшей его любви к девственной красавице, истинному чуду военного времени, присланному в госпиталь вместо демобилизованных медсестер прямо из джанны – мусульманского рая.

Обнимая своего первого и единственного в жизни мужчину шафрановыми, мускусными руками, она шептала ему в ухо: «Имя Дмитрий было написано у меня на груди» – и произносила слова на чуждом восточном языке, которые были словами не ласки, но молитвы... Именно тогда плотные сгустки наследственного вещества сошли и, расходясь, случайным образом сцепились, и одна лишняя хромосома, или ее часть, отошла не в ту клетку, и эта микроскопическая ошибка определила существование этого порченого от самого своего зачатия существа.

Жена Дмитрия словно и не замечала неполноценности девочки. Она наряжала ее в цветные шелковые платьица, повязывала бантики на жидкие желтые волосы и любовалась плоской бессмысленно-жизнерадостной мордочкой с маленьким раздавленным носом и всегда приоткрытым мокрым ртом.

Милочка была улыбочивой и спокойной – не плакала, не обижалась, не сердилась, никогда ей не хотелось ничего такого, что было запрещено. Книжек она не рвала, огня остерегалась, подходила к калитке садика, смотрела в щелку, а на улицу не выходила.

Дмитрий Иванович, наблюдая за дочерью, с горечью думал о том, каким чудным ребенком могла бы быть эта девочка, какая обаятельная личность похоронена в дефектной телесности.

Единственной неприятной особенностью Милочки была ее нечистоплотность. Она очень поздно, как и бывает обычно с такими детьми, начала проситься на горшок и совершенно не могла усвоить понятия «грязный», хотя многие другие вещи, более сложные, она воспринимала. Так, «хорошее» и «плохое» она по-своему различала, и самым сильным наказанием, которое допускала ее мать, были слова «Мила плохая девочка». Она закрывала лицо короткими пальчиками и плакала бурными слезами. Этому наказанию подвергалась она редко и обычно как раз за грехи «грязи»: испачканное платье, одеяло, стул.

Любимой стихией Милочки была полужидкая земля, в которой она с наслаждением возилась. Долгими часами она сидела рядом с песочницей, пренебрегая чистым крупитчатым песком, специально для нее привезенным отцом, и из жирной садовой земли, поливая ее дождевой водой из бочки, месила тесто и лепила, лепила...

Дмитрий Иванович, воспитанный дедом по сухой и добротной нравственной схеме Марка Аврелия, усвоивший к тому же скучную материалистическую религию общественной пользы, допоздна просиживал в своем отделении, глубоко вникая в медицинские судьбы своих пациентов.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Возвращаясь домой, он испытывал привычное ежевечернее отчаяние, и жена его, так сильно прилепившаяся к дочери, что черты Милочкиной неполноценности как бы проникали и в нее, становилась ему все более чуждой.

Все волшебство близости с этой прелестной и покорной восточной красавицей выветривалось куда-то, и, даже когда он изредка звал ее в дедов кабинет, давно им заселенный, он не мог освободиться от глубокого темного страха перед невидимым движением таинственных и непостижимых частиц, руководивших судьбой уже рожденного ребенка и того, другого, который мог бы появиться на свет. Страх этот был так силен, что порой вызывал физическую тошноту и в конце концов полностью лишил Дмитрия Ивановича желания обнимать это женское совершенство.

Операционная сестра Тамара Степановна, грузная и грубая, с умными и надежными руками, после производственной вечеринки по случаю чьего-то дня рождения на дерматиновой кушетке в запертом приемном покое освободила Дмитрия Ивановича от предрассудков пуританского воспитания, а красавицу Бухару – от мужа.

Крупнопористая, круто завитая и толстоногая Тамара Степановна не рассчитывала на такой успех. Но она была ломовая фронтовичка, давно и наизусть выучившая сокровенную мужскую тайну: сильнее всего укреплять наиболее слабый участок. Интуицией многоопытного женского зверя она почувствовала его слабинку и на вторую их встречу, происшедшую через несколько дней по случайному совпадению дежурств, она посетовала на свое бесплодие, и Дмитрий Иванович с этой немолодой и некрасивой женщиной освободился от кошмарного миража мелких и гнусных движений хромосом, которые к тому времени начисто отрицались передовой наукой, но это уже не могло изменить совершенно разладившихся его отношений с женой.

Дмитрий Иванович сообщил жене, что уходит к другой. Она, не поднимая глаз и не выразив никакого чувства, спросила его, зачем ему уходить... Дмитрий не понял вопроса и дал разъяснение.

– Я знаю, я тебе надоела. Приведи новую жену сюда. Я согласна. Я сама родилась от младшей жены... – не поднимая глаз, сказала Бухара.

Дмитрий Иванович схватился за голову, застонал и вечером того же дня, собрав в чемодан рубашки и носки, ушел к Тамаре Степановне...

Деньги Дмитрий Иванович переводил по почте. Милочку не навещал никогда. В три дня девочка его забыла. С его уходом Паша окончательно переехала в докторский флигель, а Бухара пошла работать по своей почти утраченной специальности.

Круто изменилась жизнь. Препрежнее жадное любопытство соседей к Бухаре и ее дочери, подогреваемое высотой забора и их полной отчужденностью, теперь сменилось агрессивным желанием потеснить пришлицу, «уплотнить», как тогда еще говорили. Были написаны безграмотные и убедительные бумаги в райжилотдел, в милицию и в некоторые иные организации, не чуждые проблемам распределения жилплощади. Однако времена уже стояли прогрессивные, ни выселить, ни даже потеснить их не удалось, хотя участковый милиционер Головкин к ним все-таки приходил – посмотреть, что там за комнаты у соломенной вдовы.

Дохлые кошки со всей округи постоянно перекидывались через высокий забор Бухары, но она не была брезглива, выносила кошек на помойку, а если дохлятину находила Милочка в мамино отсутствие, то она рыла в углу садика, под большим дубом, ямку, хоронила там кошку и устраивала на могиле секретный подземный памятник: под осколком оконного стекла раскладывала цветные бумажки, головки толстых золотых шаров, фольгу, камешки. Часами трудилась, устраивая красоту, и, когда мать приходила с работы, сдвигала тонкий слой земли и показывала выложенную под стеклом над упокоенной кошкой волшебную картинку, тыкала в стекло грязным пальцем и объявляла матери:

– Киса там.

Толстая Милочка росла в счастливом одиночестве. Была мама, Паша, высоким забором окруженный садик и множество значительных и огромных по смыслу вещей: старая железная бочка с дождевой водой, окруженная разнообразными запахами и мелкими движениями насекомых вокруг нее и внутри, старый дуб в углу сада, осыпающий красивые желуди в гладких шапочках, жесткие резные листья и хрупкие веточки, тоже весь наполненный мелкой животной жизнью, беседка, куда Милочка уходила

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru сосать короткие пухлые пальчики...

Ей шел уже восьмой год, и множество вещей она знала на вид, на запах и на ощупь. Только слов произносила немного, и произношение было странное, как будто гортань ее была создана для другого языка, нездешнего.

Старая Паша любила Милочку. «Жалкая моя», – звала она ее, и, когда Бухара уходила на работу, Паша подолгу что-то рассказывала своей питомице. Ум у Паши не то чтобы стал мешаться, но весь устремился в далекое прошлое, и она подробно, по многу раз пересказывала Милочке истории про своих деревенских родственников, про злого пастуха Филиппа, который ударил ее, девочку, кнутом, про пожар, который занялся по деревне от их бани, где сгорел ее старший брат, напившись пьяным.

Детство Милочки было нескончаемо длинным: целое десятилетие радовали ее «ладушки», «сорока-воровка», она прятала свое личико за носовой платок или в подушку и требовала, чтобы ее искали. Младенческий период этот стал заканчиваться к одиннадцатому году, когда она вдруг стала улучшаться в развитии, ее трехлетний разум стал взростеть, она стала лучше говорить и очень заботиться о чистоте, главным образом рук: подолгу мыла в горячей воде, как бы даже стирала их.

И еще она научилась вырезать ножницами из бумаги. Теперь мать приносила ей множество открыток, старых полуизодранных журналов, и Милочка усердно, днями напролет, вырезала какие-нибудь мелкие цветочки из жесткой открытки. Прикусив кончик крупного языка, она сопела над каждым цветочком и плакала, если случайно перерезала зеленый листик или стебелек.

Старание ее было серьезным и достойным уважения, а бессмысленная деятельность похожа на разумный и сознательный труд. Она приклеивала свои вырезки на альбомные листы, составляла какие-то невообразимые комбинации из лошадиных голов, автомобильных колес и женских причесок, по-своему привлекательные и дико художественные. Слюна усердия заливала ее подбородок. Но некому было плакать, видя, как мыкается бедная творческая душа, загнанная непостижимой небесной волей в трудолюбивого уродца.

Радостно приносила она матери свои кропотливые изделия, та гладила ее по голове и одобряла: «Очень красиво, Милочка! Хорошо, Милочка!» – и девочка низенько дрыгала ногами от радости, и приседала, и смеялась: «Хорошо! Хорошо!» Видно, что и стремление к совершенству было в ней заложено.

Бухара тем временем резко и окончательно перестала быть красавицей. Она сильно исхудала, потемнела лицом, убрала в старый немецкий чемодан свои цветные платья, оделась в темное. Лицо ее обросло по щекам и подбородку неприятным черным пухом, и ярко сверкающие зубы потеряли свой праздничный цвет.

Сотрудники по поликлинике намекали ей, что неплохо бы показаться хорошему специалисту, но она только улыбалась, опуская вниз глаза. Она знала, что больна, и даже знала чем.

В конце зимы она неожиданно взяла отпуск и полетела с Милочкой на родину, впервые за многие годы. Отсутствовали они чуть больше недели, вернулась Бухара еле живая, еще более темная, с огромным легким мешком из сквозистой шерстяной ткани.

Мешок был полон травы, которую она долго перебирала, сортировала, перемалывала. Потом разложила все по марлевым мешочкам, завернула их в белую бумагу и стала по горсточкам варить.

Паша все принималась, ворчала: «Ну, Бухара, ведьма азиатская!»

Бухара молчала, молчала, потом села на корточки в кухне и, прислонясь к стене, как она любила сидеть, сказала Паше:

– Паша, у меня болезнь смертельная. Я сейчас умереть не могу, как Милочку оставлю. Я с травой еще шесть лет буду жива, потом умру. Мне старик траву дал, святой человек. Не ведьма.

Таких длинных разговоров Паша от нее никогда не слыхала. Подумала, пожевала

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru волнистыми губами и попросила:

– Так ты и мне дай.

– Ты здоровая, больше меня проживешь, – тихо ответила Бухара, и Паша ей поверила.

Бухара все пила пахучую траву, ела совсем мало, всегда одну только еду – вареный рис и сушеные абрикосы, привезенные с родины, очень жесткие и почти белые.

И еще одно дело затеяла она – стала водить Милочку в специальную школу для дефективных детей. Она и работу поменяла, поступила в эту же школу в медицинский кабинет и вместе со специалистами-воспитателями всеми силами пыталась научить Милочку жизненной науке: шнуровать ботинки, держать иголку в руках, чистить картошку...

Милочка старалась, терпеливо пыталась и по трудовому обучению за два года вышла в отличницы. С буквами и цифрами, правда, совсем ничего не получалось. Из всех цифр она честолюбиво узнавала только пятерку, радовалась ей, да букву «М» различала. Большой радостью было для нее выйти вечером из дому с матерью и посмотреть на красную букву «М», горящую над входом в метро.

– Мэ, метро, Мила! – говорила она и счастливо смеялась.

Среди разнообразных идиотов этой страшной школы дети с синдромом Дауна отличались спокойным и хорошим нравом.

– Даунята – славные ребята, – говорил о них заведующий по лечебной работе, начиненный самодельными шутками и прибаутками старый Гольдин. – Жаль только, обучаются очень плохо.

Бухара внимательно рассматривала Карена, Катю, Верочку, сравнивала их со своей Милочкой, и сравнение было в ее пользу. Хотя физическое сходство этих детей было поразительно – все низкорослые, короткопалые, с монгольским разрезом глаз, близорукие, ожиревшие, – но Милочка казалась матери лучше других. Может быть, так оно и было...

На семнадцатом году Милочка стала оформляться, на толстеньком туловище выросла грудь. Милочка стеснялась и немного гордилась, говорила:

– Мила большая, Мила тетя...

Попросила у матери туфли на каблуках. Ножики ее были детского размера, и мать долго не могла купить ей туфли. Наконец раздобыла грузинские лакировки на толстом пробковом каблучке. Милочка была счастлива, вытирала туфли носовым платком и целовала Бухару в лицо, в руки, как маленький щенок без разбору лижет хозяина.

Милочка не сразу научилась ходить на каблуках, недели две все спотыкалась по дому. Когда научилась, мать отвезла ее в мастерскую при психоневрологическом диспансере, где с помощью трудового воспитания, а именно склейки конвертов и вырезывания фигурных ценников, из умственно отсталых людей пытались вырабатывать полезных членов общества.

Бухара уволилась из школы и поступила в диспансер, в регистратуру, чтобы находиться рядом с дочерью и помогать ей в трудовой деятельности.

Бухара разносила медкарты по кабинетам и целеустремленно изучала посетителей. Времени у нее было мало, она торопилась, как торопится обреченный художник завершить перед смертью великое полотно.

Дело в диспансере, как и в любом другом учреждении, было поставлено донельзя рутинно и бессмысленно. Каждый год вызывали на переосвидетельствование больных, это и была основная забота диспансера. Впрочем, по соседнему ведомству, в обычной районной поликлинике, на такое же переосвидетельствование таскали и безногих. Без этого не давали пенсии, а составляла она сумму немалую, у некоторых чуть не до сорока рублей.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Вот эти приходящие на комиссию люди и занимали Бухару. У нее был даже свой маленький архив, своя картотека. Она интересовалась, что за больной, с кем живет, где...

Дичь, однако, сама вышла на охотника. Однажды на запущенной мраморной лестнице особняка, где помещался диспансер, к ней обратился маленький лысый старик в коротких полосатых брюках и с чаплиновской живостью глаз. Не отпуская руки упитанного головастого дебила с розовой улыбкой, старик спросил у Бухары, куда подевался врач Рактин, который раньше был по их участку, а теперь не принимает.

Бухара ответила, что Рактин ушел, на его месте теперь молодой доктор Веденева, но, кажется, у нее сегодня нет приема.

– Ай-ай-ай, – закудахтал человек сокрушенно, как будто произошло невесть какое несчастье.

А Бухара незаметно разглядывала того, который стоял рядом, – тоже лысого, добродушного и толстого, в клетчатой чистой, но невыглаженной рубашке и в сатиновых шароварах послевоенной моды. Было ему лет тридцать или около того, но Бухара уже знала, что больные люди живут и стареют как-то иначе, чем обычные, и с их возрастом можно легко ошибиться: в детстве они часто кажутся младше, но потом неожиданно быстро стареют...

– Ваша фамилия? – спросила Бухара почтительно.

– Берман, – ответил старик, а его толстый сын закивал головой. – Берман Григорий Наумович, – повторил старик, указал на сына, а тот все кивал и улыбался.

Оказалось, они пришли за справкой. Дом их шел под снос, и старик Берман хотел воспользоваться болезнью сына, чтобы получить побольше жилых метров.

Бухара быстро узнала, когда надо приходить, обещала сообщить, смогут ли дать такую справку для Григория.

Отец с сыном ушли, и Бухара долго смотрела вслед этой парочке, которая кому-нибудь могла показаться комичной. Но не ей...

Она долго изучала пухлую карточку Григория Бермана. Здесь фигурировала и врожденная гидроцефалия, и менингит, и поражение молнией в семилетнем возрасте – как будто провидение искало гарантий, чтоб этот человек был изувечен наверняка.

Судя по трудно разбираемым каракулям лечащих врачей, молодой человек обладал сниженным интеллектом, спокойным, хорошим нравом и не был подвержен припадкам.

На следующий день Бухара приехала в Старопименовский переулок, где в маленьком деревянном домике, совершеннейшей избушке на курьих ножках, однако все-таки поделенной на три семьи, жил старый Берман со своим сыном.

На веревке, протянутой через маленькую комнату, висело невысохшее белье, старик читал одну из толстых кожаных книг, которые громоздились на столе, и сердце Бухары замерло от сладкого, знакомого с детства запаха старинной кожи.

Григорий сидел на стуле и гладил грязную белую кошку, которая спала у него на коленях. Пахло пригорелым супом и ночным горшком.

Старый Берман засуетился, когда узнал вчерашнюю медсестру, он вовсе не рассчитывал на такую любезность.

– Гриша, пойдешь поставь чайник сию минуту, – приказал Берман, и Григорий, взяв очень старательно чайник тряпочкой за ручку, вышел.

– Я пришла к вам по делу, Наум Абрамович, – начала медсестра. – Пока нет вашего сына, я вот что хочу вам сказать: у меня есть дочь, она очень хорошая девочка, спокойная, добрая. И болезнь у нее такая же, как у вашего сына.

Берман встrepенулcя, что-то хотел сказать, но кроткая Бухара властно его остановила и продолжала:

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
– Я больна. Скоро умру. Я хочу выдать дочку замуж за хорошего человека.

– Милая моя! – всплеснул руками Берман, так что тяжелая книжка грузно шлепнулась на пол и он кинулся ее поднимать, откуда-то из-под стола продолжая бурно ей отвечать:

– Что вы говорите? Что вы думаете? Кто это за него пойдет? И какой из него муж? Вы что, думаете, девушка будет иметь от него большое удовольствие, вы понимаете, что я имею в виду? А?

Бухара молча перетерпела все это длинное и лишнее выступление старика, потом вошел Григорий, сел на стул, взял кошку на колени и стал чесать ее за ухом. Бухара посмотрела на него острым и внимательным глазом и сказала:

– Гриша, я хочу, чтобы вы с папой пришли ко мне в гости. Я хочу познакомить вас с моей дочкой Милой. – А потом она повернулась к Науму Абрамовичу и сказала ему прямо-таки совсем по-еврейски: – А что будет плохого, если они познакомятся?

...По воскресным дням Бухара обыкновенно не вставала с постели, отлеживалась, берегла силы. Кожа ее сильно потемнела и ссохлась, лицо стало совсем старушечьим, и даже тонкая фигура утратила стройность, согнувшись в плечах и в спине. Ей не было и сорока, но молодыми в ней оставались только ярко-черные сильные волосы, которые она давно уже укоротила, изнемогши от их живой и излишней тяжести.

Милочка принесла матери чашку горячей травы, несколько размоченных урючин и села рядом с постелью на низенькую скамейку, обняв свои пухлые колени. Бухара погладила слабой рукой ее реденькие желтые волосы и сказала:

– Спасибо, доченька. Я хочу сказать тебе одну вещь. Очень важную. – Девочка подняла голову. – Я хочу, чтобы у тебя был муж.

– А ты? – удивилась Милочка. – Пусть лучше у тебя будет муж. Мне его не надо.

Бухара улыбнулась.

– У меня уже был муж. Давно. Теперь пусть у тебя будет муж. Ты уже большая.

– Нет, не хочу. Я хочу, чтобы ты была. Не муж, а ты, – насупилась Милочка.

Бухара не ожидала отпора.

– Я скоро уеду. Я тебе говорила, – сказала она дочери.

– Не уезжай, не уезжай! Я не хочу! – заплакала Милочка. Мать ей уже много раз говорила, что скоро уедет, но она все не верила и быстро про это забывала. – Пусть и Мила уедет!

Когда Милочка волновалась, она забывала говорить про себя в первом лице и снова, как в детстве, говорила в третьем.

– Я долго, долго с тобой жила. Всегда. Теперь я должна уехать. У тебя будет муж, ты не будешь одна. Паша будет, – терпеливо объясняла Бухара. – Муж – это хорошо. Хороший муж.

– Мила плохая? – спросила девочка у матери.

– Хорошая, – погладила толстую круглую голову Бухара.

– Завтра не уезжай, – попросила Мила.

– Завтра не уеду, – пообещала Бухара и закрыла глаза.

Она давно уже решила, что уедет умирать к старшему брату в Фергану, чтобы Милочка не видела ее смерти и постепенно бы про нее забыла. Память у Милочки была небольшая, долго не держала в себе ни людей, ни события.

Все произошло, как задумала Бухара. Берман с сыном и сестрой, маленькой,

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru одуванчикового вида старушкой, пришли в гости. Паша накануне убрала квартиру, хотя и ворчала. Бухара принесла покупной торт. Готовить она совсем не могла, к плите не подходила, настолько плохо ей становилось от близости огня и запахов пищи.

Пили чай. Разговаривали. Старушка оказалась необыкновенно болтливой и задавала много странных и бессмысленных вопросов, на которые можно было не отвечать. Старый Берман вдумчиво пил чай. Григорий улыбался и все спрашивал у отца, можно ли ему взять еще кусочек торта, и с увлечением ел, вытирая руки то о носовой платок, то о салфетку, то о край скатерти.

Бухара с сердечным отзывом узнавала в нем все старательно-деликатные движения Милочки, которая очень боялась за столом что-нибудь испачкать или уронить.

Милочка слезла со стула. Она была детски малого роста, но с развитой женской грудью. Подошла к Григорию.

– Идем, я покажу, – позвала она, и он, послушно оставив недоеденный кусок, пошел следом за ней в маленькую комнату.

Совсем без перехода, как бы сама к себе обращаясь, маленькая старушка вдруг сказала:

– А может, она права... И квартира у них очень хорошая, можно сказать, генеральская... – и зажевала губами.

Милочка в своей комнате раскладывала перед Григорием свои бесчисленные альбомы. Он держал во рту орешек от торта, перекачивал его языком, любовался картинками, а потом спросил у Милочки:

– Угадай, что у меня во рту?

Милочка подумала немного и сказала:

– Зубы.

– Орешек, – засмеялся Григорий, вынул изо рта орешек и положил ей в руку.

...Едва дождавшись совершеннолетия Милочки, их расписали. Григорий переселился в докторский флигель. Бухара через месяц после свадьбы уехала к себе на родину.

Первое время Милочка, натываясь на вещи матери, говорила грустно: мамин фартук, мамина чашка... Но потом старая Паша потихоньку все эти вещи прибрала подальше, и Милочка про мать больше не вспоминала.

По утрам Милочка ходила на работу в мастерскую. Ей нравилось вырезать ценники, она делала это почти лучше всех. Гриша каждый день провожал ее до трамвая, а потом встречал на остановке. Когда они шли по улице, взявшись за руки, маленькая Милочка на каблуках в девичьем розовом платье Бухары и ее муж, большоголовый Григорий с поросшей пухом лысиной, оба в уродливых круглых очках, выданных им бесплатно, – не было человека, который не оглянулся бы им вслед. Мальчишки кричали в спину какие-то дворовые непристойности.

Но они были так заняты друг другом, что совсем не замечали чужого нехорошего интереса.

Шли до остановки. Милочка неуклюже влезала на высокую подножку. Григорий подталкивал ее сзади и махал рукой до тех пор, пока трамвай не скрывался за поворотом. Милочка тоже махала, прилепив к стеклу свою размазанную улыбку и поднимаясь на цыпочки, чтобы лучше видеть стоящего на остановке мужа, энергично размахивающего толстой vareжкой...

Брак их был прекрасным. Но в нем была тайна, им самим неведомая: с точки зрения здоровых и нормальных людей, был их брак ненастоящим.

Старая Паша, сидючи на лавочке, с важным видом говорила прочим старухам:

– Много вы понимаете! Да Бухара всех нас умней оказалась! Все, все наперед

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru рассчитала! И Милочку выдала за хорошего человека, и сама, как приехала в это самое свое... так на пятый день и померла. А вы говорите!

Но никто ничего и не говорил. Все так и было.

Лялин дом

Был у Ольги Александровны – по-домашнему ее звали Лялей – золотой характер. Красивая и легкая, многого от жизни она не требовала, но и не упускала того, что шло в руки. Со всеми у нее были хорошие отношения: с мужем Михаилом Михайловичем, рано постаревшим, рыхлым, бесцветным профессором, с сыном Гошей, девятиклассником, с самыми разнообразными, даже весьма зловредными кафедральными дамами-сослуживицами, с любовниками, которые не переводились у нее, сменяясь время от времени и слегка набегая один на другого.

Только вот с дочерью Леной отношения были сложными. Девочка ее пошла в отца, тоже была рыхлая, с пухлым неопределенным лицом, громоздким низом и маленькой, не по размеру всей фигуры, грудью. Ольгу Александровну в глубине души оскорбляла ничемная внешность дочери, ее апатичный вид, вялые бледные волосы. Время от времени она нападала на Лену, требовала от нее энергичной работы о внешности, заставляла наряжаться, благо было во что. Но та только раздражалась и презрительно шурилась. Мать она недолюбливала и тайно досадовала, что не ей, а брату достались от матери синие яркие глаза, точность бровей и носа и крепкая белизна зубов.

К тому же кое-какие слухи о пестрых материнских похождениях доползли и до нее – она к своим двадцати двум годам закончила тот же институт, в котором заведовал кафедрой отец, а мать преподавала французскую литературу. К любимому своему отцу она тоже испытывала иногда злое раздражение, возмущалась беспринципной терпимостью его поведения – как, зачем мирится он с Лялиным телефонным хихиканьем, отлучками, враньем и безразлично-бесстыдным кокетством со всеми особями мужского пола, не исключая постового милиционера и соседского кота.

К тому же и сам возраст матери казался Лене давно уже перешедшим черту, когда простительны флирты, романы и вся эта чепуха.

А у Ляли была тонкая теория брака, по которой выходило, что супружеские измены брак только укрепляют, рожают в супругах чувство вины, нежно цементирующее любую трещину и щербинку в отношениях. Трагедий Ляля не терпела, никогда не дружила с женщинами, склонными к любовным страданиям и романтическому пафосу, и практика жизни убеждала ее в правоте. Ее собственное семейное счастье умножалось на внесемейное. Помимо хорошей, ладной семьи имела она осенние свидания на садовых скамейках, беглые прикосновения коленом на заседании кафедры, торопливые поцелуи в прихожей и жгучие праздники двойной измены – собственному своему мужу и подруге, с мужем которой торопливо и ярко соединялась в каком-нибудь счастливом случайном месте...

Ляля огорчалась, чувствуя дочернюю неприязнь. Мечтала, чтобы дочь завела себе любовника и стала бы почеловечней. Но умная девочка относилась к матери снисходительно-саркастически, объясняла своей ближайшей подруге:

– Видишь ли, это пошлые стандарты их молодости. В этом кругу, интеллигентском, университетском, потребность в свободе сильнее всего реализуется в распутстве. Да, да, – припечатывала некрасивая девочка, – они все были в свои незабвенные шестидесятые либо диссидентами, либо распутниками... Либо и то и другое... – Лена слегка закатывала глаза: – Я бы диссертацию могла написать на тему «Психологические особенности шестидесятников».

Впрочем, в аспирантуре у нее тема была другая. Вот такая ходячая бомба находилась постоянно в доме Ольги Александровны. Удивительно ли, что общение с сыном доставляло ей куда больше радости... При большом внешнем сходстве с матерью от отца он унаследовал педантический и жадный до знаний ум, склонность к догматизму и хорошую дозу мужского делового честолюбия. Но более всего роднил Ольгу Александровну с сыном редкий Божий – или дьявольский? – дар, дар обаяния. С малолетства соревновались сверстники за право стоять с ним в паре, сидеть на одной парте, нести портфель или отбивать пасы.

Профессорский дом был всегда полон людей: соседи, бывшие студенты, приятельницы Ляли от всех эпох жизни и от всех ее жанров – от маникюрши до министерши,

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru одноклассники Гоши, дворовые ребята и еще куча случайного проходного народа, неизвестно где подхваченного. Два больших чайника не снимали с плиты. Еда в дом покупалась дешевая и в больших количествах.

Профессор, большую часть времени проводивший в глубине квартиры, в кабинете, откуда раздавался слабый и неритмичный стук пишущей машинки, несколько раз в день выбирался на кухню, с неопределенной улыбкой пил слабый чай, съедая бутерброд с колбасным сыром, и, с удовольствием послушав разного небезынтересного разговору, удалялся снова в кабинет. Ему нравилось разноголосье теплой кухни, и красивая моложавая жена, и вся атмосфера вечного предпраздника, но еще больше ему нравилось закрывать за собой дверь и погружаться в нескончаемые и никому не нужные пьесы Тирсо де Молины, которые он переводил всю жизнь с тяжелым и нездоровым упрямством.

Однажды осенью в профессорской кухне появился новый персонаж – изысканно восточный юноша по фамилии Казиев, новый одноклассник Гоши. Семья его по обмену или с помощью какой-то райисполкомовской махинации въехала в освободившуюся в том же подъезде на четвертом этаже квартиру, представлявшую собой ровно половину профессорской – вторая половина была отсечена и выходила на парадную лестницу, в то время как новые жильцы имели свой собственный вход только через черную.

Семья эта привлекла внимание жильцов. Здесь, в старомосковском переулке, издавна облюбованном актерами, большая часть которых уже оставила свои звучные имена на мемориальных досках близлежащих домов, имели вкус к экстравагантности. Приехавшие люди были циркачами. Глава семьи, известный иллюзионист Казиев, brutальный восточный человек, оказался лицом номинальным, поскольку, перевезя семью в новую квартиру, съехал к своей сожительнице, девочке из кордебалета; маман, как называл мать молодой Казиев, была ассистенткой своего иллюзорного мужа-иллюзиониста и, когда снимала с себя золотое платье и помаду, с большим запасом обводившую тонкогубый рот, обращалась в мымристую нервную блондинку со злыми и несчастными глазами.

Но мальчик был великолепен. Грубая чернота отца смягчалась в нем до густо персидской коричневости, а смугло-матовая кожа была натянута на лоб и скулы так туго, что казалось, была чуть маловата. Он набрал уже полный мужской рост, но еще не огрубел костями, а длиннопалые руки были истинно королевской породы, так что всем, кто обращал на них внимание, хотелось немедленно убрать свои собственные руки в карманы...

В школе приход его подорвал всю установившуюся иерархию. Девочки перестали щелкать глазами в разных направлениях, поголовно влюбившись в новичка, мальчики из кожи вон лезли, чтобы поставить его на подобающее новичку место. Однако он победил, не вступая в борьбу. Оказалось, что он, как и его родители, тоже «цирковой». Это значило, что в отличие от нормальных школьников он работал, и уже не первый год, разъезжая время от времени с гастролями, многое умел в таинственной цирковой профессии, а в школе учился от случая к случаю. В цирковое же училище он не поступал только по капризному решению учиться непременно в ГИТИСе, причем в каком-то специальном наборе для режиссеров цирка, который и бывает-то всего раз в три года.

Таким образом, он сразу оказался вне конкуренции, а если прибавить к этому его искреннюю незаинтересованность в роли главного героя класса, то естественно, что малопривлекательное для него первенство он получил без боя.

Единственным преимуществом, которым он воспользовался, было преимущество выбора себе приятелей. Он выбрал Гошу и почти поселился у него на кухне.

Долгими часами они сидели также и в Гошиной комнатухе, задуманной некогда как спальня для прислуги, читали и разговаривали. Читал Казиев. Говорил Гоша.

Выросший в книжных завалах потомственной гуманитарной семьи, под воздействием ли случайностей в расположении звезд или книг на книжных полках, Гоша разработал для себя причудливое мировоззрение. Он называл себя христианским социалистом, изучал Маркса и Блаженного Августина, и это прихотливое сочетание родило в нем снобистическое высокомерие.

Он чувствовал себя посвященным в собственноручно созданный орден и был с ног до головы пронизан важностью самопожертвования.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Многие его одноклассники проходили через привлекательный Гошин дом, но ни сторонников, ни учеников он не набирал.

Новенький Казиев выслушал путаную и вдохновенную лекцию по научному социализму с видом непроницаемым, но внимательным. Когда же Гоша закончил, Казиев сказал:

– Занятно... Хотя, честно говоря, меня не интересует умственное, меня интересует телесное. Умственное – это еще куда ни шло, а вот все это социальное, общественное – это я вообще в гробу видал, понимаешь?

После этого он снял ботинки, встал в узком проходе между диваном и старым шкафом и сделал сальто.

И заявление Казиева, и этот неожиданный курбет не оставляли места для Гошиных интеллектуальных подвигов. Все враз оказалось засыпано прахом.

– Я, понимаешь ли, с детства над телом работаю, – объяснил Казиев. – У меня, например, растяжка плохая была. Я поработал, растянулся на китайский шпагат. Я со своим телом все могу, – он погладил себя по груди. – А с этими твоими теориями – что? В царя стрелять? Революции устраивать? Нет, неинтересно. Меня сейчас в четыре номера зовут... на эквилибр, на вольтижировку и в две группы воздушных гимнастов. Тоже неинтересно. Йогу я смотрел. Нет, не то. Моему телу другого хочется. Китайские дела тоже смотрел. Там что-то есть... – И с неожиданным мгновенным вдохновением: – Мне кажется, если правильно подойти, можно летать... Это должно быть так же просто, ну... как с женщиной спать. – И тоскливо добавил: – Знать бы только чем...

У Гоши дух захватило. И Фурье, и Блаженный Августин слиняли. Слишком это было неожиданным. К тому же проходное упоминание о женщинах тайно уязвило Гошу, который давно уже тяготился богатой теоретической вооруженностью в этой области при полном отсутствии самого бедного практического опыта. Он вдруг остро ощутил, что и научные его изыскания страдают от нехватки жизненности, каким-то странным образом связанной с женщинами, с простым и сильным обладанием ими.

Однако дружба на этом месте только укрепилась. Казиев испытывал необъяснимое уважение к Гошиной интеллектуальной мощи как к вещи ценной, но совершенно бесполезной. Казиева также привлекал и профессорский дом, по тонкому сходству с изнанкой цирка, – в этом неряшливом доме постоянно шли разговоры, связанные с общей закулисной жизнью. Люди, здесь мелькавшие, не только смотрели телевизионные передачи, но и вели их и говорили обо всех событиях так, словно знали их подлинный, тайный, скрытый смысл и понимали тайные механизмы движения. Создавалось впечатление, что там, на этих отвлеченных уровнях, как и в цирке, все решалось незначительным кивком, неожиданным рукопожатием, тонкой взяткой и капризом фаворитки. Это давало молодому Казиеву приятнейшее подтверждение, что его доскональное знание одной небольшой сферы жизни распространяется безгранично.

Очень быстро пришелся он к этому дому: приносил хлеб как раз тогда, когда он кончался, и молоко именно в тот момент, когда у Лены болело горло и она, грохая дверцей холодильника, обиженно говорила:

– Ну вот, молока, конечно, нет.

Тут он входил с черной лестницы в кухню с двумя бело-голубыми картонками.

И дом привык к нему: образовалось у него и свое постоянное место на кухне, на широкой деревянной скамье, под фиктивным окном. Когда-то окно было настоящим, но давно, еще при жизни дедушки Михаила Михайловича, родоначальника профессорской династии и первого хозяина этой квартиры, к дому сделали одноэтажную пристройку и заложили кухонное окно кирпичной кладкой, и с тех пор большая кухня освещалась только пыльным светом из высоко прорубленного окна, выходящего на лестницу, да электричеством, которого никогда не гасили.

В электрическом свете лицо Казиева – он приобрел довольно быстро домашнее прозвище Казя, а имени его в доме так и не знали – выглядело более желтым, глаза более темными, а рама бывшего окна, по безразличной бесхозяйственности владельцев так и не снятая, казалась идеальной рамой его буддически неподвижной

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
фигуры.

– Просто поразительно, – удивлялась Ольга Александровна, чуть шевеля точными бровями, – гимнаст, акробат, такой подвижный, казалось бы, а когда сидит – точно каменное изваяние!

Так оно и было. Неподвижность его была свободной и полной.

Однажды утром, уходя в школу, Гоша сказал матери:

– Казя заболел. Он сейчас один, мать на гастролях. Может, зайдешь к нему попозже? Сейчас-то он еще спит, конечно..

Ляля кивнула. У нее был свободный день. Расписание было удобное, она сама его себе составляла, три дня было свободных. Отправив Гошу, приняла горячую ванну, намазала распаренное лицо густым, лимонного запаха кремом, прибрала слегка на кухне, позвонила двум-трем подругам и заварила свежий чай. Сделала два толстых бутерброда с сыром, поставила на поржавевший местами жостовский поднос чашку со сладким чаем и тарелку с бутербродами и, накинув поверх старого шелкового халата вытертую лисью шубу, прямо в шлепанцах на босу ногу вышла на черную лестницу, чтобы отнести незамысловатую еду заболевшему Казиеву. Морщась от помоечных запахов запущенной лестницы бывшего приличного дома, поднялась по сбитым ступеням от своего некогда почтенного бельэтажа на последний, четвертый этаж и, не звоня, толкнула дверь Казиевых. Дверь, как она и предполагала, была не заперта.

– Казя! – окликнула она с порога, разглядывая квартиру и прикидывая, каким это образом переставили стены, – кухня у Казиевых была маленькой, при перепланировке ванная отошла к соседям и ее пришлось выгородить в торце кухни, догадалась Ляля. Зато кухонное окно здесь было, и Ольга Александровна вздохнула, пожалев о своем заложенном окне.

Она приоткрыла дверь в комнату при кухне, где, по ее представлению, должен был жить Казиев. Так оно и было. На узкой кушетке, немного запрокинув голову на плоской подушке, спал Казиев.

Ольга Александровна с подносом, в шубе, сползающей с одного плеча, подошла к нему и увидела, что он не спит. Глаза его были полуоткрыты, лицо влажно блестя.

Она поставила поднос на край письменного стола и, положив руку ему на лоб, склонилась над ним:

– У-у, температурища... Да ты совсем больной, казя!

Он лежал под тонкой ярко-желтой простыней, укрытый до шеи, и был похож на фараонову мумию всем очерком тела, и особенно это сходство укреплялось ступнями, носки которых не были расслабленно вытянуты вперед, что обычно для лежащего человека, а твердо подняты вверх.

– Казя, Казя, – позвала его Ляля. Замедленным и ненамеренным движением она сдвинула вниз простыню, открыв по-египетски мускулистую грудную клетку и узкий живот, всю середину которого, закрывая и пупок, занимал смуглый детородный член, к которому она протянула безотчетную руку, и он двинулся к ней во встречном движении.

Глаза Кази темно блестя из-под опущенных век.

– Возьми! – сказал он хрипло и требовательно.

Бедная Ляля почувствовала, как всю сердцевину ее тела, от желудка донизу, свело такой острой судорогой, что, не помня себя, сбросила шубу, шлепанцы, еще что-то лишнее и через мгновение взвилась, запрокинув в небо руки, в таком остром наслаждении, которого она, неумолимая охотница за этой подвижной дичью, во всю жизнь не извела.

К концу короткого дня, в сумерках, пришел из школы Гоша, потом Леночка... Ляля покормила их кое-каким обедом. Часам к девяти появился и Михаил Михайлович,

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru усталый и, как обычно, отвлеченный. Она подала еще раз обед, вымыла посуду.

Под вечер Гоша поднялся наверх к Казиеву пробыл там недолго, а вернувшись и поставив на стол поднос с нетронутым чаем и ссохшимися бутербродами, сказал матери:

– Все-таки наш Казя во всем оригинал. Говорит, я, когда болею, не ем, не пью, лежу три дня, не зажигая света, а на четвертый встаю здоровый. Ты слышала такое?

Ляля пожалала плечами. Все эти часы, прошедшие с тех пор, как она вернулась от Казиева, она испытывала такой пожар, такую нарастающую жажду, как будто каждая клетка ее тела прожаривалась раскаленным ветром и только единственной влагой могла утолиться.

Домочадцы разбрелись по комнатам, одна Ляля сидела на кухне, едва не теряя сознание от нетерпения, ждала, когда все улягутся. Но дом был поздний: стучал на машинке Михаил Михайлович, Лена пыталась дозвониться подруге по междугородному и беспрерывно щелкала диском телефона, читал в своем кабинете чулане Гоша. Устав от нетерпения, Ольга Александровна оделась и вошла к мужу:

– Миша, я совсем забыла к Прасковье сегодня зайти. Она меня ждет.

– Куда так поздно, Лялечка? Может, проводить тебя? – неуверенно запротивился муж. Но выходить на улицу ему не хотелось, и он неохотно отпустил ее: – Неугомонная ты, Лялька...

Прасковья Петровна, давно одряхлевшая нянька самой Ляли и ее детей, жила неподалеку, в коммунальной квартире, и Ляля часто ее навещала. Но не так часто все-таки, как сообщала об этом домашним. Преданная своей бывшей воспитаннице всей страстью прирожденной прислуги, Прасковья была верным прикрытием Лялиных походов.

Ляля вышла из парадной двери, обогнула дом с заднего фасада и поднялась на четвертый этаж. Дверь Казиевых была по-прежнему открыта. Она толкнула ее и вошла.

Казиев лежал все в той же позе, так же, как и утром, укрытый простыней, но было темно и в темноте не видно, что простыня желтая. Глаза его были все так же полуоткрыты. И в остальном было все то же, что и утром. Он не произнес ни слова, даже не двинулся с места, только однажды протянул к ней руки и коснулся темных сосков ее крупной груди, щедро нависавшей над узкой талией...

– Сошла с ума, совсем сошла с ума! – всю ночь твердила себе Ляля, ворочаясь рядом с мужем, то сбрасывая с себя одеяло, то натягивая его до шеи и вытягиваясь и стараясь почему-то держать носки ног вверх, как это делал Казиев.

В шестом часу утра, когда домашние еще спали, она опять поднялась по вонючей лестнице, и опять было все то же... Через три дня Казиев действительно выздоровел. Жизнь наладилась каким-то вполне безумным образом: рано утром, в самый сонный час, она выскальзывала из постели и поднималась к нему. И в позднее вечернее время, когда расходились гости и дом затихал, она это делала. И если что-нибудь мешало ей выскочить в этот час, она всю ночь не спала, все ожидая утреннего свидания. Он был бессловесен и безотказен, и Ляле казалось, что никаких слов и не нужно: таким исчерпывающим и обжигающим было их общение.

Мать Казиева все еще разъезжала по гастролям, и Ляля отодвигала от себя мысль о том, что в один момент все должно прекратиться. Это была такая темная, такая неизбежно смертельная туча, несущая всему конец, что Ляля, дорожа каждым мгновением и каждым касанием как самым последним, вся была сосредоточена на одном: еще однажды достичь берега, где мощный мальчик освобождал ее от себя самой, давно уже оказавшейся постылой, состарившейся и скучной...

Еще раз, с помощью этого механического, в сущности, средства, достичь огненного сполоха, освобождающего ее от памяти души и тела.

Посвящавшая всегда в свои романы двух-трех близких подруг и находя в том большую прелесть, на этот раз Ляля никому и словом не обмолвилась.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Было страшно.

Она ходила на службу, говорила что-то привычное о флобере и Мопассане, покупала продукты в подвале у знакомой директорши магазина, варила еду, улыбалась гостям и все ждала минуты, когда можно будет выскользнуть на черную лестницу, заклиная медлительную тьму:

«Последний раз! Последний раз!»

...Проводила вечерних посетителей, сбросила тесную приличную одежду, надела старый шелковый халат, паутинно-серое, настоящее японское кимоно на лимонного цвета подкладке. На лестнице замедлила шаги сознательным усилием. Не бежать вверх, остановить хоть на минуту внутренний лихорадочный бег, движение вскипающих пузырьков крови в сосудах – это было все, что могла она сделать, чтобы окончательно не разрушились те надежные, разумные границы, в которых хорошо и прочно держалась ее жизнь. И, поднимаясь по лестнице, она словно оказалась в середине трепещущего трехголосья: главный, ведущий флейтовый голос распевал на четыре такта «По-след-ний раз! По-след-ний раз!», второй, дополнительный, был трехступенчатый барабанный стук сердца – систола-диастола-пауза... а третьим, навязчивым и детским, был невольный счет ступенек, которых в шести пролетах было шестьдесят шесть...

Она шла, глотая слюну, временами останавливаясь, чтобы успокоить дыхание, и думала, что вот настигло ее наказание за всю легкость ее беззаботных любовей, за высокомерную снисходительность к любовному страданию, именно к этой его разновидности, к женской и жадной неутолимости чувств.

Дверь, как всегда, была не заперта, и грохотала музыка. Сильная, грубая и примитивная музыка этого поколения. Раньше Ляля никогда не слышала этой музыки у Казиева. Она насторожилась – но все, кроме музыки, было как обычно: темная кухня, звук капающей воды и стройная полоска света из комнатухи. Ляля отворила дверь и увидела нечто, не сразу понятное. Во всяком случае, она еще успела сделать несколько шагов, прежде чем сработали все положенные нервные импульсы, прошли по синпасисам, добежали от глаза к мозгу, к сердцу, ударили жгучей болью по сокровенному низу. Прямо перед ней медленно-тягучими движениями поднималась и опускалась бледная спина ее дочери Лены, и влажные волосы жалким хвостом слегка билась по веснушчатым лопаткам. Лица Казиева она не видела, как и он не мог видеть вошедшую, но она прекрасно знала, какое там, на плоской подушке, непроницаемое, смуглое и прекрасное лицо...

Ляля попятилась к двери и вышла из комнаты, из квартиры...

Дети обнаружили ее утром на кухне, в старом плетеном кресле. Она сидела, уставив синий бесчувственный взор в заложненное кирпичом окно. Ее окликали, она не отзывалась.

Лена вызвала «скорую». Натренированные инфарктно-инсультивные врачи были в недоумении. Это был не их пациент, предложили вызвать специальную, психиатрическую. Приехали и эти. Ольга Александровна смиренно сидела в кресле, не отвечая на вопросы. Врачи щупали ее мягкие теплые руки, водили перед лицом глупым металлическим инструментом. Она покорно протягивала руки, а потом неуверенным, но вполне определенным движением снова укладывала их на подлокотники.

Врачи перебрасывались рваными словами неузнаваемой латыни, недоумевали. Предложили Лене немедленно госпитализировать мать, Лена отказалась. Врачи взяли с нее подписку. Лена с Гошей пытались уложить мать в постель, но она только качала головой и все смотрела и смотрела в заложненное окно.

Лена вызвала отца. Тот прилетел из Киева, где проводил какую-то конференцию. Ольга Александровна позволила мужу увести себя в спальню, впервые за двое суток легла в постель. Пригласили лучших психиатров. Все недоумевали, говорили разное, но сходились в одном: надо ждать.

Предлагали клиники, разные лекарственные схемы, речь зашла даже о шоковой терапии. Когда об этом услышал Михаил Михайлович, человек умеренный и осторожный, он отказался от какой бы то ни было врачебной помощи и сказал дочери:

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Леночка, давай-ка мы сами как-нибудь...

Так и шли дни за днями. Бедная Ольга Александровна находилась в крайнем и мучительном недоумении. Она вполне ощущала себя самой собой, но все словно разбилось на куски и перепуталось. Иногда ей казалось, что вот сделай она маленькое усилие, и мир снова сложится в правильную, как в детской книжке, картинку. Но усилие это было невозможным.

Кирпичная кладка замурованного окна была для нее чрезвычайно привлекательна. Она как будто знала, что именно в трещинах кирпичей, в их простом и правильном, сдвинутом по рядам чередовании есть спасительный порядок, следуя которому можно соединить всю разрушенную картину ее жизни. А может быть, цемент, навечно соединивший отдельные кирпичи, был так притягателен для глаз Ольги Александровны. Цемент, скрепляющий отдельные в целое...

Еще Ольгу Александровну беспокоило, что она забыла что-то чрезвычайно важное, и она все всматривалась в замурованное окно, ожидая, что оттуда придет помощь. Ее укладывали вечером в постель, но она упрямо пробиралась на кухню, садилась в мягко шуршащее старым плетением кресло.

Дом опустел, как берег после отлива. Только непомерное количество чашек и стаканов напоминало о том, как много здесь толклось людей всего несколько недель тому назад.

Однажды, когда среди ночи Ольга Александровна сидела на своем шелестящем кресле, кирпич вдруг стал бледнеть и растворяться, и на фоне серо-коричневого несолнечного света она увидела запрокинутое лицо Казиева. Глаза мерцали из-под тонких, чуть оттянутых в углах век, и видела Ольга Александровна это лицо сверху. А потом его лицо стало плавно отдаляться, и она поняла, что мальчик летит, деревянно лежа на негнувшейся спине, вытянув чуть отведенные руки вдоль туловища и слегка покачивая преувеличенно крупными кистями. И он удалялся в таком направлении, что Ольга Александровна вскоре видела лишь голые ступни его ног да развевающиеся темные волосы, распавшиеся на два неровных полукрыла...

Заложное некогда кирпичом окно превратилось в светящийся, все возрастающей яркости экран, и свет делался менее коричневым и более живым, насыщался теплым золотом, и Ольга Александровна ощутила себя внутри этого света, хотя чувствовала еще некоторое время скользкое прикосновение выношенных подлокотников.

Босые ноги ее по щиколотку погрузились в теплый песок. Она огляделась – это была иссохшая пустыня, не мертвая, а заселенная множеством растений, высушенных на солнце до полупрозрачности. Это были пахучие пучки суставчатой эфедры, и детски маленькие саксаулы с едва намеченными листьями-чешуями, прижатыми к корявым стволам, и подвижные путанные шары волосатого перекати-поля, и еще какие-то ковылистые, перистые, полувоздушные и танцующие... Тонкий, едва слышимый звон, музыкальный, переливчатый и немного назойливый, стоял в воздухе, и она догадалась, что это одиноко летящие песчинки, ударяясь о высохшие стебли трав, издают эту крошечную музыку. Живые, медленные, но все же заметно глазу движущиеся холмы из светлого сыпучего песка делали горизонт неровным, бугристым. На западе лежал дынный бок темно-золотого, с багровым отсветом солнца, нижняя часть которого была словно объедена огромными челюстями холмов. Солнце уменьшалось, утопая, всасываясь в бугристую зыбь, и, когда от него остался лишь звездчатый букет последних косых лучей, она увидела, что возле каждой травинки, возле каждого безжизненного стебля загоралась живая и тонкая цветочная оболочка, нежнейшая радуга, которая играла, переливалась, звеня еще более тонким звоном, словно песчинки, ударявшиеся прежде о стебли, теперь бились о радужные сполохи... И в этот миг Ляля ощутила присутствие...

– Господи! – прошептала она и опустила лицо в круглый кустик эфедры, еще объятый догорающей радугой.

Вышедшая утром на кухню заспанная и отекая Леночка нашла там порядок и чистоту. Даже давно не чищенная плита сверкала, и два чайника дружно кипели на задних конфорках. Мать стояла к ней спиной, и правый локоть ее ходил вслед за куском сыра, который она терла на большой металлической терке.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Ольга Александровна обернулась к дочери, улыбнулась виноватой улыбкой и сказала как ни в чем не бывало, сразу разрешив многочасовые споры врачей о природе ее немоты, неврологической или психологической:

– Гренки с сыром, да?

Все было почти по-старому: мать готовила завтрак, кипел чайник. Лена села в плетеное кресло и заплакала. И, заплакав, увидела она, что и лицо матери залито слезами. Это были не обычные слезы – никогда, никогда не прекратились они у Ольги Александровны...

Прошло уже много лет с тех пор, а слезы все еще текут из глаз пугливой и сухой старушки, какой стала теперь веселая, смешливая и любвеобильная Ляля. Она на инвалидности. Врачи написали ей такие латинские слова, которые освободили ее от необходимости преподавать французскую литературу, когда-то ею столь любимую.

Муж ее, Михаил Михайлович, к ней не переменялся. Он выводит ее на прогулки к Тверскому бульвару, рассказывает по дороге о кафедральных делах. Правда, он единственный, кто не замечает некоторого ее слабоумия. Михаил Михайлович избран недавно в академию, кажется, не в большую, а педагогическую.

Лена защитила диссертацию, замуж не вышла, и не известно, имеет ли она любовников.

Гоша сделал большую карьеру, хотя и перестроился: он больше не исповедует ни христианских, ни социально-утопических идей. Он крепкий экономист, специалист по межотраслевой диффузии капитала в условиях... здесь автору не хватает слов. Короче, он специалист.

Молодой Казиев в отличие от Гоши карьеры не сделал. Что-то сломалось в его жизни. Он не поступил на режиссерский, попал в армию, отбыл полтора года в жестокой азиатской войне и вернулся оттуда глубоко изменившимся. Стал учеником мясника в маленьком магазинчике на Трубной, быстро обучился нехитрой мясной науке, получил повышение и работает по сей день в пахнущем старой кровью подвале. По-прежнему красив, но сильно раздался, заматерел и грубо, по-восточному любит деньги. С Гошей они не встречаются, хотя и живут в одном подъезде.

А Ольга Александровна несет малые, ей посильные хозяйственные тяготы, ходит немного шаткими шагами по кухне, заливаясь светлыми слабыми слезами и испытывая непрестанную муку сострадания ко всему живому и неживому, что попадает ей на глаза: к старой, с мятым бочком, кастрюле, к белесому кактусу, единственному растению, смирившемуся с темнотой их кухни, к растолстевшей, вечно раздраженной Леночке, к рыжему таракану, заблудившемуся в лабиринте грязной посуды, и к самому прогорклому и испорченному воздуху, проникающему в квартиру с черной лестницы. Все она мысленно гладит рукой, ласкает и твердит про себя: бедная девочка... бедная кастрюлька... бедная лестница... Она немного стесняется своего состояния, но ничего не может с этим поделать.

Ее душевная болезнь столь редкая и необычная, что лучшие профессора так и не смогли поставить ей диагноз.

Гуля

Именины у Гули приходились на рождественский сочельник. Исповедуя с детства неосознанно, а с годами все более сознательно и истово всемирную и тайную религию праздника, Гуля ни разу в жизни не пропустила без празднования дня своего ангела. И в годы ссылки, и в лагерные годы она устраивала из ничтожных подручных средств, добывала из воздуха эти хрусткие крахмальные зернышки праздника, склевывала их сама и раздавала тем, кто оказывался возле нее в эти минуты.

Она отмечала день ангела, день своего рождения, а также дни рождения своей покойной матери и сестры, день свадьбы с первым мужем, а также Пасху, Троицу, все двенадцатые праздники и большую часть казенных. Новый год она отмечала дважды, по старому и по новому стилю, также и Рождество: сначала католическое, оправдывая это польской кровью бабушки, а потом и православное. Она не пропускала Первое мая, Восьмое марта, чтла и Седьмое ноября. По возможности она придерживалась определенных ритуалов. Так, день своего рождения, приходящийся на

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru начало лета, на третье июня, она любила праздновать с утра. Если позволяли обстоятельства, она вместе с какой-нибудь приятельницей уезжала на сельскохозяйственную выставку или в Ботанический сад, гуляла часа два, рассказывая приятельнице ослепительно скандальные истории своей ранней юности, а потом они добирались до «Праги», где съедали по возможности празднично комплексный обед за восемь рублей старыми, а впоследствии за рубль тридцать новыми.

Потом они шли к Гуле отдыхать, а отдохнув, пили кофе с заготовленным заранее ликером, мороженым и конфетами «Грильяж», пока они были еще доступны их зубам и не исчезли окончательно из продажи.

Когда количество выпитого ликера значительно превышало объем кофе, Гуля брала со стены гитару и, точно соблюдая интонации и произношение, воспроизводила Вертинского, многозначительно перемалчивая некие жгучие воспоминания.

В целом это называлось «покутилки», и любимой соучастницей этих вегетарианских оргий была Веруша, Вера Александровна.

Ее роль в течение жизни много раз менялась – она была восторженной поклонницей, наперсницей, соперницей и даже покровительницей в разные периоды их слоистой, как геологический разрез, жизни. Вера Александровна, полуродственница, полутень, папиросная бумага памяти и самое убедительное из имеющихся у Гули доказательств реальности ее собственной жизни...

Задолго до Святой Евгении, приходящейся на канун Рождества, Вера Александровна начинала беспокоиться, что не сможет сделать в этом году хорошего подарка Гуле и та будет расстроена.

На этот раз она разыскала среди доставшихся ей от покойной родственницы бумагу старую фотографию, долженствующую подтвердить их мифическое с Гулей родство, которое держалось на двоюродной сестре Гулиной матери, якобы бывшей вторым браком за дедом Веры Александровны. На упомянутой фотографии была изображена благородная пара, и вере Александровне хотелось думать, что она обнаружила это самое хрупкое доказательство родства. К фотографии, составляющей духовную часть именинного подарка, Вера Александровна присоединила флакон югославского шампуня и плохонькую коробочку конфет. Эти конфеты особенно ее беспокоили, она даже спросила у Шурика, что он думает по поводу этой маловыразительной коробочки. Шурик посмотрел на коробочку с преувеличенным интересом и сказал:

– Чудно, мамочка, чудно! Просто композиция какая-то получилась. Очень изящный подарок.

И слегка успокоенная Вера Александровна пошла на кухню греть щипцы. Пока она завивала желтовато-белые легкие волосы, Сан Саныч густо мазал гуталином свои туристические ботинки, любимую обувь, сочетавшую большую крепость с малой ценой, – и оба они, мать и сын, вступали в увертюру Гулиного праздника, состоящую из запаха перегретых щипцов, подпаленных волос, гуталина и невинного шипра.

На овальном, покрытом заляпанной чайной скатертью столике стояло продолговатое блюдо с сочивом и бутылка кагору. Маленькая елочка стояла в большой, надбитой сверху и по этой причине не проданной вазе. Газеты с Джульеткиным дерьмом, обычно разложенные равномерно по всей комнате, в честь праздника сгребались в угол, а иногда и вовсе выносились на помойку.

Последние часы сочельника гости проводили за постным столом, а когда время подходило к восьми и кончалась Всенощная у Ильи, Гуля вступала в первый день после Рождества Христова, что знаменовалось подачей мясных закусок, иногда и горячих. Кончался двухчасовой пост, начинался мясоед.

Как славно они расположились у стола. Сан Саныч любовался ими, воздушными старушками, избранницами, последние двадцать пять лет поддерживающими тонус, выплачивая штрафы за каждое упоминание о болезнях, физических отправлениях и, не дай бог, о смерти. Литература, искусство, воспоминания молодости, светские сплетни – вот был круг их всегдашних разговоров.

Теперь они толковали о шляпках – о неумении молодых женщин носить шляпку, этот признак пола, свидетельство таланта или бездарности, знак социальной

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru принадлежности и показатель интеллектуального уровня. Конкретно – о шляпках Зинаиды Гиппиус. Потом Гуля как-то легко соскользнула к преимуществам «шведского» брака перед «менаж а труа»... потом по какой-то извилистой тропке к Дягилеву, к балету вообще, к Майе Плисецкой...

Говорили... говорили... Рождественская звезда давно уже потерялась в россыпи бесчисленных нерождественских, а по длинной комнате от трехстворчатого высокого окна к прорубленной в коридор двери, нарушавшей аристократическую анфиладность этой бывшей хорошей квартиры, тек сквозняк, остужая старушечьи спинки с вытертыми лопаточками.

Слякотная, ненастоящая зима, словно устыдившись, встречала Рождество заказным календарным морозом. Вялый ветерок от окна делался все более жестким. Гуля положила на широкий мраморный подоконник старую шубу, но настроенное на ноль отопление не управлялось со стремительным похолоданием.

Накинув на плечи платки, шарфы и Гулины халаты, заговорили о холодах семьдесят третьего или пятого – тут они слегка путались, – сорок первого, двадцать четвертого и, прости Господи, тринадцатого.

Скушали все, что могла предложить Гуле кулинария «Праги»: и фаршированную утку, и мясо по-влажски, и волованы с какой-то ерундой внутри. И выпили бы все, да Гуля по старой привычке «скроила» маленький графинчик коньяка и полбутылки принесенного в подарок португальского портвейна, который показался Гуле немногим лучше «Таврического»...

Когда разговор пошел о погоде, Джульетка сошла с диванчика и, показывая всем видом презрение к такому обывательскому направлению разговора, легла на бархатную подушку.

Не было у них никакого внешнего сходства, у Джульетки и Гули. Джульетка была нечистопородной гладкошерстной таксой, а Гуля – породистая тонконогая и совершенно борзая старуха с ноздрями, как фигурные скобки, и высоко поднятыми, тонкими, кругло нарисованными бровями. Их сходство лежало глубже и не было заметно невнимательному. Выразилось оно в аристократическом пренебрежении к мелочам, в скверной поверхности и необыкновенно прочной изнанке характера.

Гуля одновременно с Джульеткой почувствовала легкое раздражение и совсем уж было предложила партию «шмине», но неожиданно Сан Саныч, дотоле скромно любовавшийся этими облезлыми, ароматными, ветхими, геркулесовыми дамами, девицами, старыми менадами, ангелицами и ведьмами, Сан Саныч, скромно молчавший весь вечер, тихо произнес:

– Гуля, у тебя ужасно дует. Надо заклеить окно. Завтра я приду после работы, часов в половине восьмого, и сделаю. Не убегай, пожалуйста.

– Ты прелесть моя! – взвизгнула Гуля. – Шурик, ты душка! Как мило, Верочка, с твоей стороны, что ты соблазнилась деторождением!

И легко вскочив с кресла, она подпорхнула к Сан Санычу и, упершись в плечо упакованным в грацию прославленно-пышным бюстом, поцеловала его в лысеющий затылок. Заговорили о детях.

Спала Гуля плохо. Болел живот, к утру пришлось дважды встать в уборную. Гуля грешила на портвейн. Джульетка из солидарности тоже нагадила, и прямо на полу, так как Гуля, ложась спать, забыла постелить ей очередную порцию «Литературки». Впрочем, это обстоятельство скорее даже умилило Гулю – обе они обыкновенно страдали запорами, портвейна Джульетка не пила, так что ее расстройство можно было объяснить исключительно их глубокой духовной связью.

Гуля замерзла, долго не могла согреться под двумя одеялами и шубой, живот не переставал болеть, и заснула она лишь после того, как согрела в чайнике воды и набрала в грелку.

Проснувшись после полудня, она еще часок лежала в постели – никогда не любила сразу вставать, – испытывая приятное чувство пустоты и легкости в животе и радуясь жесткому зимнему солнцу. В комнате стоял лютый холод, на подоконнике лежал нежный валик изморози. Гуля с живым чувством рассматривала свою комнату –

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya@ludmila.ru в таком ярком свете давно ее не видела. Комната была высокой, непропорциональной – это была треть трехоконной залы, лепнина делала здесь плавный поворот, и Гуля, въехавшая в эту комнату вскоре после возвращения из ссылки, наскоро выйдя замуж за импозантного хозяина этой самой комнаты, долго искала место для кровати, поскольку, имея свои собственные отношения с пространством, никак не могла привести в соответствие этот обрывок лепнины на потолке и свое собственное лежащее в кровати тело... А месяца через три после этого экстравагантного брака хозяин комнаты скоростижно скончался, оставив Гуле свое пыльное, ветхое, но вполне антикварное наследство.

Комната была ярко-синяя. Гуля чуть было не сделала ее красной, но Веруша сказала, что ноги ее в доме не будет, и Гуля приказала малярам красить синим. Оказалось прекрасно: Гуля жила как бы на фоне театральной декорации, столь неправдоподобно, небытово синели стены, и все вещи – обшарпанная карельская береза, бронзовая угасшая рама потемневшего зеркала – подтягивались стройно на этом неприродно-синем.

Немытая посуда на столе стояла, словно выстроенная для натюрморта, и Гуля, уперев подушку в изголовье ладьи, улыбалась. На этой ладье она, не знающая бессонницы и кошмаров, ежевечерне отправлялась в небесное плаванье, не забывая шепнуть: «Слава тебе, Боже, еще один денек мы с тобой прокувыркались. И пожалуйста – никаких снов. Если можно...»

Но на этот раз, под утро, был какой-то сон, но он всплыл как-то не сразу и омрачил Гулино праздничное настроение. Сон был бессюжетен. Ощущение чужой власти, замкнутого пространства. И грубой, грубейшей фактуры. Прочь, прочь, не хочу вспоминать! Сукно на столе... Капитан Утенков с гнуснейшей бранью, нежно направленной в ухо... И пошел... и пошел... Смерд... Хам... Спас. Прочь пошел! Не хочу!

Но сон уже вырвался на поверхность и вспоминался против воли. Стоит в кабинете на ковровой очень чистой дорожке в больших омерзительных ботах она, Гуля, и капитан Утенков смакует ее девичью княжескую фамилию, и в ней вдруг поднимается тяжелое желание, бьет, как большая рыба хвостом. А Утенков делается не Утенковым, а кем-то любимым, родственно близким... уточняется и перестает вовсе быть Утенковым... и все это длится, и не завершается, и не разрешается... Глупость! Фу, глупость какая! Ну ведь прошу же, пожалуйста, не надо мне снов...

Ах да! Шурик придет клеивать окно. Как он мил. Да, окно. Надо встать и прибраться. Ванну бы горячую принять. Чистить неохота. Соседи свиньи. Грязь необыкновенная в ванной. Ногами встать противно, не то что ванну принять...

И потекло ее утро. В три она выпила кофе. Ответила по телефону. Звонили вчерашние гости и к соседям. Почитала французский детектив. Скучно. Погрела сосиску. Джульетка есть не стала. Опять позвонили – Беатриса, осевшая в России еврейка из Америки, приятельница по ссылке, позвала в гости. «И поеду! – решила Гуля. – Черт с ним, с окном! Зима ведь, ясно, что холодно. И должно быть холодно. А Шурик придет, нет ли – еще неизвестно».

– Приду, Бетька, приду! – пообещала Гуля. Только повесила трубку, позвонил Шурик, спросил, есть ли в доме вата.

– Может, отложим? – хотела пойти на попятную Гуля.

– Ни в коем случае. Ты простудишься. Такой холод. И сквозняк у тебя!

И Гуля перезвонила Беатрисе, объявив, что придет, но несколько позже.

Сан Саныч пришел в восемь. Гуля, чувствуя, что у нее рушится визит и праздник, вильнув хвостом, выскальзывает из рук, начинала злиться на Шурика, что опоздал, на себя, что согласилась на оклейку окон, без которой всегда прекрасно обходилась, и даже на Беатрису, милейшую, с грубым мужским голосом, нежную, до идиотизма наивную Беатрису.

– Страшная стужа, градусов тридцать, не меньше, – мерзлым голосом проговорил Сан Саныч, снимая пальто в комнате у Гули. На вешалке в передней никто не раздевался. Считалось, что если пальто не украдут, то наверняка мелочь из кармана вытрясут. – Стужа, говорю, ужасная, – продолжает Сан Саныч, вынимая из трепаного портфеля мотки бумажных лент, – поставь, пожалуйста, чаю. И кастрюлю с

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
водой, клейстер надо сварить.

Гуля обреченно пошла на кухню, поняв, что в гости сегодня не выбраться.

Наскоро выпив чаю, Шурик залез на подоконник и открыл внутреннюю раму. Медные шпингалеты с длинными, во всю раму, задвижками прекрасно работали, даром что было им лет сто, а вот сами рамы сгнили. Пласт холодного воздуха, хранившийся между ними, мгновенно разбух и занял всю комнату.

Сан Саныч ножом пропихивал в щели тонкие жгутики ваты. Гуля сидела в кресле с Джульеткой на руках и любезным голосом спрашивала, чем она может быть полезна.

Сан Саныч любил Гулю. Он знал ее с детства, но как-то кусками. Ее трижды сажали: дважды, как она считала, за мужей, а один раз – так она сама объясняла – за излишки образования. Этот последний раз случился уже после войны, в небольшом отрезке ее незамужней жизни. Обычно мужа у нее скорее находили один на другого, но тут как раз был такой период безмужья, и она пошла на службу.

Кроме гимназии, Гуля никаких учебных заведений не кончала, но языки знала хорошо, а по понятиям нового времени даже великолепно. Мать Гулина была полунемка, выросшая во Франции, так что оба эти языка дома были в ходу. К тому же жила у них англичанка, мисс Фрост, которая, вопреки общему понятию об англичанах, была невероятно болтлива. Она наполняла своим неумолчным птичьим говором весь дом, и не выучить в ее присутствии язык мог разве что глухой. Легко усваивающая языки четырнадцатилетняя Гуля, влюбившись в последнее предвоенное лето в итальянского певца, преподавателя, жившего тогда в Москве, легко, в два месяца, выучила итальянский, восхитив сладкоголосого учителя легкостью речи и несверной пылкостью повадок.

Польский она выучила уже в ссылке, по стечению обстоятельств. Вера Александровна, навещая ее, оставила случайно Агату Кристи по-польски, и Гуля, еще не вкусившая сладости этого жанра, вцепилась в него и долгие годы ничего, кроме Агаточки, как она ее нежно называла, в руки не брала.

Гуля устроилась референтом-переводчиком в некую техническую контору, проработала немногим больше года и ввязалась в глупейший конфликт, который рос и креп до тех пор, пока начальник не написал на нее донос, обвинив ее крайне непоследовательно в аполитичности, космополитизме и шпионаже. Обвинение и по тем временам было столь нелепым, что через полтора года, еще до смерти Сталина, Гуля вышла.

В перерывах между своими дробными посадками Гуля ухитрялась жить как птичка, немедленно заново выходя замуж, праздновала свой неистовый праздник любви, хохотала, бегала по гостям, «стрекозила», как говорила про нее осторожная и насмерть перепуганная жизнью Веруша. Однако Гуля цветов своей легкомысленной одежды не меняла.

Шурик родился, когда Гуля, после первой своей лагерной пробы, жила у Веруши в Калуге, и он оказался первым и единственным ребенком, к которому Гуля была причастна от самого его младенчества. Она как-то сумела преодолеть свое отвращение к этому влажно-сопливому периоду существования, вызывавшему у нее брезгливость. Во всяком случае, для Шурика было сделано исключение.

Даже съехав от Веруши к Павлу Аркадьевичу – теперь уже трудно установить, которому по очередности ее мужу, – она навещала Веру и Шурика все те годы, что прожила с ним, вплоть до его смерти, в неугасающем веселье души и тела и, вопреки своему внутреннему устройству, едва его и впрямь не полюбив.

В эти ранние годы Шуриковой жизни Гуля появлялась шелковая, праздничная, в облаке духов и жидкой пены тщедушных локонов, с нарисованными бровями и настоящими, драгоценно-зелеными глазами. Нежный мальчик обнимал скользкие колени и замирал с расширенным сердцем. А Гуля шевелила его обреченные на недолгую жизнь тонкие волосы пальцами с красными, немного внутрь загнутыми ногтями.

Потом Гуля исчезла, и Шурик по ней тосковал. Однако, когда она вернулась окончательно, на большие праздники сердце Шурика уже не было способно и Гуля уже была не такая шелковая. К тому же это был год его шестнадцатилетия, а в тот год шелк, мед, мех, лед и прочие совершенства мира заключались для него совсем в

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
ином сосуде.

Гуля же в спешном порядке вышла замуж за старого красивого человека, носившего известную фамилию. Правда, к сожалению, он был не тем самым, а всего лишь однофамильцем, но кто бы посмел задать этот вопрос?

Гуля жила изо всех сил, не пропуская вернисажей, выставок, премьер, бенефисов, гастролеров. Скоропостижно умер последний муж, и Гуля объявила подругам, что отныне она монахиня, но сильно в миру...

Сан Саныч, потерявший в эту пору значительную часть волос, сильно прибавивший в весе и приобретший неотталкивающее сходство с картофелиной, служил тогда совсем другому кумиру, но никогда не отлынивал от бесцеремонных – впрочем, сам он так никогда их не определял – требований Гули передвинуть мебель, отвезти ее на дачу или проводить на вокзал. Но все-таки Сан Саныч страдал, понимая, что Гуля стара, что он ничтожно мало ей помогает, и заклейка окон радовала его как возможность быть чем-то полезным милой Гуле.

Трехстворчатое окно было избыточной, барской высоты: с подоконника он доставал рукой едва выше половины рамы, а щели оказались бездонными, они проглотили три пачки ваты, целую кучу тряпья, порванного на полоски, и конца этой работе не было видно.

Гуля в упоении уже третий час рассказывала о своей нежной дружбе с неким Максом, но Сан Санычу и невдомек было, что речь шла о Волошине. Увидев, что Сан Саныч закончил с внутренними рамами, Гуля, подмигнув, вытащила графинчик коньяку и никудышную закуску.

– Вчера гости все подъели, а сегодня я из дому не вылезала, – объяснила скудость стола Гуля. – Сейчас мы с тобой немножечко хряпнем, друг сердечный! – ворковала Гуля, смолоду любившая веселое винное ускорение крови, и вытаскивала большие, зеленого стекла бокалы. – Глупость, конечно, коньяк из таких бокалов, да еще и зеленых, но эта мелкота, они все грязные, – и махнула рукой в сторону помоечного, как его называла, столика возле двери, где стояла вчерашняя немытая посуда. – Знаешь, я подумала: к черту рабство! Если я не хочу ее мыть, то могу, в конце концов, и не мыть, не правда ли, друг мой?

– Гуленька, конечно, правда, – улыбаясь, умиляясь ей, ответил Сан Саныч, склонив голову набок. Он смотрел на нее восхищенно, и она чувствовала это и приходила в кураж. – Ты просто молодец. В нашем поколении таких людей, как ты, уже нет.

– Что ты имеешь в виду? – переспросила Гуля, любившая всякого рода комплименты и ожидавшая услышать приятное. – Налей-ка, голубчик. Вот так. И хватит.

– За твое здоровье! Гуля, ты поразительная женщина! Ты – прекраснейшая из женщин! Я тебе ничего нового не скажу, но ты – эвиг вайблих! Елена, Маргарита и Беатриче в одном лице! – восторженно, искренне и вдохновенно понес Сан Саныч, подымая мутный зеленый бокал.

Гуля захохотала, положив на лоб худую, съехавшую внутрь, как это бывает у пианистов, кисть.

– Я так давно не слышала этих благородных имен, что в первый миг изумилась, с чего это ты мою милую Беатриче, Беатрису Абрамовну, в такую возвышенную компанию записал! Ох, я забыла ей позвонить! – сквозь смех вспомнила она.

– Да ну тебя, Гуля! Не даешь собой восхищаться!

– Я? Да сколько угодно! Что может быть приятнее даме, чем восхищение... Разве что... – И она снова залилась смехом.

– Ах, Гуля, Гуля, ну как тебя не любить! Это же просто невозможно! – простуженно трубил Сан Саныч.

Она сидела в широком кресле, ручка которого была подвязана старым поясом от халата. Голубые, свежеекрашенные волосы дымились вокруг ее маленького черепа; как всегда, круто была подрисована бровь, а под ней – драгоценный, смеющийся, умный глаз. Сан Саныч налил по второй.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Да, Гуля, дорогая, я хочу выпить за чудо женственности, за чудо твоей женственности! – торжественно провозгласил Сан Саныч и, склонившись, поцеловал ей руку.

Что-то хрустнуло в памяти. Близко-любимо-знакомое, что проступало в чертах капитана Утенкова, – это же Шурик был, Шурик!

А Сан Саныч, дурак, все витийствовал. Размякнув от коньяка, лепетал о шелковых коленях, которые он так любил в детстве, о нежных перчатках, прикосновение которых так волновало, и даже о подзорной трубе, которую она когда-то ему подарила...

Пальцами, обряженными в большие некрасивые кольца, Гуля расстегнула три верхние пуговицы своей лиловой блузки, глубоко вздохнула и тихо, отдельно произнесла:

– Шурик, мне плохо...

– Боже мой! Гуленька, что с тобой?! Может, врача вызвать?! – осекся Сан Саныч, искренне встревоженный ее нездоровьем.

– Нет, нет, что ты, ни в коем случае! Это бывает. Сосудистое. Перемена погоды. Помогите мне перейти на кровать. Вот так. Спасибо, мальчик! – И, следуя хитрому вдохновению, Гуля повлекла ничего не подозревающего, невинного, восторженного, совершенно уже обреченного Сан Саныча к причаленной своей ладье.

– Подушку повыше, пожалуйста, и корсет расстегни, милый! – томным голосом приказала Гуля.

Сан Саныч повиновался.

Две тонкокожие осенние дыни медленно выкатились на руки Сан Саныча.

– Может, тебе какое-нибудь лекарство? Я сейчас... – пролепетал Сан Саныч в некотором смятении.

– Ах, какое уж тут лекарство, – великолепно и снисходительно произнесла Гуля – и Сан Саныч наконец понял, что он приперт...

Ладья поплыла, и в этот же миг Сан Саныч почувствовал, что все его дурацкие комплиментарные, извилистые и дохлые слова, которые он лепетал полчаса назад, – святая, истинная правда.

Джульетка протопала своими костяными коготками от бархатной подушки к креслу, вспрыгнула на него и уселась, не сводя черных глазок с тонких белых ног хозяйки.

Без четверти шесть щелкнул замок Гулиной комнаты – она провожала Сан Саныча к дверям. Они были одного роста – длинноногая Гуля и приземистый Сан Саныч в толстом зимнем пальто. Она задела вешалку, уронила половую щетку, стоявшую у соседской двери, и, поцеловав его в лоб, сказала неожиданно громко и низко:

– Спасибо тебе, Шурик!

– За что? – тихо спросил Шурик.

– За все! – подвела трагическую черту сияющая Гуля.

...Три дня не убирала Гуля с овального стола двух зеленых бокалов. Заходили приятельницы. Она сажала их в кресло и, указывая на бокалы, томно говорила:

– Должна тебе сказать, что в нашем возрасте любовные игры – слишком утомительное занятие. – Она делала паузу и продолжала небрежно: – Любовник был. Молодой. Так устала, что нет сил вымыть пару рюмок.

И она приподнимала средним пальцем веко, которое в последние годы немного западало, и внимательно следила за выражением лица приятельницы – чтобы не упустить и этой последней крупицы нежданно случившегося праздника.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Народ избранный

Седьмого октября, в канун Сергия Радонежского, Зинаида приволокла к церкви свое жидкое, стекающее книзу волнами, скорбное тело и остановилась на ничейной земле, где ларьки уже кончились, а церковная балюстрада, возле которой паслись нищие, еще не началась.

Месяц уже прошел с тех пор, как она похоронила мать; похоронные деньги, скопленные матерью, издержались, еще восемнадцать рублей пришлось доложить к поминкам из инвалидской пенсии. С деньгами Зинаида управляться не умела, мама все покупала, пока была здорова, а как заболела, так пошло все непонятно, и с едой стало плохо. До маминой смерти Марья Игнатъевна со второго этажа приносила то суп, то еще чего, а как мама умерла, Марья Игнатъевна перестала ходить к Зинаиде, потому что обиделась: хотела взять мамину кофту китайскую, а Зина не дала, пожалела. Не потому пожалела, чтобы себе оставить – Зина мамины вещи носить не могла, мама была сухая, как таракан, и росту маленького, а Зинаида была такой ширины, что в трамвай не влезала. Не дала кофту Зинаида потому, что это память была о матери, – китайского зеленого цвета, с обтяжными пуговицами и шерстью вышитыми цветами на плечиках.

Была еще вторая, синяя, но ее тоже теперь не было, потому что мама велела ее хоронить в синей. Она была мерзлява, боялась холоду могильного и велела хоронить ее в синей кофте и в носках шерстяных. Так Зинаида и сделала, как мать велела, и Марье Игнатъевне ничего не досталось, она и досадовала.

И еще мать велела, чтобы Зинаида надеялась на Божью Матерь и, как деньги кончатся, чтобы шла к храму и стояла бы: «Добрые люди помогут твоему убожеству за ради Божьей Матери».

Вот теперь Зинаида пришла и стала. Стоять ей было еще хуже, чем ходить, она считала, что главная ее болезнь в ногах, хотя районная врачиха говорила, что в железах–надпочечниках.

Две нищие у балюстрады, возле самой церкви, сидели на складных стульчиках, но стульчики такие Зинаиде не годились, они бы ее не удержали.

Обута была Зинаида мягко, в разрезанные впереди войлочные тапочки, к которым у нее дома были и галоши на мокрое время. Носки ей вязала мама просторные из деревенской шерсти, и тренировочные штаны носила Зина, потому что никакие чулки на ее складчатые ноги не налезали. Поверх надет был новый огненно-ржавый халат фланелевый и хорошая кофта – по своей неразумности надела она на себя все самое лучшее, как в поликлинику, потому что шла на люди.

Так стояла она, мимо шли бабушки и некоторые женщины помоложе с сумками, и совсем молодых несколько, но никто ничего Зинаиде не давал. Видно, она стояла либо не там, либо не так. Полчаса прошло, и ноги стали гореть огнем, и сильно захотелось есть – и она вспомнила, что в буфете стоит пачка вермишели. И пошла она потихоньку домой в недоумении, что мама-то ее обманула – или сама ошиблась: никто ей на убожество ничего не подал ради Божьей Матери.

Наутро сообразила Зинаида, что никому из проходящих не говорила она, что ради Божьей Матери. Спихватилась, но идти было поздно, потому что обедня отошла.

Зато на другой день Зинаида встала пораньше и собралась в храм. День опять был не простой, с хорошим праздником, Иоанна Богослова, и погода была солнечная – теплая для этого времени необыкновенно. Опять надела Зинаида свой огненный халат, хорошую кофту, опять не дотумкала одеться победнее. Повязала платок розовый холодный и заколыхала через проспект.

Народу возле храма было побольше, чем в прошлый раз, а нищих целая череда выстроилась. Зинаида подошла к ним поближе, но не совсем близко – стеснялась. Теперь она уже помнила, что надо просить не просто, а ради Божьей Матери. Но все, кто проходил, не смотрели в ее сторону, а она не знала, как их окликнуть.

Наконец старушка совсем плохая шла мимо, в очках, с клюкой, остановилась возле Зинаиды и дала ей мутную копеечку.

– Ради Божьей Матери, – невпопад сказала Зинаида, а старушка ловко ей ответила:

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
– Господь с тобой!

Зинаида обрадовалась, стала рассматривать свою копеечку, она была совсем обыкновенная, но все же дареная.

«Мама-то не зря сказала», – подумала Зинаида. И тут подошла к ней черная длинноносая женщина на каблуках, в темных страшных очках и, положив в руку ей двугривенный, попросила:

– Помолись об упокоении Екатерины.

– Спасибо вам большое, помолюсь, – сказала Зинаида и перекрестилась. Она не знала, как правильно отвечать, но, похоже, женщине в очках было не важно.

Народ все шел, шел мимо, не густой толпой, а так, по одному, по двое, и набрала Зинаида полную ладонь, правда, больше меди. Ноги стало сильно крутить, и очень хотелось есть. Она решила идти домой, только прежде зайти в храм и поблагодарить Божью Матерь за пособие.

Взлезла Зинаида на паперть, лестницы были тяжелые, ей показалось, что кто-то ее окликнул: «Эй, ты», но знакомых у нее здесь не было, и она вошла внутрь, крестясь трижды возле всех дверей. Купила свечку за тридцать копеек – еще много денег оставалось, не меньше рубля, – поставила возле Казанской – мама всегда здесь ставила – и поковыляла к выходу.

Возле ящика старуха-тарелочница пхнула ее остренько в бок и прошипела:

– Стой на месте, как люди, куда тебя несет, Херувимскую поют!

Но Зинаида не поняла, за что старуха ее ругает, и, сгорбившись, пошлепала к двери.

Она вышла из храма, бок все еще отзывался на старухин пинок, и вдруг – напасть какая-то! – еще одна старуха в клетчатом платке с жирной родинкой под глазом, из тех, что стояли на самом давальном месте, перед ступенями, набросилась на нее, вывернула ладонь так, что посыпались на землю набранные монеты:

– А ты сюда боле не ходи, ноги тебе переломаем! – и стала толкать ее в спину корявой сумкой.

Хромой старик поднялся с земли, зашел с другого бока и, черным словом обругав ее, замахнулся:

– Давай, давай отсюда!

Зинаида зажмурилась и остановилась. Ноги у нее как будто отнялись, и она почувствовала, как горячо стало ляжкам и икрам.

– Иди, иди, нечего тебе здесь делать, своих хватает! – гнала ее совсем уж крохотная старушонка в плшивой меховой шапке.

Зинаида рада была бы убежать, да ноги не держали – подогнулись, и она осела на самой дороге, как огромная растрепанная курица, укрывая голову белыми и пухлыми руками.

И вдруг над головой ее раздался свирепый хриплый голос:

– У, шакаля стая, рванина несытая! Мразь ты, Котова! Двадцать лет стоишь, все мало набрала! На тот свет заберешь! А ты куда, старый хрен, лезешь, прислуга фашистская! Вставай, что ли!

Зинаида почувствовала, как железная рука легла ей на плечо и потянула вверх.

– Эй, женщине плохо, помогите поднять! – зыкнул голос, и чьи-то руки потянули Зинаиду вверх, потащили чуть не волоком к скамье и усадили. Тут только она открыла глаза. Перед ней стоял маленький широкоплечий – сначала показалось – мальчишка, нет, не мальчишка, мужиковатого вида женщина в брюках с косыми бровями и разбойным лицом. Желто-рыжая челка торчала из-под белого ханжеского

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
платка. Растопыренные ноздри подрагивали. – Ничего, ничего, я им хвоста накручу,
банда попрошайская! Ты ходи и стой где хочешь, места некупленные! Ишь, мафию
развели, как в Сицилии! Убогому человеку уже и притулиться негде! Хуже милиции!
– орала эта странная женщина. – А ты не слушай их! Если тебе кто хоть слово
скажет, ты им сразу говори: а мне Катя Рыжая велела!

Катя Рыжая стояла, опираясь на два здоровенных костыля, потом, низко склонившись
к Зинаиде и угасив гнев, спросила:

– А ты сама-то откуда?

Зинаида хотела ответить, но язык не ворочался.

– Где живешь-то? – переспросила Катя. – Глухая?

Тут Зинаида покачала головой.

– Здесь живу, через проспект.

– Какая группа? – деловито осведомилась Катя.

– Вторая, – радостно ответила Зинаида.

– Ага, – удовлетворенно кивнула Катя.

– Мама у меня померла. Месяц, как похоронила, – поддержала разговор Зинаида.

– А моя все никак не помрет, – с сожалением заметила Катя. – Вот трешничек,
возьми. Ты пьющая?

– Не-ет, – удивилась Зинаида.

– Бери! Раз непьющая, тебе и до Покрова хватит. Завтра не приходи. Приходи
четырнадцатого или тринадцатого, ко Всенощной можешь прийти. Я здесь буду. Если
чего, ты так им и скажи – Катя Рыжая велела! Зовут-то как?

– Зинаида, – застенчиво ответила Зинаида.

– Они, Зинаида, темные, сил нет. Есть злые как собаки. Да что собаки, хуже
собак! Чуть цыкнешь, хвосты прижимают. Все больше попрошайки, настоящих нищих
здесь почти что и нет. А ты ходи, ходи, не бойся!

Катя помогла Зинаиде выбрать свое тело из глубокой садовой скамьи, в которую,
как в западню, затекла Зинаида. И пошла она восвояси, ощущая мокрель в тапках и
холод по всему низу.

Остывшая и как бы даже похудевшая своим рыхлым телом Зинаида втиснулась в
квартиру и, не проходя вглубь, села в прихожей на табурет, стянула с головы
платок, свила его жгутом, куколкой, стала жалеть: «Бедная, бедная», – и
заплакала...

Зинаида была слаба, она, и с мамой живя, часто обижалась на маму за то, что она
ей есть не давала. Аппетит у Зины был непрерывный, и он был ее болезнь, а мама
ей препятствовала. Тогда Зинаида, скручивая из платка куколку, садилась на
табурет возле двери и говорила маме:

– Уйду от тебя, уйду...

– Куда ты уйдешь, квашня? Куда пойдешь, прорва? – равнодушно ворчала мама.

И Зине казалось немного, как будто эта куколка из платка и есть она, Зина,
только маленькая, и она шептала:

– А мы уедем. Весна придет, мы в Анапу уедем.

Возили Зину в санаторий в Анапу, когда ей было лет десять и болезнь только
начиналась.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
...Отдохнув от страха и обиды, Зинаида сняла свои подмокшие тренировочные и пошла в ванну стирать. Она купала в мыльной воде свои огромные полупрозрачные руки, вздыхала – ничего она не умела. Раньше мама все делала, а теперь вот приходилось самой.

Мысли были большие, одутловатые, неповоротливые – она думала про свое будущее нищенство, про всякую еду, которую будет сейчас есть, и про Катю Рыжую, которая ее защитила от злых людей...

Зинаида пришла к Покрову. Больше ее не гнали. Она собрала много денег, почти четыре рубля. Все время, прислонясь спиной к балюстрадке, она искала глазами Катю Рыжую, но так и не нашла.

Когда деньги кончились, пришла опять и опять набрала денег, но Катю не встретила. Старухи ее не гоняли, а одна даже приветила, сама подвинулась и другой сказала:

– Дай Слонихе встать, подай влево.

Так вернулось к Зинаиде ее давнее прозвище – Слониха. Она и впрямь была Слониха, еще в школе ее так дразнили, но по малолетству это было обидно, а теперь как имя родное...

Только на третий раз Зинаида встретила Катю. Та шла по асфальтированной дорожке, косо ведущей к храму, валкой походкой, с припаданием на одну ногу, в то время как вторая, в ортопедическом ботинке, довольно высоко задиралась вбок. Катя увидела Зинаиду, кивнула и вошла в храм.

«Наверное, в притворе стоит», – подумала Зинаида. Ей тоже хотелось под крышу, но она боялась, что снова ее прогонит та старуха с родинкой. Так, в раздумьях, простояла она почти час. Сначала в ногах бегали мурашки, а потом они как бы онемели. Подавали ей мало, меньше всех. Это она еще раньше заметила и про себя решила, что и правильно, худого всегда жальче, чем толстого.

Поколебавшись еще немного, Зинаида решила поискать Катю в храме. Увидела она ее в левом приделе, в очереди возле исповедующего священника. Вид у Кати был строгий, челка ее не торчала из-под платка, повязанного низко, с двумя глубокими складками на висках. Она шагнула к седобородому желтому священнику, он что-то долго ей говорил, она качала головой, потом и сама стала что-то говорить, к большому удивлению Зинаиды. Старик все качал головой, а потом положил ей на голову тускло-золотую епитрахиль. Она поцеловала его желтую руку и поковыляла к царским вратам.

Зинаида подстерегла ее, потянула за рукав, но Катя посмотрела на нее пустым янтарным глазом и сказала: «После, после...» Тут храм весь загрохотал огромным пением, запели «Верую...», и Катя отвернулась от нее и неожиданно тонко стала выводить: «...во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым...» – с такими замираниями, падениями и подъемами, что казалось, Катя одна ведет всю эту толпу по горной перепадистой дороге.

Потом все пение кончилось, снова говорил священник, немного пел хор, потом опять всем храмом пропели «Отче наш», это Зинаида знала, потому что мама ее этому научила. Но было очень душно, тесно, люди все были не отдельные, а как одно громадное, слившееся из отдельных дрожащих капель существо, и Зинаида чувствовала, что все делается густым туманом, но не сырым, а душистым, медовым. Свечной огонь как будто расплавился в воздухе, все стало сладким, снотворным, вся жизнь снаружи, на улице, пропала, как радужные разводы в луже, а здешнее, золотое, все сгущалось и стало наконец точно таким же по плотности, как ее тело, и она оторвалась вверх и поплыла между золотых столбов, арок и зыбких нимбов, а густой воздух, которого она касалась рукой, был к ней благосклонен и ласков...

Она и сама не заметила, что давно уже сидит на широкой и удобной скамье, рядом с другими, а кто ее подвел и посадил, она не помнила. Здесь, на лавочке, ее и нашла Катя.

– Ну что, не гоняют больше? – спросила склонившаяся Катя.

– Нет, не гоняют, – просияла в ответ Зинаида.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Ну и ладно. – Катя было двинулась прочь, потом задержалась и спросила: – Ты собрала чего? Так пошли, что ли?

И они вместе вышли, колышущаяся на ходу Зинаида и маленькая, как кривое высохшее дерево, Катя.

– Пошли, что ли, к тебе, – предложила Катя, и Зинаида обрадовалась: гости к ней не ходили, кроме тети Паши, маминой сестры.

По дороге к дому Зинаида купила хлеба и мороженого – много. Теперь, после смерти мамы, она ела вволю и пристрастилась к мороженому. Мать ей мороженого не давала, говорила: больно сладко для тебя! А Зинаида себе сахару не жалела.

В доме Катя острым глазом все оглядела, несколько даже пригнувшись, заметила немытый пол и сказала:

– Мне тоже согнуться по-нормальному невозможно, я полы ползком мою. Лягу на живот и ползу себе назад. Может, помыть тебе?

Зинаида застеснялась такому предложению, да и на что? И так хорошо. Заглянула Катя и во вторую комнату, запроходную. Туда Зина после маминой смерти и не заходила, нечего ей там было делать. Пока Катя осматривалась, Зина приготовила поесть: накрошила в белую миску вареной картошки и плавленого сыру, налила туда кефиру. Она сама себе такую еду придумала, ей нравилось, и первое, и второе сразу, и варить не надо. Так крошила она все подряд, и хорошо было. Едой Зинаида очень утешалась. Только во время жевания ей и было хорошо. Как только она еду проглатывала, как будто большой зверь в животе начинал шевелиться и требовать: еще, еще!

Сели было есть, но Катя вскочила, опираясь на один костыль, – тут Зинаида увидела, что совсем без подпорки Катя вообще ходить не могла, сразу валилась, – проковыляла в коридор и принесла ковровую изношенную сумочку на замке, щелкнула звонко замком и вытащила четвертинку, поставила на стол.

– Ради праздника не возбраняется, – наставительно сказала, но Зинаида и не думала возбранять. Она поискала стопочки, не нашла, вынула чашки. Катя наморщила короткий нос: – Тогда уж стаканы давай.

Зина поставила два стакана и разлила в обеденные тарелки окрошку. Катя скovyрнула толстым ногтем крышечку с четвертинки, разлила по стаканам. Зина охнула – она водки не пила.

– Много, что ли? – удивилась Катя. – А не хочешь – не пей, – разрешила она снисходительно, ткнула своим стаканом Зинаидин и, сказавши «С Богом, Зина», перекрестилась и выплеснула водку в открытый редкозубый рот.

Зина понюхала свой стакан, отпила маленький глоток – было невкусно и драло горло.

Катя быстро поела тарелку крошева, поела и мороженого – в меру, без большого удовольствия. Дождалась, когда Зинаида оближет обертку, собрала со стола и сложила в раковину тарелки и многозначительно сказала:

– Вот.

Зинаида подняла свое слегка запачканное мороженым лицо и, приоткрыв рот, приготовилась слушать.

– Поди-ка умойся! – приказала Катя, но Зина умываться не пошла, вытерла рот тряпочкой – и так сойдет. И Катя начала: – Вот, Зина, что я хочу тебе сказать. – Голос звучал торжественно и многообещающе. – Мать твоя померла, сама ты неумная. К тому же и больная. – Зинаида закивала головой, все было правда. – И правильно ты сделала, что к храму пришла. Однако зачем ты пришла? – Вопрос Кати не требовал ответа. – Просить пришла. И правильно сделала. Там тьма народу просит. Все больше попрошайки. Это дело нехитрое. Для тебя, Зина, я хочу, чтоб стала ты не попрошайкой, а настоящей нищей.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
«Нет, мне такой, как Катя, никогда не быть, – восхищалась про себя Зинаида новой подругой. – Вот у нее какой голос, то зычный, когда она на старух напустилась, то вдруг детский, переливчатый, когда она запела божественное...»

А Катя дальше вела свою речь:

– На меня не смотри, мое дело особое, я ни туда ни сюда, сбоку припека, я и в техникуме училась технологическом, и сколько по больницам промытарилась, и еще в каких местах была, это тебе не приснится. На меня не смотри. Скажи мне перво-наперво: чего тебе не хватает, Зина?

Зина наморщила брови, насупилась, подумала, сказала:

– Сегодня у меня всего есть, Катя.

Катя довольно засмеялась:

– Правильно, правильно я про тебя догадалась! Редкий человек говорит: все у меня есть. Обыкновенно всем всего мало. Всего хотят, бесятся, страдают, ненавидят аж до смерти, и все от зависти, что у другого есть, а у меня нет. Понимаешь?

– А как же! – важно согласилась Зинаида, польщенная значительностью разговора. Она вся заволновалась, даже немного покраснела. – Я не завидую, мне ихнее и не подходит ничего... я вон какая толстая!

– Проста ты, Зинаида, проста, – как-то разочарованно заметила Катя. – Ну ладно, а в Бога ты веруешь?

Зинаида застеснялась, заерзала на табуретке.

– Ну? – строго спросила Катя. Зинаида стала крутить из тряпки куколку.

– Эх ты, Божий человек, а в Бога не веруешь, – совсем уж разочарованно протянула Катя.

– Я в Божью Матерь... – опустив голову, тихо, как двоечница на уроке, проговорила Зинаида.

– Ну, – учительским голосом требовала Катя, – говори, Матерь-то она кому?

Зинаида надулась и тихо проговорила:

– Дочки своей матерью.

Тут обомлела Катя. Она вылупила желтые глаза, развела руками, так что прислоненный к подоконнику костыль с грохотом упал.

– Чего? Дочки? Какой дочки? Господа нашего Иисуса Христа матерью! Да ты, Зина, хуже татарина! Это ж надо, дочки!

Зина сидела совсем багровая, и в голове у нее громыхали колокола.

– Иисус Христос, Сын Божий, сошел с небес ради одного только – сказать, чтоб не были зверьми, чтоб любили друг друга, а его схватили и смерти предали, убили его, Зина! Потом спохватились, а все! Поздно! Воскрес – и нету его! Ищи-свищи!

Катя подвинула к себе Зинаидин стакан, выпила, помолчала, покачала головой:

– Ты не пьешь и не пей! А я выпью! Всем людям, Зин, одному много, другому мало: красоты, ума, добра всякого. Вот ты послушай, как со мной случилось. Это еще когда было, когда я освободилась... вышла... – Катя полезла в козью сумочку, вытащила из нее еще одну четвертинку и подозрительно покосилась на Зинаиду, но та сидела простодушно, не выражая никакого недовольства или удивления. Катя опять сколупнула ловко крышечку, налила полстакана и махом выпила. – Я из Химок, из области, статья прописная, прихожу домой, а мать меня прописывать не хочет. Мать у меня не старая, красавица собой, глаза черные, брови, цыганская кровь в ней сказались. Не пойму я, чего она не хочет меня прописывать? Мы с ней никогда особенно не скандалили... Это мне потом сказали, Зин. У меня, Зин, мужик был,

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru вроде муж, постарше меня, но так, нормально. Так когда меня посадили, из-за него, между прочим, все вышло, так маманя моя его себе приспособила. А у нее этого добра и без Витки моего пруд пруди, на что он ей сдался, не пойму. В общем, мать не прописывает, без прописки я даже мою инвалидскую пенсию получить не могу, сунуться некуда, на работу опять же без прописки не берут, хоть ложись и помирай. А она – ни в какую. Одежки у меня – что на мне: телогрейка да сапоги рваные. Подружка у меня в Новодачной жила, я туда поехала, а ее нет – съехала. Приезжаю на Савеловский вокзал, не помню, как доковыляла до «Новослободской». Слышу, звонят. Думаю, пойду в церковь. А что? Или я некрещеная какая? Настроение – хоть вешайся. Вошла, стою. Денег даже на свечечку маленькую нет. Церковь полна, праздник какой-то, сейчас уж я не помню какой. Только я стою и думаю: что же ты, Господи, создал меня на свет такой несчастной? Калека, да нищая, да мать родная гонит, мужик, черт с ним совсем... что она его отбила, родная мать – вот что обидно. Думаю я так и всё больше сердца на него: что же делаешь-то? Разве это по справедливости? За что мне такое мыкать, в то время как другие, нисколько меня не лучше, в полнейшем порядке проживают? Если, говорю я Ему, ты мне Царствие Божие уготовил, то мне этого не больно и нужно, мне бы сейчас, на сей момент... Стою и злюсь, и так меня разбирает все больше и больше. И себя жалею – что калечная, что ни красоты, ну ничего не дал Бог... – Катя шмыгнула носом. Зина все крутила в руках свою тряпочку с самым жалостным видом. Катя короткопалой рукой ухватила за горло четвертинку, но не налила. – Вдруг слышу, позади меня железом звяк-звяк, я оглянулась – старуха сзади меня раскладушку раскладывает. Сбрендил, что ли, думаю я... И не смотрю в ту сторону больше. Потом времени несколько прошло, опять звень-звень. Я оглядываюсь, вижу картину, Зина, не поверишь. На раскладушке три подушки горкой, а в них упирается подбородком, лежит – не мышь, не лягушка, а неведома зверушка. Женщина завернута в одеялко детское, чуток не хватает ей на ноги, спеленута, как младенец, шнурками перевязана. Одно личико торчит из черного платка, а глаза огнем горят, ну точно боярыня Морозова, не знаешь ты, конечно, хорошую такую картину художника Сурикова. У меня память, Зина, такая, что увижу раз – как припечатано. Все помню. Вот, лежит, а глаза горят. Как будто меня прожгло всю. А старуха ее берет, как ребенка, взвалила на себя, а голову ее через свое плечо перевесила, не держится у нее головка-то, падает. Вся она как ребеночек семилетний, одеялка на все чуток не хватает, ножки в носках шерстяных торчат, крохотные, неходячие, и понесла ее старуха к исповеди. А я, Зина, иду за ней, как коза на веревке. Как держит меня она. Подносит ее старуха к священнику, тот молитвы долгие читает, я тогда ничего не знала, я уж потом все узнала, что читает да зачем. Теперь-то я всю службу наизусть знаю, до последнего слова, а тогда я ничего не понимала по-церковному. Он отчитал, а потом сразу к ней и говорит ей что-то. А она в ответ как мышь – писк, писк! Зина, а у меня внутри – с тех пор такого со мной не бывало, – внутри пошла такая почесуха, и в горле, и в груди, и в самом сердце, ну просто влезла бы рукой и ногтями бы драла, драла, сил просто нет. Это же надо, это же надо! Ведь ни ног, ни рук, ни голоса человеческого, как мешок ее таскают... И тут во мне как бы что-то треснуло и потекло... Заплакала я, Зина, аж брызнуло! Уж так мне ее жалко стало, не передать... – губы у Кати поползли, задергались, она высморкалась, вытерла глаза и строго продолжала: – Я потом, Зина, все про нее узнала, монахиня Евдокия она, а старуха, ее мать, тоже постриг приняла, в миру, понятно, живут, кому они в монастыре нужны. Вот уж кому злосчастье выпало! Господи, да за что? Вот тут меня и осенило, Зиночка! Ведь каждый человек, который на нее смотрит, одно думает: вот несчастье, хуже моего, хуже уж некуда, а мои-то обстоятельства куда ни шло, еще можно жить-то. Вот уж кого пожалеть надо, а не себя. Дошло тут до меня, Зиночка, зачем это Господь таких, как мы, немощных, уродов и калек, на свет выпускает! Понимаешь ты меня, Зиночка?

Зинаида сидела как замороженная. Рот открыт, глаза закосили, она слушала Катини слова и не слышала их, но смысл входил в нее каким-то странным образом – не то через кожу, не то через воздух.

– Для сравнения, для примера или для утешения, уж и не знаю, как тебе сказать, – пояснила Катя. – Люди-то злы, им очень утешительно видеть, что другому еще хуже. Вот ты посмотри, есть артистки известные, красавицы, в ларьках продают, все в цветах-розах, а ты на нее посмотришь, и так уж тошно делается – нету, нету справедливости. А когда, с одной стороны, артистка такая, ей всего отпущено, а с другой – сестра Евдокия на раскладушечке-то... Вот и думай! Господь поставил, там и стой! Ах, думаю я, хорошо! Вот оно, мое место: калека, стою у храма, проходят люди мимо, каждый посмотрит и про себя скажет: слава тебе Господи, что ноги мои здоровы и что не я стою здесь с рукой-то! А другой и совестью зашевелится,

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru смекнет, что Богу неблагодарен за все благодеяния его. Ты на попрошайку не смотри, Зина, у них одна забота – денег набрать. А настоящий нищий, Зиночка, Божий человек, Господу служит! Он избранный народ, нищий-то!

...Зина погружалась в полусон. Глаза ее были открыты, но она не видела Кати, не слышала ее слов. Ей представлялось, что она сидит на земле и ноги у нее тонкие, загорелые, а вокруг несметная россыпь мелких иссиня-голубых и лиловых цветочков, слегка подсохших, но ярких необыкновенно. Листья и стебли были жесткими, слегка кололи голые ноги, но уколы эти были веселые, вроде газа в лимонаде, и она встала и пошла прямо по этим цветкам, а земля была немного упругая, а ноги ее будто были сделаны из чего-то более твердого, чем зыбкая земля, по которой она шла...

А Катя все говорила, говорила, но речь ее делалась тише, и быстрее, и неразборчивей:

– А мы теперь хвалим. Он нам болезни, а мы хвалим! Он нам бедность, а мы хвалим! Всякое дыхание да хвалит... – так, на полуслове, Катя положила голову на клетчатую клеенку. Большая, мужского вида кисть правой руки лежала на столе, вторая рука болталась – и наливалась темной кровью.

А Зина все шла через яркие жесткие цветочки, а сбоку из-за большого камня вышла мама в синей кофте, с вышитыми на плечах шерстяными цветочками, хотя Зина точно знала, что цветочки эти с зеленой, китайской. Мама шла наискосок, но все приближалась к Зине, и махала ей рукой, и улыбалась, и была молодая.

Девочки
Рассказы

Дар нерукотворный

Во вторник, после второго урока, пять избранных девочек покинули третий класс «Б». Они уже с утра были как именинницы и одеты особо: не в коричневых форменных платьях с черными фартуками и даже не в белых фартуках, а в пионерских формах «темный низ, белый верх», но пока еще без красных галстуков. Шелковые, хрустящестеклянные, они лежали в портфелях, еще не тронутые человеческой рукой.

Девочки были лучшие из лучших, отличницы, примерного поведения, достигшие полноты необходимых, но недостаточных девяти лет. Были в классе «Б» и другие девятилетние, которые и мечтать не могли об этом по причине своих несовершенств.

Итак, пять девочек из «Б», пять из «А» и пять из «В» надели после второго урока пальто и галоши и выстроились перед школьным крыльцом в колонну попарно. Сначала одной девочке не хватило пары, но потом Лилю Жижморскую затошнило на нервной почве и она пошла в уборную, где ее вырвало, а затем напала на нее такая головная боль, что пришлось отвести ее в кабинет врача и уложить на холодную кушетку, – чем восстановилась парность колонны.

Старшая пионервожатая Нина Хохлова, очень красивая, но косая девушка, председатель совета дружины взрослая семиклассница Львова, девочка-барабанщица Костикова и девочка Баренбойм, которая уже год ходила в Дом пионеров в кружок юного горниста, но еще не научилась выдувать связных мелодий, а пока умела только издавать отдельно взятые звуки, встали во главе колонны.

Арьергард состоял из Клавдии Ивановны Драчевой, которая в данном случае представляла собой не ту часть себя, которая была завучем, а ту, которая была парторгом, одной родительницы из родительского комитета с двумя разлегшимися на плечах развратными черно-бурыми лисицами и старичка-общественника, знающего, вероятно, тайну хождения по водам, поскольку его сапоги среди водоворотов непролазной грязи сверкали идеальным черным лоском.

Старшая вожатая дала сигнал, потрянув помпоном на шапочке и двумя мощными кистями на свернутом дружинном знамени, барабанщик Костикова протрещала «старый барабанщик, старый барабанщик, старый барабанщик крепко спал», Баренбойм надулась и издала кривой трубный звук, и все двинулись по мелко-извилистому, но в целом прямому маршруту через Миуссы, Маяковку, по улице Горького к музею. Такие же колонны двинулись от многих школ, как мужских, так и женских, потому что мероприятие это имело масштаб городской, республиканский и даже всесоюзный.

Колченогие мускулистые львы, похожие на волков, с незапамятных времен привыкшие

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru к отборной публике, меланхолично наблюдали с высоких порталов за шеренгами лучших из лучших и притом таких молодых.

– Сколько мальчишек, – неодобрительно сказала Алена Пшеничникова своей подруге Маше Чельшевой.

– Это не хулиганы, – пронизательно заметила Маша.

Действительно, мальчики в теплых пальто и завязанных под подбородками треухах были мало похожи на хулиганов.

– А девочек все-таки больше, – настаивала на чем-то сокровенном и не до конца выношенном Алена.

Тут их ввели внутрь музея, и у всех дух свело от имперско-революционного великолепия полированного мрамора, начищенной бронзы и бархатных, шелковых и атласистых знамен всех оттенков адского пламени.

Их подвели к гардеробу, и они строем стали раздеваться. Галоши, кушаки, рукавицы – всего было слишком много. Всем было неловко, и каждому как будто не хватало по одной руке. По той, которая была занята сверточком с пионерским галстуком, положить который было некуда. У одной только толстухи Соньки Преображенской обнаружился карман на белой кофточке, и она положила в него драгоценный сверточек.

Пионервожатая Нина, покрытая пятнистым румянцем, держа в вытянутых руках тяжелое древко дружинного знамени, повела их по широкой лестнице наверх. Ковер, примятый медными прутьями на каждой ступени, был зыбким и пружинистым, как мох на сухом болоте.

Позади всех шла родительница, снявшая из-под пышных лисич незначительное пальто и утопая подбородком в толстом меху, а рядом с ней в чудесным образом не запятнанных сапогах – старичок-общественник, сверкая металлической лысиной не хуже, чем голенищами.

– Алена, – в шею Алене зашептала стоявшая позади нее Светлана Багатурия, – Алена! Я все забыла, мамой клянусь.

– Что? – удивилась хладнокровная Алена.

– Торжественное обещание, – прошептала Светлана. – Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, перед лицом своих товарищей... а дальше забыла...

– ...торжественно обещаю горячо любить свою Родину, – высокомерно продолжила Алена.

– Ой, вспомнила, слава богу, вспомнила, Аленочка, – обрадовалась Светлана, – мне только показалось, что я забыла!

Народ все прибывал, но никто не путался и не размешивался, все стояли по классам, по школам, ровненько, а весь длинный зал сплошь был заставлен витринами с подарками товарищу Сталину. Они были из золота, серебра, мрамора, хрусталя, перламутра, нефрита, кожи и кости. Все самое легкое и самое тяжелое, самое нежное и самое твердое пошло на эти подарки.

Индус написал приветствие на рисовом зернышке, и в другой раз, не сейчас, можно было бы посмотреть под лупой на эти волнистые буквы, похожие на мушиный помет. Китаец вырезал сто девять шаров один в другом, и опять-таки нужна была лупа, чтобы в просветах этих мелких узоров разглядеть самый маленький, внутренний шарик меньше горошины.

Узбечка ткала ковер из своих собственных волос всю жизнь, и с одной стороны он был угольно-черный, а с другой – голубовато-белый. Серединка его была соткана из сидящих, пестровато-серых печальных волос.

– Наверное, она теперь лысая, – прошептала Преображенская.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
– Это не имеет значения, узбечки все равно ходят в парандже, – пожалала плечом жестокая Алена.

– Это до революции они так ходили, отсталые, – вмешалась Маша Чельшева.

– Отсталая не станет в подарок товарищу Сталину ковер ткать, – защитила почтенную старушку Преображенская.

– А может, она не все волосы в коврик заделала, может, немножко оставила? – с надеждой сказала добрая Багатурия, пощупав свои толстые длинные косы, подвязанные ленточками над ушами.

– А-а, посмотрите! – вдруг ахнула Маша. – Видели?

Но смотреть было особенно не на что: на витрине лежала квадратная тряпочка, на которой был вышит портрет товарища Сталина. Не особенно красиво, крестиком, не очень даже и похоже, хотя, конечно, догадаться можно без труда.

– Ну, видели, – отозвалась Преображенская, – ничего особенного.

– Чего, чего? – забеспокоилась Алена.

– Читай, что написано! – Маша ткнула пальцем в этикетку в витрине. – «Портрет товарища Сталина вышила ногами безрукая девочка Т. Кольванова».

– Танька Кольванова! – в восхищении прошептала Сонька, едва не теряя сознание от восторга.

– Да вы что, с ума сошли? Какая же Кольванова безрукая? У нее две руки. Да она и руками-то так не вышьет, не то что ногами! – отрезвила их Алена.

– Но здесь же написано Тэ Кольванова! – с надеждой на чудо все не сдавалась Сонька. – Может, у нее сестра есть безрукая?

– Нет, Лидка, ее сестра, в седьмом классе учится, есть у нее руки, – с сожалением сказала Алена. Она зажмурилась, покачала головкой в многодельных плетениях кос и добавила: – Все же спросить надо.

И тут всё двинулось и стройными рядами пошло в другой зал. С одной стороны стояли барабанщики, с другой – горнисты, в середине стояли знаменосцы с распущенными знаменами, и какая-то, наверное, самая старшая пионервожатая громко скомандовала:

– На знамя равняйся! Смирно! Слово предоставляется матери Зои и Шуры Космодемьянских.

Все подровнялись и выпрямились, и тогда вышла вперед невысокая пожилая женщина в синем костюме и рассказала, как Зоя Космодемьянская сначала была пионеркой, а потом подождала фашистскую конюшню и погибла от рук фашистских захватчиков.

Алена Пшеничникова плакала, хотя она про это давным-давно знала. Всем в эту минуту тоже хотелось поджечь фашистскую конюшню и, может быть, даже погибнуть за Родину.

Потом выступил старичок-общественник и рассказал про первый слет пионеров на стадионе «Динамо», про Маяковского, который читал «Возьмем винтовки новые, на штык флажки», а все пионеры – участники слета весь тот день ездили потом бесплатно на трамвае, а билеты стоили четыре, восемь и одиннадцать копеек.

А потом все хором прочитали торжественное обещание юного пионера и всем повязали галстуки, кроме Сони Преображенской, которая хотя и положила свой галстук в карманчик, но как-то ухитрилась его потерять, и она заплакала. И тогда старшая пионервожатая Нина временно сняла свой галстук и повязала его на шею горько плачущей Соньке, и она утешилась.

Запели «Взвейтесь кострами, синие ночи!» и вышли из зала стройными колоннами, но уже совсем другими людьми, гордыми и готовыми на подвиг.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

На следующее утро все пионерки пришли в школу немного пораньше. Третий класс «Б» просто-таки осветился этими четырьмя красными галстуками. Сонька перевязывала его на каждой переменке. Вредная Гайка Оганесян посадила чернильную кляксу на красный уголок, торчащий из-под воротничка впереди сидящей Алены Пшеничниковой, и Алена рыдала всю большую перемену, но перед самым концом перемены к ней подошла Маша Чельшева и сказала ей на ухо:

– А давай спросим у Кольвановой, ну, про ту, безрукую?

Алена оживилась, и они подошли к Таньке Кольвановой, которая сидела на последней парте и рвала на мелкие кусочки розовую промокашку, и спросили без всякой надежды, просто на всякий случай, не знает ли она безрукую девочку Тэ Кольванову.

Кольванова очень смутилась и сказала:

– Какая же она девочка, она большая...

– Твоя сестра?! – взвопили в один голос свежепринятые пионерки.

– Не сестра, так, родня нам, тетя Тома, – потупившись, ответила Кольванова, но видно было, что она мало гордится своей знаменитой теткой.

– Она ногами вышивает? – строго спросила Кольванову Алена.

– Да она все ногами делает, и ест, и пьет, и дерется, – честно сказала Кольванова, но тут прозвенел звонок, и они не договорили.

Весь четвертый урок Алена с Машей сидели как на иголках, посылали записки друг другу и другим членам пионерской организации, а когда урок кончился, они окружили Кольванову и стали ее допрашивать. Кольванова сразу призналась, что тетя Тома и впрямь вышивает ногами и действительно она вышила подарок товарищу Сталину, но это было давно. И что она никакой не герой войны, и руки ей не фашистские пули отстрелили, а что она так родилась, совсем без рук, и живет она в Марьиной Роще, и ехать туда надо трамваем.

– Ну хорошо, иди, – отпустила Алена Кольванову.

Кольванова с радостью тут же улизнула, а пионерская организация в полном составе осталась на свое первое собрание.

Главный вопрос был ясен и сам собой как-то решен: выборы председателя совета отряда. Соня с наслаждением написала на тетрадном листе: «Протокол». Проголосовали. «Все – за», – написала Соня, а ниже приписала: «Алена Пшеничникова».

И Алена, молниеносно облеченная полнотой власти, тут же взяла быка за рога:

– Я думаю, мы должны пригласить на сбор отряда безрукую девочку, ну, эту тетеньку, Тамару Кольванову, пусть она нам расскажет, как она вышивала подарок товарищу Сталину.

– А мне больше понравился... там стоял столик золотенький, вокруг стульчики, а на столике самовар и чашечки, а самовар с краником, и все маленькое-маленькое, малюсенькое... – мечтательно сказала Светлана Багатурия.

– Ты не понимаешь, – печально сказала Алена, – столик, самоварчик – это каждый может сделать. А ты вот ногами, ногами...

Светлане стало стыдно. Действительно, она обольстилась самоварчиком, когда рядом живут герои. Она свела свои раскидистые брови и покраснела. Вообще-то в классе ее уважали: она была отличница, она была приблизительно грузинка, жила в общежитии Высшей партийной школы, где учился ее отец, а Светланой ее назвали не просто так, а в честь дочки товарища Сталина.

– Значит, – подвела итог Алена, – дадим Кольвановой пионерское поручение, пусть приведет свою тетю Тамару к нам на сбор.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Соня пошарила пухлой ручкой в портфеле и вытянула оттуда яблоко. Откусила и отдала Маше. Маша тоже откусила. Яблоко было невкусное. Смутное недовольство было на душе у Маши. Хотя красный галстук так ярко и свежо свешивал свои длинные уголки на грудь, чего-то не хватало. Чего?

– Может, моего дедушку позвать на сбор? – скромно предложила она. Дедушка ее был настоящий адмирал, и все это знали.

– Отлично, Маша! – обрадовалась Алена. – А ты пиши, Сонь: адмирала Челышева тоже пригласить на сбор отряда.

Словечко это «тоже» показалось Маше обидным. Тут открылась дверь, пришли дежурные с тряпкой и щеткой, и заседание решили считать закрытым.

Кроткая Колыванова уперлась как коза. Нет и нет – и даже толком не могла объяснить, почему же она не хочет привести свою безрукую тетю на сбор отряда. И упорствовала она до тех пор, пока Сонька не сказала ей:

– Тань, а ты Лидке своей скажи, пусть она попросит тетю.

Танька страшно удивилась: откуда Сонька Преображенская могла знать, что Лидка вечно таскается к тетке? Но поговорить с Лидкой согласилась.

Лидка долго не могла взять в толк, чего это понадобилось третьеклашкам от калеки-тетки, а когда сообразила, захохотала:

– Ой, умру!

В следующее воскресенье она взяла с собой пятилетнего братишку Кольку и поехала к тетке в Марьину Рощу.

Все колывановское семейство жило кое-как, по баракам и общежитиям, одна только Томка жила как человек, имела комнату в кирпичном доме с водопроводом.

Когда к ней пришла Лидка-племянница, она обрадовалась: Лидка попусту к ней не ходила. Как придет, то и постирает, и еду сварит. Хотя ходила она и не совсем за так: Томка ей всегда подбрасывала то трешничек, то пятерочку. Деньги у нее водились, особенно летом.

Разница в годах у тетки и племянницы была не так велика, не более десяти лет, и отношения были у них скорее приятельские.

– Томка, тебя пионерки хотят на сбор позвать, из Танькиного класса, – сообщила ей Лида.

– На что это мне? Еще ходить куда-то. Надо им, сами придут. Да и на что им нужно-то? – удивилась Томка.

– Да хотят, чтобы ты им рассказала, как ты подушечку-то вышивала... – объяснила Лида.

– Ишь, хитрые какие, расскажи да покажи... Пусть приходят, я им и не такое покажу. – Она сидела на тюфяке, почесывая коленом нос. – Только не за так. Бутылочку красного принесут – и покажу, и расскажу.

– Да ты что, Том, откуда у них? – Лидка уже раздела Кольку и копошилась в углу, разбирая грязные тряпки.

– Тогда пусть хоть десяточку принесут. Нет, пятнадцать рублей! Нам, Лид, пригодится! – и она засмеялась, показывая мелкие белые зубы.

Личико у нее было миловидное, курносенькое, только подбородок длинноват, а волосы густые, тяжелые, в крупную волну, как будто от другой женщины.

– Ох и дуры, чего не видели, – крутила она головой, но была в ней гордость, что целая делегация направляется к ней посмотреть, как она ногами управляется. Была у нее такая слабость – хвастлива. Любила людей удивлять. Летом сидела она на

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru своим подоконнике на первом этаже, лицом на улицу, и, зажав иголку между большим пальцем и вторым, вышивала. А народ, проходивший мимо, дивился. А кто подобнее, тот клал на белое блюдечко и денежку.

Томка кивала и говорила:

– Спасибочки, тетенька.

Обычно давали тетеньки.

– А ты, Лидух, сама-то придешь? Ты приходи за компанию, – пригласила она родственницу.

– Приду, – пообещала Лидка.

Решили идти к Колывановой Тамаре на дом. Девять рублей было у Маши, остальные скопили за два дня на завтраках. Почти целую неделю пионерки ходили надутые тайным заговором, как воздушные шарик легким паром. Почему-то они были совершенно уверены, что не состоящая во Всесоюзной пионерской организации имени Ленина молодежь ничего не должна знать об их серьезной и таинственной жизни.

Гайка Оганесян от любопытства едва не заболела, а Лиля Жижморская была мрачнее тучи, потому что была уверена, что затевается что-то лично против нее.

Тане Колывановой было строго-настрого сказано, что, если она проболтается, ее будут судить. Насчет суда придумала, между прочим, не строгая Алена, а болтушка Сонька Преображенская. Маша, в значительной степени финансировавшая все мероприятие и укрепившая тем самым свои было пошатнувшиеся позиции, приободрилась.

Поход, назначенный на среду, через неделю после торжественного приема, едва не сорвался. Во вторник в класс пришла старшая пионервожатая и сказала, чтобы они не беспокоились: им назначили очень хорошую классную вожатую из шестого «А», Лизу Цыпкину, но она болеет и придет к ним сразу, как только выздоровеет, может, завтра, и сразу поможет наладить им пионерскую работу.

– Так что вы не раскисайте пока, – посоветовала она.

– Мы и не раскисаем, мы уже председателя выбрали, – бодро сообщила Светлана Багатурия.

– Ну и молодцы, – похвалила их Нина Хохлова, сделала пометку в книжечке и ушла.

Девочки переглянулись и без слов поняли друг друга: никакая вожатая Цыпкина им не нужна.

Утром следующего дня они предупредили дома, что вовремя из школы не придут по причине пионерского мероприятия. Все перемены они прятались в уборной на случай, если вдруг Лиза Цыпкина выздоровела и захочет с сегодняшнего дня ими руководить.

После занятия в полном пионерском составе, да еще прихватив с собой беспартийную Колыванову, они скрылись позади школы за угольным сараем в ожидании Лиды, у которой было пять уроков.

Дождавшись Лиду, они пошли кучей на трамвайную остановку. Маша Чельшева зорко поглядывала по сторонам: казалось, что за ними кто-то следит.

За последнюю неделю сильно похолодало, выпал жидкий снежок. Но замерзнуть они не успели, нужный трамвай пришел очень скоро. Народу в нем было немного, так что можно было даже посидеть на желтых деревянных лавочках.

Сестры Колывановы не ощущали ни прелести, ни волнения от этой поездки. Светлана Багатурия, хоть и из другого города, тоже обладала свободой передвижения и даже сама ездила в Пассаж за мелкими покупками. А вот Алена, Маша и Соня впервые ехали в трамвае одни, без взрослых, сами купили себе билеты и расстегнули воротники шуб, чтобы все могли видеть их красные галстуки, знак несомненной

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru самостоятельности.

Марьяна Роца оказалась далеким, совершенно безлесным местом, заросшим, если не считать почернелого бурьяна, исключительно сараями, голубятнями и бараками и густо опутанным толстыми веревками с фанерно качающимся бельем.

Уверенность вдруг покинула Алену. Никогда еще не видела она таких безвидных мест, и ей захотелось домой, в нарядный дом в Оружейном переулке, так близко от того дворца, где львы с подмороженными гривами и тощими задами сидят на воротах...

– Выходить, – сказала Лида, и притихшие девочки сгрудились у выхода. Трамвай с долгим звоном остановился, и, делать нечего, все попрыгали с высокой подножки.

Рядом с трамвайной остановкой стояли два двухэтажных кирпичных дома, остальное жилье было деревянным, рассыпающимся, в глубине были видны несколько настоящих деревенских изб с колодцем в придачу. Народу видно не было, только одна согнутая бабка в валенках и большом платке перебежала из дома в дом. Вдруг закричал петух, и тут же откликнулся другой.

– А нам сюда, – с некоторой гордостью Лидка указала на кирпичный дом.

Она открыла парадную дверь, и все вошли в темный коридор. Лампочка горела только на втором этаже, и почти ничего не было видно.

– Туда, туда, – указала Лидка, и все приостановились у второй двери, за которой следовал еще один коридор с поворотом.

– Вот, – сказала Лида, стукнула кулаком в дверь и отворила, не дожидаясь ответа.

Комната была небольшая, длинная, темноватая. Возле окна стоял топчан, на нем лежала как будто большая девочка, покрытая до пояса толстым одеялом. Она села, спустила на пол большие ноги. Платье у нее было как бы с крылышками на плечах, но рук под этими пустыми крылышками не наблюдалось. Когда же она пошла по комнате, оказалось, что она маленькая, тощенькая и напоминает утенка, потому что походка у нее немного валкая, ноги вставлены чуть по бокам, ступни необыкновенно широкие, а пальцы на ногах большие, толстые и широко расставлены.

– Ай! – сказала Светлана Багатурия.

– Ой! – сказала Соня Преображенская.

Остальные молчали. А безрукая женщина сказала:

– Ну, заходите, коли пришли. Чего в дверях топчетесь?

Алена же, вместо того чтобы сказать длинную приготовленную фразу об открытии сбора, сказала скромненько:

– Здравствуйте, тетя Тома.

И в этот момент ей почему-то стало так стыдно, как потом никогда в жизни.

– Иди, Лидка, чайку поставь, – приказала Тома старшей племяннице и с гордостью заметила: – Кран у нас прям на кухне, на колонку не ходим.

– У нас тоже раньше колонка была, – со своим чудесным грузинским акцентом сказала Светлана.

– А ты откуда, черная? Армян, цыган? – добродушно спросила безрукая.

– Грузинка она, – со значением ответила Алена.

– Дело другое, – одобрила Тома. – Ну, чего, – рьяно и весело продолжила она, как будто не желая по этой красивой грузинской ниточке подойти к тому важному и интересному, ради чего они пришли, – к подарку. – А гостинец мне принесли? Давайте сюда, – и она прижала свой длинноватый подбородок к груди, и тут все заметили, что у нее на груди висит мешочек, сшитый из того же зеленого ситца, что и платье.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Испытывая жгучее чувство неправильности жизни, Алена расстегнула замок портфеля, вытащила кучу мятых рублевок и сунула их в шейный мешочек, покраснев так, что даже пот на носу выступил.

– Вот, – бормотнула она. – Пожалуйста, спасибо.

– А вы смотрите, смотрите, раз пришли, – мотнула Томка подбородком в сторону стены. На стене висели вышивки и картинки. На картинках были нарисованы кошки, собаки и петухи.

– А картинки тоже вы? – изумленно спросила Маша.

Тома кивнула.

– Ногами? – глупо поинтересовалась Багатурия.

– А как захочу, – засмеялась Томка, показывая сквозь мелкие зубы длинный, острый на кончике язык. – Захочу – ногами, захочу – ртом.

Она нагнула голову низко к столу, резко мотнула подбородком и подняла лицо от стола. В середине ее улыбающегося рта торчала кисточка. Она быстро перекатила ее во рту из угла в угол, потом села на кровать, подняла, странно вывернув коленный сустав, стопу, и кисточка оказалась зажатой между пальцев ног.

– Могу правой, могу левой, мне все равно. – И она ловко переложила кисточку из одной ноги в другую, высунула язык и совершила им какое-то замысловатое гимнастическое движение.

Девочки переглянулись.

– А вот портрет товарища Сталина вы тоже нарисовать ногой можете? – все пыталась Алена свернуть в нужном направлении.

– Могу, конечно. Но мне больше нравится кошек да петухов рисовать, – увильнула Томка.

– О, кошечка вон та серая прелесть какая, точно как наша, – восхищенно указала Светлана Багатурия на портрет кошки в неправильно-горизонтальную полоску. – Наша Маркиза у бабушки в Сухуми осталась. Я так скучаю без нее!

– А мне петухи... вон тот, пестрый, – сказала младшая Кольванова, от которой никто не ожидал.

– Ишь ты, а раньше не говорила, Танька, – удивилась художница.

– А вы расскажите про подарок, – гребла целеустремленно в свою сторону Алена Пшеничникова.

– Дался тебе этот подарок, – почти рассердилась вдруг Томка.

Но тут вошла Лидка и объявила:

– Том, керосин-то выгорел, нету керосина.

– А и нету, и не надо, – махнула кисточкой, зажатой в пальцах ног, Томка. – Поди-ка сюда. Поближе.

И Томка зашептала что-то секретное Лидке в ухо. Лидка кивнула, сняла с Томкиной шеи мешочек и пошла к двери одеваться.

Усевшись поудобнее, вроде как бы по-турецки, пошевеливая кисточкой, Томка стала рассказывать:

– Значит, так. Про подарок... – Она засмеялась рассыпчатым ехидным смехом. – Труд мой был не напрасный. Вышивала я долго, месяца два, а может, четыре. Василиска-соседка по почте отправила, а я ей наказала, чтоб с возвратным ответом. – И она снова засмеялась, а потом посерьезнела. – Но, честно сказать,

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru не очень-то я рассчитывала, что ответ получу... Но пришел. Бумага большая, печать сверху, печать снизу, благодарственная, из самой канцелярии. Так и написано: Москва, Кремль... Ну, думаю, дорогой товарищ Сталин, не подведи...

Девочки переглянулись. Алена тревожным взглядом смотрела на Машу.

– А жили мы в Нахаловских бараках. Одна стена – чистый лед, а протопят как следует – вода течет, и нас шестеро вот в такой камере. Мать наша – деревня деревней, сестра Маруся – пьянь, рвань, в жопе ветер, да выблядки ее сопливые... – Томка строго посмотрела на обмерших чистеньких девочек. – Ума ни у кого нет, об себе позаботиться не могут, не то что обо мне, безрученькой. А кому Бог ума не дал, то плохо, я скажу. Ну, я эту бумагу в зубы и иду в жилотдел...

Светлана Багатурия подперла кулачком подбородок и даже рот открыла от проникновения. Сонька хлопала глазами, а Маша Чельшева тяжело, со стеснением втягивала в себя дурной воздух и с еще большим стеснением выдыхала.

– Прихожу, а там в кабинет очередь, а я без ничего, дверь ногой открываю и захожу. Они меня увидели, попадали прям. – Она тщеславно хихикнула. – А я на самый большой стол им, – с неприличным звуком она выплунула изо рта воздух, – бумагу выкладываю и говорю: вот, обратите внимание, великий товарищ Сталин, всем народам отец, знает меня поименно, пишет мне, убогой, свое благодарствие за мое ножное усердие, а моя жилплощадь такая, что горшок поставить поссать некуда. Где же ваше-то усердие, уж который раз мы все просим, просим... Теперь я к самому товарищу Сталину жаловаться пойду... Ну, поняли теперь, пионерия? Фатера-то моя, можно сказать, лично от самого товарища Сталина!

Она покрутила ртом и дернула носом:

– Ничего вы не понимаете, мокрописки. Надевайте ваши пальты и дуйте отсюда, – неожиданно злобно сказала она. Потом слезла со своего тюфяка и запела тонким громким голосом, подстукивая голыми пятками и подергивая боками: – Огур-чи-ки, по-ми-дор-чики...

Девочки попяtilись к двери, схватили свои шубки-пальтишки в охапку и высыпались в коридор. Из-за двери был слышен крик Томки:

– Танька! Танька! Ты-то куда?

Но Таня Колыванова солидарно натягивала свое пальто. Толкаясь, они пробежали по изогнутому коридору и высыпали, разом протиснувшись в парадную дверь, на улицу.

Было уже совсем темно. Пахло снегом и дымом, деревенские тихие звезды стояли в небесной черноте. Они побежали к трамвайной остановке и сбились в кучу возле жестяной таблички. Соньке и Светлане было ничего себе, Маша тяжело дышала, у нее начинался первый в ее жизни астматический приступ, которых будет потом много, а Алена роняла частые слезы с густых слипшихся ресниц.

Она была так несчастна, как только можно вообразить, но сама не понимала отчего.

«Противная, противная, обманщица, – думала она. – И товарища Сталина она не любит...»

– Дома влетит, – сказала бесчувственная Сонька, которой все было хоть бы что.

Две женщины в деревенских полушубках подошли к остановке и встали. Ждать пришлось на этот раз довольно долго. Наконец вдаль раздался чудесный перезвон и из-за поворота появился ясноглазый трамвай. Когда они уже влезали в него, появилась Лидка. Томкино поручение она уже выполнила и неслась вслед за сестрой.

А Томка, с бутылкой в своей шейной котомке, не надевая чунек, поднялась во второй этаж и постучала голой пяткой в коричневую дверь. Ей не ответили. Тогда она развернулась, отступила на шаг, ловко просунула ступню в дверную ручку и, качнувшись, открыла дверь. Внутри было темно, но это было ей не важно.

– Егорыч! – позвала она с порога, но никто не ответил. Она двинулась в глубь комнаты. В углу лежал матрас, а на матрасе – Егорыч. Она встала на колени: –

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Егорыч, ты потрогай, чего я принесла-то. Доставай, что ли... Ну, давай! – торопила она его.

И Егорыч, почти еще не проснувшись, поднял патлатую голову с большой сальной подушки, протянул корявую лапу к Томкиной котомочке и добродушным сонным голосом сказал:

– Тебе только давай... Ну, чего притащила-то?

Он был ее дружок, и она принесла ему дар. Сама-то она выпить немножечко тоже могла, но по-настоящему пить она не любила. И товарища Сталина, как выяснила теперь заплаканная Алена Пшеничникова, она тоже по-настоящему не любила...

Чужие дети
факты были таковы: первой родилась Гаяне, не причинив матери страданий сверх обычного. Через пятнадцать минут явилась на свет Виктория, произведя два больших разрыва и множество мелких разрушений в священных вратах, входить в которые столь сладостно и легко, а выходить – тяжело и болезненно.

Столь бурное появление второго ребенка оказалось полной неожиданностью для опытной акушерки Елизаветы Яковлевны, и пока она, пытаясь остановить кровотечение до прихода дежурного хирурга, за которым было послано в другое отделение, накладывала лигатуры, Виктория крепко кричала, поводя сжатыми кулачками, а Гаяне мирно спала, словно бы и не заметив своего выхода на хрупкий мостик, переброшенный из одной бездны в другую.

Невзирая на суматоху, поднявшуюся вокруг роженицы, Елизавета Яковлевна успела отметить про себя, что близнецы однояйцовые, и это не очень хорошо – она держалась того мнения, что однояйцовые близнецы физически слабее разнояйцовых, – а также она обратила внимание на то забавное обстоятельство, что впервые в ее практике близнецы ухитрились родиться в разные дни: первая двадцать второго августа, а вторая, через пятнадцать минут, но уже после полуночи, двадцать третьего...

Пока мать девочек Маргарита, не унижившая себя общепринятыми родильными воплями, плавала в тяжеловодной реке, то выбрасываемая на черный и прочный берег полного беспамятства, то снова увлекаемая в горячие сильные воды с вызывающей тошноту скоростью, девочки неделю за неделей содержались в детской палате и кормились от щедрот чужих сосцов.

К исходу первого месяца, когда мать девочек, перенеся большую операцию, лишившую ее возможности впредь проращивать драгоценные зерна потомства, и последующее заражение крови, вынырнула, вопреки прогнозам врачей, из промежуточного состояния и начала медленно поправляться, Эмма Ашотовна, бабушка, забрала девочек домой.

К этому времени ей удалось поменять хорошую работу в управлении на должность бухгалтера в жилищной конторе в соседнем доме, чтобы иметь возможность сбегать среди дня к детям и покормить их.

Дома, впервые распеленав два тугих поленца, выданных ей под расписку в роддоме, и увидев, как запущена их бедная кожа, она заплакала. Виктория, впрочем еще безымянная, тоже заплакала – зло, не по-младенчески, большими слезами. Эти первые общесемейные слезы все и решили: Эмма Ашотовна ужаснулась своей тайной неприязни к новорожденным внучкам, едва не унесшим жизнь ее драгоценной дочери, и пошла на кухню кипятить постное масло, чтобы после купания намазать опрелшие складочки.

Уже через несколько дней внимательная Эмма Ашотовна установила, что Виктория – она звала ее про себя «егрорт», по-армянски «вторая», – яростно орет, если бутылочку с молоком подносят сначала ее сестре. Старшая сестра, которую бабушка называла «арачин» – «первая», голоса вообще не подавала.

Лежа валетом в кроватке-качалке, сработанной дворовым столяром дядей Васей, и получая из бабушкиных рук, отяжеленных крупными перстнями и набухшими суставами, теплые бутылочки, они с честным рвением исполняли свой долг перед жизнью: сосали, отрыгивали, переваривали, исторгали из себя с удовлетворенным кряхтением желтые творожистые останки трудно добываемого молока.

Они были очень похожи: темные густые волосики обозначали линию низкого и широкого лба, нежный пушок, покрывающий их лица, сгущался в тонкие длинные брови, а верхняя губа, как у матери и бабки, была вырезана лукообразно, и именно в этой крохотной, но явственно заметной выемке и сказывалось семейное и кровное начало. Хотя обе девочки были прехорошенькими, по мнению Эммы Ашотовны, старшая была потоньше и помилостивей.

Следуя известной системе народных суеверий, дополненных и своими собственными, в некотором роде авторскими, Эмма Ашотовна девочек не показывала никому, кроме старой Фени, соседки, много лет помогавшей ей по хозяйству. Однако, пока Феня с указанного ей расстояния рассматривала два сопящих чуда природы, Эмма Ашотовна, причудливо сцепив пальцы, мелко поплевывала на четыре стороны. Это отводило сглаз, к которому особенно чувствительны, как известно, младенцы до года и девственницы на выданье.

Была Эмма Ашотовна человеком оригинальным, со своей системой жизни, в которой равноправно присутствовали строгие нравственные правила, несколько не завершенное высшее образование, набор упомянутых суеверий, а также возведенные в принцип собственные прихоти и капризы, для окружающих, впрочем, вполне безвредные. Так, к последним относился, например, полный отказ от баранины, столь обычной для армянской кухни, несокрушимая вера в целебные свойства листьев айвы, страх перед желтыми цветами и тайное обыкновение перебирать про себя ряды чисел, как другие перебирают четки. Так, с помощью этой своеобразной игры, решала она обыкновенно свои житейские задачки.

Однако теперешняя ее задача была столь сложна, что со своими любимыми числами, послушно позвякивающими в ее крупной голове под большими волосами, не могла она к ней подступиться.

Эти детки были долгожданными. Дочь ее Маргарита в очень юном возрасте, не достигнув и восемнадцати, вышла замуж по большой любви не то чтобы против воли родителей – профессора-отца и самой Эммы Ашотовны, представительницы древнего армянского рода, – скорее, вопреки их ожиданиям... Избранник Маргариты был крестьянского происхождения, уже в зрелом мужском возрасте. Та армянская глина, из которой он был вылеплен, рано отвердела, и еще в детстве он утратил пластичность. Появление Маргариты в его жизни было тем последним событием, которое завершило окончательную форму его прочного характера.

К новым идеям он всегда был настроен сдержанно, к незнакомым людям – подозрительно, все сложное казалось ему враждебным, и его незаурядный талант инженера вырос, возможно, на свойственном ему от природы желании разрешать все сложности наиболее простым путем.

В жены себе он выбрал Маргариту, когда та гостила с матерью у родственников в горной деревушке, а он, исполняя семейный долг, приехал навестить своего престарелого дядю. Три дня он наблюдал за двенадцатилетней Маргаритой из дядькиного сада, сквозь просветы крупных листьев инжира, и спустя пять лет женился на ней. Она стала богом его жизни, тонкая, нежная Маргарита, с ног до головы покрытая персиковым пушком.

До женитьбы он был честолюбив, хорошо продвигался по службе, имел несколько авторских свидетельств об изобретениях, но брачное счастье было попервоначально столь ярким, что затмило для него все кальки и синьки мира...

Так прошло несколько лет, и счастье несколько отуманилось: он жаждал детей, но дитя, невзирая на его усердные труды, не завязывалось. Утомительное и бесплодное ожидание сделало его, человека от природы сдержанного, угрюмым, а Маргарита, разделяя тоску мужа по потомству, чувствовала свою неопределенную вину. Миновало уже десять лет их браку, она все была юной и тонкой, похожей на диснеевского олененка, а он постарел, померк, и даже инженерные способности его, столь блестящие смолоду, как-то обмелели.

Незадолго до войны Серго получил назначение на Дальний Восток и выехал на новое место службы. Маргарита должна была следовать за ним через короткое, но неопределенное время. Она уже складывала в коробки накрахмаленное до картонной жесткости белье и заворачивала в мятую газетную бумагу фарфоровые чашечки, когда началась война. Отца Маргариты, Александра Арамовича, крупного востоковеда,

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru знатока десятка мертвых и полумертвых языков, еще задолго предсказавшего эту войну с большой календарной точностью, в домашнем, разумеется, кругу, вечером того несчастного июньского воскресенья разбил паралич. Маргарита никуда не уехала: больше года, окруженный прощальной любовью жены и дочери, полностью лишенный речи, почти недвижимый и с совершенно ясным сознанием, пролежал профессор в своем узком кабинетике, вслушиваясь в тихий треск спасенного от конфискации куска эфира, начиненного немецкой и английской, тоже вполне для него внятной, речью. В конце ноября сорок второго года он скончался.

Через неделю после похорон, когда Маргарита уже собиралась поговорить с Эммой Ашотовной о переезде их к Серго, он, без предварительного извещения, явился сам. За этот год он, как ни странно, помолодел, похудел, стал каким-то собранным и обновленным.

Как выяснилось, он долгое время добивался перевода в действующую армию – на театр военных действий, как старомодно выражался покойный Александр Арамович, – и теперь наконец ехал на фронт.

В печально изменившемся доме, еще полным следов болезни и смерти, он провел чудом доставшуюся ему прощальную ночь, и рано утром Маргарита поехала провожать его в Мытищи, где стоял эшелон. Вернувшись, она легла ничком на кровать, обняла пахнущую резким мужским одеколоном подушку и пролежала так четыре с половиной дня, пока запах окончательно не улетучился.

Мать и дочь принадлежали к одной породе восточных жен, любящих своих мужей страстно, властно и самоотверженно. Они сплотились и жили едиными чувствами печали об ушедшем в тихие поля Александре Арамовиче и тревоги о Серго, ушедшем в смежное, грохочущее железом пространство.

За пять следующих месяцев Маргарита получила от мужа всего три письма, причем каждое с новым номером полевой почты.

К этому времени она знала, что некоторые женские неполадки, которые она сначала относила за счет истощения и малокровия, связаны с приездом ее мужа в тот день и час, когда звезды благоприятствовали зарождению ее дочери. Что будет дочь, Маргарита не сомневалась, что их будет две – не увидела.

Эмма Ашотовна, разделив с дочерью нечаянную радость, зажала ей рукой рот: молчи!

И Маргарита молчала. Лишь в одном из писем она туманно намекнула мужу на новые обстоятельства, но Серго той шифровки не разгадал. Эмме Ашотовне, столь сложно устроенной, однако простодушной, и в голову не приходило, какой глубокой катастрофой чревато суеверное умолчание.

Сообщение о рождении детей Эмма Ашотовна отправила зятю лишь несколько недель спустя после их рождения, когда стало ясно, что жизнь Маргариты вне опасности. В ответ была получена телеграмма странного содержания:

«Примите поздравления новорожденными. Серго».

Едва оправившись, Маргарита написала мужу длинное счастливое письмо, ответ на которое очень сильно задерживался.

Выйдя из больницы, Маргарита начала осваивать роль матери, к которой оказалась не весьма талантлива. Эти две маленькие девочки, стараниями Эммы Ашотовны уже налившиеся плотью, едва не увлекли ее на тот свет и вызвали теперь чувство страха. Она боялась взять их на руки, уронить, причинить боль. Но подлинная природа страха открывалась лишь в снах, которые она видела почти еженощно. Сны эти были довольно разнообразны, начинались кое-как, с первого попавшегося места, но кончались непременно появлением двух враждебных существ, всегда небольших и симметричных. Они приходили то в виде двух собак, то в виде двух карикатурных фашистов с автоматами, то в виде ползучего растения, разделявшегося надвое.

Отгоняя смутную и сильную тревогу, она училась любить своих детей и напряженно ждала ответного письма от мужа.

А Серго, получив неожиданную телеграмму, погрузился в адский огонь. Тот реальный, физический огонь, следы которого он постоянно обнаруживал на

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru ремонтируемых танках в виде кусков жженого мяса, припекшихся к металлу, словно переместился в его сердце и бушевал теперь в сердцевине костей.

Смолоду он боялся женщин, считал их существами низкими и порочными. Исключение он делал для покойной матери и для жены. Теперь разом рухнула его вера в Маргариту как в существо высшее и безукоризненное.

Все, все, все они... И плоское, лысое, розовое, как блевотина, русское слово произносил он с каким-то садистическим удовлетворением и неистребимым акцентом. «Би-ля-ди» – было это слово. Измена жены была для него несомненна, а мелочными расчетами женских сроков он не занимался.

Бог знает из какой глубины выплыл вдруг образ Маргаритинового одноклассника, еврейского мальчика Миши, жестоко в нее влюбленного с первого класса и обивавшего ее порог еще в десятом, когда Маргарита уже была невестой Серго. Этому женоподобному тонкорукому скрипачу Серго не придавал тогда никакого значения, хотя и молчаливо раздражался при виде бесконечных маленьких пучков бедных растений, которые Миша постоянно притаскивал Маргарите. Сам Серго дарил своей невесте соответствующие ее достоинству розы.

Теперь этот недомерок вдруг возник в навязчивом образе – обнимающим Маргариту. Нельзя сказать, чтобы он эту картину увидел во сне. Он сам выстроил ее в своем воображении с невыносимой достоверностью, и память угодливо подбросила ему реальные подробности в виде коричневой вельветовой курточки с огромной застежкой-молнией на груди и густой россыпи розовых прыщей, сконцентрировавшейся на переносице белого и чистого лица юноши, которого и видел-то он всего один или два раза.

Серго постоянно вызывал это видение, развивая его в разных интересных направлениях и разжигая в себе огонь ревности такой мощности, что вся грохочущая вокруг война, превратившаяся уже в обыденность, тонула в этом огне, как сухая травинка.

Тогда он и отправил домой три дня обдумываемую телеграмму. На письмо, уместившееся на трех четвертях листочка из школьной тетради, исписанного довольно крупным почерком, ушло у него две недели.

В этом долгожданном письме Маргарита прочла, что он рад, что у нее родились дети, но он не хочет быть рогоносцем. Если у нее есть человек, пусть она разводится и выходит за него замуж, а если этот подлец не хочет жениться на матери своих детей, то пусть тогда все останется как есть. Война длинная, он может быть убит, и пусть тогда ее девочки носят честное имя Оганесяна и хоть пенсию на него получают. Все лучше, чем безотцовщина.

Получив письмо, Маргарита снова легла ничком на кровать и обратилась к мужу с длинным монологом, который первое время был бурным и беспорядочным, а со временем превратился в однообразное кольцевое построение: мы так любили друг друга, ты так хотел ребенка, я родила тебе сразу двоих, а ты говоришь, что это не твои дети, но я ни в чем не виновата перед тобой, как же ты можешь мне не верить, ведь мы так любили друг друга, ты так хотел ребенка, я родила тебе сразу двоих...

Потрясенная Эмма Ашотовна, испытывая чувство вины, выстраивала в обратной перспективе две колоннады цифр, кратных тринадцати и девятнадцати, отстраненно отмечала, как они лиловеют и синеют по мере удаления, и нащупывала одновременно ниточку какого-то гениального и сказочного решения, которое смогло бы все вернуть назад, к месту непостижимой ошибки, и все бы организовалось мудро, мирно, ко всеобщей радости.

Но Маргарита с постели не встала. И Эмма Ашотовна начинала свой день с того, что поднимала дочь, вела ее в уборную, в ванную, умывала, поила чаем и укладывала снова в постель.

Со временем она перестроилась: не укладывала, а усаживала Маргариту в кресло, укрыв ноги пледом. На вопросы Маргарита отвечала односложно, с большой неохотой. По шевелению губ, по отдельным, едва слышно произнесенным словам Эмма Ашотовна поняла, что именно повторяет тысячекратно ее дочь, и пыталась вывести Маргариту из ее умственного паралича. Она подносила к ней девочек, укладывала рядом.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Маргарита опускала на них свои полупрозрачные пальцы, улыбалась светло и безумно, а губы ее все шевелились, неслышно взывая к жестокосердному мужу.

Уложенные валетом, толсто запеленутые, перегретые, как пирожки в духовке – Эмма Ашотовна больше всего на свете боялась холода, – девочки довольно долго спали в одной кровати. Мать слабо реагировала на них, отец страдал от одного факта их существования, и только бабушка принимала их как дар небес, любовно и благодарно, стыдясь момента первой неприязни к ним, да еще феня, соседка и помощница, склонялась над ними, улыбаясь совершенно таким же беззубым ртом, как у девочек, и ворковала сладким голосом:

– Агу, агу, агушеньки...

Потом внесли вторую кровать, и они росли, смотрелись друг в друга, как в зеркало, быстро перенимая все навыки одна от другой, вечно обезьянничая. С нежностью и почти научным интересом Эмма Ашотовна отмечала в них все черты сходства, все штрихи различий: младшая вроде бы ударяется в леворукость, и кожа у нее чуть смуглей, гуще и темней волосы, крупнее кисти рук. Левая ягодица младшей была отмечена родинкой в форме перевернутой трехзубой короны. У Гаяне тоже была родинка, но на правой ягодице, и форма ее была как-то размыта. Зато зубы начинали прорезаться у них всегда в один и тот же день, и с удовольствием ели они одну и ту же пищу, и всегда дружно отказывались от моркови, в каком бы виде она ни попадала на их стол.

В свой срок они начали садиться, вставать на ножки, совершать первые шаги и первые нападения друг на друга.

Переписка их родителей закончилась тем последним письмом Серго. Далее она развивалась исключительно между Серго и тещей. Эмма Ашотовна, так жестоко ожегшаяся своей привычкой руководить, входя во все детали, жизнью дочери, делала теперь вид, что ничего не произошло, давала зятю точные отчеты о детях и заканчивала свое письмо дежурной фразой: «Состояние Маргариты все то же».

Серго отвечал кратко и официально, имени Маргариты никогда не упоминая, тещу же, несмотря на полное внешнее почтение, он и раньше почитал старой ведьмой.

Пережив адскую полосу ревности, он крепко решил, что вычеркнул недостойную жену из своей жизни. Но оказалось, что он и себя как будто вычеркнул из списка живых. Вероятно, тем самым и обманул смерть. Она его не замечала. Участник всех больших танковых сражений войны, от Курского до боя на Зееловских высотах, он ставил на ход подбитые танки, не раз выводил из окружения отремонтированные им машины – однажды в отступлении он остался чинить подбитый танк в жидком скверике отданного города и вывел его ночью, когда город был полон немцами.

Много раз он просил перевести его в боевой расчет, поближе к смерти. Все напрасно. И ветерок пули не пролетел мимо его широкого низкого лба.

– Заговорен, – говорил его друг Филиппов...

Кончилась война. Была объявлена победа. И этот день был для Эммы Ашотовны днем горестных воспоминаний о том несчастнейшем из дней, когда рухнул на пол муж – и уж больше не встал, и о последнем приезде Серго и всей той ужасной нелепости, которую он натворил после рождения детей Эмма Ашотовна сообщила Маргарите о конце войны. Она слабо кивнула головой:

– Да, да...

– Теперь Серго вернется, – неуверенно сказала Эмма Ашотовна.

– Да, да, – безразлично проговорила Маргарита, увлеченная, как всегда, непрерывным разговором с отсутствующим мужем.

...Была середина июля, раннее утро. Он приехал в Москву ночью и несколько часов провел перед домом, где прошли самые счастливые годы его жизни. Он не мог решить, войти ли в этот дом или сразу ехать дальше, в Ереван, к братьям, сестрам, народившимся новым племянникам. В болезнь Маргариты он никогда не верил и смертельно боялся, что на его звонок ему откроет дверь скрипач Миша, и тогда он убьет этого недоноска, убьет к чертям собачьим, просто задушит руками.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Серго хрупал своими непревзойденно белыми зубами и кидался прочь от этого проклятого дома. Выходил к Никитским воротам, сворачивал на Спиридоновку, делал круг и снова возвращался к милому дому в Мерзляковском переулке.

В начале седьмого он окончательно решил уезжать, бросил прощальный взгляд на свое бывшее окно во втором этаже и увидел, как раздвинулись знакомые занавески, и узнал руку тещи в тусклых перстнях.

Он вошел в парадное и едва не потерял сознание от запаха стен – как если бы это был запах родного тела. Поднялся на второй этаж, позвонил четыре раза, и Эмма Ашотовна, как будто нарочно стоявшая возле двери, немедленно открыла ему. Она была одета, причесана, в руках держала маленькую медную кастрюльку. Он машинально поцеловал тещу и прошел в комнату. Она была по-прежнему разделена натрое: передняя отгороженная часть, столовая без окон, и два небольших купе с подвижными дверями, с квадратным окном в каждом из отсеков. Левая комнатка была когда-то кабинетом тестя, правую занимали они с Маргаритой. Он тронул дверь, она отъехала по узкой рельсе – изобретение покойного Александра Арамовича. Маргариты там не было.

Одна черноглазая девочка жевала, сидя в кроватке, уголок пододеяльника, вторая стояла в кроватке и возила по ее бортику плюшевого зайца. Виктория выплюнула недожеванный пододеяльник и уставилась с интересом на мужчину. Гаяне отчаянно закричала и бросила зайца. Вика подумала и ударила его толстой ручкой по груди.

– Дядька плохой! – объявила она. – Уходи!

Серго задом протиснулся в столовую, где Эмма Ашотовна умоляюще махала руками:

– Сережа, они привыкнут, привыкнут... Испугались... Мужчин никогда не видели...

А Серго уже отодвигал вторую дверь-заслонку, где ждал увидеть что угодно, но не это... Бледненькая Маргарита, похожая на газель еще больше, чем во времена юности, с полуседой головой, посмотрела на него рассеянным взглядом и закрыла глаза. Она разговаривала со своим мужем и не хотела отвлекаться.

– Марго, – позвал он тихо. – Это я.

Она открыла глаза и сказала тихо и внятно:

– Хорошо. – И отвернулась.

«Больная. Совсем больная», – поверил он наконец... Опустив покрасневшие глаза, зажав лоб широкими кистями, которые еще несколько лет будут издавать военный запах металлической гари, он молча сидел у стола.

Эмма Ашотовна металась между орущими внуками, безучастной дочерью и безмолвным зятем. Она сверкала крупными камнями на изработанных руках, шуршала старым шелковым платьем павлиньего цвета и говорила красивым низким голосом с гортанными, никогда не исчезающими у армян звуками, говорила торжественно и одновременно обыденно:

– Ты пришел, Серго. Ты пришел. Столько полегло, а ты пришел. Имя твое три года не сходило с ее уст, днем и ночью. Вот такую свечу за тебя держала перед Господом. Детки твои, и они, две свечечки, были за тебя...

Серго не отнимал рук ото лба. Жена его была изменница и «биядь», хотя и больная. Дети – чужие. Но чугунные небеса, которые он носил на своих окаменевших плечах, дрогнули.

А Эмма Ашотовна почуяла это движение и поняла, что вся их жизнь решается в эту минуту и все зависит от того, сможет ли она сказать сейчас все правильно и с добром. Весь черный комок гнева и ярости, который собрался в ней за эти годы против Серго, она, как ей казалось, собрала в левую руку и крепко сжала его в горсти...

Вершинную минуту переживала она. Впервые в жизни остро чувствовала она, что ей не хватает ума, знания жизни, красноречия, и она молила о помощи.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

«Господи, сделай так! Господи, сделай!» – отчаянно кричала ее душа, но она продолжала говорить с лицом спокойным и радостным:

– Твой дом ждал тебя, Серго.. Вот чашка твоя, смотри.. Маргарита не велела трогать.. Книги твои и тетради старые стоят как стояли.. Дождались мы, дождалась тебя.. Только Александра Арамовича нет с нами.. Дети твои дождалась тебя, Серго. Я знаю, она теперь встанет..

Плакали за дверью дети. За другой лежала его больная жена. Теща говорила слова, которых он почти и не слышал. Горькие, тяжелые небеса трескались, двигались, опали кусками. Гулкая боль шла от сердца по всему телу – как будто с него спадали запекшиеся черные куски окалины, – и в этой боли была сладость освобождения от многолетней муки. Эти чужие дети плакали. Их плач касался свежих разломов его сердца и отзывался на них. Он принимал этих чужих детей, рожденных в преступной связи его жены бог знает с кем, может, и не с тем музыкантом.

Он оторвал ладони ото лба, встал монументально – он был крупный человек – и, кавказским торжественным движением отведя руку в сторону, спросил:

– Мама, почему дети плачут? Идите к ним!

К вечеру у Эммы Ашотовны страшно разболелись пальцы левой руки, три средних, исключая мизинец и большой. Всю ночь рука горела, к утру пальцы распухли и поднялась температура. Несколько дней она страшно мучилась. В дни болезни – к слову сказать, первой болезни с довоенного времени – она едва только могла помочь Маргарите, а Серго возился с девочками, которые не только быстро его приняли, но привязались и даже по-женски соперничали за его внимание. Он кормил их, переодевал, сажал на горшок. Душа его стонала от счастья при каждом прикосновении к этим смуглым, чудесным щечкам, чуть влажным кудряшкам, игрушечным пальчикам.

Эмме Ашотовне поставили диагноз – множественный панариций. Сама-то она знала, что через эти нарывы уходило из нее то зло, которое накопила она на своего дурака зятя. Однако, когда нарывы созрели, их вскрыли и все быстро зажило, она еще недели две не снимала повязки с пальцев – для укрепления любви между Серго и девочками.

Вынимая их по вечерам из большого жестяного таза, касаясь их телец через махровое полотенце, он испытывал острое наслаждение. Он не обращал внимания на чайного цвета родинки, украшавшие детские ягодички. И единственным человеком, который мог бы ткнуть его в плоский зад в самую середину родинки в виде перевернутой короны, была его бедная жена Маргарита, которая все сидела в своем кресле и разговаривала с мужем, которого она так любила.

Подкидыш

Теперьшняя наука утверждает, что эмоциональная жизнь человека начинается еще во внутриутробном существовании, и весьма древние источники тоже косвенным образом на это указывают: сыновья Ревекки, как говорит Книга Бытия, еще в материнской утробе стали биться.

Никто и никогда не узнает, в какой именно момент – пренатальной или постнатальной жизни – Виктория впервые испытала раздражение к своей сестре Гаяне.

Мелкие младенческие ссоры можно было бы не брать в расчет, но пронизательная бабушка Эмма Ашотовна очень рано отметила разницу в характере близнецов и по благородной склонности натуры всегда прикрывала своим распушенным крылом ту, у которой и ножки, и румянец были потоньше. Что совсем не мешало ей другой раз любоваться добротной плотностью второй внучки.

Отец млеял от обеих. Детский же плач был для него столь мучительным испытанием, что он змеиным броском хватал в душные объятия рыдающего от обиды ребенка, а именно Гаяне, и готов был мычать телянчиком, блеять овечкой и кукарекать петушком одновременно, только бы поскорее утешилось дитя.

Умненькая Виктория рано осознала, что бурный любовный дуэт, происходящий между отцом и всхлипывающей сестрой, сильно портит удовольствие, получаемое от

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru притеснений Гаяне, и в присутствии отца задирать сестру она перестала.

Справедливости ради надо отметить, что самым грозным наказанием для Виктории было как раз их разделение по разным углам. Когда Гаяне уводили в комнату к матери и плотно задвигали за ней дверь, катающуюся, для экономии жилого места, по узкой железной колее, Виктория с горестным лицом садилась возле домашней одноколейки и часами, в вокзальном ожидании, высиживала себе прощение.

Мать не вмешивалась в отношения девочек, и вообще ни во что не вмешивалась. Она играла в доме роль верховного божества – сидела в узенькой комнате, в высоком кресле, с большой, отливающей серебром корзиной из кос, которые по утрам долго расчесывала бабушка. Дважды в день девочки приходили говорить ей «Доброе утро, мамочка» и «Спокойной ночи, мамочка», а она слабо улыбалась им вырезной губой.

Иногда бабушка приводила их поиграть на ковре возле ее тонких ног, обутых в толстые вязаные носки коврового же рисунка, но, когда девочки начинали ссориться и плакать, мать пугливо морщилась и зажимала уши.

Лет до трех посягательства Виктории ограничивались сугубо материальной сферой: она отнимала у сестры игрушки, конфеты, носочки и платочки. Гаяне посильно сопротивлялась и горько обижалась. По четвертому году произошло событие, на первый взгляд незначительное, но ознаменовавшее более высокий уровень притязаний Виктории. В дом, по случаю простуды девочек, был приглашен старый доктор Юлий Соломонович, из породы врачей, вымерших приблизительно в те же времена, что и стеллерова корова. Присутствие таких врачей успокаивает, звук голоса снижает температуру, а в их искусство, иногда и для них самих неведомо, замешена капля древнего колдовства.

Ритуал посещения Юлия Соломоновича был установлен еще во времена детства Маргариты. Как это ни странно, и в этом, вероятно, тоже сказывалось какое-то колдовство, уже тогда был он очень старым доктором.

Сначала его поили чаем, непременно в присутствии пациента. Эмма Ашотовна, как тридцать лет тому назад, внесла на подносе стакан в просторном подстаканнике, два чайничка и плетеную корзинку с ореховым печеньем. Он тихо беседовал с Эммой Ашотовной, звякал ложечкой, хвалил печенье и как будто совершенно не обращал внимания на девочек. Потом Эмма Ашотовна внесла тазик, кувшин с теплой водой и непомерно длинное полотенце. Доктор долго, как будто перед хирургической операцией, тер розовые руки, потом старательно вытирал растопыренные пальцы. К этому времени девочки уже не сводили с него глаз.

Широким и роскошным движением он надел жестко сложенный хрустящий белый халат и повесил на широкую плоскую грудь каучуковые трубочки с металлическими ягодами наконечников. Золотая оправа его очков сверкала в бурых бровях, а лысина немного отливала рыжим сиянием давно не существующих волос. Девочки, совсем о том не догадываясь, давно уже перевоплотились в зрительниц, сидели в первом ряду партера и наслаждались высоким театральным зрелищем.

– Так как же зовут наших барышень? – вежливо спросил он, склонившись над ними.

Он каждый раз задавал этот вопрос, но они были так малы, что свежесть этого вопроса еще не износилась.

– Гаяне, – ответила робкая Гаяне, и он поболтал на своей шершавой ладони ее невесомую руку.

– Гаяне, Гаяне, прекрасно, – восхитился доктор. – А вас, милая барышня? – обратился он к Виктории.

Виктория подумала. О чем – сам Фрейд не догадается. И ответила коварно:

– Гаяне.

Истинная Гаяне оскорбленно и тихо заплакала:

– Я, я Гаяне...

Доктор в задумчивости почесывал глянцевого подбородок. Он-то знал, как сложно

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru устроены самые маленькие существа, и решал в уме непростую задачу собственного умаления.

Виктория глядела победоносно: не мишку плюшевого, не зайчика тряпичного – ей удалось захватить самое имя сестры, и она торжествовала невиданную победу.

– Так, так, так, – протикал доктор медленно. – Гаяне... прекрасно... – Он смотрел то на одну, то на другую, а потом грустно и серьезно обратился к похитительнице: – А где же Виктория? Виктории нет?

Виктория засопела заложенным носом: ей хотелось быть одновременно и Викторией, и Гаяне, но так запросто отречься от имени, собственного или чужого, тоже было невозможно.

– Я Виктория, – вздохнула она наконец, и Гаяне тут же утешилась.

И пока они переживали неудавшуюся попытку похищения имени, обе были обслушаны, обстуканы твердыми пальцами и прощупаны по всем лимфатическим железам улыбающимся плотно сомкнутыми губами стариком.

Эмма Ашотовна любовалась артистическими движениями врача и радовалась его редкой улыбке, ошибочно отнеся ее за счет неземного обаяния внучек. Она ошибалась: он улыбался своему подслеповатому праотцу, обманутому некогда сыновьями именно этим способом и на этом самом скользком мифологическом перекрестке.

Драма с переименованием с тех пор разыгрывалась довольно регулярно на Тверском бульваре, куда домработница Феня водила девочек гулять. У Фени была маленькая слабость: она до умопомрачения любила завязывать знакомства. Хотя большинство прогулочных бабушек, нянь и детей были ей знакомы, она почти каждый день ухитрялась пополнять свою светскую коллекцию. Возможно, это пристрастие Феня получила в наследство от своей матери, взятой когда-то кормилицей в богатый купеческий дом, прослужившей там до самой смерти и Феню вырастившей под крылом добрых хозяев. А может, тень Иогеля, танцмейстера и светского сводника, жившего когда-то здесь, по левую руку от черного, в голубиных разводах Пушкина, еще витала под липами Тверского бульвара и благословляла знакомства няnek и их воспитанников. Так или иначе, гордая Феня постоянно объявляла Эмме Ашотовне о своих успехах:

– Сегодня с новыми детьми гуляли, с адмираловыми!

Или:

– Двух девочек сегодня привели, вроде наших, но погодки, вертлинские девчонки, актеровы, – сваливала она невзначай в одну кучу происхождение, фамилию и склонности характера.

Но при этом – чего Феня не знала – каждое новое знакомство с детьми сопровождалось неизменной маленькой сценкой: Виктория называла себя именем сестры, а Гаяне, надувшись и покраснев, никак себя не называла, поэтому половина детей обеих сестер называла именем Гаяне.

Феня не придавала никакого значения этим психологическим штучкам. Помимо светских у нее были и другие крупные задачи: не допустить нарядно одетых воспитанниц в грязную песочницу или вовсе в лужу, смотреть, чтобы не упали, не расшиблись, не бегали до поту. Таким образом заботливая Феня обрекала их на развлечения исключительно вербального характера.

В своем маленьком кружке привилегированных детей Виктория славилась как рассказчица перевернутых сказок и самодельных историй, Гаяне же была наблюдательной молчаливой, памятью на чужие бантики, брошки, незначительные события и оброненные слова. Ее любимым развлечением лет до десяти было устройство «секретиков», уложенных под осколком стекла листьев, цветков, конфетных оберток и обрывков фольги. Даже летом, на даче, где у девочек было гораздо больше свободы, Гаяне предпочитала именно это единоличное и сидячее развлечение, в то время как Вика каталась на велосипеде, качалась на качелях и играла в мяч с хорошими, с точки зрения Фени, детьми из соседних дач.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Здесь же, на кратовской даче, в последнее дошкольное лето Гаяне подверглась первому серьезному испытанию. В поселке появились цыгане. Сначала на широкий перекресток двух главных улиц, куда прикатывала обычно бочка с керосином и местные старухи продавали тугие пучки белоносой редиски и колючие, как кактусы, огурчики, пришли четыре цыганки с десятком вертлявых жукастых детей, а потом приехал в телеге, запряженной классической цыганской лошадью, классически хромой цыган в огромном пиджаке, забитом орденскими колодками чуть не до пояса.

Никаких ковровых кибиток и шелковых рубах не наблюдалось. Не было и положенной красавицы среди потрепанных смуглых женщин неопределенного возраста. Более того, одна из них была определенно безобразной старухой. Переночевали они прямо на перекрестке – на телеге или под телегой, никто не видел. Феня, утром бегавшая за молоком, рассказала о них Эмме Ашотовне, и та запретила девочкам одним выходить за калитку.

– Они детей крадут, – шепнула Виктория сестре, и, пока та обдумывала эту новую опасность жизни, Виктория уже спустила с поводка свое воображение: – В нашем поселке уже двоих украли!

Цыганки меж тем занимались своим обычным ремеслом: останавливали прохожих, чтобы всучить им какие-нибудь интересные сведения из прошлой или из будущей жизни в обмен на мятый рубль.

Бизнес их шел ни шатко ни валко, и к полудню они предприняли вылазку – пошли по дачам. Девочки с утра сидели на участке у Карасиков, выходящем прямо на перекресток, и через редкий забор отлично было видно, как цыганенок играл кнутом, а хромой мужик ругал его на непонятном языке. К забору Гаяне подходить боялась, зато смелая Виктория висела на калитке и дерзко пялилась на чужую и такую незаконную жизнь.

В обед пришла Эмма Ашотовна и повела их домой. Цыганки помоложе к этому времени разбрелись, и табор был представлен стреноженной лошадью, пасущейся вдоль улицы на случайной траве, спящим под телегой цыганом да старухой. Размахивая многоцветной одеждой, она преградила путь Эмме Ашотовне и запричитала:

– Ой, что вижу, что вижу... Ой, смотри, беда идет... Дай руку, посмотрю...

Эмма Ашотовна брезгливо отодвинула цыганку высокомерной рукой в больших перстнях со старыми кораллами, точно такими же, что и на сухой грязной руке цыганки, и сверкнула на нее сильными темными глазами. Цыганку как ветром сдуло, и только вслед она крикнула:

– Иди, иди своей дорогой, вода твоя соленая, еда твоя горькая...

Виктория храбро показала цыганке длинный малиновый язык, за что тут же и получила жестким бабушкиным пальцем по маковке, а Гаяне крепко схватилась за шелковый подол бабушкиного нового платья, крупные белые горохи которого были на ощупь заметно жестче, чем небесно-синее поле.

Пообедали девочки на террасе, а потом бабушка разрешила им из-за жары спать в беседке, а не в доме. Феня раскинула им раскладушки и ушла, и тогда Виктория сообщила сестре тайную вещь: оказывается, старуха цыганка – настоящая колдунья и может превращаться в кого захочет и детей превращать – в кого захочет. И лошадка их стреноженная на самом деле была не лошадкой, а двумя украденными мальчиками, Витей и Шуриком, которых давно уже разыскивают родители, да никогда не найдут...

Они разговаривали шепотом.

– Если она захочет, может в бабушку превратиться...

– В нашу бабушку? – ужаснулась Гаяне.

– Ага. А захочет, так в папу... – пугала Вика. – Вон, посмотри, ходят... – и она махнула рукой в сторону дачной ограды... Интересный план созревал в ее умной головке.

Июнь был в самом начале. Толстые маслянистые кисти сирени лезли в беседку и пахли так сильно, как горячее кушанье на тарелке. Шмель тянул басовито и

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru замедленно, и цикады отзывались скрипичными голосами из нагретой травы. Жизнь была такая молодая и такая страшная.

- Ты не бойся, Гайка, – пожалела Виктория испуганную сестру. – Я тебя спрячу.
- Куда? – спросила Гаяне безнадежным голосом.
- В дровяной сарай. Они тебя там ни за что не найдут, – успокоила ее Вика.
- А ты как же?
- А я ее палкой ударю! – грозно сказала Виктория, и Гаяне в этом не усомнилась. Ударит.

Босиком, в одних ситцевых трусиках с большими карманами на животе, они прокрались к дровяному сараю. Виктория отодвинула щеколду и пропустила сестру внутрь.

- Сиди здесь и не выглядывай. А когда они уйдут, я тебя выпущу.

Щеколда щелкнула снаружи. Гаяне успокоилась: теперь она была в безопасности.

Виктория проскользнула обратно в беседку, укрылась с головой простыней. Она представила себе, как страшно сейчас глупой Гайке, и ей тоже стало немного страшно. Но и смешно. Так, с улыбкой, она и уснула.

Эмма Ашотовна разбудила ее в шестом часу и спросила, где Гаяне. Виктория не сразу вспомнила, а вспомнив, забеспокоилась. Еще больше забеспокоилась бабушка – заметалась по их большому участку, первым делом побежала к уборной, куда ходить девочкам запрещалось, потом к малиннику, потом вниз, под горку, в совсем запущенную часть участка, огороженную ветхим штакетником. Девочки нигде не было.

- Гаяне! Гаяне! – кричала Эмма Ашотовна, но никто не отзывался.

Длинный крик, звук имени, со звуковой вмятиной в начале и широким хвостом в конце, безответно впитывался свежей листвой, не набравшей еще настоящей силы.

Это были первые жаркие дни, когда начинала возгоняться смола и над землей собирался, после весенних хлопот поспешного прорастания всяческих трав и листочков, первый летний покой, и крики Эммы Ашотовны как-то неприлично нарушали все благочиние дня, склонявшегося к вечеру.

Виктория подползла к дровяному сараю и отодвинула щеколду.

- Выходи! – громко зашептала она внутрь. – Выходи, бабушка зовет!

Гаяне сидела между старой бочкой и поленницей, вжавшись в стену одеревеневшей спиной. Глаза ее были открыты, но Виктории она не видела. И не видевшая ее лица Виктория это поняла. Ей стало не по себе. Гаяне же, пережив страх столь огромный, что он не мог вместиться в ее семилетнее тело, находилась теперь за его неведомым пределом.

Засунутая сестрой в душную полутьму сарая, Гаяне сначала вроде бы задремала, но, выйдя из дремы от какого-то скрытого движения около виска, она вдруг обнаружила себя в совершенно незнакомом месте: огненно-желтые световые штрихи прорезали пространство со всех сторон, как если бы она была заключена в светящуюся клетку, слегка раскачивающуюся в серо-коричневой тьме. Бедной Гаяне показалось, что она уже украдена каким-то сверхъестественным способом, вместе с сараем, поленницей из березовых кругляшей, с бочками, старой железной кроватью, вставшей на дыбы, и кучей садового инструмента, которым после смерти деда никто не пользовался. И украдена жестоко, вместе со временем, растянувшимся, как ослабшая резинка, и утратившим начало и конец. И это движение, воздушно пробегающее возле виска, тоже имело отношение к тому, что обычное время рассыпалось и куда-то делось, а это новое движется вместе с ней по тошнотворному обратному кругу.

«Даже хуже, чем украли, – подумала Гаяне, – меня забыли в каком-то страшном месте».

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Кончик носа онемел от ужаса, ледяные мурашки ползли по спине, и темный водоворот медленно поднимал ее, и кружил, и нес в такую глубину, что она догадалась, что умирает.

– Гаяне! Гаяне! – звал ее издали громкий переливчатый голос, похожий на бабушкин, но она понимала, что это не бабушка ее зовет и даже не цыганка, превратившаяся в бабушку, а кто-то другой, еще более страшный и нечеловеческий...

– Гайка, выходи! – слышала она настойчивый шепот сестры. – Ушли цыгане, ушли. Тебя бабушка ищет!

Страшное место обратилось в сарай. Узкие лучи света пробивались сквозь щели между досками, и все было так просто и счастливо на кратковременной даче, и бабушка в синем гороховом платье уже шла к сараю, чтобы найти наконец пропавшую внучку, а Гаяне, медленно приходя в себя, удивлялась малости и милости здешнего мира в сравнении с бездонностью и огромностью, нахлынувшими на нее здесь, в деревянном сарае, в начале лета, на седьмом году жизни...

Она кинулась к сестре с криком: «Вика! Вика! Не уходи!» – и обхватила ее руками. Виктория гладила ее по холодной спине, целовала жесткие косы, ухо, плечо и шептала:

– Ты что, ты что, Гаечка! Не бойся! – И ей казалось в этот миг, что она действительно защищает свою милую и пугливую сестру от опасности, притаившейся за воротами...

С этого самого дня, так остро запомнившегося Гаяне и совершенно забытого Викторией, в Гаяне проснулась необыкновенная чуткость ко всему темному и тревожному. Это было особое чувство тьмы, и она испытывала его, даже открывая дверцу платяного шкафа. Там, в темноте, где отсутствовал свет, было еще что-то, словами не называемое, открывшееся ей когда-то во тьме деревянного сарая. Даже такая маленькая и уютная тьма, которая образовывалась в задвинутом скользящей крышечкой пенале, и та вызывала подозрение. Хотя и смутное, но родственное чувство она испытывала, подходя к больной матери. Материнская болезнь представлялась ей тоже сгустком темноты, и она могла бы даже очертить ту область головы, шеи и груди, где тьма, по ее ощущению, сгущалась.

Угаданный Викторией страх сестры побуждал ее к жестоким шуткам – она прятала тетради сестры в самые недоступные уголки квартиры, заставляя ее тем самым залезать в самые темные щели; засовывала в опасное темное пространство пенала дохлого жука, чтобы населить неопределенность ужасной действительностью. А когда Гаяне взвизгивала, отбрасывая пенал, Виктория спасала ее, прижимая к себе и улыбаясь снисходительно:

– Ты что, дурочка, чего боишься-то?

Виктории доставляла удовольствие власть над страхами сестры: взаимная любовь в эти мгновения утешения была так велика, а сами они были в ту пору еще слишком малы, чтобы знать, какие опасные и враждебные примеси здесь поднимаются.

Эмма Ашотовна, уязвленная трагической любовью и болезнью своей дочери и понимавшая кое-что в безумии и жестокости любви, совсем не интересовалась отношениями девочек и природой их взаимной привязанности. Эмма Ашотовна была единственным в семье человеком, обладающим достаточной чуткостью и способной в этом разобраться, но она выстроила строгую и глубоко восточную иерархию: если речь не шла о смерти, то главным событием жизни она считала обед, а уж никак не ссоры и перемирия в детском стане.

Эмма Ашотовна торопливо сбрасывала с плеч хлопотливое утро с долгим расчесыванием четырех длинногривых голов: ее собственной, дочерней и внучкиных, плетением темных кос и одеванием всех в пахнущее чугуном перегретым уюгом белье, скорый небрежный завтрак, малую уборку и приступала к приготовлению обеда, со всеми его печеными баклажанами, фаршированными помидорами, острой фасолью и пресным хлебом.

Хотя она была родом из богатой армянской семьи, детство и юность она прожила в Тифлисе, и кухня ее была скорее грузинская, более сложная и разнообразная, чем

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru принято в Армении. Она вела счет орехам и яйцам, зернышкам кориандра и горошинам перца, а руки ее тем временем совершенно независимо делали мелкие и точные движения, и она наслаждалась стряпней, как музыкант наслаждается музыкой, рождающейся от его пальцев.

Обычно в половине седьмого приходил с работы Серго. Стол был уже накрыт и полыхал запахами. Серго мыл руки и выводил жену к столу. Она шла мелкими шагами заводной куклы и слабо улыбалась. Комната эта была сумеречная, безоконная, освещена желтящим электрическим светом, и лицо ее приобретало оттенок старого фарфора. Ее усаживали в кресло рядом с мужем. Девочки сидели по обе стороны от родителей, но по длинной стороне стола. В другом торце восседала Эмма Ашотовна, и Феня, открыв коленом дверь, вносила розовую супницу, размер которой значительно превосходил потребности семьи. Поставив супницу возле левого локтя хозяйки, Феня исчезала – она обедала на кухне и ни за что не согласилась бы сидеть за этим парадным господским столом, где тарелки сменяли чуть ли не три раза, а еду накладывали по маленькой ложечке.

На доньшко Маргаритиной тарелки наливали немного супу, она брала в тонкую руку тонкую ложку и медленно опускала ее в тарелку. Трапеза эта была чисто символическая – ела она только по ночам, в одиночестве: два куска черного хлеба с сыром и яблоко. Всякую другую еду – с первого года ее болезни, когда мать все пыталась накормить ее чем-нибудь более питательным, – брала в рот и не проглатывала.

В этот вечер, как обычно, Эмма Ашотовна отнесла на кухню посуду и, надев грязные очки и чистый фартук, приступила к мытью. Это была ее поблажка Фене, которая блюла свою честь перед соседками и не уставала им напоминать:

– Я не кухарка, я детей подымаю.

Серго отвел Маргариту в комнату и сел возле старого приемника покрутить его ребристые ручки.

Оставаясь наедине с женой, Серго разговаривал. Нельзя сказать, чтобы с ней. Но и не совсем сам с собой. Это был странный разговор двух безумий: Маргарита бессловесно обращалась к своему любимому мужу с давно заржавелым укором, почти не замечая грузного седого человека, в которого превратился Серго за годы ее болезни, а он, пересказывая и комментируя вечерние радиопередачи, безнадежно пытался с помощью этого зыбкого звукового моста пробиться к Маргарите теперешней, но все еще сосредоточенной на давнем несчастном событии. Они упирались друг в друга глазами, не совпадая во времени на десятилетие, и продолжали свой дикий диалог.

– Где Гаяне? – неожиданно внятно спросила Маргарита.

– Гаяне? – Серго как будто на полном ходу врезался в фонарный столб. – Гаяне? – переспросил он, ошеломленный тем, что впервые за многие годы жена задала ему вопрос. – Они учат уроки, – тихо ответил он Маргарите, беря ее за руку. Рука была как стеклянная, только что не звенела.

– Где Гаяне? – настойчиво переспросила Маргарита. Серго встал и заглянул за перегородку. Виктория сидела к нему спиной и скрипела ручкой. Почерк у нее был с большим нажимом, чреватый кляксами, и, когда она писала, локоть ее так и ходил.

– А где Гаяне? – спросил отец.

Виктория дернула плечом, и чернильная слеза вытекла из-под пера.

– Откуда я знаю! Я ее не сторожу, – не оборачиваясь, ответила Виктория.

Виктория не цитировала. Просто вся ее маленькая жизнь намеревалась стать цитатой и, блуждая, не находила контекста.

Серго, взбудораженный обращением к нему жены, машинально искал по квартире Гаяне. Он вышел в общий коридор, зашел в его слепой отросток, дернул дверь уборной, но там как раз никого не было. Прошел на кухню, где Эмма Ашотовна терла сверкающие спинки тарелок, и в недоумении сказал теще:

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
– Маргарита спросила, где Гаяне.

Эмма Ашотовна остановилась, как будто у нее завод кончился:

– Маргарита тебя спросила...

– ...где Гаяне... – закончил он.

Она бережно поставила тарелку и, всколыхнувшись грудью и боками, почти побежала к дочери. Отодвинув до упора дверку в ее комнату, с порога она спросила:

– Маргарита, как ты себя чувствуешь?

– Хорошо, мама, – тихо, не шевеля даже ресницами, ответила Маргарита. – А где Гаяне? – снова спросила она, и до Эммы Ашотовны дошел наконец смысл вопроса.

Гаяне не было. Более того, на вешалке не было ее новой кошачьей шубки, а под вешалкой не было маленьких ботинок с фальшиво-барашковой оторочкой. Опустевшие, бессодержательные галоши стояли одиноко, каждая в своей подсыхающей лужице.

– А где Гаяне, Вика? – спросила бабушка.

– Откуда я знаю... Мы сидели, сидели, а потом она ушла, – ответила Виктория.

– Давно? Куда? Почему же ты не спросила? – взорвалась целым веером вопросов бабушка.

– Да не знаю я. Не видела. Минут десять или сорок. Откуда я знаю... – все еще не отрываясь от тетради, ответила девочка. С фальшивым увлечением она рисовала на обложке тетради большую чернильную картинку.

Эмма Ашотовна кинулась к фене, но на двери ее комнаты, выходящей в коридор, висел железный калач замка: была суббота, феня еще не вернулась от Всенощной.

Времени было двадцать минут девятого, за окном стояла влажная густая темень, как бывает зимой в оттепель.

Не одеваясь, Серго выскочил на улицу, пробежался по круглому каменному двору и остановился в подворотне: он не знал, куда теперь идти.

Эмма Ашотовна звонила по телефону родителям одноклассниц. Гаяне нигде не было...

Завязка этого вечернего исчезновения произошла месяцем раньше. Девочки добаливали совместную ангину и сидели дома. Виктория, учуяв через две двери запах свежих котлет, притянулась на кухню. Котлеты были большие, честные, начиненные чесноком и травами и исполнены с таким искусством, как будто им предстояла долгая и счастливая жизнь. До обеда было еще далеко, но Вика получила одну – коричневую, в блестящей корочке, едва сдерживающую напор сока и жира. Вика откусила и замахала языком, шумно запуская в рот воздух для охлаждения котлеты.

Обычно Эмма Ашотовна не допускала таких предобеденных вольностей, но девочка выздоравливала после болезни и впервые за неделю попросила поесть.

С увлечением жуя, она прислушивалась к разговору соседок. Мария Тимофеевна, качая тощей головкой, обсуждала с феней ужасное происшествие: нынче утром во дворе у помойки нашли мертвого новорожденного ребенка.

– Я тебе говорю, феня, это либо из восьмого, либо из двенадцатого, в нашем-то никто и не ходил... – выдвигала патриотическую версию Мария Тимофеевна.

– Поди знай, – ворчала феня, которая вообще о человечестве была дурного мнения.
– Утянутся, ушнуруются – и не увидишь.

И она очень натурально сплюнула на пол. Невзирая на девство, о практических последствиях плотского греха она была информирована очень хорошо и испытывала к нему сугубое отвращение.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Разговор шел в опасном направлении, и Эмма Ашотовна, с покрасневшим от сковородного жара лицом и строгими бровями, велела Виктории отправляться в комнату. Наполненная теплой котлетой и ужасной новостью, шла Виктория по коридору и размышляла о бедном новорожденном. Сначала он представился ей в белом кружевном конверте, вроде того мемориального, в котором когда-то спала их мать, а теперь кукла Слава. И этот найденный на помойке мертвый ребеночек представлялся уже кудрявой куклой Славой со скользкими живыми волосами. Но это было как-то неудовлетворительно: не было жалко ни Славу, ни того ребеночка. Хотелось другого, жгучего. Тогда Виктория представила его совсем маленьким, розовым, похожим на не обросшего еще шерсткой котенка от коммунальной кошки Маруси, но только с ручками и ножками вместо лапок и со Славиными розово-желтыми волосиками. Но и эта картина не совсем удовлетворяла ее жадное воображение.

Жирными от котлеты пальцами она коснулась бронзовой ручки своей двери и замерла: о, если бы Гаяне была тем воображаемым ребеночком на помойке!

У Виктории дух захватило: конечно, кто-то близкий и тайно злой выкрадывает маленькую Гаяне, убивает и выбрасывает... Вика открыла дверь, и все рассыпалось от столкновения со скучной действительностью: Гаяне, с обвязанной розовым платком шеей, сидела за столом и, прикусив кончик длинной косы, читала «Робинзона Крузо».

Виктория прошла в детскую и встала у окна. Дворовую помойку, большой деревянный ящик, видно отсюда не было, ее загораживал двухэтажный флигель. В его облупленный желтый бок Виктория и уставилась. Инженерные способности ее отца передались ей каким-то замысловатым способом: ей тоже было важно, чтобы колесико цепляло за колесико, шатун давил на кривошип и машина в конечном счете двигалась. Тот мертвый ребенок ее совершенно не устраивал. Ей нужен был живой, выброшенный на помойку, и чтобы это была Гаяне.

Брови у Виктории были почти сросшиеся, дугообразные, а к вискам они как будто снова собирались загнуться вверх. В задумчивости она, как и отец, произвольно двигала бровями вверх-вниз.

Может, так? Бабушка рано утром выходит с ведром и находит на помойке девочку. Думает, она мертвая, а она живая. Она ее домой приносит и маме говорит: «Покорми ее, ей только три дня». А у мамы я, тоже три дня... – И опять вылезал дефект конструкции: кто же тот злодей, который выбрасывает ребенка на помойку?..

Милиция уже опросила всех желающих высказаться по поводу криминальной находки, собрала несколько фантастических версий, в которых увлекательно перемешивались корысть, колдовство и страсть к доносительству, и двор, всегда живущий по закону неспасаемой, как вечность, сиюминутности, отодвинул происшествие в свою историю, обреченную на забвение, равно как и истории великих допотопных цивилизаций. Следователь положил на полку еще одно дело о нераскрытом убийстве, которое и убийством не вполне считали...

И только Виктория все мучилась своим недоношенным сюжетом. Когтистая интрига не отпускала ее, и она все искала гипотетическую мать выброшенного на помойку ребенка, превратившегося по авторской воле ее злой фантазии в сестру Гаяне.

На третий день творческих мучений Вика, проходя в своем же подъезде мимо двери, ведущей в полуподвальную дворницкую квартиру, нашла искомый персонаж. Бекериха, занимавшая здесь угловую комнату, видом была ужасна. Роста высокого даже для мужчины, по-мужски стриженная, истрепанная белесым лицом и одеждой, она слыла пьяницей, хотя пьяной ее никогда не видели. Но пьяницей она действительно была, на свой манер. Пила она каждый день, всегда в одиночку, затворившись в своей убогой комнатухе. Выпивала она ровно одну бутылку красного вина, начиная быстрым стаканом и растягивая оставшиеся полбутылки часа на два. Потом ложилась спать на тюфяк, прикрытый больничной простыней, взятой напрокат.

Солнце вставало, когда ему было угодно, в зависимости от времени года, Бекериха же просыпалась всегда в половине шестого. Едва разлепив глаза, она выпивала оставленное с вечера – на два пальца от доньшка – вино... Другой бы давно спился, но ее держало постоянство и приверженность к режиму. Очнувшись после обморочно крепкого сна, она шла в больницу махать тряпкой. Другие уборщицы и санитарки не любили ее за безучастную молчаливость, волчий взгляд и рьяную работу. Никто, кроме главврача Маркелова, взявшего ее на службу, не знал, каким толковым

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
фельдшером и надежным помощником была Таня Бекер в довоенное, допосадовое время.

Отмахав свои полторы ставки, двенадцать часов, она успевала по дороге домой прикупить ежевечернюю бутылку и к восьми уже забивалась в свою конуру. Она снимала боты, тужурку, садилась на тюфяк и ставила на табуретку, успешно заменявшую обеденный стол, заветную бутылку. Снаружи было тепло, и через несколько минут – она знала – тепло будет и изнутри, и она медлила потому, что берегла и длила эту счастливую минуточку, подаренную ей невзначай.

Дворовые люди невзлюбили ее за гордость, которую пронизательно в ней разглядели. Дети боялись ее и разбегались при появлении ее длинной фигуры в глубокой каменной подворотне. Они прозвали ее Трупорезка, потому что кто-то пустил про нее слух, что она работает в морге. Но это было не так, она всего лишь убирала в двух самых тяжелых отделениях больницы: в гнойной хирургии и в неврологии.

Виктория начала артподготовку: она собирала вокруг себя кучку взъерошенных девочек и, трясая сдвоенным сине-красным помпоном на вязаной шапочке, рассказывала, как трупы сначала плавают в больших стеклянных банках, а потом их сортируют, отдельно ноги, отдельно руки, отдельно головы, и этим как раз делом и занята Бекериха.

Рассказы Виктории были страшны и притягательны, младшая из девчачьей компании, Лена Зенкова, затыкала уши рукавицами, но оттащить ее было невозможно: даже то, что просачивалось через мокрые варежки, не теряло своей таинственной прелести. К тому же Виктория выбирала интересные места для подобных собеседований: в темном треугольно скошенном пространстве под лестницей, в закутке между дровяными сараями, на шестом, последнем этаже, на узкой недоразвитой лесенке, ведущей на чердак. Тьма, полутьма, невнятные постукивания сопровождали этот спектакль, и каждый раз Виктории, оказавшейся в рабстве собственной фантазии, приходилось придумывать что-то новое, еще далее, еще более...

Она вполне справлялась со своей ролью рассказчицы страшных рассказов, которые шли по боковым тропкам, делали петли и витки, но не изменяли лишь ужасной Бекерихе, которая всегда оставалась главной героиней.

Собеседования эти пользовались большим успехом, но чуткая Гаяне с самого начала сериала все старалась улизнуть, отказавшись от прогулки под благовидным предлогом насморка или головной боли.

Сеансы отменялись, переносились на другой раз, когда Гаяне вынужденно оказывалась рядом с рассказчицей.

Истории про отрезанные конечности, черные простыни и оживших мертвецов, строго говоря, не были уникальными. Они были в моде их юного возраста, а также времени и места. Виктория, несомненно, была талантливой рассказчицей, а Гаяне – самой впечатлительной из слушательниц. К тому же Гаяне смутно ощущала некую тревожащую целенаправленность этих рассказов о ночных взаимоотношениях оклеветанной Бекерихи и еще более оклеветанных умерших пациентов старой городской больницы.

Эти три ступени вниз, в полуподвальную квартиру, казались Гаяне входом в преисподнюю, и она, почти не касаясь пола, взлетала единым духом на второй этаж...

В тот памятный вечер они сели за уроки позже обыкновенного, потому что был понедельник, а по понедельникам они занимались музыкой, и потому день был какой-то двугорбый. Они сидели за старым Маргаритиным столиком, друг против друга. Виктория подложила под себя ногу, что было строго запрещено бабушкой, и высыпала на стол мятые тетради и обкусанные карандаши. Гаяне сунула руку в портфель и вынула из него волокнисто-коричневый конверт.

– Ой! – сказала Гаяне, поскольку конверт неизвестно как попал к ней в портфель.

– Что это у тебя? – вскинула любопытные брови Виктория, пока Гаяне в недоумении разглядывала конверт, на котором расплывающимися красными буквами было написано квадратно и крупно: «Гаяне. В собственные руки».

– Конверт какой-то. Письмо, – пробормотала Гаяне. Она держала конверт двумя

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru руками, и буквы, расплывающиеся волокнистыми сосудиками чернил, казались живыми и кровеносными.

– А в нем что? – почти равнодушно спросила Виктория.

Гаяне положила письмо на край стола, словно раздумывая, стоит ли вскрывать. Чутким своим нутром она понимала, что ничего хорошего в нем быть не может. Оно лежало на углу стола, сильно пахло клеем и делало вид, что совершенно случайно сюда попало. Гаяне запустила руку в портфель и вынула свои аккуратные тетради, розовое письмо в две линейки с редкой косой и желтую арифметику в успокоительную клетку. В нее и уставилась Гаяне.

– Тебе письмо, да? – не выдержала Виктория, которая пыталась делать вид незаинтересованный.

Гаяне перевернула конверт вверх спинкой, грубо заклеенной еще не высохшим клеем. Она провела пальцем по сырому шву и ответила сестре:

– Я потом прочту.

Вика накрутила на палец кончик косы и уставилась в тетрадь – все шло неправильно. Письмо лежало на столе непрочитанным, бабушка могла войти в любую минуту, а Гаяне, как ни в чем не бывало, скользнула восьмидесятым пером по блестящему тетраднему листу. И действительно, вид Гаяне имела безмятежный, но при этом она была охвачена дурным предчувствием и полностью сосредоточена на письме.

«Уйди отсюда, уйди. Пусть тебя совсем не будет», – заклинала она грядущую минуту.

Однако мысль, что письмо можно выбросить не читая, даже не приходила ей в голову.

Уставшая от ожидания Виктория положила руку на конверт:

– Тогда я сама прочту!

Гаяне встрепенулась:

– Нет. Мое письмо.

И вскрыла конверт.

«Гаяне! Вот настало время тебе все узнать. Меня все зовут Бекериха, я твоя мать. Я тебя родила и подкинула, потому что не могла тебя взять с собой. Это секрет. Я потом расскажу. Скоро я приду, всем расскажу и тебя заберу, дочка. Будем вместе жить. Твоя мама Бекериха».

Сначала Гаяне долго разбирала, что именно написано мелкими, набок заваленными буквами. Слово «дочка» было выписано крупно, толсто. Она долго соображала, что же оно означает. Виктория терпеливо переждала необходимую паузу и наконец спросила:

– От кого письмо, Гайка?

Гаяне молча протянула ей тетрадный листок. Виктория наслаждалась текстом: он был хорош. Особенно нравилось начало: вот настало время тебе все узнать...

О, это уже было, уже было... Это время, растянувшееся, как ослабшая резинка, потерявшее начало и конец, и странное движение по тошнотворному обратному кругу. Ощущение ужасной кражи, чувство тьмы...

И это всплывшее воспоминание чувства было верным доказательством того, что это письмо, ужасное даже на вид, сообщает не менее ужасную, но истинную правду: страшная Бекериха – ее мать.

– Не бойся, – великодушно пообещала Виктория. – Никто тебя твоей матери не отдаст.

дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Ты, что ли, знала? – ужаснулась еще раз Гаяне. Чужое знание усугубляло весь этот ужас.

Виктория дернула плечом, перекинула косичку и успокоила сестру.

– Да ты не волнуйся так. Конечно знала. И все знают.

– И Феня? – с глупой надеждой спросила Гаяне.

– Конечно, и Феня. Все, тебе говорю, знают.

Следующий виток злодеяния был чистым экспромтом. Виктория не была особенно плохой девочкой. Дурная мысль овладела ею и, как у талантливых людей бывает, талантливо развивалась.

– А с чего наша мама заболела, как ты думаешь? Тебя бабушка с помойки принесла и говорит ей: вот, корми! Приятно, думаешь?

– И заболела? – переспросила сестру Гаяне.

– А ты думаешь! Она говорит «не хочу», а бабушка ей велит... Вот и заболела...

– А ты? – пыталась наладить треснувший миропорядок Гаяне.

– Что я? Я-то родная дочь, а ты – подкидыш...

– А с какой помойки? – как будто эта подробность была так уж важна, спросила Гаяне.

– С какой? Да с нашей, где ящик зеленый во дворе, – изящно присоединила Виктория географию к биографии и в этот именно миг почувствовала полнейшее удовлетворение художника. Вкус теплой котлеты, ужасной новости и запах мастики, которой натерли коридор, – вот что еще она почувствовала в этот момент.

– А-а-а... – как-то вяло отозвалась Гаяне, и Виктория, почувствовав эту вялость, вдруг усомнилась в успехе своей ловкой шутки: веселой она не получилась, вот что... И она сунула нос в учебник, отыскивая нужный номер задачи и одновременно соображая, как бы оживить ситуацию.

Когда она подняла голову от учебника, сестры в комнате не было. Аккуратно вскрытый конверт и письмо лежали на краю стола.

«Ревет за вешалкой», – предположила Виктория. Она собиралась дать сестре немного пореветь, а потом признаться, что это шутка.

И тут в комнату вошел отец и спросил:

– А где Гаяне?

А Гаяне отошла от дома так далеко, как никогда еще одна не отходила. До самой Пресни. Она стояла у входа в зоопарк, на тощем портале которого выродившиеся боги вымерших народов охраняли плененное звериное племя. Какое-то тоскующее животное, а может, ночная птица, издавало длинные хриплые вопли. Начинался снегопад, и все посветлело. Вокруг фонарей засияли шары золотого рассеянного света, а там, куда не доставало электричество, лунно и серебряно сверкал медлительный крупный снег. Все было новым и неиспытанным в эту минуту: и одиночество, и отдаленность от дома, и эти унылые вопли, и даже запах снега, смешанный с духом конюшни и обезьянника.

Ей казалось, что с тех пор, как она ушла из дому, прошла вечность, и даже не одна. Это была вечность ужаса перед Бекерихой и вечность вины перед матерью. Она поверила сестре сразу и неколебимо. Все объяснялось: тонкие тревоги ее жизни, беспокойства, темные предчувствия и неопределенные страхи получили полное оправдание. Конечно же она чужая в семье, а ужасная Бекериха – ее родная мать, и только Вика имеет полное право на бабушку, папу, Феню, на мамин утренний бледный поцелуй, а ее, Гаяне, заберет в подвал ужасная желтозубая Бекериха.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Мысль о сходстве с сестрой, прекрасно известном ей с раннего детства, нисколько не мешала общей картине развернувшейся катастрофы. Соображение это было слишком мелочным, чтобы рассматриваться в столь исключительных обстоятельствах.

Если настоящая мать ее Бекериха, если она, Гаяне, виновата в болезни бедной ненастоящей матери Маргариты, то лучше всего ей будет умереть. Мысль о смерти принесла неожиданное облегчение. Она вовсе не стала размышлять о технических деталях самоубийства, это тоже было бы слишком мелочным. Ей казалось, что достаточно найти укромное место, сжаться там в комочек, и одного ее горячего желания не жить будет достаточно, чтобы никогда не проснуться.

Она шла вдоль зоопарка по безлюдной заснеженной улице и заметила издали темную фигуру, протискивающуюся сквозь слегка раздвинутые прутья ограды. Ночной сторож Юков выносил обычную ночной дорогой свою законную порцию второсортной говядины, предназначенной тощим хищникам. Юков шмыгнул мимо девочки и скрылся в проходном дворе. Здесь неподалеку жила его подруга. Мясо, таким образом, оказывалось дважды краденным: у тигра и у юковской семьи.

Гаяне постояла, пока человек не исчез из виду, и легко проскользнула между прутьями. Здесь, в зоопарке, было чудесно и совсем не страшно. Тоскливые вопли ночного зверя прекратились, хотя время от времени раздавались какие-то таинственные громкие вздохи, урчания и стоны. В светлой пустоте прошла она мимо заснеженного пруда и вышла к вольерам, звери из которых давно были переведены в теплые помещения.

В проходе между двух довольно высоких проволочных стен стоял большой деревянный ящик, очень похожий на тот зеленый мусорный, что была у них во дворе. Занесенные снегом брикеты спрессованного сена были свалены кучей у его боковой стенки. Гаяне разгребла варежкой снег, вытащила один брикет и разворошила его. Печально запахло летом, дачей и всей ушедшей жизнью. Она села на брикет, как на низкую скамеечку возле бабушкиных ног, сеном из разворошенного брикета покрыла колени, зажмурилась и крепко уснула, совершенно уверенная, что никогда больше не проснется в этот мир злой и неисправимой справедливости...

Письмо вместе с надписанным красными чернилами конвертом Виктория засунула в штаны. В уборной она порвала его на мелкие кусочки и спустила в коммунальную Лету. Недоверие к помойному ведру висело в воздухе подлой эпохи. В перерывах между звонками в морг и в милицию Эмма Ашотовна допросила Викторию. Вика смотрела честными глазами: врать ей не пришлось. Она действительно не знала, куда подевалась сестра.

Эмма Ашотовна не была Шерлоком Холмсом, она не заметила ни подозрительного красного пятнышка на безымянном пальце внучки, ни брошенной на полуслове тетрадки Гаяне, свидетельствующей о внезапности ее исчезновения. Впрочем, индуктивные методы доктора Ватсона были тогда не в моде, а другие, более модные, были совершенно неприемлемы для Эммы Ашотовны.

В результате стечения этих двух обстоятельств Виктория была отправлена в постель, а домашнее следствие – на доследование в районное отделение милиции, куда был для этого послан Серго с чугунным гипертоническим затылком и буро-красным от прилившей крови лицом.

Несчастливая Виктория легла в постель сестры, оплакивая ужасную судьбу исчезнувшей Гайки и одновременно обдумывая хитрый план мести Бекерихе, которая была во всем виновата.

...Во втором часу ночи довольный и сытый Юков, удовлетворивший физические и в некотором роде духовные потребности за счет голодающего тигра, снова просунул между прутьями свое умиротворенное тело. Он намерен был обойти участок, а потом заглянуть в дирекцию, где дежурил сегодня его приятель Васин. Меж двух пустых вольер, возле большого деревянного ларя, он нашел спящую девочку. Куполком торчал на ее голове занесенный снегом помпон, нетающий снег лежал на ресницах. Но была она не мерзлая – теплая и дышала. Он удивился, что не заметил ее прежде, пошлепал по щекам, но она не проснулась. Тогда он смахнул с нее снег, взял на руки и отнес в дирекцию.

Васин удивился, увидев его с такой неожиданной ношей. Ее посадили на стул – она

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru продолжала спать.

– Вишь, спящая царевна! И как ее сюда занесло? – ворчал Юков.

– Со дня осталась, что ли, – высказал предположение Васин.

– Нет, кажись, не было ее тут, когда я заступал. В милицию, что ли, позвонить... Или подождать, как сама проснется... – рассуждал Юков.

– Да они только приезжали. Стоят, поди, у ворот, – заметил Васин.

И правда, милицейская машина еще не отъехала. Васин привел дежурного лейтенанта. Дежурный тоже безуспешно пытался разбудить девочку. Ставил ее на ноги, но ноги были согнуты в коленях и не разгибались.

– Что-то не то, – решил дежурный и отвез спящего ребенка в приемное отделение Филатовской больницы. Пока в приемном отделении оформили получение странной больной, пока дежурный лейтенант, совершив объезд по своему околотку, добрался до своего отделения и сделал донесение о спящей находке, пошел уже шестой час утра.

В доме на Мерзляковском спать не ложились. На кушетке, обвязав голову розовым платком, лежал Серго, в кресле окаменела бледная Эмма Ашотовна. Из комнаты время от времени раздавалось жалобное восклицание Маргариты:

– А где Гаяне?

Ей не отвечали.

Одна только Виктория спала. В сестриной кроватке, обняв промокшую чуть ли не насквозь сестрину подушку и подтянув к животу колени, в той самой позе, в которой спала Гаяне в изоляторе приемного отделения, куда ее поместили для выяснения личности и диагноза.

...Когда зазвонил телефон и Эмме Ашотовне сообщили, чтобы она ехала в Филатовскую больницу, где, судя по всему, находится ее пропавшая внучка, Серго бурно, в голос, зарыдал, и Эмме Ашотовне пришлось дать ему хорошую дозу валерьянки, прежде чем он вляпился в толстое ватное пальто. Впервые в жизни Серго взял под руку тещу и, увязая в ночном снегу, не сбитом еще ранними дворниками в кучи, повел ее, в гордой шубе, в меховой шляпке с шелковым пропеллером на затылке, через Никитскую на Спиридоновку, перевел через Садовую, и вскоре они вошли в приемный покой Филатовской больницы.

Через стеклянную дверь Эмме Ашотовне показали спящую девочку, в бокс, однако, не впустили, сказавши, что хоть она цела и невредима, но что-то с ней не в порядке и утром ее посмотрят невропатологи и прочие специалисты, поскольку она спит не просыпаясь, и даже в теплой ванне, куда ее поместили, она не изменила той позы, в которой ее нашли: колени согнуты и ручки скрещены на груди. Впрочем, спит она спокойно и температуры нет.

Здесь Серго окончательно стало дурно, он побледнел и повалился на случайно подвернувшийся стул. Понюхав нашатыря, он пришел в себя, и тут уж Эмма Ашотовна взяла своего зятя под руку и повела через Садовую, по Спиридоновке, через Никитскую к дому, в Мерзляковский переулок. Дворники уже расчистили тротуары, было светло; служащие спешили по своим дребезжащим трамваям...

Оба молчали. Они почти не разговаривали с тех самых пор, как он пришел с фронта. Да, собственно говоря, в этой семье разговаривали только девочки либо с девочками. Взрослые же люди – Маргарита, Серго, Эмма Ашотовна – произносили постоянно лишь внутренние монологи. Это была печальная музыка семейного безумия, женского неразрешимого укора и мужского столь же неразрешимого упрямства.

Но сегодняшнее их общее молчание не было начинено раздором, они оба не понимали, что же произошло с их ребенком, и это общее непонимание, пережитая чудовищная ночь сблизили их.

«Ах, дурак, дурак, – сочувственно и мимолетно подумала она о Серго, которого вела под руку. – Да и сама я дура, как просмотрела...» – трезво оценила ситуацию

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Эмма Ашотовна. И она позволила себе небывалое – обратилась к нему с вопросом:

– Сережа, что же это такое с ней случилось, а?

– Бог знает, мама. Совсем ничего не понимаю: все есть у девочки, – сказал он с более сильным, чем обычно, акцентом. Они давно уже выглядели ровесниками, пятидесятилетний Серго и шестидесятилетняя Эмма Ашотовна...

Когда они подошли к дому, увидели у подъезда жиденькую толпу и санитарную машину. Она словно материализовалась из всех ночных страхов сегодняшней ночи, но душевные силы были истрачены дотла, и потому Эмма Ашотовна даже не поинтересовалась, к кому приехала «скорая».

А машина приехала за Бекерихой. Рано утром ее соседка, дворничиха Ковалева, не слыша из комнаты привычных звуков утренних сборов и не видя соседки возле кухонного крана, толкнула ее дверь, окликнула и, не услыша отзыва, двинула плечом. Крючок отлетел, и Ковалева обнаружила Бекериху уткнувшейся в тощую подушку лицом и с опущенными на пол ногами. Она как будто сидела, а потом упала лицом в казенную печать больничной наволочки. Так неожиданно настигла Бекериху острая сердечная недостаточность, и на два пальца красного вина так и осталось недопитым.

Феня сказала: «По грехам». Но таких грехов не бывает. И никто не исчислит, зачем Танина злая судьба послала ее на каторгу за немецкую фамилию прадеда, петровского набора судостроителя, потом со скучной методичностью забрала мужа, мать, сестру и трехлетнюю дочку, а напоследок еще сделала ее ужасным пугалом десятилетней девочки, которую она и в глаза не видела...

Виктория, не поднятая бабушкой в школу, безмятежно спала. Зато Маргарита встала. Причесанная и одетая, она стояла на стуле, установленном на середине обеденного стола, и вытирала влажной тряпкой хрустальные сосульки люстры.

– Ну, что с Гаяне? – спросила она сверху. Стеклянные палочки еще продолжали звенеть.

– Все в порядке. Она спит, – осторожно ответила Эмма Ашотовна.

– Я чуть с ума не сошла, – тихо сказала Маргарита. – Мамочка, сделай на обед плов.

Тут потрясенная Эмма Ашотовна плавно опустилась на тахту. Потом Маргарита подняла глаза на вошедшего в комнату мужа и обратилась к нему впервые за много лет:

– Серго, помоги мне слезть. Я посмотрела, люстра такая пыльная...

Виктория, проснувшись к тому времени, все отлично слышала из своей комнаты. Она зевнула, вытянула ноги и потянулась.

«Какая все же Гайка дурочка... Подарю ей мою американскую собачку», – великодушно решила она. Вылезла из постели, отыскала ленд-лизовскую собачку и посадила сестре на подушку – плюшевого свидетеля своей беспокойной совести.

В это же самое время проснулась и Гаяне. Она выпрямила затекшие ноги. Никакой каталепсии, предполагаемой врачами, у нее не было. Она посмотрела по сторонам. Сон с белыми, замазанными краской окнами ей не понравился, и она снова закрыла глаза.

Когда она проснулась в следующий раз, бабушка сидела возле нее на стуле, сверкая алмазными серьгами, и счастливо улыбалась красно покрашенными губами, а оттого, что на желтоватых передних зубах был виден следок губной помады, Гаяне поняла, что это не сон. К тому же из-за бабушкиной спины, треща наброшенным на плечи халатом, выглядывал Юлий Соломонович. Ему, известному врачу, под расписку выдавали пациентку, и он потирал свои розовые пересушенные руки, чтобы уличным холодом, пробившим его старые перчатки, не обжечь теплого детского тела...

Второго марта того же года...

Зима была ужасная: особенно сырой и душный мороз, особенно грязное ватное одеяло

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru на самые плечи опустившегося неба. Еще с осени слег прадед, он медленно умирал на узкой ковровой кушетке, ласково глядя вокруг себя провалившимися желтовато-серыми глазами и не снимая филактерии с левой руки... Правой же он придерживал на животе плоскую, обшитую серой стершейся саржей электрогрелку, образчик технического прогресса начала века, привезенный из Вены сыном Александром перед той еще войной, когда вернулся домой после восьмилетнего обучения за границей молодым профессором медицины.

Греть живот, вообще-то, было строго запрещено, но под этим слабым неживым теплом утихала боль, и сын-онколог уступил в конце концов просьбе старика и разрешил грелку. Он хорошо представлял себе и размеры опухоли, и области метастазирования, исключаящие операцию, и преклонялся перед тихим мужеством отца, который во всю свою девяностолетнюю жизнь ни на что не пожаловался, ни на что не посетовал.

Приходила из школы правнучка Лилечка, любимица, с блестящими коричневыми глазами и матовыми черными волосами, в коричневом форменном платье, вся в следах мела и лиловых чернил, ласковая, розовая, влезала с краю на кушетку, под больной бок, натягивала на себя плед, ворохаясь локтями и пухлыми коленями, и шептала прадеду в исхудавшее волосатое ухо:

– Ну, рассказывай...

И старый Аарон рассказывал – то про Даниила, то про Гедеона. Про богатырей, красавиц, мудрецов и царей с мудреными именами, которые все были давно умершими родственниками, но впечатление у девочки оставалось такое, что прадед Аарон, по своей древности, некоторых знал и помнил.

Зима эта была ужасной и для Лилечки: она тоже чувствовала особую тяжесть неба, домашнее уныние и враждебность уличного воздуха. Ей шел двенадцатый год. Болело под мышками, и противно чесались соски, и временами накатывала волна гадливого отвращения к этим маленьким припухlostям, грубым темным волоскам, мельчайшим гнойничкам на лбу, и вся душа вслепую противилась всем этим неприятным, нечистым переменам тела. И все, все сплошь было пропитано отвращением и напоминало о морковно-желтой жирной пленке на грибном супе: и унылый Гедике, которого она ежедневно мучила на холодном пианино, и шерстяные колючие рейтузы, которые она натягивала на себя по утрам, и мертво-лиловые обложки тетрадей... И только под боком у прадеда, пахнущего камфарой и старой бумагой, она освобождалась от тягостного наваждения.

Бабушка Бела Зиновьевна, профессор, специалист по кожным заболеваниям, и дед Александр Ааронович были крепконогой парой, дружно тянущей немалый воз. Александр Ааронович, по-домашнему Сурик, был высокий, костистый и широкоухий человек, автор незамысловатых шуток и хитроумнейших операций, он любил говорить, что всю свою жизнь предан двум дамам: Белочке и медицине. Низенькая полная Белочка, с наведенными бровями, красно на помаженным ртом и яркой сединой, конкуренции не боялась.

Какое-то странное волнение касалось их обоих, когда, придя с работы, они заставляли старика и девочку в самозабвенном общении. Переглядывались, и Белочка смахивала слезу от уголка подведенного глаза. Сурик многозначительно и предостерегающе постукивал пальцами по столу, Бела поднимала вверх раскрытую ладонь – как будто это была азбука для глухонемых. Множество было у них таких движений, знаков, тайных бессловесных сообщений, так что в словах они мало нуждались, улавливая все взаимными сердечными токами.

Уходит старый отец, понимали эти еще молодые старики, и на пороге смерти передает свое сомнительное богатство младшему колону, девочке на пороге девичества. И хотя ветхие сказки древнего народа казались ученым профессорам наивной и изношенной одеждой человеческой мысли, а собственное их мышление было выточено и дисциплинировано школой европейского позитивизма в Вене и в Цюрихе, приучено к ловкой научной игре, и поклонялись они лишь одному картонному богу – изворотливому факту – и мужественно существовали в честном и прискорбном атеизме, оба они чувствовали, что здесь, на вытертой кушетке, рядом со снисходительно-неторопливой смертью процветал небывалый оазис. Здесь не было ни врачей-отравителей, ни мистического страха перед их злоумышлениями, охватившего миллионы людей. Дух этой действительной отравы – страха, гнусности и чертовщины – отступал только здесь, и, удрученные, ежедневно готовые к аресту, высылке, к

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru чему угодно, ученые профессора медлили уходить из столовой, общей комнаты, где болел старик, к своим обычным научным занятиям и садились в кресла возле редчайшей тогда редкости, телевизора, Впрочем не включенного, и вслушивались в старческое распевное воркование: речь шла о Мордехеае и Амане.

Они улыбались друг другу, тосковали и молчали о том безумии, в которое окунались каждый день за порогом своего дома...

Пережив большую войну, потеряв братьев, племянников, многочисленную родню, но сохранив друг друга, свою малую семью, всю полноту взаимного доверия, дружбы и нежности, добившись добротного и невызывающего успеха, они, казалось, могли бы еще полное десятилетие, пока здоровье, силы и опыт были в счастливом равновесии, жить так, как им всегда хотелось: с аппетитом работать всю чрезмерно плотную неделю, уезжать с субботы на воскресенье на новую, недавно отстроенную дачу, играть в четыре руки Шуберта на плохоньком дачном инструменте, купаться в послеобеденные часы в кувшинчатой темной речушке, пить чай из самовара на деревянной веранде в косых лучах заходящего солнца, вечером читать Диккенса или Мериме и одновременно засыпать, обнявшись таким отлежавшимся за сорок с лишним лет образом, что и непонятно – форма ли выпуклостей и вогнутостей их тел в определенных позах гарантирует их устойчивое удобство, или за эти годы, проведенные в ночном объятии, сами тела деформировались навстречу друг другу, чтобы образовать это единение.

И вполне, вполне, через головы их седые, хватило бы им омрачающих жизнь переживаний из-за давнего и тяжелого конфликта с сыном, избравшим добровольно такую область деятельности, куда нормального человека черт калачом не заманит. Он занимал большую, но неопределенную должность, жил на северо-востоке, за Полярным кругом, вместе со своей медведеобразной женой Шурой и младшим сыном Александром, и была какая-то насмешка судьбы в том, что самые несоединимые в семье люди назывались одним именем.

Старшую свою дочь, Лилю, сын привез в сорок третьем году в Вятку, в военный госпиталь, где родители его по двенадцать часов стояли у операционного стола. Девочке было пять месяцев, она весила три килограмма, была похожа на высохшую куклу, и с этого дня до самого конца войны они работали в разные смены – обычно Александр Ааронович брал себе ночь. Лиля, Белой Зиновьевной выправленная, выкормленная, так и осталась у бабушки с дедушкой, заново рожденная к славной доле профессорской внучки. Но приемных своих родителей, зная обидчивость родной матери Шуры, изредка приезжавшей, она звала Белочкой и Суриком, а прадеда – дедушкой.

Теперь Бела и Сурик сидели в мягких старых креслах в суровых чехлах, вполборота к кушетке, и делали вид, что не слушают, о чем там шепчутся старик и девочка.

– Дедуль, – ужаснулась Лиля, – и что же, всех-всех врагов на дереве повесили?

– Я же не говорю тебе: это плохо, это хорошо. Я говорю, как было, – с сожалением в голосе ответил прадед.

– Другие придут, и отомстят, и убьют Мордехая... – с тоской проговорила девочка.

– Ну конечно, – неизвестно чему обрадовался прадед, – конечно, так все потом и было. Пришли другие, убили этих, и опять. Вообще, я тебе скажу, Израиль жив не победой, Израиль жив... – Он приложил левую руку в филактериях ко лбу и поднял пальцы вверх: – Ты понимаешь?

– Богом? – спросила девочка.

– Я же говорю, ты умница, – улыбнулся совершенно беззубым младенческим ртом дед Аарон.

– Ты слышишь, чем он забивает голову ребенку? – грустно спросила Бела у мужа, когда они остались в своей комнате с двуспальным, как шутил Сурик, письменным столом...

– Белочка, он простой сапожник, мой отец. Но не мне его учить. Знаешь, иногда я думаю, было бы лучше, если бы и я остался сапожником, – хмуро сказал Сурик.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
– О чем ты говоришь? Обратного уже не пускают! – раздраженно ответила умная Белочка.

– Тогда ты можешь не волноваться из-за Лилечки, – усмехнулся он.

– А! – махнула рукой Бела. Она была практичной и не такой уж возвышенной. – Этого я как раз не боюсь! Я боюсь, что она сболтнет что-нибудь в школе!

– Душа моя! Но именно теперь это уже не имеет никакого значения, – пожал плечами Сурик.

Бела Зиновьевна беспокоилась напрасно. Лиля ничего и не смогла бы сболтнуть: с самой осени в классе с ней не разговаривали. Никто, кроме Нинки Князевой, которую всё переводили в школу для дефективных, да никак бумаг не могли собрать. Крупная, редкостно красивая, не по-северному рано развившаяся Нинка была единственной девочкой в классе, которая, по своему слабоумию, не только с Лилей здоровалась, но и охотно становилась с ней в пару, когда выводили это шумно пишущее стадо в какой-нибудь обязательно красноречивый музей.

У времени были свои навязчивые привычки: татары дружили с татарами, троечники – с троечниками, дети врачей – с детьми врачей. Дети еврейских врачей – в особенности. Такой мелочной, такой смехотворной кастовости и Древняя Индия не знала. Лиля осталась без подруги: Таню Коган, соседку и одноклассницу, родители отправили в Ригу к родственникам еще до Нового года, и потому последние два месяца были для Лили совсем уж непереносимыми.

Любой взрыв смеха, оживления, любой шепот – все казалось Лиле направленным против нее. Какое-то темное жужжание слышала она вокруг, это было жукастое черно-коричневое «ж», выползающее из слова «жидовка». И самым мучительным было то, что это темное, липкое и смолистое было связано с их фамилией, с дедом Аароном, его кожаными пахучими книгами, с медовым и коричневым восточным запахом и текучим золотым светом, который всегда окружал деда и занимал весь левый угол комнаты, где он лежал.

И к тому же – оба эти чувства непостижимым образом навсегда были сложены вместе: домашнее золотое свечение и уличное коричневое жужжание...

Едва раздавался хриплый и долгожданный звонок-освободитель, Лиля смахивала свои образцовые тетради в портфель и неслась на тяжелых ножках к раздевалке, чтобы скорее-скорее, не застегивая пуговиц и злобного подшейного крючка, выскочить на воздух и быстро, через комья снежно-серой каши, через лужи с битым льдом, спадающими калошами брызгая на чулки, на подол пальто, еще через один двор – и в свой подъезд, где успокаивающе пахнет сырой известкой, дальше лестница на второй этаж без площадки, с плавным поворотом, к высокой черной двери, где теплая медная пластинка с фамилией Жижморский, их ужасной, невозможной, постыдной фамилией.

В последнее время прибавилось еще одно испытание: у выхода из школьного двора, раскачиваясь на высоченных ржавых воротах, ее поджидал страшный человек Витька Бодров, по-дворовому Бодрик. У него были жестяно-синие глаза и лицо без подробностей.

Игра была незамысловата. Выход из школьного двора был один, через эти самые ворота. Когда Лиля подходила к ним, стараясь погуще затесаться в толпу, чуткие одноклассницы либо отступали немного, либо пробегали вперед, а когда она вступала в опасное пространство, Бодрик отталкивался ногой и, чуть пропустив ее вперед, направлял гнусно скрипящие ворота ей в спину. Удар был несильный, но оскорбительный... Каждый день он сообщал игре нечто новое. Однажды Лиля развернулась, чтобы принять удар не спиной, но лицом, схватилась за железные прутья и повисла на них.

В другой раз она встала поодаль ворот и долго ждала, делая вид, что и не собирается идти домой. Но у Бодрика терпения и свободного времени было предостаточно, и, продержав ее так с полчаса, он с удовольствием пронаблюдал, как она пытается протиснуться между прутьями ограды. Попытка эта не удалась, в эту узкую щель едва могла протиснуться самая худенькая из девочек, да к тому же не отягощенная толстым пальто.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Был удачный день, когда ей удалось проскочить перед старой учительницей
Антониной Владимировной, изобразившей своим восточносибирским лицом крайнее
удивление по поводу такой невоспитанности.

День ото дня аттракцион развивался. На него собирались поглазеть все, кому не
жаль было времени. Зрителей день ото дня становилось все больше, и как раз
накануне они были вознаграждены захватывающим зрелищем: Лиля предприняла
отчаянную и почти удачную попытку перелезть через школьную ограду, увенчанную
плоскими чугунными пиками. Сначала она просунула между прутьями свой портфель, а
потом поставила ногу в заранее намеченном месте, где несколько прутьев было
изогнуто. Она долезла до самого верха, перекинула одну ногу, потом вторую и тут
поняла, что сделала ошибку, не развернувшись заранее. Замирая от страха, она
проделала разворот и медленно потекла вниз, прижимаясь лицом к ржавому железу.

Пола ее пальто зацепилась за пику, натянулась. Сначала она не поняла, что ее
держит, потом рванулась. Честный коверкот старого профессорского пальто,
доживающего свою перелицованную жизнь на юном пухлом теле, напрягся,
сопротивляясь каждой своей добротной крученной ниткой, напружинился.

Восторженные наблюдатели загудели, Лиля рванулась, как большая толстая птица, и
пальто отпустило ее, издав хриплый треск. Когда она сползла на землю, Бодрик
стоял возле нее, держа в руках испачкавшийся портфель, и ласково улыбался:

– А ты молодец, Лилька. Изворотливая. А еще слазишь?

И обманым охотничьим движением он подбросил ее портфель как бы легонько, но
кисть его была точна, как у австралийского аборигена. Портфель взвился вверх,
качнул боками, развернулся в воздухе и шлепнулся по ту сторону ограды. И все
засмеялись.

Лиля подняла упавшую шерстяную шапочку с двумя глупыми хвостами и, не
оглядываясь, все силы собрав на то, чтобы не бежать, пошла к дому.

Ее не преследовали. Через полчаса преданная Нинка принесла ей вытертый носовым
платком портфель и сунула его в дверь.

Утром Лиля пыталась заболеть, пожаловалась на горло. Бела Зиновьевна заглянула
ей в рот, сунула под мышку градусник, поймала взглядом исчезающий столбик
ртути и хмуро вынесла приговор:

– Вставай, девочка, надо работать. Всем надо работать.

В этом состояла ее религия, и богохульства лени она не допускала. Лиля уныло
поплелась в школу и просидела три урока, томясь неизбежностью прохода через
адовы врата. А на четвертом уроке произошло нечто.

Было всего лишь первое марта, и руль непотопляемого корабля не выпал еще из рук
Великого Кормчего. Александр Аронович и Бела Зиновьевна, если бы узнали об этом
невероятном поступке от скрытной Лилечки, высоко бы его оценили.

Итак, на четвертом уроке, ближе к концу, Антонина Владимировна, сверкая самой
одухотворенной частью своего лица, железными зубами, состоящими в металлическом
диалоге с серебряной брошечкой у ворота в форме завитой крендельком какашки,
взяла в руки полуметровую полированную указку и направилась к пыльному
пестрому плакату в торце класса. Держа указку как рапиру, она ткнула ее концом в
негнувшееся слово «интернациональный».

– Посмотрите сюда, дети, – она так и говорила: «дети», не гимназическое
«девочки», не безликое «ребята», – здесь изображены представители всех народов
нашей великой многонациональной родины. Видите, здесь и русские, и украинцы, и
грузины, и... – Лиля сидела вполборота назад в тихом ужасе – неужели она сейчас
это произнесет и весь класс обернется к ней? – и татары, – продолжала
учительница.

Все обернулись на Раю Ахметову, лицо ее налилось темной кровью. А Антонина
Владимировна все неслась по опасному пути:

– И армяне, и азербайджанцы, – так и сказала «азербайджанцы»... мимо, мимо... нет!.. – и

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
евреи!

Лиля замерла. Весь класс обернулся в ее сторону. Дура святая, чистопородная разночинка, от деда-пономаря, от матери-прачки, дева чистая, с медсправкой «виргина интакта», с удочеренной в войну сиротой, косой и злой Зойкой, поклонница Чернышевского и обожательница Клары Цеткин, Розы Люксембург и Надежды Константиновны, верующая в «материя первична», как ее дед-пономарь в Пречистую Богородицу, честная, как оконное стекло, она твердо знала, что враги – врагами, а евреи – евреями.

Но величия этого поступка Лиля тогда не поняла. Голым просветом между коротким чулком и тугой резинкой ненавистных голубых штанов на щекочуще-китайском начесе она прилипла к выкрашенной маслом парте.

– И все народы у нас равны, – продолжала Антонина Владимировна свое святое учительское дело, – и нет плохих народов, у каждого народа бывают и свои герои, и свои преступники, и даже враги народа...

Она еще что-то говорила нудное, лишнее, но Лиля ее не слышала. Она чувствовала какую-то маленькую жилку, как она бьется возле носа, и трогала пальцем это место, соображая, заметно ли это дерганье ее соседке через проход Светке Багатурия.

Возле школьных ворот Лилю ожидала удача: Бодрика не было. С чувством полного и навсегда освобождения, совсем не подумав о том, что он может появиться опять послезавтра, вприпрыжку она понеслась домой. Дверь подъезда, обычно плотно удерживаемая тугой пружиной, была на этот раз чуть приоткрыта, но Лиля не обратила на это внимания. Она распахнула ее и, шагнув со света во тьму, смогла различить только темный силуэт стоящего у внутренней двери человека. Это был Бодрик. Это он слегка придерживал дверь ногой, чтобы заранее разглядеть входящего.

Их разделяли теперь два шага полной тьмы, но она почему-то увидела, что стоит он прижавшись спиной к внутренней двери, раскинув крестом руки и склонив набок густо-русую голову.

Он был актером, этот Бодрик, и теперь он изображал что-то страшное и важное, думал, что Христа, а на самом деле был маленьким, дерзким и несчастным разбойником. А девочка стояла напротив со скорбно-семитским лицом – высоким переносьем тонкого носа, книзу опущенными наружными углами глаз, с нежно-выпуклым ртом, с тем самым лицом, какое было у Марии Иосиевой...

– А зачем ваши евреи нашего Христа распяли? – спросил он ехидным голосом. Спросил так, как будто распяли евреи этого Христа исключительно для того, чтобы дать ему, Бодрику, полное и святое право шлепать Лильку по заду ржавыми железными воротами.

Она замерла в ожидании, словно забыв о возможности выскочить на улицу, сбежать немедленно. Ведь дверь парадного была у нее за спиной. Она почему-то стояла столбом.

Бодрик шагнул к ней, обхватил крепко, скользнул руками вниз и, задрвав незастегнутое пальто, попал рукой как раз на этот голый промежуток между чулком и подтянутой к самому паху резинкой от штанов.

Она вывернулась, метнулась в угол, ткнула Бодрика в какое-то уступчивое место портфелем. Он охнул, а она, в полной темноте сразу попав пальцами в дверную ручку, выскочила на улицу. Плотное розовое пламя вспыхнуло в голове, весь воздух вокруг воспламенился, и все залилось такой красной могучей яростью, что она задрожала, едва вмещающая в себя огромность этого чувства, которому не было ни названия, ни границ.

Дверь медленно открылась. Плечом вперед, чуть косо, выходил Бодрик. Она бросилась на него, схватила его за плечи и, взыв, со всей силой трянула о дверь. От неожиданности нападения он совершенно растерялся. То сложное чувство, которое он к ней давно испытывал, смесь тяги, злости, неосознанной зависти к ее сытой и чистой жизни, по своей силе и внутренней оправданности не шло в

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
сравнение с тем огненным взрывом ярости, который бушевал в ее душе.

Он пытался оторвать ее от себя, стряхнуть, но это было невозможно. Он даже не мог как следует размахнуться, чтобы ее треснуть. Ему удалось только переместиться за угол от парадного, в некую слепую выемку стены, где они не были видны всем проходящим по двору. Но это было не к лучшему. Она трясла его за плечи, голова его ударялась о серый шершавый камень, он лязгал зубами, и единственное, что он смог, – выпростав руку, смазать ее два раза по мокрому красному лицу, причем не по-мужски, кулаком, а всей распущенной пятерней, оставив на ее лице четыре грубые грязные царапины. Но она этого не почувствовала. Она все кидала его о стену, пока вдруг ярость ее, как надувной красный шар, не оторвалась от нее и не улетела. Тогда она отпустила его и, повернувшись незащищенной спиной и вовсе не думая о возможном нападении сзади, беспрепятственно ушла в свое парадное...

...Как он нравился ей минувшим летом! Она стояла за тюлевой занавеской бабушкиной комнаты и часами наблюдала, как он размахивал длинным шестом с развевающейся на конце тряпкой, как его голуби, лениво поднимаясь, сначала беспорядочной неопрятной кучей вились над голубятней, а потом выстраивались, делали широкие плавные круги, все шире, шире, и уносились в чисто вымытое теплое небо. Проходя мимо их жилья, двухоконного низкого строения с прилепленной голубятней, сараем и курятником, она замедляла шаг, разглядывая увлекательные внутренности чужой частной жизни: их железные бочки, верстак, у которого работал старший Бодров, вышедший тогда на временную свободу из своего обычного заключения, лежащую на земле где-то свинченную ржавую колонку...

В конце лета Бела Зиновьевна, неуклонно исполняя какие-то анахронические, ей одной ведомые обязательства богатых перед бедными, послала Лилю в дом дворничихи с жестко отглаженной, аккуратно сложенной стопкой ее, Лилечкиных, вещей, из которых в этом году она так стремительно выростала. Девочки Бодровы, Нинка и Нюшка, с визгом и шумом разделили Лилю добро, Тонька-дворничиха поблагодарила и сунула Лиле в руку маленький зеленый огурец, а Бодрик, еще издали завидев Лилю, убрался к своим голубям, кроликам и цыплятам и не показался во все время, что Лиля оставалась в их отгороженном от общего двора загоне. А Лиля все поглядывала в ту сторону, не выйдет ли...

И только теперь, в парадном, она поняла, что в этом и было самое ужасное.

Старой Насти, жившей у них лет двадцать, дома не было. Прадед, к которому было сунулась Лилечка, безучастно спал, изредка всхрапывая. Она забила в бабушкину комнату, на «горестный диванчик», как называла Бела Зиновьевна кресло-рекамье, единственный неудоенный предмет в своем царстве парности, где все двоилось, словно комната была перегородена вдоль невидимым зеркалом: две гордые кровати с бронзовыми накладками, две прикроватные тумбочки, две одинаковые рамы чуть разнящихся между собой картин. На этом «горестном диванчике» спала обыкновенно Лиля во время болезни, когда бабушка забирала ее в свою комнату. Сюда приходила поплакать, когда случалось в ее детской жизни какое-нибудь огорчение.

Сейчас ее знобило, ныло внизу живота, и она свернулась на диванчике, укрывшись с головой тяжелым клетчатым халатом с витым, местами отпоротым лиловым шнуром. Ей хотелось уснуть, и она мгновенно уснула, все держа в голове не уходящую и во сне мысль: как хочется уснуть...

Сон был хоть и долгий, но весь застывший на одной ноте – нудной боли и безмерного отвращения. Отвращения к шершавой ткани диванной подушки, к мыльному, неприлично исподнему запаху «Красной Москвы», любимых бабушкиных духов. И все это покрывалось безмерным желанием уйти ото всего этого в какую-то круглую, теплую, давно ей знакомую щель и погрузиться там в сон более глубокий, где нет ни запахов, ни боли, ни тревожного стыда, неизвестно откуда взявшегося. Туда, где ничего, совсем ничего нет.

Она не слышала глухой суеты за стеной возле деда, Настиных всхлипов, тихого звяканья шприца.

Поздно, в восьмом часу вечера, ее разбудила бабушка, и оказалось, что ей все-таки удалось уйти совсем далеко, потому что, проснувшись, она не сразу сообразила, где находится, – из такой далекой дали вернулась она в бабушкину

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru комнату, в парно-симметричный и правильный мир, и поразила склоненному над ней яркому лицу, которое было словно перевернутым и неузнаваемым, как будто просторы сна, в котором она пребывала, были по природе своей столь убедительно единственными, что исключали и самую возможность какой бы то ни было парности, симметрии.

Бела Зиновьевна, со своей стороны, с изумлением разглядывала четыре свежие царапины, которые шли ото лба через щеки к самому подбородку.

– О господи, Лиля, что с твоим лицом? – спросила Бела Зиновьевна.

Девочка на минуту задумалась – так глубоко она забыла дневное происшествие. Потом оно всплыло, все разом, со всей предыдущей неделей и прошлым летом, но всплыло в совершенно неузнаваемом, измененно-ничтожном виде. Все оно было чепухой, незначительной мелочью и давним-давнишним полузабытым событием.

– Ерунда, с Бодриком подралась, – беспечно, улыбаясь сонным лицом, ответила Лиля.

– То есть как – подралась? – переспросила Бела Зиновьевна.

– Да глупости какие-то, зачем Христа распяли... – улыбнулась Лиля.

– Что? – сведя свои черные брови, переспросила Бела Зиновьевна. И, не слушая ответа, велела ей немедленно одеваться.

Отблеск того гнева, что обуял Лилю около подъезда, взметнулся над ее бабушкой.

– Какая низость, какая черная неблагодарность, – клокотала Бела Зиновьевна, волоча за руку упирающуюся Лилечку к бодровскому жилью. И дело было, в конце концов, не в аккуратных тридцатках, которые Бела Зиновьевна пунктуально преподносила на праздники этой опустившейся несчастной пьянчужке, и не в стопочках старых Лилечкиных, очень еще приличных вещей, а дело было в том, что по симметрическим понятиям ее справедливости не мог Тонькин сын руку поднять на ее чистенькую, ясную девочку, на ее розово-смуглое личико, оскорбить ее своим грязным прикосновением, этими ужасными царапинами. Надо было, кстати, перекисью промыть...

Бела Зиновьевна постучала и, не дожидаясь отзыва, распахнула кривую дверь. В комнате с большой печью, с низко натянутыми веревками с сырым бельем как-то не сразу можно было и разглядеть, где что, где кто. Пахло еще хуже, чем от «Красной Москвы», самым что ни на есть страшным низом – мочой, гнилью, грибом и водорослью.

– Тоня! – повелительным голосом окликнула Бела Зиновьевна, и за печкой что-то зашебуршало.

Лиля озиралась по сторонам. Больше всего ее поразил пол. Он был земляной, кое-где покрытый неровными досками. В углу, на железной широкой кровати с ржавыми прутьями, точно такими же, что на школьной ограде, на пестром одеяле лежал Бодрик. В ногах его сидели Нинка с Нюшкой и наматывали на спинку кровати широкие мятые ленты, старательно оплевывая их перед тем, как сделать очередной виток. Возле кровати на полу стоял кривой, потерявший былую округлость таз.

Из-за печки, оправляя на ходу юбку, вышла, слегка покачиваясь, низенькая Тонька.

– Тут я, Белзиновна! – Она улыбалась, и на каждой щеке ее широкого плоского лица промялось по большой и круглой, как пупок, ямке.

– Ты посмотри-ка, что твой Виктор с моей девочкой проделал! – строго сказала Бела Зиновьевна, а Тоня тарачила свои белесые глаза и все никак не могла понять, что ж такое он проделал.

В тусклом освещении царапины, так оскорбившие Белу Зиновьевну, были вообще не заметны. Лиля пятилась задом к порогу. Ей было стыдно. Витька мотнул головой, свесился с постели и тихо блеванул в таз.

– Ах ты зараза! – повернувшись к сыну, крикнула Тонька. – А ну вставай, чего

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru разлегся!..

Они обе молчали, когда шли через двор. Лиля опять тащилась позади, и снова ей было так же тяжело, как днем, перед тем как уснуть. Дома она зашла в уборную, заперлась на крючок и села на унитаз, обхватив руками ноющий живот. Так плохо ей никогда еще не было. Она посмотрела на свои спущенные штаны и увидела на их поднебесной синеве кровавое тюльпановое пятно.

«Я умираю, – догадалась девочка. – И так ужасно, так стыдно».

В этот момент она забыла обо всем том, о чем бабушка ее предупреждала. С отвращением стянула с себя испачканные штаны, сунула их под перевернутое ведро для мытья полов и, опустив исцарапанное лицо в холодные ладони, со стекленеющим сердцем стала ждать смерти...

А смерть, подгоняемая ожиданием, действительно входила в дом. На ковровой кушетке делал последние редкие вздохи старый сапожник Аарон. Он был в забытьи. Веки, давно утратившие ресницы, были закрыты не совсем плотно, но глаз его видно не было, только мутная белесая пленочка. Иссохшие руки лежали поверх одеяла, и на левой были намотаны изношенные кожаные ремешки, которые он, вопреки обычаю, месяц как не снимал. Дети его, профессора, обремененные многими медицинскими познаниями, такими громоздкими и бессмысленными, стояли у его изголовья.

В дворницкой, на железной кровати, лежал Бодрик. У него было сотрясение мозга средней тяжести.

На узкой кушетке, в своем подмосковном доме, укрытый до половины старым солдатским одеялом, лежал мертвый человек.

Но было еще только второе марта, и пройдет несколько огромных дней, прежде чем выйдет на деревянные подмостки Лилечкин отец, сын приличных родителей, отекающий, с черным от горя сердцем и невинно-голубыми погонами, и объявит многотысячному серому прямоугольнику – той части великого народа, что терялась в обесцвеченной немощной полиграфией дали на пестреньком плакате в торце Лилечкиного класса, – о том, что он умер.

А про запершуюся в уборной девочку в ту ночь забыли.

Ветряная оспа

На добротный и широкоплечий американский сундук с металлическими скобами и ручками в торцах девочки побросали потертые на задах ледяными горками шубы, скукоженные варежки, скрученные шарфы и мокрые рейтузы. Одежда их так вымокла и заледенела за тот час, который шли они от школы к Лениному переулку – через два проходных двора, мимо барачного городка с нежным именем Котяшкина деревня и страшной полуразрушенной церкви.

Дорогой они немного поиграли, немного поссорились, гордая Пирожкова обиделась и ушла, толстая Плишкина побежала ее возвращать и тоже исчезла. Их подождали минут пять в Ленином дворе, но, так и не дождавшись, вошли в подъезд.

Дом был во всем районе лучшим, архитектурным, с башенками на углах крыши и с лифтом. Впятером девочки набились в лифт, потопали, попрыгали, и он отозвался чугунным вздрогом.

Бедная Колыванова, жительница Котяшкиной деревни, окоченела от страха: в лифт она попала первый раз в жизни. Гайка Оганесян, обещавшая стать со временем восточной красавицей, нажала на белую выпуклую кнопку «б», а ее сестра-близнец Вика, красавицей стать вовсе не обещавшая, ровно через мгновение нажала на кнопку «стоп», и лифт, грузно поднявшись на полметра, остановился. Глаза у Колывановой выпучились и стали похожи на эмалированные кнопки с черными цифрами в середине.

Гайка весело взвизгнула. Лиля Жижморская, по прозвищу Жиж, потянулась к кнопкам, но Вика ее оттолкнула. Чельшева Мария расстегнула портфель – она сегодня была дежурной и потому не успела зайти домой, – вытащила из портфеля чернильный карандаш и деловито помусолила его во рту. Пока возле кнопок шла ватно-тяжелая зимняя возня, она маленькими кривыми буквами выводила на деревянной раме зеркала ужасное слово из пяти букв, которое до конца своей жизни

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya@ludmila.ru она ни разу не произнесла вслух. Слово это представлялось ей противно-коричневым, с бездонным провалом посередине и похожим на вывернутую наизнанку клизму.

Колыванова, научившаяся произносить его непосредственно после слова «мама» и практически знакомая со многими другими словами, изумленно сморгнула.

Она, конечно, не знала, что приглашена была в гости исключительно благодаря припадку демократизма, случившемуся у Алениной матери при обсуждении списка Алениных гостей. Дипломатическая мама, совершенно для себя неожиданно, обнаружила, что теория равенства и братства, последовательно прививаемая ребенку чуть ли не от самого рождения, проросла непредусмотренными плодами: Алена исключительно тонко оценила имущественное равенство нескольких наиболее обеспеченных девочек из класса и именно их избрала для братского и равноправного общения.

В результате Алена получила незамедлительное внушение, и в число приглашенных по родительскому настоянию была включена бедная Колыванова.

Пока девочки возились в лифте, толкались и прыгали, Алена, уткнувшись носом в подушку, тихо лежала в алькове, на широченной родительской кровати, отделенной от мира плотно задвинутой шторой.

Русская девочка Алена Пшеничникова была отчасти американкой: она родилась в стерильной клинике в Вашингтоне, где во время войны исправлял дипломатическую службу ее отец. Хорошая сибирская порода отца, качественное детское питание и гигиенически правильное воспитание, без российского расслабляющего кутанья и баловства, сделали из Алены идеального ребенка: с густыми блестящими волосами, крепкими белыми зубами и чистой розовой кожей. Россыпь веснушек поперек курносого носа и неизвестно почему по-американски выпирающие зубы, не подправленные еще корректирующей пластинкой, были последними и окончательными штрихами этой американизации. Но об этом мало кто догадывался, разве что отцовские сослуживцы, имевшие опыт заокеанской жизни.

Веселая и здоровая девочка Алена плакала, отчаявшись дождаться своих вероломных гостей. Елка была густо увешана несказанной красоты игрушками, был накрыт стол на восемь персон, под каждой тарелкой лежала бумажная салфетка с Микки-Маусом, еще неизвестным в здешних широтах зверем, а на тарелках лежали подарки, завернутые в бумажки большой красоты.

Но часы уже показывали начало шестого, гости приглашены были на четыре, и Алене ясней ясного было, что никакого праздника не состоится, – и потому грохот лифтовой двери, галдеж на лестничной площадке и неугасающая трель звонка показали ей голосом счастья. Она вскочила с кровати, подтянула съехавшие белые носки-гольф с кисточками, расправила бордовое бархатное платье, купленное когда-то матерью впрок с многолетним запасом, а теперь уже тесное, и побежала открывать.

Все девочки, кроме Колывановой, уже бывали в этом волшебном замке отдельной двухкомнатной квартиры, в которой одна комната была таинственно и неизменно заперта, что придавало этому жилью еще больше привлекательности. Можно было только гадать, что же хранится в той, запертой, если жилая была переполнена нездешними драгоценностями: морскими ракушками, игрушками из перьев и цветного стекла – бесхитростный выбор железнодорожного рабочего, вынесенного социальным ветром в дипломатическую службу.

Девочки, озираясь, топтались возле стола. Сестры Оганесян еще возились в прихожей возле сундука, потому что из четырех туфель, уложенных бабушкой в хозяйственную сумку, осталось почему-то только три. Гайка ожесточенно трясла пустую сумку в надежде вытряхнуть недостающий предмет, а Вика торопливо застегивала пряжки, чтобы таким образом право на потерявшуюся туфельку полностью оставалось за сестрой.

Так и вошли они в комнату в трех туфлях на двоих, и девочки покатались со смеху.

– Там, в бумажках, всем подарки. Где кто сядет, то и берет, – объявила Алена.

По размеру сверточка были не больше спичечного коробка, все почти одинаковые, но

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru обертки разноцветные, красные, золотые, и перевязаны были подарки цветными шнурками, тоже необыкновенными – пестрыми и шелковисто-жесткими. Внутри тоже оказалась не чепуха: пластмассовые брошки, все разные, только Гайке с Викторией достались одинаковые – гном в красном колпачке с корзиной за спиной. Еще была Красная Шапочка, принцесса, корзинка с цветами и лебедь в короне. Кольванова получила самое лучшее – белого ангелка с золотыми крыльями. А два подарка остались нераскрытыми, пирожковский и плишкинский. Все хотели их раскрыть, но Алена не разрешила.

Девочки проткнули себя длинными булавками, к которым были припаяны эти чудеса, и окончательно сели за стол. Угощение было почти совсем обыкновенным: бутерброды, пирожные, ваза с домашним печеньем. Но вилочки, двузубые пластмассовые вилочки торчали из желтых сырных и розовых колбасных спинок бутербродов, и это было невиданно шикарно. И лимонадом грушевым весь подоконник был заставлен.

– Ален, а вилочку можно взять? – поинтересовалась Вика.

Всем про это хотелось спросить, но остальные не решились.

– Не знаю, – растерялась Алена, – это надо у мамы спросить.

– Я только одну, красненькую, – попросила Вика.

– Ты бессовестная, ужас просто, – шепнула Гайка на ухо сестре.

– А ты молчи. Золушка, – фыркнула Вика, и опять все засмеялись. Гайка покраснела. Вика была язва, бабушка ее так и называла.

Голодной была только Чельшева. У нее на тарелке лежало множество вилок, а она все тягала и тягала. Кольванова голодной не была, но ей тоже хотелось, чтобы разноцветные вилочки лежали у нее на тарелке. Да она стеснялась брать. Стеснялась она также своего большого роста, больших материнских ботинок, чулок с заплатами и, главное, красной сестриной юбки, которую сама же долго выпрашивала. Так и лежала у нее на тарелке только обертка от подарка. Ангелка же она приколотла к ковбойке и придерживала на всякий случай, чтоб не потерялся.

– Она сейчас вилочку проглотит! – закричала Вика, указывая на Чельшеву, обкусывающую по краю бутерброд. Голову Мария наклонила так низко, что русые косички с распустившимися лентами лежали в тарелке.

Вика схватила вилочки с ее тарелки и засунула все черенки в рот, так что наружу торчали разноцветные зубья.

– Как ты себя ведешь, бессовестная, – громко зашептала Гайка.

– А тебе какое дело, мне так родина велела! – шепеляво ответила Вика, и опять все покатались со смеху.

Не смеялась только Лиля Жижморская. У нее между форменным платьем и фартуком лежал сюрприз, и она терпеливо ждала подходящей минуты. Ей казалось, что минута эта не настала еще, и она нащупывала пальцами пачечку, но в это время Вика вылезла из-за стола и вытащила из алькова, с многоспальной кровати, большого нежного мишку – узкоплечего, с толстым задом и волнисто-плюшевым телом.

– Это Тедди, – назвала его Алена.

– Точь-в-точь дядя Федя, – немедленно отозвалась Вика.

И опять все засмеялись. Он действительно и грушевидностью фигуры, и загадочной целенаправленностью высунутой вперед морды смахивал на школьного дворника дядю Федю.

Вика посадила медведя к себе на колени и стала кормить его с вилочки...

Всем было по десять, только Кольвановой уже исполнилось одиннадцать, и они по обязанности своего зрелого возраста вынужденно расставались со своими куклами. Новые, книжно-школьные обстоятельства превращали кукольную игру во что-то детское и постыдное, требующее укрытия. Хотя бы под ночным одеялом. Даже у

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru серьезной Жижморской была такая подподушечная куколка, которую она по утрам прятала на книжную полку, за учебники. Одна только Вика, страстная душа, влюбленная в каждое свое ежеминутное желание, ничего не стеснялась. Она усадила медведя на колени, прижала к боку и сладким голосом начала его уговаривать:

– Еще ложечку, мишенька! За маму! За папу! – И, не выдерживая заранее известной роли, сбивая весь серьезный обряд кормления в потеху, добавила: – За всех мишек в зоопарке!

Глаза у них с мишкой были совершенно одинаковые: коричневые, пуговично-блестящие, с нежной розовой обводкой.

Хозяйка же, не стерпев искушения, уже вытягивала из ящика раздвижного дивана целую труппу разнокалиберных фигуранток. Алена уже несколько месяцев к ним не заглядывала и испытала теперь мгновенную сладость встречи с Элис, Кити, Бетси, Джун – американскими красотками, уже чуть двинувшимися в том опасном направлении, где спустя несколько десятилетий их ждала полная и окончательная смерть в виде миллионной армии Барби, похожих между собой, как сторублевки.

Гайка вцепилась в длиннокудрую Бетси. Вика, безжалостно бросив медведя, ухватила себе чернокожую Джун, пламенный ротик которой был завлекательно – с точки зрения кормления – приоткрыт, и оттуда, из красной глубины, мерцали настоящие фарфоровые зубки.

На колени Колывановой великодушная Алена положила младенческую Кити в ползунках, с болтающейся впереди крошечной, но вполне настоящей пустышкой и с изумительными искусственными глазами пестро-голубого цвета Жижморская и Чельшева деликатно, но настойчиво тянули каждая в свою сторону длинноногую Элис, и та совсем по-человечьи мотала льяным хвостом, завязанным на маковке...

Алена отобрала у них Элис, свою всегдашнюю старшую дочку, и вынула из прямоугольной диванной темноты еще двух кукол – кудрявую барышню в пелерине и куклу-мальчика в матроске и совсем настоящих кожаных ботиночках на пуговицах. Эти две куклы были старинными.

Все дружно вдохнули и выдохнули. Эта пара была так небесно прекрасна, что до них и дотронуться было страшно, не то что вступить в интимно-родственные отношения, необходимые для игры. Что и подтвердила немедленно Алена:

– Мама мне их никогда не давала. Говорит, это семейная лериквия, а не игрушка.

Алена иногда путала трудные слова.

Девочки склонились над лежащей на краю кровати парочкой и осторожно потрогали шелковистые волосы барышни, кожаные ботиночки мальчика. Глаза у них, лежащих, были закрыты, но не плотно. От длинных ресниц ложилась зубчатая тень на фруктово-ягодный румянец щек. Алена вела одноклассниц как экскурсовод:

– Ресницы моя мама им подрезала, когда была маленькая. Маме было обидно, что они слишком уж длинные. В Самаре, где бабушка жила, у них был дом деревянный, и еще до революции дом сгорел, все-все сгорело, а на другой день пришла знакомая портниха и принесла этих кукол, потому что Счастливику пальтишко шила, а Княжне новое платье. Бабушка им тогда заказала новую одежду, потому что моя мама должна была родиться. И оказалось, что это было все, что после пожара осталось.

От этих слов девочки совсем уж притихли, и даже трогать кукол расхотелось. И посреди задумчивой тишины раздался вдруг звонок в дверь.

– Мама ваша, – в тихом ужасе прошептала Колыванова.

Алена пожала плечами:

– Нет, это не мама. Они сегодня поздно придут, у них вечер в министерстве.

Действительно, пришли Пирожкова с Плишкиной. Толстая Плишкина все-таки уговорила Пирожкову и сияла теперь ангелически-дебильной улыбкой, и пухлые щеки ее промялись глубокими ямочками и складочками.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Гордая Пирожкова, младший отпрыск знаменитой цирковой семьи, давно уже запущенная в семейную стезю акробатики, небрежно взяла Счастливику и сказала равнодушным голосом:

– У меня точно такой же есть.

«Врет», – подумали все.

– Врешь! – сказала Вика.

Только что они были готовы тронуться в стройно-вымышленную жизнь, где правка неудовлетворительной реальности игрой превращает эту реальность в справедливую и упоительно податливую и весь мир покорно ходит по кругу, куда его пошлют: то на охоту, то на базар, и послушные дети, кротко приняв условно-заслуженное наказание, смиренно подчиняются божественной воле мамы.

Но теперь играть почему-то расхотелось.

Это и была та минута, когда Жижка достала свой сюрприз и торжественно произнесла:

– Смотрите, что у меня есть!

Сначала показалось, что ничего особенного. Это был всего-навсего набор довольно старых открыток. Лиля разложила их на покрывале, и девочки встали на колени перед кроватью, чтобы их рассмотреть.

Там была сумрачная красота. Из лиловых и желтых одежд выглядывали длинноносые красавицы с почти сросшимися глазами под одной, с изгибом над переносицей, бровью. Замершие жесты их вывернутых рук и сложноподчиненных ног были гимнастическими и неестественными.

У той, что сидела с сазом, были золотые браслеты на лодыжках, туфельки как золотые перчатки, и соски двух нестерпимо голых грудей тоже были золотыми.

Одна танцевала, другая любовалась своим отражением в круглом бронзовом зеркале; две обнимались, сплетя ошарованные ноги. Впрочем, возможно, одна из них была мужчиной, но это вообще значения не имело.

Некая в густо-желтом, с огромным зеленым камнем на лбу, держала в руках – о господи! – книгу, тогда как второй изумруд выглядывал из пупка. Еще одна томно обнимала маленькую газель с девичьим лицом. Там были причудливые золотые клетки с вымышленными птицами, состоящими в родстве с орхидеями, преувеличенные гранаты на карликовых деревьях, драгоценные фонтаны с синей, вертикально замершей водой, кувшины, веера и шкатулки. И пухлый седебородый старец в синем звездном халате и в головном уборе, напоминающем громоздкий абажур. В середине его маленькой, неправдоподобно отогнутой ладони стояла рослая змея, подогнув под себя конец сложенного крендельком толстого хвоста.

Все на этих наивных картинках взаимно любило и ласкало, всякое прикосновение рождало наслаждение: шелка к коже, пальцев к кувшину, веера к воздуху, и это любовное притяжение материи, мощное и невидимое, как жар от печи, изливалось наружу, пронзив девочек с силой и новизной и требуя от них чего-то, а чего именно – неизвестно.

– Сейчас! Сейчас! Я знаю! У меня есть! – догадалась Алена и понеслась, скользя на плоскостонных кожаных подошвах, в коридор, к сундуку, заваленному густо воняющей мокрой шерстью и мехом.

Она сбросила всю эту гору на пол и маленькими пальцами с глубоко обрезанными ногтями стала отковыривать глухую плоскую защелку сундука. Та медленно, с большим протестом, подалась. Вторая уже не сопротивлялась.

Стоя по колено в куче скомканной одежды, Алена с трудом подняла крышку, и на всех повеяло сладким нафталиновым духом. Несколько насмерть убитых иностранных газет лежали сверху. Алена сдернула их и нырнула в сундук, сверкнув ярко-белыми трусиками.

Она вынимала распластанные вещи одну за другой: черное бархатное платье с

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru вышитым как будто рыбьей чешуей лифом, еще одно вечернее платье, с гербарным букетом у сердцевидного выреза, и целую кучу капитулировавшего некогда шелка: бледно-табачное кимоно на алой, в багровых хризантемах подкладке, еще кимоно и целый выводок шелковых пижам невозможных в этих широтах оттенков.

Девочки с благоговейной осторожностью, как сонных детей, передавали с рук на руки эту драгоценную шелуху, вышедшие из моды туалеты дипломатической жены, чувствовавшей себя комфортно исключительно в темно-синем бостонском костюме, с его добротной двубортностью и почтительной преданностью телу и делу.

Сам дипработник, жарко влюбленный в жену и исполненный нескончаемой благодарности за то неописуемое счастье, которое он ежевечерне находил в одном и том же никогда не приедавшемся ему месте, в те американские годы щедро заваливал ее недорогими американскими туалетами. Жена не нуждалась в конфекционной стимуляции, но благосклонно ее принимала, в результате чего большая часть его военно-дипломатических заработков была претворена в шелк, бархат и вискозу. Нейлон тогда еще только собирали по молекулам.

Эту материализованную благодарность и восхищение давних лет раскладывали теперь десятилетние девочки на счастливом супружеском ложе, меж прекрасных, немецкой печати, репродукций поздней иранской живописи. Ни видом, ни цветом, ни запахом не сопрягалось одно с другим, но это и не имело никакого значения, потому что вся прелесть этой игры в том и состоит, что она творится из любого подручного материала, лишь бы только был включен ток высокого притяжения между розовым и голубым, мягким и твердым, влажным и сухим...

Пирожкова Ира, искоса поглядывая на открытку, уже изгибала свой подвижный хребет и не знающие ограничения суставы, чтобы принять ту идеальную позу, которую изобразил никогда не изучавший анатомии художник и принять которую ее живое человеческое, хотя и хорошо тренированное, тело отказывалось.

– Я надену вот то, красное, – решительно сказала Вика и стала натягивать поверх клетчатого байкового платья пунцовую тунику в хищных золотых цветах, – и буду вот той! – и она ткнула пальцем в облюбованную картинку.

– Да ты платье-то сними, – посоветовала сестра, и Вика стянула с себя серо-коричневую клетку.

Исподнее девочек тех лет было придумано врагом рода человеческого в целях полного его вымирания. На короткие рубашечки надевался сиротский лифчик с большими, в данном случае желтыми, пуговицами. К лифчику крепились две ерзающие резинки, которые пристегивались к коротким чулкам, впивающимся в плотные Викины ноги уже под коленками. На все это надевали просторные штаны, именуемые не по чину «трико», и вся эта сбруя имела обыкновение впиваться, натирать красные отметины на нежных местах и лопаться при резком движении. Белье взрослых женщин в ту пору мало чем отличалось и должно было, вероятно, гарантировать целомудрие нации.

– Быстро все переодеваемся! – приказала Алена и, заломив руки за спину, расстегнула трудные мелкие пуговицы, увязающие в еще более мелких петлях.

Пирожкова проворно выскочила из скучной одежды и, сверкнув профессионально мускулистой спиной, сунула ноги в широкие рукава черно-полосатой пижамы и с цирковой лихостью плотно обмотала лишнюю ткань вокруг мальчишеских бедер. Представленная двумя бледными прыщиками будущая грудь требовала достойного прикрытия, и глаза ее под длинной челкой замечались в поисках подходящего предмета.

Чельшева, расстегивая коричневое форменное платье, шевелила лисьим носиком с острым подвижным кончиком, прикидывая, что бы ей выбрать, и ее просыпающееся чутье безошибочно остановилось на бледно-табачном.

Колыванова, опустив тяжелые руки, стояла столбом посреди комнаты, осмысливая заманчивое и пугающее предложение.

Лиля Жижморская меланхолично стягивала плотный резинчатый чулок и все поглядывала на открытку со змеупорным старцем. Слабый режиссерский позыв шевельнулся в ней:

дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– А Плишкина пусть будет волшебником!

Алена возмутилась:

– Какая Плишкина? При чем тут Плишкина? Волшебником будет Колыванова, она самая длинная!

Это прозвучало убедительно, но Колыванова, вцепившись в большую красную юбку, полыхала смущением и никак не могла решиться.

Кукол отодвинули. Та прежняя игра, едва тронувшись в рост, увяла. Разложенные по краю кровати открытки приглашали к новой. Акт переодевания был уже состоявшимся прологом, но условия были неизвестны, и наступила заминка.

Жижя, все еще в одном чулке, некрасиво выглядывающем из-под сладко-розового шелка, обернулась к книжному шкафу и прицелилась обещающим близорукостью взглядом в корешки.

С Колывановой содрали юбку и напялили сине-зеленый халат с большим горящим драконом на спине. Два других дракончика, поменьше, были вышиты спереди, и втроем они вполне заменяли отсутствующую змею. На голову Колывановой надели меховую ушанку Асениного отца, обмотав ее оранжевой пижамой и елочной канителью. Малиновые пижамные штаны, преобразованные в шальвары, выглядывали из-под халата. Неподвижно и величественно стояла Колыванова, пока Алена рисовала ей усы и бороду, макая тонкую кисточку в квадратные фарфоровые отделения с жирной мягкой краской, изъятая из материнского туалетного стола. Усы получились, а борода не удавалась. Пришлось прилепить к подбородку кусок новогодней ваты.

Прозрачная коробочка с дешевыми украшениями – девочки называли их блестяшками – была вывернута на стол, и все пошло в ход. Алена, сверкая большим красным стеклом, сползающим со лба на короткий веснушчатый нос, щедро раздавала в протянутые руки колье и клипсы.

Все завертелось пестро и стремительно, и само время, дрогнув, отступило. Последующие три часа расстелились вечнозеленым знойным островом в океане равномерных минут и часов обыденности.

Прижимая к животу толстую большеформатную книгу в картонно-жидком переплете, Лиля выскользнула из комнаты и приткнулась в кухне, на табурете, уютно уложив под зад голую ногу.

Книга раскрылась на случайном месте, и Лиля прочла:

«Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный...» Ей понравилось.

Вслед ей из комнаты выплеснулось немного скрипучей патефонной музыки, но Лиля уже ничего не слышала.

Растопырившую острые колени Колыванову усадили на кровати. Она сидела болван болваном. Вата лезла в рот, головное сооружение валялось то на одну сторону, то на другую, и от него было жарко. Пирожкова стояла над ней с голым животом и делала какие-то маленькие движения, которые еще не были танцем, но собирались им стать.

Сестры Оганесян распустили свои конского волоса косы, окончательно зачернили нимало в том не нуждающиеся могучие армянские брови и накрашили густо кровавым рты, отчего сразу возмужал детский пушок над верхней губой.

Вика сверилась с открыткой, заключительным движением провела бордовые жирные стрелы от наружных углов глаз к вискам и твердо сказала:

– Ты, Ир, танцуй, ты, Колыванова, сиди, а мы будем жених и невеста.

– Ты дурочка, что ли? – добродушно удивилась Плишкина. – Кто невеста, тот в белом платье.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Пирожкова уже растанцевалась: выламывала крылышки, задирала свои куриные ноги выше головы и не обращала никакого внимания на интересную дискуссию.

– Тебе нравится, ты и надевай белое, а мы так будем. Ты что, не понимаешь, здесь же все турецкое! – объяснила снисходительно Чельшева.

При слове «турецкое» Гайка с Викой переглянулись: про турецкое они кое-что слышали, и то было дело не сказочное, не шуточное, а страшное и тайно-домашнее, о чем с чужими не говорят.

Плишкиной все-таки была выдана белая простыня – в сундуке не нашлось ничего белого, кроме двух теннисных юбок такого маленького размера, какой Плишкиной никогда не суждено было носить.

Невест, следовательно, образовалось три, да и Алена уже стягивала за подол расшитое платье, чтобы надеть что-нибудь невестинское.

– Алэн, ты что? – забеспокоилась Чельшева. – Ты посчитай, сколько невест получается? Четыре, да? А женихов? Я и Ирка, два!

– Я не буду женихом, я танцовщица! – крутя подбородком и выворачивая кисти, бросила Пирожкова.

Дед ее, воспитатель и тренер, не только веревчато-крепкие мышцы ей нарастил, но и в характер ей вплет такие нити, что любое дело она делала насмерть, дотла, до полного уничтожения. Случалось, он из тренировочного зала выносил ее на руках. Вот и теперь она ввинтилась в этот танец и все раскручивала свое тело, чтобы принять ту позу, которую держала девица на открытке и к которой она все приближалась, но не окончательно. Особенно не получались именно кисти рук.

– Что же я, одна на всех жениться буду? – возмутилась Чельшева.

– Пусть, пусть, даже хорошо, – обрадовалась Алена, отпуская тяжелый подол. – Колыванова будет отец-шах, я шахиня, а они дочери, три сестры и невесты, и мы их разом за одного жениха и выдадим.

Вид у Алены был такой довольный, как будто она первой контрольную по математике написала.

– Нет, вы как хотите, а я так не хочу, я хочу себе отдельного мужа, – разрушила Вика стройный Аленин замысел.

– Да ведь все равно, Вик, играем же, – с глупой и милой улыбкой миротворила, как обычно, Плишкина.

– Раз тебе все равно, вот и будь женихом, а не невестой! – живо отреагировала Вика.

– Хорошо, – легко согласилась Плишкина и стала стаскивать обмотанную вокруг цилиндрического туловища с толстенькими бесполоыми грудными складками простыню. – Я могу и женихом, пожалуйста.

– Отлично! – обрадовалась Вика. – Мой жених будет Чельшева, а Гайкин – Плишкина!

Все уже почти сладилось, но Гайка, которая все искоса ловила в большом зеркале свое отражение в профиль, неожиданно взъерепенилась:

– Нетушки! Машка будет мой жених, а ты бери себе Плишкину!

– То есть как? – изумилась Вика.

– А так... – Гайка влажным взглядом посмотрела на сестру. – Я не хочу Плишкину.

– Это почему же? – угрожающе спросила Вика.

– Не хочу, – кротко, но окончательно заявила Гайка. – Сама бери себе Плишкину.

Плишкина замерла с простыней. Алена сосредоточенно занималась спадающей на нос

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru диадемой. Страшное предчувствие коснулось Вики. Горло ее сжалось так сильно, что пришлось несколько раз глотнуть, чтобы прошло это ощущение замыкания и тесноты. Тень будущего упала в сегодняшнее существование, и тень эта была ужасна: у Гайки оказались какие-то дополнительные права, по которым она без усилий будет получать от жизни то, что Вика должна будет вырывать с боем...

– Нет, – твердо сказала Вика. – Плишкина мне не нужна.

– Значит, как я сказала, – обрадовалась Алена. – Мы трех дочерей выдаем замуж за одного жениха. Зато он королевский сын и зовут его... Мухтар!

– Только не Мухтар! – засмеялась Чельшева. – У нас на даче овчарка Мухтар!

– Тигран, – мечтательным хором произнесли сестры. Был у них троюродный брат в Тбилиси, бровастый, сероглазый, с сиреневым румянцем, просвечивающим сквозь тринадцатилетний пух.

– Давай, давай, пусть Тигран, – согласилась Чельшева.

– А мне чего делать? – робко спросила Колыванова, которой давно уже хотелось в уборную.

– А ты сиди. Я сейчас рядом с тобой сяду, – сказала Алена, и Колыванова, поерзав, снова замерла врозь коленями.

...Потом все опять сели за стол, налили остатки грушевой воды в высокие стаканы и, не найдя среди высыпанных на стол драгоценностей подходящего, стали катать из фольги и цветных ниток обручальные кольца. Стройный жених с кухонным ножом за поясом держал в горсти целых три, чтобы оделить каждую из сестер, а невесты стояли у стола в затылок друг другу.

– Горько! – закричала истошно Алена.

Все подхватили. Тигран обменялся кольцами с Викторией, поцеловал ее и лихо выпил лимонаду. Далее последовали Гайка и Плишкина. Три толстых кольца из фольги украсили мужественную руку жениха. Лимонад допили до последней капли. Свадьба в общем прошла как-то неубедительно. Явно чего-то не хватало. Впрочем, и во взрослой жизни тех лет тоже отмечалась какая-то нехватка, заполнявшаяся обычно пьяным свадебным безобразием, вырвавшимся, как глухая крапива на пустоши.

Гайка же, не заметив незаполненного пространства, уже пеленала на кровати куклу Кити, по величине приближавшуюся к натуральному младенцу.

– А теперь у меня будет как будто дочка! – объявила Гайка.

– Как же, дочка! Быстрая какая! – заметила скептически Колыванова-шах. – А это самое? – И она просунула указательный палец правой руки в колечко, сложенное большим и указательным левой.

Все замолчали.

– Что? – переспросила Гайка.

– Это самое, от чего дети бывают, – уточнила Колыванова, работая указательным пальцем правой руки в означенном направлении.

Неукротимая Пирожкова, как заведенная, все продолжала танцевать руками, но уже перешла в партер. Она лежала на полу, прижав ступни к затылку, и крутила кистями в надежде их все-таки вывернуть.

– Тань, – просительно, умоляюще сказала Гайка, всей душой надеясь, что ей удастся переубедить Колыванову. – Ну, женятся мужчина и женщина, и от этого дети бывают...

– Ты что, не знаешь? – Колыванова покрутила пальцем у виска. – Маленькая совсем, да?

Плишкина засмеялась, Алена переглянулась с Чельшевой.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Единожды один – приехал господин, – эпически начала Кольванова, – дважды два – пришла его жена, трижды три – в комнату вошли, четырежды четыре – свет погасили...

– Да знаю я это, знаю, – перебила ее Гайка.

– Да ничего ты не знаешь, – сурово ответила Кольванова. Не так уж много чего она знала, но это уж она знала точно... И потому продолжала: – Пятью пять – легли на кровать, шестью шесть – он ее за шерсть...

– Не надо, – попросила Гайка, но Кольванова жестоко продолжала:

– Семью семь – он ее совсем, восьмью восемь – доктора просим, девятью девять – доктор едет, десятью десять – ребенок лезет! Поняла, да?

– Это когда... это называется... – забормотала пораженная догадкой Гайка.

Алена была светским человеком и, почувствовав неловкость, сразу нашлась:

– Ты спроси у Лильки, как это называется. Она все знает.

Гайка, прижимая куклу к груди, пошла на кухню. Лиля сидела на табуретке, уже поменяв ногу, так что болталась теперь голая, и зрочки ее быстро-быстро бегали по строчкам.

– Лиль, – тронула ее за плечо Гайка, – скажи, только честно, как называется, от чего дети рождаются?

Лиля подняла отвлеченный взгляд, немного подумала и сказала очень серьезно, немного охрипшим голосом:

– Косинус, – и снова уперлась в книгу. Бабушка ей все честно, по науке рассказала еще в прошлом году.

У Гайки немного полегчало на душе. Косинус – это все-таки косинус, а не то ужасно-ругательное заборное слово. Однако по дороге в комнату ее неприятно поразила мысль, что, пожалуй, и ее собственные родители, желая произвести их на свет, тоже делали этот косинус... Впрочем, может, есть какой-то более приличный способ, о котором и Лилька не знает...

Она вошла, когда Чельшева, Плишкина и Вика барахтались втроем на кровати, изображая великий акт, а Кольванова, переминаясь с ноги на ногу и снисходительно улыбаясь, махала рукой и повторяла:

– Да не так, не так, и не похоже совсем! И ноги подымать надо!

...Училась Кольванова плохо, в школьной столовой сидела за отдельным столом, где кормили «бесплатников» дармовыми завтраками, форму ей покупал родительский комитет. И всегда у нее чего-то не хватало: то тапочек, то мешка для галаш, то физкультурной формы. Последний, совсем последний человек была она в классе. И вдруг оказалось, что она знает о вещах взрослых и тайных, и знает как-то запросто, и таким бесстрашным ежедневным голосом об этом говорит. Из сонной верзилы-второгодницы она на глазах превращалась в очень значительную персону. Все смотрели на нее с выжидательным интересом. Но Кольвановой так хотелось в уборную, что она даже не могла оценить своего неожиданного взлета.

– А как, Тань? – спросила Вика, стоящая на четвереньках на кровати.

– Да здесь вообще не годится, – критически постучала Кольванова рукой по кровати. – Слишком широко. Надо, чтоб место было узкое и тесное. И темно.

– Так под столом же! – обрадовалась Плишкина. Кольванова с сомнением подняла край скатерти, заглянула под стол.

– Две подушки надо, – наморщила она лоб. – Ну, и постлать там надо. И сверху чем прикрыть.

Организовали брачное ложе.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Чур, я первая! – нетерпеливо подпрыгивая, закричала Плишкина.

Жених уже лежал в темном низком доме со стенами из шевелящихся сквозь скатерть полос света, движущихся ног и неподвижных ножек стола и черных стульев, и эта подстольная тьма обязывала его к чему-то страшному и таинственному.

А Плишкина, сдвинув могучим плечом Алену вместе со стулом, шумно лезла под стол. Затолкавшись туда, она тихо хихикнула:

– Эй, жених, где ты?

Своим глупым хихиканьем она сбила все, и жениху пришлось перестроиться:

– Ползи, ползи сюда.

Невеста приползла и полезла обниматься. Она любила всякие объятия, касания и тайные телесные движения. Был у нее некий малый, но приятный опыт. Она обняла жениха, сразу стало тесно и душно.

– Давай по-настоящему поцелуемся, как в кино, – предложила она, – как дяденьки с тетеньками, – и подставила раскрытый рот прямо к носу жениха.

Он пытался вывернуться, но изгородь ног и ножек не выпускала, и ему пришлось приложиться сухо обветренными зимними губами к горячему и мокрому плишкинскому рту. Наверху все было очень тихо.

– Я сейчас покажу тебе, как сделать очень приятно. Так горячо, горячо, – пообещала Плишкина.

Пригнув голову, она села на низкую перекладину, задрала простыню и, положив одну толстую ногу на другую, указательным пальцем влезла в самую середину треугольничка.

– Дай руку, я тебе покажу! – зашептала на ухо Плишкина.

– Дура ты, – фыркнула Чельшева. Она про этот номер и сама знала. Только не знала, что и другим он известен.

Плишкина немного поколыхалась, попытала и сказала обиженно:

– Честное слово, я не вру, так хорошо там делается...

Но жених шарахнулся и выскользнул из-под стола. Плишкина, розовая и влажная, как искупавшийся поросенок, вылезла на поверхность.

– Гайка, полезай теперь ты! – пригласил жених, и Гайка, цепляясь широкими рукавами за спинки сразу двух стульев, нехотя полезла под стол. Жених протискивался с другой стороны.

– Это я, Тигран, – услышала Гайка хриплый шепот. И закрыла глаза. В прошлом году, в бабушкином саду в пригороде Тбилиси, они играли с Викой, а Тигран, пришедший в гости вместе с их общей теткой, смотрел с высокой веранды в их сторону. Вика сказала сестре тихонько, не поворачивая головы: смотри, на нас смотрит.

Гайка знала, что смотрит он именно на нее, и отвернулась. Вика ни с того ни с сего захохотала и, одернув юбочку, сделала «ласточку», высоко подняв крепкую ножку и растопырив руки.

Гайка лежала, сильно сжав веки. Он склонился над ней, опершись одной рукой о подушку возле ее головы и больно прижав прядь волос. Второй рукой он раздвигал колени.

Дыхание перехватило. Такой глубокий и полный ужас она испытывала только во сне, на выходе из младенчества, и, просыпаясь среди ночи с долгим припадочным криком, затихала на руках отца, который часами носил ее по комнате.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Тигран лег на нее сверху.

– Ты не бойся, тебе будет приятно и горячо, – прошептал он.

– Ты что, по правде? – ужаснулась Гайка. – Не надо, Тигран.

– Дура ты! Понарошке, конечно! – засмеялась Чельшева, и тут только Гайка поняла, что никакого Тиграна и не было. И она тоже засмеялась.

Бахрома приподнялась, и просунулось криво повернутое лицо Вики.

– Ну, давай скорее, моя же очередь! – торопила она.

Пока жених осваивал последнюю невесту, Алена деловито привязывала к Гайкиному животу, под лимонную пижаму, большую куклу.

– Так? – уточнила она у Колывановой.

Колыванова кивнула.

«Ну все, сейчас обоссусь», – подумала в отчаянье Колыванова и, плотно сдвигая ноги, пошла к двери.

– Ты куда? – удивилась Алена.

– Домой, – лаконично ответила Колыванова, чувствуя, что у нее внутри все разрывается, и одновременно отметив про себя, что хоть ковра-то она теперь не испортит.

– Еще не доиграли, – растерянно сказала Алена.

– Мамка заругает, – сумрачно ответила Колыванова, почти не разжимая губ. Ей казалось, что, разожми она губы, так и польется. Спросить же, где уборная, ей и в голову не приходило.

– Самое интересное начинается, а ты... – разочарованно протянула Алена, огорченная потерей столь ценного эксперта.

Но Колыванова уже натягивала пальто, удачно оказавшееся поверх всей кучи. Шапка была в рукаве, а рукавицы и шарф она искать не стала. Оттянув легкий блестящий рычаг замка, она выскочила на площадку. Внизу урчал лифт. Наверху, полупролетом выше, была укромная тьма перед низкой чердачной дверью. Она поднялась туда и, чувствуя, что уже опаздывает, стянула с себя штаны и надетые поверх жгуче-малиновые шаровары, присела, и в тот же миг из нее брызнул лимонад, химически низложенный, но не изменивший своего соломенно-желтого цвета.

«Сейчас поймают», – мелькнуло у нее, и она хотела остановить поток, но это оказалось невозможным. Лифт щелкнул, хлопнул, снова загудел. Ручеек из-под ее выбранного пальто стекал по лестнице вниз, намереваясь предательски излиться на нижнюю площадку, но замедлился и стал растекаться грушевидной лужицей. Она проворно натянула штаны, обтерла ладонями мокрое от незамеченных слез лицо и, грохоча ботинками, понеслась вниз по лестнице легко и свободно, со странным ощущением стремительного движения вверх, а вовсе не вниз. Переживая остатки волнения, едва не состоявшегося позора и чудесной телесной радости, она вприпрыжку бежала домой, где мать ее вовсе не ждала, поскольку вышла сегодня в ночную смену.

И только дома, под ошалелыми взглядами старшей сестры и двух младших братьев, она опомнилась, что убежала в чужом, а сестрина красная юбка и ее новая ковбойка с приколотым на груди ангелком остались у Алены.

А дома, в их узкой комнате с половиной окна, пахло керосином, и старым ночным горшком, и свежими пирогами, которые перед работой напекла мать, и было так хорошо и так плохо, что Колыванова бросилась на материнскую кровать, пережившую на Таниной памяти четырех отчимов, и сверкая золотым драконом на сине-зеленой спине, громко заплакала в подушку.

...Беременные жены лежали поперек кровати и собирались рожать.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Вика и Плишка пусть мальчишек родят, а Гайка девочку, – высказал пожелание муж, но Алена неожиданно грубо отшила его:

– А ты иди коляску покупай, вот что!

– Ты что, я же принц! Какая коляска! – возмутился незаметным для себя самого способом свергнутый принц Тигран.

– У нас уже давно другая игра, а ты все принц! – дернула плечами Пирожкова, которой в конце концов надоело танцевать и она преобразилась в доктора.

Алена на большой тарелке раскладывала фруктовые ножички из серванта и какие-то неопределенного назначения щипчики.

– Это будут инструменты, – объяснила она, ставя на кровать тарелку. – Все стерильное.

Не так давно ей удаляли аппендикс, память была свежей.

– Да зачем инструменты? – удивилась Плишкина.

– Ты не знаешь? Лилька говорит, что, когда через пиписку не проходит, живот разрезают, – пояснила Пирожкова. – Операцию делают. Очень даже часто. А чего ты так лежишь, ты стони. Это же ужас как больно. Мне мама говорила.

Плишкина громко и очень удачно застонала. Басовито подхватила Вика. Гайке эта игра давно надоела. Придерживая на животе куклу, она вспоминала, как Тигран стоял на веранде и смотрел на нее. «Вырасту и выйду за него замуж», – решила она.

– Ну, давай скорее, надоело! – заныла Плишкина.

– Все, все готово! – докторским голосом сказала Пирожкова. – Штаны снимайте.

Роженицы стянули шелка пижам. Они уже забыли, с чего это они развели все это переодевание, и даже не замечали, что лежат заголенными задами на Лилькиных открытках.

– Ой! Ой! – очень натурально сказала Плишкина. Она была большой притворщицей и натренировалась на своей любвеобильной матери.

Пирожкова тупым фруктовым ножом раздвинула пухлую складку. Бледно-розово и влажно мелькнула моллюсковая изнанка. Плишкина захихикала – щекотно!

Алена стала потихоньку толкать вниз по животу куклу.

– Да нет, не так! Не похоже! – вмешался отосланный было за коляской разжалованный принц. – Лучше вот эту возьми, но откуда надо, по-настоящему! – Ему как отцу хотелось правдоподобия, и он сунул в руку Алене маленького целлулоидного гольша.

– Лилька говорит, они рождаются головкой вперед, – предупредила Пирожкова.

– А я как будто не могу родить, и вы мне делаете операцию, – попросила тщеславная Вика.

– Да подожди ты, сначала я! – рассердилась Плишкина, которую, как ей казалось, все время оттирали.

Пирожкова, под тонкое хихиканье Плишкиной, уже ввинтила гольша в нужное место, и маленькая его головка с парикмахерской прической торчала наружу, как розовый пузырь.

– А теперь схватывайся! Схватки должны быть! – посоветовала Алена, и Плишкина схватилась руками за свои бока.

– Ну, давай, что ли! – торопил врач. – Рожай!

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Пирожкова потянула голыша за голову, но Плишкина как-то удержала его внутренним усилием. Тогда Пирожкова надавила на головку, так что она почти исчезла из виду, а потом дернула. Плишкина пискнула:

– Эй, ты чего, больно же!

Ребенок родился. Пирожкова положила его на тарелку рядом с инструментами, и Алена помогла ей совершить запланированную подмену – сунула ей в руки большую куклу, которая, собственно, и должна была родиться, но временно была отставлена.

Плишкина пеленала куклу и капризно требовала:

– Пап! Ну ты давай встречай! Ты должен меня встречать! Из роддома всегда встречают!

У Плишкиной тоже был кое-какой жизненный опыт.

Алена уже делала Вике кесарево сечение, проводя фруктовым ножом поперек живота.

Гайкина очередь так и не подошла, поскольку позвонила бабушка и спросила, не пора ли за ними прийти. Почти одновременно раздался звонок в дверь: за Чельшевой пришла домработница Мотя, и Маша, у которой как раз разболелась голова, без всякого сопротивления дала себя увести – к большой неожиданности для Моти, собиравшейся долго и терпеливо выманить противную девчонку из гостей.

Все вдруг почувствовали себя усталыми. Плишкина даже и проголодалась, доела последние бутерброды. Вилочки лежали на столе, никому не интересные.

Снова зазвонил телефон. Это была Бела Зиновьевна, Лилина бабушка. Лиля ее горячо уговаривала:

– Белочка! Ну еще полчаса, пожалуйста! Мне совсем немного осталось!

– Чего тебе немного осталось? – удивилась Бела Зиновьевна.

– Дочитать. «Старуху Изергиль»... Там совсем немного... так интересно... – умоляла Лиля, такая же розовая и возбужденная, как и все остальные.

Все гости разошлись почти одновременно, и Алене это было очень обидно.

...Пришедшие в половине двенадцатого Алены родители были ошеломлены: дом был разгромлен, буквально вывернут наизнанку. Только что мебель стояла на прежних местах. Они молча переглянулись. Алена спала на их кровати в алькове, среди смятых открыток и серебряных фруктовых ножей, в старом вечернем платье матери. Отец поднял спящую девочку, и мать увидела, что лицо ее пылает. Она тронула ладонью лоб и покачала головой.

– Аспирин? – тихо спросил муж.

– Минуту погоди, я ей постелю. Потом сообразим. – Она была хладнокровной женщиной, не подверженной панике.

...И Плишкина заболела в ту же ночь. Она сильно металась, сбивая в ком одеяло. Мать простояла над ней до утра. Полупросыпаясь, девочка просила пить, и мать бережно подносила к ее губам синюю фарфоровую кружку с теплой кипяченой водой. Она выпивала и снова оказывалась в том же страшном сне: над ней угрожающе склонялся большой старик с острой черной бородой, дышал на нее горячим воздухом, и был он фининспектором, которого так сильно боялась ее мать, дорогая домашняя портниха, много лет работавшая без лицензии.

К утру Плишкина проснулась окончательно, улыбнулась матери всеми своими очаровательными ямочками и запятыми, выпила еще одну кружку воды. И лицо ее, и большое жидковатое тело было усеяно красными шершавыми звездочками. Она пописала над большим горшком. Внутри немного пощипало, но она не обратила на это внимания. Дефлорация была столь нежной, что самый факт ее никогда не был осознан, и ото всей этой истории остался у Плишкиной на всю жизнь мистический страх перед фининспектором, который склонялся над ней с неопределенной угрозой.

Девочки Оганесян заболели только через сутки, но высокой температуры у них не было, их ветрянка прошла в легкой форме. Высыпание было небольшим, и бабушка сразу же прижгла папулы луковым соком, а не зеленкой, как было тогда принято. Бабушка велела им лежать в постели и всячески ублажала и развлекала. Рассказывала о зоках, от которых происходила, и пела зокские уныло-прекрасные песни огромным и тонко вибрирующим на высотах голосом.

Мать девочек, как всегда, безучастно сидела в кресле.

Заболели также Маша Чельшева и Ира Пирожкова. У Колывановой был иммунитет с младенчества.

Лиля Жижморская тоже не заболела. Но и ей в эту ночь снился неприятнейший сон: как будто за ней приехали родители, и почему-то не в городскую квартиру, а на дачу. И она сидит в какой-то телеге и странным образом, спиной, видит за стеклом террасы очень белые лица бабушки и дедушки и замечает, что терраса похожа на вольеру зоопарка – есть какая-то дополнительная железная сетка за стеклом, как в обезьяннике. Телега начинает двигаться сама собой, но это почему-то не вызывает удивления. Сама Лиля сидит между родителями. Мать придерживает ее крупной рукой, а рука ее покрыта жесткими колючими волосами, как щека небритого мужчины. Отец в военной форме. Лица его не видно.

Дорога же начинает углубляться, так что обочины делаются все выше, и Лиля с ужасом понимает, что дорога ведет под землю и что все это не сон. Последнее, что сохранилось в памяти, была шелковая толпа восточных красавиц, встречающих ее на въезде в сырую темноту. Они протягивают к Лиле светящиеся полупрозрачные руки, приглашая в свой шелестящий круг, и Лиля с облегчением догадывается, что спасена...

Вместе с ветрянкой кончились и каникулы, но начались сильные морозы, и младших школьников освободили от занятий. Когда девочки встретились в классе, казалось, что прошло не три недели, а три года и то, что происходило у Алены, было с ними в далеком детстве. Что-то сдвинулось и изменилось: они немного стеснялись друг друга, никогда не вспоминали о том вечере, будто дали обет молчания как соучастники страшного и тайного дела. К Колывановой же с тех пор относились с уважением.

Бедная счастливая Колыванова

Красная женская школа стояла напротив серой мужской, построенной пятью годами позже, как будто специально для того, чтобы оповещать о разумной парности мира, но также и для того, чтобы дух соревнования не разливался бессмысленно по всему району, а мог бы сосредоточенно явиться над двумя этими крышами и воссиять голубем над достойнейшей, а именно женской, и по успеваемости, и по поведению, и по травматизму в отрицательном, разумеется, показателе, всегда лидирующей.

Считалось, что в красной школе и педагогический состав лучше, и буфетчица меньше ворует, и дворник бойчее скалывает лед зимой и усерднее гоняет пыль по дорожке в летнее время.

Директорша Анна Фоминична тоже была известная, работала в двадцатых годах с самой Крупской и очень хотела, чтобы школе присвоили имя Надежды Константиновны, но его присвоили роддому, что был неподалеку. Голос у Анны Фоминичны был тихого металла, в стриженных волосах цвета пеньковой веревки она носила круглый гребень, а борт синего пиджака был по будням весь в дырочках, зато по праздникам в каждую дырочку вставлялось по ордену или по другому почетному знаку, тоже на винтике, а все остальное, то есть медали, прикалывалось скобочками.

Учительский коллектив она подбирала с тщательностью, но не только в общественные лица, тайными знаками проступающие из документов, она всматривалась, и человеческие достоинства, и профессиональные качества учителей учитывала Анна Фоминична при подборе кадров. В РОНО у Анны Фоминичны был такой авторитет, что ей многое дозволялось, о чем другие и не помышляли.

Все педагоги прекрасно знали о больших возможностях Анны Фоминичны, но и они были безмолвно удивлены, когда по выходе на пенсию старой немки Елизаветы Христофоровны, замученной грудной жабой и дерзкими старшеклассниками, Анна Фоминична представила им накануне первого сентября новую преподавательницу

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru немецкого языка со скрыто воинственной фамилией. Эта новая Лукина была больше похожа на заграничную артистку, чем на советскую учительницу. Она только что вернулась из Германии, где много лет прожила с мужем-военным, и с головы до ног представляла собой сплошной вызов, и особенно ноги были вызывающими, какими-то непристойно голыми, – чулки она носила бесцветные, прозрачные и к тому же без шва, что было новомодной роскошью.

Педагогический состав, преимущественно женского пола, благодаря профессиональной выдержке кое-как вынес удар, но что должно было произойти со школьницами, не защищенными еще жизненным опытом, трудно было даже представить.

Год вообще обещал быть тяжелым: только что вышел указ о совместном обучении, мужскими и женскими оставались теперь только уборные в конце коридора, а не все школы в целом. Молоденькие учительницы, работавшие до этого исключительно в красной школе, были в большом смятении, более старшие коллеги, имевшие довоенный опыт работы в смешанных школах, отнеслись к этому новшеству хоть и неодобрительно, но без особого волнения. Слияние школ сопровождалось также введением мужской школьной формы, частично копирующей гимназическую. Старый математик Константин Федорович, начавший свою педагогическую деятельность еще до революции, прокомментировал предстоящую перемену кратко и загадочно: «Гимназическая форма внутренне организует». Он привык смолоду следить за своей дистиллированной речью и ничего лишнего не произносил.

Для пятого «Б» день того первого сентября был незабвенным: вместо двадцати переведенных в серую школу одноклассниц им влили пятнадцать бритоголовых хулиганов, набывенных и несколько растерянных. Плотным серым клубком они сбились в дальнем левом углу класса, держа круговую оборону, которую никто не собирался прорывать. Девочки изо всех сил делали вид, что ничего не происходит, обнимались, висли друг на друге и разбивались на парочки, чтобы занять места на партах.

Безутешная Стрелкова сидела на парте одна, горя о Чельшевой, безвременно ушедшей в чуждый мир бывшей мужской школы. Выгоревшая на деревенском солнце Таня Колыванова, как обычно, устраивалась на задней парте и, хотя занятия еще как бы и не начинались, уже испачкала щеку лиловыми чернилами.

Зазвенел звонок, и на последнем его хриплом выдохе в класс вошла новая классная руководительница.

Онемели все – и старожилые девочки, и пришлые мальчики. Она была высока ростом и дородна. Сорок одна пара остановившихся зрачков пронзили учительницу, ни одна деталь ее внешнего облика не была упущена. Волосы ее блестели лаком, как крышка рояля в актовом зале, они и в самом деле были покрыты специальным лаком, о существовании которого еще не знала эта шестая часть суши; красная помада немного вылезала за линию небольшого рта; темно-зеленые плоские туфли с черным бантиком и темно-зеленая же сумочка являли собой неправдоподобное совпадение, а на руке было плоское обручальное кольцо, каких в ту пору вообще не носили. И так далее...

«Вырасту и обязательно сошью себе такой же костюм в клеточку», – немедленно решила Алена Пшеничникова, а остальные двадцать пять девочек, не умевшие так быстро принимать решения, потрясенно и бессмысленно тарачились на это чудо.

Колыванова, которую природа наделила неизвестно зачем очень тонким обонянием, первой ощутила сложный и обморочный запах духов. Она втянула в себя побольше этого пряного и немного слезоточивого запаха, но не смогла его в себе удержать и громко чихнула. На нее все посмотрели.

– Будь здорова, – сказала учительница. Туго натянутая пауза обмякла. – Садитесь пока кто куда хочет, потом разберемся, – продолжала учительница важным и немного писклявым голосом.

Колыванова села на свою заднюю парту, покраснев так, что на густом румянце выступили светло-серые веснушки.

– Поздравляю вас с началом учебного года. Я ваша классная руководительница, меня зовут Евгения Алексеевна Лукина, – с выразительными растяжками произнесла она и уже к концу фразы поняла, что напрасно беспокоилась и что дети будут слушать ее

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru и подчиняться ей так же, как и молодые военные, которым она преподавала прежде. – А теперь познакомимся, – продолжала она и, раскрыв свежий журнал, произнесла: – Алферов Александр.

Алферов Александр был самым мелким из мальчиков, но со взрослой мордочкой и смахивал на лилипута. Он стоял держась за парту и опустив глаза. Она молчала, ожидая, когда он посмотрит на нее. Он посмотрел.

Евгения Алексеевна была большим мастером взгляда, она умела смотреть кротко, колюче, многообещающе, загадочно и презрительно, вступая в молниеносные личные отношения. Она дочитала до конца весь список, подержала на крючке своего взгляда каждую из этих маленьких рыбок, запомнила фамилии двух девочек-близнецов, мальчика-лилипута, улыбающейся толстухи с передней парты и еще нескольких, с особыми приметами. Память у нее была профессионально цепкая, и она знала, что через неделю будет знать всех до единого. Она написала на блестящей мокрым асфальтом доске «Heute ist der 1. September» и приступила к обучению немецкому языку...

Эти первые дни сентября были в школе, особенно в старших классах, нервными и напряженными. Мальчики и девочки, приведенные вдруг в неожиданную близость, рассматривали друг друга новыми глазами, и даже те из них, кто давно был знаком по дворовым гуляньям, знакомились как бы заново. Быстро вызревали школьные романы, туго свернутые записочки летали с парты на парту, и траектории их полета были гораздо интереснее, чем траектория пули, пущенной со скоростью 45 м/сек из ствола под углом 30 градусов из бессмертного учебника физики Перышкина.

К концу сентября было доподлинно известно, кто в кого влюблен. В Алену Пшеничникову влюбился Костя Черемисов, и, как выяснилось впоследствии, на долгие годы; толстая Плишкина отдала свое просторное сердце спортивному второгоднику Васильеву и хорошенькому Саше Кацу одновременно; Багатурия и Конников ели друг друга глазами с первого по последний урок, и Леночка Беспалова уже видела их однажды у самого фонтана на Миусском скверике.

Были, конечно, и тайные симпатии, скрытые страсти и потаенная ревность, но самое пылкое чувство, идеальное и бескорыстное, было укрыто в сердце Кольвановой. Предмет влюбленности был недостижимо высок – сама божественная Евгения Алексеевна.

Два урока в неделю и минутные встречи в коридоре не насыщали кольвановской страсти. Обычно во время перемены она вставала напротив двери учительской и ждала ее выхода, как ждут выхода примадонны, и каждый раз Евгения Алексеевна оказывалась прекраснейшего возможного, действительность ее несказанной красоты превосходила ожидаемое, Таня счастливо обмирала. Невзирая на столбняк счастья, мелкие детали не ускользали от восхищенного взгляда: новая брошка у ворота, край шелкового платочка, вдруг высунувшийся из верхнего кармашка ее костюма. Тане не приходило в голову, как, скажем, Алене Пшеничковой, взмечтать о таком вот костюме в клеточку, когда-нибудь, в бесконечно удаленном времени «когда вырасту». Единственное, чего хотелось Кольвановой, это иметь фотографию Евгении Алексеевны, и она заранее предвкушала, как в конце года сделают большую фотографию всего класса с классной руководительницей посередине и как она вырежет ножницами ее портрет, непременно круглый, и будет носить его в пенале, в маленьком отделении для перьев. Но до конца года было еще далеко.

Однажды в конце сентября, проводив на филерской дистанции Евгению Алексеевну до метро, она решила спуститься вслед за ней и, сделав незамеченной пересадку на станции «Белорусская», вышла на «Динамо», следуя на приличном отдалении за ее светлым плащом. Плащ мелькал между деревьями, петлял по тропинке мимо ветхих дач бывшего Петровского парка, а Таня шла по красно-желтым кленовым листьям как по небу и готова была идти так всю жизнь, видя впереди себя этот складчатый плащ и блестящий античный узел, свитый на затылке. Потом учительница свернула куда-то и исчезла. Кольванова решила, что она вошла во двор единственного достойного ее дома, «генеральского», украшенного огромными гранитными шарами у входа.

Впоследствии выяснилось, что Евгения Алексеевна действительно жила в этом доме. Еще несколько дней спустя, когда тайные проводы учительницы стали ежедневным ритуалом, Кольванова увидела, как навстречу учительнице бросилась девочка лет пяти, в красной плиссированной юбочке и с обручем в блестящих черных волосах. Девочка гуляла с толстой хмурой старухой в шляпке с ушами и была, в сущности,

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya.ludmila.ru некрасива: с высоким лобиком, длинным подбородком и толстой нижней губой. Тане она показалась необыкновенной.

«Заморская какая девочка», – подумала она восхищенно. К тому же заморскую девочку звали Регина. Девочка была так похожа на своего отца, что спустя некоторое время Колыванова узнала отца девочки в широком кургузом генерале с толстой нижней губой, который с недовольным лицом вылезал из черной машины возле подъезда Евгении Алексеевны.

Движимая ненасытным и невинным желанием видеть возлюбленную, Колыванова следовала за ней на известном отдалении, когда та отправлялась к своему зубному врачу на Трубную площадь, невидимо сопровождала ее, когда она навещала в больнице свою старшую сестру, поджидала возле парикмахерской, где ей мазали вишневым лаком большие ногти, и вдыхала дурманящий запах лака, пробивавший тонкие кожаные перчатки, когда та выходила на улицу. Даже самая тайная сторона жизни учительницы не ускользнула от Колывановой: по вторникам, без десяти три, Евгения Алексеевна выходила из школы и шла пешком в сторону, противоположную метро, доходила до кафельной молочной на углу Каляевской и Садового, останавливалась у витрины с гигантскими бутылками, и в ту же минуту подъезжала серая «Победа», из нее выскакивал высокий военный, огибал машину и распахивал перед ней дверцу. Она садилась на место рядом с водительским, он с непроницаемым лицом хлопал дверцей, и выворачивая из-за угла в этот момент Колыванова еще успевала заметить в скругленном окошке машины мужскую руку на запрокинутом затылке.

Самоуверенная и беспечная Евгения Алексеевна, которая даже школьных учительшек, как сама говорила своей ближайшей подруге, смогла поставить на место, была близорука, лица в толпе у нее смешивались, а что касается Колывановой, то ей по ее детской и всяческой незначительности раствориться в толпе труда не стоило. Так и жила Евгения Алексеевна с невидимым эскортом изо дня в день, не исключая и выходных, которые Колыванова проводила по возможности в ее дворе с гранитными шарами, чтобы не пропустить, как она выходит из дома с дочкой или с мужем...

Потом началась зима. Евгения Алексеевна стала ходить в блестящей цигейковой шубе и коричневых ботинках на белом каучуке. Девочки в классе постоянно обсуждали Евгешины наряды, но Колыванова этих разговоров не понимала: красивая одежда Евгении Алексеевны была, по ее ощущению, не свидетельством хорошего вкуса, богатства, того факта, в конце концов, что Евгения Алексеевна долго жила за границей, а исключительно ее личным качеством, словно блестящие шубы и сапожки, пушистые свитера и кофты она просто выделяла из самого своего существа, как моллюск выделяет перламутр.

К середине декабря, к концу второй четверти, у Колывановой открылось так много двоек, что Евгения Алексеевна вызвала ее, указала крепким ногтем на каждую из них и сказала, что надо обязательно подтянуться. Она прикрепила к Колывановой исполнительную отличницу Лилю Жижморскую, и Лиля рьяно взялась за дело. Ежедневно дождалась Лиля, пока Колыванова съест в школьной столовой свой бесплатный обед, завистливо поглядывая на казенный винегретик, который дома почему-то никогда не готовили, и вела Колыванову к себе, совсем недалеко от школы.

Ласковая домработница Настя целовала Лилю. Лиля целовала Настю. Потом выходила головастая кошка – потереться о Лилины ноги в бумажных чулках, а в конце концов выползала крошечная, совсем игрушечная старушка, которая называлась Цилечка, и происходило еще одно целование. Цилечка говорила все на «э» – золоткэ, кошечкэ, донелэ – и совершенно ничего не слышала, о чем Лиля в первый же раз и сообщила Колывановой: «Циля, наша родственница из провинции, приехала, чтобы подобрать слуховой аппарат».

Потом они мыли руки и шли в большую комнату, где стоял стол под белой скатертью, ковровая кушетка, пианино и много всякого другого добра и красоты, даже телевизор с линзой. Настя приносила обед сразу на двух тарелках для каждой, и еда тоже была необыкновенная. Один раз дали вместо супа бульон в чашке с двумя ручками, с пирожком на маленькой отдельной тарелочке, и пирожок был хотя и с мясом, но такой вкусный, как будто сладкий. Пока они ели, Настя стояла у двери со сложенными на животе руками и непонятно чему радовалась. Когда же однажды Настя подала им компот не в стаканах, а в стеклянных плошечках, Колыванова вдруг догадалась, что и у Евгении Алексеевны в доме все должно быть в точности так

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru богато и красиво. Только странный запах все время ощущался в комнате, тревожный и раздражающий. «Еврейми пахнет», – решила Колыванова, которая знала, что они каким-то нехорошим образом отличаются от других людей. Это был запах камфары, который пропитал квартиру со времен болезни Лилиного деда.

После второго обеда хотелось спать, но Лиля вела Колыванову в маленькую угловую комнату и усаживала за уроки. Сначала Лиля толково объясняла, но, если видела, что Таня не понимает, быстро писала все в своей тетради и велела просто переписывать. Ученье заканчивалось довольно скоро, потому что в четыре часа входила Настя и напоминала: «Лилечка, у тебя музыка» или: «Лилечка, у тебя немецкий»... И Лилечка послушно складывала тетради, а Таня уходила.

Колыванова так увлеклась ходить к Жижморским, что даже немного охладела к Евгении Алексеевне, хотя воскресенья по-прежнему проводила в ее дворе.

К концу четверти все двойки были исправлены, кроме географии, по которой Колыванову все не спрашивали. Тогда Лиля сама пошла к учительнице географии и попросила, чтобы та вызвала Колыванову. Ей поставили троечку, и Лиля возгордилась колывановскими успехами больше, чем своими скучными пятерками: в ней проснулось педагогическое тщеславие.

Между тем приближался Новый год, в классе собирали деньги на подарок классной руководительнице, и родительница Плишкина, которая была, как все знали, со вкусом, купила в подарок от имени всех большую плоскую коробку с шестью хрустальными бокалами. Таня так и не увидела этих бокалов, хотя десять рублей у матери выпросила и родительница Плишкина поставила крестик против ее фамилии. Зато в магазине «Стекло-хрусталь» на улице Горького она долго рассматривала весь выставленный в витрине хрусталь и выбирала мысленно среди рюмок те, которые казались ей самыми красивыми: высокие, узкие, с граненым шариком на вершине ножки.

Потом начались скучные каникулы. Дома болел колька. Сестра Лидка ходила теперь на работу, была ученицей обмотчицы, а Танька сидела с Колькой. Потом заболел и Сашка. Колыванова с нетерпением ожидала конца каникул, заранее загадывая, как она увидит Евгению Алексеевну. За время разлуки любовь ее как будто немного затуманилась, но не прошла. В сущности, это была счастливая любовь, она ничего не требовала для себя, и даже мысль о служении не являлась Колывановой: да и чем могла послужить своему божееству маленькая Колыванова, не имеющая за душой ничего, кроме смутного восторга?..

Наконец наступило одиннадцатое января. В восемь часов утра Колыванова уже стояла у школьных ворот, ожидая, как Евгения Алексеевна войдет во двор – линкором среди плавучей мелочи. И вот она вошла, еще более высокая, чем представлялась Колывановой, еще более красивая, и не в цигейковой шубе, а в рыжей лисьей жакетке и зеленом цветастом платке.

Раздевалась Евгения Алексеевна в учительской раздевалке, а Колыванова стояла в очереди, чтобы просунуть свое дрянненькое пальтишко в гардеробную дырку, и, отдав его дежурным, прошмыгнула в учительскую раздевалку и понюхала рыжий жакет, который пахнул наполовину зверем, наполовину духами и светился огнем и золотом. Она погладила чуть влажный рукав и ушла незамеченной...

После школы Лиля позвала ее делать уроки, но она отказалась, потому что уснувшая была любовь пробудилась с новой силой и она решила во что бы то ни стало проводить сегодня Евгению Алексеевну до дома – тайным, как всегда, образом.

Таня после уроков долго гуляла в школьном дворе, поджидая Евгению Алексеевну. Она вышла в половине четвертого и быстро, не глядя по сторонам, пошла к метро, спустилась вниз, но не повернула, как обычно, к среднему вагону, а пошла в самый торец зала, откуда двинулся ей навстречу заметный человек в белом кашне, без шапки, с густыми серыми усами. Он был не тот военный, который встречал ее по вторникам возле молочного магазина, и не муж в серой папахе. Он был молодой и такой же красивый, как сама Евгения Алексеевна, а в руках у него были цветы, завернутые в ласковую бумагу.

Колыванова, глядя на них, испытывала счастье прикосновения к прекрасной жизни – как в кино, как в театре, как в Царствии Небесном, о котором все рассказывала их деревенская бабушка, простая и глупая. И она представила себе, как они сидят за

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru столон и едят обед из двух тарелок сразу, а Настя подносит им пирожки на блюдечках, а они пьют ярко-красное вино из тех бокалов со стеклянными шариками на ножках, и все это происходит непременно в той красивой комнате у Лильки. И никакого хихиканья, возни, кряхтенья, которое разводит их мамка со своими любовниками. Никогда, никогда... Может, только поцелуют друг друга, красиво запрокинув головы...

Таня стояла на порядочном расстоянии, припрятавшись за мраморной полуаркой. Люди шли довольно густо, и она быстро потеряла их из виду.

В школе в январе и в феврале происходили разные события: сначала был пожар в котельной, и три дня не учились, пока не наладили топку, потом умерла недавно вышедшая на пенсию бывшая немка Елизавета Христофоровна, которую хоронили почему-то чуть не всей школой, потом семиклассник Козлов упал с пожарной лестницы и сломал сразу обе ноги, и, наконец, директорша Анна Фоминична уехала в составе учительской делегации в Чехословакию, а потом приехала, рассказала на общешкольном собрании о братской Чехословакии и дала адреса чехословацких пионеров, и вся школа как сумасшедшая стала писать им письма. А потом устроили конкурс на лучшие десять, отправили их и стали ждать ответов.

Тут уже начался март, и все стали готовиться к Международному дню Восьмого марта. Родительница Плишкина опять собирала деньги на подарок классной руководительнице. Колыванова попросила у матери десятку, но мать была злющая, денег не дала и обругала. Сестра Лидка обещала дать с полочки, но полочка была пятнадцатого, а та, что была первого, уже вся ушла. Танька плакала три вечера подряд, пока мать не пришла веселая, выпившая, с Володькой Татаринцом и не дала ей десятку.

С утра Колыванова собиралась сдать десятку Плишкиной матери, которая приводила по утрам свою Плишеньку и собирала в раздевалке деньги. Но поскольку Колыванова уже успела объявить ей, что денег мать не дает, то с нее уже и не требовали. Целый день она скучно сидела на своей задней парте. Немецкого в тот день не было, и вообще была суббота, немкин выходной, так что и на перемены Таня из класса не выходила: интересу не было.

Последним уроком было рисование. Рисовали из головы корзину с цветами и подписью на красной ленте «Поздравляю маму...». Колыванова ничего не делала: во-первых, карандашей не было, во-вторых, училка Валентина Ивановна была толстая королева, сидела за столом и никого не проверяла.

Колыванова скучала, скучала, а потом вдруг ее озарила великая идея: купить Евгении Алексеевне настоящую корзину цветов, как дарят артисткам, и подарить тайным образом, но от себя лично, а не общественным способом.

Едва досидев до конца урока, понеслась Колыванова на улицу Горького, где был известный ей цветочный магазин, в витрине которого она видела такие корзины. На этот раз никаких корзин в окне не было, все было забрано слоистым морозовым узором, и она вошла в маленький магазин. Корзины стояли во множестве, и откуда они здесь взяли среди зимы, даже представить себе было невозможно.

Старый розоволицый мужчина в круглой барской шапке с бархатной макушкой выбирал цветы, а продавщица все ему приговаривала:

– Дмитрий Сергеич, Вера Иванна больше всего любит гортензию, гортензию ей всегда посылают...

Мужчина, сильно похожий на кого-то знаменитого, богатым голосом отвечал ей:

– Милочка моя, да Вера Иванна гортензию от геморроя отличить не может...

Колыванова под сурдинку шмыгнула к прилавку и обомлела: гортензия эта стоила 137 рублей, а та, что в корзине поменьше, – 88. А самые дешевые цветы в корзине, красные и белые, на длинных гнутых стеблях и не такие уж пышные, все равно стоили 54... Но десять-то уже было! Не теряя времени, Колыванова поехала в Марьину Рошу к родственнице своей, безрукой Тамарке. У нее она надеялась выпросить недостающие сорок четыре рубля. Тамарка была дома и даже обрадовалась, велела поставить чайник. Таня сварила чай, покормила Тамарку с рук хлебом и колбасой и сама поела. Поевши, Тамарка сама спросила, зачем она приехала.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– За деньгами, – честно призналась Колыванова. – Мне сорок четыре рубля нужно.

– А на что тебе столько? – удивилась Тамарка. Колыванова понимала, что не надо бы говорить на что, но быстро врать не умела. Потому призналась, что учительнице на подарок.

– Я тебе родня, – рассердилась Тамарка, – к тому же и увечная, что-то ты мне подарков сроду не делала... Не дам тебе нисколько. Хочешь – заработай. Вот помоешь меня в корыте да постираешь, тогда дам тебе, не столько, конечно...

Колыванова поставила на плиту два ведра с водой и стала ждать, пока согреется. Весь вечер она возилась с ее бельем, которого был полный таз. Тамарка дала ей десять рублей, но отругала, что постирано нечисто.

Домой вернулась поздно. Мать была в ночную, а Лидка спала. Утром поговорить с Лидкой она не успела, потому что она очень рано ушла на фабрику. Только вечером следующего дня снова приступила Колыванова к сестре насчет денег. Лидка была умная, ловкая, но денег у нее на самом деле не было. Она пошла под лестницу, там висела дяди-Мишина рабочая телогрейка, которая не раз выручала ее по мелочовке. Она пошарила в обоих карманах и принесла сестре горсть мелочи, больше двух рублей.

На кухне в тот вечер была драка. Тетя Граня из зеленого барака пришла ругаться с тетей Наташей за своего мужа Васю. Соседки собрались на кухне, и мать Колывановых, Валентина, тоже там участвовала. Лидка велела Тане постоять при дверях, влезла в материну сумку, но в ней была одна большая бумажка в пятьдесят рублей и больше ничего. Был у Лидки в запасе еще один способ, но она сомневалась, чтоб Танька на него согласилась. Но все же спросила:

– А если потараканят тебя?

– А сильно больно? – деловито поинтересовалась Колыванова.

Лидка задумалась, как бы верней объяснить:

– Мамка покрепче дерет.

– Тогда пусть, – согласилась Танька.

Переговоры Лидка решила провести немедленно. Надела серую козью шапку и пошла. Идти надо было рядом, в смежный двор, но вернулась она не очень скоро, зато довольная.

– Ну, обещал он денег-то дать, Паук-то, – сообщила она.

– Да ну? – обрадовалась Танька.

– Не так просто, – остерегла Лидка сестренку. – Потараканит тебя.

– А вдруг потом денег не даст? – встревожилась Танька.

– Так вперед взять, – надоумила опытная Лидка. Танька, хотя была и маленькая, тоже хорошо соображала:

– Ну да, сначала дадут, а потом отберут.

– Так вместе ж пойдем, я сразу возьму и унесу, – предложила Лидка.

Танька обрадовалась: так выглядело надежней.

– А сама-то ты к нему ходила? – спросила Танька сестру.

– Когда еще было... – отмахнулась Лидка. – Когда мать Сашку рожала, в то лето. А потом она из роддома пришла, ей Нюрка сказала, что я к Пауку ходила, она меня выдрала, – напомнила Лидка. – Я теперь этим не занимаюсь. Я теперь замуж выходить буду, – с важностью добавила она.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Таня кивнула, но без сочувствия. Она была занята своими мыслями: времени-то почти не оставалось, на завтра было шестое, а Лидка выходила с двух, а вечером надо было братьев забирать, и вдвоем отлучиться им было невозможно. Идти же одной Танька боялась, хотя и знала куда.

Пошли они седьмого, перед вечером. Жил Шурик Паук во втором этаже зеленого барака с матерью и с бабкой. Был он молодой парень, но порченный. Одна нога у него росла криво и была короче другой. Он и в армии не служил, и не работал толком. Был голубятником. В своем сарае с большой голубятней наверху он и проводил все время, ночевал там даже зимой, укрывшись тулупом и старым ковром. Он не пил, не курил. Говорили, что деньги на машину копит. И еще известно было, что он портит девочек. Сам он, смеясь редкозубым ртом, говорил, что ни одна девчонка из барачков от него не ушла. Взрослые девки дела с ним не имели.

Когда сестры Колывановы пришли к нему, он был сильно озабочен, усаживал в клетку полуживую птицу.

– Вишь, заклевал мне голубку хорошую. Затоптал всю, злой такой турман, – пожаловался он девочкам, которые вошли и сели у двери на один шаткий стул.

Он возился с птицей минут десять, мазал ей поклеванную шейку, дул на розовую головку. Потом закрыл клетку и обернулся к ним.

– Лид, а Танька-то твоя дылда какая, я думал, маленькая, – заметил он.

– Она меня на три года моложе, а вот на столько выше, – объяснила Лидка положение вещей. И правда, хотя Лидке уже исполнилось шестнадцать, она была небольшого роста, и Танька в этом году ее сильно переросла. Зато Лидка была просторная, с мясом, как говорила их бабушка, а Танька сухая как саранча.

– Че, тебе тридцать четыре рубля надо? – спросил он у Таньки.

– Тридцать два можно, – ответила Танька, вспомнив про два рубля серебром.

– Чтой-то холодно сегодня, – озабоченно вдруг сказал Паук и пошевелил задумчиво в кармане брюк. – А ты иди, иди, – обратился он к Лидке.

– А деньги-то? – спросила Лидка.

– А принесешь когда? – поинтересовался он.

– Пятнадцатого принесу, в получку, – пообещала Лидка.

– Ну ладно. А пока не принесешь, пусть она ко мне ходит, – он засмеялся, – процент платить.

Он вынул из кармана целый пук мелких денег и отсчитал тридцать два рубля трешками и рублевками. Лидка не постеснялась, пересчитала.

– Иди себе, иди, – велел ей Паук, и она тихонько выскользнула в дверь.

Танька с облегчением вздохнула: набрала она денег на свое дело, набрала...

Шурик еще пошевелил в кармане:

– Ну что, посмотреть-то на него хочешь?

– Нет, – улыбнулась простодушно Танька, – мне бы поскорее.

– Ну ладно, – не обиделся Паук, – сядь тогда на лестницу, вон туда, – он указал ей на третью перекладину приставленной к лазу на голубятню грубо сбитой лестницы. – Да валенки надень. Надень, замерзнешь, – разрешил он, когда увидел, как она стягивает из-под пальто кое-какую одежду и протягивает через нее голые цыплячьи ноги...

В тот учебный год, год слияния мужских и женских школ, зацветали даже сухие веники: сразу у двух учительниц сбежали мужья к каким-то, само собой молоденьким, сучкам, новый литератор Денискин влюбился в практикантку Тонечку и

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru скоропалительно женился, незамужняя учительница рисования, которая ходила с большим животом последние десять лет, вдруг ушла в декрет, и даже Анна Фоминична, под насмешливыми взглядами всего педагогического состава, тяжело кокетничала с овдовевшим математиком. Дежурные выметали из классов бессчетные записочки, а одной девятикласснице из очень приличной семьи сделали аборт в роддоме как раз имени Крупской, за что Анну Фоминичну вызывали в РОНО и сильно прикладывали. Было еще много всяких тайных любовных вещей, про которые никто не знал.

В школе готовился большой вечер, посвященный Восьмому марта, и Кольванова тот день прогуляла.

Она ушла из дома утром, как обычно, но захватила с собой материнскую кошелку. Еще не было девяти часов, а она уже стояла у закрытого цветочного магазина, который открылся в одиннадцать. Она не напрасно пришла так рано: через час за ней стояло уже человек двадцать, а к открытию очередь выстроилась чуть ли не до Елисеевского.

Она сразу рванулась к кассе и опять была первая. Цветы, которые она облюбовала заранее, как она теперь узнала, назывались цикламены, и были они трех сортов – белые, розовые и пронзительно-малиновые. Малиновые она и выбрала, хотя и не без колебания: розовые и белые ей тоже нравились.

Та же самая продавщица, которая советовала давешнему старику гортензии, красиво завернула корзину и помогла засунуть ее в кошелку.

Было начало двенадцатого, и она поехала на двух троллейбусах на дом к Евгении Алексеевне. Она поднялась на последний этаж, а потом еще на полпролета выше, к самому чердаку, и села там. Она знала, что ждать ей предстоит долго. Неудобство заключалось в том, что Евгения Алексеевна жила на седьмом этаже, а Таня забралась выше десятого, и по неопределенному стуку лифта невозможно было догадаться, где именно он остановился. Всякий раз, когда хлопала дверь, она спускалась на три этажа ниже посмотреть через проволочную сетку на седьмой, не идет ли Евгения Алексеевна.

К обеденному времени, она видела, вернулась Регина со своей прогулочной теткой. Несколько раз приезжали какие-то дети и старые люди, но в другие квартиры. Хотелось есть, пить, спать, потом немного заболел зуб справа, но сам собой и прошел. Таня стала беспокоиться, не завяли ли цветы в корзине, она распустила сверху бумагу, но там, под бумагой, цветы были свежими и великолепными, только показались ей совсем темными, и она пожалела, что не купила белые.

Потом дочку Регину снова повели на прогулку, а вскоре начало темнеть в окнах на лестничной клетке. Опять хлопнула дверь на седьмом этаже: это была серая папаха. Кольванова просидела еще минут сорок, прикидывая, что пора бы уже появиться Евгении Алексеевне. Она никогда не оставалась на школьных вечерах до самого конца, как другие учителя.

«Пора», – решила Кольванова, вытащила из кошелки завернутую в бумагу корзину и, прижимая к животу, снесла к дверям и поставила на самую середину коврика. Потом она снова поднялась в свое убежище. Но ждать пришлось уже недолго, минут через пять приехала Евгения Алексеевна, и Кольванова видела сверху ее рыжих лисиц и маленькую вязаную шапочку с витым шнуром. Она даже услышала приглушенный звонок, щелканье замка и недовольный мужской голос.

Теперь Таня заторопилась, бегом побежала к метро. В метро было светло и ярко, и все женщины несли веточки мимозы. Она представила себе корзину с богатыми бархатными цикламенами, с блестящими плотными листьями и впервые в жизни испытала гордость богатства и презрение к бедности – к жиденьким желтым шарикам с противным запахом. И еще было невыразимое чувство соучастия в прекрасной гармонии мира, которой она послужила: Евгении Алексеевне шли цикламены точно так же, как вся ее красивая одежда, как гранитные шары у ее подъезда, как усатый красавец, который встречал ее теперь в метро чуть ли не каждый день.

По-видимому, относительно молодого усача у генерала Лукина были совершенно другие соображения. Во всяком случае, когда он, взбешенный и мрачный, открыл жене дверь, он собирался спросить ее, где именно она шлялась, объявив заранее, что задержится на школьном вечере. Он заехал за ней в школу в половине пятого,

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru поскольку ему принесли два билета на торжественный концерт в Большой театр. Но в школе ее уже не было. Она сказала там больной и давно уехала. Вот именно куда же она уехала и хотел знать генерал Лукин, который сердцем ревнивца давно уже чувствовал дыхание измены.

Жена его вошла с растерянной улыбкой и с корзиной цветов:

– Представь, Семен, на коврике у двери корзина с цветами...

Но она не успела договорить, поскольку муж ее Лукин совершенно бабьим размашистым жестом закатил ей крутую оплеуху. Всей своей прежней гордой жизнью была она к этому не готова, не удержалась на ногах и упала, ударившись бровью об угол подзеркальника. Корзина тоже упала. Он кинулся поднимать жену, но она отвела его руку и пошла, сбросив на пол лисью жакетку, сказав ему через плечо единственное слово: «Пеньки!»

Это было то самое слово, которое она изредка обрушивала на него как топор, и название милой вятской деревушки, откуда он был родом, мгновенно обращало его в ничтожество, в подпаска, в деревенщину. Он почувствовал боль и стыд такие же острые, как недавний гнев. Раскаяние и неожиданная уверенность в невиновности, даже какой-то горделивой невиновности его жены охватили его.

Она защелкнула дверь ванной. Он стоял в коридоре и, прижавшись щекой к двери, твердил едва не со слезами: «Женечка, Женечка, прости!» А Женечка, зажимая мокрым полотенцем кровоточащую ранку, морщилась от боли и злорадно, по-детски, твердила про себя: «И буду, и буду, и всегда буду!»

Корзина с цикламенами лежала на полу в прихожей, и никак нельзя было сказать, чтобы она доставила Евгении Алексеевне большую радость...

Зато радость была у Колывановой: неслась она в сторону дома так поспешно потому, что Паук велел приходить ей каждый день на отработку, и она, девочка послушная, и не думала отлынивать. Подойдя к сараю, она обнаружила, что дверь открыта, а Паука нет.

Дома Лидка шепотом рассказала ей, что дворовые мужики за какие-то подлые грехи так сильно Паука изметелили, что его свезли в больницу. А голубятню, вместе со всеми голубями, разгромили... Прошло много времени, прежде чем Паук снова появился во дворе, и денег ему сестры Колывановы так и не отдали. Растопталось...

Но счастье – чего еще не знала Колыванова – всегда сменяется горестями. Евгения Алексеевна в школе больше не появилась. Сначала она взяла бюллетень по травме, а потом ее муж получил назначение военным советником за границу, и она отбыла в великую страну на востоке, где покупала себе шелк, нефриты и изумруды, а по штату им полагался повар, двое слуг, садовник и шофер, и все, разумеется, китайцы. Про Колыванову она никогда в жизни и не вспомнила.

А бедная Колыванова долго тосковала. Потом любовь ее как будто зажила. Девичьей жертвы своей она вовсе и не заметила, тем более что, кроме Лидки да Шурика Паука, никто и не знал. Один раз Евгения Алексеевна приснилась ей, но каким-то неприятным образом: как будто она подошла к ней на уроке и стала больно стучать по голове костяшками наманикюренных пальцев. Новую учительницу немецкого Таня невлюбила, но немецкий язык казался ей каким-то высшим, небесным.

Два года Колыванова провела в тоскливой спячке. Все девочки в классе повзрослели и покруглели, одна она все росла вверх, как дерево, и стала в классе выше всех, даже мальчиков. Потом у нее неожиданно выросла хорошая грудь, серые волосы оказались вдруг пепельными, видимо от мытья, потому что матери дали на фабрике двухкомнатную квартиру с ванной. Так она сделалась сначала симпатичной, а потом и вовсе красивой. Но мальчики на нее не смотрели, все привыкли, что она никакого интереса не представляет. Зато когда Анна Фоминична пригласила на Первомайский вечер слушателей из Высшей партийной школы, а именно любимых своих чехословаков, а те привели с собой всяких прочих коммунистических шведов, среди которых были болгары, итальянцы и один действительно швед, то этот швед пригласил Колыванову танцевать, но Колыванова отказалась, потому что не умела. Но швед все равно в нее влюбился. Встречал ее после школы, водил в кино и в кафе, разговаривал с ней по-немецки и привозил подарки. Она ходила к нему в общежитие через трою суток на четвертые, когда дежурил его знакомый вахтер. Фамилия шведа была Петерсон, он ей

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru не нравился, потому что был ростом меньше ее и с лысиной, хотя и молодой. Но он был не жадный, делал для нее много хорошего, так что она ходила к нему из благодарности.

Потом он уехал, и она не горевала. Вскоре она окончила школу, слабенко, на троечки. Мать хотела, чтобы она поступила на фабрику, в канцелярию, там было место, но она захотела учиться и поступила в педагогический техникум. В институт пострашилась.

Петерсон писал ей письма, а через год приехал, чтобы жениться. Но сразу не получилось, с бумагами были сложности. Он приехал еще раз и все-таки женился. Вскоре Колыванова уехала в Швецию.

Там она купила себе первым делом сапожки на белом каучуке, цигейковую шубу и пушистые свитера. Петерсона она не полюбила, но относилась к нему хорошо. Сам Петерсон всегда говорил, что у его жены загадочная русская душа. А бывшие одноклассницы говорили, что Колыванова счастливая.

Детство-49

Рассказы

Капустное чудо

Две маленькие девочки, обутые в городские ботинки и по-деревенски повязанные толстыми платками, шли к зеленому дощатому ларьку, перед которым уже выстроилась беспросветно-темная очередь. Ждали машину с капустой.

Позднее ноябрьское утро уже наступило, но было сумрачно и хмуро, и в этой хмурости радовали только тяжелые, темно-красные от сырости флаги, не убранные после праздника.

Старшая из девочек, шестилетняя Дуся, мяла в кармане замызганную десятку. Эту десятку дала Дусе старуха Ипатьева, у которой девочки жили почти год. Младшей, Ольге, она сунула в руки мешок – для капусты.

– Возьмите, сколько унесете, – велела она им, – и морквы с килограмм.

Было самое время ставить капусту. Таскать Ипатьевой было тяжело, и ноги еле ходили. К тому же за то время, что девочки жили у нее, она уже привыкла, что почти всю домашнюю работу они делают сами – легко и без принуждения.

К старухе Ипатьевой, по прозвищу Слониха, девочек привезли в конце сорок пятого года, вьюжным вечером, почти ночью. Они приходились внучками ее недавно умершей сестре и были сиротами: отец погиб на фронте, а мать умерла годом позже. И соседка привезла их к Слонихе: ближе родни у них не было. Ипатьева оставила их у себя, но без большой радости. Наутро, разогревая на плите кашу, она бормотала – привезли, мол, на мою голову...

Девочки испуганно жались друг к дружке и исподлобья смотрели на старуху одинаковыми круглыми глазами.

Первую неделю девочки молчали. Казалось, что они не разговаривают даже между собой, только шуршат, почесывая головы. Старуха тоже молчала, ни о чем не спрашивала и все думала большую думу: оставлять их при себе или сдать в детдом.

В субботу она взяла таз, чистое белье и девочек, волосы которых были заранее намазаны керосином, и повела их на Селезневку в баню. После бани Ипатьева впервые уложила их спать на свою кровать. До этого они спали в углу, на матрасе. Девочки быстро заснули, а Ипатьева еще долго сидела со своей подружкой Кротовой. Выпив чаю, она сказала:

– Господь с ними, пусть живут. Может, неспроста они ко мне на старости лет пристали.

А девочки, словно почуяв, что их жизнь решилась, заговорили сначала между собой, а потом и со старухой, которую стали звать бабой Таней. Они обжились, привыкли к новому жилью и к Слонихе, только с городскими ребятами не сошлись: их игры были непонятны, интереснее было сидеть в комнате, возле швейной машинки, слушать ее неровный стук и подбирать лоскутки, падающие на пол: Ипатьева брала работу – если повезет, то из нового, но больше кому перелицевать, кому починить...

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Теперь девочки шли за капустой, и Дуся прикидывала, куда же они ее поставят: бочонка в хозяйстве не было. В дырявом кармане Дусяного пальто, кроме десяти, лежала еще и картинка из журнала с нарисованным желтым зубастым японцем, замахнувшимся кривым ножом на кусок географической карты.

Подтерев сестре нос, Дуся опустила замерзшие пальцы в карман и нащупала десятку, скатанную трубочкой.

– Большая, а носа вытереть не можешь, – проворчала она точно так, как это делала Ипатьева, и снова сунула руку в карман. Ее замерзшие пальцы не расчувствовали десятирублевки и скатали поудобней в трубочку желтого японца. Измятая десятирублевка обиженно скользнула в дыру кармана и полетела вдоль мостовой вместе с бурными промерзшими листьями.

Сестры встали в хвост недлинной очереди. Женщины говорили, что, может, капусту и не привезут, потому стояли только самые упорные. Все другие, простояв минут десять, уходили, обещая вернуться. Девочки тесно прижимались друг к дружке, топали озябыми ногами – ботинки были дареные, изношенные, тепла не держали.

– Надо было валенки надеть, – сказала Дуся.

– На валенках кошка спит, – отозвалась Ольга.

И они замолчали, наговорившись.

Минут через сорок пришел грузовик с капустой. Его долго разгружали, и девочки терпеливо ждали, пока начнут продавать. Им и в голову не приходило уйти без капусты.

Наконец сгрузили. Раскрылось зеленое окошко, продавщица начала отпускать. Очередь сразу разбухла. Прибежали все: и те, кто занимал, и те, кто не занимал. Девочки все оттеснялись и оттеснялись в хвост. Они давно продрогли. Временами шел не то дождь, не то снег. Платки их промокли, но пока еще грели. Только ноги вконец иззябли. Время уже перевалило за обеденное, и продавщица закрыла окошечко, когда девочки приблизились к нему вплотную. Стоявшая у прилавка тетка начала шуметь:

– Чего закрываешь, когда только открыли?

Но продавщица цыкнула на нее:

– Обед! – и ушла.

Прошел еще час. Свет стал убывать. Посыпал настоящий, слепленный в крупные хлопья снег. Он покрывал сутулые спины людей и спины домов, и кучу бело-голубой, твердой даже на вид капусты. От белизны снега стало чуть веселее и вроде светлее.

Вернулась продавщица. Отпустила капусту тетке впереди девочек, и Дуська вытащила из кармана заветную трубочку, развернула ее – вместо десяти это была картинка с японцем. Она пошарила в кармане, ничего в нем больше не было. Ее охватил ужас.

– Тетенька! Я деньги потеряла! – закричала она. – По дороге потеряла! Я не нарочно!

Краснолицая продавщица, одетая, как капуста, во многие одежды, выглянула из своего окошка вниз, посмотрела на Дусю и сказала:

– Беги домой! Возьми у мамки денег, я тебе без очереди отпущу.

Но Дуська не отходила.

– Дырка у меня! Я не нарочно! – редела она.

Маленькая Ольга, понимая, что на них свалилось горе, тоже редела.

– Иди, поищи, может, на дороге найдешь, – посоветовала темнолицая женщина из

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
очереди.

– Как же, найдешь, – фыркнул одноглазый старик.

– Не задерживайтесь, чего зря болтать! Эй, девочка, отойди в сторону! – сказал кто-то третий.

Две сгорбленные девочки, по-деревенски замотанные платками, пошли в сторону дома, разгребая ногами кучи перемешанных со снегом и сумраком листьев, нагибались и рыли побелевшими пальцами в хрустящих водоворотах. Старшая горестно, по-взрослому, причитала:

– Горе ты мое! Что теперь с нами будет! Прогонит она нас, и куда мы пойдем!

Ольга, опустив вниз углы своего треугольного рта, вторила сестре:

– Куда пойдем...

Стемнело. Укрывши плечи мешком, они медленно брели к дому. Умненькая Дуся все думала, что бы такое сказать Ипатьевой, чтобы она их не прибила или, хуже того, не прогнала... Украли? Или отняли? Или еще чего? Сказать «потеряла» казалось ей совсем невозможным.

Ольга всхлипывала. Они подошли к повороту, остановились, собираясь перейти дорогу: деревенская робость перед машинами все еще оставалась в Дусе. Навстречу им несся грузовик, освещая фарами бежавший перед ним раскосый кусок брусчатки. Девочки стояли. Машина, не сбавляя ходу, резко повернула, под фонарем сверкнул бело-голубым сиянием ее груз – высоко вздыбившаяся над бортом капуста. Машина вильнула возле них, рванулась и поехала мимо, сбросив к их ногам два огромных кочана. Они крикнули, стукнувшись о дорогу. Один распался надвое, второй покотился, слегка подпрыгивая, прямо к ногам Ольги.

Они посмотрели друг на дружку – два светло-голубых изумленных глаза смотрели в другие, точно такие же. Сняли с плеч мешок, которым укрывались, сунули в него цельный кочан и тот, что распался. Дуся не могла взвалить на плечи мешок – был слишком тяжел. Они взялись за углы мешка. Вострая Дуся подложила под него картонку, и они поволокли его...

Ипатьевой дома не было. Она сидела у подружки Кротовой, плакала, утирая слезы кривым ситцевым лоскутом:

– Шура, подумай, ведь два раза к ларьку бегала... Пропали, пропали девчоночки мои... Цыгане свели или кто...

– Да найдутся, кому они нужны-то? Сама подумай! – утешала ее Кротова.

– Девчоночки-то какие были! Золотые, ласковые... Как же они без меня? А я-то, я-то как без них? – убивалась Ипатьева, комкая промокшую тряпочку.

А девочки в темноте выложили на стол капусту, сели, не раздеваясь, на стул и ждали...

Восковая уточка

Чаще всего – чуть не каждое воскресенье – старый Родион появлялся летом. Он шел всегда рядом с тележкой, которую везла большая костлявая лошадь. Остановившись посреди двора, он кричал громким голосом:

– Старье-берем!

Это «старье-берем» было вроде припева, потому что он еще длинно выпевал:

– Кости, тряпки, бумага, старая посуда, все берем!

Первыми его окружали ребята.

В задней части тележки горой лежало старье – мятая самоварная труба, остатки сапог, даже консервными банками старик не брезговал. А в передней части тележки всегда стоял фанерный чемодан.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Когда Родион раскрывал его, все замирали. Чемодан был полон драгоценностями. В тонкую картонку были вдеты легкие сережки с красными и зелеными камушками, маленькие колечки лежали навалом в банке из-под леденцов, воздушной кучкой вздымались чуть прозрачные раскрашенные восковые уточки, ослепительно сверкали большие стеклянные шары, в которых торжественно плавали рыбы и лебеди. Нашитые на бумажку пуговицы и разноцветные пряжи ниток волшебным переливались под майским солнцем.

Валька Боброва прижималась к телеге и не отходила до конца представления. Ей нечего было принести Родиону. Однажды, в прошлом году, она отнесла было Родиону материн платок, но Нинка, старшая сестра, увидела, отняла и вздула. Потом еще добавила и мать.

Вот Валька и стояла, жадно рассматривая сокровища, и прикидывала, чего бы она выбрала... На крупный товар, вроде шаров, она и не глядела – чтобы не тратить попусту желание. Она выбирала между колечком с зеленым камушком и одной уточкой. Уточка была немного попорченная, со вмятиной на крыле. И еще очень нравился наперсток – детский, маленький, он был единственным и лежал в коробке с иголками и пуговицами.

Торговля шла вяло. Пришла тетя Маруся, принесла луженую-перелуженую кастрюлю с дырявым дном. Просила пачку иголок. Родион дал одну – и она, ругая его за жадность на чем свет стоит, ушла в «крылатник», ту часть дома, где до войны жили одни Крыловы, а теперь пять семей.

Петька Разуваев принес старую шинель, но Родион не взял: отец тебе уши вырвет! Это была чистая правда.

Сашка Молокин принес три галоши, он подобрал их на майские праздники, после демонстрации, и хранил в ожидании Родиона. Он хотел шар с лебедями, но получил бумажный мячик на резинке, желто-розовый, и был доволен.

Потом подошел Шурка Турок, взрослый парень, что-то тихо сказал Родиону, тот кивнул. Шурка был дворовый вор, это все знали, но он был ловкий, никто его не словил.

Старуха Егорова принесла ватное одеяло. У нее в комнате случился пожар. Огонь загасили, но одеяло погорело. За остатки одеяла она просила у Родиона десяток больших черных пуговиц, но он жалел отдать их за горелое одеяло. Они долго торговались, и она ушла домой ни с чем.

Валька Боброва тарщила круглые глаза и все запоминала. Память у нее была невиданная: она помнила за всю свою жизнь, кто что Родиону снес и что за это получил.

Родион закрыл свой чемодан, зрители стали расходиться. Валька всегда уходила последней. На этот раз ничего выдающегося не произошло, двор обогатился одним бумажным мячиком, который Валька никогда бы не выбрала, да иголкой.

Родион не спеша обошел вокруг телеги и тронул лошадь. Большие зеленые ворота кто-то успел закрыть.

– Эй, ворота отвори! – крикнул Родион Вальке, и она стрелой понеслась открывать. Родион выехал на мощенную бульжником улицу, а Валька все стояла в воротах и думала про уточку с помятым крылом.

Тетя Матрена Клюева хлопала половиком о забор, поднимая облачка черной пыли. Из дома раздался пронзительный детский крик, и Матрена, бросив половик, кинулась в дом. У нее на плите кипел бак с бельем, и она испугалась, что маленький Сережа, которого она оставила одного на кухне, обварился.

Решимость и холод вдруг обрушились на Вальку. Она подобралась, как пружина, минуты не думая, схватила половик и понеслась вслед за Родионом. Он уже въехал в соседний двор и кричал там свое «старье-берем».

Валька ловко пробралась сквозь толпу соседских ребят и протянула Родиону половик.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Ишь, вспомнила, – буркнул он, ковырнул половик пальцем и бросил в телегу.

Валька хотела попросить уточку, но язык не ворочался во рту. Родион не глядя сунул руку в фанерный чемодан, огромными пальцами вынул оттуда помятую уточку и опустил Вальке в руку. Она спрятала ее между ладонями и тихо пошла домой. От холода и решимости ничего не осталось, колотилось сердце и очень хотелось пить. Она шла и думала только об одном – куда ее спрятать...

Через два года Валька поступила в школу и у нее открылся талант: ее недокормленное тело оказалось на редкость гибким и ловким. Сначала тренер из Дома пионеров велел приходить на секцию гимнастики, потом ее перевели в спортивную школу. Она выступала в больших соревнованиях, ездила на сборы в другие города и скоро стала мастером спорта, а потом – на весь мир известной спортсменкой.

Всякий раз перед выступлением к ней приходило чувство холода и решимости, и она почему-то вспоминала о нежной восковой уточке с помятым крылом, которая давно растаяла под ее горячими пальцами.

Дед-шептун

Всех женщин своей большой семьи, от бабушки, которая приходилась ему невесткой, до правнучки Дины, прадед называл «доченьками». Всех мужчин – «сыночками», делая исключение для своего старшего сына Григория, которого всегда величал полным именем.

Последние годы он был почти совсем слеп, отличал только свет от тьмы: видел окно, горящую лампу. Читать он уже давно не мог, но правнучка Дина запомнила его почему-то с толстой тяжелой книгой на коленях.

Разговаривал он мало, но постоянно что-то шептал так тихо, что почти неслышно. Видно было, как двигаются седые усы над провалившимся ртом – за это звали его дети дедом-шептунном. Он был очень тихим, почти весь день сидел в большом кресле, иногда на табуретке на крошечном полукруглом балкончике. На улицу он не выходил.

Братья ходили в школу, все взрослые были на работе, а Дина, самая младшая в семье, оставалась с прадедом. Время от времени они ложились на диван, укрывшись заштопанным сине-зеленым пледом, и прадед рассказывал девочке истории, вернее, одну бесконечную историю про людей с необыкновенными именами.

Была у них еще одна игра: Дина прятала палку темного дерева с рукоятью в виде собачьей головы с прижатыми ушами, а он ее на ощупь искал и не всегда находил. Правда, иногда он говорил:

– Доченька, вынь-ка палку из-под кровати, мне туда не залезть.

Когда брату Алику исполнилось десять лет, прадед подарил ему часы. Это был невиданно богатый по тем временам подарок. Часы были на тонком коричневом ремешке, формой напоминали кирпичик, у циферблата было торжественное выражение лица. Они были похожи на игрушечные и старались выглядеть посолоднее.

Ни у кого в классе часов не было. Ни у кого во дворе часов не было. А у Алика – были. Каждые пять минут он смотрел на часы и все удивлялся, какие же минуты разные: некоторые длинные, еле тянутся, а другие быстрые, проскакивают незаметно.

Вечерами Алик заводил часы и клал их рядом с кроватью на стул. Сколько Дина ни просила, он не давал их даже подержать.

Однажды утром, недели через две после того, как подарили часы, Алик ушел в школу, оставив часы на стуле возле кровати. По дороге он спохватился, но возвращаться было некогда.

После завтрака Дина обнаружила часы. Она осторожно взяла их – и надела. Прадед покачал головой. Он часто качал головой, словно о чем-то сокрушался.

Во дворе Дину окружили ребята.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
– Это Алькины часы! – говорили они.

– Нет, мои! – врала Дина. – Наш прадед был часовщиком, пока не ослеп. У него таких часов – сто штук. Он и мне подарил.

Закатав рукава кофточки, она влезла на качели. Когда она качнулась, часы сверкнули на весь двор. Их видела и тетка, которая вешала белье, и кошка, которая грелась на солнце, и малыш, сидящий в куче песка. Сам дворник спросил у нее, который час. Дина смутилась: она еще не умела различать время по часам. Пришлось сделать вид, что спешит, и убежать на задний двор.

Там ребята играли в волейбол. Она попросилась, ее приняли неохотно. Играть толком она не умела. Дина подняла руки с растопыренными пальцами и стала ждать, когда мяч шлепнется о них. Она ждала долго, даже устала держать на весу бесполезно растопыренные пальцы. Наконец, долгожданный мяч, направленный чьей-то завистливой рукой, с силой ударился о запястье, и часы брызнули в разные стороны – отдельно механизм, отдельно стеклышко. С жалким звоном оно стукнулось о землю и подскочило, сверкнув на солнце. На руке остался только ремешок с блестящим донышком.

...Был конец мая. Была первая жара, липы стояли в новой листве, как свежавыкрашенные, и даже пахли немного масляной краской. Казалось, что деревья остолбенели перед случившимся несчастьем. Один только безжалостный Колька Клюквин ехидно произнес:

– Ну, Алька тебе задаст! Хотя часики вроде твои, да?

Зажав в ладони то, что осталось от часов, Дина медленно поднялась на крыльцо, прошла сквозь облако солнца, лежащее на ступенях, в прохладную темноту, пахнувшую сырой извешкой и кошками. Долго-долго она поднималась на второй этаж. Она не плакала, но было так тяжело, как будто она несла на спине мешок картошки. Она долго колотила пяткой в дверь, пока не услышала, как шаркает, постукивая палкой, прадед. Он открыл. Дина уткнулась носом в тощий дедов живот, в парусиновые сборки мятых штанов.

– Ничего, ничего, доченька, – сказал он. – Не надо было их брать.

– Ничего! – взвыла Дина. – Хорошо тебе говорить!

И слезы наконец брызнули, как брызжут в цирке у клоунов, сильной струей. Она сунула в маленькую сухую руку прадеда стеклышко и механизм, отцепила ремешок с донышком, и оно было страшным, как крышка гроба, которую она видела однажды на лестнице.

– Ничего! Ничего! – рыдала Дина, уткнувшись в потертую коверную подушку и заливаясь слезами. А когда все слезы, которые были, вылились, она крепко уснула.

Старичок с редкими белыми волосами, стоявшими вокруг маленькой головы, держал разбитые часы и беззвучно шевелил губами.

Когда Дина проснулась, прадед сидел за столом, а перед ним стояла фарфоровая коробочка с инструментами: пинцетами, щеточками, колесиками и круглым увеличительным стеклом в темной оправе, которое дети называли «глазком» и которым прадед давно уже не пользовался.

Дина подошла к нему на цыпочках и прижалась к острому плечу. Он засовывал ремешок в ушки целых часов.

– Деда, ты починил? – не веря своим глазам, спросила Дина.

– Ну вот, а ты плакала. Стеклышка нового у меня нет. Здесь трещинка маленькая, – и он провел твердым длинным ногтем по трещинке. – Видишь?

– Вижу, – шепотом ответила Дина. – А ты? Скажи, ты не слепой, да? Ты видишь?

Прадед повернулся к ней. Глаза его были добрыми и блеклыми. Он улыбнулся.

– Пожалуй, кое-что вижу. Но только самое главное, – ответил он и зашептал, как

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
всегда, что-то неслышное.

Вот и вся история. Прошло очень много лет, и Дина мало что помнит из того времени. Но то, что помнит, делается с годами все ясней, и иногда ей кажется, что скоро она сможет различить, расслышать те слова, которые шептал ее прадед.

Гвозди

В то лето, когда родилась сестра Маша, Сережу решили отправить в деревню – не к дедушке, как отправляли других ребят, а к прадедушке. Прадед жил в далекой деревне, и добирались они с отцом сложным путем: сначала на поезде, потом на маленьком пароходе, потом долго шли пешком.

Только под вечер добрались они до деревни. По обе стороны неширокой улицы, заросшей низкой пушистой травой, стояли большие серые избы. Некоторые были заколочены. Посреди улицы медленно шли тонконогие кудлатые животные, про которых Сережа сказал: чудные собачки!

Отец засмеялся:

– Овец не узнал! А вон пастух!

И указал на мальчишку чуть постарше Сережи, босого и в теплой шапке. И это тоже было чудно.

Изба, в которой жил прадед, стояла на краю деревни. Когда они вошли, Сережа замер – у него была книжка русских сказок, в которой все было точно так нарисовано: с русской печи свисал овчинный тулуп, который надевал сказочный Старик перед тем, как вести свою бедную дочь в лес к Морозко, и даже ухват стоял на том самом месте, что и на картинке. И запах был особенный, на всю жизнь запомнившийся: старой овчины, закваски, яблок, лошадиной сбруи и другого, незнакомого... запах, которого больше нет на свете...

Две старухи набросились на отца, целовали, плакали, спрашивали. До войны, подростком, он тоже у них гостил.

Поцеловали и Сережу. Одна старуха была ничего, вторая страшная и очень худая и совсем без зубов.

– Это, Серега, тетушки мои, Настасья и Анна, – сказал отец, – твоего дедушки сестры. Так что тебе они вроде бабушки...

«Есть у меня бабушка!» – подумал Сережа с тоской, сразу вспомнил свою красивую завитую бабушку, мамину мать, которая работала бухгалтером в театре и часто водила его на детские спектакли. Он скривился, но ничего не сказал.

Отец вытаскивал из рюкзака гостинцы – одна бабушка сильно радовалась, а вторая заплакала.

«Наверное, боится, что та все подарки заберет», – подумал Сережа и подергал тихонько отца, хотел сказать, чтоб отец сам разделил, а то худой не достанется. Сергей был человек справедливый и во дворе приучен к честной дележке. Но отец от него отмахнулся:

– Потом, потом... – и все вытаскивал свои свертки.

И тут вошел прадед. Он был большой и походил на некрасивого медведя. Старухи сразу притихли, а одна из них сказала:

– Батя, вот Виктор приехал, Ивана сын.

Они поцеловались.

– В нашу породу вышел, – глухим голосом сказал прадед, – парнишкой-то мелким был.

Сереже показалось, что отец робеет.

Старухи засуетились, поставили на стол большой темный хлеб, ложки и зеленый таз,
Страница 150

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
который называли «чашкой».

На Сергея никто внимания не обращал, но скучно ему не было. Он тихонько разглядывал множество незнакомых вещей. Удивительное дело: здесь и знакомые вещи имели какой-то другой, новый вид – ложки были деревянные, а подушки были одеты в красные и цветные наволочки, а не в белые, как дома.

Нестрашная старуха крошила в таз зеленый лук, огурцы и картошку, вторая откуда-то принесла решето с яйцами. Солома торчала из решета – как на картинке про Курочку Рябу...

Пришли трое ребят: две девочки постарше Сережи и мальчик, по виду ровесник или помоложе.

– Вот твоя компания будет, – сказал отец. – Это твои троюродные.

Их звали Маринка, Нинка и Митька.

Сережа удивился – он и не знал, что у него столько родни.

Сели за стол. Посреди стола стоял таз с каким-то коричневатым супом, но тарелок не было, только ложки и большой, раскатистый, как пирог, хлеб. Прадед перекрестился и зачерпнул ложкой из общей миски, а за ним и все по очереди.

– Ешь, – шепнул отец. – Это окрошка.

Все как-то ловко зачерпывали, ни у кого на стол не капало, даже у Митьки.

Прадед спрашивал отца про завод, про жизнь. Отец отвечал и на Сережу не глядел. А Сережа сидел, вертел кусок хлеба и удивлялся, как это они едят из одного таза.

Вдруг страшная старуха, которую звали Анна, взяла белую глубокую тарелку, налила в нее из общей посуды немного и поставила перед Сережей.

– Ешь, милоч, ты по-городскому привык, – шепнула она ему беззубым ртом.

Девчонки хихикнули, мальчик фыркнул.

И вдруг Сережа почувствовал себя несчастным и одиноким. Он подумал, что здесь не останется и уедет завтра с отцом.

Перед ним стояла белая тарелка – все остальные ели из общей, и неожиданно Сереже это показалось очень обидным. А отец сидел, ел и ничего не замечал. Слезы подкатывали к горлу и готовы были вот-вот потечь.

– Что не ешь-то? Ай не нравится? – спросила старуха.

– Нравится, – прошептал Сережа.

Слезы сами собой потекли. Он понял, что хочет есть из зеленой миски, как все. Но было уже поздно.

Никто на него не смотрел. Он отодвинул белую тарелку и потянулся к общей миске. Суп был холодный, кислый, и в ложке плавал зеленый лук, которого Сережа не ел.

Потом поставили на стол большую яичницу и вареную картошку. Это была привычная еда, Сергей поел ее. Старуха Анна отвела его спать на другую половину, на большую высокую кровать с разноцветными подушками.

Он лег и подумал, что ни за что здесь не останется.

Наутро, когда он проснулся, оказалось, что отец уже уехал. Об этом сказала Анна, которую он все не мог назвать бабушкой. Она дала ему молока, кусок давешнего большого хлеба и велела идти гулять. Ребята уже ушли.

Сергей вышел из избы. Он обошел ее кругом, она оказалась очень большой, с пристройкой, и поодаль еще стоял сарай. Дверь была открыта, и он заглянул. Там

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru никого не было. Стоял верстак, над ним висели разные инструменты: рубанки, молотки и еще много разных железных вещей, которым Сережа не знал названия. Под верстаком стоял ящик. В нем по гнездам были разложены гвозди разной величины. Сергей взял средний, длиной с мизинец, взял молоток и стал искать, куда бы его забить.

Он сел у порога, высыпал гвозди кучкой у ног и начал их забивать в порог. Он промахивался, бил по пальцам, гвозди гнулись. Потом дело пошло лучше...

И вдруг почувствовал, что он не один. Рядом с ним стоял прадед и смотрел на него. Сережа испугался. Ни слова не говоря, прадед взял из рук молоток, несколько гвоздей и ровно и легко всадил их рядом с Сережиными.

– Рукоять за конец держи, – глухим голосом сказал старик, – а гвоздь так ставь. Бей в один удар! – и Сережа понял, что он не особенно сердится.

Он взял молоток, как велел старик, и долго еще вбивал гвозди. Пока весь порог не забил. Потом встал и хотел было идти. Прадед строгал рубанком доску, но тут он отложил рубанок, дал Сергею тяжелую изогнутую железку с раздвоенным заостренным концом и сказал:

– Вот гвоздодер возьми! Теперь вынь гвозди-то! Гвоздь на дело нужен. На что он там?

Сережа взял гвоздодер двумя руками... И снова дед встал на колени, отобрал у него гвоздодер и показал, как надо держать. Пальцы у деда были огромные, руки темные, ногти толстые и бурые, как старый картон.

«Такими пальцами можно и без клещей гвозди тащить», – подумал Сережа.

Он долго пытался подцепить гвоздь, тот не поддавался. С тоской смотрел он на блестящую дорожку шляпок, которые ему предстояло вытянуть. Он понимал, что попался в ловушку. Прадед подошел, легонько ударил молотком по обуви гвоздодера, и он плотно обнял шейку гвоздя.

– Нажимай! – сказал прадед, и Сергей двумя руками нажал на рукоять вниз.

Гвоздь, поколебавшись, дрогнул, и полез вверх, и просто-таки выпрыгнул легко и радостно, как будто сам только того и хотел... и только под самый конец пришлось его чуть-чуть поддернуть... И явился на свет.

С другим так ловко не получилось – шляпка отлетела. Дед мельком взглянул и сказал своим глухим голосом:

– Гвоздь береги.

Сергей принялся за третий. Прадед дал коробок и велел складывать туда. Так он тягал и тягал, пока не позвали...

После обеда прадед куда-то ушел, а Сережа решил спрятаться. Он залез на чердак. Там было пыльно и таинственно, но не вытянутые из порога гвозди томили его, и он слез с чердака и пошел в сарай.

Потом опять пришел прадед, посмотрел на Сережину работу и ничего не сказал. Пальцы все были побиты и болели, уйти почему-то было невозможно.

«Вбивал пять минут, – сердился неизвестно на кого Сергей, – а вытаскивать сто часов».

До самой темноты он возился с гвоздодером и клещами, и наконец все гвозди, гнутые и битые, лежали в коробке. Он отдал коробок прадеду, тот поставил его на верстак и сказал:

– Пошли в избу...

Сергей был собой доволен, хотя прадед его не похвалил.

Наутро он встал рано. Босые девчонки и Митя шлепали по избе. Сергей застегивал

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
сандалии и думал, как бы ему за ними увязаться, но тут в избу вошел прадед и сказал:

– Идем со мной, Сергей.

Сергей удивился, но пошел.

Прадед повел его в сарай. Там, на верстаке все еще стоял коробок со вчерашними гвоздями. Прадед взял кусок железа размером с книжку, но поуже, положил его на высокий чурбак, вынул двумя пальцами кривой гвоздь и начал по нему легонько постукивать молотком. Гвоздь выпрямился и засверкал свежим блеском.

– Вот так и будешь делать, – сказал прадед.

Сергей обомлел.

«Эта работа на всю жизнь», – подумал он. Взял молоток, слегка ткнул. Гвоздь повернулся на другой бок. Он крутился с боку на бок, как живой. Сергей промахнулся, ударил по пальцу...

Прадед хмыкнул.

– Легче держи!

И Сергей, сжав губы, чтоб не заплакать, все тюкал и тюкал... Долго не получалось, а потом вдруг сразу все сделалось как само собой – гвозди стали послушными.

Когда работа была закончена, он поставил коробок на верстак. Дед взял его и положил в ящик, под верстак, потом распрямился и сказал:

– В курятнике две доски надо поменять. Пошли, поможешь мне...

В то лето Сергей так и не сдружился со своими троюродными. Он ходил за стариком и делал с ним всякую работу: столярную, по дому, на пасеке... Под самый конец лета деду привезли на телеге доски. Сгрузили возле сарая. Дед долго их оглядывал, кряхтел, качал головой. Потом позвал Сергея – в помощь. Сначала старик долго правил железок рубанка, потом разводил старую пилу, а когда инструменты приготовил, начал работу... Сережиной помощи не надо было, но прадед его не отпускал, все давал поручения... Перед самым Сережиным отъездом работа была закончена – это был большой длинный ящик с крышкой.

Троюродный брат Митька в последний день спросил:

– А на похороны приедешь?

– На какие похороны? – удивился Сережа.

– Так прадед помирать собрался, гроб-то на что он строил?

«Вот оно что, деревянный ящик был гроб!» – сообразил наконец Сережа.

На другой день приехал отец забирать Сережу. Прадед показал ему гроб в сарае, а отец сказал, что матерьял очень хороший...

В следующее лето Сергей снова приехал в деревню. Но в это лето было все по-другому. Он сошелся со своими троюродными, ходил с ними на речку, в лес за ягодами. В сарай он зашел только один раз – на верстаке стоял коробок с гвоздями, которые он в то лето правил. А прадеда уже больше не было.

Счастливым случаем

Как только начинало припекать и подсыхала грязь, желтая и худая Халима, повязанная по самые брови шелковым линялым платком, начинала просушивать постель. Она выносила раскладушки и наваливала на них одеяла, коврики, перины такой огромной разноцветной кучей, что непонятно было, как все это помещается в двух крошечных подвальных комнатах, где она жила с бритоголовым мужем Ахметом и множеством разновозрастных детей.

Куча эта возвышалась как раз под окном Клюквиных, живших на первом этаже

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
дощатого двухэтажного дома.

Пока одеяла и подушки грелись на солнце, отдавая накопленную за зиму подвальную сырость, вреднющая старуха Клюквина, высунувшись в окно между цветочными горшками, добросовестно и монотонно бранила Халиму.

– Колюня, Колюня, подь сюда! – приказала она своему шкодливому внуку Кольке. – А ну-ка скинь все!

Колюня с удовольствием побежал во двор и, выждав минуту, когда Халима отлучилась, перевернул раскладушку.

Халима сердилась, нет ли – понять было нельзя. Она была молчалива и терпелива. Она подобрала вещи, сложила на раскладушки и посадила рядом дочку Розку – стеречь.

Халимины выставленные раскладушки обычно служили сигналом – женщины вывешивали на бельевых веревках, натянутых между липами, зимние пальто и одеяла, а на изгородях рассаживались, как огромные разноцветные кошки, толстые подушки. По коврам и половикам хлопали палками, выстреливая облачками уютной домашней пыли.

Старуха Клюквина все стояла у окна и поругивалась. Потом в голову ей пришло, что неплохо бы проветрить свою плюшевую жакетку. Нести во двор она не хотела – а ну как украдут? – и решила проветрить ее на чердаке.

Она позвала Кольку, велев ему оттащить на чердак «шубу», как она уважительно называла свою жакетку, и, снявши в сенцах ключ с гвоздя, стала подниматься вслед за Колькой на чердак.

Просторная деревянная лестница вела на второй этаж, а там она суживалась, делала резкий поворот и останавливалась у низкой двери.

Старуха Клюквина отомкнула висячий замок, и они вошли в огромное, уже нагретое ранним солнцем помещение. Скаты крыши были неровными, посреди чердака крыша горбилась и уходила вверх, а в одной из скошенных стен зияло большое двустворчатое окно, через которое падал на чердак полосатый поток зыбкого и мутного света.

Колюня уже бывал здесь – и каждый раз восхищенно замирал перед кучами хлама, жадно разглядывая причудливые очертания, образованные самоварной трубой, рогатой вешалкой, вставшим на дыбы сундуком и лежащим на боку шкафом, покрытым нежной попоной пыли.

Колька ткнулся было туда, но бабка, повесив жакетку на бельевую веревку, потянула его к выходу. Она замкнула низкую дверь и, переваливаясь на пухлых ногах, стала тяжело спускаться по деревянной лестнице. Колюня шел следом, мучительно соображая, как бы стащить у нее ключ и забраться одному на чердак. Но ключи она несла в руке, а руку опустила в карман передника.

Колюня вышел во двор и задумчиво посмотрел на крышу. Окно на чердаке было приоткрыто; раздвоенный ствол большой липы направлялся было в сторону окна, но потом сворачивал, так что залезть с него на крышу было никак нельзя. Трехэтажный дом, кирпичный, более поздней постройки, стоял впритык к их хлипкому деревянному, стены лепились друг к другу, но крыша трехэтажки, этого небоскреба их квартала, метра на полтора возвышалась над крышей Колюниного дома.

«Если выход на чердак в трехэтажке открыт, можно рискнуть», – решил Колюня.

Одним махом он взлетел на третий этаж. Две двери вели в квартиры, а между ними была еще одна, поплоче, чердачная. Она оказалась запертой. Но Колькина хитроумная голова работала – и он пошел просить ключ от чердака к дворничихиному Витьке. Он ловко наврал ему, что на крышу упал мяч, и не какой-нибудь, а известный во всех дворах района Шуркин кожаный мяч, и что никто из ребят не знает, куда его занесло, а он, Колька, лично видел, как мяч залетел на крышу. И если Витька поможет ему достать ключ от чердачной двери, то они вдвоем будут навеки владельцами Шуркиного мяча!

У Витьки загорелись глаза, и он пообещал немедленно поспособствовать. Добыть

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
ключи Витьке не стоило никакого труда: мать, похрапывая, спала на узкой коечке за печкой, а ключи горкой лежали посреди стола.

Через три минуты оба они стояли у чердачной двери, примеривая к замку ключи. Вышедший из соседней двери старик Конюхов подозрительно посмотрел на них и спросил, что это они тут делают. Витька замялся, а Колюнька приветливо и лживо сказал:

– А тетя Настя велела метлы принести, тут они стоят...

– А-а-а, – удовлетворенно протянул Конюхов и, громыхая палкой, пошел вниз по лестнице.

Дверь наконец открылась. Этот плоский чердак не представлял для Кольки никакого интереса. Пахло мышами, стояли старая перевернутая кровать и детская ванночка...

«То ли дело наш...» – мелькнуло у Колюни. И он представил себе, как заберется в самую середину огромной кучи, как загудит самоварная труба и как здорово он там заживет...

Через слуховое окошко они вылезли на крышу. Давно не крашенная плоская крыша, ничем не огороженная, а лишь заканчивающаяся узким отворотом ржавого железа, гулко громыхала под ногами. Вниз смотреть было страшно.

– Нет мяча-то, – прошептал Витька, – где он, твой мяч, а?

А сам зачарованно уставился вниз. Земля круглилась внизу, и было здорово заметно с такой высоты, до чего же она круглая, до чего большая. С одной стороны шли все маленькие дома, и горизонт был как бы открыт, и дома не кончались, а только сливались в серо-зеленой дымке. Самые высокие липы были ниже их. Настоящей листвы еще не было, только легкая прозелень на ветках, и между ними был виден двор, и соседский двор, и кусок улицы с дрожащим трамваем. Каланча казалась близкой и словно уменьшившейся в размере, так же как широкое тело Пименовской церкви.

– Какой мяч? – переспросил Колька, далеко в мыслях отошедший от своей хитрой выдумки. – А, мяч... Да, видно, вон туда скатился, – сказал Колюня и целеустремленно пошел к краю крыши, нависающему над двухэтажкой.

– Ты посиди пока, я слезю на двухэтажку, может, там мяч-то, – сказал одержимый своим чердаком Колюня, уже свесив ноги и уцепившись за край крыши. Он разжал пальцы и ловко приземлился на крышу двухэтажки. Крыша эта была горбом, идти по ней было неудобно. Он подошел к растворенному чердачному окну и, держась за приоткрытую раму, глянул вниз.

Он увидел задний двор, большой голый дуб, лишайники сараев, Шуркину голубятню, блестящий, всем двором обожаемый «опель кадет» дяди Димы Орлова... Он присел на корточки – ему хотелось увидеть и то, что было закрыто от его зрения: раскладушку с разноцветными перинами, песочницу, маленьких Нинку и Валерку, только что игравших в песке, доминошный стол...

Старуха Клюквина, позвякивая ключом от чердака, все не могла успокоиться.

– Ишь, выложила свое тряпье под самый нос, – ворчала она.

Потом встала, взяла совок, выгребла из печки немного золы и подошла к окну. Халима как раз отвернулась, а старуха ловким, даже каким-то спортивным движением сыпанула из окна золу прямо на раскладушку и, как маленькая девочка, с хитрым видом спряталась за занавеску – наблюдать за Халимой. Но та вытирала носы двум своим меньшим сыновьям и все не оборачивалась.

И вдруг странная фигура мелькнула прямо перед глазами Клюквиной. Черная, небольшая, она камнем упала сверху, прямо в середину Халиминога тряпья, и раскладушка, хрюкнув, развалилась. Над бледным Колькой стояла Халима. Она взглянула в его лицо, увидела тоненькую струйку крови, вытекающую изо рта, и схватила его на руки.

– живой? живой ты? Руки, ноги целые? – и забормотала что-то по-татарски,

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru радостно прижимая к себе этого шкодливого, хитрого, никем во дворе не любимого мальчишку.

И еще не вполне поняв, что же произошло, старуха Клюквина бежала на своих ватных ногах к раскладушке и кричала:

– Он, бес! Не парень, бес! И откуда же это он сверзился?

Кольку, живого и невредимого, но с прокушенным языком, вечером выпороли.

На другой день вредная старуха Клюквина, держа за руку Колюню, торжественно отнесла в подвал Халиме покрытый от мух полотенцем большой пирог с вареньем. Все соседи видели, как Клюквина поклонилась Халиме и сказала громким скандальным голосом:

– Прости меня, Халима. Кушайте на здоровье.

А Халима стояла в дверях, высокая, похожая одновременно на худую лошадь и на пантеру, в линялом платке, удивительно красивая.

Бумажная победа

Когда солнце растопило черный зернистый снег и из грязной воды выплыли скопившиеся за зиму отбросы человеческого жилья – ветошь, кости, битое стекло, – и в воздухе поднялась кутерьма запахов, в которой самым сильным был сырой и сладкий запах весенней земли, во двор вышел Геня Пираплетчиков. Его фамилия писалась так нелепо, что с тех пор, как он научился читать, он ощущал ее как унижение.

Помимо этого, у него от рождения было неладно с ногами, и он ходил странной, прыгающей походкой.

Помимо этого, у него был всегда заложен нос, и он дышал ртом. Губы сохли, и их приходилось часто облизывать.

Помимо этого, у него не было отца. Отцов не было у половины ребят. Но в отличие от других Геня не мог сказать, что его отец погиб на войне: у него отца не было вообще. Все это, вместе взятое, делало Геню очень несчастным человеком.

Итак, он вышел во двор, едва оправившись после весенне-зимних болезней, в шерстяной лыжной шапочке с поддетым под нее платком и в длинном зеленом шарфе, обмотанном вокруг шеи.

На солнце было неправдоподобно тепло, маленькие девочки спустили чулки и закрутили их на лодыжках тугими колбасками. Старуха из седьмой квартиры с помощью внучки вытащила под окно стул и села на солнце, запрокинув лицо.

И воздух, и земля – все было разбухшим и переполненным, а особенно голые деревья, готовые с минуты на минуту взорваться мелкой счастливой листвой.

Геня стоял посреди двора и ошеломленно вслушивался в поднебесный гул, а толстая кошка, осторожно трогая лапами мокрую землю, наискосок переходила двор.

Первый ком земли упал как раз посередине, между кошкой и мальчиком. Кошка, изогнувшись, прыгнула назад. Геня вздрогнул – брызги грязи тяжело шлепнулись на лицо. Второй комок попал в спину, а третьего он не стал дожидаться, пустился вприпрыжку к своей двери. Вдогонку, как звонкое копье, летел самодельный стишок:

– Генька хромой, сопли рекой!

Он оглянулся: кидался Колька Клюквин, кричали девчонки, а позади них стоял тот, ради которого они старались, – враг всех, кто не был у него на побегушках, ловкий и бесстрашный женька Айтыр.

Геня кинулся к своей двери – с лестницы уже спускалась его бабушка, крохотная бабуська в бурой шляпке с вечнозелеными и вечноголубыми цветами над ухом. Они собирались на прогулку на Миусский скверик. Мертвая потерянная лиса, сверкая янтарными глазами, плоско лежала у нее на плече.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
..Вечером, когда Геня похрапывал во сне за зеленой ширмой, мать и бабушка долго сидели за столом.

– Почему? Почему они его всегда обижают? – горьким шепотом спросила, наконец, бабушка.

– Я думаю, надо пригласить их в гости, к Гене на день рождения, – ответила мать.

– Ты с ума сошла, – испугалась бабушка, – это же не дети, это бандиты.

– Я не вижу другого выхода, – хмуро отозвалась мать. – Надо испечь пирог, сделать угощение и вообще устроить детский праздник.

– Это бандиты и воры. Они же весь дом вынесут, – сопротивлялась бабушка.

– У тебя есть что красть? – холодно спросила мать.

Старушка промолчала.

– Твои старые ботинки никому не нужны.

– При чем тут ботинки?.. – тоскливо вздохнула бабушка. – Мальчика жалко.

Прошло две недели. Наступила спокойная и нежная весна. Высохла грязь. Остро отточенная трава покрыла засоренный двор, и все население, сколько ни старалось, никак не могло его замусорить, двор оставался чистым и зеленым.

Ребята с утра до вечера играли в лапту. Заборы покрылись меловыми и угольными стрелами – это «разбойники», убегая от «казаков», оставляли свои знаки.

Геня уже третью неделю ходил в школу. Мать с бабушкой переглядывались. Бабушка, которая была суеверна, сплевывала через плечо – боялась сглазить: обычно перерывы между болезнями длились не больше недели.

Бабушка провожала внука в школу, а к концу занятий ждала его в школьном вестибюле, наматывала на него зеленый шарф и за руку вела домой.

Накануне дня рождения мать сказала Гене, что устроит ему настоящий праздник.

– Позови из класса кого хочешь и из двора, – предложила она.

– Я никого не хочу. Не надо, мама, – попросил Геня.

– Надо, – коротко ответила мать, и по тому, как дрогнули ее брови, он понял, что ему не отвертеться.

Вечером мать вышла во двор и сама пригласила ребят на завтра. Пригласила всех подряд, без разбора, но отдельно обратилась к Айтыру:

– И ты, Женя, приходи.

Он посмотрел на нее такими холодными и взрослыми глазами, что она смутилась.

– А что? Я приду, – спокойно ответил Айтыр.

И мать пошла ставить тесто.

Геня тоскливо оглядывал комнату. Больше всего его смущало блестящее черное пианино – такого наверняка ни у кого не было. Книжный шкаф, ноты на этажерке – это было еще простительно. Но Бетховен, эта ужасная маска Бетховена! Наверняка кто-нибудь ехидно спросит: «А это твой дедушка? Или папа?»

Геня попросил бабушку снять маску. Бабушка удивилась:

– Чем она тебе вдруг помешала? Ее подарила мамина учительница... – И бабушка стала рассказывать давно известную историю о том, какая мама талантливая пианистка, и если бы не война, то она окончила бы консерваторию...

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
К четырем часам на раздвинутом столе стояла большая суповая миска с мелко нарезанным винегретом, жареный хлеб с селедкой и пирожки с рисом.

Геня сидел у подоконника, спиной к столу, и старался не думать о том, как сейчас в его дом ворвутся шумные, веселые и непримиримые враги... Казалось, что он совершенно поглощен своим любимым занятием: он складывал из газеты кораблик с парусом.

Он был великим мастером этого бумажного искусства. Тысячи дней своей жизни Геня проводил в постели. Осенние катары, зимние ангины и весенние простуды он терпеливо переносил, загибая уголки и расправляя сгибы бумажных листов, а под боком у него лежала голубовато-серая с тисненым жирафом на обложке книга. Она называлась «Веселый час», написал ее мудрец, волшебник, лучший из людей – некий М. Гершензон. Он был великим учителем, зато Геня был великим учеником: он оказался невероятно способным к этой бумажной игре и придумал многое такое, что Гершензону и не снилось...

Геня крутил в руках недоделанный кораблик и с ужасом ждал прихода гостей. Они пришли ровно в четыре, всей гурьбой. Белесые сестрички, самые младшие из гостей, поднесли большой букет желтых одуванчиков. Прочие пришли без подарков.

Все чинно расселись вокруг стола, мать разлила по стаканам самодельную шипучку с коричневыми вишенками и сказала:

– Давайте выпьем за Геню – у него сегодня день рождения.

Все взяли стаканы, чокнулись, а мама выдвинула вертящийся табурет, села за пианино и заиграла «Турецкий марш». Сестрички заворуженно смотрели на ее руки, порхающие над клавишами. У младшей было испуганное лицо, и казалось, что она вот-вот расплчется.

Невозмутимый Айтыр ел винегрет с пирожком, а бабушка суежилась около каждого из ребят точно так же, как суежилась обычно около Генечки.

Мать играла песни Шуберта. Это была невообразимая картина: человек двенадцать плохо одетых, но умытых и причесанных детей, в полном молчании поедавших угощение, и худая женщина, выбивавшая из клавиш легко бегущие звуки.

Хозяин праздника, с потными ладонями, устремил глаза в тарелку. Музыка кончилась, выпорхнула в открытое окно, лишь несколько басовых нот задержались под потолком и, помедлив, тоже уплыли вслед за остальными.

– Генечка, – вдруг сладким голосом сказала бабушка, – может, тоже поиграешь?

Мать бросила на бабушку тревожный взгляд. Генино сердце едва не остановилось: они ненавидят его за дурацкую фамилию, за прыгающую походку, за длинный шарф, за бабушку, которая водит его гулять. Играть при них на пианино!

Мать увидела его побледневшее лицо, догадалась и спасла:

– В другой раз. Геня сыграет в другой раз.

Бойкая Боброва Валька недоверчиво и почти восхищенно произнесла:

– А он умеет?

...Мать принесла сладкий пирог. По чашкам разлили чай. В круглой вазочке лежали какие угодно конфеты: и подушечки, и карамель, и в бумажках. Колька жрал без зазрения совести и в карман успел засунуть. Сестрички сосали подушечки и наперед загадывали, какую еще взять. Боброва Валька разглаживала на острой коленке серебряную фольгу. Айтыр самым бесстыжим образом разглядывал комнату. Он все шарил и шарил глазами и, наконец, указывая на маску, спросил:

– Теть мусь! А этот кто? Пушкин?

Мать улыбнулась и ласково ответила:

– Это Бетховен, Женя. Был такой немецкий композитор. Он был глухой, но все равно

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru сочинял прекрасную музыку.

– Немецкий? – бдительно переспросил Айтыр.

Но мама поспешила снять с Бетховена подозрения:

– Он давным-давно умер. Больше ста лет назад. Задолго до фашизма.

Бабушка уже открыла рот, чтобы рассказать, что эту маску подарила тете Мусе ее учительница, но мать строго взглянула на бабушку, и та закрыла рот.

– Хотите, я поиграю вам Бетховена? – спросила мать.

– Давайте, – согласился Айтыр, и мать снова выдвинула табурет, крутанула его и заиграла любимую Генину песню про сурка, которого почему-то всегда жалко.

Все сидели тихо, не проявляя признаков нетерпения, хотя конфеты уже кончились. Ужасное напряжение, в котором все это время пребывал Геня, оставило его, и впервые мелькнуло что-то вроде гордости: это его мама играет Бетховена, и никто не смеется, а все слушают и смотрят на сильные разбегающиеся руки. Мать кончила играть.

– Ну, хватит музыки. Давайте поиграем во что-нибудь. Во что вы любите играть?

– Можно в карты, – простодушно сказал Колюня.

– Давайте в фанты, – предложила мать.

Никто не знал этой игры. Айтыр у подоконника крутил в руках недоделанный кораблик. Мать объяснила, как играть, но оказалось, что ни у кого нет фантов. Лилька, девочка со сложно заплетенными косичками, всегда носила в кармане гребенку, но отдать ее не решилась – а вдруг пропадет? Айтыр положил на стол кораблик и сказал:

– Это будет мой фант.

Геня придвинул его к себе и несколькими движениями завершил постройку.

– Геня, сделай девочкам фанты, – попросила мать и положила на стол газету и два листа плотной бумаги. Геня взял лист, мгновение подумал и сделал продольный сгиб...

Бритые головы мальчишек, стянутые тугими косичками головки девчонок склонились над столом. Лодка... кораблик... кораблик с парусом... стакан... солонка... хлебница... рубашка...

Он едва успевал сделать последнее движение, как готовую вещь немедленно выхватывала ожидающая рука.

– И мне, и мне сделай!

– Тебе он уже сделал, бессовестная ты! Моя очередь!

– Генечка, пожалуйста, мне стакан!

– Человечка, Геня, сделай мне человечка!

Все забыли и думать про фанты. Геня быстрыми движениями складывал, выравнивал швы, снова складывал, загибал уголки. Человек... рубашка... собака...

Они тянули к нему руки, и он раздавал им свои бумажные чудеса, и все улыбались, и все его благодарили. Он, сам того не замечая, вынул из кармана платок, утер нос – и никто не обратил на это внимания, даже он сам.

Такое чувство он испытывал только во сне. Он был счастлив. Он не чувствовал ни страха, ни неприязни, ни вражды. Он был ничем не хуже их. И даже больше того: они восхищались его чепуховым талантом, которому сам он не придавал никакого значения. Он словно впервые увидел их лица: не злые. Они были совершенно не

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
злые...

Айтыр на подоконнике крутил газетный лист, он распустил кораблик и пытался сделать заново, а когда не получилось, он подошел к Гене, тронул его за плечо и, впервые в жизни обратившись к нему по имени, попросил:

– Гень, посмотри-ка, а дальше как...

Мать мыла посуду, улыбалась и роняла слезы в мыльную воду.

Счастливый мальчик раздаривал бумажные игрушки...

Перловый суп

Почему ранняя память зацепилась трижды за этот самый перловый суп? Он был действительно жемчужно-серый, с розоватым, в сторону моркови, переливом и дополнительным перламутровым мерцанием круглой сахарной косточки, полузатопленной в кастрюле.

Вечером, после запоздалого обеда, мама перелила часть супа в помятый солдатский котелок и дала его мне в руки. Я спускалась по лестнице со второго этажа одна, а мама стояла в дверях квартиры и ждала. Эта картина осталась у меня почему-то в этом странном ракурсе, сверху и чуть сбоку: по лестнице осторожно спускается девочка лет четырех в темно-синем фланелевом платье с клетчатым воротничком, в белом фартучке с вышитой на груди кошкой – в одежде, соответствующей дореволюционным идеалам моей бабушки, полагающей, что фартук именно потому должен быть белым, что на темном грязь плохо видна, – коротенькая толстая косичка неудобно утыкается сзади в шею, но поправить невозможно, потому что в одной руке теплый котелок с супом, а другой я держусь за чугунные стойки перил.

Туплю на пуговицах немного скользят по стертým ступеням, и потому я иду младенческими приставными шагами, с большой опаской.

Я спускаюсь на марш, поворачиваюсь, вижу маму, которая терпеливо ждет меня в дверях и улыбается своей чудесной улыбкой, от которой красота ее немного портится.

Я вздыхаю и продолжаю спуск. Внизу, под лестницей, в каморе, живет пара нищих, костлявый носатый Иван Семенович и маленькая старушка по прозвищу Беретка. Я их боюсь и брезгаю, но мама, как мне кажется, об этом знать не должна.

Под лестницей нет электричества, иногда у них горит керосиновая лампа, иногда совсем темно. Обыкновенно Иван Семенович лежит на какой-то лежанке, покрытой тряпьем, а Беретка, в вытертом бархатном пальто и серо-зеленой вязаной беретке, сидит у него в ногах.

Я стучу. Никто не отзывается. Спиной я открываю дверь. Керосиновая лампа выдает мне Беретку, которую без головного убора я сначала не узнаю. Оказывается, она лысая, вернее, не совсем лысая: и лицо и голова ее покрыты одинаковыми редкими длинными волосами и крупными коричневыми родинками. Она жалко улыбается и суетливо натягивает на лысую голову берет:

– Ой, детка, это ты, а я и не слышу...

Я отдаю ей котелок, из кармана фартука вынимаю два куса хлеба и говорю почему-то «спасибо».

Беретка переливает суп из котелка в банку и бормочет что-то неразборчивое, похоже на «мыло, мыло».

Сухой грязной рукой возвращает мне котелок. Старик кашляет. Беретка кричит ему:

– Иван Семенович! Вам покушать прислали, вставайте!

Пахнет у них ужасно.

С облегчением бегу я вверх по лестнице, мама стоит на свету, в дверном проеме и улыбается мне. Она в белом фартучке, даже с кружевной ленточкой на груди. Мама красивая, как принцесса. Одно только смущает: кажется, у принцесс белокурые

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
волосы, а у мамы веселые черные кудряшки, подхваченные сзади двумя заколками...

Нищие исчезли незадолго до праздника, который я запомнила очень хорошо. Отец вел меня за руку по нарядному городу, и повсюду были выставлены косые красные кресты. Я начинала тогда разбирать буквы и спросила у отца, почему всюду написано «ХА-ХА-ХА...». Он раздраженно дернул меня за руку, а потом объяснил, что эти косые кресты означают еще цифру тридцать.

Вечером того же дня, уже лежа в постели, я слышала, как мама говорит отцу:

– Нет, не понимаю, отказываюсь понимать, кому они мешали...

– Город к празднику почистили... – объяснил ей отец.

Во второй истории перловый суп не был главным действующим лицом, а лишь скромно мелькнул на заднем плане.

Воскресным утром в дверь позвонили. Один раз, а потом еще один. Дверь в нашу комнату была первой по коридору. Один звонок был общий, два – к нам, три – к Цветковым... восемь – к Кошкиным.

– Вероятно, это общий, – пробормотала мама. Коленими она стояла на стуле, а локтями упиралась в стол. Таблицы с синими, красными и взятыми в кружок цифрами лежали перед ней. Две мелкие морщины образовывали между бровей деревце, когда она работала.

Она спрыгнула со стула и, все еще неся напряжение мысли на круглом умном лобике, пошла открывать.

Огромная темная женщина стояла в дверном проеме. На ней был длинный военный плащ до полу, ярко белел пробор на круглой толстой голове.

Мама смотрела на нее выжидающе, и тетка не обманула ожидания: она распахнула плащ и предъявила огромное голое тело. У меня дыхание перехватило от этого зрелища: грудь низко свисала и оканчивалась большими, чуть не с чайное блюдце сосками, пупок был размером с чашку, выпуклый и тоже темный, глубокий неровный шов шел поперек живота, над треугольной бородкой вытертых волос, и все вместе это было каким-то страшным великанским лицом, а не женским телом.

– Погорельцы мы! Все-все погорело... как есть... – сказала женщина немосковским мягким голосом и запахнула ужасный лик своего тела.

– Ой, да вы заходите, заходите, – пригласила мама, и женщина, озираясь, вошла.

Прихожая нашей многосемейной квартиры была заставлена сундуками, корытами, дровами и шкафами.

– Я сейчас, сейчас, – заторопилась вдруг мама. – Да вы сядьте, – и мама сняла ящик с венского стула, который был втиснут между цветковским сундуком и тищенковской этажеркой.

Мама кинулась в комнату, вытянула нижний ящик шкафа, села перед ним и стала выбирать из старого белья подходящее для погорелицы. Две длинноногие пары дедовых кальсон бросила она на пол и побежала на кухню. Разожгла примус, поставила на него кастрюлю и снова метнулась в комнату.

Женщина сидела на стуле и все разглядывала рогатую вешалку Кудриных, на которой висели ватник и шинель.

А мама выбросила все с полок шкафа и быстрыми пальчиками перебирала свои тряпки. Мама была маленького роста, и все ее вещи были маленькие, но она нашла то, что искала, – бабушкину коверкотовую юбку и старинную огромную рубаху из пожелтевшего батиста.

И снова мама побежала на кухню, а я понеслась за ней, потому что боялась остаться наедине с тем великаном, что был спрятан у тетки под плащом.

Сосед Цветков высунулся в коридор.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Погорельцы вот, – сказала ему мама виноватым голосом, но он быстро захлопнул свою дверь.

Мама налила большую миску переливчатого перлового супа, отрезала кусок серого хлеба и вынесла погорелице.

– Вот, покушайте пока, – попросила мама тетку, и тетка приняла миску, – Ой, да так неудобно, – всполошилась мама и притащила газету. Постелила ее на покрытый сине-красным ковром цветковский сундук, усадила женщину как бы к столу.

– Дай тебе Бог здоровья, – сказала женщина и принялась за суп.

А я наблюдала сквозь щель неплотно прикрытой двери, как лениво она ест перловый суп, бросая в него кусочки хлеба, скучно водя ложкой в миске и посматривая по сторонам.

Зубов у нее не было.

«Видно, и зубы сгорели, – подумала я. И еще: – Она тоже не любит перловый суп».

А мама засовывала в узел шелковое трико лососинового цвета с луковыми заплатками и говорила тихонько не то мне, не то самой себе:

– Господи, ну надо же такое, чтоб прямо голой, на улицу...

А женщина доела суп, поставила миску на пол... встала, распахнула плащ... глаз я не могла отвести от ее странных тихих движений.

Наконец мама выволокла узел в коридор:

– Вот. Собрала... Да вы оденьтесь, оденьтесь. У нас ванная комната есть, – предложила мама.

Но женщина отклонила предложение:

– Детки меня ждут... Мне бы деньжонок сколько-нибудь... – А мама уже вынимала сложенную в четыре раза тридцатку. – Спасибо, век вашу доброту не забуду, – поблагодарила женщина скороговоркой, и мама закрыла за ней дверь.

Потом, собирая с полу разбросанные вещи, мама говорила мне в некотором недоумении:

– А штаны сразу могла бы надеть, правда?

Я не сразу ответила, потому что мне кое-что надо было обдумать и понять.

– Штаны холодные, – сообразила я наконец, – а ковер теплый.

Было солнечно и снежно, с детьми в такую погоду полагалось гулять.

– Может, погуляешь сама под окошечком? – извиняющимся голосом предложила мама, кося на свои таблицы.

Я согласилась великодушно. Мама бросила в меня ворохом шерстяной одежды – кофтами, рейтузами, варежками и носочками. Меня снарядили, подвязали поясом желтую плюшевую шубу, сшитую бабушкой из старого покрывала, желтую шапку из того же самого покрывала застегнули под подбородком, дали лопату и синее ведро и вывели на лестницу... Прямо перед нашей дверью лежала развороченная куча маминых вещей. И бедные отвергнутые трико лежали сверху.

– Ой, что же это... – пролепетала моя маленькая мамочка.

Русское варенье

Пьесы

Семеро святых из деревни Брюхо

Пьеса

Пьеса была поставлена во Фрайбурге, Москве и Тюмени. Она игралась без пролога и

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
эпилога, которые были написаны позже и являются в некотором роде уступкой
публике, и не представляются автору необходимыми. На усмотрение режиссера.

Людмила Улицкая
Действующие лица
Дуся, средних лет, блаженная.

Маня Горелая, средних лет, юродивая.

Антонина, без возраста, хожалка Дуси.

Настя, молодая, хожалка Дуси.

Марья, без возраста, хожалка Дуси.

Отец Василий, старый священник.

Тимоша Рогов, совсем молодой.

Арсений Рогов, около тридцати.

Голованов, средних лет.

Надя, молодая.

Сучкова, старуха.

Вера, совсем молодая.

Девчонка.

Худая женщина с ребенком.

Семенов, Сидоренко, Хвалынский, Мухамеджин, красноармейцы, они же омоновцы.

Люба.

Пролог

Голованов. Здешний я. И отец, и дед, и прадед. Нас в этих местах все знают. И мы, Головановы, тоже всех знаем. Место наше особенное по своей неопределенности: ни то ни се. Лет двести тому назад была обыкновенная деревня с некрасивым названием Брюхо. Глухие места. Проезжал по здешней дороге тамбовский, говорят, купец Никитин, и напали на него грабители. Связали Никитина и возчика его, а лошадок с товаром угнали. Дело было зимнее. Лежит купец и чувствует, что замерзает. Он взмолился к Божьей Матери и видит, что вдали огонек засветил и все сильнее светит. И вышел тут старичок весь сияющий, сами знаете кто. А в руках икона небольшая, вот такая. Он, старичок, эту иконку на дерево повесил и исчез. А от нее такое тепло пошло, что привиделись Никитину травка да цветы. Наутро нашли добрые люди купца и возчика его живыми и невредимыми, развязали и обогрели. И икону увидели – висит на дереве.

А в пяти верстах нашли и лошадок с товаром. Испугались чего-то разбойники. Всё побросали и сбежали... В тот же год поставил Никитин здесь часовню для спасительной иконы. И многие сюда приходили, получали исцеление и всяческое облегчение... А потом на этом месте построили церковь. Деревня в село преобразилась. И была ничего себе. Однако лет через сто на полпути к Городку открыли валяльную фабрику, и народ деревенский разбаловался, хлеб сеять перестал. Сначала ушли на фабрику мужики поплоче, а через несколько лет, соблазнившись безответственной работой, оторвались от земли и хорошие. Говорили так: «Ихняя работа меряная, начал и кончил, а наша, на земле, немеряная, как лег в землю, так и конец». И осталось крестьянствующих несколько дворов, другие стали жить пролетариями, и даже бабы потянулись в работницы.

Вообще же места наши славятся святостью: с давних времен поселился в глухих окрестных лесах святой человек, тот самый старичок, о котором я... Долго жил он в уединении, а потом стали к нему собираться и другие, подвизавшиеся в духовном подвиге. С годами обстроились церквями и монастырями, обзавелись монашеством братией. Со всей России сходились и съезжались сюда богомольцы и страждущие.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
После того, первого старца, святые уже не переводились в наших местах. Революция, конечно, все поменяла, но не сразу и не окончательно. Новая власть в то время, хотя и показала уже свою кровавую свирепость, но не совсем еще утвердилась. Однако во мнении людей обыкновенных, не завлеченных идеей полной переделки мира по фасону новой справедливости, была эта власть неправильная, слишком кровавая, да притом и ветродуйная. Начальничали теперь люди либо пришлые, часто даже и чужекровные, либо из местных самые никчемные и с дурной славой. Да что там говорить... В наших местах к Божьему чуду привыкли как к дождю или к снегу и потому больше уповали на непостижимую справедливость Божьего суда, чем на справедливость – тоже, впрочем, непостижимую – начальника местной советской власти Сеньки Рогова, человека, между прочим, из наших мест. Была в нашей деревне и своя блаженная Дуся. Неходячая. Провидица, много чудесных дел делала. Раньше ее зимой на санках, летом на колясках по всей России возили, а году, что ли, в десятом она одной богатой барыне сына исцелила. И та хотела ей чуть не все состояние отписать, а Дуся попросила дом ей в родной деревне, здесь, в Брюхе, купить... Барыня ей дом и купила. Ходили за Дусей три женщины, хожалки, при ней и кормились. А еще была в Брюхе примечательная особа Маня Горелая. Тоже знаменитая, но в другом роде. Прозвище свое получила за следы ожогов на щеках. Была она беспримерной ругательницей и как будто ясновидящей: все знала про всех, и прошлое, и будущее. Ее побаивались, однако за честь считали, если она к кому в особо сильные морозы приходила в дом заночевать. А так на улице жила. Ни дома, ни двора. И была между двумя нашими блаженными вражда.

Картина первая

Двор возле Дусинога дома. Во дворе худая женщина с больной девочкой, завернутой в одеяло, согнутая пополам старуха Сучкова, Надька – молодая баба, красивая, но с подбитым глазом, беременная Вера, совсем юная, почти девочка. Поодаль, привалившись спиной к забору, дремлет одетый в городскую изношенную одежду Голованов. Из дома слышится стройное пение. Поют акафист Божьей Матери. Пение, то затихая, то усиливаясь, то переходя в ритмическое чтение псалмов, будет звучать все время. Антонина, в монашеском одеянии, в апостольнике, подходит к крыльцу с полными ведрами. Увидев посетителей, выплескивает воду на землю и уходит откуда пришла.

Вера. Уж который раз за водой идет. Чего ж она ее все выливает?

Худая. Видать, не в воде дело. Смотри, колодец-то рядом, а она вон куда ходит.

Сучкова. В колодце вода низовая, мутная да кислая. А там ключ святой.

Вера. А чего ж она ее выливает? А в тот раз прям с крыльца выплеснула.

Сучкова. Это по Дусину слову: если зверь нечистый или человек сренется, или колокол грянет, или еще чего, не знаю, то вода и портится. Уж ни на мытье, ни на питье Дуся ничем ее не примет.

Худая. А правду говорят, что она не ото всех берет?

Сучкова. Не, брать берет. Еду только не ото всех есть станет. Другой раз возьмет, да и раздаст. А подарки-то она брать любит. Платки как еще берет, и простые, и хорошие. И шали у нее есть, даже и золотого шитья. Она любит. А сама носит только платок белый, простой, вроде как фатой его повяжет и постирать не дает. А тут было годов десять или поболее платки у ней в сундуке сами собой погорели. Запахло вдруг тлелым у нее в келье, и уж по всей деревне понесло. Обыскались, где тлеет. А на другой день сделался у ней в келье воздух черен и дух смрадный, открыли сундук, а там одни уголья от платков.

Вера. Ну и что она, Дуся-то?

Сучкова. Дуся – в слезы. Как же, говорит, я теперь моих доченек одену, без платочков-то... Это, говорит, все Маня Горелая, она навела. Но тут-то она ошиблась, Маня в ту пору в Дивеево ходила, ее тут и не было.

Вера подбирается к окну, заглядывает внутрь.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Вера. Батюшки-светы! А хлебов-то, хлебов! И несут, и несут. И считают. На что им столько?

Надя. Отберут, если прознают. Нас с Пасхи два раза обкладывали. Сперва хлебом обложили, а потом медом. Знают, что мой Петр Фомич пчелок водит. Дай-ка гляну...

Сучкова. Молчала бы лучше.

Надя оттесняет Веру от окна, заглядывает. Хватается за макушку.

Надя. Ой!

Вера. Ты чего?

Надя. Вроде камушком кто лупанул... Смотри-ка!

Появляется Маня Горелая. Зипун на голове. Подол задран, в подоле камушки. Достает камень, бросает в Надю.

Надя. Ой!

Сучкова. Мань, ты чего обижаешь-то ее? Она, может, за помощью пришла, цельный день ждет, ты за что ее...

Маня. Шуба волчья сукном крытая да ложек дюжина из барского дома... Ой, придавили тебя, придавили...

Сучкова. Какая шуба, Маня, какая шуба? Ты чего на меня наговариваешь? Не брала я никакой шубы.

Маня. Брала, брала. На спине и лежит. О, придавила-то как. И ложечки серебряные... Все воры, все... Кроме Дуси. Она дура. Иди, иди к Дусе, она тебя выпрямит. А ты потом будешь серебряными ложечками по огненной сковороде шкрябать...

Сучкова крестится, пятится.

Сучкова. Окстись, Маня. Не говори напрасно.

Антонина с полными ведрами проходит мимо Мани.

Маня. Иди, иди. Исцелит тебя святая колода во имя пера, пуха и глухого уха! Исцелит... (Пляшет вприсядку.)

Антонина выплескивает воду из ведер, ставит ведра наземь. Машет рукой и снова уходит.

Худая. Опять ей воду испортили...

Сучкова (Мане). Что говоришь-то, сатана!

Сучкова прячется за угол дома. Маня достает камень и бросает в Надю.

Надя. Ты за что меня бьешь, Манечка?

Маня. Небось, меду принесла?

дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Надя. Принесла.

Маня. А на что принесла?

Надя. А гостинца Дусе, Манечка. В другой раз и тебе принесу.

Маня. Нужен мне твой мед. Намажь им дырку-то свою, кошель лохматый. Хочешь быть этой, а будешь битой.

Маня, почесываясь, отходит. Садится наземь, очищает босые пальцы ног от грязи. Сучкова высовывается из-за угла.

Сучкова. Вот ведь злодырка, всех оговорит... И всюду суется, всюду лезет. Все ей надо... Надя, а кто-то тебя так? Петр Фомич, что ли?

Надя. Петр Фомич ни в жисть меня не тронет. Это я малек загуляла в Степанищеве, и прибила меня мужикова баба. А Петр Фомич меня жалеет. Поди, говорит, к Дусе, попроси, чтобы отстать тебе от этого дела.

Сучкова. Это ей ничто, ничто... Она тебе сухарика даст молёного, и отойдет. У ней молитва крепкая: и больных исцеляет, и бесов изгоняет. Лет, что ли, пять тому или семь в Латырино мальчонка утоп, так отец его бездыханного взял да верхами прямо к Дусе. Она мальчонку и подняла. Из мертвых восставила. Совсем здоров стал. Только через год обратно утоп.

Голованов (зашевелился, привстал). Милостивый государь Иван Густавович! Ужели вы не можете принять в соображение... Фу, какая гадость!

Вера. А этот тоже за молитвой?

Надя. Николай Николаич? Нет, он так упал. Шел мимо да упал. Тяжелое вино – вишь, как оно к земле клонит. (Подходит к нему.) Чего тебе, Николай Николаич? Может, попить принести?

Голованов. Ох...

Надя черпает воду в кадке, мочит ему лоб, Голованов хватает ее за руку, пытается поцеловать.

Надя. Ты что, Николай Николаич? Ты отдыхай, отдыхай, милочка.

Голованов.

Чем больше хочешь отдохнуть, тем жизнь страшней, тем жизнь страшней, Сырой туман ползет с полей...

Нет, другое...

Мы дети страшных лет России...

Чем жизнь страшней, чем жизнь страшней...

Вера. Стихи знает.

Надя. Он культурный очень.

Вера. Оно и видно.

Надя. Пойдем. Домой тебя сведу.

Голованов (ловит надину руку, целует). Ангел, прости меня. (Надя его поднимает.)

Надя (Сучковой). Сведу его.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Голованов. Густав Иванович! Иван Густавович! Мой ангел! Честь имею и... никогда не потерплю, чтобы в моем присутствии...

Сучкова (Наде). Ждать-то боле не будешь? Ты ж хотела молитовку получить... али нет?

Надя. Другой раз. (Уводит Голованова.)

Сучкова. А в тот год в эту пору дожди были.

Маня кончает свой педикюр и подходит к худой женщине с ребенком.

Маня. Чего сидишь дура душой? Чего пришла?

Худая. Дочка вот больная.

Маня. А чего это она у тебя больная?

Худая. Господь попустил.

Маня. Ага, Господь попустил, а ты к Дусе, значит... А по святым местам ходишь?

Худая. Хожу.

Маня. И в Киев ходила?

Худая. Ходила.

Маня. В Оптину ходила?

Худая. Ходила, мамочка моя.

Маня. В Дивеево ходила?

Худая. Всюду, всюду ходила. К самому Иоанну Кронштадтскому ходила. Она еще махонькая была, как я ходила.

Маня. И что, не помог тебе Иоанн Кронштадтский?

Худая. Не помог. Царствие ему небесное, ни чуточки не помог.

Маня. А сама-то Богу молишься?

Худая. Молюсь, матушка.

Маня. Божью Матерь призываешь?

Худая. Призываю.

Маня. Не помогает?

Худая. Не помогает.

Маня. А доченька твоя, как ее святое имя?

Худая. Елена. Еленочка.

Маня. Твоя Елена, говорит она что?

Худая. Какое говорит... бессловесная она. Смотрит только глазками.

Маня. Не говорит, значит... А что, много ли грешит она?

Худая. Мамочка моя! Какое грешит? Как грешить-то ей, ни ручкой, ни ножкой не шевелит, только-то и может, что плакать слезками бессловесными. Четырнадцатый

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
годок уже.

Маня (становится на колени, смотрит на девочку). Ангел небесный, ни словом, ни делом не согрешает... Что ты таскаешь-то ее, дура пешеходная, по белу свету, как котенка? Иди домой, дура, иди... Будет тебе и радость, и утешение, погоди чуток, недолго уже ждать.

Женщина укладывает девочку на землю, встает перед Маней на колени.

Худая. Исцелится?

Маня. Домой иди, тебе говорят. Не нужна тебе колода святая, Дуська-то. Бери своего ангела и проваливай. Утешись скоро.

Сучкова. Иди, иди... У ней слово верное. Как сказала, так и будет.

Женщина вынимает из-за пазухи платочек, развязывает, хочет дать Мане денежку.

Маня. Иди, тебе самой скоро пригодится.

Худая. Ох, разрешила ты меня, всю жизнь буду Бога о тебе молить...

Женщина взваливает девочку на плечо. Уходит. Маня размахивает рукой, как будто кадит, и поет дурным голосом «Со святыми упокой...». Потом садится на землю и, бросая мелкие камешки Дусе в окно, выкликает...

Маня. Святая колода, моли бога о мне!

Святая колода, моли бога о мне!

Святая колода, моли бога о мне!

На крыльцо выходит хожалка Марья, выплескивает на Маню горшок. Маня валится на спину, сучит ногами.

Маня. Ой, святая колода святой водой поспали! Исполать! Исполать! Исцелили! Осветили! Только миром не помазали!

Марья (говорит по-русски с мордовским акцентом, еле вяжет слова, но понимает все отлично). Иди отсюда. Половина сатаны. День на крыша сидит, ночь на крыша сидит. Иди, жопа.

Сучкова и Вера смеются.

Маня. Чего смеетесь, дуры? Плакать будете. Ждите, ждите, дуры. Присмотрит вас Дуся, напустит на вас святого духа, не продохнешь.

Марья. И ты пошел вон!

Вера. Я?

Марья. Два пошел вон! Дуся бога молица. Все бога молица!

Маня, приплясывая и раскидывая камешки, уходит.

Картина вторая
Дусино жилище. Большая комната, разделенная надвое выгородкой или занавеской.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Меньшую часть, с кроватью, Дуся называет кельей. Дуся в постели, на горе подушек, перебирает четки. Платок повязан странно, два конца на лбу завязаны узлом, в который воткнуты бумажные цветы, а два других угла платка разложены по плечам наподобие фаты. Антонина тихо поет псалмы. Марья по приставной лестнице лазает вверх-вниз, стаскивает с чердака каравай. Настя, молодая прислужница, принимает на руки последний каравай, крестит, складывает на лавку.

Марья. Все. Пусто там.

Настя. Семьдесят шесть, семьдесят семь, семьдесят восемь... Матушка, семьдесят восемь. Все сухие, чистые, мышами не трачены. Слава Богу.

Дуся. Слава Богу.

Настя. Что, теперь обратно наверх прибраться?

Дуся. Не прибирай. Платочком прикрой, пусть здесь лежат. Они предназначенные.

Марья. Голова есть? Красноармеец придет, все возьмет. Голова твоя возьмет. Прячь хорошо.

Дуся (плаксиво). Она мне перечит, она мне все перечит. Видит, я больная, и перечит. Не слушает меня. (Достает из постели лоскутных кукол.) Только детки мои меня слушают, хорошие мои деточки, в рай пойдут с Дусенькой. Ниночка-первиночка, Иванушка в синей рубашечке вот... Егорушка где... Слушают. И Царица Небесная слушает... А больше никто меня не слушает... (Плачет.)

Настя. Матушка, голубушка, скажи, все хлеба здесь оставлять?

Дуся. Пресвятая Богородица, они нисколько меня не слушают, послушания не любят, обижают бедную Дусю.

Настя. Прости Христа ради, матушка. (Становится на колени.) Каким платочком велишь прикрыть?

Дуся. Вдовьим, Настенька, вдовьим. Возьми в сундучке зеленом черенские платочки, их там наготовлено, и покрой мой хлебушек. А ты, Марья, встань перед божничкой и клади поклоны. Сто поклонов.

Марья. Марья пять знает, десять знает. Сто не знает!

Дуся. У, какая противная, строптивая... Куда пошла?

Марья. Я к Николай Угодничек.

Дуся. Ишь, чего захотела. К Божьей Матери ходи. А Николай Угодничек погодит пока...

Марья подходит к другой иконе и кладет поклоны. Настя достает из сундука черные платки и покрывает ими хлеба на лавках.

Дуся. Настя, нет. Эка ты бестолкова! Восемь хлебов не покрывай, их убрать надоть. Они не предназначенные. Деток кормить надо. А семьдесят – покрывай, семьдесят – предназначенные. Антонина, самовар ставь, гость при дверях.

Антонина. Воды нету, матушка. Прости меня, грешную.

Дуся. А чего же ее нету, воды-то?

Антонина. Не донесла. Уж на крыльце была, а собака залаяла.

Дуся. Молитву не читала.

Антонина. Читала, матушка.

Дуся. Значит, безо внимания.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Антонина. Прости, матушка.

Дуся. И чаю испить не дадут, злыдни какие. День на исходе, они всё самовар не ставят, за водой не ходят. Всё ленятся, чаю больной не дадут испить. Накажут тебя, Антонина. Вот мне сон-то снился! (Смеется ехидно.) Кто у меня живет, и Вера покойная тоже, все стоят с букетами, и у всех розы, у кого белые, у кого розовые иль голубые, а кто ко мне приходил да приносил милостыню, у того ветки вайи и можжевельные, в синих ягодах. А ты, Антонина, и ты, Марья, стоите коло меня с прутьями сухими, потому что не имеете послушания и молитесь плохо.

Антонина. Матушка, Дусенька, прости меня.

Дуся. Я-то простая, я простю. А вот простит ли Господь, как вы за бедной Дусей плохо ходите, обижаете. (Плачет.) И так расстроят, так расстроят, разобидят, и молиться бедной Дусе не дадут. Конфетку принеси, Настасья.

Настя шарит в буфете. Шебуршит бумагой, приносит Дусе конфетку.

Дуся. Замучила? Совсем тебя замучила? Сама Дуся конфетки ест, а за ложку меду шумит?

Настя (встает на колени). Прости, матушка, Христа ради. Не сама думала – враг вложил.

Дуся. Враг, враг вложил. Я твои мысли знаю. (Расправляет «фату», поправляет бумажные цветы на голове.) Этого захотела? Вот и я тоже хотела. Ой, как хотела-то! Сам кудрявый, глаз синий-синий был у Проклушки, аж черный. И пояс серебряный, ни у кого такого не было, заморский пояс был. Гуляли мы. Сговорились. Собрали меня к венцу, на свадьбу всего заготовили. Я дочка одна у родителей, а родители мои были не бедные, ой, не бедные. Время-то после Петровок, самое сладкое время. Все зелено, аж слезу вышибает. К венцу идти, а его все нет. Нету жениха, вот что я говорю... Жду. Вдруг вижу, Татьяна, сестра Проклова бежит ко мне через двор, а платок на ней черный. Я и пала наземь, забилась. Меня ну водой отливать. Отливали, отливали. Вишь, живая осталась, только ноженьки мои – все, с тех пор и не вставала я на мои ноженьки. А Прокл что? Сбежал, сгинул, по сю пору в бегах. (Поет.) Нина Прокловна ждет, Иван Проклович ждет, Катерина, Евдокия да Егорушка, где наш батенька, где наш папенька, со гостинцы, со картинцы, со приветами... А отпущу я тебя, Настя, добра тебе в том не будет.

Настя. Видно, мне добра ни в чем не будет.

Дуся. А ты думала? При последних временах живем, на страдание рожденные.

Настя. Порадоваться хотела, матушка.

Дуся. Здесь потрудишься, там порадуешься. Там есть еще кто? Пусть взойдет, кто там во дворе.

Настя. Были странники, да разошлись все.

Дуся. А я тебе говорю, пусть взойдет девка.

Настя выходит, приводит с собой Веру.

Настя. Вот она, за поленницей притулилась, ее и не видно.

Дуся. Антонина! Ты того, ложечку меду дай ей. Послади, послади ей... Чего такую маленькую ложечку берешь? У, жадина... Или побольше ложечки нет? (Вера открывает рот, Антонина сует туда ложку с медом.) Иди, за самоваром смотри. Нечего без дела стоять. (Вере.) Ну чего, нагуляла?

Вера. Нет, не нагуляла нисколечки. Он страшный, силком меня взял. Маманя у них

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru уборщицей, я ходила помогать. А маманя заболела, я вместо нее одна пошла. А он навалился. Страшный, противный. А потом мамка говорит – иди, он тебя зовет. Я и пряталась, и убегала. А мамка говорит – иди, а то совсем убьет. Я и хожу. А тут он мял меня. Говорит, сына родишь – женюсь. А люди говорят, есть у него жена в Тамбове или где. Я думала, он меня сам бросит, я бы потерпела. И что ребеночек, это ничего. А что же теперь, так и жить с ним. Я боюсь его, он страшный.

Дуся. Не первая, не последняя. (Теребит своих кукол.) Вот он Ванечка, вот Танечка... деточки мои.

Вера. Сон я видела. (Закрывает глаза руками.) Будто дитя у меня закричало в животе. И крик вроде как бы железный, и так дергает, дергает, вроде у меня не дитя, а машина. Страшна...

Дуся. Марья! Антонина! Настя! Где вы все подевались?

Входит Антонина.

Дуся. Послади ей, бедолаге. (Антонина берет большую ложку.) Какую ложку берешь? Еще уполовник бы взяла. Малую ложечку бери, какой мед черпают. (Антонина сует Вере в рот ложку меду.) Иди с Богом, иди.

Вера. Матушка, так что ж мне делать-то? Мамка послала, иди к Дусе, как Дуся скажет, так и делай. А страшно.

Дуся. Бог вразумит. Дуся больная, Дуся темная, Дуся грешная... Что Дуся? ничто. Иди с Богом. (Хожалки выпроваживают Веру.) Господи, когда же приберешь нас? Поди, Настя, дверь отвори. Гость к нам.

Входит отец Василий.

Отец Василий. Здравствуйте. Мир всем.

Хожалки подходят под благословение.

Дуся. И духови твоему. Ты, Антонина, иди за водой, но с молитовкой, с молитовкой... А ты, Марья, встань да иди отсюда. И ты, Настя... Прочь пошли.

Хожалки выходят, отец Василий прикрывает дверь.

Отец Василий. Ходил я, матушка, в совет нечестивых. По повестке. В Городок вызывали.

Дуся. Господи помилуй.

Отец Василий. Егда бе юн, поясашеся сам и хождаше аможе хотяше, егда же состарешся, ин тя пояшет и веде аможе не хочещи...

Дуся. Ох, препояшут, препояшут... Время-то тесно, но есть еще маленько...

Отец Василий. Как жить будем, Дуся?

Дуся (причитает). Ох, плохо, батюшка, плохо... Обижают хожалки Дусю, чаю не дают, не слушают... Маня Горелая опять приходила, камнями в окно бросала. Очень обижала Дусю.

Отец Василий. Оставь Маню в покое. У каждого свое поприще. Я за советом к тебе. Меня, Дуся, опять хлебом обложили.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Дуся. Меж пальцев не много мяса-то.

Отец Василий. Я им говорю: поп хлеба не сеет, не жнет, попа народ кормит. А мы, говорят, не дураки, мы тебя печеным обложили. У тебя, говорят, в селе триста дворов, тебе народ носит, вот ты нам семьдесят караваев и доставь. Три дня дали. Они меня уже и льном обкладывали, и медом. Такая контрибуция.

Дуся. Господи Иисусе Христе, помилуй нас грешных.

Отец Василий. Отказался я, Дуся. Нет, говорю, у меня хлеба. Приходите и ищите. Что обряжете, то ваше. А начальник их, Рогов Арсений, нашей Ирины Федоровны сынок старший, говорит мне: ты меня, батюшка, не учи, у кого чего нам искать, мы сами ученые. А ведь он, Дуся, крестничек мой. Ирина Федоровна, она теперь у меня в церкви вместо старосты, а тогда совсем молодая была, пела на клиросе, голос и по сю пору ангельский... она меня просила в воспитанники к своему первенцу... Ох, взыщется с нас...

Дуся. Пресвятая Богородица, моли Бога о нас.

Отец Василий. Придут за мной, Дуся, не сегодня завтра. Со всего уезда уже собрали иереев в Городковскую тюрьму. Пора и мне собираться, думаю.

Дуся. Не будет тебе тюрьмы.

Отец Василий. Я не об этом забочусь: будет так будет. Церковное имущество всюду конфискуют. В Степанищево храм подчистую обобрали, и сосуды священные. В Тальниках тоже. Имущество – что... А у нас чудотворная. Или спрятать где? А то ведь унесут, осквернят, как храм иудейский.

Дуся. Вперед не забегай, отче. Тут тебе семьдесят хлебов отсчитаны, в зальце под платками лежат. Ты брось собаке кость, ну как отвяжется.

Отец Василий. Семьдесят хлебов, говоришь?

Дуся. Семьдесят, батюшка. Настя счет вела.

Отец Василий. Как же ты прознала?

Дуся. Не знаю, может, шепнул кто...

Отец Василий. Да откуда же у тебя столько хлеба-то, Дуся?

Дуся. Народ несет. Собралось. У него, у Кормильца, всего много. А вот где лошадку взять, того не знаю. Ужели Он нам на бедность лошадку не прибережет? Надо бы хлеба поскорее им отправить, пока не прискочил враг...

Священник встает, крестится на образа.

Отец Василий. Слава Тебе, Господи, Слава Тебе.

Дуся (поет довольно-таки дурным голосом). Благослови, Душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, Имя Святое Твое... Не пришел еще час, не пришел.

Марья (всовывает голову в окно – видно, под окном подслушивала, – кричит). Петр Фомич с лошадка едет, мед торговать в Городок везет!

Дуся. Ишь, орать взяла моду. Марья, сбегай, Тимошу призови, поможет хлеба оттащить.

Отец Василий. Бог с тобой, Дуся. Надо у Петра Фомича узнать, возьмется ли еще везти?

Дуся. А вы, отче, идите на дорогу-то, а то мимо проедет.

Отец Василий. Не чудо ли? И хлеба эти... И лошадка... Кто знал, что так сладится... Однако, Дуся, что с образом... Не забрать ли? Может, к тебе перенесем? Уж к

дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru тебе-то не придется искать.

Дуся. Почем знать... (Возится с куклами.) Ох, бедные мои доченьки, бедные сиротки, кто вас оденет-обует, кто вас напоит-накормит... без маменьки, без папеньки... (Вынимает из постели сухарь, дает священнику.) Вот, дорогой мимо церкви поедете, сухарик отдай матушке Евгении, скажи, Дуся прислала со своей честной постели... Бедные мои деточки, бедные мои деточки... А иконка... Владычица наша сама о себе позаботится...

Отец Василий. Прости меня, Дуся.

Дуся. Прости меня, батюшка.

Входят Тимоша, Марья, Антонина с полными ведрами.

Тимоша. А Петр Фомич велел по-быстрому, говорит, туча идет.

Отец Василий. Ну, с Богом, с Богом.

Выносят хлеба из избы.

Дуся. Воду принесла! Радость-то какая! Мы с водой теперь!

Антонина. Самовар уже стоит. Скоро готов будет.

Дуся. Господи, когда же приберешь Ты нас? (Сгребает в кучку своих кукол.) Чего уставились? Собирайте трапезу.

Настя. Благослови, матушка.

Дуся благословляет Настю. Та начинает накрывать на стол – совершенно ритуальное действие. Настя подносит Дусе скатерть, та крестит ее в четыре угла, потом ложки, чашки – каждый предмет.

Дуся. Антонина! Помолимся.

Хожалки зажигают свечи перед иконами. Поют начинательную молитву от «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради...» до «Отче наш». Одновременно идет ритуал умывания. Прежде чем Дусю начинают умывать, она крестит полотенце и все сосуды. В кувшин с обычной водой вливают немного святой воды из бутылки. После умывания открывают шкатулку, вынимают кусок большой просфоры. Дуся кладет этот кусок на блюдце, наливает святой воды из бутылки, чтобы размочить.

Дуся. Христос посреди нас!

Раздается троекратный стук в дверь. Все замирают.

Дуся. Пусть войдет. Отворите.

Антонина отворяет. Входит Тимоша. Он кланяется, крестится на иконы.

Дуся. Отправил батюшку? (Тимоша кивает, Дуся поет.) Достойно...

Тимоша (подхватывает). Достойно есть...

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Дуся берет кусок просфоры, ест, берут по кусочку и хожалки.

Дуся (Тимоше). Ешь и ты. (Тимоша берет с блюда кусок просфоры. Дуся начинает плакать.) Из моего, из моего блюда... Обмакнул! Обмакнул со мной в блюдо! (Антонина подбирает с блюда крошки, вытирает его и утирает.) Самовар!

Антонина вносит самовар, ставит на стол. Все сопровождается поклонами, крестными знаменьями. Наливают чашку, подносят Дуся.

Дуся. Горяч... А чего это на столе ни сахара, ни варенья... Даже меду нету. А то люди говорят, я своих хожалок голодом морю, сахару не даю. (Настя достает из буфета варенье и сахар, щипцы для сахара, ставит на стол и протягивает руку за сахаром.) Куда? (Настя отдергивает руку.) Мне положи. Поболе. И еще. И ты, Тимоша, возьми кусок сахару. Говори, что пришел?

Тимоша. Мамаля прислали. Повестка призывная пришла из Городка. В Красную армию мне служить. А я в лес хочу уйти.

Дуся. Ой? А в лесу что делать станешь?

Тимоша. Жить. Живут же по лесам.

Дуся. Кто живет? Святые старцы живут. Не живут, спасаются. Ишь, чего захотел. В лес? Лес лесом, а бес бесом! В лесу – страшно, темно... (Марья тянет руку за сахаром.) Куда? Воровская твоя повадка! Чуть на глаза попало, сразу тянет и тянет.

Марья. Грешна, матушка.

Дуся снова поворачивается к Тимоше. Марья тихонько берет кусок сахара.

Тимоша. Так у комиссаров-то еще страшней.

Дуся. От меня чего надо?

Тимоша. Мамаля говорит, если Дуся благословит, иди.

Дуся. Куда это?

Тимоша. В леса.

Дуся. О! В леса! Да кто я такая – архиерей, что ли? Благословлять вас... Я больная, я простая, я неученая... Настя, почто мне чай холодный налили? Дай горячего. Ишь, бестолковые какие... Ты в храм Божий ходишь?

Тимоша. Хожу.

Дуся. В хоре поешь?

Тимоша. Пою.

Дуся. Отца Василия знаешь?

Тимоша. А как же.

Дуся. Вот к нему и ходи за благословением. Чего ко мне ходить? (Трогает чашку.) Холодный, сказываю тебе, чай. Вылей в лохань.

Настя. Так с сахаром!

Дуся. А хоть бы с золотом. Выливай, выливай. А мне воды налей. Не надо мне вашего чаю. Собирай со стола. (Марья запускает руку в сахарницу.) Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru насытил еси нас земных Твоих благ: не лиши нас и Небесного Твоего Царствия.

Раздаются удары колокола. Марья отдергивает руку от сахарницы. Антонина подходит к окну. Несколько неровных ударов сменяются набатом.

Антонина. Пожар, что ли? Оборони Господь... Дыму вроде ниоткуда не видать.

Марья. Малой, иди узнай, кой сатана там?

Дуся прячет голову в тряпки, сгребает своих кукол под себя.

Настя. Сходи. И правда, узнай, что там стряслось.

Дуся. Собирайте меня в Божий Храм.

Марья. Чего сказал? Боже-Храм?

Настя. В церковь чтоб ее собирали.

Антонина. Дусенька, матушка, сегодня не Пасха, не Рождество, с чего бы это тебя туда нести?

Дуся (открывает лицо). Тебя старец благословил мне служить, и служи, не перечь. Одевайте.

Хожалки начинают собирать Дусю. Поют молитвы, она крестит каждую из вещей, которые на нее надевают. Наконец, ее снимают с кровати. Дуся крестит кресло, в которое ее сажают, ее привязывают к креслу большим платком.

Дуся. Ой, больно!

Антонина. Прости Христа ради.

Дуся (вцепившись от страха в подлокотники). Не уроните, не уроните меня. А то вывалите, нарочно меня вывалите!

Марья. Какой собака тебя подберет...

Дуся. Ну, с Богом, с Богом!

Вбегают Тимоша.

Тимоша (частит). Матушка велела сказать, что страшное дело творится. Только отец Василий уехал, красноармейцы пришли, велели храм открыть, матушка им ключей не дала, говорит, отец Василий увез. А они замок сшибли, а мамочка тогда на колокольню и ну бить. Народ прибежал, а двое уж в алтаре, с папиросками. Отец диакон прибег, говорит, что вам угодно здесь будет. А один ему говорит, чтоб ты сдох. А другой – чтобы опись церковного имущества сделать, потому что оно народное, а попы его присвоили, а теперь народ будет его обратно забирать. А церковных судом судить, что они воры. Они по храму ходят, все переписывают и святые чаши брать хотят. А один говорит, где у вас чудотворная. Подошли к кивоту, а там один оклад. Иконы-то нету. Народ стоит, плачет. А страшно, они с ружьями и ругаются очень.

Дуся. Несите.

Дусю поднимают в кресле над головами и с пением выносят на крыльцо.

Картина третья

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Двор Дуси. Крыльцо. Видна дорога. С крыльца спускается процессия с Дусей. На крыше сидит Маня Горелая. В руках у нее лопух, свернутый кулем. Она свешивается с крыши, стряхивает содержимое лопуха на Дусю и ее хожалок.

Маня. Помазуются раба Божия Авдотья!

Дуся. Ах, грех какой! Грех тебе! Не тронь меня, Настя. Слышь, не чисти! Нам говно нипочем. Мы в говне родились, в говне помрем. А враг пусть ото зла треснет! Пусть треснет!

Маня. У, гордая какая! Какая гордая! А все равно в одной яме лежать будем!

Дуся. Несите! Что стали-то! Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних!

Хожалки подхватывают молитву и с пением идут по дороге к церкви. Процессия исчезает из виду. Маня кривляется на крыше. Потом спрыгивает, начинает плясать.

Маня. Мирносицы пошли, в жопе миро понесли! Подходите, бабоньки, подходите, мужики! Маня всех миропомазует! У Мани на всех хватит!

Слышно удаляющееся пение хожалок. Пение прерывается двумя воплями. Возгласы толпы. С той стороны, куда только что ушли хожалки с Дусей, появляются два красноармейца, один с погасшей папироской во рту. Они как будто ослепли, идут шатко, ощупывая землю ногами, шаря в воздухе и спотыкаясь. Маня подходит к ним, дергает одного сзади, тот отводит руку, но Маню явно не видит.

Первый красноармеец. Филипп, руку дай... Ты сам-то где? Вроде земля? Дорога? Чтой-то было?

Второй красноармеец. Ваня, ты-то где? Что темно так сделалось?

Первый. Никак шарахнуло?

Второй. Вань, не видать ни хрена... Ты видишь что?

Первый. Хер я вижу, Филипп. Дай поддержишь за тебя. Где ты, а?

Хожалки с Дусей, гордо восседающей в кресле, возвращаются, продолжая пение.

Маня (поражена не меньше красноармейцев. Забирается на крышу и звонко поет).

Ой, Дусенька,
святая новая,
хорошо бы поплясать,
да нога хромая!

(Спрыгивает с крыши и вприсядку проходит между красноармейцев. Кривляясь, подходит к Дусе, отвешивает ей земной поклон. Отпрыгивает в сторону, отбивает чечетку босыми пятками и голосит частушку.)

А наш поп лежит
Ай! – на девушке,
чтой-то нету никого
Ай! – на небушке!
Картина четвертая
В доме у Дуси, две недели спустя. Ночь. Горят лампы.

Дуся в постели. Хожалки поют последнюю молитву из акафиста Божьей Матери. Раздается троекратный стук в дверь. Хожалки продолжают петь.

Настя. Стучат.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Марья. Ночь. Кто идут? Не открывай.

Дуся. Огради, Господи, Силю Честнаго и Животворящего Креста. (Крестит все углы.) Открывай, Антонина.

Антонина открывает дверь, перед ней красноармеец в форме, он кланяется.

Антонина. Господи помилуй, никак Тимоша.

Дуся. Сымайте с него одежду с печатями, пусть входит.

Марья плюет на пол.

Дуся (плачет). За что мне такое страдание? Послал Господь хожалку хуже татарина. В дому плюет, воровка. (Марье.) Сыми с него одежду пропечатанную и неси в сарай, а сама сиди там в сарае и в дом не заходи. Чтоб глаза мои тебя не видели. И спи там теперь. Всегда там спи. А ты, Тимоша, ты ко мне не подступай. Стой там, где стоишь, и хорошо. (Марья начинает его раздевать.)

Марья. Сама сарай сиди...

Настя. Тимоша...

Дуся. Говори, чего пришел.

Тимоша. Матушка Дуся, убегаю. Нет мочи. И еще одно дело вышло. Только быстро не скажешь.

Дуся. Говори как можешь.

Тимоша. Два дня прошло, как церковь закрыли, пришли ночью, забрали меня и повезли в Городок, прямо к главному, то есть к Рогову. Пять лет мы не виделись, больше. Он как на германскую ушел, так вот и не виделись. Я совсем еще малой был. Видом он совсем другой, я б его не узнал, даром что брат. Даже волос черен, раньше не такой был. Он ведь партийный теперь стал, и как вернулся, домой-то и не показался. Когда матушка узнала, что он в Городке объявился, мы туда пошли. А он ее на глаза не пустил. Служку своего выслал, секретаря, что примет ее, когда она из церковных старост уйдет. Все знает... И как черт лютый.

Дуся. Не к ночи...

Тимоша. Меня к нему привели, он сразу меня признал. Братка, говорит, хватит тебе в темноте жить, я тебе новую жизнь покажу. А сам живет в господском доме, в Баскаковском, в полдome у него совет, а в полдome чека тюрьму устроила. Решетки на окнах и стража при дверях. И сам там живет.

Дуся (достаёт кукол и начинает ими играть). Катерина Прокловна, ты Егорушку не забижай, не забижай...

Тимоша. Он говорит, мамаша у нас отсталая, боговерующая, и вся темнота от нее, что она церковная. А ты, говорит, новой жизни достойный и прекрасного будущего. Смотри, какой елдак отрастил, а небось баб еще не мял. Повел он меня в баню, с ним двое товарищей его, а прислуживают бабы голые все, и пошла между ними игра, и меня зовут. И я с ними тоже играл. А потом повел он меня к себе в комнату, ему ужинать принесла девка молодая, на сносях. Красивая. Но не жена ему, так. Тут он говорит, скажи, что там Дуся Брюхинская натворила. Допрос с меня берет: ты, говорит, там был? Я говорю, был. Видел сам? Видел. Чего видел? Я и говорю, что один у отца диакона чашу взял, а второй в нее цыгаркой тычет, а тут Дусю Брюхинскую вносят, а она с молитвою... И вроде как будто свет засиял... Сильный, как от молоньи, но грома нет никакого...

Дуся (глуповато смеется). Верно, верно, так и было...

Тимоша. Я же не вру. Говорю, они как завопили и за глаза схватились, а отец

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
диакон за руки их из церкви вывел, а они и ружья свои побросали... А брат послушал и говорит: надо мне самому разобраться, что это там ваша Дуся народ мутит. Нет никакого чуда, болезнь у них глазная.

Дуся (хихикает). Болезнь... Верно, болезнь. Кто же и противуречит, она и есть болезнь.

Тимоша. Он меня у себя дома не оставил, послал в казарму. Стал я там жить. Ох, забыл сказать. Те двое-то... Один в уме повредился, сидит в исподнем и плачет, в больнице он, хотя развиднелось у него. А другой, он тоже не совсем слепой оказался, как пришел, запил, а ночью у него, что ли, живот схватило, он в отхожее место пошел и оступился в яму-то, там в казармах ямища большая, только поутру его и выудили. А жизнь там, Дусенька, матушка, очень плохая, такая плохая, что описать невозможно. Меня при тюрьме стеречь поставили. Уж какво мне плохо, а про них и сказать не могу, какво тем-то. И отец Василий там. Хлебушек твой они взяли, а его уж не отпустили. Я видел его несколько разов. Я, Дуся, сразу решил, что убегу, да страшно было. Они, кого ловят дезертиров, расстреливают. Но и там невоготу.

Дуся. Боишься смерти?

Тимоша. Кто же не убоится? Все боятся. А вчера, Дусенька-матушка, он меня призвал и говорит: обманул нас ваш поп Василий. Икону-то припрятал где-то, один оклад остался. Запирается и не признается, где схоронил. А я осмелел и спрашиваю: на что она вам сдалась, Чудотворная наша. Маменька-то нас с малолетства все к ней таскала... А он смеется: дров у нас мало. И места наши очень зловредные через близость Святой Пустошки. Дай, говорит, время, все развалим, все запашем, а потом плясать пойдем. Такая меня тоска взяла, Дусенька, не могу боле. Дусенька, душенька, Христа ради, спровадь меня в леса, какому старцу служить, да хоть самому одному жить... Я бы и Чудотворную на себе унес, стерег бы ее там.

Дуся раскладывает на одеяле кукол, долго молчит.

Дуся. Чудотворную... Где я те ее возьму... Тебя видел кто, как ты сюда шел?

Тимоша. Нет, я тайно ушел.

Дуся. Антонина, яйцо печеное есть?

Антонина. Должно, есть.

Дуся. Дай ему яйцо. Два дай. И хлеба, и грибов дай. И сахару дай кусок, отчепи ему. Пусть все ест.

Антонина подносит еду к Дусе, та крестит все.

Дуся. Ешь теперь. А вы пойте.

Тимоша (крестится). Спасибо.

Дуся. Поешь, Тимоша. А к матушке своей не ходи. Мы тебя здесь схороним пока. А там видно будет. Антонина, на чердаке, где хлебы лежали, сундук щелявый стоит. Постели в нем малому. Будешь там лежать да Богу молиться. Да не высывайся. Антонина есть тебе будет носить.

Тимоша. А долго ли мне лежать, Дусенька?

Дуся. А сколько надо, столько и полежишь. Я вона сорок лет все лежу. А тебе не век лежать. (В сторону Марьи.) Эта вон бегаёт, а проку что? (Марья плюёт.) А ты, Марья, что стоишь столбом, неси в сарай одежду поганую. И сама там сиди. Идите все куда сказано.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Антонина с Тимошей поднимаются на чердак. Тимоша на ходу стягивает с себя нижнюю солдатскую рубаху. Марья уносит с собой шинель, гимнастерку. Остается одна Настя.

Дуся. Настя, хлебу возьми цельный каравай. И себе четверть от другого каравая отрежь. И луку возьми. И ступай к старцу. Дорогу не забыла?

Настя. Как можно, матушка?

Дуся. Дорогой «Богородицу» читай, а как речку перейдешь, читай «Царю Небесный». И скажи ему про малого-то. Если сразу тебе ничего не скажет, ответа не жди. Иди обратно скорей. Времени-то у нас мало, а он любит помусолить, потомить. Нету времени совсем. Но знаки все его примечай. Может, не скажет словом, а знак какой подаст.

Настя. Буду примечать. Жалко Тимошу-то.

Дуся. Чего жалеть? Нас есть кому пожалеть. Скажешь: Дуся кланяется и молится. Масла вот возьми. (Роемся в постели, достает из нее пузырек.) И сухари тоже. Беги прямо сейчас, пока не рассвело. Не мешкай. Деревни обходи стороной. Тайно иди, тайно. К ночи и будешь на месте. С Богом, с Богом, голову преклони, доченька. Иди. (Настя уходит.) Антонина! Антонина! (Спускается с чердака Антонина.) Устроила малого?

Антонина. Как лег, сразу и уснул.

Дуся. Что Марья там?

Антонина. Ругается. Говорит, холодно в сарае.

Дуся. В аду будет гореть, этот холод вспоминать. Зипун ей отнеси. (Антонина снимает зипун с крюка.) И в дом пусть не заходит. Нечего в доме плевать. Грех какой! Не носи зипун. Пусть поморозится. И крюк на сарай наложи. А зипун у кладбища на березу повесь.

Антонина. Чего повесить? Зипун?

Дуся. Говорят тебе, повесь зипун на дерево, на березу повесь возле кладбища, за церковь. Бестолковые какие!

Антонина уходит.

Дуся. Настя! Антонина! Марья! Воды испить никто не подаст... (Плачет, вынимает из постели кукол, раскладывает.) Бедная Дусенька, больная, и никто не пожалеет. Только одни вы, мои деточки, мои доченьки, да Царица Небесная пожалеет! Чего ни попрошу, она все для меня делает. Говорю ей: попроси Сына своего, пусть накажет нечестивцев и наказует. А жожалки меня не слушают. Нет... Сиротами без меня будете. А и нет, а и вас с собой заберу... Антонина! Как провалились все.

Картина пятая

За оградой кладбища свежий холм, на котором лежит Маня Горелая. Она в кофте, в юбке, грудь обвязана платком.

Маня (начинает заплачку). На кого ты меня покинул, родненький, на кого оставил? Кто теперя меня обогреет, кто приголубит? Уж как жили мы с тобой душа в душу, голубчик мой! Словом не с кем без тебя перемолвиться... (Деловито встает, ломает два молодых деревца, связывает их крестом, ставит этот крест на могилу, опускается перед ним на колени. Входит Антонина, выбирает маленькую березку, вешает на нее зипун и уходит.) Ох, всему срок подходит, и тебе подошел, и мне подойдет. Вышел весь, помер, горемычный... Сколько годов мы с тобой прожили, сколько дорог оттоптали. Ото всего оборонял меня, сердечный... Вперед ты, и я за тобой... (Встряхивается, встает, отирает слезы.) И ладно. И будет. (Отходит от могилы, приплясывает и присвистывает.) На могиле нищий дрищет... (Делает круг, замечает зипун на березе.) Е-бе-на мать... А вот и новый зипун мне Бог послал!

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Хорошенький ты мой! Новенький. Да красивый! Да петли красные! А пуговики,
пуговики-то! (Снимает с дерева, вертит, гладит, накидывает на голову,
расправляет.) Старый схоронила, и новый явился! (Надевает, крутится, бьет босыми
ногами оземь, пускается в пляс.)

На могиле нищий дрищет,
в брюхе ветер, в жопе пар,
приходи ко мне, миленок,
вместе вздуем самовар!
Картина шестая
У Дуся. Антонина возле нее поет псалмы.

Дуся. Помолчи-ка. Чтой-то мне слышится, идут на нас.

Антонина. Кто идет, матушка?

Дуся. Кто, кто... С рогом кто... По нашу душу. А где мои деточки? (Роется в постели,
достаёт кукол.) Ты читай, читай! Свое дело знай... (Стук в дверь.) Не отворяй.
Погоди. (Снова роется в одеялах, достаёт из тряпья бутылку с водой, крестится,
кропит вокруг себя и куда может достать. Стук сильнее.) Погоди, дочка, погоди,
головку преклони. (Крестит Антонину.) С нами крестная сила! Отворяй. (Две рь
сотрясаются от стука. Антонина открывает. В дверях – Рогов. Высокий, ладный, в
военной форме. С порога бросается перед Дусей на колени.)

Рогов. Матушка, Дусенька, здравствуй! Пришел тебе поклониться, угоднице и
чудотворице. Ай не признала?

Дуся приободряется, поправляет цветочек в фате, раздумывает.

Дуся (скорее всего, польщена). Ирины Федоровны сын старшой. А-а... пришел, значит.

Рогов. Чтой-то набздено очень. Дух зело крепок. Узнала меня... А может, ожидала?
Нас по деревне пацанов много гоняло, а Дуся-то у нас одна, мы-то все Дусю знали,
повсеместно известная Дуся... Мне люди говорили, ты на меня серчаешь? Погоди. Я с
угощением... (Встает с колен, шарит по карманам шинели.)

Со двора раздается вопль: «Пусти! Пусти меня!»

Дуся. Пусть Марья войдет.

Рогов. А зачем ей? Подождет твоя Марья. Мы земляки, столько годов не виделись.
Нам потолковать надо. Пусть во дворе побудет. Я там при дверях солдатика
поставил, чтоб не мешали поговорить-то. Народ, сама знаешь, какой: и лезут, и
лезут. Ни днем, ни ночью покою не дадут. (Вынимает бутылку самогону, еду в
тряпице. Ставит все возле Дуся.)

Дуся (машет рукой). Убери, убери!

Рогов. Да зачем убирать? Мы сядем рядком, выпьем по рюмочке, закусим. Ты чего
надулась-то? Может, пост какой?

Антонина. Да она от юности своей мяса не ест, а зелья твоего и сроду в рот не
брала.

Рогов. Надо будет – возьмет. Не то еще возьмет. Стаканы-то принеси. А скажи мне,
матушка Дуся, что это такое ты на моих ребят навела? А?

Дуся. Про чтой-то ты говоришь?

Рогов. А ты забыла? Замятовала, значит...

Дуся. Это что... когда было...

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Рогов. Давно, недавно... Что натворила над ними?

Дуся. Что – Дуся? Дуся – ничто. А их Господь Бог покарал.

Рогов. Нет никакого бога. Да если б он был, он бы разве меня потерпел?

Дуся. Антонина! Ниночка потерялась. Где Ниночка моя? (Антонина поднимает с полу упавшую куклу, Дуся раскладывает кукол рядком на одеяле.) Ниночка, Иванушка, Катенька, Егорушка... вот он...

Рогов (наливает в два стакана). А это Дусе. Смотри, бабушка, а все в куклы играешь.

Дуся. Доченьки мои...

Рогов. Какие доченьки? От тебя жених сбежал или нет?

Дуся. Сбежал, сбежал. Прибежит обратно, куда ему деваться?

Входит Сидоренко.

Сидоренко. Товарищ Рогов, там в сарае старуха сидит. А под кормушкой шинель красноармейскую и гимнастерку нашли, вот что обнаружилось. И этта... меду два бочонка малых, и в сундуке холст штуками старого деланья, а в другом крупа, все малыми мерами, в мешочках, и пшено, и гречка, и горох есть.

Рогов (выпивает). Шинель... интересное дело... Что же это, Дуся, у тебя за хожалки, в шинелях ходят... Чудеса... Вы там во дворе хорошо поищите, а мы здесь посидим, поговорим пока. (Подходит к киоту, рассматривает.) Смотри, какое у тебя имущество. Ризка-то серебряная?

Дуся. Руками не тронь.

Рогов. Не буду, не буду! Как можно? Все понял – святое. (Роемся за пазухой, вынимает маленького щенка.) Ну, чего скулишь, дурачок?

Дуся. Ой, сколько же терпеть-то, Господи? В дом ко мне собаку поганую принес, басурманское отродье! Неси ее отседова!

Рогов. Да ты посмотри, маленький какой. Жрать хочет. Я вчера иду, чуть не раздавил его. Вишь, прибился. Пропадет. (Ставит щенка на стол. Дает ему кусочек мяса.) Еще не научился мяса есть. Научим. Иначе пропадет.

Дуся (закрывает лицо руками). Весь дом мой опоганили. Как же я теперь тут жить буду?

Рогов. А ты еще долго жить собираешься?

Дуся (выпрямляется, ставит палец себе на середину лба). Вот тут! Вот тут! у тебя дыра будет. Трех лет не пройдет. Все. Антонина! (Снимает с себя фату, распускает жидкую косицу.) Поищи-ка вот. Да с гребешком, с гребешком ищи. (Антонина начинает искать вшей, продолжая читать псалмы.)

Рогов. Вишь, Жучка, они вшивые, нас с тобой не любят. Говорят, мы им дом опоганили.

Семенов (входя). Товарищ Рогов, старуха прям как сумасшедшая, рвется сюда, в дом просится. Говорит, я тут живу.

Рогов. Ну, веди ее сюда, коли ей так хочется.

Врывается Марья с криком.

Марья. Полный сатана! Красноармеец твой дурак, сам дурак, сатана! (Слов у нее не

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru хватает, она размахивает кулаками, кидается на Рогова.)

Дуся. Марья! (Та замолкает.)

Рогов (Антонине). Хватит тебе каноношить. Давайте разбираться. Чей дом?

Дуся. Дом мой, Авдотьи Ивановны Кисловой. И все. Больше слова тебе не скажу.

Рогов. Беда какая, не хочет она с нами, Жучка, знаясь. Ну и не надо. А ты, говоришь, с ней живешь?

Антонина. Семь годов живу с Авдотьей Ивановной, хожу за ней.

Рогов. Звать как?

Антонина. Мещанка города Езельска Сытина Антонина Митрофановна.

Рогов. Монашка?

Антонина. Рясофорная.

Рогов. Толковая мамаша. (Марье) А ты кто?

Марья молчит. Антонина обирает вшей с Дусиной головы.

Рогов. Дуся, эта бабка тоже за тобой ходит? (Дуся молчит, Марья тоже.) Ты живешь здесь? Чего ты в сарае делала?

Марья. Срала делала!

Рогов. Смелая какая. Татарка, что ли?

Марья. Сам татарка. Я христиан православный.

Рогов. Теперь вижу, мордва настоящая. (Марья плюет.)

Дуся. Плюет! Опять плюет!

Марья. Прости мене, Дуся Божья.

Рогов. Паспорт есть?

Марья показывает ему два кукиша.

Рогов. Нет паспорта, надо понимать. Будет Мария Мордвина, и хватит с тебя. Семенов, ты пиши, пиши. Стало быть, три. А где четвертая?

Антонина. К родне ушла.

Рогов. К родне... А звать ее как?

Антонина. Анастасия.

Рогов. А фамилия?

Антонина. Не знаю.

Рогов. Не знаешь, значит. (Тянется папироской к лампаде. Марья кидается на него.)

Марья. Сам татарин! Мать твоя татарин! Место святое не знаешь!

Рогов сильным ударом отшвыривает ее к двери. В этот момент дверь открывается,

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru вводят Тимошу. Он в солдатском исподнем, босой.

Семенов. Лестницу на чердак приставили, а там нашли вот... в сундуке.

Рогов. Братан! Какая встреча! Бабка! Еще стакан неси! Ай, дуся! Спасибо тебе, брата моего привечаешь, в сундуке укрываешь. Выпьем со свиданьцем, Тимофей!

Тимоша. Я не пью, Сеня.

Рогов. Сеня! Сеня я тебе! А раз я тебе Сеня, то уж пей! (Тимоша пьет.) Так чего ты в сундуке делал? Богу молился или бабкины сорочицы считал?

Дуся. Пресвятая Троица, помилуй нас!

Рогов. Врешь, Дуся! Здесь судить и миловать не Троица будет, а тройка. В первую голову будет тройка судить дезертира Тимофея Рогова, а уж потом за укрывательство Авдотью Кислову с ее сожительницами, как их там. А что двое красноармейцев через тебя, чудотворицу, ослепли, так я в это не верю, и потому за это тебе, Дуся, ничегошеньки не будет. А получишь по справедливому народному закону.

Марья. Народный, да? Где народ? Зови народ!

Рогов. Мало получила. Народ – это я. Я – народ. А ты – навоз. Сидите и молитесь. (Заталкивает в смежную Дусину комнатку, и впервые закрывается дверь в выгородке или занавеска.) Семенов, ступай на улицу, приведи двух местных, первых, кто под руку попадет.

Семенов уходит.

Рогов. А ты, Тимофей, сядь, отдохни, дух переведи. В сундуке-то не вольный воздух. Мы не изверги какие. Все по-хорошему. Ведь сколько плохого про нас говорят. И все напрасно. А для нас первое дело – справедливость. Революционная справедливость. Чтоб по правде. (Стучит в дверь к Дусе.) Дусь, скажи, хочешь, чтоб по правде все было? (Пение из-за выгородки.) Деревня ваша, между прочим, на плохом счету. Сельсовет не выбрали, мужики – никакой активности. (Тимоше) Или вроде тебя, недомерки.

Входит Семенов, приводит Надю и Голованов а. Голованов в глубоком похмелье, руки трясутся, свет не мил. Надя хочет перекреститься на икону, но останавливается, машет рукой.

Семенов. Товарищ Рогов, а баба годится?

Рогов. Отчего же не годится. Очень даже годится. Местная?

Надя. Из Салослова я. Здесь замужем.

Рогов. Чья?

Надя. Петра Фомича Козелкова.

Рогов. А, Петька Хромый. А я Рогов.

Надя. Ой? Самый Рогов?

Рогов. Самый и есть. На какую ж такую работу вы направляетесь?

Надя. Да тут бабка одна живет, у нее взять можно...

Рогов. А тебе, значит, невоготу стало?

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Голованов мычит, трясется.

Надя. Похмелиться просит.

Рогов. Я чтой-то его не знаю. Он-то местный? И вроде знакомый, и вроде нет. А? Учитель! Учитель Голованов! Николай Николаич! Ну и хорош сделался! (Голованов устремляется к бутылке на столе, но Рогов ему не дает.) Ну, Голованов, что ли? (Голованов кивает, мычит, морщится. Рогов наливает стакан и ставит на середину стола, подальше от Голованова.) Хорош, хорош... Сколько лет не виделись! Десять? Восемь?

Надя. Да не мучь человека, дай ты ему.

Рогов. А ты добрая.

Надя. Да, я добрая. Попроси – чего хошь дам.

Рогов. А чего мне просить, мне все сами несут. На блюде. Как голову Иоанна Крестителя. А не принесут, сам возьму. Мы не просим.

Надя. Ишь вы какие... (Берет стакан со стола, передает Голованову, тот заглатывает и садится, закрыв глаза.)

Рогов. А ты ж, говорила, Козелкова жена?

Надя. Захочу – жена, не захочу – не жена. Это как мне угодно будет.

Рогов. Значит, себе хозяйка? Самостоятельная?

Надя. Именно что.

Рогов. Это хорошо. А как тебя, Надежда, по отчеству?

Надя. Григорьевна.

Рогов. Хорошо. Сделаем мы тебя, Надежда Григорьевна, большим человеком, будет тебя народ слушать.

Надя. Да кто меня послушает, смех один будет.

Рогов. Все послушают, и смеху никакого не будет. (Зевает.) Страх будет.

Голованов (открывает глаза, как будто отошел от обморока). Еще вот столько, и я... все... Аллес вирд ин орднунг. (Показывает, сколько.)

Рогов. Сколько? (Наливает. Голованов выпивает, трясет головой.)

Голованов. Все. Хорош. Арсений Рогов, помню тебя. Местный фабрикант Талашкин Афанасий Силыч, из Городка, держался передовых взглядов и послал меня в Цюрих, а там два года учили, как преподавать разного рода рукоделие, включая и железное, крестьянским ребятишкам. Ферштеен зи? Вере ихь юнгер... Ентшульдиген битте... Но, вернувшись, стал я заниматься не педагогической деятельностью, а революционной. Ты тогда под стол пешком... А я – организовывал стачку на мануфактурах и арестован был в начале девятьсот шестого года за это самое дело. (Протягивает пус той стакан Рогову.) Еще чуток.

Рогов. Так ты меньшевик, что ли?

Голованов. Большевик, большевик... Какая разница? Об этом и разговору не было. Я – профессиональный революционер. В прошлом. В настоящем – профессиональный пьяница. Никаких теоретических вопросов не обсуждаю. (Рогов наливает ему чуть-чуть, Голованов выпивает, расслабляется.) Так вот, дорогие мои, по ходатайству Талашкина, того же самого местного капиталиста и буржуя, как вы говорите, уездный педагогический совет дал мне разрешение преподавать в ремесленной школе. До того мне преподавать запрещали – ссыльный был! И в первый же год моей педагогической деятельности учился в моем классе вот такой мальчишечка, Арсений Рогов. А? Какая память! (Подставляет стакан.) Чуть-чуть.

дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Рогов. Понял. И ты годишься.

Голованов. Честно говоря, я не особенно гожусь. Впрочем, Надюша, как? (Она кокетливо фыркает.) Но здесь, в деревне Брюхо, я кое на что гожусь. Могу за бутылку самогона крышу починить, печь переложить или гроб сбить. Учили хорошо в Цюрихе.

Рогов. Ладно, хватит. Вижу, что годишься. Найди, Николай Николаич, баньку у кого получше, истопи. Мы попаримся. Семенов, попаримся? А ты спинку потрешь? (Надя хихикает.)

Голованов. Она потрет, всем потрет. Она баба хорошая.

Рогов. А потом, стало быть, и закусим. А ровно это... (смотрит на часы) в восемь часов по новому по советскому времени вот тут, на этом самом месте, мы собираемся. Ты, Голованов, получишь за свои труды бутылку самогону, а ты, Надька, как будешь стараться... (Тимоше.) А ты что здесь сидишь, таращишься? Иди к своим! (Заталкивает Тимошу к Дусе и закрывает за ним дверь.) Семенов! (Входит Семенов.) Со стороны окон поставь Мухамеджина, а у этой двери – Сидоренку. (Стучит в дверь.) Арестованные! Что тихо поете? А то вас там не услышат! Можно и погромче. Нам не мешает. (Семенову.) Приказание выполняйте. (Шлепает Надю по заду, сует щенка за пазуху.) Пройтись, что ли, по деревне, навестить кое-кого. (Декламирует.) Вот моя деревня, вот мой дом родной...

Уходит.

У двери в Дусину келью садится красноармеец Сидоренко, у первой двери – Семенов. Сидоренко сворачивает самокрутку.

Сидоренко. Егор, як ты разумиешь, до вичору управимся?

Семенов. Не. На восемь назначено. Пока то, другое. Раньше утра никак.

Сидоренко. Подывись, Егор, яки гарны сундуки. Бабка богата як жид. Треба пошукать ее трошки, а?

Семенов. Пошукаешь еще, пошукаешь.

Сидоренко. Та ж не люблю без дила сидеть, я ж вроблять люблю.

Семенов. А ты посиди, перекури. Чего тебе нейметя старухины тряпки трясти...

Сидоренко. Дуже не люблю без дила...

Стук в дверь.

Семенов. Открой, Федор.

Сидоренко. Ты же ближе.

Семенов. Ты же вроблять любишь.

Опять стук.

Сидоренко. Та ж у мене дило – я курю. (Молчат некоторое время. Больше не стучат.) Поспешишь, людей насмешить.

Семенов открывает дверь. Там девчонка.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Семенов. Чего тебе?

Девчонка. Мне Рогова.

Семенов. Ишь, чего захотела. На что он тебе? (Девчонка убегает.) Рогова ей подай...

Из кельи: «Да воскреснет Бог, да расточатся врази Его...» Распахивается дверь, входит Рогов.

Рогов. Да, деревня, она деревня и есть... Отсталый класс. Глаза бы не глядели. Темнота. (Закуривает от лампы.)

Семенов. Девчонка вас спрашивала.

Рогов. М-м...

Сидоренко. Товарищ Рогов, а здесь не шукали.

Рогов. Да пошукаешь, пошукаешь. Никуда не убежит. Мы тут уже нашли, чего и не искали. Вот говнюк, думай теперь... (Входит Голованов.) Ну, как баня?

Голованов. Скоро будет. Воды натаскал. Сейчас прогорит, и все. Я насчет аванса. А то мне пора... подлечиться.

Рогов. Эх, Николай Николаич, культурный человек, хуже пролетария стал. Вон возьми, на столе стоит. Да скажи, у кого в деревне самогон хорош?

Голованов. У Кротики. Второй дом над оврагом. Чисто варит.

Рогов. А Надька там что?

Голованов. А как же... Все лавки отмыла. Старается.

Рогов. Ну и мы постараемся. А, Сидоренко, постараемся?

Сидоренко. Га!

Рогов. Эка дубина... Скучно что-то... Вот моя деревня, вот мой дом родной... Флеровского привезли?

Семенов. Никак нет.

Рогов. Пойду посплю. Там в сарае сено-то есть?

Сидоренко. Нема.

Рогов (берет с крюка рваный тулуп). Плохое село. В хорошее село приезжаешь, председатель сельсовета все сам несет, советскую власть уважить. А здесь хоть по избам иди... После бани на стол соберете. Про Кротику слышал? Вот там, Сидоренко, и пошукаешь. Второй дом над оврагом.

Картина седьмая

Там же. Вечер. Стол покрыт красным Дусиным платком. Заставлен едой. За столом в центре трое – Рогов, Голованов, Надя. По бокам красноармейцы Сидоренко и Семенов. Пьют, закусывают. Из Дусиной кельи слышится пение.

Рогов. Деревня, я говорю, плохая. Чтоб мужик сам нес, вот что нужно.

Надя. Принесет он, держи карман. Ему семью кормить надо, а тут так отдай.

Рогов. Что значит – так? А рабочий класс – как? Он кость всему. А крестьянин – он что? Так, требуха, сволочь.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Надя. Да перемерет народ, если весь хлеб отбирать.

Рогов. Кто перемерет, туда и дорога. Ты вон новых народишь.

Голованов. Надюшка нам народит, это точно.

Рогов. От нас такой народ пойдет, какого еще не было. Новый народ. Все будет общее, все будет новое. Государство будет новое. И земля, и небо новое. А теперешний народ ни на что не годится. Пусть и перемерет.

Голованов. Сам ты перемерешь, а народ не перемерет.

Рогов. Который народишко дрянь, туда ему дорога. Вот эти, к примеру (показывает на келью), богомолки, попы, – на что они нужны?

Надя. А кому они мешают? Пускай поют.

Рогов (наливает всем, Голованову – полный стакан). Тебе, Николай Николаич, полненький. Хорошо нас попарил. (Голованов пьянеет на глазах, клюет носом. Рогов тоже пьянеет, но другим манером, он возбужден.) Дура ты, Надька. Понимала бы что... Сидоренко, попа доставили? (Роется в карманах, достает бумажку, читает.) «И говорил на воскресной проповеди „облекитесь во всеоружие Божие“». Это ваш поп говорил. Сидоренко, веди попа.

Сидоренко вводит отца Василия.

Сидоренко. Вот он. Там, товарищ Рогов, вас все девчонка какая-то спрашивает.

Рогов (машет рукой). Давай его сюда. Вот, гражданин Флеровский Василий Тихонович.

Отец Василий. Я хочу сделать заявление.

Рогов. Валяй.

Отец Василий. Ваш следователь Шестопалов требовал от меня признания в том, что я украл храмовую икону и укрыл ее от изъятия. Заявление мое состоит в том, что я в жизни своей ничего не крал, тем паче иконы, не утаивал, а во время изъятия церковных ценностей, производившихся согласно вашему указу, я находился по дороге в Городок, куда вез назначенные мне к сдаче хлеба, и тому есть свидетель, крестьянин села Брюхо Козелков Петр Фомич, который и вез меня для сдачи хлебов.

Надя. Было, было, и я тому свидетель.

Рогов. Молчи, дура. Тебя спросят, когда надо будет. И другой есть вопрос, гражданин Флеровский. Говорили ли вы за проповедью (читает по бумажке) «облекитесь во всеоружие Божие»?

Отец Василий. Апостол Павел говорил.

Рогов. А что еще ваш апостол Павел говорил?

Отец Василий. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, властей, против мироправителей тьмы».

Надя (плачет, подперев щеку). Красиво говорит. Непонятно, но до чего же красиво.

Рогов. Хватит. Подпишите, что говорили. (Рогов подставляет бумагу, отец Василий ставит подпись.)

Отец Василий. Пожалуйте.

Рогов. Так, батюшка, а вы ведь приговор себе подписали. Вот он, приговор-то. Поняли?

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Отец Василий. Понял.

Рогов. А выход-то есть. Отрекайтесь. Снимайте с себя сан. Вы старый человек, жена больная. Никто вас не тронет. Будете жить спокойненько.

Отец Василий. Если бы я в Бога не веровал... Не подойдет мне это. Да у меня отец и дед были священниками, сын священник...

Рогов. А второй где?

Отец Василий. О нем известий давно не имею.

Рогов. А мы имеем. Он в Добровольческой армии, второй ваш сынок. Или нет?

Отец Василий. Да.

Рогов. Уведите. К бабкам его.

Сидоренко уводит священника к Дусе в келью, Рогов разливает по стаканам.

Голованов. А ты, Рогов, дурак, однако. Иносказания не понимаешь. Я про всеоружие-то...

Рогов. Это ты не понимаешь, Николай Николаич. Какое же тут иносказание, прямо говорится: против властей.

Голованов. Я и говорю – дурак. Каких властей? Апостол Павел жил две тыщи лет тому, о каких властях-то он говорил? Власть была тогда римская, императорская...

Рогов (смеется). Народный ты учитель, Николай Николаич, одно слово... Здесь другое важно: кто признает над собой власть божью, для того всякая другая власть – тьфу! И советская им – тьфу! И потому нам церковники – первые враги. Головой надо думать, Голованов. Мне человек нужен целиком, с потрохами.

Надя (елозит, напевает). Ух-тю! Ух-тю! У тебя в дегтю!

Голованов. Ишь, чего захотел! У моих потрохов своя забота.

Рогов. Удовлетворю. Из моих рук. (Наливает.) Из моих рук – пожалуйста.

Надя (встает, проходится, приплясывая). Ух-тю! Ух-тю! У тебя в дегтю, у меня в тесте, слепимся вместе!

Рогов. И тебя – удовлетворю. Мало, что ли?

Голованов. А она такая: сколько ни дай, все мало.

Рогов. Ладно, ладно. Мало не покажется. Сядь, не мельтеши.

Голованов. У-да-вле-тва-ре-ни-е... (Засыпает.)

Надя (вскидывается, поет). Я див-чон-ка ма-ла-дая...

Рогов. Да сядь ты. (Ковыряет еду.) А что у нас все так варят... Мясо разварят до соплей, вкуса никакого...

Надя. А грибка соленого возьми.

Рогов (берет гриб, закусывает). Точно как у нашей матушки, у Ирины Федоровны... Семенов, достань гармонь. (Семенов приносит гармонь, Рогов растягивает меха, Надя опять вскидывается, как боевой конь.) Да сядь ты, посиди смирно. Шило у тебя в жопе... (Поет.) Славное море – священный Байкал...

Голованов (встрепенулся). Именно... Густав Густавович... Я не участвовал... Я не состоял... Я не хотел... Иван Густавович... (Тянется к стакану, роняет голову на стол. Рогов трясет его за плечо, Голованов спит крепким сном.)

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Рогов. Семенов! (Семенов подходит, Рогов ему что-то тихо говорит.) Недолго, понял? (Семенов кивает.) Славный корабль – омулевая бочка...

Семенов. Надь, пойдем выйдем.

Надя. Че?

Семенов. Идем-ка, дело есть.

Надя выходит вслед за Семеновым, за ними выходит и Сидоренко. Рогов выводит из кельи Тимошу.

Рогов. Ну что, Тимофей Рогов, знаешь, что тебе за дезертирство полагается?

Тимоша. Знаю что.

Рогов. А зачем сбежал?

Тимоша. Невмоготу стало.

Рогов. О! Месяца не служил, и невноготу! А я как три года по окопам гнил? Всем вноготу, а тебе невноготу? А жить-то хочется?

Тимоша. Хочется.

Рогов. А ведь помирать придется.

Тимоша (падает на колени). Сеня! Христом Богом прошу, не погуби! Ради матушки нашей не погуби!

Рогов. Ишь, хитрый, как запел. Куда метишь, в матушку, значит.

Тимоша. Прости меня, прости, Сеня.

Рогов. А прощенье заслужить надо.

Тимоша. Я заслужу, Арсеня.

Рогов. Ладно. А как служить будешь?

Тимоша. Начальства слушать.

Рогов. Эх ты, мочало. Этих твоих старух к расстрелу приговорили. За укрывательство дезертира.

Тимоша. Как приговорили? Когда?

Рогов. Тогда. Мочало и есть мочало. Так вот, ты, дезертир, сегодня по утрянке их и расстреляешь.

Тимоша. Это я не могу.

Рогов. Ах, не можешь? Я могу, а ты не можешь? Тебя солдатским хлебом кормили? Стрелять учили? Вот и пойдешь в команде.

Тимоша. Это я не могу.

Рогов. Тогда пойдешь с бабками. Под расстрел.

Тимоша. Как скажете.

Рогов. А как же мамаша, Ирина Федоровна? Про нее подумай.

Тимоша. Я и думаю. Только стрелять не могу.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Рогов (открывает дверь к Дусе, впускает туда Тимошу, расталкивает Голованова).
Голованов, ну-ка, пиши. фамилию поставь. Ну...

Голованов. Не подпишу. Не участвовал.

Рогов. Вот пьянь. Но деньги-то крал?

Голованов. Крал. Но... не участвовал.

Рогов. Хорошо. Так и запишем. Не участвовал. А ты подпись ставь. (Голованов, не глядя, царапает пером. Рогов, распахнув дверь, кричит.) Семенов! Сидоренко!

Входят Семенов, Сидоренко и Надя.

Рогов. Управились?

Сидоренко. Та мне не треба. Мне бы здесь пошукать, товарищ Рогов.

Рогов (отмахивается). Утром пошукаешь.

Сидоренко. Ну что, бабок вести?

Рогов. Пусть попоют, певицы. (Наде.) Ну что, проветрила?

Надя (хихикает). Только раззадорил без толку.

Рогов. Надь, а ты грамотная?

Надя. я-то? Четыре класса ходила.

Рогов. Небось и фамилии написать не можешь?

Надя. Да я что хошь написать могу, я грамотная.

Рогов. Напиши-ка вот здесь, как зовешься?

Надя. Ну, Козелкова же.

Рогов. Вот и пиши.

Надя (пишет). Ну...

Рогов. Гну! Пошли в сарай! Семенов, не пойдешь?

Надя. На что его, он лядаций. Одна ботва.

Рогов. Тебя не убудет.

Надя. А ты мне боле нравишься. Дуся вон говорила, во мне семь бесов. Так что меня и на семерых хватит. А этого – не надо.

Затемнение, пение продолжается.

Картина восьмая

Раннее утро. Двор возле Дусино дома. На середине двора кресло. В кресле – Дуся. Около Дуси Марья, Антонина, отец Василий и Тимоша. С крыши свешивается Маня Горелая в новом зипуне. Дуся раскладывает на коленях кукол.

Дуся (поет). Ниночка-Первиночка... Нина Прокловна ждет, Иван Проклович ждет, Катерина, Евдокия и Егорушка, где наш батенька, где наш папенька... (Плачет. Подходит отец Василий, гладит ее по голове.) Самовар не поставили, Дусе чаю не дали. Вот какие противные, их Бог накажет... Настя, поправь фату... Цветочки поправь, не видишь, что ли, на свадьбу идем! (Фату поправляет Антонина.) Я сказала, Настя!

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Антонина. Нету Насти. Ушла Настя.

Дуся. Здесь она, не обманывай меня.

Антонина. Не плачь, матушка, не плачь, Дусенька.

На крыльцо выходит Рогов.

К нему робко подходит девчонка, хочет что-то сказать, он отмахивается.

Рогов. Семенов! Сидоренко! Хвалынский! Мухамеджин! (Появляется Семенов.)

Семенов. Мухамеджина с Сидоренкой еще когда вперед послали.

Рогов. А! (Машет рукой.) Тогда ведите их напрямки через болотце, а я верхами по глуховской дороге в объезд..

Семенов. Пошли, что ли?

Антонина, Марья, отец Василий и Тимоша поднимают кресло с Дусей.

Дуся (тычет пальцем в Тимошу). Не тронь руками, отойди.

Тимоша. Да я нести помочь..

Дуся. Кто ты таков? Не тронь руками кресло. Слышь, что говорю?

Выстраивается процессия: один красноармеец впереди, другой позади, а между ними возвышается на кресле Дуся.

«Да воскреснет Бог, да расточатся врази Его...»

Из-за дома раздается крик.

Появляется Настя.

Настя. Матушка Дуся! Матушка Дуся!

Дуся. Помолчите. (Величественным жестом останавливает пение.) Все врешь, Антонина. Вот она, Настя, я же говорила, здесь.

Настя пытается встать на место отца Василия.

Отец Василий. Уходи отсюда, уходи, Настя.

Семенов. Стой, девка, ты куда? Куда лезешь? Кто такая?

Настя. Я Настя Витюнникова, я с ними вместе.

Семенов. Куда это ты с ними вместе?

Настя. Все равно куда. Куда они, туда и я.

Семенов. Дура-девка. Прочь поди. Мы их, может, расстреливать ведем.

Настя. Куда Дуся, туда и я.

Семенов. Ты что, хожалка ее, что ли?

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Настя. Хожалка. Я при ней три года живу. Я Витюнникова Анастасия.

Семенов. Дура, иди отсюда.

Настя уже оттеснила отца Василия от Дусиного кресла.

В этот момент Маня Горелая спрыгивает с крыши.

Маня. Венец! Девка мой венец украсть хочет! Хуюшки тебе! Эй, солдатик! Я Витюнникова Настасия! Я! Слышь! Дуся, скажи им, что Настасия я! Отпусти девчонку, девчонку-то отпусти!

Маня Горелая сбрасывает зипун с головы, нечесанные лохмы вываливаются из-под него. Становится на колени перед Дусей.

Маня. Дусенька, голубушка, прости меня ради Господа, мне с тобой рядом стоять.

Отец Василий. Отпусти, Дуся, Настю.

Семенов. Разобрались, кто еще желающий?

Марья. Стыд тебе, Дуся. Зачем молодая на себе несешь?

Семенов. С ума посходили все. Я такого еще не видел. Да подеритесь вы, кому идти.

Дуся (указывает на Маню). Эта со мной пойдет. Эта. А ты иди, дочка, откуда пришла. Откуда пришла, туда и иди. И в дом не заглядывай. Иди.

Настя отходит, прислоняется к забору. Маня Горелая берется за кресло.

Семенов. Ну, пошли, что ли... Нам еще обратно тащиться.

Отец Василий (поет, все подхватывают). Ныне отпускаеши Раба Твоего, Владыко...

Все уходят, пение удаляется. Тишина. Подходит Сучкова.

Сучкова. Доброе утречко, доброе утречко. Есть кто? Мне бы это... одолжить... ведро большое... (Она оглядывается, забегают в сени, выходит из сеней с ведром и со сковородкой.) Одолжить... (Пытается подхватить с земли грабли. От стены отделяется девчонка.)

Девчонка. Здравствуйте, бабушка.

Сучкова. А ты откуда? Чего тебе?

Девчонка. Да Рогова мне нужно.

Сучкова. Он верхами по глуховской дороге только-только проехал.

Картина девятая

У кладбищенской ограды, где Маня Горелая хоронила недавно свой старый зипун. Возле бугорка мается Голованов в жестоком похмелье. Подходит Надя.

Надя. Не дают никто. У Кротихи нет. Говорит, вчера все выпили. Сучкова дала чуток. (Голованов протягивает руку, глотает из почти пустой бутылки, ложится. Надя садится рядом.) Ишь, как ты маешься, Николай Николаич.

Голованов. Помереть бы скорей. Устал я, Надя.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Надя. Да ты ж не старый еще, Николай Николаич. И образованный. Бросил бы пить, тоже бы начальником стал.

Голованов. Ах, какая ты милая девочка, Надюша. Бросила бы гулять, а?

Надя. Ты не смейся надо мной, Николай Николаич. Дуся говорит, во мне семь бесов. Не могу я без этого, огнем горит.

Голованов. А что ж ты тогда мне говоришь, бросил бы пить? (Трясет бутылку, выливает в рот последние капли.) Я бы тогда повесился. А в начальники? Еще бы скорее повесился... Ихнюю веру я уже прошел. А церковной отроду не имел.

Надя. А ихняя-то какая?

Голованов (смеется). Сейчас, Надюша, мне и сказать смешно... Фратерните, эгалите и особенно либерте... Да ну тебя!

Надя. Вы, Николай Николаич, когда смеетесь, у вас лицо такое доброе. И вообще, если посмотреть, вы красивый.

Голованов. Надька, при всем моем хорошем к тебе отношении, сейчас, извини...

Надя. Да я не к тому.

Голованов. А хоть бы и к тому... Извини. Разве что к вечеру... Я что-то вчера быстро нарезался. Слаб стал. Ничего не помню. (Крутит пустую бутылку.) Так вот лучше. Однако надо раздобывать.

Надя. Может, в Глухово сходить.

Голованов. Нет, мне сейчас не дойти. А что, вчера долго гуляли?

Надя. Я не знаю. Я по своему делу в сараюшке пристроилась, у Дуси во дворе. Утром проснулась, никого нет. Я водички попила и думаю, дай к мужу схожу. А ты тут лежишь, помираешь.

Голованов. Слушай, а у твоего-то нет?

Надя. Выпить? Да ты что? Он и не держит никогда. Они ж из староверов. Он не пьет, не курит, не бранится. Он такой.

Голованов. А как же он на тебе женился?

Надя (обижается). А что? Я же не всегда такая была. Я целой за него шла. Это уж потом на меня наехало. Детей от него нет, скучно. Сблудила один раз, и наехало. Это уж потом. А Петр Фомич очень хороший человек, он меня и пальцем не тронул, так и отпустил. Даже и не выгнал. Я вот сейчас приду к нему, поем чего там есть, в доме приберу, постираю... Он человек хороший, меня жалеет.

Подходит Тимоша в исподнем.

Надя. Ой, Тимоша! Откуда взялся? Тебя ж вроде забирали?

Тимоша. Я их расстрелял. Сам.

Надя. Тимоша! Кого?

Тимоша. Всех. Отца Василия, Дусю, Антонину, Марью и Маню Горелую. Она мужик.

Надя. Тимоша, что с тобой? Голова не болит?

Тимоша. Голова не болит.

Надя. Может, маманю твою привести?

Тимоша. Нет, не надо. Она не знает, кто я есть. Что я здесь расстреливаю...

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Голованов. За что же ты их расстрелял, Тимоша?

Тимоша. А по приговору. Тройка приговорила.

Голованов. Какая тройка?

Тимоша. Не знаете, что ли? Рогов председатель, и два представителя сельских, Козелкова и Голованов.

Надя. Ну точно, из ума вышел. Надо Ирину Федоровну звать.

Голованов. Погоди... Тимоша, а когда же эта тройка заседала?

Тимоша. Так вчера, дядя Коля, вы же там за тем столом и сидели, пока я в келье у Дуси был.

Голованов. Ой-ой-ой... Там что, подпись моя стоит?

Тимоша. Того я не видел. Нас привели на Глухову пустошь. А там уже яма вырытая. Нас поставили, и он прочитал приговор от тройки постановленный, меня за дезертирство, а их за укрывательство. А отцу Василию контрреволюцию записали. А от ямы холод идет, не могу сказать какой.

Голованов. Тимоша, погоди. Надь, ты подписывала вчера что-нибудь?

Надя. Подписывала. Только, Николай Николаич, я не знала ничего про суд, ей-богу, не знала. Так, сидели, выпивали.

Голованов. Ладно, Тимоша, дальше рассказывай, дальше что...

Тимоша. А Рогов говорит: видишь, Тимофей, яму? Зароем, ни креста, ни могилки не будет. Мать и не узнает, где косточки твои лежат. Я и заплакал. А он дает мне ружье и ставит вместо себя. Я встал. А отец Василий всю дорогу, как шли, панихиду пел, а тут говорит: «Господи, прими душу раба Твоего протоиерея Василия, раба Божьего Прокла...»

Надя. Какого Прокла?

Тимоша. «...раба Божьего Прокла, раб Божьих Авдотьи, Антонины и Марии». Рогов говорит «Стреляй, не то сам в яму пойдешь». Я и выстрелил в Дусю. А ее, как из кресла вынули, Антонина с Маней Горелой держали. Тут Дуся упала. Я еще стрелял, и другие стреляли. Все упали. Тогда брат мой Арсений Рогов говорит: «Вот твое крещение, Тимофей, теперь ты наш. Спустишь в яму и сыми с них одежду». Я спустился. Они уж были неживые. Снял с отца Василия рясочку, сапоги снял худые. На Дусе одежда такая ветхая, что под руками разлезлась, а на теле вериги, аж до мяса въелись. Попал я ей в самое сердце. Снял с Марьи, с Антонины. А с Мани Горелой снял зипун, а под ним икона привязана. И юбку снял, а Маня-то мужик.

Голованов. Как – мужик?

Надя. Двуснастная, что ли?

Тимоша. Нет, мужик, обыкновенное дело, мужик. Вот кто Прокл-то был, Дусин жених. Я всю одежду наверх повыбрасывал. Потом икону к себе привязал. Вот, возьмите ее от меня. Я погибший уже. Я не могу. (Поднимает рубашку, отвязывает от себя икону и держит перед собой.) А Рогов говорит: яму закопай да приходи, в город поедем. Пройдись по ветерку, тебе полезно. Я закопал и пошел... по ветерку...

Издали слышен зов: «Тимофей! Тимофей!»

Тимоша. Это меня зовут. Икону спрячьте. (Протягивает ее Наде.)

Надя. Что ты, что ты? Я не могу.

Тимоша. Ты не бойся, они сейчас уедут, не тронут тебя.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Надя. Не могу я ее брать, я поганая.

Тимоша. Дядя Коля!

Голованов снимает драный пиджак, привязывает к груди икону, снова надевает пиджак.

Голованов. А мы, Надька, все поганые. А некоторые еще и атеисты... Смешно, господа. Мы в него не веруем, а он в нас некоторым образом верует...

Входит Рогов. За ним в отдалении девчонка.

Рогов. Ну что, всё прохлаждаетесь? Собирайся, Тимофей, едем.

Девчонка наконец осмелела, подошла к Рогову.

Девчонка. Дяденька Рогов, меня мамка к вам послала сказать... (Взрывается плачем.) Верка повесилась!

Рогов. Чего? Чего говоришь?

Девчонка. Убираться третьего дня пошла, а домой не вернулась. А ее на чердаке Перлов нашел... висит Верка, неживая... с ребеночком...

Рогов сжимает девчонку за плечи, она бьется, потом затихает.

Тимоша (как будто не замечает брата). Слышите, «Херувимскую» поют? (Задирает голову к небу.) Смотрите! Венец от земли подымается светлый! Это Дусин венец. А вот второй, третий, все светлые, и все в небо идут. И все наши брюхинские подымаются. Вон! Вот! А Дусин-то выше всех идет! И как светел... А вона еще один, и еще, и седьмой пошел. Маленький, ясенский, только не знаю чей. В яме их пятеро было.

Надя цепляется за Голованова, все задирают головы, смотрят, куда указывает Тимоша. И Рогов смотрит туда же.

Надя. Заблажил, заблажил малый-то.

Тимоша становится на колени, будто что-то ищет, поднимает с земли довольно большой камень, держит его в ладонях бережно.

Тимоша. Хлебушка не хотите? Хлебушка? Всем женщинам хлебушка, всем мужчинам хлебушка, всем деточкам хлебушка... Кушайте, пожалуйста.

Рогов (кричит). Тимофей!

Тимоша. Покушайте хлебушка... Покушайте нашего хлебушка...

Рогов. Тимоша! Ты что? Ты что?

Тимоша. Хлебушка покушайте... (Поднимает камень над головой, обращаясь к небу.) Всем хлебушка...

Рогов. Вы что, все с ума посходили? Нету же ничего! Нет никаких венцов! И хлеба нет! Ничего нету! Куда вы все смотрите?

Все стоят, задрав головы к небу. Затемнение.

Эпилог

На том же самом месте много лет спустя. У могильного холма, почти исчезнувшего, понуро сидит Голованов. Он в потертом спортивном костюме. В вязаной спортивной шапке, натянутой на уши (или в бейсбольной кепке). Появляется персонаж, точно так же одетый – потрепанный спортивный костюм, та же неопределенного цвета вязаная шапка (или бейсбольная кепка) натянута на голову.

В руках два больших пакета. Озирается.

Голованов. Эй, мужик, давай сюда. Приземляйся.

Люба (ходит с опаской поодаль). Какой я тебе мужик?

Голованов. Ой, извините. Теперь точно вижу – дама. Сейчас не разберешь, все в одном ходят... Да вы присаживайтесь, не бойтесь. Здесь мое место.

Люба. Как это ваше? Что, могила эта или вообще?

Голованов. Вообще. Я коренной здешний... житель. Прадед, дед и так далее... Все здешние. Голованов я. Нас здесь все знают. А вы, извиняюсь, откуда?

Люба. Ну вообще-то из Стерлитамака. То есть родилась там, в области. А так – из Воронежа.

Голованов. Понятно. А здесь – чего?

Люба. Так. Путешествую... Слышала, здесь места знаменитые. Святые и тому подобное... И праздник какой-то...

Голованов. Какой-то! Какой еще праздник! А, простите, как вас...

Люба. Любовь Михайловна. Люба.

Голованов. А меня Николай... Так праздник-то у нас исключительный. А вы правда ничего не знаете?

Люба. Ну, знаю, что праздник...

Голованов. Сейчас расскажу... Извините, деликатный вопрос... Эт-та... а у вас с собой нету?

Люба (роется в пакете). Немного есть. Случайно... Со вчера... (Вынимает бутылку, разглядывает.) Правда, немного...

Голованов (берет из ее рук бутылку). Да мне глоточек только. А то как-то потряхивает, лихорадит, что ли... (Прикладывает к бутылке, пьет.) Тут вот осталось еще... Есть еще...

Люба. Да не. По мне хоть бы совсем его не было, вина этого... С утра-то...

Голованов. Значит, так... Раньше тут была деревня, небольшая такая деревенька, Брюхо называлась. Теперь город Роговск, в честь героя Арсения Рогова. Не помню только, какой войны, той или этой... А раньше, стало быть, деревня Брюхо была.

Люба. Надо же, какое наименование... Брюхо... Прямо смех.

Голованов. Ничего смешного. Брюхо и Брюхо. Места были глухие. Как-то зимой, это лет триста, что ли, тому назад, напали на купца разбойники. Вот здесь. (Тычет в землю.)

Люба. Прямо вот на этом самом месте?

Голованов. Ну да. И явилась тут Божья Матерь, разбойников спалила к едрене фене,

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru а купец за спасение свое церковь поставил. Икона святая тоже здесь представлена, в новом храме. По телевизору по каналу культуры показывали. Смекаешь?

Люба (благоговейно слушает). Ну, дальше.

Голованов. А ты правда не хочешь? (Она мотает головой, Голованов прикладывает к бутылки.) Вот. А здесь места – святые. Самые святые по всей России места. Здесь всегда этих святых как... грязи. А у нас, в этой деревне, я имею в виду, вообще одни святые были. Но всякие, одни священного чина, другие попроче, чудотворцы, юродивые, блаженные, их тьма разных. Даже я всех не знаю. Между прочим, говорят, что Николай Чудотворец тоже из наших мест. У нас Николаев много. У меня вот все – прадед, дед, он учителем здесь был, отец и так далее – одни Николаи... Ну вот. Тут перед революцией просто гнездо у них было, у святых. Но некоторых, когда церкви позакрывали, некоторых, того, постреляли, а кого сослали...

Люба (обрадовалась). Ну как же, мои бабки тоже из ссыльных, в Стерлитамак кто ж сам-то переселится...

Голованов. Ну, наших-то постреляли всех. Вот на этом самом месте. Церковь, само собой, порушили. Только запомнил, когда – при Ленине, или при Сталине, или при Хрущеве. Все. Аллес ин орднунг. И так далее. А потом времена поменялись. Храм новый построили – видела, нет? Потом посмотришь. Богатейший... Говорят, миллион долларов стоит. Не, там одного золота только на миллион. И все такое. Не, я что-то заврался, – там не золота на миллион. Там, говорят, на миллион только наворовали. А золота вообще неизвестно на сколько. Но это все так, семечки. Главное дело что: постановление приняли, чтобы всех наших блаженных чохом повсеместно святыми объявить. И праздник сегодня будет, потому что сам патриарх приедет новым святым службу служить. Там шорох такой идет. Дорогу от Роговска новым асфальтом закатали и мылом сверху помыли.

Люба. Ну, это уж ты врешь, чтоб мылом.

Голованов. Ну, это, может, приврал чуток. Но асфальт новый положен, это точно.

С двух сторон выбегают два пары омовцев (бывших красноармейцев), подбегают к Голованову и Любе.

Омовец-1. А ну по-быстрому валите отсюда.

Голованов. Да я живу здесь. Местный я. Вот, и паспорт у меня есть, с пропиской. Почему это мне валить?

Омовец-1. Паспорт... И у тебя?

Люба шарит в сумке.

Голованов. А это баба моя. Какой там паспорт...

Омовец-2. Правда, баба...

Омовец-3. Дуйте отседова, сейчас начальство приедет. Сидите дома и не высывайтесь.

Голованов. Дык я на службу пришел, в Божий храм, почему это мне дуть?

Омовец-2. Иди, иди. Там уже патруль стоит, все равно не впускают без пропусков. (Миролюбиво.) Начальство московское... Сам!

Голованов (свистит). Патриарх? (Омовец многозначительно качает головой.) Президент?

Омовец-4. Выше бери!

Вот спецсирены, одновременно начинается колокольный звон. Омовцы, топоча

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru сапогами, убегают. Сирены громче, присоединяется церковное песнопение, радиошум. Голованов что-то говорит Любе. Она его не слышит. Он кричит. Голосов не слышно. На лицах их написаны радость и энтузиазм. Люба шарит в пакете и достает еще одну бутылку. Они держат ее вдвоем. Обнимаются. Какофония достигает максимума.

Занавес

Москва 1993–2001

Русское варенье

Пьеса в трех действиях без антрактов

Действующие лица

Андрей Иванович Лепехин (дядя Дюдя), 67 лет, пенсионер, профессор математики

Наталья Ивановна, его сестра, 60 лет

Ростислав, 40 лет, старший сын Натальи Ивановны

Варвара (Вава), 32 года, старшая дочь Натальи Ивановны

Елена (Леля), 30 лет, средняя дочь Натальи Ивановны

Лиза, 19 лет, младшая дочь Натальи Ивановны

Алла, она же Евдокия Калугина, 39 лет, жена Ростислава

Константин, 30 лет, муж Елены

Мария Яковлевна (Маканя), 60 лет, сестра покойного мужа Натальи Ивановны, домохозяйка и приживалка

Семен Золотые Руки, 40 лет, простой человек

Действие происходит в 2002 году, в дачном академическом поселке. Теперь здесь живут Андрей Иванович, Наталья Ивановна и ее три дочери, а также муж средней дочери Константин. Дача получена в наследство от академика Ивана Лепехина, отца Натальи Ивановны и Андрея Ивановича. Ведет хозяйство Мария Яковлевна, сестра покойного мужа Натальи Ивановны. Наталья Ивановна исполняет большой заказ – перевод на английский язык многотомника современной русской писательницы Евдокии Калугиной, жены Ростислава.

У спектакля разнообразная и сложная звуковая партитура, которая в идеале доходит до симфонизма. Составляющие партитуры – треск пишущей машинки, на которой печатает Наталья Ивановна, компьютерная музыка, производимая Константином, а впоследствии, когда компьютер окончательно ломается, грохот ударной установки, подозрительный скрип раскладушки, временами доходящий до неприличия, мяуканье кошки, которая жаждет любви, вибрация отбойного молотка, дребезг разбиваемой посуды и прочие шумы домашнего обихода – спускаемой воды в туалете, падения предметов, колокольный звон из близлежащего монастыря, звонки телефонов – главным образом Лизиного мобильного и, наконец, визг тормозов и рев бульдозеров. Естественно, все эти шумы не заглушают речи.

Свет в спектакле разнообразен: от обычного электрического освещения до света свечей и фонариков. В последней сцене возможен цветовой удар, как в современной дискотеке.

Действие первое

Гостиная на старой запущенной даче. Несколько дверей, лестница в мезонин. Ночь. Детали не видны, но когда свет загорится, обнаружится запустение. От витражных окон террасы почти ничего не осталось – кое-где они забиты досками, кое-где заклеены пластиковой пленкой. Буфет. Стол. Книжный шкаф. Стол с компьютером. Пианино. Кресло-качалка. Швейная машинка – старинная. Время от времени раздается мяуканье неудовлетворенной кошки. На стене – портрет Чехова. Пока ничего этого не видно. Долгая темнота, в которой возникает Андрей Иванович в халате со свечой. Андрей Иванович похож скорее на пожилого киноактера – может быть, на Марчелло Мастрояни, – чем на профессора. Подходит к буфету, открывает дверцу, наливает из графина в рюмку. Раздается журчание спускаемой воды в уборной.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Андрей Иванович замирает. Слышны чьи-то шаги.

Андрей Иванович. Ваше здоровье, Андрей Иваныч! (Торопливо выпивает. Распахнутая дверца буфета отваливается, падает, разбивая графин.) Черт подери!

Входит Наталья Ивановна, в халате, со свечой.

Наталья Ивановна. Дюдя! Что ты разбил?

Андрей Иванович. Да чертова эта дверка! Опять отвалилась! Надо позвать в конце концов человека...

Наталья Ивановна (поднимает большой осколок). Ой! Папин графинчик! Дюдя! Это был последний папин графин! Разбился...

Андрей Иванович. Наток, ну что же теперь делать? Ну, разбился... Прости... Опять почему-то нет электричества... Надо позвать электрика...

Наталья Ивановна. Не надо по ночам пить водку...

Андрей Иванович. Ну вот, уже и водка виновата... Ты пригласи этого вашего Семена Золотые Руки, пусть починит...

Наталья Ивановна (садится, закрыв лицо руками). Почему я? Почему обо всем должна я? Господи, если бы ты знал, как я устала. Всю жизнь я работаю как ломовая лошадь. Не покладая рук. С семнадцати лет, без единого дня отдыха... Бедный графинчик...

Андрей Иванович. Наток, ну не расстраивайся... Черт с ним, с этим графином...

Наталья Ивановна. Да при чем тут графин! Жизнь пропала! Лучшие годы!

Андрей Иванович. Ну что ты так убиваешься... Давай лучше по рюмочке, а? Поищем... Где-нибудь есть... рюмочка...

Наталья Ивановна (разглядывает осколок). Нет, не папин, это еще дедушкин графинчик. Почему надо по ночам пить эти твои рюмочки? С утра до ночи не отхожу от пишущей машинки... Пропускаю через себя, через свою душу это мочало...

Андрей Иванович. Видишь, кому что... А моя душа просит рюмочки... Не стакана даже...

Андрей Иванович нагибается, чтобы поднять осколки графина.

Наталья Ивановна. Осторожно! Стекло! Не трогай, ради бога! Ты порежешься. Завтра дадут электричество, и девочки все соберут.

Андрей Иванович. Ой! (Облизывает палец.)

Наталья Ивановна. Ну вот, порезался! Что я говорила! У меня бессонница. У меня давление...

Господи, как я устала! Уже три часа ночи. Я не могу заснуть. Ночь пропала... Все пропало. Молодость пропала!

Андрей Иванович (сосет палец). Если ты так будешь ныть, то и старость пропадет...

Наталья Ивановна направляется к столу.

Андрей Иванович. Осторожно! Доска!

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Наталья Ивановна делает зигзаг, обходя опасное место.

Наталья Ивановна. Здесь же всегда стоял перевернутый стул. Кто его убрал?

Садится. Опускает лицо в ладони. Андрей Иванович подходит к ней, гладит по плечу.

Андрей Иванович. Наток! Не надо... Ты наша крепость. На тебе все держится. Возьми себя в руки.

Наталья Ивановна. Прости, Дюдя! Минута слабости... Но ты ведь старший... Старший брат. Кому еще я могу пожаловаться? Подумай, еще недавно мы были дети, бегали в саду. Качались на качелях. Помнишь, ты меня раскачал так, что качели «солнышко» сделали...

Раздается ритмичный скрип раскладушки и стоны.

Андрей Иванович. Конечно, помню. На них потом еще твои дети качались.

Наталья Ивановна. Слева от дома стояли. Во время войны левую часть дома разрушило. Прямое попадание. А правая сохранилась. Все соседи говорили, что надо все снести и заново строить. А отец сказал твердо: «Нет – все, что сохранилось, будем и дальше сохранять. Этот дом моим отцом построен, и не мне его сносить».

Андрей Иванович. Неужели ты помнишь?

Наталья Ивановна. Мама рассказывала. Весь академический поселок тогда заново строился, даже те, у кого дома уцелели... Пленные немцы строили. А отец не захотел...

Андрей Иванович. Да-да, точно. Он все тогда восстановил – и оранжерею, и теплицу...

Наталья Ивановна. Папа был святой человек. В своем роде... Графинчика жалко.

Андрей Иванович. Ну, опять... Пошло-поехало...

Скрип раскладушки затихает, раздаются шаги, потом рев воды в уборной. Снова шаги.

Наталья Ивановна. Ладно, друг мой. Попробую заснуть. Ты осколки не собирай. Поставь там стул, чтобы никто в темноте не наступил. А то Лизик постоянно босиком...

Наталья Ивановна целует брата, уходит. Он осторожно шарит в глубине буфета, находит, раздается бульканье. Андрей Иванович тихонько выпивает. Потом переворачивает стул и ставит его вверх ножками около буфета. Неожиданно включается электричество. Дом ярко освещается.

Андрей Иванович. Здрасьте! Среди ночи свет дали. Меня как будто покачивает...

Из уборной выходит Мария Яковлевна в шали поверх халата.

Мария Яковлевна. Доброе утро, Андрей Иванович. Кажется, опять засор... Что-то вода плохо сходит. Хорошо хоть электричество дали...

Андрей Иванович. Доброе утро, Мария Яковлевна... Хотя я еще не ложился. Так что у

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
меня скорее вечер. Я здесь графинчик раскокал. Скажите, пожалуйста, девочкам,
чтобы они осколки с полу подобрали.

Мария Яковлевна. Лизочка обещала привезти сотню яиц. И представьте, ни Лизочки,
ни яиц.

Андрей Иванович. Зачем вам сотня?

Мария Яковлевна. Как зачем? Пасха! Куличи печь...

Андрей Иванович (вздыхает). Недавно Рождество было, а уже Пасха...

Мария Яковлевна берет веник, собирает осколки и метет.

Слышно, как подъехала машина. Андрей Иванович смотрит в темное окно.

Мария Яковлевна. А мелкие без очков не собрать. Где мои очки?

Андрей Иванович. Лизкина «Ока»! Приехала!

Мария Яковлевна. Какой-то кошмар! Девочке девятнадцать лет, разъезжает на
машине, одна, среди ночи. Какая-то безумная жизнь... Был бы жив брат Николай, ни
за что не допустил бы...

Андрей Иванович. Да, и самое плохое то, что одна...

Мария Яковлевна. Этого я не понимаю – купить машину ребенку!

Андрей Иванович. Ростислав купил. Он щедрый, широкий человек. И Лизка у него
любимая сестра...

Открывается дверь, входит толстая некрасивая девушка, выкрашенная в сине-зеленый
цвет (а может, пострижена наголо), одета в стиле панк. Прижимает к груди четыре
картонки с яйцами.

Мария Яковлевна. Лизик! Ну что же ты так поздно!

Лиза. Машина сломалась на дороге. Маканя, почему ты меня не хвалишь? Я привезла
тебе сотню яиц!

Лиза идет по опасному месту.

Андрей Иванович, Мария Яковлевна (хором): Осторожно! Доска!

Доска проваливается, Лиза спотыкается и роняет яйца.

Мария Яковлевна. Кто убрал стул? Здесь всегда стоял стул! Андрей Иваныч, это,
конечно, вы переставили!

Лиза. Oh shit! Все переколотила...

Мария Яковлевна. Ой, какая досада! А ты-то – не ушиблась, деточка?

Андрей Иванович. Лизочка, по-моему, ты немножечко... а?

Лиза. Дюдя! Как ты мог подумать? (Хихикает.)

Мария Яковлевна встает на колени, разбирает картонки с битыми яйцами.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Мария Яковлевна. Ничего страшного. Мы сейчас все соберем! И не все побились! Целые покрасим. А на кулич и на пасху совершенно неважно, что битые... Лизочка, принеси мне с кухни мисочку! Очки... я куда-то очки задевала...

Лиза идет на кухню зигзагами.

Лиза. Выбить четыре дюжины яиц, добавить четыре стакана самого мелкого сахарного песка, растереть деревянной ложкой добела. Вылить смесь в опару и добавить пять фунтов самого лучшего чухонского масла...

Андрей Иванович. Ай, племянница! Прелесть моя! Давай в головку поцелую...

Лиза возвращается с миской, дает ее Марии Яковлевне.

Мария Яковлевна руками собирает с полу яичный бой.

Берет стул, переворачивает ножками вверх и ставит туда, где поблескивают остатки битых яиц.

Мария Яковлевна. Осторожно, здесь скользко. Я пока стул сюда поставлю, чтоб не наступали.

Лиза вынимает из сумки плитку шоколада, ест.

Мария Яковлевна. Лизочка! Воздержись!

Андрей Иванович. Маканя! А вам не кажется, что это как-то негигиенично... с полу...

Мария Яковлевна. Да что же я, сотню яиц собакам отдам? При чем тут гигиена? Тепловая обработка, во-первых... Во-вторых, куличи Вава все равно в церкви освящает... Так что будет все очень диетическое...

Лиза... и месить, и месить, и месить до... пока у Елены Молоховец яйца не посинеют... Shit!

Мария Яковлевна. Лиза!

Звонит Лизин мобильный телефон, она вытаскивает его из сумки и поднимается по лестнице в мезонин. Новый приступ кошачьего мяуканья.

Лиза (в телефон). Как хорошо, что ты позвонил! Я одна, совершенно одна... У тебя такой голос... возбуждающий...

Мария Яковлевна провожает взглядом Лизу.

Мария Яковлевна. Мое сердце подсказывает, что у Лизика завязался роман...

Андрей Иванович. Гм... возможно...

Мария Яковлевна. Женщины в нашей семье всегда выходят замуж очень рано. В восемнадцать лет, по первой любви. Наша бабушка, и мама, и Лелечка...

Андрей Иванович... Которые выходят...

Мария Яковлевна. Что вы имеете в виду?

Андрей Иванович. Ничего особенного... просто некоторые вообще не выходят...

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Мария Яковлевна. Я, собственно, имею в виду нашу семью, Дворянкиных. Лепехиных больше нет... фамилия закончилась на вас, Андрей Иванович. И Граевских больше нет. А ваш единственный наследник Ростислав – ваш племянник, между прочим, – носит фамилию моего покойного брата Николая Дворянкина!

Андрей Иванович (зевает). Пойду-ка я, пожалуй, спать. Слишком поздно для геральдических изысканий... Слишком поздно. А почему кошка все время орет?

Мария Яковлевна. Ой, Мурка с вечера влезла на дерево и орет. Видимо, женихов призывает.

Андрей Иванович. А-а... понятно...

Раздается отдаленный благовест, в гостиную входит Варвара в черном головном платке. В руках у нее цепочка от унитаза с фарфоровой грушей на конце.

Мария Яковлевна. Доброе утро, Вавочка. Осторожнее, там осколки. Я потом подберу...

Варвара. Ты посмотри! Опять цепочка оторвалась! Он же на прошлой неделе чинил! Что за свинство, в конце концов! Дом разваливается, всем наплевать...

Андрей Иванович. Спокойной ночи! (Уходит.)

Мария Яковлевна. Ну что можно поделать? Я дала Семену десять долларов на прошлой неделе. Чайник поставить?

Варвара (бросает цепочку на стол, поправляет платок). Какой чай? Я в церковь. Ты позови этого Семена, пускай сделает по-человечески.

Мария Яковлевна. По-человечески нельзя. Он мне объяснял. Там надо что-то менять, муфту, кажется, и какую-то особую, теперь таких не производят... И трубы... Он сказал, что засор капитальный, это не только у нас, это по всему поселку канализация выходит из строя, так что надо пользоваться уборной во дворе...

Варвара. Какой еще уборной во дворе?

Мария Яковлевна. Позади оранжереи маленький домик. Там была уборная для рабочих, когда дачу строили...

Варвара. А-а... Там же двери нет!

Мария Яковлевна. Ну да...

Варвара. О Господи... (Накидывает пальто.) Я пошла... К обеду не ждите. Я в монастыре с сестрами пообедаю...

Хлопает дверь – электричество гаснет. Уже рассвело. Мария Яковлевна переворачивает стул и ставит его на опасное место ножками вверх. Теперь имеется три перевернутых стула, остальные девять вокруг большого стола. Раздается треск пишущей машинки, потом на этом фоне шаги, хлопанье дверями. Входит красавица Елена в ночной рубашке. В руках у нее пульверизатор с духами, она прыскает себе на руки, нюхает.

Мария Яковлевна. Эту доску действительно пора заменить. Скоро будет дыра посреди комнаты.

Елена. Маканя! В уборной нет этой штуки. Куда она делась?

Мария Яковлевна. Доброе утро, деточка. Вот она, на столе лежит.

Елена. Зачем на столе?

Мария Яковлевна. Оторвалась. И там вообще, кажется, опять засор. Вода плохо

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru сходит. Позвони, пожалуйста, Семену, пусть починит.

Мария Яковлевна берет кастрюлю, наливает воду, уходит. В уборной сливают воду. Мария Яковлевна возвращается. Елена звонит по телефону – аппарат послевоенных времен.

Елена. Контора? Семен на месте? Хорошо, зайду...

Мария Яковлевна (берет стул). Я пока поставлю возле уборной, чтоб не пользовались.

Елена накидывает шубу на ночную рубашку, сует ноги в валенки.

Мария Яковлевна. Леля! Ты сошла с ума? Куда ты?

Елена. В контору. Семена приведу...

Мария Яковлевна. Ты что, в контору в таком виде пойдешь? Ты же простудишься. Ноль градусов!

Елена. Не зуди, Маканя. (Уходит.)

К треску пишущей машинки присоединяется кошачье мяуканье. Мария Яковлевна трет виски. Трясет головой.

Мария Яковлевна. Видимо, давление...

Открывает большой старый холодильник, что-то достает, что-то туда засовывает. Бормочет. Треск машинки обрывается. Входит Наталья Ивановна.

Наталья Ивановна. Доброе утро, Мария Яковлевна.

Мария Яковлевна. Доброе утро, Наталья Ивановна.

Наталья Ивановна. Вы еще не варили кофе?

Мария Яковлевна. Сейчас сварю...

Наталья Ивановна (садится). Спасибо. Опять почти не спала. Я иногда завидую простым людям, у которых простая физическая работа. Рабочие, должно быть, спят крепко...

Мария Яковлевна хватается за виски.

Мария Яковлевна. А вы не чувствуете, Наталья Ивановна, как будто немного трясет... Вибрация какая-то...

Наталья Ивановна. Нет, не чувствую... А сливки есть?

Мария Яковлевна. Определенно какая-то вибрация. Как это вы не чувствуете?

Наталья Ивановна. Так о чем я... Да, рабочие, должно быть, спят крепко.

Мария Яковлевна. Молочница вчера приходила. Мы ей уже сорок долларов должны.

Наталья Ивановна. Валентина Никитична? Так отдайте ей. И почему молочнице нужны доллары? Впрочем, она милая старушка. Отдайте ей ее доллары...

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Мария Яковлевна. Наталья Ивановна! Валентина Никитична, милая старушка, восемь лет как умерла. Давно уже другая молочница ходит. Расходы были большие на этой неделе. И все деньги вышли.

Наталья Ивановна. Какие такие особенные расходы? Живем, как всегда жили...

Мария Яковлевна. Вы мне не доверяете? Я говорю – большие расходы! Три тысячи рублей в контору отдала за общую охрану – раз! Закупки для Пасхи делала – два! Я купила себе новые галоши. Да! Неужели я не заслужила за тридцать лет жизни в вашем доме новых галош?

Наталья Ивановна. Маканя, помилуйте! Что вы такое несете? Какие галоши? Просто пятьсот долларов в неделю на хозяйство – большая сумма. Мне кажется...

Мария Яковлевна. Когда-то и пятьдесят рублей была большая сумма! У меня в пятьдесят девятом году в профсоюзах зарплата была триста семьдесят пять рублей, а потом стала тридцать семь рублей пятьдесят копеек, и хватало!.. Большая сумма!

Наталья Ивановна. Конечно, это были другие деньги. Папа получил Сталинскую премию, и ему тогда дали сто тысяч! И это были о-го-го какие деньги!

Мария Яковлевна. А пятьсот долларов в неделю на нашу семью... поверьте, я на всем экономлю! Килограмм кофе в зернах стоит двести рублей, у нас выходит два килограмма в неделю одного только кофе... А я пью чай!

Наталья Ивановна. Да полноте! Меня вообще это не интересует...

Мария Яковлевна. А меня интересует! Потому что я тридцать лет с вами живу ради моего брата! Уже пятнадцать лет, как он ушел от нас, а я все живу с вами... в память Николая... Потому что в доме никто, буквально ни один человек не знает, сколько стоит килограмм кофе! Я стала домработницей! Я потеряла профессию, я не выслужила пенсию... всю жизнь я служу вашей семье, и вы мне говорите, что сумма большая... У меня есть записи... Все расходы... (Вскакивает.) Ой, кофе убежал! (Ставит кофейник на стол.) Пожалуйста! Кофе. Пожалуйста! Сливки! (Плачет.)

Наталья Ивановна. Боже мой, Маканя! Умоляю вас! Какие записи? Как вы можете произносить такие ужасные слова? При чем тут домработница? Мы всегда держали домработницу, пока вас не было! Вы же сами так решили! Вы меня совершенно неправильно поняли. Простите меня, я вообще не хотела... и в мыслях не держала вас обидеть.

Мария Яковлевна. Покойный брат Николай... пригласил меня... я дала ему слово, что...

Наталья Ивановна. Мария Яковлевна! Простите, если я вас обидела. Я устала смертельно. Я спала сегодня два часа, и я работаю... я единственная, кто в нашей семье работает.

Мария Яковлевна. Вот, вот, вот именно! А я что, не работаю?

Далее женщины говорят одновременно.

Наталья Ивановна. Я перевожу как машина... Сотни книг, сотни! Я переводила с французского, с итальянского, даже с испанского, которого совершенно не знала! Спасибо, Дюдя помогал! Я переводила детективы, справочники, учебники, пособия, инструкции, приложения, положения... А теперь я вынуждена переводить на английский! Вы думаете, это просто? Я всегда содержала семью! И при покойном Николае содержала!

Мария Яковлевна. Ростик первый год болел животом, а у Лели был диатез... То в очереди, то в ромашке... Бутылочки я всегда стерилизовала! И пеленки с двух сторон... Хорошо еще, были продуктовые заказы у брата Николая в Институте марксизма-ленинизма...

Наталья Ивановна. Еще студенткой я давала уроки! Всю жизнь частные уроки!

Мария Яковлевна. В закрытом распределителе...

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Наталья Ивановна. Я не успевала выучить язык и уже давала уроки! Три рубля в час! В будние дни по вечерам, а в воскресенье с утра до вечера!

Мария Яковлевна... прекрасные были продукты... Сырокопченая колбаса, осетрина, шоколад «Красный Октябрь»... А какие ангины были у Вавочки! А Лизочкины запоры! Она же по пять дней не садилась на горшок! Какие деньги?

Пауза. Диалог продолжается.

Наталья Ивановна. Маканя! С вами невозможно разговаривать! Никакой логики. Я о деньгах вообще ни слова не говорила. Я говорю только о работе. В нашей семье никого никогда деньги не интересовали!

Мария Яковлевна. Брата Николая действительно деньги не интересовали! Он писал исследования о Марксе, об Энгельсе, о Лассале, о Каутском... И куда теперь все? Пропало! И ни наград, ни премий! Все ради блага страны!

Наталья Ивановна. Когда папа получил Сталинскую премию, он даже не знал, что за нее полагается сто тысяч рублей! Потому что Лепехины всегда были работники – отец, дед, прадед! Все трудились от зари до зари. А теперь... я живу в семье, где никто не хочет трудиться. Один Ростислав трудится. А девочки... Одна молится, вторая принимает позы... А Лизочка совсем не занимается... Как она сессию сдаст?

Мария Яковлевна. Ну и что, молится? Не пьет, не курит! Может, она верующая, чего ж ей не помолиться? Хотя я лично этого не понимаю. А вот брат Николай... не знаю, как бы он это пережил. А Леля ищет работу! Хорошая работа на дороге не валяется! Не на телеграф же ей идти с тремя языками?

Наталья Ивановна. Кофе остыл...

Мария Яковлевна снова ставит кофейник на огонь.

Мария Яковлевна. Я что скажу? Брат Николай преподавал диалектический материализм и всегда говорил, что диалектика – мать всех наук! А диалектика в том и заключается, что все в развитии... что вчера было хорошо, то сегодня плохо... что сегодня хорошо, завтра опять плохо... Все в развитии... Все хуже и хуже... Кофе убежал! Но не весь!

Мария Яковлевна наливает кофе и ставит чашку перед Натальей Ивановной. Обе устали – заряд кончился.

Пауза.

Обе пьют кофе.

Наталья Ивановна. А Лиза все-таки очень мало работает... Когда я училась в университете, буквально от стола не отходила.

Входит Константин. Кивает. Пьет воду из-под крана. Зажигает свет. Открывает холодильник.

Мария Яковлевна. Осторожно с дверкой! Она плохо захлопывается!

Константин достает круг колбасы, отрезает от него кусок, потом с грохотом захлопывает холодильник. Жуя, подходит к компьютеру, садится, надевает наушники.

Мария Яковлевна. Не здороваются.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Наталья Ивановна. Не обращайтесь внимания.

Мария Яковлевна. Не могу привыкнуть.

Наталья Ивановна. За восемь лет могли бы и привыкнуть.

Мария Яковлевна. Чего Леля в нем нашла?

Наталья Ивановна. И за восемь лет ни одного дня не работал. Музыкант!

Константин снимает наушники, звучит агрессивная барабанная атака. Наталья Ивановна и Мария Яковлевна продолжают говорить, их не слышно. Они как будто примиряются. Наталья Ивановна встает из-за стола, они обнимаются, целуются. В этот миг гаснет свет. Музыка обрывается.

Константин. Гвоздец!

Наталья Ивановна, Мария Яковлевна (хором, укоризненно). Константин!

Наталья Ивановна уходит.

Открывается дверь – Елена и Семен с вантузом.

Слышен благовест.

Константин. Все пропало! Опять!

Елена. Не убивайся так, Костик! Еще не все... Вот, Маканя, привела к тебе Семена. Там в конторе на него очередь стоит!

Мария Яковлевна. Спасибо, Семен. Мы вам очень благодарны. Не знаю, что бы мы без вас делали!

Константин. Проклятое электричество...

Семен. Что всегда, то бы и делали... Восемь заявочек с утра, это точно. Но я говорю – Лепехины у меня в первую голову. Всем говорю. Ну, чего там? (Подходит к уборной.) Ой-ей-ей!

Бульканье, звяканье инструментов, пробивается стрекот пишущей машинки, трели мобильного телефона. Звонит и второй телефон – городской. Елена снимает трубку.

Елена. Да, привет, Сонечка! Нет, мы в городе давно не живем. Городская квартира сдана. Да, англичанин живет. Нет, совершенно не милый. Крыса старая. Чем-то торгует. Нет, нет. Этим Ростислав занимается. Это какой-то его знакомый, братец нам жильца нашел. Спасибо, Сонечка. Нет, испанского я не знаю. Нет, я бы с итальянским не хотела, ну, я забыла уже. С французским – пожалуйста. Можно английский. Сколько? Ты смеешься? Каждый день отсюда тащиться в город за такие деньги? Ну, спасибо, конечно, что вспомнила, но это просто никакое предложение. Совсем никакое... Пока. Спасибо, что позвонила. (Марии Яковлевне.) Работу предложили. За пятьсот долларов сидеть в конторе пять дней в неделю с десяти до шести... Перекладывать бумажки и отвечать на телефонные звонки...

Елена вынимает пульверизатор с духами, брызгает на руки, нюхает. Константин принимает позу дерева и замирает.

Мария Яковлевна. Ты отказалась?

Елена. Угу... Вообще-то им нужен итальянский и испанский...

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Мария Яковлевна. Странно. Испанский – совсем уж лишний язык.

Елена. У нас только Дюдя знает испанский. И мама немного. Да хоть бы и знала – не за пятьсот же долларов...

Мария Яковлевна. Наверное, ты права... Когда я работала в профсоюзах, давали контрамарки в театр, бесплатные путевки...

Елена. Труд без поэзии, без мысли... Ужасно надоела эта проклятая дачная жизнь. Здесь на работу невозможно устроиться... Пора кончать.

Мария Яковлевна. Ты хочешь, чтобы мы опять переехали в Москву?

Елена. Нет. В Москву не хочу. Я хочу в Париж...

Константин (не меняя позы). В Китай... Или в Индию...

По лестнице спускается Лиза с мобильным телефоном в одной руке и плиткой шоколада в другой.

Лиза. Париж – грязный вонючий город! Весь в собачьем дерьме. Французы твои – надутые скупердяи... И Париж твой – дешевка и показуха... Самый фальшивый город на свете. (Набирает номер.) Вера? Новый оператор? Хорошо. Восемнадцать двадцать два. Ближайшие два часа не соединяйте. Нет, только кредитные карточки.

Елена. То ли дело твой Амстердам, да?

Лиза. Да уж конечно, Амстердам повыше стоит... дерьмового твоего Парижа...

Константин (все еще в позе дерева). В Индию! Всем надо в Индию! В ашрам!

Мария Яковлевна (замечает шоколад). Лизочка, воздержись!

Раздается грохот, появляется Семен с разбитым бачком. Мария Яковлевна отрывается от огромной миски, в которой что-то размешивает. Снова включается электричество. Константин надевает наушники, кивает в такт неслышимой музыке. Потом, не снимая наушников, идет к холодильнику, снова достает круг колбасы, отрезает большой кусок, жует. Садится за свой стол.

Семен. А по мне, Франкфурт всего лучше. Я там три года на заработках был... Вообще-то за границей давно уже все в полной комплектации... В Германии с питанием лучше всего мне понравилось. Да и климата нашего не могу одобрить... Конец апреля, а холод собачий... А у них там все цветет, пахнет... тьфу! (Ставит на стол две половины сломанного бачка.) Все, Мария Яковлевна! Гвоздец!

Мария Яковлевна, Лиза, Елена (хором). Семен!

Лиза принимает миску из теткиных рук и начинает месить. Пробует тесто.

Мария Яковлевна. По часовой стрелке...

Семен. Конец пришел, говорю. Всему приходит конец. Все сгнило. Вентиль не работает, проржавел. Я заглушку поставил.

Лиза. А если против часовой, тогда что? (Месит против часовой стрелки.)

Мария Яковлевна. И течь больше не будет?

Семен. Да чему ж течь? Вы прям как дитя. Я ж говорю, воду перекрыл. Если в кране нет воды, воду выпили жида.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Мария Яковлевна. Семен! Что вы говорите? При чем тут жиды?

Семен. Десять долларов с вас, Мария Яковлевна.

Мария Яковлевна. За что, Семен?

Семен. За демонтаж оборудования.

Лиза (облизывает ложку). Тесто вкусное... Мне вообще сырое тесто больше печеного нравится.

Мария Яковлевна. Но вы же на прошлой неделе взяли десять долларов за починку!

Семен. Так я ж вам говорил – чинить не имеет смысла.

Мария Яковлевна. А что же делать?

Семен. Что делать, что делать... Продавать эту дачу надо. Сгнила вся. Вон, Левинсоны продали. И академик Тришкин.

Мария Яковлевна. Тришкин – это такой высокий, на том краю? (Показывает.)

Семен. Нет, маленький, на том краю (показывает в противоположную сторону). Это, который свой гектар нарезал на участки по шесть соток, а только дорожку к своей двери оставил.

Мария Яковлевна. Куда же очки задевались?

Елена встает и направляется к себе.

Семен (почти кричит). Лель, ты говорила, там окно у тебя не закрывается... Могу посмотреть.

Елена. Какой ты резвый, Семен!

Поднимаются по лестнице. Слышны несколько ударов молотка. Новый яростный вопль кошки.

Лиза. И чего она так убивается?

Мария Яковлевна. Надо ему сказать, чтобы он сделал дверь.

Лиза. Какую дверь, Маканя?

Мария Яковлевна. Дверь в уборную. Во дворе.

Лиза. А вы отсюда снимите и туда навесьте. Я говорю, чего Мурка так орет? А завтракать сегодня будем?

Вынимает плитку, но не успевает ее распечатать.

Мария Яковлевна. Лиза! Воздержись! Скоро будем завтракать. Все куда-то разбрелись...

Лиза (выглядывает в окно). Бедная кошка! Сидит на дереве одна-одинешенька. Мне кажется, она просто залезть залезла, а слезть сама не может.

Константин идет в неработающую уборную, забирает оттуда два рулона туалетной бумаги и выходит во двор, продолжая жевать колбасу. Лиза ест ложкой тесто из миски. Мария Яковлевна в задумчивости грызет яблоко. Лиза ставит чайник на плиту.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Лиза (вслед Константину). Костя, сними Мурку с дерева, а?

Мария Яковлевна. Надо кому-то пойти за творогом...

Лиза молчит.

Мария Яковлевна. На сырную пасху надо три килограмма творогу...

Лиза. Я чайник кипячу.

Мария Яковлевна. В такие дни обычно быстро разбирают...

Лиза. Я привезла яйца. Я свой вклад яйцами вложила... (Кудахчет, изображая курицу.)

Мария Яковлевна. Лизик, у тебя просто талант! Ты могла бы стать актрисой, ей-богу...

Продолжая квохтать, Лиза ковыряется рукой под юбкой и вытаскивает оттуда яйцо. В кухню входит Андрей Иванович. Треск пишущей машинки.

Андрей Иванович. Ну, ты как всегда валяешь дурака, племянница?

Лиза. Нет. Я как раз не валяю дурака. Я на полном серьезе.

Андрей Иванович. Н-да... Русский человек любит прикидываться дурачком...

Лиза. Вон Варвара из церкви идет...

Андрей Иванович. А как насчет завтрака?

Мария Яковлевна. Восемь фунтов – это три килограмма творогу, и два фунта сметаны – это восемьсот граммов, и два фунта сливочного масла...

Андрей Иванович. Я пройдусь перед завтраком...

Снимает с вешалки старый плащ, шляпу, медленно одевается. В дверях сталкивается с Варварой.

Варвара. Добрые люди уже отобедали, а у нас еще завтрак не подавали...

Мария Яковлевна. Вавочка, не сходишь ли в магазин за творогом...

Варвара. Нет, Маканя. Мне надо отдохнуть, я пять часов в церкви отстояла. Сегодня Страстной четверг.

Треск пишущей машинки замирает. Одновременно появляются Наталья Ивановна и Семен.

Наталья Ивановна. Что, обед еще не готов?

Андрей Иванович. Еще завтрак не готов.

Наталья Ивановна. А-а... (Уходит.)

Семен (Андрею Ивановичу). Хотел я вам сказать, Андрей Иванович... тут дела такие разворачиваются... Слыхали?

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Вместе уходят. Варвара наливает кипяток из чайника в стакан.

Мария Яковлевна. Вавочка, ты там ходи осторожно. Там на полу осколки...

Варвара присаживается к краю стола.

Мария Яковлевна. Ты такая бледная, Вавочка? Ты неважно себя чувствуешь?

Варвара. Ты единственный человек в нашей семье, с кем можно разговаривать.

Лиза. А я? Очень многие люди, особенно мужского пола, обожают со мной разговаривать...

Варвара. Оставь свою клоунаду, Лиза.

Звонит мобильный телефон.

Лиза. Вот видишь – особи мужского пола обожают со мной разговаривать. (Включает телефон и прижимает к уху, мурлычет протяжно.) Алле-е... Я рада, что ты мне позвонил... У тебя такой приятный голос... А мой голос тебе нравится, правда ведь? (Поднимается по лестнице.)

Варвара. Маканя, я больше не могу здесь жить. Все.

Мария Яковлевна. Вавочка, ну что же делать? Московская квартира сдана, и если мы переедем в город, нам совершенно нечем будет жить...

Варвара. В Москве вообще невозможно жить... Ты помнишь, какая прелесть была наша Старая Басманная? Во дворе огромные липы... А теперь из одного окна стройка, из другого этот кошмарный дом с новыми русскими... Нет. Я бы поехала куда-нибудь в провинцию, в старый русский город... Где люди неиспорченные... куда не добралась вся эта мерзость...

Гаснет свет.

Константин вскакивает, срывает наушники.

Константин. Гвоздец!

Варвара, Мария Яковлевна (хором). Константин!

Константин. Опять вырубил! Все пропало! Опять!

Мария Яковлевна (щелкает несколько раз выключателем). Действительно... Выключили...

Константин. Все пропало! Три часа работы! (Уходит.)

Варвара. Сумасшедший дом. Хоть в монастырь уходи...

Вибрация отбойного молотка, на этот раз сильнее.

Варвара. Что это?

С улицы входит Андрей Иванович, медленно раздевается.

Мария Яковлевна. Ты слышишь? Ты чувствуешь? Я Наталье Ивановне давно уже

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru говорила про этот отвратительный звук! А она его не замечает... Ты помнишь, здесь раньше был военный завод. Мне кажется, они его опять открыли, но теперь под землей...

Варвара (крестится). Страна пропадает. Кто мог это предвидеть? Сто лет тому назад в наших местах была нетронутая природа, березовые леса и боры... А теперь ни одной сосны... А сады? Какие сады были! Когда прадед купил здешнюю усадьбу, здесь были сады, известные по всей России.

Мария Яковлевна. Значит, не я одна, ты тоже эту вибрацию чувствуешь, а?

Андрей Иванович. Варя, ты бы Чехова почитала. Антон Павлович, конечно, многое насочинял, где-то очернил, где-то приукрасил, а кое-что, наоборот, возвысил до чрезвычайности, но уж что касается садов – извини... Когда Лепехин здешние земли покупал, сады уж окончательно выродились. Что же касается усадьбы, то усадьбу он как раз и не покупал. Он ее взял в приданое за своей женой, которая была этой усадьбы наследницей... Бабушка Аня... У мамы спроси, у нее все записано.

Варвара. Ой, эта старая песня...

Андрей Иванович. А дед твой, мой батюшка, академик Лепехин, селекционер, все хотел здешнюю породу вишни восстановить, однако не удалось...

Мария Яковлевна. Вот особенно когда здесь стоишь, просто трясет и трясет...

Варвара. Не говори мне про него. Это позор. Слава богу, у нас фамилия другая... Впору было бы менять...

Андрей Иванович. А вот это глупости... Родителей нельзя стыдиться. Это грех. Твой дед Иван Ермолаевич Лепехин всю жизнь трудился. Ну, с вишней у него не получилось, зато новый сорт киви вывел, и крыжовник «Заря коммунизма» очень хорош был.

Варвара. Это которого два куста за старой уборной?

Андрей Иванович. В свое время вся страна его сажала...

Варвара. Ну да, а сам он генетиков сажал! Соседи с ним не разговаривали!

Андрей Иванович. Соседи! Что ты хочешь от соседей? В России соседи всегда сволочи! Кто усадьбы жег? Соседи! Кто доносы писал? Соседи! Кто полстраны посадил? Соседи!

Варвара. Неправда, дядя! Соседи – это общественное мнение! А деда – не любили, да.

Андрей Иванович. Да что ты так взъелась, Вава? Ты думаешь, твоего отца соседи любили? Он что, папаша твой, Николай Яковлевич Дворянкин, большой славой себя покрыл?

Мария Яковлевна. Андрей Иванович! Как это вы себе позволяете такое говорить?

Андрей Иванович. Я только говорю, что дети должны родителей почитать. Грех родителей не почитать... Не правда ли?

Варвара. Дюдя, только ты мне про грех не говори, ладно? Что твое поколение про грех знает? Вы же поколение невинных людей: никто ни в чем не виноват! Такую страну разрушили!

Мария Яковлевна. Брат Николай был кристальной чистоты человек! Настоящий коммунист! В нашей семье...

Варвара. Маканя! Помолчи, ради бога!

Андрей Иванович. Мария Яковлевна, вы переходите границы... У нас в семье были крестьяне, купцы, дворяне были, но коммунистов – никак нет-с! Коммунисты – это с вашей стороны! А ты, Вавочка, напрасно так горячишься. Не надо идеализировать прошлое. И не надо идеализировать будущее.

Достает из кармана пальто бутылку водки, Мария Яковлевна замечает.

Мария Яковлевна. Вы ходили в магазин!

Андрей Иванович. Ну, ходил!

Мария Яковлевна. Так почему же вы не купили творогу для сырной пасхи?

Андрей Иванович. Мария Яковлевна, голубушка! Я вышел погулять перед завтраком... Пройтись... Я и не собирался в сторону магазина. Но за мной увязался Семен... (Раскупоривает бутылку, открывает дверцу буфета, она падает. Он ищет рюмку в буфете, достает, ставит дверцу на место.) И он рассказал очень интересные вещи. Оказывается, в нашем поселке за эту зиму проданы двадцать четыре дачи. И цены на наши участки падают, потому что мы стоим на какой-то красной черте. Какая-то реконструкция, перестройка и ускорение... Кстати, куда делось ускорение? Перестройка осталась, а ускорение куда-то делось... (Наливает рюмочку, выпивает.) Тогда же еще и трезвость хотели ввести... а с этим в России шутить нельзя! Впрочем, это еще при позапрошлом царе было...

Мария Яковлевна. Вавочка! Что он говорит? При каком царе? С царской властью было покончено в семнадцатом году... У него что-то с головой...

Варвара. Дюдя! Какой ты все-таки циничный человек...

Андрей Иванович (смеется). Вавочка, ласточка моя! Я не циничный человек. У меня нежная душа. Просто я... ты же знаешь, русский человек любит прикидываться дурачком... А? Так что там с завтраком? Хоть закусить-то дайте... (Садится за пианино, играет. Из Бетховена. Нечто патетическое.) Изумительная! Нечеловеческая музыка! Не правда ли – русскому человеку в высшей степени свойствен возвышенный образ мыслей! И трезвость!

На музыку из всех дверей сходится семья: Наталья Ивановна, Лиза, Елена с Константином о м. Константин отодвигает от стола один из стульев.

Мария Яковлевна. Осторожно! Не трогайте! Этот стул не трогайте! Вчера от него отломилась ножка. Я ее под буфет спрятала!

Константин молча переворачивает стул вверх ножками и обиженно садится к компьютеру. Остальные рассаживаются вокруг стола. Неожиданно загорается висящая над столом лампа. Константин надевает наушники. Потом снимает – раздается мощный бит.

Варвара. Я, пожалуй, есть не буду...

Наталья Ивановна. Посиди с нами, Вавочка. У меня прекрасная новость. Сегодня я закончила перевод четвертого тома!

Андрей Иванович. За это следует выпить!

Наталья Ивановна. Дюдя!

Андрей Иванович. Нет, Наток, нет! Я чисто теоретически...

Наталья Ивановна... четвертого тома собрания сочинений Евдокии Калугиной, нашей знаменитой соотечественницы...

Лиза. «Любовь в аду», «Содом в раю», «Прах девственницы», «Трах нравственности»...

Наталья Ивановна. Лиза, не будь злой...

Андрей Иванович. Так выпьем за нашу знаменитую соотечественницу, за нашу

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru родственницу, за твою невестку Евдокию Калугину! (Наливает.)

Наталья Ивановна. Ну к чему эта ирония? Евдокия Калугина, то есть наша Аллочка, – прекрасный человек. И замечательная писательница! В любом книжном магазине, во всех ларьках, на железнодорожных станциях, в аэропортах – всюду стоят тысячи ее книг! Ее любят миллионы... Она народный – да, именно народный писатель! И прекрасная жена Ростиславу! И прекрасная мать своих детей!

Лиза. Пронесли... Белинского и Гоголя уже пронесли с базара... А теперь несут Евдокию Калугину... Большими миллионами тиражей. Со всех базаров нашей необъятной родины и ближнего зарубежья...

Наталья Ивановна. К чему эта ирония, Лиза? Да, Евдокию Калугину теперь прочтут и в Америке, и я не стыжусь, что трачу на этот перевод силы...

Елена. Мама, а она заказала тебе перевод этих двенадцати томов, уже имея договор с каким-нибудь издательством, или за свой счет на английском языке издавать будет?

Наталья Ивановна. Леля, на книгах Калугиной ни одно издательство не прогадает... Их разбирают как горячие пирожки...

Мария Яковлевна. Надо, чтобы кто-нибудь сходил в магазин и купил творогу. Леля, может, попросишь Константина?

Константин (от компьютера). У меня программа загружается...

Наталья Ивановна. Я уверена, что книги Калугиной на Западе тоже будут иметь успех. Люди всюду одинаковы... А она такая человеческая, добрая, и книги ее... ну, как бы это выразиться... не вредны. И даже полезны!

Мария Яковлевна. О боже, каша подгорела!

Вскакивает, снимает кастрюлю с плиты.

Елена. Почему каша? Мы завтракаем или обедаем?

Лиза. А который час?

Андрей Иванович. Пятый...

Варвара. Мама, ну что ты говоришь! Какая польза? Обычная макулатура! Великая русская литература воспитывала в поколениях бодрость, веру в лучшее будущее, воспитывала идеалы добра и общественного самосознания...

Андрей Иванович. В шестом часу, конечно, уже можно поесть супу...

Варвара. А тебе, дядя, лучше бы помолчать...

Мария Яковлевна. Я с половины пятого на ногах! Я не варила суп, я ставила куличи!

Варвара... а книги Евдокии Калугиной – пошлость. Обыкновенная пошлость! Я не буду есть. Простите меня... (Уходит.)

Андрей Иванович (тихо). Охфелия, иди в монастырь.

Лиза. А сыр есть?

Мария Яковлевна. В холодильнике колбаса. Сыр съели.

Лиза достает из холодильника остаток колбасы.

Лиза. И колбасу практически съели.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Наталья Ивановна (вслед Варваре). Вавочка! Но ты не права...

Мария Яковлевна. Совершенно нервы расстроены... Вава переутомлена... И потом, она же совершенно ничего не ест. Весь пост она совершенно ничего не ест! Ужас какой-то!

Андрей Иванович. Я же говорю – русскому человеку в высшей степени свойствен возвышенный образ мыслей.

Константин. Сосредоточь внимание между бровями, и пусть ум будет прежде мысли.

Лиза. Кто это всю колбасу съел?

Мария Яковлевна. Да, да. И Николай Яковлевич тоже говорил, что русский человек стихийный материалист!

Лиза. Маканя, не говори так, Вава очень расстроится, если услышит.

Наталья Ивановна. У Вавы с отцом были близкие отношения, они были очень дружны...

Мария Яковлевна. Он был настоящий коммунист и свято в это верил...

Лиза. Вава у нас тоже свято верит.

Андрей Иванович. Каша-то пригорела.

Мария Яковлевна раскладывает кашу по тарелкам, пробует.

Мария Яковлевна. Нет, ничего... Не пригорела...

Андрей Иванович. Наток, а сколько Варваре лет?

Наталья Ивановна. Тридцать два.

Андрей Иванович. Н-да... То-то и оно...

Наталья Ивановна. Ну и что? Я родила Лизу, когда мне было за сорок!

Лиза. У вас было плохо с противозачаточными средствами...

Мария Яковлевна (с аппетитом ест кашу). Что она говорит? Лиза, что ты говоришь?

Лиза (ест бутерброд с колбасой). Маканя, я имею в виду, что происходит вырождение. Обратите внимание: Андрей Иваныч, дядя, старший в семье, профессор математики, знаток музыки, любитель испанской литературы, ценитель балета, в сущности, даже красавец... дальше мамочка – высокая, красивая, талантливая, владеет пятью иностранными языками как не фига делать, очень добрая и чудесная мамочка родила первого сына Ростислава, высокого, красивого и исключительно делового, потом Варвару, у нее тоже хорошая фигура, вполне приятная внешность и к тому же она у нас самая духовная, но уже что-то не то... Дефицит жизненных сил. Живет и надрыдается... Третья Елена – красавица, но средних способностей и полностью лишена духовного начала... Заботится исключительно о теле. Зато здоровье хорошее. Правда, Леля? Я же правду говорю?

Елена. Мели, мели...

Лиза. И наконец, я! Дитя престарелых родителей. Рост один метр пятьдесят два сантиметра. Толстая. Внешность – от-вра-ти-тельная! Зрение – минус шесть с половиной! Диабет и порок сердца...

Мария Яковлевна. Лизочка! Но ведь компенсированный! Порок компенсированный!

Лиза. Подожди, Маканя, дай мне закончить выступление. И все, что мне досталось от богатства предков, – немного серого вещества! Надо сказать спасибо родителям, что они не родили еще и пятого... Он уж точно был бы ментальным инвалидом!

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Наталья Ивановна. Какие глупости ты говоришь, Лизочка!

Андрей Иванович. Лизочка, ты прелесть! Если б я был молодым человеком, я бы непременно в тебя влюбился.

Лиза. Неправда, Дюдя! Когда ты был молодым человеком, ты влюбился в Железную Жизельку!

Наталья Ивановна. Лиза!

Лиза (встает на стул и делает ласточку. Стул под ней трещит и ломается. Лиза встает как ни в чем не бывало). Конечно, она весила сорок килограммов, и стулья под ней не рассыпались...

Наталья Ивановна. Прекрати клоунаду!

Андрей Иванович (подходит к буфету, наливает рюмочку). Я передумал, Лиза. Если я когда-нибудь опять буду молодым, я снова влюблюсь в балерину. Эти умницы все такие глупые...

Наталья Ивановна. Дюдя!

Лиза. А балерины?

Андрей Иванович. Балерины стервы, но очень женственны... В них есть что-то испанское...

Звонит мобильный телефон. Лиза отвечает.

Лиза (мурлычет). Да... Я так рада, что ты позвонил... (Идет к лестнице, поднимается.) У тебя такой приятный голос. Возбуждающий голос... И такой мужественный...

Лиза поднимается по лестнице в мезонин.

Елена. Скучно. Может, съездим в город...

Константин. Зачем ехать? Надо постоять в позе дерева.

Оба становятся в позу дерева.

Мария Яковлевна (Наталье Ивановне). Я давно замечаю, что... Мне кажется, у нее роман...

Стук в дверь, входит Семен и втискивает в дверной проем снятую с петель дверь.

Семен. Вот.

Мария Яковлевна. Что – вот?

Семен. Дверь. Принес. Хорошая дверь. Никак обедаете? Я попозже зайду.

Мария Яковлевна. Зачем попозже? Мы уже поели. Не хотите ли вот каши? (Принюхивается.) Чем это от вас пахнет?

Семен. Не, благодарствуйте. Мы там уже с ребятами...

Наталья Ивановна. Зачем нам дверь?

Семен. Дуб. Отменный материал. Сто лет простоит. (Замечает Елену с Константином в позе дерева.) Чего это с ними?

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Андрей Иванович. Китайские упражнения.

Семен. Ну Ленка дает!

Мария Яковлевна (догадывается первая). А, это дверь для уборной?

Семен. Так сами же заказывали.

Наталья Ивановна. Семен! У нас есть дверь в уборной.

Семен. Так то в доме. А на улице в уборной – нет.

Андрей Иванович (осматривает дверь). Действительно, хорошая дверь.

Семен. Я и говорю. Сто долларов всего. А такая новая двести стоит!

Елена и Константин давятся от смеха, зажимают друг другу рты. Мария Яковлевна принохивается.

Семен. Я вам ее поставлю в той уборной, и будете туда ходить. Недорого возьму за работу.

Андрей Иванович. А что, уборную в доме нельзя починить?

Мария Яковлевна. Пахнет селедкой! Ну да, от вас, Семен, пахнет селедкой!

Семен. Чего же плохого в селедке?

Андрей Иванович. Все-таки в этом доме всегда была канализация...

Семен. Смысла нет. Дача вся сгнила, трубы – одна ржавчина. А я вам эту дверь на сортир навешу, сто лет на дворе простоит!

Андрей Иванович. А чего вы ее в дом приволокли?

Семен. Для показу.

Константин. Чувствуй космос как прозрачное вечно живое присутствие.

Семен. Чего ты сказал?

Константин. Шива сказал.

Семен. Сам ты вшивый... Чего это он?

Андрей Иванович. Слушайте, Семен, она не годится. Там дверка, я помню, маленькая была. А эта парадная, большая дверь.

Мария Яковлевна. Хорошая дверь! Очень хорошая дверь!

Семен. Большое дело! Велика – не мала. Проем дверной можно и побольше прорубить, под размер. Дверь-то больно хороша. Второй такой не будет. Ну пошли, по месту посмотрим...

Взваливает на спину дверь, долго вписывается с ней в дверной проем. Выходит.

Андрей Иванович. Ну пошли, посмотрим...

Выходит следом.

Наталья Ивановна. Иногда мне кажется, что весь мир сошел с ума...

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Мария Яковлевна. Кажется, дождь собирается...

Лиза (спускается с лестницы под зонтом). Дождь уже не собирается. Льет со страшной силой. А крыша протекает как решето... Где таз?

Наталья Ивановна. Слышите? Где-то капает... Зачем тебе таз? Ты что, собралась голову мыть?

Мария Яковлевна. Это на мезонине капает.

Лиза. Маканя! Ты посмотри, по стене течет...

Мария Яковлевна. Действительно! И около двери лужа! Сейчас я принесу тазы. У нас в чулане много старых тазов...

Мария Яковлевна выходит.

Елена. Пойдем погуляем, Костя. Я так люблю дождь.

Константин. Не пойду. Мне работать надо...

Елена. Всем работать надо. Ну, выйдем ненадолго, а то ты все работаешь и работаешь. Никакого от тебя проку.

Мария Яковлевна возвращается с тазами и тряпкой, Лиза берет один из тазов и уходит вверх, Мария Яковлевна ставит стул возле двери, на него таз. Звонкая капель. Новая рулада кошки.

Мария Яковлевна. Если поставить на пол, все будут его переворачивать у двери...

Наталья Ивановна. Бедное животное... Почему она так орет?

Елена. Она сидит на дереве и не хочет слезать.

Наталья Ивановна. Не понимаю. Почему она не слезает? Ведь дождь...

Елена. Может, ей там нравится...

Наталья Ивановна. Выше моего понимания... (Уходит.)

Елена. Пошли, погуляем. Ты снимешь кошку с дерева...

Константин. Не пойду. Может, ей там нравится...

Елена (хрипло мяукает). Мяу! Пошли! Ну, котик!

Константин снимает с вешалки плащ, берет зонтик.

Мария Яковлевна. Леночка, посмотри, пожалуйста, мне кажется, тазик худой. Из него на пол течет.

Елена. Какая разница? И так течет, и так течет...

Елена и Константин выходят на улицу.

Мария Яковлевна (кричит в ужасе). Ой, моя опара! Я совсем забыла! Она поднялась и осела! Что теперь делать? Все погибло! Наташа! Наташа!

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Вбегает Наталья Ивановна.

Наталья Ивановна. Что случилось, Маканя?

Мария Яковлевна. Пропало! Все пропало!

Наталья Ивановна. Что?

Мария Яковлевна. Опара пропала! Теперь тесто не выходит. Куличи пропали!

Наталья Ивановна. Что куличи? У меня сегодня весь день пропал!

Входит Андрей Иванович с Семеном, уже без двери, натываются на стул с тазом.

Мария Яковлевна. Осторожно, там тазик!

Семен. Да у вас крыша течет.

Наталья Ивановна. Как же так? Вы же в прошлом году чинили...

Семен. А ее чини не чини... Смысла нет. Менять надо. Я в том году только покрыл, где уж совсем сгнило. А по-хорошему надо новую крышу... Или дом сносить. Может, оно и дешевле будет.

Андрей Иванович. А дверь в самый раз пришлось. Тютелька в тютельку...

Семен. На той неделе навешу...

Мария Яковлевна. Как это на той неделе? А как же мы будем жить – без уборной?

Семен. Не, после Пасхи... Я сегодня занят. С утра было восемь заявок, а я тут с вами провозился, так что заявки не успел. С вас сто долларов за дверь... ну и за работу сколько не жалко...

Наталья Ивановна. Какое-то безумие... Так жить нельзя... (Уходит.)

Мария Яковлевна. А почему так дорого, Семен?

Андрей Иванович садится к пианино, играет из Бетховена.

Семен. Да жизнь дорога стала, Мария Яковлевна!

С улицы раздается кошачий вопль и рев Константина, через минуту с улицы влетает Константин с окровавленной рукой, за ним Елена, опрокидывают стул с тазом.

Мария Яковлевна. Осторожно! Боже! Что случилось?

Константин. Рука! Рука!

Елена. Эта кошка просто идиотка! Костя залез на дерево, чтобы ее снять, а она его посмотри как цапнула! До кости! Где йод?

Константин. Ой, рука! Черт меня дернул! Орала себе и орала бы... А я теперь работать не смогу! Больно, черт!

Мария Яковлевна. В аптечке! В аптечке, Лелечка!

Елена бросается к аптечке, вытаскивает оттуда какие-то пузырьки.

Елена. Здесь валокордин. Пять... восемь пузырьков валокордина! Никакого йода! И

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
бинта нет! Дайте хоть носовой платок, Господи!

Андрей Иванович играет на пианино «Вы жертвою пали в борьбе роковой...»

Елена (к ричит). Лиза! Лиза! Отвези нас в медпункт! Лиза! Быстренько!

Семен. Поссать на руку надо. Народное средство. Ото всего помогает.

Константин (зло). А посрать не надо?

Мария Яковлевна. Нет, что ни говорите, сто долларов – очень дорого! Сто долларов!

Лиза спускается по лестнице.

Лиза. Чего у вас там?

Елена. Мурка, эта идиотка, вцепилась в Константина...

Лиза. Каждая идиотка рада вцепиться в нашего Константина...

Елена. Отвезешь в медпункт, а? У нас дома ни йода, ни бинта...

Константин. Не поеду ни в какой медпункт!

Лиза. А пусть нажмет на китайские точки! (Пародирует китайский массаж по точкам.)

Елена. Ты что? Кровь течет! Какие точки!

Лиза. Сто долларов...

Мария Яковлевна. Нет, сто долларов – это все-таки слишком дорого...

Елена. Ты что, Костя, а если заражение крови? Лиз, не валяй дурака, одевайся!

Лиза. У меня бензина нет.

Елена. Я куплю. Поехали.

Лиза. Полный бак?

Константин. Я истекаю кровью.. Смотрите, течет и течет...

Лиза. Полный бак и сто долларов!

Елена. Какая же ты жучка! Помнишь, ты маленькая была, я тебе свой плеер подарила!

Лиза. Помню. Плеер был хороший. Так и быть. Отвезу. Очень хороший был плеер. Ладно, дам скидку. Двадцать долларов в час... (Вынимает свой мобильный.) Оператор! Отключите на два часа!

Мария Яковлевна (Семену). Может, действительно, двадцать долларов в час?

Семен. Это вам тоже на тоже будет... Да ладно, после Пасхи разберемся... До свиданья пока... (Андрею Ивановичу.) Так вы заходите завтра по утрянке, Андрей Иванович, поговорим... Дело у меня к вам... (Уходит.)

Андрей Иванович. Зайду, может, зайду...

Лиза, Елена и Константин выходят, слышно, как отъезжает машина.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Мария Яковлевна. Дрожжи у меня не все вышли, опару можно заново поставить... Или прямо в эту добавить... Или эту выкинуть... Ума не приложу...

Андрей Иванович. Не прикладывайте ума, Мария Яковлевна... Хорошего варианта у нас нет... Оба хуже... Се ля ви... (Играет на пианино нечто меланхолическое.)

Мария Яковлевна. У Натальи Ивановны была Молоховец... Надо посмотреть...

Уходит. Андрей Иванович продолжает играть. Входит Наталья Ивановна.

Наталья Ивановна. Может, выпьем кофе? Пока Маканя там ищет Молоховец...

Андрей Иванович. Можно... можно выпить кофе...

Наталья Ивановна замедленно движется в поисках кофейника, кофе, ложечки, спичек. Варит кофе.

Наталья Ивановна. Знаешь, Дюдя, я мечтаю, что, когда сброшу с плеч эту работу, приведу в порядок весь семейный архив. У нас уникальные семейные материалы... Такой срез истории... Наша прабабушка по материнской линии – боярского рода Мурзиковых, в летописях четырнадцатого века первые упоминания этой фамилии. Считается, что Мурзиковы происходят от потомков Кублай-хана! Граевские, мелкопоместные дворяне, род незначительный, но дал двух героев Отечественной войны 1812 года. Через сестру прабабушки Марфу Мурзикову, вышедшую замуж за француза, мы находимся в отдаленном родстве с Буонапартом...

Андрей Иванович. Послушай, Наток! Ты помнишь, что бабушка жила во Франции с этим... французом, который ее обобрал... Так вот он, если мне память не изменяет, находился в родстве с парикмахером, который стриг и брил Наполеона... Вот что я помню...

Наталья Ивановна. Нет, ты что-то перепутал! Этого не может быть! Тот француз был композитор, очень известный человек... Не Берлиоз, но тоже знаменитый. (Выключается электричество.) Ой, опять! Дюдя, зажги, пожалуйста, свечи... (Андрей Иванович зажигает свечи.) И еще был декабрист Граевский, дедушкин брат, предводитель дворянства Орловской губернии. Через него мы в родстве с Кутузовыми, Аракчеевыми и Тургеневыми...

Андрей Иванович. А с Муму? С Муму мы не в родстве?

Наталья Ивановна. Ах, перестань! Я совершенно серьезно... Следишь за моей мыслью? А если хорошенько поработать в Исторической библиотеке, я уверена, столько подробностей, столько интереснейших деталей выяснится... Например, Лавуазье, Эстергази, Рюриковичи...

Андрей Иванович. А если потрясти нашего крепостного прадедушку, то и до варягов можно добраться...

Наталья Ивановна. Ой, кофе убежал! Но не весь...

Андрей Иванович открывает дверцу буфета, подхватывает ее на лету.

Наталья Ивановна. Дюдя! Опять?

Андрей Иванович. Да я хотел достать кофейные чашки...

Наливает в рюмку из бутылки, быстро заглатывает, вынимает кофейные чашки.

Наталья Ивановна. А куда все подевались?

Андрей Иванович. Лиза с Лелей повезли Константина в медпункт. Его Мурка

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru покалечила.

Наталья Ивановна. Да что ты говоришь? Ну и Мурка! Вот я закончу перевод – напишу историю нашего рода. Масса, масса материалов. Чехов изобразил нашу семью несколько иронически. И надо восстановить справедливость...

Входит Мария Яковлевна с книгой.

Мария Яковлевна. Вот. Нашла. Я все перепутала... Как это я забыла, опару – это на блины, а на куличи никакой опары. Так что эту опару мы просто выбросим, и все... А про куличи у Молоховец написано так... (Листает книгу, читает.) «Тесто должно подходить непременно три раза: первый раз, когда будет растворено, второй – когда будет замешано...» Это не то... Вот! «Если берутся дрожжи сухие, то на каждые четыре фунта муки надо брать приблизительно по три золотника сухих дрожжей, то есть на одну копейку». Вот что я не понимаю... на одну копейку – это по-теперешнему счету сколько?

Андрей Иванович. Вы имеете в виду, сколько это в долларах?

Наталья Ивановна. Дюдя! Ты как маленький, ей-богу! Это же копейка царская! Кто знает, как она соотносится с долларом?

Андрей Иванович. Я этим вопросом интересовался в свое время. Монетарная политика России начала века была хорошо вписана в общеевропейскую того времени. Золотой запас обеспечивал...

Звонит городской телефон, Наталья Ивановна снимает трубку.

Наталья Ивановна. Да, я слушаю... Здравствуйте, Анна Павловна! Да, да, передаю трубку...

Передает трубку Андрею Ивановичу.

Наталья Ивановна (шепотом, со значением). Анна Павловна!

Андрей Иванович. Да, Анна Павловна! (Пауза.) Сегодня? Ты хочешь, чтобы я приехал? Да, хорошо, Нюся... Немедленно еду... (Вешает трубку.)

Наталья Ивановна. Что случилось, Дюдя?

Андрей Иванович идет к буфету, совершенно не таясь наливает рюмку водки, выпивает.

Андрей Иванович. Где мой черный костюм, Наташа?

Наталья Ивановна. Какой костюм, Дюдя?

Андрей Иванович. Похоронный... Скончался академик Кручинский... Да... Анна Павловна просила, чтобы я немедленно приехал... Да...

Уходит к себе в комнату. Наталья Ивановна и Мария Яковлевна стоят в ошеломлении.

Наталья Ивановна. Вы поняли? Муж Анны Павловны умер.

Мария Яковлевна. Анна Павловна? А кто это?

Наталья Ивановна. Ну это... ну... Железная Жизелька.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Мария Яковлевна. А! Железная Жизелька! Так ее мужу, должно быть, чуть не сто лет...

Наталья Ивановна. Ах, вы ничего не поняли! Какое это имеет значение, сколько ему лет... Боюсь, что Дюдя на ней женится...

Мария Яковлевна. Наталья Ивановна! Андрею Ивановичу шестьдесят семь лет! Кто это женится в таком возрасте? Если он не женился раньше, зачем ему жениться теперь?

Наталья Ивановна. Вы не поняли! Дача записана на Андрея Ивановича, и мои дети – его единственные наследники...

Мария Яковлевна. Естественно, ведь они внуки своего деда!

Наталья Ивановна. Андрей Иванович – благороднейший человек, но Анна Павловна – настоящая хищница! всю жизнь она держала его на поводке. Выходила замуж, разводилась, опять выходила... От нее можно всего ожидать...

Мария Яковлевна. Наталья Ивановна! Так Жизельке-то самой шестьдесят шесть лет!

Наталья Ивановна. Это не имеет значения. Она великая балерина! (Загорается свет.) Если она не найдет ничего лучше, возьмет его...

Мария Яковлевна. Найдет. Тоже мне, кусок золота! Я бы лично никогда за этого старого пьяницу не пошла, хоть я и не великая балерина.

Наталья Ивановна. Что происходит с электричеством? Лучше бы его совсем не было! Второй месяц каждые два часа отключают... Какая была глупость с моей стороны, что я не приняла тогда свою долю от дачи... Мне осталась квартира, а Дюдя всегда жил здесь... Это все Колины принципы!

Мария Яковлевна. Да. Брат Николай был человек с принципами. Этим можно гордиться!

Наталья Ивановна. Я и горжусь!

Подъезжает машина, в дом вваливаются Лиза, Елена и Константин с перевязанной рукой. Константин сразу же ложится на диван. Стонет.

Елена. Мамочка! Можешь себе представить – Косте надо делать уколы от бешенства! Они сказали, что, возможно, кошка заразилась бешенством, потому что нормальные домашние кошки не сидят на деревьях. Представляешь, сорок уколов от бешенства!

Константин. И прямо в живот! А игла – в палец толщиной! И прямо в живот!

Лиза. А я говорю, нет у нас никакого бешенства, одно только тихое помешательство! (Достает плитку шоколада, отламывает кусок.)

Мария Яковлевна. Лиза! Воздержись!

Наталья Ивановна. Пока вы ездили в медпункт, позвонила Анна Павловна и сообщила, что ее муж скончался...

Елена. Какая Анна Павловна?

Лиза (восторженно). Железная Жизелька! Ура! Теперь они поженятся! Дюдя женится на живой легенде! Это почти как Уланова! Как Плисецкая!

Спускается Андрей Иванович в пальто и шляпе, в кашне и с тростью, подходит к буфету, выпивает рюмку.

Андрей Иванович. Н-да... Наток, я не нашел черного костюма... Будь любезна, поищи, пожалуйста, он должен быть где-то в шкафах... Лизик, не будешь ли ты так любезна отвезти меня на станцию?

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Лиза. Дюдя, о чем речь? Конечно, отвезу. Да я тебя и в Москву отвезу. Мне все равно ехать надо.

Наталья Ивановна. Куда?

Мария Яковлевна. А обед?

Лиза. В университет!

Наталья Ивановна. На ночь глядя?

Лиза (примирительно). Мамочка! У меня завтра первая пара в девять часов. Я же к девяти отсюда не доеду. Пробки на дороге. Я переночую у подруги и вместе пойдем на лекцию... Сейчас, Дюдя, я только переоденусь. (Идет наверх, все сидят в молчании.)

Наталья Ивановна. Дюдя... Может, тебе не стоит ехать... это так нервно... при твоём сердце...

Андрей Иванович. О чем ты говоришь, Наток? В этом году пятьдесят лет, как мы с Анной Павловной знакомы... Мы познакомились в год, когда она закончила хореографическое училище и получила первую партию...

Мария Яковлевна. Жизели?

Мощный кошачий вопль с улицы.

Константин. Я ее, заразу, убью.

По лестнице спускается Лиза – одежда ее пародирует балетную пачку. Она берет Андрея Ивановича под руку.

Лиза. Дюдя, а можно я буду твоим шафером?

Андрей Иванович. На похоронах?

Лиза. На свадьбе!

Они выходят. Хлопает дверь, электричество отключается.

Мария Яковлевна (вслед). Лизик! Осторожно на шоссе! Дорога мокрая! (Садится.) Бедный Николай! Какое счастье, что до этого не дожил! Эта жизнь, шалей-валяй! Никакой дисциплины, никакого порядка! Он бы этого просто не пережил!

Наталья Ивановна. Да! Он и того-то не пережил!

Интермедия

Вставка в темноте, означающая протекание времени. Вспыхивают свечи, фонарики, движутся по сцене фигуры в разных направлениях, среди них медсестра в белом халате, Семен и некто в кепке. Мелькает даже Микки-Маус. Музыка, построенная из партии ударных, фортепианной игры Андрея Ивановича, стрекота пишущей машинки, трелей телефонных звонков, мяуканья кошки. На этом фоне звучат реплики.

– Осторожно! Уборная не работает!

– Где эти битые яйца?

– Это медсестра пришла делать Константину укол.

– Надо вызвать мастера по ремонту пишущих машинок! Это катастрофа! Я не могу

дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
работать!

- Он не работает!
- Она не работает!
- Я работаю как ломовая лошадь!
- Не надо идеализировать прошлое!
- Не надо идеализировать будущее!
- Вы серо живете, вы много говорите ненужного!
- Дача разваливается! Ну неужели никто ничего не сделает?
- Надо позвать человека! Где Семен?
- Пускай Ростислав в конце концов займется домом!
- Надо перестать восхищаться собой! Надо работать! Надо тяжело работать!
- Лучше помолчим!
- Идеалы добра и общественного самосознания!
- Пятьсот долларов в неделю на хозяйство...
- Ермолай купил имение, прекрасней которого ничего нет на свете.
- Антон Павлович много насочинял: кое-что преувеличил, кое-что изменил...
- Лиза! Воздержись!
- Какой у вас голос... возбуждающий...
- я не работал ни разу в жизни. Лакей стаскивал сапоги. Я буду работать.
- Пускай работает рабочий! И не рабочий, если хочет! А я работать не хочу!
- Не надо идеализировать прошлое!
- Теперешняя жизнь будет со временем казаться странной, неумной и грешной...
- Поставьте самовар! Кто-нибудь, поставьте самовар!
- Прививки от бешенства! Сорок прививок от бешенства! Всем прививки от бешенства!
- Прививки от тихого помешательства!
- Если бы жить начать снова!
- В нашем городе самые порядочные, самые благородные и воспитанные люди – это военные!
- Пекин. Здесь свирепствует атипичная пневмония. Простите, оспа.
- Каких-нибудь двести-триста лет...
- Не надо идеализировать будущее!
- Живем в таком климате, того и гляди снег пойдет...
- У Гоголя сказано: скучно жить на этом свете, господа!
- Пасха! Пасха! Святая Пасха!

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
– Где Семен? Канализацию прорвало! Семен! Где Семен?

– Пасха!

– А Римского Папу не впускать! Не впускать!

Действие второе

Интермедия продолжается в темноте, все те же реплики. Возглас «Пасха!». Колокольный звон. Загорается свет. Утро. Кое-где шторы отодвинуты, проникает свет. Накрыт стол. Куличи, пасха, крашеные яйца. Жареный поросенок. За столом никого. Вокруг стола несколько стульев, остальные стулья перевернуты. Слышен стук пишущей машинки. Распахивается дверь. В ярко освещенном дверном проеме – молодая красивая пара, Ростислав и его жена Алла, она же писательница Евдокия Калугина. В их одежде много белого, по контрасту с окружающим оба словно светятся на блеклом фоне гостиной.

Ростислав. Смотри-ка! Стол накрыт, и никого нет!

Алла. Да, пир горой...

Ростислав. Стол ломится.

Алла. А стулья, видишь, уже все сломались.

Ростислав. Да... разруха!

Алла. Действительно, пора с этим кончать.

Ростислав. С этим трудно кончать. Кусок жизни...

Алла. А чем так пахнет?

Ростислав (неуверенно). Куличами...

Алла. Куличами тоже немного пахнет... Но в основном... (Принюхивается, морщится.) А почему такая темень в доме?

Ростислав отодвигает тяжелые занавеси, свет падает из окна. Ростислав чихает. Открывает окно. Чихает Алла.

Ростислав. Вот и светло.

Алла. Какая пылица! Шторы лет десять не стирали...

Ростислав. Когда еще дед был жив, там, на южной стороне, были оранжереи... Ананасы, абрикосы, орхидеи...

Алла. Мичуринские?

Ростислав. Нет, еще от старой усадьбы...

Алла. Интересно, куда все подевались? Одиннадцать часов.

Ростислав. Спят, я полагаю... (Звонит мобильный телефон.) Это не мой вопрос. К заместителю. Нет, не обсуждается.

Алла. Я считаю, что надо им сообщить... Пора с этим кончать...

Ростислав. Это не так просто. Ты совершенно не понимаешь маминой психологии. Она всегда смиряется с любым фактом. Но – постфактум. (Искренне любит жену.) Дуся моя, ты шикарно выглядишь!

Ласковое прикосновение, на которое Алла снисходительно отвечает. Раздается дробь пишущей машинки.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Ростислав. Слышь, все спят, а она работает. Как пчелка. Тебя, дуся моя, переводит. Боюсь, не самая удачная твоя идея.

Алла. Котик! А у меня были когда-нибудь неудачные идеи? Может, я – неудачница? И муж у меня – лох? И дети – придурки? Может, двадцать миллионов баб от меня не тащатся?

Ростислав. И как тащатся...

Алла. Или ты думаешь, что от моих книг англоязычное бабье не протащится? Что у них – бабье другое?

Ростислав. Почему другое? Точно такое же, как у нас!

Алла. И не протащатся?

Ростислав. Протащатся, дуся моя, конечно, протащатся! Куда им деваться...

Звонит мобильный телефон.

Алла. Слушаю. Простите, какой журнал? Нет, не поняла, интервью? Я подумаю. Позвоните, пожалуйста, во вторник моему лиагенту. Да, спасибо... Совсем обнаглели... Да, так вот: в этом деле главное с правильной карты зайти...

Ростислав. Ну ты нахалка! Моими словами чешешь! Это же я всю жизнь тебя учил – насчет правильной карты!

Алла. Научил. А здесь, ей-богу, пованивает...

Ростислав. Значит, муж у тебя – ничего, в порядке?

Обнимает ее сзади, она прижимается к нему. Ростислав садится в кресло-качалку.

Алла. Не садись! Испачкаешься!

Он пытается усадить ее к себе на колени.

Алла. Кресло-качалка точно рассыплется...

Ростислав. А как романтично!

Алла. Муж, ты – в полном порядке. Но семейство твое малахольное...

Увлечены любовной игрой.

Ростислав. Я люблю идею семьи. Семейные ценности... Я люблю мою семью. Согласен, они несколько малахольные. (Смеется.) Это малахольное семейство представляет собой вымирающую русскую интеллигенцию. Другой такой нет... Страшно далека она от народа... Герцен ее будил, будил... Не помнишь? В школе по литературе проходила, дуся моя?

Алла. Проходила. По биологии... Вымершие животные. Называются динозавры.

Ростислав. Нет, по литературе. Называются лишние люди... Теперь таких не делают. Раритет, я же говорю! (Звонит мобильный.) Не понял. У нас с ним не одна сделка идет, а две параллельные. Пока.

Алла. Нашел раритет! Полстраны таких раритетов! Три четверти населения – лишние

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
люди. Никто не хочет работать!

Ростислав. И все-таки я уверен, история нашей семьи – прекрасный сюжет для твоей книги.

Алла. Очень статично. Никакой истории как раз и нет.

Ростислав. Ну что ты! Как раз это и интересно!

Звонит мобильный телефон.

Алла. Какой тираж прошел? Немедленно допечатку! Пятьдесят? Двести пятьдесят, я говорю... (Отключает.)

Ростислав. Сколько всего произошло – революции, войны, репрессии, а они не изменились, несмотря ни на что – чистые люди! Они чистые люди!

Алла. Не знаю, о чем ты... Чистые! Сплошная антисанитария. Надо продезинфицировать... а еще лучше – сжечь!

Смолкает стук пишущей машинки, входит Наталья Ивановна, кидаются в объятия друг другу. Целуются, снова целуются, снова целуются.

Наталья Ивановна. Наконец-то! Ростик! Аллочка! Вы без детей? Как жалко! А где же Савик с Груней? Савик уже вернулся? Нет? Как вы чудно выглядите! Аллочка! Какая ты у нас красавица! Как же я рада, детки!

Ростислав (одновременно с матерью). Христос Воскрес! Приехали поздравить вас с Пасхой! Ну, как вы тут? Ой, подарки в машине оставил! Сейчас принесу! Где сестры мои?

Наталья Ивановна. Что детки?

Ростислав. Савик в Лондоне, Грунька с няней. Новая гувернантка замечательная, с немецким, английским и французским, смешная девчонка швейцарка, ее прабабушка, представь, в России гувернанткой служила...

Алла. Наталья Ивановна! Здесь так мило, такой участок огромный, и такое романтическое запустение... Как Леля, Варя? Лиза к нам заезжала как-то. Ростик, насчет швейцарки еще посмотрим, у меня есть некоторые сомнения. Савик в Лондоне до конца мая, а потом собирается на практику в Бразилию...

Ростислав. Слушай, мам! Что это у вас – стол накрыт, ни души... Куда весь народ подевался?

Наталья Ивановна. Ну... Вава спит, отстояла длинную службу, пришла утром. Леля с мужем уехала вчера в Москву, у Константина рука нарывает, так что они сначала к хирургу, а потом собирались ночевать у друзей... Андрей Иваныч... О! Это действительно новость! У Анны Павловны муж умер...

Ростислав. У Железной Жизельки? Я думал, она и сама давным-давно умерла!

Наталья Ивановна. Жива-здоровая... Вызвала к себе Андрея... Его уже два дня нет. Завтра он на похороны собирается.

Ростислав. К мертвому сопернику?

Наталья Ивановна. Ну что ты, Ростик, они же многие годы общались, в шахматы играли, у них были очень хорошие отношения.

Ростислав. Ой, Алка! Это такая семейная история! Точно для тебя! Ты дядю нашего помнишь?

Алла. Да, конечно, помню. Был у нас на свадьбе... С усами. Гибрид Чапаева с

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru балалайкой... и потом я его как-то видела...

Ростислав. Ну да! Он с детства был влюблен в балерину... И после нее всю жизнь путался исключительно с балеринами...

Наталья Ивановна. Аллочка! Не слушайте его! Все совершенно не так! Он преданно любил ее всю жизнь, а она вышла за другого...

Ростислав. За несколько десятков других!

Наталья Ивановна. Ну Ростик! Как ты можешь! Она действительно несколько раз была замужем. Но с Андреем Ивановичем всю жизнь тайно встречалась...

Ростислав. Это романтическая версия. А реально – всю жизнь он путался с молоденькими балеринами... Имей в виду при этом, что он математик! В голове – сплошная абстракция, какая-то Банахова алгебра, Гилбертовы пространства... и молоденькие балерины всю жизнь! Разве не сюжет? А?

С улицы входит Андрей Иванович – в пальто, в шляпе, с тростью.

Ростислав (целует его). Здравствуй, дядька! Христос Воскрес!

Андрей Иванович. Воистину! Рад тебя видеть! О, ты с женой! (Целует Алле руку.) Редкие гости! Как кстати! Давайте к столу!

Наталья Ивановна. Ой, что же это я! Конечно же, к столу! К столу!

Андрей Иванович. А где все? А где Мария Яковлевна? Ишь, как она расстаралась! Где же она?

Наталья Ивановна. Она слегла, бедняжка. Радикулит разбил. Накрыла на стол и слегла... (Отходит в глубину и кричит.) Мария Яковлевна! Гости приехали!

Ростислав (кричит). Маканя! (Звонит мобильный телефон.) да, Алексей! Конечно! Будем смотреть из восьми... Ну, хотелось бы. Встретимся. Обсудим. (Алле.) Борташов звонил.

Алла. Сам?

Ростислав. А куда ему деваться? Предложил встречу.

Алла. Сам? (Ростислав кивает.) Нет слов!

Наталья Ивановна. Маканя! (Ростиславу.) Сейчас выйдет. Она так тебя... вас ждала! Так готовилась! Три дня от плиты не отходила!

Андрей Иванович лезет в холодильник, достает бутылку водки. Входит Мария Яковлевна с палкой, сильно хромая.

Мария Яковлевна. Осторожно, Андрей Иванович! Дверка плохо захлопывается! Ростик! Дорогой мой! Мальчик мой! Аллочка! (Целует их.)

Ростислав. Христос Воскрес, Маканя!

Мария Яковлевна. Ну, хорошо, хорошо! Пусть воскрес! Это, конечно, против моих убеждений, но праздник есть праздник!

Ростислав. Наша Маканя – враг всех религий, Аллочка! Тетя наша атеистка! (Целует ее в голову.) Все бы христиане такие были, и проблем бы не было!

Мария Яковлевна. Да, я атеистка, Алла. Но я уважаю чужие взгляды... Вот Вава, например. Уважаю... И семейный уклад для меня – святое! Праздник – превыше всего! Я все праздники чту – Новый год, Рождество, Пасху, Седьмое ноября и Первое мая. Для меня все праздники равны!

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Ростислав. Но есть особенно равные!

Мария Яковлевна. Так что прошу к столу!

Рассаживаются. Ростислав пытается перевернуть стул.

Мария Яковлевна. Конечно, мой покойный брат был принципиальнее меня! Ваш отец никогда не сел бы за пасхальный стол! Да – были другие времена! Зато какая дисциплина! Какой порядок! Профком, местком, треугольник! Это теперь – шалей-валей!

Наталья Ивановна. Осторожно, Ростик, там доска гнилая, можно провалиться!

Мария Яковлевна. Кулич немного пригорел, но только сверху. Берите поросенка, ветчину... Хрен, горчица, пожалуйста...

Ростислав. Нет, нет! Мне не наливай! За рулем!

Звонит мобильный телефон.

Алла. Нет, свяжитесь с моим агентом. Нет, нет, я этим не занимаюсь. Только через агента. Всего доброго.

Андрей Иванович. А я без руля! Да! Мне можно! Всегда можно! (Наливает себе, всем предлагает, все отказываются, кроме Аллы.) А невестка молодец! Может, Алла, вы предпочитаете коньяк?

Алла. Нет, нет! Предпочитаю водку! Дезинфицирует!

Входит Варвара.

В с е. Вава! Варвара! Варечка! Христос Воскрес! С праздником!

Варвара. Воистину воскрес!

Все выходят из-за стола, целуются, снова рассаживаются.

Наталья Ивановна. Подождите, а Лиза? Где Лиза?

Мария Яковлевна. В мезонине.

Наталья Ивановна. Надо Лизу позвать.

Мария Яковлевна встает, хромот к лестнице. Лиза спускается по лестнице с телефоном.

Лиза. Ростик! Сам приехал! (Лиза виснет на нем, как маленький ребенок, тепло целуются.) Ростик! Генерал ты наш!

Все рассаживаются, принимаются за еду.

Алла. Нет, нет, спасибо, я мяса не ем...

Андрей Иванович. Скажите пожалуйста... Какое совпадение! А я рыбы не ем!

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Мария Яковлевна. Ростик! Я давно тебе хотела сказать, между прочим... Вот ты купил Лизе машину, и мы теперь в постоянном беспокойстве! Девочка одна носится по ночам на машине...

Лиза. Маканя! Ты забыла Ростика спросить про вибрацию!

Мария Яковлевна. Да, Ростик! Я всех спрашиваю, никто не может мне разъяснить! Ты понимаешь, в доме какая-то вибрация! Говорили, что до войны здесь был военный завод – не слышал? Там вот мне кажется, что временами из-под земли какая-то вибрация. Не чувствуешь? (Она прислушивается.) Нет, кажется, сейчас не чувствуется? Я думаю, там какой-то вибратор! А ты как думаешь?

Ростислав (переглядывается с женой). Вибратор? Нет, ничего не знаю. А что ты про машину спрашивала? Какая машина?

Мария Яковлевна. А, машина! Которую ты Лизику подарил! «Оку»!

Ростислав. Я? «Оку»?

Лиза. «Оку»! Ты мне подарил «Оку»! Ко дню рождения! Ты что, забыл, Ростик? «Оку»!

Ростислав. Ах, «Оку»? Ну да, «Оку»...

Лиза. Ты же не жалеешь, правда? Ты же Савику тоже купил машину, когда ему восемнадцать лет исполнилось? Правда?

Ростислав (смеется). Правда... Правда... Конечно, без машины сейчас невозможно... Ты водить-то научилась?

Лиза. Закончила школу, сдала на права... Все в порядке.

Мария Яковлевна. Аллочка! Почему вы не кушаете? Лелечки нет, а то бы вся семья в сборе...

Наталья Ивановна. Она обещала утром приехать. Скоро будет, я думаю... Ростик, ты бы придумал что-нибудь насчет ее работы.

Ростислав. Mam, я Елену уже устраивал... В общей сложности три раза...

Мария Яковлевна. Ваш покойный отец был бы так рад...

Лиза. Кулич сырой!

Мария Яковлевна. Нет, Лизик, он пригорел немного.

Лиза. Сверху пригорел, зато внутри сырой.

Мария Яковлевна. Ростик, ты совсем не кушаешь! Аллочка!

Стук в дверь. Входит Семен.

Семен. С праздником! Поздравляю всех!

Наталья Ивановна. Поздравляем вас, Семен.

Семен. Ну, я пришел насчет двери-то!

Мария Яковлевна. Ой, как хорошо! Мы вас так ждали! Чем это от вас пахнет?

Андрей Иванович. А может, немного попозже, а? У нас гости...

Семен. То сами просили – срочно, срочно, а как я пришел – заняты.

Наталья Ивановна. Действительно, может, завтра?

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Мария Яковлевна. Селедкой пахнет! Конечно, селедочкой пахнет!

Семен. Сами же говорили, засор, то-се... я конкретно пришел...

Направляется к выходу, оборачивается у двери. Наталья Ивановна шепчется с Марией Яковлевной, та встает и, ковыляя, собирает продукты: бутылку водки из холодильника, кулич, яйца и большой кусок ветчины.

Семен. Мне бы с вами переговорить, Андрей Иванович.

Мария Яковлевна. Семен! Семен! Вот вам гостинцы! (Кидается ему вслед, сует продукты.) Пожалуйста!

Андрей Иванович. Да, да... на днях, Семен. Непременно.

Семен (полные руки продуктов). Ну, как хотите... То сами говорили – срочно, канализация не работает, а когда я прихожу, ничего и не нужно, выходит дело... Дверь там на улице прислоненная к уборной стоит... (Уходит с видом глубокой обиды и оскорбленного достоинства.)

Ростислав. Что это за хмырь?

Мария Яковлевна. Ростик, это наш спаситель! Золотые руки! Все нам чинит! Если бы не он, дача бы давно рухнула! Просто бы рухнула!

Андрей Иванович. Прораб местный.

Ростислав. Подозрительный тип!

Наталья Ивановна. Действительно, все нам починяет...

Мария Яковлевна. Да! Он такой мастер! Блоху на скаку остановит!

Алла и Лиза заливаются хохотом.

Лиза. Маканя! Не блоху! Коня! Коня на скаку украдет!

Мария Яковлевна. Ах, бросьте ваши хиханьки, честное слово! Вы думаете, легко общаться с простыми людьми? Каждый раз – десять долларов.

Ростислав. Ну ладно вам! (Подходит к окну.) Здесь так прекрасно! Старые сосны. Там часть сада еще осталась? (Звонит мобильный.) Ты с ума сошел? Только с производителями! Даже разговору быть не может... (Разъединяет.)

Андрей Иванович. Осталось несколько яблонь.

Ростислав. А вишни?

Андрей Иванович. Давно посохли.

Мария Яковлевна. Соседи говорили, померзли.

Ростислав. Заброшенная беседка... и такой воздух!

Лиза. Ростик, а ты что, вони не чувствуешь? Лелька каждые пять минут пальчики душит духами «Пуазон», говорит, что они лучше всего вонь отбивают...

Ростислав (принюхивается). Да. Да... Конечно... Дача ветхая... Я уже давно хотел это с вами обсудить.

Алла (Ростик). О! Только не гони лошадей!

Ростислав. Есть возможность обменять ее на совершенно новый коттедж в ближнем Подмосковье. По площади и по удобству ни в чем не проиграете... Я бы сказал,

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
значительно лучше...

Дальнейшие реплики одновременно.

Наталья Ивановна. Ростислав! О чем ты говоришь?

Андрей Иванович. Уехать отсюда? Из этого дома? Странная мысль!

Мария Яковлевна. Как это возможно? Это дом вашего деда! Прадеда!

Варвара. С ума сошел! Совсем с ума сошел! Ну просто новый русский! Настоящий новый русский!

Лиза. Ну, брательник, ты даешь! Да кто же из такой сладкой помоечки уедет? Никогда в жизни! Только в Амстердам!

Варвара. Наше родовое гнездо...

Андрей Иванович. Да успокойся ты, Вава! Никто не собирается расставаться с нашей дачей. Ни обменивать, ни продавать...

Пауза.

Разговор продолжается.

Наталья Ивановна. Усадьба эта, на месте которой сейчас дача, вместе с селцом Покровским дана была в приданое нашей прапра... какой-то бабушке еще при жизни Пушкина. В тысяча восемьсот двадцать восьмом году, у меня все записано... Урожденная фон Мекк...

Варвара. В здешней церкви венчался прадед...

Ростислав (Алле). Ну, что я говорил? (Остальным.) Шутка! Я просто представил себе на одну минуту всех вас в новом доме, совершенно исправном, в котором ничего не течет и не разваливается, все работает...

Варвара. Евроремонт?

Входит Елена с Константином. У него рука на перевязи.

Ростислав. Ну, вся семья в сборе!

Елена. Привет, Ростик, дай поцелую! О, ты с женой! Приветик! А что происходит?

Ростислав. Я высказал мысль, не купить ли для вас новую дачу. Побольше и покомфортабельней.

Елена. Как это? А гробы?

Мария Яковлевна. Какие гробы?

Елена. Ну, это... отчие гробы... Наши прадедушки здесь похоронены.

Мария Яковлевна. Николай Яковлевич, между прочим, на Новодевичьем!

Елена. Если бы здесь все починить, можно и дальше жить...

Алла (Ростиславу). Надо работать в другом направлении.

Ростислав. Умница ты моя!

Варвара (Елене). Всем нужен евроремонт! Помешались на евроремонте!

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Константин. Леля, у меня уже рука не болит, у меня все чакры болят..

Ростислав. Ну почему обязательно евроремонт?

Мария Яковлевна. Так можно же просто починить...

Андрей Иванович. Сто лет тому назад эти дачи были построены по последнему слову техники!

Ростислав. Да, да... Я понял – в мире должна царить гармония! Так что и дальше живем как жили...

Константин. Сосредоточься на огне, сосредоточься на огне...

Алла (Елене). Он у тебя чего – немного того?

Елена. Сосредоточься на своем.

Алла. Не хаами, детка. А то пособие сократим.

Наталья Ивановна. Бабушка Аня умерла здесь, в этом доме. Ей было девяносто семь лет, и она встречалась со всеми выдающимися деятелями культуры, она была знакома с Владимиром Соловьевым и с Сарой Бернар!

Андрей Иванович. Наток, ну Сара Бернар совсем уж ни при чем!

Варвара. Это принципиальный разговор! Не только о судьбе нашей старой дачи! Это разговор о судьбе всей страны!

Ростислав. Варвара! Да у тебя государственное мышление!

Константин. Уберите эту гребаную прану! Она кипит!

Елена. Кость! Костя! Ты чего?

У Константина жар и бред, но пока этого не замечают.

Варвара. Да! У меня государственное мышление! Если великой страной правят троечники, должен же кто-нибудь о ней думать!

Ростислав. Да без тебя уже подумали!

Андрей Иванович. Вава! Какая мысль! Девочка права: страной действительно правят троечники!

Ростислав. Да не убивайся так, сестра. Кого мы поставим, тот и правит...

Алла. Не гони лошадей...

Елена. Ростик, мысль твоя насчет дачи, может, и неплохая, только было бы лучше, чтобы ты переселил нас на две дачи. Нас все-таки слишком много для одной дачи, не правда ли?

Константин. Кошки, всюду кошки. В Китай! В Индию!

Елена (Константину). Что с тобой? Помолчи.

Варвара. Еще князь Щербатов писал – «Об ухудшении нравов в России»!

Наталья Ивановна. Это было двести лет тому назад!

Варвара. Да! Двести! И триста! Надо смотреть на допетровскую Русь!

Лиза. Давай! Давай! Владимир Мономах! Ярослав Мудрый!

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Андрей Иванович. А Чаадаев? Ты не читала «Философических писем» Чаадаева?

Варвара. Твой Чаадаев католик!

Наталья Ивановна. Но католики тоже христиане!

Андрей Иванович. Он был человек европейских взглядов!

Варвара. Это латинская ересь!

Андрей Иванович. Деточка моя! Существуют универсальные идеи! Еще римляне заложили основы универсализма!

Лиза. Давай, давай, Дюдя! Еще повороши! Как я люблю нашу семейку!

Наталья Ивановна. Наша семья всегда была самых передовых взглядов!

Алла (Ростиславу). По-моему, разговор идет в нужном направлении.

Ростислав. В обычном...

Варвара. Эти западнические идеи всегда были отравой для России!

Елена. Две дачи – хорошая идея. Правда, Ростислав?

Варвара. У России свой путь!

Лиза. Умом Россию не понять!

Андрей Иванович. Ты еще вспомни про евразийство!

Варвара. Да! И евразийство!

Мария Яковлевна. Какое все это имеет отношение к канализации? Ростик, ты не знаешь, почему она не работает?

Ростислав. Знаю, Маканя.

Варвара. В евразийстве было свое здоровое зерно!

Звонит мобильный телефон у Аллы.

Алла. Алло! Черт! Разъединилось!

Нажимает кнопку.

Звонит телефон у Ростислава.

Ростислав. Алло!

Алла. В чем дело?

Ростислав. Ты меня набирала?

Алла. Нет. А ты?

Ростислав. А, случайно кнопку нажал...

Оба отключают телефоны.

Мария Яковлевна. А нельзя ее починить?

Ростислав. Нельзя.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Андрей Иванович. Ты еще про коммунизм вспомни!

Мария Яковлевна. Не трогайте покойного Николая! Он был честным коммунистом! Если бы все были такими, как он! Он был материалистом и свято в это верил!

Лиза. Мамочка! Ты мне можешь когда-нибудь толком объяснить, во что же свято верил папочка?

Мария Яковлевна. России нужна крепкая рука! Дисциплина! И профсоюзы!

Варвара. Нужна русская национальная идея!

Константин (громко, всех перекрикивая). Хари Кришна!

Опускается на пол. Варвара встает, плюет на пол и выходит.

Наталья Ивановна. Вавочка! Куда ты?

Лиза. Ростик! Скажи хоть ты, чего нужно России – крепкая рука или национальная идея?

Ростислав. Инвестиции нужны.

Алла. Ростик, нам, кажется, пора... нам пора идти... другим путем... Мне кажется, тебе придется сократить англичанина.

Ростислав. Я это сделаю, как только мы сядем в машину.

Мария Яковлевна. Продали Россию!

Андрей Иванович. Да плохо продали! Русский человек и продавать толком не умеет! Вот в чем беда-то!

Ростислав. Да, дуся моя... Нам пора идти другим путем... Мамочка! Я завтра на три дня улетаю в Бангкок, потом в Улан-Батор, и к пятнице буду дома, так что – позвоню! Да, подарки! Лизик, помоги принести подарки из машины!

Обнимает за талию жену.

Мария Яковлевна. Почему никто ничего не кушает? Ростик! Аллочка! Вы совсем не покушали!

Алла. Спасибо, было очень вкусно. Я в городе, Наталья Ивановна. Звоните, если будут вопросы по тексту! До свиданья, дорогие! С вами всегда так интересно!

Уходят вместе с Лизой.

Долгая пауза.

Мария Яковлевна. Не понимаю, что он имел в виду.

Наталья Ивановна. Вава расстроилась.

Андрей Иванович. Наток, а ты не нашла мой черный костюм?

Наталья Ивановна. Нашла,шла. Он в английском шкафике висел, в папином кабинете, я его к тебе перевесила.

Андрей Иванович. Спасибо, Наток.

Варвара (возвращается в гостиную). Вспомните мои слова – все это закончится

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
полной катастрофой!

Наталья Ивановна. Вавочка! Присядь и не принимай так близко к сердцу. Откуда этот мрачный взгляд на вещи? Где ты видишь катастрофу? Есть новые силы! Новое поколение! Они трудятся, зарабатывают. Такие как Ростислав, его сын Савик... Они поднимут страну!

Варвара. Не поднимут. Эти – не поднимут! И через миллион лет она будет все та же! Это катастрофа!

Мария Яковлевна. Подумаешь, катастрофа! Сколько катастроф было на нашем веку! И ничего – живы!

Лиза (входит с охапкой подарков). Хорошая катастрофа отлично вставляет. Я лично не против!

Андрей Иванович. Катастрофа, конечно, бодрит, но мы всю жизнь прожили в эпоху катастроф. Хотелось бы попробовать, как живут люди без этого...

Мария Яковлевна. Лично меня очень волнует канализация.

Наталья Ивановна. Существует в естествознании теория катастроф, я когда-то переводила статью...

Варвара. Господи! Какая канализация! Мир летит в тартарары! Страна погибает! Демографическая катастрофа! Нравственный упадок! Рим! Апокалипсис! А мы сидим за столом и беседуем о теории катастроф! А катастрофа уже происходит! Здесь и сейчас!

Входит Ростислав, несет еще несколько коробок.

Ростислав. Какая катастрофа? О чем вы? Все отлично! Экономика поднимается! Инвестиции приходят! Долги списывают! Налоги снижают! И даже более того: каждому по потребностям, от каждого по способностям! Ну, это, правда, только в нашей отдельно взятой семье! Все! Держите подарки! Всех целую! Больше нет ни минуты! (Уходит.)

Лиза. Конец света! Ростик таких подарков навез! Мама! Смотри, фондюшница! Будем делать фондю! Это, конечно, для Дюди – рюмки! Нож для разрезания конвертов! Кость слоновая! Электроодеяло! Это Ваве! Она всегда мерзнет! Это, мамочка, тебе! (Протягивает Наталье Ивановне плоскую коробку с шарфом.) Шарф мужской, зато фирмы «Гермес». Ясно, у Ростика недавно был день рождения. Прелестные излишки подарков! А это мне, любимой!

Елена. Что это? Что?

Лиза. Органайзер.

Елена. Ой, а почему тебе? Мне такая вещь очень нужна...

Лиза. Перебьешься!

Константин (с пола). Стекло! Стекло! Не трогайте меня! Стекло!

Наталья Ивановна. Девочки! Как вы себя ведете!

Звонит городской телефон. Никто не подходит.

Елена. Дай сюда! Я старшая! Разве написано, что это тебе? Ты всегда все хватаешь первая!

Лиза. Мне принадлежит по праву! Я младшая!

Варвара. Перестаньте! Как вам не стыдно!

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Андрей Иванович воровато выпивает рюмочку.

Наталья Ивановна грозит пальцем.

Телефон звонит.

Мария Яковлевна. Снимите же трубку! (Ковыляет к аппарату, снимает трубку.) Алле! Алле! Айн момент! Иностранец!

Лиза и Елена кидаются к трубке.

Первая хватает Елена, показывает Лизе язык.

Елена. Speaking! O, yes! what happened? Really? we'll invite the plumber! why? we could discuss it! well! To increase the rent! But we have the contract at last! As you wish, mister Roberts.

Елена раздраженно бросает трубку.

Наталья Ивановна. Что случилось? Леля! Что случилось?

Елена. Прорвало канализацию!

Мария Яковлевна. Так это уже давно... И почему по-английски?

Елена. Да в Москве! В нашей московской квартире прорвало канализацию, и чертов англичанин съехал! Вот что!

Наталья Ивановна. Это катастрофа...

Мария Яковлевна. О боже! Чем же мы будем жить? У меня осталось восемьдесят долларов!

Андрей Иванович. Дорогие мои! Я вынужден вас покинуть. Мне надо вернуться в город. Завтра похороны... Лизик! Не отвезешь ли меня на станцию? (Уходит в свою комнату.)

Наталья Ивановна. Леля! А может, отвезти Семена в Москву, чтобы он там срочно починил? Я совершенно не представляю себе...

Елена. А почему бы тебе не взять аванс у Евдокии Калугиной?

Наталья Ивановна. Как я ненавижу эти разговоры о деньгах!

Варвара. В самом деле, мамочка?

Наталья Ивановна. Дело в том, что этот аванс уже взят и потрачен!

Елена. Мамочка, а когда же ты успела?

Наталья Ивановна. Леля! А на какие деньги ты с Костей жила три месяца в Париже? А Лиза в Амстердам на какие деньги ездила?

Варвара. Это катастрофа... Надо позвонить Ростиславу... Пусть что-нибудь придумает! Нашел же он этого англичанина, может, найдет и другого!

Наталья Ивановна решительно идет к телефону, набирает номер.

Наталья Ивановна. Ростик! Ты еще не доехал? В дороге? У нас неприятность... В московской квартире прорвало канализацию, и англичанин съехал... (Пауза.) Ты думаешь? Ты считаешь? Ты не сможешь? Ты не знаешь? Ты попробуешь? Нет, это невозможно... А ты не сможешь? Нет, это невозможно. Да. Спасибо, сыночек. Да. Да,

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
я думаю. Я знаю. Я понимаю. Да, я смогу.

Вешает трубку, молча сидит возле телефона.

Мария Яковлевна. А почему никто не кушает? Берите поросенка! Берите кулич!
Берите пасху!

Входит Андрей Иванович в черном костюме, на локте пальто, в руке трость.

Андрей Иванович. Наток, по всей видимости, я приеду послезавтра...

Наталья Ивановна (торопливо шарит в аптечке). Дюдя! Возьми с собой сердечное!
Где же валокордин? Было много валокорина. Почему-то один йод... пять... восемь
пузырьков йода...

Андрей Иванович. Не беспокойся, Наток... Не беспокойся! Ты же знаешь: катастрофа,
катастрофа... а в конце концов все хорошо! Все живы!

Лиза. Дюдя! А куда ты сейчас едешь?

Андрей Иванович. Как куда? На похороны!

Лиза берет ключи от машины, мобильный телефон, плитку шоколада.

Мария Яковлевна. Лиза! Тебе нельзя шоколад! Воздержись!

Лиза. Пошли, Дюдя, подвезу тебя до станции...

Наталья Ивановна. Подожди, Лиза. Не уходите. Я должна вам сообщить, что сейчас
сказал Ростислав. Он сказал, что квартиру нашу сдавать больше нельзя, пока там
не будет сделан евроремонт. Что сейчас он этим заниматься не может, потому что у
него очень большой проект. Денег он нам сейчас дать не может, потому что у него
все вложено в этот проект. И ближайшее время мы должны продержаться сами.

Елена. Это рука писательницы Евдокии Калугиной!

Наталья Ивановна. Ну что ты говоришь, Лелечка!

Мария Яковлевна. Это катастрофа!

Наталья Ивановна. Нет, это не катастрофа! Просто все должны работать!

Лиза. Мамочка! Не работать, а зарабатывать! Пошли, Дюдя!

Берет Андрея Ивановича под руку, он прихорашивается у двери.

Елена. О чем мы говорим? Я буду работать! И Костя будет работать...

Константин. В третьей доле... пере... пере... перезапись... и наложение... гвоздец...

Константин принимает на полу затейливую позу – может, мостик.

Елена. И Варвара пойдет на работу!

Варвара. Только не на это государство!

Наталья Ивановна. Вава! Ну чем тебе государство не угодило?

Варвара. Это государство обокрало народ! Это правительство разрушило великую

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru страну!

Андрей Иванович. Вава! Какая великая страна! А пытки, казни, репрессии!

Выходит вместе с Лизой.

Варвара. Теперь нет пыток, казней, репрессий, но сколько страданий... Нет, на это государство я не буду работать!

Мария Яковлевна. Вавочка! А ты не работай на государство, ты работай на себя! На семью!

Наталья Ивановна. Каждый человек должен вносить свой вклад...

Мария Яковлевна. Вы покушали? Передайте мне, пожалуйста, грязные тарелки.

Мария Яковлевна собирает грязные тарелки, складывает их в раковину, открывает кран. Раздается громкое урчание. Воды нет. Мария Яковлевна энергично крутит кран. Воды нет. Мария Яковлевна свинчивает кран – он остается у нее в руке. Из трубы раздается урчание.

Варвара. Наши предки работали не покладая рук – и что мы получили?

Мария Яковлевна. Воды нет. Совершенно нет воды. Лелечка, позвони в контору, узнай, что случилось? Когда дадут воду?

Елена набирает номер.

Елена. Контора? Да, от Лепехиных звонят. Что там с водой? Ничего себе! Вы не шутите? Так что же делать? Какой колодец? Где заказывать? Вы смеетесь? (Вешает трубку.) Гвоздец!

Наталья Ивановна, Мария Яковлевна, Варвара (хором). Елена!

Елена. Именно! Именно то, что я сказала! Воду у нас отрезали!

Мария Яковлевна, Наталья Ивановна. За что?

Елена. Да ни за что! Просто так! И не у нас лично, а у всего поселка! Какая-то красная черта! Никто ничего толком не говорит! Какой-то «Ростинвест» купил чуть ли не все дачи в поселке. И воду больше не подают.

Мария Яковлевна. А как я буду мыть посуду?

Елена. Воду нужно теперь брать из старого колодца у въезда в поселок.

Наталья Ивановна. Кто же ее будет носить?

Елена. У Константина рука! А питьевую можно заказывать в ближайшем супермаркете... Большие бутылки «Мишкин лес».

Мария Яковлевна. Какой «Мишкин лес»? Какой супермаркет? Это катастрофа!

Наталья Ивановна. Вавочка, поставь, пожалуйста, чайник.

Варвара берет чайник, суется к раковине, останавливается.

Варвара. Так воды же нет.

Елена. Вон бочка с водой у крыльца.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Варвара. Да там вода с прошлого года, из водосточной трубы текла... Она же протухла.

Мария Яковлевна. Так все равно кипятить. А другой нет.

Неожиданно вспыхивает яркий свет.

Елена. Чего это с ним?

Константин. Обращай внимание на промежуток между двумя дыханиями...

Наталья Ивановна. Я всегда говорю, что пишущая машинка имеет неоспоримые преимущества перед компьютером. По крайней мере, не зависишь от электричества.

Елена. Какая разница? А так зависишь от керосиновой лампы! А керосин – где его сейчас купишь? Тогда уж лучше гусиным пером!

Мария Яковлевна. Нет, пить эту воду, конечно, нельзя, но посуду помыть вполне можно! Раньше дом все время трясло, а теперь откуда-то взялся запах, как будто горит резина. Или мне кажется?

Наталья Ивановна. У вас фантазии, Мария Яковлевна.

Варвара. Пахнет горелой резиной.

Елена (прыскает духами на руки, принимается). Нет, не пахнет!

Варвара. Зачем мне электроодеяло, если нет электричества?

Елена. А ты его в монастырь отнеси. В подарок.

Наталья Ивановна. Ладно. В конце концов, это всего лишь новые обстоятельства. Я пошла работать.

Мария Яковлевна. Пахнет горелой резиной...

Раздается небольшой взрыв. Вспышка. Свет гаснет.

Мария Яковлевна. Это водонагреватель!

Наталья Ивановна. Пожар!

Константин. Я говорю... Пере... пере... перезапись... и наложение... в третьей доле...

Елена. Костя! Костя! Сделай что-нибудь! (Присаживается рядом с ним на полу.)
Костя без сознания! Помогите! Нужна «скорая помощь»! Скорей позвоните!

Варвара. Воды! Воды! Где вода? Леля! Звони в контору! Боже, сколько дыма!

Мария Яковлевна. Пожар!

Варвара. Кошмар!

Елена. Лиза! Где Лиза! Надо «скорую»! Костя умирает!

Интермедия

Вставка в темноте. В потемках и в прибывающем дыму носятся люди. Звучит музыка, построенная на партиях ударных, колокольного набата, трелей телефонных звонков, сирены пожарной машины, фортепианных пассажей Андрея Ивановича, стрекота пишущей машинки, надрывных воплей кошки и фырчанье отбойного молотка. На этом фоне звучат реплики.

– Это катастрофа!

дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

- Это пожар, а не катастрофа!
- Надо работать! Я работаю как ломовая лошадь!
- Где вода?
- Где ведра?
- Работать на это государство я отказываюсь!
- Где соседи, черт их подери!
- Где Лиза?
- Где мои переводы? Спасите рукописи!
- Где кошка?
- «Скорую»! Вызовите «скорую»!
- Пасха! Святая Пасха!
- Лиза! Воздержись!
- Где градусник?
- Где мама?
- Ермолай купил имение, прекрасней которого нет ничего на свете!
- Маканя! Где Маканя?
- В двенадцать часов Москва горела!
- Нашей страной правят троечники!
- Дача разваливается! Неужели никто ничего не сделает?
- Где Ростислав?
- Он умирает! Врача!
- Горим! Господь посетил! Горим!
- Где пожарная команда?
- Где градусник?
- Надо работать! Надо тяжело работать! Я не работал ни разу в жизни!
- Где мои переводы! Спасите рукописи!
- Пекин. Здесь свирепствует атипичная пневмония! Всем прививки от бешенства!
- Где лестница?
- Живем в таком климате, того и гляди снег пойдет!
- Погорельцы пришли! Надо собрать им вещи!
- Прививки от бешенства!
- Читайте князя Щербатова!
- Читайте Чаадаева!
- Чехова, Чехова читайте!

дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

- Идеалы добра и общественного самосознания!
- Гвоздец!
- Константин!
- Где Дюдя? Где Лиза?
- Пасха! Пасха! Святая Пасха!
- Канализацию прорвало!
- Пожар!
- И куда ты все спешишь, куда спешишь?
- Надо позвать человека! Где Семен!
- Не надо идеализировать прошлое!
- Не надо идеализировать будущее!
- Римского Папу не впускать!
- Каких-нибудь двести-триста лет!
- Пасха! Святая Пасха!
- Вы серо живете, вы много говорите ненужного!
- Это катастрофа! Я не могу работать!

Действие третье

Лето. Фасад дачи. Она слегка погорела, но еще жива. Жизнь протекает на участке. Устроены три очага, на которых стоят медные тазы. Сложена поленница. Целая батарея больших полиэтиленовых бутылей с водой «Мишкин лес». Гамак. Шезлонг. Разложен дачный стол, на столе стоит керосиновая лампа. Вокруг стулья, некоторые перевернуты. Рукомойник прибит к дереву. С другой стороны к дереву прислонена лестница. Стоит ударная установка. Видна будка уборной с нарядной новой дверью. Натянута веревка, на которой висит белье. Алюминиевое корыто на табуретке. Маленькая туристическая палатка. На балюстраде мезонина сидит в позе лотоса Лиза с мобильным телефоном.

Кроме нее, никого не видно.

Лиза... Вот села на корточки, вот так... Подхватила себя под коленки – туже. Как можно туже, натужиться надо. Вот так. И полетели... Чувствуете, нет? Не летишь? Ну, давай еще разок. Руки кладешь мне под коленки... Покрепче... Теперь немножко вверх... Ой... как мне хорошо! Сейчас! Сейчас полетим! Ну, летишь? (Стонет.) Ой! Ой! Ой! Тебе хорошо? Все! Класс! Сеанс окончен.

Лиза выключает мобильный телефон. Раздается стрекот пишущей машинки. Скрип раскладушки. Кошка начинает призывно орать. Из двери дома выходит Варвара. Идет к рукомойнику, чистит зубы. Потом идет в уборную. Из палатки вылезает Константин, правая рука его в белой перчатке, он направляется к уборной. Там занято. Он подходит к рукомойнику, подбрасывает сосок рукомойника. Звон. Отходит за дерево, справляет малую нужду. Из уборной выходит Варвара, замечает Константина.

Варвара. Когда-то здесь жила интеллигентная семья.

Константин (застегивает штаны). Да ну? Это когда же?

Лиза (све рх у). Это было до исторического материализма.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Варвара. Хамов в нашей семье никогда не было.

Лиза. Оставь его. Он после заражения крови.

Константин встает в позу дерева.

Варвара (Лизе). Чего ты так рано встала?

Лиза. Сегодня вишню закупать поеду.

Варвара. Лучше бы завтра. Сегодня праздник большой, Преображение Господне. Грех работать...

Лиза. А-а, шестое августа по-старому, Преображение Господне...

Варвара. Откуда ты знаешь?

Лиза. В школе проходила.

Варвара. Хочешь, пойдем вместе на службу. Сегодня такая чудесная служба. Освящение плодов земных. В церковь приносят первины... первые яблоки... Лиз, а у нас две яблони были. Может, найдем там хоть несколько яблочек? Я бы тоже освятила...

Лиза. Нет, Варь. Их недели две тому назад спилили.

Варвара. Как?

Лиза. Они прошлым летом посохли. Или померзли. Их уже порубили и варенье на них сварили.

Раздается стрекот пишущей машинки. Варвара повязывает головной платок.

Лиза. Мамочка там уже к станку встала.

Варвара. Работает с утра до ночи, и все впустую.

Лиза. Думаешь, Алка ей не заплатит?

Варвара. Почему же не заплатит? Заплатит. Гроши паршивые. Ты знаешь, сколько она ей платит? Сто долларов за лист.

Лиза. Чего же плохого? Сто долларов – деньги.

Варвара. За авторский лист! Двадцать четыре страницы в авторском листе!

Лиза. Тогда гроши.

Варвара. Ну да!

Лиза. Так это же грабеж!

Варвара. Я про то и говорю... Правда, перевод кошмарный!

Лиза. Но кошмарный – то перевод вообще ничего не стоит.

Варвара. А работа?

Лиза. Плохая работа ничего не стоит! Тогда это грабеж! Карл у Клары украл кораллы!

Благовест.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Варвара. Да о чем мы говорим.. Пошла бы лучше со мной на службу.. Так хорошо. Очищает душу. Между прочим, фамилия Аллиной бабушки.. я недавно узнала.. сказать? Гольдфиш!

Лиза. Ну и что?

Варвара. Гольдфиш!

Лиза. Неужели Гольдфиш? Какой ужас! Мы в родстве с Буонапартом, с Тургеневым, с Александром Македонским! Так испортить породу!

Варвара. Ты глупа, Лиза.

Лиза. Правда? А я думаю, что в нашей семье я самая умная.. А ты, мне кажется, с ума сошла!

Варвара обиженно уходит. Пишущая машинка смолкает.

К уборной направляется Наталья Ивановна.

Лиза (све рх у). Мамочка! Доброе утро!

Наталья Ивановна. Ты сегодня ранняя пташка.

Лиза. Дашь почитать свой перевод?

Наталья Ивановна. С удовольствием! Такой неожиданный интерес! По-русски не читала Аллиных книг, хоть по-английски прочтешь. Совсем неплохо. Я бы сказала – очень хороший средний уровень.

Лиза. Нет, мам, это говно меня не интересует. Ты же знаешь, я читаю совсем другое говно – американское. Просто Вава сказала, что перевод кошмарный. Вот я и хочу посмотреть, что там кошмарное – твой перевод или характер моей сестры..

Наталья Ивановна. То есть как – кошмарный? Я двадцать лет проработала доцентом на кафедре!

Лиза. Мам! Ну, просто никому слова не скажи – сразу обиды, обиды!

Наталья Ивановна идет в уборную, бормоча и качая головой на ходу. Из дому выходит Мария Яковлевна с толстой книгой в руках. Надевает очки, усаживается за стол, листает книгу.

Мария Яковлевна. Номер две тысячи восемьсот двадцать второй. Варенье крыжовенное царское!

Наталья Ивановна выходит из уборной, обращается к Марии Яковлевне.

Наталья Ивановна. Доброе утро, Мария Яковлевна! Как вы спали?

Мария Яковлевна. Ужасно. Ужасно трясло всю ночь. Вы не чувствовали?

Наталья Ивановна. Чувствовала. Трясло. Какая-то вибрация.

Мария Яковлевна. Я уверена, там какой-то подземный завод. Вава говорит, что производят ракеты для урана.

Наталья Ивановна. Для Ирана, может быть?

Мария Яковлевна. Ну, я и говорю, из урана. Как при советской власти военно-промышленный комплекс лучший на весь мир создали, так до сих пор всем помогаем.. Всегда всем помогаем.. Вот послушайте, какой чудесный рецепт!

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Наталья Ивановна. Дети так огорчают меня...

Мария Яковлевна. Это само собой... Послушайте! Это было любимое варенье Николая Второго, оно так и называется – царское! Снять зеленые ягоды самые крупные после полудня, когда роса обсохнет, перебрать, вымыть ключевой водой, положить на пропускную бумагу, дать обсохнуть. Потом из каждой ягоды вынуть косточки...

Наталья Ивановна. Из крыжовника?

Мария Яковлевна. Ну да, конечно, из крыжовника... и поместить их в сироп, сваренный заранее и охлажденный до 25 градусов по Реомюру... Это по-нашему сколько будет?

Наталья Ивановна. Это так горько, когда дети обижают... Всю жизнь я для них... я дала им прекрасное образование...

Мария Яковлевна. Отдельно сварить в сиропе листья крыжовника и листья вишни из расчета по одному листу на десять ягод. Туда же положить полпалочки ванили. Срезать самым острым ножом корку с двух мессинских лимонов и изготовить из них цедру. Сок лимонов слить в стеклянную баночку темного стекла и хранить на холоду.

Наталья Ивановна. Прекрасное университетское образование... Английский, французский, немецкий... Только Ростислав мясо-молочный... А Леля даже выучила итальянский... музыке всех учили... рисованию...

Мария Яковлевна откладывает книгу и разводит огонь под тремя медными тазами.

Мария Яковлевна. Это все было лишнее... Знаете, Наталья Ивановна, на живом огне вся еда получается гораздо вкусней. Такой легкий запах дыма, очень приятный. А это крыжовенное вообще будет непревзойденное! Уже по рецепту вижу – непревзойденное варенье!

Наталья Ивановна. Варвара зла, Елена равнодушна, Лиза эгоистична, Ростислав поглощен собой... Они прекрасные дети, они меня любят...

Мария Яковлевна. И самое интересное в чем: варить следует в три приема, доводя до кипения, но препятствуя образованию пенки... Охлаждать каждый раз на льду и сохранять до следующего дня на леднике... сверху проложить пергаментом... Варенье крыжовенное на меду, другим манером...

Из дому выходит Лиза, крутит на пальце ключи.

Лиза. Владимирки десять килограммов?

Мария Яковлевна. Именно владимирку, а шубинку не покупай. Написано... Надо у Лели спросить, что там с банками. Поставь, пожалуйста, самовар, Лизик.

Лиза (кричит). Я на рынок еду! Леля! Банки приготовила? Леля!

Наталья Ивановна. Она спит.

Лиза (кричит очень громко). Лель!

Елена вылезает из палатки.

Елена. Что ты орешь? Я в доме не сплю. Там воняет. Какие еще банки?

Мария Яковлевна. Баночки для вишневого варенья. Мы сегодня варим. Я сироп уже практически приготовила. Лизик, поставь, пожалуйста, самовар!

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Лиза. Константина попроси.

Елена. У Константина рука. А я рисую этикетки. А банки Варя обещала простерилизовать.

Наталья Ивановна. Какая странная идея! Выше моего понимания... Бабушка Аня варила варенье. Но тогда была своя вишня. И была прислуга. В этих самых тазах. Да-да... В этих самых медных тазах. Снимали пенки... Какие были пенки! И прилетали осы. Весь сад гудел от ос... Теперь почему-то ос не стало.

Мария Яковлевна. Почему же странная? Это хорошая идея. Леля все посчитала. Если каждую баночку продавать по десять долларов...

Лиза. Мақаня! Так мне ехать или нет? Если банки не готовы, я не поеду... А то как в прошлый раз, куплю, и все пропадет...

Мария Яковлевна. Леля! Так банки готовы?

Елена. Посмотри в доме, в чулане...

Наталья Ивановна. Меня однажды осы покусали. Или это были пчелы?

Мария Яковлевна. Двести граммов – десять долларов. Килограмм – пятьдесят. Десять килограммов – пятьсот. А на трех тазах я могу варить девять килограммов в день. Даже десять. Есть смысл.

Наталья Ивановна. И сколько же вы уже сварили?

Мария Яковлевна. Тридцать восемь килограммов. Одна тысяча девятьсот долларов.

Наталья Ивановна. Какая же ничтожная у нас плата за интеллектуальный труд... Я сижу за машинкой с утра до ночи. Трещусь как ломовая лошадь... Тридцать восемь килограммов варенья...

Лиза. Так посмотри сама. Я не знаю, где банки. Мое дело – транспорт. На мне ягоды и сахар.

Мария Яковлевна. С сахаром осторожнее, Лизик...

Елена. А я рисую этикетки! Акварельные этикетки! Ручная работа! Хэндмейд!

Елена идет в дом, гремит там банками.

Наталья Ивановна. Странно все-таки... Варить варенье на продажу... Впрочем, всякий труд почетен. Бабушкина сестра Александрин после революции пекла пирожки и продавала их на Сенном рынке. А ее бабушка, в свою очередь, была фрейлиной Ее Императорского Величества...

Наталья Ивановна уходит в дом, откуда немедленно доносится стук машинки. Елена выходит из дома и выносит поднос с маленькими пустыми банками.

Елена. Вот. Это все, что есть. Их надо простерилизовать. По крайней мере помыть. Лиза, банки тоже надо купить.

Мария Яковлевна. Этого мало. На десять килограммов варенья необходимо пятьдесят двухсотграммовых баночек.

Елена. Здесь одиннадцать. Значит, надо прикупить.

Мария Яковлевна. Чудесный рецепт я нашла – царское варенье из крыжовника. (Листает книгу, снова читает.) Вот. Снять зеленые ягоды самые крупные, после полудня, когда роса обсохнет... Не какой-нибудь там конфитюр, или английский джем, или французский мармелад... Настоящее русское варенье!

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Лиза. Я банки покупать не буду. Пусть Константин хоть что-то сделает. Сходит на станцию и купит.

Мария Яковлевна. Поставь самовар, деточка.

Елена. При чем тут Костя? У него рука! Человек шесть недель пролежал в больнице, чуть не загнулся от заражения крови, и я пошлю его банки таскать?

Лиза. Ну да, я могу мешки с сахаром таскать и ящики с вишней, а Константин не может!

Константин (из палатки). У меня рука!

Елена. Я рисую этикетки! Мои этикетки стоят дороже варенья!

Мария Яковлевна. А у Лизочки диабет и порок сердца!

По дорожке к дому идет Семен.

Семен. Здравствуйте! Рано встаете... Раньше-то до полудня все спали...

Елена. Привет!

Мария Яковлевна. Доброе утро, Семен. Лизик, поставь самовар!

Лиза. Я же на рынок собиралась...

Мария Яковлевна. У тебя лучше всех получается. Поставь, детка...

Лиза. Вот беда какая – все у меня лучше всех получается... (Возится с самоваром.)

Семен. Андрей Иванович не приезжал?

Мария Яковлевна. Звонил. Сегодня приедет. А когда вы начнете ремонт, Семен?

Семен. Марь Яковлевна! Да я хоть щас! Как щас – так сразу. Бригада есть. Аванс даете – и вперед!

Мария Яковлевна. Вы бы сделали ремонт, мы бы сразу сдали квартиру, и пошли бы деньги... Расплатились бы потом... Свои люди – сочтемся...

Елена. Маканя, не лезь! С Семеном уже договорено.

Семен. Оно да... А когда же Андрей Иванович-то?

Самовар пыхтит, над ним колдует Лиза. Раздается мяуканье.

Мария Яковлевна. Надо кошку покормить. Лизик! Там сосиски испортились, отдай Мурке.

Семен. Чтой-то у вас все сосиски портятся. Как ни приду, все сосиски испортились.

Мария Яковлевна. Семен! Так у нас один только телефон еще работает. А холодильник-то не работает – электричества нет.

Семен. Воздушку бы надо от конторы перекинуть. Но смысла нет. Дома-то все пустые... Нет, считай, никого. Все дачи продали, съехали.

Мария Яковлевна. Да куда съехали-то?

Семен. Как куда? За границу! Кто в Америку, кто в Израиль! А Исламбековы в Турцию! У них за границей все давно в полной комплектации. Вы одни остались... Чего вы здесь сидите?

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Мария Яковлевна. Не будем об этом!

Лиза. Все съехали, а мы не съедем. У нас тут гнездо. Родовое.

Елена. Готов чай?

Лиза. Готов. Чашки ставь.

Елена выносит из дома чашки, два батона хлеба и баночку варенья.

Елена. Ну, тащи самовар и маму зови. Садись, Семен, попьешь чаю с нами.

Семен. Чай не водка, много не выпьешь.

Елена (кричит). Мама! Чай подан! Костя! Чай!

Лиза приносит самовар и ставит на стол. Идет в дом, выносит несколько сосисок. Лезет по приставной лестнице на дерево. Вешает сосиски на ветку. Константин выходит из позы дерева, идет к столу.

Лиза. Кис-кис-кис!

Семен. Чего это она, там так и живет?

Елена. Не слезает четвертый месяц. На самом верху сидит. У нее там гнездо.

Константин. Сумасшедшая. Сумасшедшая кошка.

Лиза. Не хуже тебя.

Константин. Сосалка виртуальная.

Лиза. Козел натуральный.

Елена. Мама! Чай!

Мария Яковлевна. Наталья Ивановна пьет кофе.

Елена. Вчера кончился.

Мария Яковлевна. Была баночка растворимого кофе.

Из дому выходит Наталья Ивановна.

Елена. Я говорю, вчера кончился.

Мария Яковлевна. Я же просила оставить кофе для Натальи Ивановны.

Елена. Чай.

Наталья Ивановна. Ничего, ничего. Я могу чай...

Мария Яковлевна. Леля, зачем ты взяла варенье? Оно на продажу!

Елена. Там сто девяносто банок осталось.

Лиза. Сто семьдесят одна, я посчитала.

Мария Яковлевна. Как сто семьдесят одна? Было сто девяносто! Кто взял варенье?

Елена. Там было несколько банок переваренного. Я брала переваренное.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya.ludmila.ru

Мария Яковлевна. Я убедительно прошу – оставьте варенье в покое.

Константин отламывает кусок батона, мажет вареньем, ест.

Мария Яковлевна. Эдак мы ничего не заработаем!

Елена. Не беспокойся, Маканя! Я уже договорилась. Одна моя французская подруга будет поставлять наше варенье в шикарный парижский магазин.

Лиза отламывает кусок батона, мажет вареньем.

Мария Яковлевна. Лиза! Сахар! Воздержись!

Наталья Ивановна. А что, мы теперь ножами не пользуемся?

Елена. Нет, почему? Вот нож.

Семен отламывает хлеб, мажет вареньем.

Семен. Хорошее варенье. Сладкое.

Елена. Десять долларов.

Семен. Чего?

Наталья Ивановна. Сегодня я закончила шестой том.

Семен. Десять долларов – чего? Ведро?

Мария Яковлевна. Двести граммов.

Семен. Чаю не надо. На что оно, вода...

Мария Яковлевна. Девочки! Там у забора два куста крыжовника. Надо его обобрать. После полудня. Когда роса обсохнет...

Наталья Ивановна. Это папин крыжовник. Сорт «Заря коммунизма». Папа за него Сталинскую премию получил.

Мария Яковлевна. Очень хороший крыжовник. Кисленький и некрупный. Как раз такой, что нужен для царского варенья... Надо попробовать... Рецепт замечательный. Молоховец. Все так понятно описано. Только что означает 25 градусов по Реомюру? Сколько это по-нашему будет?

Лиза. В долларах? Десять!

Мария Яковлевна. Да ну тебя, Лиза! Я серьезно спрашиваю. Никто не знает?

Елена. Нет. У всех гуманитарное образование. Константина попроси, он в Интернете посмотрит.

Константин. Компьютер не работает. Батареи сели.

Мария Яковлевна. Как же я узнаю?

Наталья Ивановна. Сегодня я закончила шестой том...

Лиза. Ест сосиски. Смотри, спустилась на нижнюю ветку и ест.

Константин. А если их на землю положить?

дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Варвара. С праздником!

Андрей Иванович. С праздником, племянница! Подумать только! Недавно Пасха была, а уже Преображение! Изумительно выглядишь!

Варвара кладет букет на стол и вынимает из сумки яблоки.

Варвара. В храме бабы яблок надарили. Освященные яблочки... У нас – ни яблочка на участке. А у них почему-то растут...

Лиза берет яблоко, надкусывает, потом осматривает его, сколупывает этикетку.

Лиза. У них растут, и прямо с этикетками «Голден».

Варвара. Перестань! (Разглядывает яблоки.) Неужели и они в магазине покупают? Простые русские бабы... Поразительно! Просто поразительно!

Константин подходит к ударной установке, садится, резко бьет в тарелки. Начинает соло на барабанах, делает паузу.

Константин. Есть своя прелесть в живой музыке! Да черт с ним, с компьютером!

Продолжает бить. Все оживленно разговаривают – голоса тонут в грохоте ударных. Наконец Константин откладывает щетки.

Андрей Иванович... И теперь мы получили место главного хореографа! В Барселоне!

Лиза. Гауди!

Андрей Иванович. А ты откуда знаешь про Гауди?

Лиза. А я вообще много лишнего знаю.

Наталья Ивановна. Дюдя! И ты с ней поедешь?

Андрей Иванович. Ну конечно, она же без языка. Я буду при ней переводчиком.

Мария Яковлевна. Так вы умеете по-испански?

Андрей Иванович. В нашей семье все знают много лишнего. Я, к примеру, всю жизнь занимался весьма экзотическим разделом математики. Во всех отношениях лишнее. Но! Никогда ничего заранее не знаешь: как раз лишнее может вдруг оказаться необходимым! А испанский я знаю. Да.

Варвара (разглядывает яблоки). На каждом яблоке – наклейка! «Голден»! И это в России! Где наша антоновка? Где наш белый налив? Где наша грушевка? Вместо всего этого – какой-то... Голденфиш!

Наталья Ивановна. Дюдя, но ведь ей шестьдесят шесть лет!

Андрей Иванович. Да! Но ее рекомендовала Эсфирь, которой девяносто два! А Эсфирь до сих пор ведет балетные классы то в Париже, то в Токио! Она лучший репетитор в мире!

Лиза. Кто? Жизелька?

Андрей Иванович. Нет, Эсфирь, учительница Анны Павловны. Анна Павловна – ее любимая ученица.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Наталья Ивановна. Так ты уезжаешь надолго?

Андрей Иванович. Трудно сказать. Условия, которые они предлагают, исключительно выгодные...

Елена. Дюдя нашел работу! Никто не может найти работу, а он нашел! Кто бы мог подумать!

Мария Яковлевна. А как же мы? Андрей Иванович уезжает, а как же мы?

Андрей Иванович. Так никто вас не гонит. Живите, пока здесь все не развалилось... Я не против.

Мария Яковлевна. О боже! Сироп горит! (Кидается к очагу.)

Семен. Так, Андрей Иваныч! Пошли, что ли... Нас который день ждут...

Андрей Иванович. Да-да... Семен. Идем... Сейчас идем! (Пьет чай.) Хороший чай!

Лиза. Кто заваривал? Так мне на рынок ехать или не ехать?

Мария Яковлевна. Конечно, Лизик! Конечно, ехать! И купить десять килограммов владимирки!

Варвара. Она купит вам десять килограммов голденфиш! Все, все пропало... (Уходит.)

Лиза. Деньги-то выдайте!

Мария Яковлевна. А у тебя совсем нет, Лизик? Я думала, у тебя есть.

Лиза. Только на бензин.

Мария Яковлевна. Лелечка, выдай, пожалуйста, Лизику на вишню...

Елена. У меня нет. Я все потратила. Знаешь, сколько теперь стоит голландская акварель?

Наталья Ивановна... выше моего понимания...

Уходит в дом. Стучит пишущая машинка.

Мария Яковлевна. Может, немного одолжите...

Елена. Семен! Одолжи сорок долларов, а?

Константин садится к ударной установке и тихонько гремит щетками.

Семен. О чем разговор? Пожалуйста...

Вынимает из кармана деньги, протягивает Елене, та кивает на Лизу.

Елена. Лизе дай.

Лиза (берет деньги). Ну пока.

Уходит. Слышно, как отъезжает машина.

Мария Яковлевна. Вы, Семен, просто наш спаситель. Если бы вы в московской квартире канализацию починили...

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Семен. Да что вы, Марь Яковлевна! Там евроремонт нужен.

Андрей Иванович. Ну пошли, Семен! Я готов.

Елена. Ты куда, Дюдя? Только приехал и сразу уходишь?

Семен. На пруд.

Елена. Так пруд на той неделе спустили!

Семен. Тем более...

Семен и Андрей Иванович уходят. Мария Яковлевна мешает содержимое тазов, подкладывает щепки.

Мария Яковлевна. Дрова кончаются. Надо позвать человека... срубить дерево.

Елена раскладывает на столе краски.

Елена. Костя! Ты только посмотри, как здорово получается! Сверху красными латинскими буквами – «русское варенье», а сбоку и внизу – ягоды, ягоды...

Константин. Да, здорово!

Мария Яковлевна. Роса уже обсохла, пойду-ка я соберу с тех двух кустов...

Выходит Варвара с чашкой, наливает из самовара воды.

Мария Яковлевна. Вавочка! В маленьком тазике варенье сваренное, уже охлажденное. Ты разлей его по баночкам и укуפורь.

Варвара. Я сделаю, Маканя. Выпью чаю и сделаю... Устала... Служба длинная...

Приносит таз с одного из очагов, берет ложку, начинает разливать варенье по банкам. Пробует, облизывает ложку.

Елена. Ложку не облизывай. Забродит.

Варвара. Не забродит.

Елена. Обязательно забродит.

Варвара. Рисуешь – и рисуй! Ой! (З вонко и сильно кричит.) А-а-а!

Мария Яковлевна (прибегает на крик). Что случилось?

Варвара. Мышь!

Елена. А-а-а! Где мышь?

Мария Яковлевна. Где мышь?

Варвара. В варенье! Мышь в варенье утонула! В вареньедохлая мышь!

Мария Яковлевна. Не может быть! (Заглядывает в таз.) Действительно, мышь! (Вытаскивает мышь ложкой.) Странно! Как она туда попала?

Елена. Гадость какая! Выброси немедленно!

Мария Яковлевна. Конечно, выброшу. Зачем нам вареная мышь?

Елена. Варенье выброси.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Мария Яковлевна. Три килограмма? Три килограмма варенья выбросить? Сто пятьдесят долларов? Ты с ума сошла!

Варвара. О боже! Дохлая мышь!

Мария Яковлевна. Вава! Ничего страшного. Ну, мышь! Потом, обрати внимание – это не домашняя мышь. Это мышь полевая. Они чистенькие...

Варвара. О боже! Почему? Почему мы так живем? Мыши, крысы, тараканы! Довели страну! До чего довели страну!

Елена. Меня тошнит. Меня сейчас вырвет...

Мария Яковлевна (выбрасывает мышь). Ну все. Все. Больше нет мыши. Забыли. А варенье я могу вскипятить еще разок.

Константин. Лель! А ты нарисуй этикетки с мышью. Вишни и мыши.

Елена. Выбросить надо это варенье.

Варвара. Или по крайней мере освятить. Я знаю такой случай, в литературе описан... Надо пригласить батюшку, он освятит.

Елена. И ты после этого будешь его есть?

Мария Яковлевна. Кто это будет есть? Никто не будет есть! Это варенье на продажу! Нам надо собрать деньги на ремонт квартиры! Это варенье – наша валюта! Варвара – разливай!

Варвара. Хорошо! Я разолью! Но потом я приглашу священника, чтобы он освятил... Нельзя после мыши... есть.

Константин. Ты после мыши не можешь, а мышь после тебя – может! Христианство называется!

Варвара. Что ты несешь, Константин?

Константин. Ничего. Хари Кришна! Оум!

Варвара. Тьфу! (Уходит.)

Елена (задумчиво). А может очень миленько получиться... Вот здесь, в левом углу, такую маленькую мышку нарисовать?

Мария Яковлевна. Такая нервная...

Мария Яковлевна раскладывает варенье по банкам.

Мария Яковлевна. Ну все. Баночки закончились. А варенье еще осталось. Теперь закрутить. А простерилизовать и потом можно! Одиннадцать баночек. Два килограмма двести граммов. Сто десять долларов. Осталось только продать.

Елена. А может, вишенки вообще не рисовать? Одних мышек? А?

Константин. Ага. И продавать будешь кошкам. Скучно с вами, бабы... Пойти, что ли, поработать...

Константин садится за ударную установку.

Мария Яковлевна. Ужасно трясет! Сегодня особенно сильно трясет! Вы слышите? Вы чувствуете, как трясет? Я уверена, там у них военно-промышленный комплекс! В каком-то смысле я даже приветствую, что он продолжает работать...

дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Раздается отдаленный рев бульдозеров, из дому выходит Наталья Ивановна.

Наталья Ивановна. Что происходит? Что здесь происходит?

Мария Яковлевна. Ничего страшного. Мышка в варенье попала.

Наталья Ивановна. А-а... бедняжка...

В доме звонит телефон. Наталья Ивановна вдет в дом, разговаривает, потом выходит.

Наталья Ивановна. Ростик звонил. Странный такой звонок. Сказал, чтобы мы срочно вещи собирали. Он сейчас приедет. Не поняла, какие вещи? Зачем?

Мария Яковлевна. Вот и я говорю, ничего страшного. Маленькая мышка. Полевка. Чистенькая. Простерилизовать можно, в крайнем случае. Или освятить...

Подъезжает машина. Входит Ростислав в белом.

Целует мать.

Ростислав. Ну все, дорогие мои! Переезжаем!

Наталья Ивановна, Мария Яковлевна, Елена, Константин (одновременно). Как? Куда? Зачем? Когда? Почему? С чего это?

Ростислав. Переезжаем немедленно. За воротами стоят два грузовика с рабочими. Этой дачи больше нет. Все. Ее нет. Есть другая. Новая. Очень хорошая. На Новорижском шоссе.

Варвара выходит из дома.

Варвара. Никогда! Никуда! Я! Отсюда! Не уеду!

Рев бульдозеров громче, Елена обнимает Варвару за плечи.

Елена. Да, я как-то не готова... наш дом, все-таки...

Ростислав. Через час вас здесь уже не будет. А через два часа не будет ни одного дома во всем поселке.

Мария Яковлевна. А как же мебель... имущество... Ростик?

Ростислав. Все, что вы хотите забрать в новый дом, рабочие погрузят.

Варвара. Никогда! Никуда! Я! Отсюда! Не уеду!

Наталья Ивановна. Но почему так внезапно? Мы совершенно к этому не готовы...

От ворот к дому идут Семен и Андрей Иванович с портфелем.

Андрей Иванович. Что случилось? Что происходит?

Ростислав. Мы переезжаем, дядя.

Андрей Иванович. То есть как?

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Ростислав. На новую дачу. Я купил вам новый дом. В два раза больше..

Андрей Иванович. Но это дом нашего отца, деда..

Ростислав. Дядя, сейчас времени нет. Я тебе потом все объясню. Сейчас надо быстро собирать вещи. Два грузовика и рабочие..

Андрей Иванович. Но этот дом.. он уже не наш..

Ростислав. Ваш, наш – сейчас уже значения не имеет.

Семен. Как это – не имеет? Дом-то мой!

Все (хором). Как?

Семен. А мне Андрей Иваныч его подарил.

Все (хором). Как?

Семен. А вот дарственная. Мой дом.

Ростислав берет из рук Семена бумагу, читает, потом отдает обратно.

Ростислав (Семену). Сколько?

Семен. Да так, дарственная.. я тут починал.. здесь все, почитай, моими руками..

Ростислав (Андрею Ивановичу). Сколько?

Андрей Иванович. Понимаешь, Ростик, мы с Анной Павловной переезжаем в Барселону.. Я, собственно.. мы там должны квартиру купить.

Ростислав. Сколько?

Андрей Иванович. Пятьсот тысяч.

Наталья Ивановна. Дюдя..

Елена, Варвара. Дядя!

Ростислав. Таких легкомысленных, неделовых, странных людей я еще не встречал..

Наталья Ивановна. Как ты мог, Дюдя?

Андрей Иванович. Наток, понимаешь, изменились обстоятельства.. безвыходное положение.. В Барселоне цены на недвижимость растут..

Наталья Ивановна. Как ты мог?

Ростислав (Семену). Завтра утром зайдешь в офис «Ростинвест» и оформишь там куплю-продажу.

Семен. Как это? Да здесь земля одна стоит.. Дача-то чего стоит.. Ничего.. А здесь сотка одна стоит.. Я что же, лох какой-нибудь.. Да здесь одна сотка стоит.. знаешь.. две штуки, не меньше.. (Все молчат, Семен продолжает бубнить..) А здесь участок гектар! Да.. сотка две штуки, самое маленькое..

Ростислав. Ну, еще что скажешь?

Семен. Гектар, да? А дом самый – ничего не стоит. Но гектар-то?

Ростислав. Знаю. Все знаю. Завтра придешь в офис и получишь миллион.

Андрей Иванович. То есть как? Миллион?

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Ростислав. Да. Миллион. Ты дарственную дал? Нотариально оформил? Все! Свалял дурака, дядя.

Андрей Иванович. Русский человек любит прикидываться дурачком... будучи на самом деле полным идиотом..

Семен. А по какому адресу офис-то?

Ростислав. Найдешь. Пошел вон!

Семен пятась уходит.

Ростислав. Ну все, дорогие мои. Быстренько собирайте самое ценное, самое дорогое. Кибилов! Коробки!

Из-за забора вбегают несколько добрых молодцев в черных комбинезонах и вязаных черных масках с прорезями для глаз, в руках коробки. Мария Яковлевна пронзительно кричит.

Мария Яковлевна. А-а! Террористы!

Ростислав. Успокойтесь. Террористов я не заказывал!

Константин. Омоновцы?

Ростислав. Омоновцев тоже не заказывал! Это свои ребята. Грузчики. Грузят.

Люди в комбинезонах складывают коробки и выбегают.

Звонит мобильный телефон.

Ростислав (в телефон). Нет, пока ждать. Я дам сигнал. (Наталье Ивановне.)
Мамочка, ты бери только самое ценное, что там у тебя, архивы, фотографии, а остальное грузчики запакут и вынесут. Вава, ну что ты стоишь столбом?
Собирайся! Леля! Константин!

Мария Яковлевна. Надо вынести из подвала варенье.

Ростислав. Ну конечно, и варенье.

Мария Яковлевна. Определи мне, пожалуйста, рабочего!

Ростислав. Кибилов! Одного грузчика – сюда!

Рысцой вбегает грузчик в комбинезоне, Мария Яковлевна ведет его с собой.

Мария Яковлевна. Сюда, голубчик.

С молчаливым достоинством Андрей Иванович идет наверх.

Ростислав. Кибилов! (Прибегает кибилов.) Мебель складывайте. Что совсем сломанное, оставляйте. (Рассматривает стул, стоящий кверху ножками у стола.) Ума не приложу! Красное дерево. Середина девятнадцатого века! Здесь реставрации по две штуки на каждый стул... Ладно, черт с ними! Заберем. Дорого стоят семейные ценности. Дешевле было бы на «Сотбис» покупать... Ничего не поделать – происхождение обязывает... А где Лизка? На рынок поехала? Кибилов! Там в мезонине комнатка – оттуда все до последней нитки собери и упакуй. Там младшая моя сеструшка. Такой скандал устроит, если что не так. Да, кибилов! Мебель всю забирайте, сломанную тоже... (Нажимает кнопку на телефоне.) Дуся моя! Все идет по

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
плану. Без неожиданностей.

Рабочие в комбинезонах и масках ровной шеренгой бегом вытаскивают из дому ящики и выносят за ворота. Все прочие тыкаются кто с книжкой, кто с портретом, кто с вазой, роняют вещи, налетают друг на друга, шарахаются. Одно ставят на землю, хватаются за другое. Ростислав стоит посреди толчеи, величественный, самодовольный, в белом.

Ростислав. Главное, не волнуйся, мамочка! У тебя в новом доме собственный санузел.

Мария Яковлевна (рассматривает на свет баночку с вареньем). Кажется, забродило! Да, здесь пузырьки. Почему это оно забродило? (Берет другую баночку.) И эта забродила. Ничего не понимаю..

Ростислав (смотрит на часы). кибилов! Всё вынесли? Отойдите все от дома. К забору! Мамочка, Леля! К забору, пожалуйста! (В телефон.) Давай!

Подземная вибрация усиливается, взрыв, грохот. Дом разваливается, как карточный домик. Столб пыли поднимается и медленно оседает.

Андрей Иванович. Что ты наделал, Ростислав?

Ростислав. Дядя! Там под землей, как раз под нашей дачей, сейчас встретились два тоннеля метро. Понимаешь, здесь, на этом месте, будет станция метро. Под нами подземный вестибюль.

От ворот идет Лиза с ящиком вишни в руках.

Лиза. А-а! Что с нашим домом?

Варвара. Все пропало!

Андрей Иванович. Дома больше нет, Лиза.

Я уезжаю. Мне здесь нечего делать.

Лиза. Ты куда, Дюдя?

Андрей Иванович. В Барселону.

Лиза. В какую еще Барселону?

Андрей Иванович с достоинством направляется к воротам. Ростислав поднимает с земли портфель.

Ростислав (вдогонку Андрею Ивановичу). Дядя, ты забыл портфель!

Андрей Иванович возвращается, берет портфель.

Ростислав. Наверное, с деньгами? Таких неделовых, легкомысленных, странных людей... я еще не встречал...

Андрей Иванович стоит с портфелем, подле Наталья Ивановна с портретом Чехова в руках, три сестры стоят рядом.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Лиза. Да что происходит, объясните, в конце концов?

Варвара. Я тебе объясню. Все пропало! Все кончено. Здесь была усадьба, где жили наши предки. Они здесь любили, трудились, они работали... Здесь была дача, на которой тоже жили наши предки. И тоже любили, трудились. Работали... Сажали... Растили... Здесь было имение, прекрасней которого ничего нет на свете... А теперь здесь – пустыня. И некому больше работать. (Обнимает Лизу и Елену.)

Ростислав. Работать! Работать! Поработали уже! Надоело! Хватит! Настало время отдыхать! Это прекраснейшее место на свете! Здесь будут отдыхать, развлекаться, радоваться жизни, пить, есть и веселиться, танцевать, слушать музыку, смотреть фильмы. Здесь будут концерты, аттракционы! Выроем пруд размером с Женевское озеро, а в середине построим искусственный остров! И четыре моста будут перекинuty с берега! И все хрустальные! Дети и родители станут приходить сюда тысячами, сотнями тысяч! Со всей страны! Со всего мира! Китайцы! Миллионами! Японцы! Миллионами! Зулусы! Эскимосы! Все прибегут! И все – с миллионами! Все флаги в гости будут к нам! Хватит работать! Пора отдыхать! Пришло время отдыхать! Здесь будет Диснейленд! Поняли? И вы увидите небо в алмазах! киберов!

Из-за забора выбегают грузчики в комбинезонах и в масках-головах – Микки-Маус, утенок, собачка, медвежонок, индеец и даже, может быть, комические головы крупных политических деятелей нашего замечательного времени. Играет музыка. Колокольный звон. Пляшут грузчики в комбинезонах, подхватывая членов семейства Лепехиных. Рев бульдозеров приближается, грузчики уволаскивают за забор всех Лепехиных и все декорации. Резко наступает тишина. На пустой сцене стоит Ростислав. Осталось только одно-единственное дерево. С дерева раздаются кошачьи вопли.

Ростислав. Бедное животное. Забыли...

Занавес

2003

Мой внук Вениамин

Пьеса в двух действиях

Автор представляет действующих лиц:

Эсфирь Львовна, под семьдесят, портниха.

«Жестоковыйный народ» – сказано про ее породу. Темперамент полководца, вдохновение, артистизм. Убеждена, что ей дано нечто, в чем отказано всем остальным. Самопожертвованию ее нет границ. Деспотизму – тоже. Автора при столкновении с нею не раз душили порывы с трудом сдерживаемой ярости. И восхищения – тоже. Она – последняя местечковая еврейка.

Елизавета Яковлевна, под семьдесят.

Двоюродная сестра Эсфири Львовны. Бездетная акушерка. Кто не понимает – объясню: это умирающий от жажды разносчик воды. Жертва ее отвергнута. Когда такой человек обижен и оскорблен, он становится Каином. Когда смирен и тих – Елизаветой Яковлевной.

Сонечка, восемнадцать.

Огромные светлые глаза овцы. Овца. Овечка. Идет, куда ведут. Послушна и кротка. Между добром и злом едва ли различает. Обижать таких стыдно и скучно. Она – сосуд. Личности в ней почти нет.

Витя, восемнадцать.

Проходит действительную службу в рядах Советской армии. Аккуратен, исполнитель. Член комитета ВЛКСМ, выполняет отдельные поручения. Имеет спортивные разряды по

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru лыжам и стрелковому спорту. Проявил себя как хороший товарищ и принципиальный человек. Политически грамотен, морально устойчив.

Действие первое

Картина первая

На кухне у Эсфири Львовны. Она хлопает дверцей холодильника, достает баночки, перекладывает еду, что-то протирает, подставляет Елизавете Яковлевне всё новые и новые угощения.

Эсфирь. Кушай, Лиза, кушай! Ты кушай, а я буду рассказывать. Я люблю, чтобы было красиво! Ты спросишь, откуда у меня это? Не знаю. Люблю. Чтоб было много тарелок, и салфетки, и все как надо. Кушай, Лиза, кушай. Возьми салат. Я тебе расскажу нечто! Ты удивишься! (Пауза.) Я была в Бобруйске!

Елизавета Яковлевна замирает в изумлении, подняв вилку в воздух.

Эсфирь. Да, представь себе, я была в Бобруйске!

Елизавета. Да что ты говоришь, Фира?

Эсфирь. Да, представь себе! Я была в Бобруйске!

Елизавета. Я бы никогда не решилась... нет!

Эсфирь. Начнем с того, что это совсем другой город. Совсем другой. В нем ничего, ничего не осталось. Другие дома, другие люди. Все совсем другое. Правда, потом я поехала в Гулёвку. А вот там совсем другое дело, там остался костел, и дом дяди Якова. Помнишь, аптека была сбоку пристроена? Это сохранилось. В доме какая-то контора. И река течет, как раньше. Что ей делается? Только мост новый. Еврейское кладбище разрушено. Помнишь, какие были красивые памятники, – ничего не осталось. Эти гады, эти сволочи всё порушили. Над рекой, где была дача Лиховецкого, там теперь дом отдыха. Там я нашла кусок от большого каменного мраморного надгробия. «Год пять тысяч пятьсот сорок третий. Шаул Винавер» – это сохранилось, а от имени только одна буква «шин». Значит, конца восемнадцатого века могила, наших Винаверов предок. На этом надгробии две девочки сидели, кукол переодевали. Ну, думаю, и пусть сидят. Лавочек-то нет.

Елизавета. Только ты на это способна, только ты! Я бы ни за что в Бобруйск не поехала!

Эсфирь. А тебе зачем? У меня дело было. Да, дело, не смотри на меня так. Кушай, кушай, что ты так просто сидишь? Ну что же ты не спрашиваешь, какое дело?

Елизавета. Я думаю, ты мне сама расскажешь.

Эсфирь. Так вот, я приехала в Бобруйск. Огромный вокзал, просто огромный, ты себе представить не можешь. И, между прочим, город тоже стал очень большой, раз в десять, наверное, больше, чем до войны. А посреди вокзала – ларек, книжный там, я знаю? Я хочу взять открытки. И кто в ларьке? Лиза, кто в ларьке? Маруся Пузакова! Ты думаешь, я ее узнала? Ничего подобного! Я даю ей рубль, хочу взять открытки, и вдруг она кричит на весь вокзал: «Фира! Фира! Живая!» Тут уж я ее узнала, и мы заплакали, и закрыли ларек, и пошли к ней домой. Ты помнишь Марусю Пузакову?

Елизавета кивает.

Эсфирь. У меня был двоюродный брат, Сёма, так этот Сёма...

Елизавета. Фира, что ты мне рассказываешь про Сёму? Мне-то Сёма был родным братом!

Эсфирь. Ну да, конечно, конечно. Так вот, этот Сёма...

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Елизавета начинает тихо плакать, утирая глаза.

Эсфирь... У него с Марусей Пузаковой была любовь...

Елизавета (тихо)...Была такая любовь...

Эсфирь. И, ты помнишь, дедушка Натан не разрешил Сёме на ней жениться...

Елизавета. Какая Маруся была красивая!

Эсфирь. Ну, не знаю, не знаю. Сейчас уж, конечно, от нее ничего не осталось. Как ты помнишь, Сёма ушел из дому. Мы с Вениамином как раз приехали в отпуск, а он как раз ушел из дома. И был такой скандал! Дедушка так кричал! А бабушка Роза плакала и посыпала себе голову пеплом! (Сквозь смех и слезы.) И на ней была розовая кофта, ты же помнишь, как она одевалась? Она посыпала голову пеплом и аккуратно стряхивала его с воротничка. Ой, какая она была артистка!

Елизавета. Точно как ты!

Эсфирь. Что я! Был канун субботы, а дедушка Натан всё кричал. Мы пожили там две недели, оставили Илюшеньку и уехали. И больше уже никого никогда не видели. Это было двенадцатое июня.

Елизавета. Да, через десять дней...

Эсфирь. Будь оно проклято, это двадцать второе июня!

Елизавета. А Сёма погиб на фронте. Расписался с Марусей, и они поехали в Одессу, и оттуда он ушел на фронт. И все погибли, все. И Винаверы, и Брауде, и Ехелевичи. Никого не осталось. Только мы с тобой, Фира. А что мы?

Эсфирь. Ты забываешь, Лиза! У нас есть Лёва! У меня есть сын Лёва. И это самое главное! Так вот слушай меня, Лиза! Все погибли. Все наши погибли – но мы-то с тобой остались! И я решила проверить, – а может, погибли не все? Ты же помнишь, наши две улицы всегда женились между собой: Ехелевичи на Литваках, Винаверы на Брауде. И я решила: пусть Лёва женится на девушке из этих фамилий! Да!

Звучит еврейская свадебная музыка.

Елизавета. Фира, ты сошла с ума!

Эсфирь. Почему я сошла с ума?

Елизавета. Лёва женится на ком захочет. Как это можно ему указывать в таком вопросе? В наше время?

Эсфирь. А что, уже настало время, когда можно не слушаться родителей?

Елизавета. Ну, тебя не переговоришь!

Эсфирь. Так вот – мой сын пока что еще меня слушает. И он женится, как я ему скажу.

Елизавета. Ну ладно, ладно. Ты нашла ему невесту?

Эсфирь (торжественно). Да, я нашла ему невесту в городе Бобруйске! Еврейскую девушку из семьи Винаверов! И когда я на берегу увидела это надгробие, я сразу поняла, что это знак! Что в городе есть девушка из семьи Винаверов!

Елизавета. Да что ты говоришь!

Эсфирь. И какая девушка! Какая девушка! (Машет руками, как будто мух гоняет, сквозь слезы.) Лиза, она настоящий ангел. Нет, не ангел. Она Рахиль, вот кто она. Маленькая, светленькая, и такие глаза, как будто сам БОГ смотрит, вот что я

дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru тебе скажу. Дочь Симы Винавер.

Елизавета. Сима – это кто?

Эсфирь. Дочь Гирша–портного. Ее спасли.

Елизавета. А, помню Гирша, рыжий, худой, на углу они жили.

Эсфирь. Симу укрыла соседка, Коноплянникова Клавдия Федоровна. Праведница. Настоящая праведница. Ей воздастся. Не помнишь? Они когда-то были богатыми. Извоз у них был, ну, потом, конечно, уже ничего не было. Ты представляешь, Клавдия Федоровна до сих пор жива. А Сима умерла полгода назад от рака.

Елизавета. Боже мой! Пол–улицы было Винаверов, и чтоб осталась одна Сима!

Эсфирь. Ты что, оглохла? Я же тебе говорю, Сима тоже умерла. Но сначала она родила дочку! Она родила жену для Лёвы, вот что она сделала! (Пауза.) Конечно, она рано умерла, ей было всего пятьдесят лет. Жила одна, с дочкой, без мужа. Музыка преподавала, и, видно, туго ей приходилось. Я навела справки и пришла сначала к Коноплянниковой Клавдии Федоровне. Ей лет девяносто, она почти ничего не видит. Дай ей Бог здоровья! Потом пошла к Сонечке. И вот Сонечка сама открывает мне дверь!

Елизавета. Ты ее привезла?

Эсфирь. Нет, Лиза. Ты же знаешь, все Винаверы очень порядочные люди. Сонечка работает воспитательницей в детском садике, и она не может уехать, пока не найдут замену. Я, конечно, ей сказала, чтобы она взяла отпуск, но отпуск она пока брать не может, она там только пять месяцев работает. Но она сказала, что придет, как только найдется ей замена.

Елизавета. И что же, она сразу согласилась выйти за Лёву?

Эсфирь. Ты что, Лиза, совсем сумасшедшая? Мишу–гене, ей–богу! Кто же ей это предлагал? Она придет, увидит его, и зачем это я буду забегать вперед?

Елизавета. А вдруг он ей не понравится?

Эсфирь. Кто? Лёва? Как это он может не понравиться? Он такой остроумный, и красивый, и кандидат физико–математических наук, и на пианино играет. Ну, что ей еще нужно, я тебя спрашиваю?

Елизавета. Вообще, конечно, да. Наш Лёва действительно...

Эсфирь. А я что говорю? И честно тебе скажу, я уже почти забыла, как делается старинная русская гладь и атласное шитье... Я одену ее как куколку – и с каким удовольствием!

Картина вторая

В квартире Елизаветы Яковлевны. Перед накрытым столом сидит Эсфирь Львовна. Она сияет седой стриженной головой. Одета с отменным вкусом. Торжественна.

Эсфирь. Ну что ты так сидишь, как лимон проглотила?

Елизавета. Ай, не хочу тебе говорить...

Эсфирь. Не хочешь, не говори. Очень мне нужно знать, в каком месте у твоей Анастасии болит.

Елизавета. Нет, Фира. Здесь Анастасия Николаевна ни при чем.

Эсфирь. Ну, значит, в роддоме у тебя что–то приключилось... Что там у тебя?

Елизавета. Вчера ребенка потеряли. Из–за этих проклятых протезов.

Эсфирь. Что ты мелешь? Из–за каких протезов?

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Елизавета. Я делаю новые зубы. И вчера у меня была примерка, утром. Мне пришлось поменяться с Федоровой, и я вышла в другую смену. А моя теперешняя смена – это ужас! Валечка Рыжова в отпуске, а эти молодые не умеют работать. И не хотят. Я как чувствовала – что-нибудь у них случится! Они потеряли ребенка!

Эсфирь. Что ты так убиваешься, Лиза? И раньше рождались мертвые дети, и довольно-таки часто, это теперь стало редко, а раньше сплошь и рядом...

Елизавета. Этот ребенок был хороший здоровый мальчик. Они не справились с пуповиной, было двойное обвитие. Такая красивая женщина, татарка или туркменка, молодая. Первые роды. Первенца потеряла.

Эсфирь. Молодая, еще родит.

Елизавета. Этого ребенка больше никто не родит.

Эсфирь. А ты что там, одна работаешь, что ли? А куда смотрят ваши врачи? Кроме тебя, некому принять?

Елизавета. Я же тебе говорю – плохая смена. Совсем молодые девочки, не понимают, что такое акушерка. Акушерка должна сама каждый раз родить вместе с роженицей. А это трудно. Когда принимаешь роды, чтобы женщина не порвалась, чтобы ребенок не измучился, ты всё время держишь их в руках. У меня же руки как у хорошего мужика. (Поднимает руки.) Это тяжелая работа, Фира.

Эсфирь. Что ты хвалишься? Где ты видела легкую работу? Может, ты думаешь, у меня легкая работа?

Елизавета. Что ты, что ты, Фирочка! Я очень хорошо знаю, что за каторга это портняжное дело! То, что можешь ты, этого никто не может!

Эсфирь. Конечно! Мне тоже иногда кажется, что я таки кое-что могу! Ты помнишь, Лиза, когда приехала Сонечка?

Елизавета. Кажется, недели две тому назад?

Эсфирь. Вот именно, ровно две недели тому назад! И вот пожалуйста, она две недели как приехала, а он вчера ей сделал предложение. И сегодня они пошли подавать эту заявку... заявление... да! Она в него сразу влюбилась, с первого взгляда! А помнишь, что ты говорила?

Елизавета. Ну что, Фира, я могу сказать? Не зря же дедушка Натан звал тебя «царь Соломон в юбке»! Я просто поражена! Анастасия Николаевна, между прочим, тоже очень высоко тебя ценит. Она так и говорит: «Лизочка, ваша Фира – это не человек, это явление!»

Эсфирь. явление?

Елизавета. Да, да. Не человек, а явление! Но ты скажи про Лёву. Как он?

Эсфирь. А как он? Он таких девочек в жизни не видел! Я же знаю его контингент! Это что-то особенное!

Елизавета. Но ты говорила, что эта его последняя была интересная.

Эсфирь. Ну и что? Лёве тридцать четыре года. Она говорила, что ей тридцать пять, а на деле ей сорок. И пусть она выглядит хоть на двадцать пять, но когда женщине под пятьдесят, ей уже нечего делать с молодыми людьми.

Елизавета. Бог с ней! Расскажи, как он вдруг ни с того ни с сего сделал Сонечке предложение?

Эсфирь. Очень просто. Я привезла ее с вокзала, заранее Лёву не предупредила. Он пришел вечером, я ей говорю: «Сонечка, пойдй открой дверь». Она ему открыла. Потом мы поужинали. Я приготовила фаршированную рыбу и бульон с кнейдлах. Потом мы посмотрели телевизор, и я отправила ее спать. А ему я сказала: «Ты понял, Лёва, кто это?» Он таки не дурак, он понял сразу и говорит мне: «Я должен подумать!» А я ему так спокойно: «Конечно, думай, от этого еще никто не умирал.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
У тебя что, много было таких девочек? Золото, а не девочка! А характер! Уж в чем в чем, а в характерах я понимаю! И, между прочим, тоже на пианино играет! Сима ее обучила. Винаверы – очень музыкальная семья». Он мне говорит: «Мама, она очень молоденькая!» – «И тебе это плохо? Тебе надо обязательно старуху, и чтобы она считала уравнения!» Больше он мне ничего не сказал. Молчит. И я молчу. Ты же знаешь, я не только говорить – молчать я тоже умею. Покойный Вениамин всегда говорил: «Пока Фира говорит, это еще полбеда, вот когда она молчит – это беда!»

Елизавета. Это я помню. А лёва? Что лёва?

Эсфирь. Мне он молчал. Ходил с Сонечкой два раза в театр, я хорошие билеты два раза купила, ходили в кино. Он повел ее на концерт, между прочим, сам билеты купил, по собственной инициативе. Вчера я ему говорю: «Лёвочка, завтра вторник. Ты уже должен сделать девочке предложение, а то она будет думать бог знает что».

Елизавета. И что?

Эсфирь (смотрит на часы). Они пошли подавать. Я не понимаю, почему так долго. Или там тоже очереди? А после заявки они придут сюда.

Елизавета. Как – ко мне? Почему же ты меня не предупредила?

Эсфирь. А что, у тебя не найдется в доме чашки чая?

Звонок в дверь. Входит Сонечка. Она одна. Эсфирь Львовна ее целует.

Сонечка. Здравствуйте!

Эсфирь. Ну, подали? (Сонечка кивает.) В добрый час!

Елизавета. Поздравляю тебя, деточка!

Эсфирь. А где лёва?

Сонечка. Он просил извинить, ему нужно было срочно в институт, какие-то документы оформлять, он оттуда позвонит вам.

Эсфирь. То есть как – он сюда не придет?

Сонечка. Нет, он сказал, что завтра улетает в командировку в Новосибирск и ему документы надо оформить.

Эсфирь. Что за новости! А я ничего не знаю!

Сонечка. А лёва вчера и сам не знал. Ему сегодня сказали. Сазонов сказал.

Эсфирь. А-а... Сазонов! А на когда назначили?

Сонечка. На девятое января.

Эсфирь. Как, через два месяца? Так долго ждать?

Сонечка. Да.

Елизавета. Ну хорошо, садитесь за стол. Сколько можно разговаривать? (Снимает фартук.)

Эсфирь (смотрит на ее блузку). Боже! Кто тебе это пошил? Первый раз вижу, чтобы бейку делали по долевым! По кривой, по кривой ее делают!

Елизавета (смеется). А мне всё равно, хоть по кривой, хоть по кривой! Сонечка, попроси свою свекровь, чтобы она тебя никогда не учила шить. Она тебя замучает!

Сонечка. Да? А меня Эсфирь Львовна уже учит. Мне очень нравится.

Эсфирь. Не все же такие безрукие, как ты, Лиза. У нас в Бобруйске, Сонечка,

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
испокон веку все евреи были портные. Сплошь портные. И твой дедушка Гирш был портной. А наша бабушка Роза училась в Варшаве в женском ремесленном училище. Она была лучшая мастерица в городе. Она всё знала – золотошвейное дело и белошвейное. А дедушка Натан – он был фрачник. Он ничего не умел – только фраки. Но какие фраки!

Елизавета. Расскажи про медаль, Фира.

Эсфирь. Спасибо, а то бы я забыла! Так вот, дедушка Натан шил фраки, и его фрак на Всемирной выставке в Париже получил серебряную медаль. Понимаешь, фрак из Бобруйска получил в Париже серебряную медаль! Когда дедушке сообщили, он очень удивился: почему не золотую? А дальше дело было так: чтобы получить эту медаль, надо было прислать лекала – выкройки, значит, и расчеты! (Смеется.) Это анекдот! Дело в том, что дедушка никогда не имел выкроек. Больше того, он снимал мерку тремя веревочками. Он даже никогда ничего не записывал, делал на веревочке узелки, и этого ему было достаточно. И фраки его сидели так, что люди приезжали из Минска и даже из Вильно.

Сонечка. А медаль?

Эсфирь. Он ее не получил. Потому что не умел делать эти расчеты. А что толку? Я умею. Но фрак пошить никогда в жизни не возьмусь.

Елизавета. Фира, неужели ты не можешь пошить фрак? Ты же все можешь!

Эсфирь. Фрак не могу. Шляпки, скорняжное дело – это пожалуйста. Больше того, я даже могу шить обувь, мне приходилось. Когда имеешь хорошие колодки, это не такое уж сложное дело. Но фрак – нет!

Елизавета. А меня в детстве учили, учили, и из меня совершенно ничего не вышло. Про меня бабушка Роза так и говорила: а эта будет строчить на машинке. Хуже ругательства у нее не было!

Сонечка. То есть как?

Елизавета. Только на руках! Она никаких машинок не признавала. И она чудеса выдывала! Сейчас я покажу! (Лезет в шкаф, достает старую тряпку, разглаживает.) Вот, Сонечка, посмотри, это подкладка от мамино пальто. Бабушка Роза сшила это пальто, когда мама выходила замуж за папу. Мама была ее любимая невестка. Вот, она сшила пальто и вышила подкладку незабудками. У нее был вкус! (Расправляет ткань.) Она была настоящий художник! Всё выцвело. На таком бледно-оливковом фоне – незабудки с лепестками, это просто необыкновенно. Мама мне подарила это пальто в день моего шестнадцатилетия. Оно было совсем как новенькое. И, между прочим, Сонечка, Фира была единственная из всех внучек, кто унаследовал ее талант.

Эсфирь. Да, это так.

Елизавета. И характер – тоже! (Смотрит на Эсфирь заговорщицки.) Если бабушке Розе что-нибудь втемяшится – из-под земли достанет!

Картина третья

Эсфирь Львовна и Сонечка идут домой. Эсфирь Львовна с палкой, Сонечка поддерживает Эсфирь Львовну под локоть.

Эсфирь. У дедушки Натана и бабушки Розы была одна дочь, моя мама, и шестеро сыновей: Арон, Исаак, Саул, Лейб... и как его звали... Рувим... и Яков. Следишь за моей мыслью? (Соня кивает.) Все вымерли, кроме моей мамы и Якова. Моя мама потом тоже умерла. От бабушки Розы дети получали красоту и туберкулез. У нас всегда умирали от туберкулеза. Якову бабушка нашла невесту. Она была вдова. Хоть и богатая, но совсем никудышная. (Шепотом.) Первым браком она была за купцом первой гильдии! Ничего не понимала в хозяйстве, в этом смысле Лиза вся в мать. Все свои деньги профукала. А что не профукала, то отобрали после революции. Но бабушка Роза все же была права, что выбрала Якову эту вдову. А та родила ему двойню. Правда, не сразу, лет через десять. Это были Лиза и Сёма – он потом погиб на фронте. Следишь за моей мыслью?

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Сонечка. Да, я только не поняла, тетя Лиза – по матери Брауде?

Эсфирь. Ты ничего не поняла. Я скажу Лёве, чтобы он тебе нарисовал нашу родословную.

Сонечка. Генеалогическое дерево, как у королей?

Эсфирь. А что ты улыбаешься? Разве ты не знаешь, что мы произошли по прямой линии от Адама?

Сонечка (изумленно). Кто? Брауде? Ехелевичи?

Эсфирь. Да. И Винаверы тоже. Так что мы – самый древний человеческий род.

Сонечка. А как же короли? Ну, цари там?

Эсфирь. Какие цари? Какие короли? У них знаешь сколько всего намешано. А мы – по прямой линии. Избранный народ, доченька! А Лиза, моя двоюродная сестра, благороднейший человек. Красотой она никогда не отличалась, это я тебе скажу. Она, наша Лиза, очень порядочный человек, но немного ненормальная. Она была уже старая девушка, в годах, лет под тридцать, и связалась с одним типом. Так он ее бросил. Она так страдала, так страдала, даже в сумасшедший дом попала. Но дело не в этом. Он тоже попал в историю. Язык у него был – не приведи бог. Он тоже наш дальний родственник, но не из Бобруйска, а из Бродов. Так когда он вышел, она его опять приняла, взяла к себе, прописала. Это уже было в Москве. А он через полгода к ней же в комнату привел другую. Такая наша Лиза дура, блаженная. И так до самой войны они жили в одной комнате. У той родился ребенок, так Лиза его так обожала, что представить нельзя. Пеленки стирала. А этот ее тип, он ту тоже бросил. А этот мальчик, Генечка, такой бандит вышел, что его в тюрьму посадили. Когда Лёва родился, ты думаешь, она на него переключила свое внимание? И не подумала! Для нее на первом плане всегда был этот бандит Генечка.

Сонечка. Он так и сидит?

Эсфирь. Сначала он сидел один раз, потом он сидел второй раз, а теперь, я думаю, он уже сидит третий. Но это еще не конец.

Сонечка. Что не конец?

Эсфирь. Я говорю, это еще не конец. Потому что потом наша Лиза познакомилась с одной Анастасией Николаевной, в эвакуации, и они так подружились, что просто вцепились друг в дружку. И первое, что она сделала, когда вернулась из Ташкента, – поселила эту Анастасию Николаевну у себя. Правда, потом та всё же получила комнату, но, представь себе, Лиза к ней ездит до сих пор и таскает сумки, и варит обед, и все такое. А та сидит и французские романы читает. Видишь ли, она переводчица! Она переводит с греческого и латыни, и, между нами, – это совершенно никому не нужно. Ну, скажи, кому это сегодня нужно – что-то с латыни? Я ей говорю: «Лиза! У твоей Анастасии Николаевны ни капли ни стыда ни совести, нельзя так ехать на человеке». А Лиза что? Она такого благородства человек! И все из-за того, что Анастасия поголовно все языки знает. Ну и что, я спрашиваю, из этого? Папин папа Эфраим знал древнееврейский и пел так, что его за триста верст приезжали слушать. Откуда, ты думаешь, у Лёвы такие способности? И что? И ничего! Пока Лиза варит ей обед, почему бы не выучить японский язык? Каждый бы выучил! И я бы выучила, если бы за меня работали! Теперь ты меня понимаешь, Сонечка?

Сонечка. Да.

Эсфирь. А что, разве твоя мама тебе ничего не рассказывала про нашего дедушку Эфраима?

Сонечка. Нет.

Эсфирь. Мне это странно. Она должна была его помнить. Дедушку Эфраима знал даже генерал-губернатор.

Сонечка. Нет, мама мне про него не рассказывала.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Эсфирь. Очень странно... Каждая собака в городе знала генерал-губернатора... я хочу сказать... нашего дедушку Эфраима.

Картина четвертая
У Елизаветы Яковлевны.

Сонечка. Эсфирь Львовна сказала, что я должна взять у вас тот кусочек подкладки, на котором незабудки.

Елизавета. Да, она у меня спрашивала, но я не поняла, какие незабудки.

Сонечка. Ну, помните, вы показывали кусок вышивки, подкладку от пальто вашей мамы?

Елизавета. Господи, да зачем ей?

Сонечка. Эсфирь Львовна хочет сделать мне такую вышивку на свадебном платье...

Елизавета достает из шкафа кусок подкладки.

Елизавета. Возьми, пожалуйста. Мне казалось, что это давно уже вышло из моды.

Сонечка. Я тоже так думаю. Но Эсфирь Львовна говорит, что хорошая работа из моды не выходит.

Елизавета. А сама-то что думаешь, Сонечка?

Сонечка. Ничего. Все, что мне сшила Эсфирь Львовна, очень красиво, это правда.

Елизавета. А что слышно от Лёвы?

Сонечка. Неделю назад звонил из Академгородка. Сказал, что у него все в порядке. Задерживается еще недели на две. Наверное, прямо к свадьбе прилетит.

Елизавета. Ну и как ты без него поживаешь?

Сонечка. Ой, хорошо, тетя Лиза. Просто даже слишком. Как в санатории. Рядом с домом детский садик, там написано: требуется. Я хотела туда воспитательницей устроиться, хоть временно, а Эсфирь Львовна говорит – не надо. Она считает, когда Лёва приедет, тогда решим. Я бы пошла. А вы как считаете?

Елизавета. И правда, не торопись. Распишетесь, там видно будет.

Сонечка. Эсфирь Львовна говорит, что надо своих детей воспитывать, а не чужих. А мне кажется, что я своих не смогу любить больше. У меня в группе были Варя Венкова и Миша Солодовников – такие детишки, просто чудо. Моя мама всегда говорила: «Ты, Сонька, семерых родишь». А я бы родила. Мне нравится, когда семья большая.

Елизавета. Еще бы! Было время, у нас за стол садилось одиннадцать человек, только своя семья, и всегда кто-нибудь приходил к обеду. Бабушка Роза была хлебосольная. Все, все погибли в один день. И первенец Фирочкин. Ай, ладно, что об этом... Фира мне говорила, что учит тебя шить?

Сонечка. Да.

Елизавета. Если бы ты научилась, это было бы очень хорошо. Конечно, как Фира, ты не научишься. Она ведь шьет даже для эстрады: все вышито, все блестит и сверкает.

Сонечка. Она мне показывала. Она даже Алле Пугачевой один раз шила, представляете? Моя мама тоже шила, но это никакого сравнения. Хотя моя мама все умела, даже пальто. Я после ее смерти все ее вещи в два чемодана сложила и убрала подальше. А то как наткнусь в шкафу на ее платье, ну просто не могу...

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Елизавета. Бедная девочка, бедная девочка...

Сонечка. Так странно... Когда мама умерла, я вдруг ясно вспомнила все, что было до нее.

Елизавета. Как – до нее?

Сонечка. Мама взяла меня из Дома ребенка, еще пяти лет не было. Я очень плохо помнила все, что было раньше. Можно сказать, что я все забыла. А после маминой смерти все вспомнила ясно.

Елизавета. Так Сима Винавер тебя удочерила?

Сонечка. Да. Она была у нас музработником. Приходила два раза в неделю. Это почти единственное, что я помню, – как мама сидит за пианино, а мы поем и прыгаем под музыку. И еще она всегда приносила такие маленькие печенюшки. Мне мама потом рассказывала, я этого не помню, что я подстерегла ее в коридоре и шепотом сказала: «Ты моя мама. Забери меня домой». И она забрала.

Елизавета. Боже мой! Скажи, Сонечка, а Фира об этом знает?

Сонечка. О чем?

Елизавета. Ну, что Сима тебя удочерила.

Сонечка. Нет, кажется, я ей не сказала.

Елизавета. А почему?

Сонечка. Да просто разговор об этом не заходил.

Елизавета. Я думаю, что для Фирмы это очень важно.

Сонечка. Да почему, тетя Лиза?

Елизавета. Ты понимаешь, Сонечка, там, в Бобруйске, было до войны много еврейских семей. И все они погибли в один день, их расстреляли за городом, сразу всех. Вся наша родня погибла, и первенец Фирмы, Илюшечка, с ними погиб. И Фира мечтала, чтобы Лёва женился на еврейской девушке из Бобруйска, чтобы наша порода не пропала на земле...

Сонечка. А я еврейка, тетя Лиза. У меня в паспорте записано: Софья Алексеевна Винавер, еврейка. Я когда паспорт брала, я сказала, чтобы написали, как у мамы. Мне когда шестнадцать лет исполнилось, мне мама сама все про детдом рассказала. И что если я хочу, мы можем поднять все бумаги и я могу взять ту фамилию. Ну, женщины, которая от меня отказалась. Но я, конечно, решила – пусть будет все как у мамы. А как иначе-то?

Елизавета. Боже мой!

Сонечка. А с отчеством, тетя Лиза, история такая. Вообще-то об этом не говорят. Та женщина от меня отказалась, а отца у меня не было. В таких случаях часто пишут свое отчество. Мама была Сима Григорьевна. В молодости она любила одного человека, его Алексей звали. Пожениться они не поженились, но мама всегда говорила, что, если бы они поженились, у них непременно бы родилась я. А он женился на маминой подруге. И был несчастлив. Он потом хотел к маме уйти, но мама не захотела, потому что у Алексея уже были дети. Таких, как мама, на свете больше нет людей. Мне иногда кажется, что это она вас всех ко мне прислала...

Елизавета (вытирает глаза). Сонечка! Пожалуйста, обещай мне, что не расскажешь об этом Фире. Никому не говори.

Сонечка. И Лёве не говорить?

Елизавета. Нет, Лёве-то можно, вот Фире – не говори.

Сонечка. Вы думаете, она сильно расстроится?

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Елизавета. Я думаю, ей лучше этого не знать.

Сонечка. Хорошо, что вы меня предупредили. Она такая добрая, просто невероятно. Даже похвалить при ней ничего нельзя. Что понравится, она тут же с себя снимает. Вот, колечко подарила... Красивое... Тетя Лиза, а как вы думаете, это очень плохо, что Лёва ученый, кандидат наук, а я десятилетку еле-еле окончила? Он такой умный, а я ничего не знаю.

Елизавета. А, Сонечка, это ничего не значит. Во-первых, женщина всегда умнее мужчины, уж это ты поверь. Во-вторых, ты же еще молодая, ты еще сможешь учиться и образование получить, какое захочешь.

Сонечка. Я хотела бы на вечерний, на педагогический...

Елизавета. Решите с Лёвой, как лучше. Зачем тебе на вечерний? Лучше на дневном поучись.

Сонечка. Нет, тетя Лиза. Мне на дневной не поступить. В этом году я не успею подготовиться. В будущем бы...

Елизавета. Там видно будет. Скажи, а фира уже пошила тебе платье, которое собирается вышивать?

Сонечка. Нет, только материал купила. Крепдешин. Белый и такой сиреневый. Оно будет из двух цветов и с незабудками.

Елизавета. Ой, так ты не забудь эти незабудки, вот же они!

Картина пятая
Эсфирь Львовна в своей квартире, у телефона.

Эсфирь (громким шепотом). Приехал вчера, поздно вечером. Сонечка, конечно, очень нервничала, даже плакала, между нами говоря. Накануне она мне сказала: «Эсфирь Львовна, он не придет!» Конечно, она обиделась: он уехал на следующий день после того, как подали заявление, и приехал через два месяца, и ни разу не написал, только несколько раз звонил по телефону. Слушай дальше, Лиза! Он преподнес ей букет, просто царский, необыкновенный букет. Гвоздики, пятьдесят штук, шикарные, я сама купила на Центральном рынке. Соня его встречает, я пошила ей твидовый костюм, на плечиках. Только что я такой Люсе Гурченко сшила, со скошенными плечиками. Туфли «Саламандра» я купила у одной нашей артистки, серые. В общем, можешь мне поверить, Лиза, как она выглядела...

Все, все заказано. В половине седьмого в «Будапеште»...

Нечего тебе ехать в загс. Будь прямо там. Я скажу тебе честно, я заказала на пятьдесят человек. Двадцать родственников...

Как я набрала двадцать родственников? Откуда? Ты, я, Лёва, Сонечка, Анастасия Николаевна.

...Мне всё равно. Это ты хочешь.

...Конечно, ее, как министра, надо приглашать за две недели.

...Потом Виктор Исаевич с женой, Юлий Маркович с женой и детьми. Как это – с какими детьми? У него от первого брака сын, и он женатый уже, и у нее от первого брака сын, и тоже женатый. Так вот они и придут с ними.

...Ну и что, пусть я их не знаю. Они меня прекрасно знают. Ты думаешь, им про меня не рассказывали?

...Еще с работы, из театра, две мои приятельницы с мужьями и Марья Семеновна...

...Как это не родственники? Марья Семеновна все равно что родственник! Как, ты не помнишь Марью Семеновну, нашу соседку по Делегатской? Угловая комната, ну, конечно, тетя Маша и ее дочка Римка. И Ушаковы! Правильно, в первой комнате жили, он жуткий пьяница, его вся Божедомка знала... а она очень порядочная

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
женщина, так с ним мучилась.

...Слушай, ты удивишься, но Тамарку я тоже пригласила. Ну, Тамарку-Хамку, она жила сначала в подвале, а потом, уже в сорок седьмом, она переехала к нам, возле кухни.

...Пусть придет, Лиза. Ее же не каждый день в ресторан приглашают, пусть хорошо покушает и получит удовольствие.

...Лиза, что ты говоришь? А кого? Кого мне еще приглашать? Не много, ничего не много! И их друзья – Левины и Сонечкины. Две подружки приедут из Бобруйска. Кстати, можно, они у тебя переночуют? Ой, нет, они пусть ночуют у Виктора Исаевича, а я пойду ночевать к тебе. Ты же понимаешь, пусть молодые останутся вдвоем. Спасибо, Лиза! Да, дорого. А на что мне эти рубли, Лиза? Она ведь такая неизбалованная. Сима таки ее хорошо воспитала. И как жаль, что она не дожила до сегодняшнего дня!

...Да, я еще забыла тебе сказать – я решила, что это белое платье с незабудками для загса не годится. Для загса нужен костюм. Платье – это на вечер для ресторана. А для загса я пошила костюм, тоже белый, но в другом роде. Ночь сидела, только что закончила. Я сделала такую «фирму», что сам Кристиан Диор не отличит. А если отличит, то лопнет от зависти! По моде? Нет, не по моде, это по позабудущей моде!

Отворяется дверь ванной, выходит Сонечка в халате.

Сонечка. Доброе утро, Эсфирь Львовна.

Эсфирь. Доброе утро, доченька. (В трубку.) Ну вот, Сонечка уже вышла, сейчас пойдем примерять. Так ты не опаздывай, Лиза! (Вешает трубку.) Ну, Сонечка, надевай!

Сонечка надевает костюм.

Эсфирь. Ну, видишь, как сидит! (Кричит.) Лёва! Лёва! Иди, посмотри, какой костюм!

Сонечка. Как красиво! Обалдеть! (Целует Эсфирь Львовну.) У меня за всю жизнь не было столько красивых вещей!

Эсфирь. А, это все мелочи! Не это в жизни главное! Когда столько теряешь, сколько теряли мы, понимаешь цену вещам. Цена этому всему – тьфу! (Задумывается.) Но хорошую шубу я бы тебе все же купила... Лёва!

Сонечка. А он спит еще. Он еще не выходил...

Эсфирь. Ну, пусть выспится.

Сонечка. Он говорил, что перелет был очень тяжелый, их посадили в Томске, два часа лишних там продержали...

Звонок в дверь.

Эсфирь Львовна открывает, входит солдат с букетом – Витя.

Витя. Здравствуйте, а Соня здесь живет? (Видит Соню.)

Эсфирь. Сонечка, к тебе!

Сонечка. Ой, я тебя сразу не узнала! Витька! Откуда ты взялся? (Эсфири Львовне.) Мой одноклассник. Познакомься, моя свекровь, Эсфирь Львовна. Откуда ты взялся с цветами?

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Витя. Поздравить тебя приехал. Мне Ленка написала.

Сонечка. О, а я и не знала, что ты с ней переписываешься.

Витя. Да. Она мне и написала, что ты замуж выходишь и что ты ее на свадьбу пригласила. И адрес мне твой послала. А я служу в Кубинке, под Москвой, час езды, а ты на Бутырском Валу, рядом с вокзалом.

Сонечка. Ну надо же! Ну и Витька! Я так рада, честное слово!

Эсфирь. Соня, что вы всё разговариваете? Пойди покорми человека. Только сними костюм.

Сонечка. Ох, да! Что же это я!

Витя. Да ты не суетись, я всего на десять минут. И есть я не хочу.

Сонечка. А как же свадьба?

Витя. Нет, у меня увольнительная до девятнадцати.

Эсфирь. Но надо покушать. Как это так! У нас домашняя еда, не казенная. Сейчас я почищу селедочку. Я вчера купила замечательную селедочку. Сонечка, вынь там курицу!

Витя. Нет, нет, спасибо. У меня увольнительная, правда, времени нет.

Эсфирь. Так вы тоже из Бобруйска?

Сонечка. Мы в одном классе учились, с первого класса.

Витя. Да.

Эсфирь. Значит, земляк. Жаль, что вы не можете прийти на свадьбу.

Сонечка. Ленка приехала, и Наташка Горячкина будет.

Витя. Во, обрадовала! Наташка Горячкина. Больно нужно! Слушай, а она поступила учиться-то?

Сонечка. В пединститут.

Витя. А ты что ж, не поступила?

Сонечка. Было не до того...

Витя. Да, мне ребята говорили...

Сонечка. Ну вот, а когда мама умерла, я пошла в детский садик воспитательницей.

Витя. И как, ничего?

Сонечка. Мне нравится, очень даже нравится.

Эсфирь. Почему же вы не кушаете? Вы только разговариваете, давно бы успели покушать.

Витя. Нет, мне пора. Я ведь только на минутку. Поздравить. Вот. Поздравляю и желаю счастья.

Сонечка. Ты приезжай к нам, Вить. Приезжай обязательно.

Витя. Я приеду. Спасибо.

Эсфирь. Обязательно приезжайте.

Витя. Я пошел, до свиданья. (Уходит.)

дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Сонечка. Спасибо, Витя.

Эсфирь. Ну вот, ушел, а мы его даже не покормили.

Сонечка. Да он же не хотел!

Звонит телефон.

Эсфирь (берет трубку). Владимир Иванович! Здравствуйте! Да, спит еще. Разбудить? Да. Так что мы ждем вас, в половине седьмого. Петровские линии, ресторан «Будапешт». Спасибо. А что вы думаете? Дождалась наконец! Спасибо! (Вешает трубку.) Сам Сазонов звонил!

Сони нет.

Эсфирь. Сонечка! Ты слышишь? Сам Сазонов звонил! Почти академик! Он очень нашего Лёву уважает!

Картина шестая

Утро в квартире Эсфири Львовны. Эсфирь Львовна и Сонечка сидят на кухне.

Сонечка. Я давно знала, будет что-нибудь вот такое. Ужасное.

Эсфирь. Ничего ужасного не случилось! Подумаешь! Он весь в своего отца. Такой характер. Покойный Вениамин тоже взбрыкивал. И этот взбрыкивает. Я тебя уверяю, все будет хорошо. Главное, ты успокойся.

Сонечка. Эсфирь Львовна, я уезжаю в Бобруйск.

Эсфирь. С чего это ты поедешь в Бобруйск? Чего ты там забыла? Тебе нечего там делать.

Сонечка. Поеду в садик. Там мои детки. Они меня очень любят.

Эсфирь. Еще бы они тебя не любили!

Сонечка (с ужасом). А что я девочкам скажу? Ленке с Наташкой?

Эсфирь. Во-первых, никому ничего говорить не надо. Что говорить? Он напился пьяный и завтра будет дома. Что, я его не знаю? Он всегда – пофордыбачит, пофордыбачит, а потом делает как надо.

Сонечка. Посмотрите. Вот письмо, ясно сказано. (Читает.) «Дорогая Соня! Извини, что так глупо все получилось. Я не смог тебе вовремя объяснить, и все так далеко зашло. Я глубоко перед тобой виноват, но мне трудно объяснить ту сложную ситуацию, в которую я попал. Ты очень хорошая, замечательная и красивая девушка. Надеюсь, что со временем я смогу перед тобой оправдаться и ты не будешь считать меня последним подлецом. Лёва». Вот, видите!

Эсфирь. Дай-ка сюда! (Рвет письмо.) Вот! Вот! Вот! Наплевать на это дурацкое письмо! У моего мужа был брат Шурка. Лёвин дядя. Так вот, это типично его поступок. У него всегда то одно, то другое, и никогда его не поймешь!

Сонечка. И как это мне в голову пришло, что он действительно на мне женится! С какой стати! И правильно! (Сквозь слезы.) Тетя Фира, но какой позор! Вся эта свадьба, наряды, фотографии! Ой!

Эсфирь. Сонечка, что ты говоришь! Ты слушай меня! Все устроится! Тоже мне, безвыходное положение! Да он сам к тебе на коленях приползет! И будет просить прощения за все эти фокусы. Я его знаю! Он всегда так – сначала покажет характер, а потом делает как надо... расскажи мне, как все было вчера вечером. Он тебе ничего такого не говорил?

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Сонечка. Вчера мы вернулись из ресторана, с нами пришли еще двое, из лаборатории, Миша и Толя. Сначала мы все долго сидели у Лёвы в комнате, они пили коньяк, а потом Лёва говорит: «Иди спать, Соня, а я еще с ребятами посижу». А сам смурной такой. Я думаю, пьяный все же. Я и пошла. А утром я просыпаюсь, никого нет. Потом вижу – записка на столе. Написано: «Соне».

Эсфирь (бодро). Значит так, Сонечка! Во-первых, не обращать внимания! Поверь, на них вообще не стоит особенно обращать внимание. Это я тебя потом научу. И вообще – все будет в порядке! Поверь мне, я буду не я, если он через неделю не вернется домой. В крайнем случае – через две. Поняла?

Сонечка. Эх, Эсфирь Львовна, разве в этом дело? Он просто раздумал на мне жениться! Тогда бы и не надо! Как будто я его заставляла...

Эсфирь. Глупости! Просто такой характер! Главное, ты никому об этом не говори. Никаким знакомым.

Сонечка. Да нет у меня никаких знакомых.

Эсфирь. И очень хорошо. Это никого не касается. Это наши семейные дела! Потом вы еще будете внукам рассказывать, как дедушка со свадьбы удирал!

Картина седьмая
У Елизаветы Яковлевны.

Эсфирь. Что он делает, сумасшедший, что он делает? Я нашла ему такую девочку! Золото, а не девочка! Чистый брильянт! Чем она ему нехороша? Да он ногтя ее не стоит! А показать тебе, какое он мне письмо оставил?

Елизавета. Как, и тебе тоже?

Эсфирь. А как ты думаешь? Он же понимает, что мама с ума сойдет, если он вот так уедет без единого слова. Утром рано я приехала от тебя, вижу на кухне на столе эти два письма. Сначала я их спрятала, потом понимаю, что нужно ей отдать. Положила на стол. Побежала звонить из автомата этому чертовому Толе, это его, его интриги, я же этого гада давно знаю. Никто не подходит. Ты думаешь, это он против нее так поступил? Нет, он влюблен в нее без памяти, в этом я уверена! Как это можно в такую девочку мужчине не влюбиться? Я сорок лет проработала в театре, и я очень понимаю в этом вопросе. Уж в чем в чем! Это он все придумал против меня! Вот послушай, что он мне пишет: «Дорогая мама! Видимо, я совершил большую ошибку, что не ушел из дому вовремя. Я не могу терпеть постоянное насилие с твоей стороны». Ты слышишь? Сукин сын, это он от меня терпит, а? Вот, дальше. «Я очень тебя люблю и ценю, но жить с тобой вместе под одной крышей я больше не могу». Крыша моя ему не нравится! Интересно, а чистые рубашки, а обед на столе, а белье, которое я в жизни не относил в прачечную, – это ему нравилось! Ты подумай, Лиза! Он думает, я побегу его догонять! Он не дает мне своего адреса, а то я его не найду в одну минуту! Он думает со мной шуточки шутить! Всю жизнь я на него положила! Ты же помнишь, Лиза, как было трудно. Ни на один день я не отдавала его в садик. Я была заведующей костюмерной мастерской – и я ушла на сделчину, и сидела с ним, и шила по ночам! И каждое лето я увозила его в этот проклятый Судак и торчала там по три месяца, он не знал слова «нет»! А когда умер Вениамин, ему было всего четыре года, и с тех пор я не смотрела ни на одного мужчину. И ты не думай, Лиза, за мной очень даже ухаживали. Владимир Антонович, заведующий постановочной частью, и еще один, тоже очень интересный. Всю жизнь я сыну отдала – и вот благодарность! Ты слышишь, Лиза?

Елизавета. Фирочка, успокойся. Мне кажется, ты сейчас не права.

Эсфирь. В каком смысле? Как это?

Елизавета. Ты не должна была настаивать, чтобы он на Сонечке женился.

Эсфирь. Я что, заставляла? Я же ни одного слова не сказала! Он сам сделал ей предложение и повел в загс!

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Елизавета. Ну, это не совсем так.

Эсфирь. Ты хочешь сказать, что я его за руку вела? Ты на него посмотри, Лиза! Это же патологический тип! С чего он начал? В шестнадцать лет он спутался с Лидкой, и десять лет я не могла его отодрать. Ты бы ее видела! Старуха! Ей было двадцать пять лет, и она дважды была замужем. А уродка! Бабушка Роза ее бы в кухарки не взяла! Глаза как блюдца, и вот такая голова, и ростом как пожарная лестница, и называется художница. Лёвушка ей понадобился! Бессовестная! Теперь берем дальше – только с ней распутался, я думаю – слава богу! Нет, не слава богу! Он же патологический тип! Опять нашел себе старуху! Да если бы не я, он бы на них всех женился, это я тебе точно говорю! И теперь, когда я нашла ему такую невесту, – он убежал! Не знаю, может быть, он хочет царскую дочь, как Иосиф Прекрасный. Но пусть тогда имеет в виду: другой невестки, кроме Сони, у меня не будет!

Елизавета. А если он не вернется?

Эсфирь. Как это не вернется? Такого еще не было. Никогда.

Елизавета. Фира, ты не горячись. Может быть, надо было как-нибудь поддипломатичнее?

Эсфирь. Ты что, принимаешь меня совсем за дуру? Я похожа на дуру? Ты помнишь, как дедушка Натан взял палку и побил Сёму, когда Сёма хотел жениться на Марусе Пузаковой? Первый раз в жизни дедушка кричал – если ты женишься на русской, в мой дом ты больше не войдешь!

Елизавета. Но ведь он женился на Марусе!

Эсфирь. И что? И через месяц началась война!

Елизавета. Ты хочешь сказать, что, если бы Сёма не женился на Марусе, война бы не началась?

Эсфирь. Нет, я другое хочу сказать. Сёма погиб, и все наши – и бабушка Роза, и дедушка Натан, и первенец мой Илья – погибли еще раньше, и все – в один день. Кагановские погибли, и Тонечка Шапиро с детками, и Винаверы, кроме Симы, и Ехелевичи. И я хочу, чтобы мой сын родил детей с Соней Винавер, а не бог знает с кем! И чтобы за стол садилась большая семья. Я хочу, чтобы его дочери были похожи на бабушку Розу и на Симу Винавер, а сыновья – на моего покойного мужа Вениамина и на брата Сёму! Я хочу, чтобы кровь моя не умерла на земле! И если он дурак, который в мозгах своих ничего, кроме физики, не имеет, если он не выполнит моей воли, он мне не сын!

Конец первого действия

Действие второе

Картина восьмая

В квартире у Эсфири Львовны. Эсфирь Львовна и Сонечка шьют.

Эсфирь. В нашем деле, доченька, главное – душевный покой. Конечно, можно пошить юбку, блузку, даже пальто так, без особого настроения, но эта белешвейная работа – только с настроением! Если нет душевного покоя, лучше занимайся чем-нибудь другим. (Берет из рук Сони что-то маленькое, беленькое.) Больше того тебе скажу, бывает, сядешь за работу нервная, злая, без настроения, немного посидишь – и все само собой делается хорошо. Это надо все распороть, доченька. Перетянула.

Сонечка. Да я уже два раза порола. По-моему, ничего.

Эсфирь. Тогда возьми в работу что-нибудь другое, а это оставь, я сама сделаю.

Сонечка. Нет, я сама.

Эсфирь. Я, например, никогда не делала батистовых распашонок. Батист – это для двухлетней девочки можно пошить платье. Но для грудных детей – никогда. Понимаешь, батист плохо впитывает. Только если взять старый, ношенный, тогда он

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru подходящий. (Смотрит на Соню внимательно.) Вообще, должна тебе сказать – ты будешь шить, будешь. Есть такие люди, которых вообще научить нельзя. У нас в цеху было двенадцать человек. Так шили трое – Елена Рубеновна, из бывших благородных, я тебе про нее рассказывала, Нина Тягунова и я. Остальные шить не умели. То есть в конце концов с горем пополам они пришивали рукавчик к лифу, но это была не работа, а ерунда.

Сонечка. Я вчера видела объявление на детском садике – требуется...

Эсфирь. Ну и что?

Сонечка. Может, все-таки зайти?

Эсфирь. Не знаю, не знаю, как хочешь... Зачем тебе это? Чего тебе не хватает, скажи мне?

Сонечка. Да мне как-то неловко не работать. И скучно даже.

Эсфирь. Что значит скучно? Все есть – смотри телевизор, играй на пианино, книги читай, кинотеатр рядом... На прошлой неделе ходили в Большой. Забыла сказать, завтра опять пойдем, в Театр сатиры, как ты хотела. Можно хорошую эстраду посмотреть. Даже можно в Консерваторию.

Сонечка. А может, Елизавету Яковлевну пригласим?

Эсфирь. Никуда она не пойдет. Она и раньше редко ходила, а после смерти Анастасии Николаевны даже ноги не высовывает на улицу. Ты подумай, десять лет я ей твердила – иди на пенсию. Она одна, пенсию давно выработала, приличную. Нет, и всё! Ты Лизу не знаешь, это она к чужим мягкая. А когда я ей говорю что-нибудь важное, она делается как стена. Я ей десять лет твердила и слышала только одно – нет! Представь, умерла Анастасия Николаевна – Лиза сразу ушла на пенсию. Сколько месяцев, как она умерла?

Сонечка. Вскоре после свадьбы, я помню.

Эсфирь. Ну вот! Умерла Анастасия... Между прочим, я бы никогда не подумала на нее, что она на такое способна! Подарила тебе бриллиантовое кольцо! Хотя, с другой стороны, а кому ей было оставлять? Так вот, Лиза ее похоронила и тут же вышла на пенсию. И сидит теперь как проклятая над ее бумажками и разбирает эти каракули. И я не понимаю, что она может в них найти. И никакими силами ее нельзя от них отдрать! Хорошо! Ты позвони и пригласи ее в театр. Ты увидишь, она ни за что не пойдет. А раньше она мне говорила, что она без работы скучает!

Сонечка. Да и я про то же говорю – я тоже без работы скучаю. Я бы пошла.

Эсфирь. Ну хорошо, хорошо... Вот приедет Лёва, обсудите этот вопрос.

Сонечка. Когда он приедет... Сколько времени прошло, а он все не едет.

Эсфирь. Времени прошло! Три месяца – это не время! Знаешь, когда мой муж Вениамин был на фронте, от него девять месяцев не было писем. Девять! И ничего! Отвоевал и пришел целый-невредимый, только два ранения имел, и еще Лёву родили! А ты говоришь – время! Это еще не время! Можешь не сомневаться – в свое время придет!

Картина девятая

У Елизаветы Яковлевны. Она сидит за письменным столом. Входит Эсфирь Львовна.

Эсфирь. Ну, и что я тебе так срочно понадобилась?

Елизавета. А, фирочка, я тебя жду, жду, уже начала беспокоиться.

Эсфирь. Чего тебе беспокоиться. Я искала лимоны Сонечке. У нее ангина. Так что у тебя за срочность?

Елизавета. Никакой особенной срочности. Просто я хотела с тобой поговорить. Узнать, что ты решила... Как дальше...

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Эсфирь. А что я должна решать? У Сонечки ангина... Живем – и всё!

Елизавета. Но согласись, Фира, положение странное: три месяца как они поженились, Сонечка здесь, он в Новосибирске и не собирается возвращаться.

Эсфирь. А почему ты думаешь, что он не собирается? Я уверена, что он на майские приедет. Я звонила Сафонову, он сказал мне, что Лёва скоро вернется.

Елизавета. Сказал, что вернется?

Эсфирь. Ну, в этом роде.

Елизавета. А если не вернется?

Эсфирь. Ты думаешь, ты самая умная? Я ночь не сплю и только об этом думаю. Конечно, я всё решила. Если он не приедет на майские, я полечу в Новосибирск и привезу его сама. Он очень храбрый, когда меня нет. А когда я приеду и скажу: «Всё! Генук! Собирай вещи и едем домой! Тебя ждет жена!» – тут он уже будет не такой храбрый.

Елизавета. А если он не поедет?

Эсфирь. Поедет как миленький!

Елизавета. Он взрослый человек, Фира, и хочет решать свои проблемы сам, без мамы.

Эсфирь. Без мамы? Очень он много стоит без мамы! Что бы он был без мамы? Я дала ему образование! Он окончил у меня музыкальную школу! Я столько потратила на его учителей! Помнишь, когда он готовился в институт? Он, конечно, способный мальчик, но какие учителя с ним занимались! Профессора! Сплошь одни профессора! И один старый профессор, забыла, как его зовут, жал мне руку и говорил, какая у него светлая голова! Но что бы он был без меня – это еще вопрос!

Елизавета. Ну, хорошо, хорошо! Ты помогла своему сыну встать на ноги. Но ведь это делают все. Даже кошки! А когда ребенок становится взрослым, он уже все решает сам. Представь на минутку, что Лёва хочет жениться на другой женщине.

Эсфирь (смеется). Что ты несешь? Лёва женат на Сонечке! Что может быть ему лучше? На какой еще другой женщине? (Пауза.) Лиза! Что ты знаешь? Немедленно выкладывай! Ну! Он опять с кем-то спутался? Говори же!

Елизавета. Я ничего не знаю, я только предполагаю.

Эсфирь. Не морочь голову! Говори!

Елизавета. Да что мне говорить... (Наливает капли в рюмочку, пододвигает сестре.) Вот, выпей, пожалуйста!

Эсфирь (отодвигает капли). Говори!

Елизавета Яковлевна выпивает капли сама.

Эсфирь. Говори! Ну! Я же вижу, что ты что-то знаешь!

Елизавета. Я получила от Лёвы письмо.

Эсфирь. Давай его сюда!

Елизавета. Нет, лучше я тебе расскажу.

Эсфирь. Давай письмо! Где письмо, Лиза!

Елизавета (бросает письмо на стол). На, читай!

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Эсфирь (берет письмо, роется в сумочке, ищет очки, не находит; далеко отнеся от себя руку с письмом, пытается читать. Не видит). Ладно, читай ты! Только ни слова не пропусти – я все равно проверю! Ну!

Елизавета (читает). «Дорогая тетя Лиза! Мне очень неловко, что я обращаюсь к тебе за помощью, но я перебрал все варианты и решил, что это все-таки лучший. Я, конечно, целиком и полностью виноват в этой дурацкой истории с женитьбой, и в результате больше всех пострадала Соня, которая здесь вообще ни при чем. Дело в том, что я женился. Жена у меня самая умная, самая талантливая и самая образованная из всех известных мне женщин. И красивая, между прочим. Она заведует лабораторией, где я сейчас работаю. У нее десятилетний сын от первого брака...»

Эсфирь. Какой лабораторией? Какой сын? Что ты несешь?

Елизавета. «...Мы с ним очень подружились, чудесный парень. Скоро у нас будет второй ребенок. В связи с этим мне надо срочно оформить развод с Соней, мне бы хотелось зарегистрировать брак до рождения ребенка, чтобы потом его не усыновлять. Галя, моя жена, ничего не знает об этой нелепой истории, и я бы не хотел, чтобы она знала. Кроме всего прочего, в институте сейчас сдают жилой дом, и если бы наши документы были в порядке, нам бы дали четырехкомнатную квартиру. Пока мы живем в Галиной двухкомнатной, вместе с ее мамой. Она женщина на редкость славная, необыкновенно деликатная, хотя совсем простая, деревенская. Нам тесновато, но ничего. Просьба моя сводится вот к чему: подготовь маму к новому повороту событий, а то я боюсь, как бы с ней чего не случилось от таких неожиданных известий. Соне я напишу отдельное письмо. Я слышал, что есть такая форма, когда брак признают недействительным, а в данном случае так оно и есть. Тогда и суд не нужен. Если она согласится прислать мне такое заявление, вся проблема будет исчерпана. Если нет, мне придется для этого приехать самому. Напиши мне, пожалуйста, где мне искать Соню – у мамы или в Бобруйске. Если она в Бобруйске, пришли мне, пожалуйста, ее адрес. Спасибо тебе заранее за все, что тебе предстоит из-за меня перетерпеть. Твой Лёва». (Долгая пауза.) Вот.

Эсфирь. Какой негодяй! И это мой сын! А она его ждет! Сонечка ему нехороша! Да он ее ногтя не стоит! Он думает, что я приму эту его так называемую жену? Пусть не рассчитывает! Как ты думаешь, сколько ей лет? Если у нее уже взрослый сын и она заведует лабораторией? Опять его какая-то старуха обработала! Что ты молчишь?

Елизавета. Надо выслать ему бумагу, которую он просит.

Эсфирь. Что? Бумагу ему выслать? Да я сама поеду в Новосибирск и устрою ей такое, что она меня на всю жизнь запомнит! Отхватила себе такого мальчика! Я не для нее его растила. Ты знаешь, чего он мне стоил! Сколько он болел! Туберкулез – это не шутка! А дизентерия? Это шуточки, я тебя спрашиваю? А носоглотка? Какая у него была носоглотка!

Елизавета. Фира, при чем тут носоглотка? У него же будет ребенок.

Эсфирь. Что ребенок? Что ты вообще в этом понимаешь? Ты – сухая ветка! Что ты мне тычешь этого ребенка? Это вообще не его ребенок! Когда это она успела? Значит, так: я еду в Новосибирск!

Елизавета. Фира! Надо все сказать Сонечке!

Эсфирь. Да, Сонечка! Это правильно! Я поеду в Новосибирск с Сонечкой! И той я скажу: «Посмотри, вот Лёвина жена! Это что, красиво – отбирать мужа у чужой жены?» Бессовестная! Я ни перед чем не остановлюсь! Я пойду в этот – в профком, в райком, к черту, к дьяволу! Потому что мне важнее всего справедливость.

Елизавета (встает из-за стола). Фира! Я молчала всю жизнь. А теперь ты помолчи и послушай, что я тебе скажу: ты – самая большая эгоистка на свете!

Эсфирь. Я – эгоистка?! Да я всю жизнь...

Елизавета. Помолчи! Ты – самая большая эгоистка, какую я в жизни видела. Ты хочешь, чтобы все было по-твоему, ты ни с кем не считаешься. Ты всех вокруг делаешь несчастными: и покойного Вениамина, и Лёву, и теперь вот ты Сонечкину

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
жизнь всю переворошила.

Эсфирь. Сумасшедшая! Ты всегда была сумасшедшая! Не зря тебя тогда в сумасшедший дом посадили!

Елизавета. Помолчи, Фира. Ты считаешь себя самой умной и всем влезаешь в печенки – и Лёве, и Соне, и мне!

Эсфирь. Я влезаю в печенки? Да что вы без меня можете? Ты думаешь, Лёва сможет без меня жить?

Елизавета. Прекрасно сможет. И Лёва сможет, и Сонечка, и даже я кое-как смогу.

Эсфирь. Так что же, я никому не нужна?

Елизавета. Я другое тебе говорю. Я говорю, что ты старая безумная эгоистка.

Эсфирь (влезает на подоконник). Прекрасно! Прекрасно! Вы будете рыдать и плакать и вспоминать меня каждый день! А я посмотрю, как вы будете без меня! И пусть никто не смеет приходить ко мне на могилу! И ты не смей! (Бросается в окно.)

Елизавета. Фира!

Колышется занавеска.

Картина десятая

В квартире Эсфири Львовны. Звонок в дверь. В прихожую выходит Сонечка в носках, в халатике поверх ночной рубашки, с обвязанным горлом. Открывает дверь.

Входит Витя.

Витя. Сонька, привет.

Сонечка. Ой, я думала, мама! Извини, я в таком виде! (Запахивает халатик.)
Заходи, Витя! Как я рада!

Витя. Ты что, болеешь?

Сонечка. Ангина. Ты раздевайся, раздевайся, Витя!

Витя. Может, я пойду? Ты болеешь...

Сонечка. Нет, что ты! Я так рада! Сколько раз вспоминала, как ты тогда пришел с цветами на свадьбу-то...

Витя. Ага. Я тогда, представляешь, письмо от Ленки прямо накануне получил – думаю, дай съезжу, раз с адресом-то... Близко...

Сонечка. А что же ты потом не приезжал?

Витя. Служба, такое дело, сама понимаешь. (Значительно.) Командировали...

Сонечка (в восхищении). Да-да-да... Понимаю...

Витя. Да ты ляг. Ты ж больная.

Сонечка. Я лягу. А то мама придет, ругаться будет, что я встала. Она за лимонами поехала. А лимонов во всей Москве нет. Она говорит: пока не найду, не приду. Такой человек – что ей надо, из-под земли достанет.

Витя. Да я и сам такой. Если чего захотел – добиваюсь.

Сонечка. Вить, а ты ведь изменился... Ты что, вырос, что ли?

Витя. А я расту. До сих пор расту. Представляешь, скоро девятнадцать, а я всё расту! На четыре сантиметра вырос. Метр восемьдесят шесть.

дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Сонечка. Ну надо же! (Ложится в постель.) Мне бы немного подрасти!

Витя. А тебе зачем? Ты в аккурат! Я дылд не люблю.

Сонечка. Вить, а Ленка тебе пишет?

Витя. Раз написала, я сразу не ответил, она обиделась, такое письмо накатала, да ну ее...

Сонечка. А я от нее письмо получила, пишет, что Тонька Гордиенко замуж вышла.

Витя. За кого?

Сонечка. За Славку Кониная.

Витя. Я знаю его, нашу школу кончал, в оркестре играл, ударником.

Сонечка. Точно, точно, ударником был. Он отслужил, пришел, и через два месяца Тонька за него вышла. Она хорошая девчонка, Тонька.

Витя. Вроде ничего. Ну а ты-то как, Сонь?

Сонечка. Да хорошо, Вить. Все нормально. Ты расскажи лучше, как твоя служба. А то ты тогда зашел на минутку, мы даже не поговорили.

Витя. Служба – отлично. Можно сказать – повезло. Во-первых, сержантская школа, сама понимаешь, это уже плюс. Потом попал в хорошее место. Москва рядом. Специальность интересная. Ребята отличные со мной служат. Вообще, армия по мне. Я, может, в армии останусь. Есть кой-какие предложения. Но у меня, знаешь, идея – в Военно-инженерную академию поступить.

Сонечка. Да что ты, Вить, всю жизнь по казармам, по чужим квартирам. Своего дома не иметь.

Витя. Ну ты и рассуждаешь! А на что он мне, дом? Вон, мой отец всю жизнь угробляется с этим домом. А военный человек, если хочешь знать, он в привилегированном положении. Это нам наш капитан говорит, это точно. Все его проблемы государство решает. Привилегированное положение, понимаешь? Ну, а ты-то как, Сонь? Работаешь?

Сонечка. Нет, Витя, дома сижу.

Витя. А чего же ты дома-то делаешь? Обед, что ли, варишь?

Сонечка. Нет, обед не варю. Обед свекровь варит.

Витя. Ну, я смотрю, ты хорошо устроилась. (Смотрит на фотографию на стене.) Это муж твой?

Сонечка (встает). Да. Это на свадьбе.

Витя. Этот, лысый?

Сонечка. Так, немного лысоват. У него глаза очень красивые, необыкновенные.

Витя. А как он вообще, ничего?

Сонечка. Он, Витя, человек очень интересный. Он физик...

Витя. Слушай, а может, неудобно, что я пришел? Твой физик ревнивый, наверное?

Сонечка. Да что ты, его и в Москве-то нет!

Витя. В командировке, что ли?

Сонечка. Как тебе сказать. Не в командировке. Он в Новосибирске.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Витя. А ты здесь? Чего же ты с ним не поехала?

Сонечка. Вить, понимаешь, такая история вышла, ты только никому не говори. Ну, из наших.

Витя. А кому мне говорить? Я здесь, они – там.

Сонечка. В общем, история такая получилась. Он на свадьбе выпил.

Витя. Ну, это понятно.

Сонечка. Выпил, а потом... как это тебе объяснить...

Витя. Подрался, что ли?

Сонечка. Нет, что ты! Он не такой. Гораздо хуже.

Витя. Что хуже? Больше пятнадцати суток?

Сонечка. Хуже, Витя.

Витя. Срок?

Сонечка. Какой срок?

Витя. Срок он получил, что ли? Сел?

Сонечка. Да нет, что ты! Он не такой. Он просто уехал.

Витя. Как – уехал?

Сонечка. Сразу после свадьбы уехал. Оставил мне записку, что уезжает. А когда вернется, неизвестно. Только ты никому не говори, Вить, ладно? В Бобруйске никто не знает.

Витя. А что же ты?

Сонечка. А что я? Я поревела, поревела, потом собралась домой. Стыдно, ужас. Но свекровь меня не пустила. Говорит: «Я его знаю, он вернется. Все будет хорошо – подожди!»

Витя. Ну и что?

Сонечка. Вот я и жду.

Витя. Чего ждешь?

Сонечка опускает голову. Витя хватается ее за плечи.

Витя. Сонька, да ты что? Ты – самая красивая девчонка на всю школу! Чтоб так! Да он просто гад, твой лёва! Бросил тебя, а ты сидишь, ждешь чего-то! Ты бы еще в монастырь пошла! Сонь! Мы в такое время живем, а ты... Где же твоя гордость?.. Сонька!

Сонечка начинает плакать, закрывает глаза руками, плачет по-детски, с обидой.

Сонечка. Ну нет, нет у меня гордости. Я про гордость и не думала даже. Хорошо тебе говорить! А что? Что мне было делать?

Витя. Да не плачь ты, слушай... Ну что ты, Сонь. Ну как – что делать? Ну поехала бы домой, работа, то, се...

Сонечка. Стыдно, Витя. И свекровь не пустила.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Витя (обнимает ее). Какая же ты маленькая, Соня. Ужас просто, какая же ты маленькая. Ты не плачь. Мы что-нибудь придумаем... ты такая красивая, на тебя аж смотреть больно.

Сонечка. Витя, не надо... Витя, вода на кухне капает. Надо кран завернуть...

Витя. Пусть капает... Соня... Сонечка...

Сонечка. Витя...

Начинает играть музыка, еврейская свадебная музыка, которая уже звучала в начале... Громко, тише, тише... капает вода из крана... а потом раздаётся звонок в дверь.

Сонечка. Витя! Звонят!

Витя. Погоди открывать...

Сонечка (уже у двери). Кто там?

Елизавета. Сонечка, это я, Елизавета Яковлевна.

Соня открывает.

Елизавета. Ой, бедняжка, ты совсем больная... у тебя жар! Ты ложись, ложись!

Сонечка. Да нет, ничего... я уже здорова.

Проводит Елизавету Яковлевну на кухню.

Одетый Витя шмыгает к двери, Сонечка возвращается из кухни.

Витя. Я приеду к тебе. Обязательно. Не плачь только. Все будет нормально, слышишь? (Уходит.)

Сонечка. Тетя Лиза, Эсфирь Львовна за лимонами поехала, а потом к вам собиралась...

Елизавета. Она у меня была, Сонечка. Но сейчас она в больнице.

Сонечка. Как – в больнице?

Елизавета. Сонечка, только ты не волнуйся. Случилось несчастье.

Сонечка. Ой!

Елизавета. Да! И – ни царапинки! Только синяк на правом боку.

Сонечка. Какой кошмар!

Елизавета. У меня под окном – тополь. Она упала прямо на ветки, а потом – вниз. А внизу стояла целая гора картонных коробок. У нас же магазин внизу...

Сонечка. Я поеду в больницу. Где это?

Елизавета. Куда ты поедешь? Ночью? Я только что оттуда. Завтра ей сделают рентген и отправят домой.

Сонечка (плачет). Как все плохо... плохо... плохо...

Елизавета. Ну что ты, девочка, что ты? Разве это плохо? Это все очень, очень хорошо... Она могла бы убиться насмерть.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Картина одиннадцатая
Открывается дверь в пустую квартиру Эсфири Львовны.

Входят Сонечка, Эсфирь Львовна в гипсе.

Рука зафиксирована локтем вверх, ладонь на уровне лица.

Следом – Елизавета Яковлевна.

Эсфирь. Ну, слава богу, я дома. Сонечка, как ты всё хорошо убрала, умница. И цветы...

Елизавета. И обед приготовила твоя Сонечка.

Эсфирь. Так мойте руки и садимся за стол. (Пытается раздеться, Сонечка ей помогает.) Тьфу! Это же ужас, как неудобно... и как я буду шить... Ой, это называется еврейское счастье. Ты подумай, Соня, я так удачно выпала из окна, у меня не было ни одной царапины. И надо же было их слушать и делать этот проклятый рентген! Я ведь сразу сказала – везите меня прямо домой, и все! Нет! И вот результат!

Сонечка достает из холодильника еду, ставит на стол.

Эсфирь. Я выхожу из этой дурацкой кабины, из этой рентгеновской клетки, а там – ступенька; зачем там ступенька?! И я падаю и ломаю себе локоть, и как! И это тоже еврейское счастье – чтобы сразу два перелома и повреждение сустава! Чтоб мне так повезло!

Сонечка. Ой, хлеба нет!

Елизавета. Ну так поедим без хлеба.

Эсфирь. Как это без хлеба, что за еда без хлеба?

Сонечка. Я сбегаяю... Это же пять минут!

Эсфирь. Сбегай, доченька, сбегай!

Сонечка уходит.

Эсфирь. Лиза, ты ей ничего не говорила? Точно?

Елизавета. Про то, как ты прыгала в окно?

Эсфирь. Я об этом вообще не хочу слышать. Про письмо ты ей ничего не говорила?

Елизавета. Нет.

Эсфирь. И не смей. И еще – Лиза, поклянись мне, что Сонечка про это ничего не узнает.

Елизавета. Про письмо?

Эсфирь. Про окно. Это с каждым может случиться.

Клянись, что Сонечка про это ничего не узнает.

Елизавета. Ой-ей-ей!

Эсфирь. Так. Она от него ничего не получила?

Елизавета. Я об этом ничего не знаю.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Эсфирь. Ты посмотри, как она старалась. Весь дом блестит, и обед приготовила. Золото, золото, а не девочка! Покойная Сима порадовалась бы за нее.

Елизавета. Не знаю, чему бы уж так радовалась Сима.

Эсфирь. А чего бы ей не радоваться? Девочку взяли в такую семью, как наша, и на все готовое, слава Богу...

Елизавета (хватается за голову). Нет, теперь уже я выброшусь из окна! Я больше не могу! Неужели ты ничего не понимаешь? Неужели ты думаешь, что Лёва будет ее мужем?

Эсфирь (кротко). Нет. Не думаю. Я стала умнее. Когда я была между небом и землей, Лиза, я кое-что поняла. Бог меня любит, Лиза. Другой на моем месте ломал бы себе голову или хотя бы ноги. А мне – хоть бы что! И не говори мне про тополь или про ящики. Это глупости. Когда Авраам уже чуть-чуть не убил Исаака, Бог послал ангела, и ангел привел Аврааму козла! А мне ангел положил картонные ящики! Спрашивается, зачем? Чтоб я стала умнее! Чтобы я знала, для чего мне жить. И не говори мне про Лёву. У меня больше нет сына. Все! Я не хочу больше слышать его имени. У меня есть дочь. Да, я удочерю Сонечку. Я найму учителей, она поступит в институт. Конечно, не в педагогический, что это за специальность, возиться с чужими детьми. Пусть она будет инженер. Я найду ей мужа. Хорошего еврейского парня, чтоб была хорошая семья. У меня уже есть на примете одна семья. Очень, очень приличная семья... И чтобы она родила детей. Да, и внука мы назовем Вениамин, в честь моего покойного мужа.

Елизавета. Нельзя удочерить взрослого человека. Сонечке восемнадцать лет.

Эсфирь. Что, в восемнадцать лет уже не нужна мама? Почему я не могу удочерить Сонечку? Она дитя Симы Винавер. А Винаверы – хорошая еврейская семья, и Бог знает сколько лет мы жили с ними на одной улице. Это родная кровь.

Елизавета. Хватит, Фира, хватит. Это не родная кровь. Знай: Сонечка не родная дочь Симы. Приемная. Сима взяла ее в детском доме, когда Сонечке не было пяти лет.

Эсфирь. Что? Как это?

Елизавета. Я пятьдесят лет проработала акушеркой, Фира. Это бывает. Раньше – реже, теперь – чаще. Сонечку бросила мать. Отказалась.

Эсфирь. Ой-ей-ей! Какое несчастье! Какая сука! Какая стерва! Я бы убила ее своими руками! Я бы ее задушила! Это хуже фашистов! Оставить, бросить свое дитя! О, что ты мне сказала! Мое сердце просто разрывается! (Пауза.) А откуда ты знаешь?

Елизавета. Мне Сонечка сказала.

Эсфирь. А почему она мне не сказала?

Елизавета. Разговор не зашел.

Эсфирь. Деточка моя! Доченька моя! Два раза потерять мать! Сирота, без папы, без мамы! Господи, как ты это безобразие допускаешь? Ой, кровиночка моя! (Пауза.) Если ее Сима удочерила, почему я не могу?

Елизавета. Да в Сонечке нет ни капли еврейской крови. А Симу спасла и вырастила тетя Клава, и Симе было все равно, есть в ребенке еврейская кровь или нет... А тебе?

Эсфирь. Лиза, ты дура! Девочку бросила мать. Это такое несчастье! Это сиротская горькая несчастная кровь! А ты говоришь – нет еврейской крови! Это же самая разьеvрейская кровь!

Входит Соня с хлебом.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Эсфирь. Доченька моя! Иди сюда!

Сонечка. Я хлеб принесла.

Эсфирь. Почему же ты мне ничего не сказала?

Сонечка. Чего не сказала?

Эсфирь. Дочка моя, никогда, никогда я тебя не оставлю, кровиночка моя...

Сонечка. Я хлеб... Что с вами, Эсфирь Львовна?

Картина двенадцатая

Сонечка. Вить, а когда ты на меня обратил внимание?

Витя. Я в пятом классе был в тебя ужасно влюблен, и в шестом. А потом возненавидел. Не знаю, почему. Тыходишь в класс, а меня ну просто всего переворачивает.

Сонечка. Мне всегда казалось, что ты ко мне очень плохо относишься.

Витя. Ну, а потом, в десятом, мы с Ленкой стали гулять. Она про тебя часто поминала.

Сонечка. Мне Ленка, конечно, говорила, что с тобой встречается.

Витя. Да все знали. Все наши. Только, Соня, это было все совсем другое. Никакого сравнения. Ты и не думай, Сонь.

Сонечка. Все равно нехорошо как-то. Ленка – подруга моя. Да со всех сторон нехорошо. Ой, самое главное тебе не сказала! Я письмо от Лёвы получила.

Витя. В Новосибирск зовет?

Сонечка. Совсем наоборот. Он просит прислать ему заявление, чтобы брак признать недействительным.

Витя. А ты что?

Сонечка. Я тут же и послала. Витечка, если бы тебя не было, я бы, наверное, очень переживала. А теперь мне это совершенно все равно. И даже очень легко. Я утром как проснусь, вспомню про тебя и улыбаюсь. Меня свекровь все время спрашивает: «Сонечка, чему это ты улыбаешься?»

Витя. Мне тоже ребята говорили: «Ты что, как дурак, все время улыбаешься?»

Целуются.

Витя. Сонь, ты уедешь теперь?

Сонечка. Уеду, конечно. А что мне тут делать?

Витя. Когда?

Сонечка. Когда у Эсфири Львовны гипс снимут. Я же не могу ее одну оставить, с гипсом-то. Ни умыться, ни еду приготовить.

Витя. В общем-то, ты права. С какой стати тебе у них жить?

Сонечка. Ты не думай, Витя. Я ведь на работу устраиваюсь. В детский садик, прямо во дворе. Временно.

Витя. Плохо, конечно, что ты уедешь. Но в общем-то все правильно, Сонь.

Сонечка. Дождик начинается. Пошли ко мне.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Витя. Нет, я больше к тебе ходить не буду. Мне перед старухой стыдно. Она все –
покушайте, покушайте. Пошли в кино.

Сонечка. Пошли.

Картина тринадцатая
В квартире Елизаветы Яковлевны. Она в ворохе бумаг.

Сонечка сидит напротив.

Елизавета (отодвигает бумаги). Сонечка, что стряслось, детка?

Сонечка. Все! Все стряслось!

Елизавета. Ты получила письмо от Лёвы?

Сонечка. Получила. Отправила я ему заявление. Да не в этом дело!

Елизавета. Так что случилось у тебя?

Сонечка. Тетя Лизочка, я устраиваюсь на работу в садик.

Елизавета. И хорошо. Я думаю, что ты совершенно права.

Сонечка. Меня послали по врачам, анализы сдавать и все такое... к терапевту, и к
невропатологу, и к гинекологу... и гинеколог мне сказал, что я беременна. Но этого
не может быть.

Елизавета. А какой срок, Сонечка?

Сонечка. В две недели...

Елизавета. Нет, нет, этого не может быть. Ни один гинеколог не ставит
двухнедельного срока, это какая-то ошибка, недоразумение.

Сонечка. Вот и я говорю, что этого не может быть! А она говорит – да! А в садике
говорят, чтобы я оформление прошла в две недели...

Елизавета. Подожди, деточка, какие две недели? Я спросила, какой срок
беременности тебе определили?

Сонечка. Десять недель. Но этого не может быть!

Елизавета. Извини, Сонечка, но ответь мне на один вопрос: у тебя был кто-то?

Сонечка (твёрдо). Нет. (Поколебавшись.) То есть ничего такого у меня не было.

Елизавета. Погоди, погоди, но что-то ведь было...

Сонечка. Было один раз что-то такое, но вы не думайте, это не то...

Елизавета. А ты знаешь, что такое то?

Сонечка. Нет. Но то, что было, это точно не то.

Елизавета. Ты вспомни все, что было.

Сонечка. Да почти ничего и не было. Он спросил меня про Леву, а я вдруг
разревелась, как дура, мне так обидно показалось, а он меня обнял и поцеловал, и
был такой момент, когда я испугалась. Но это было только одно мгновение, и все...
потому что вы тогда в дверь позвонили... когда Эсфирь Львовна упала, это было...

Елизавета. Я? Я позвонила... О Господи, ну конечно же...

Сонечка. Он мой одноклассник, служит под Москвой. Он тогда просто так зашел. И
вот, все началось тогда...

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Елизавета. Да, тебе повезло, доченька.

Сонечка. В каком смысле, тетя Лиза?

Елизавета. Я знала множество женщин, у которых за всю жизнь не получалось того, что у тебя получилось в одно мгновение.

Сонечка. Вы тоже думаете, что я беременна?

Елизавета. Завтра я отведу тебя в мой роддом, к нашему главврачу, он тебя посмотрит, и это уже будет наверняка...

Сонечка. Какой ужас! Что же делать?

Елизавета. Как – что делать? Рожать.

Сонечка. Ой, как все нескладно у меня... А как я скажу Эсфири Львовне?

Елизавета. Да подожди ты об Эсфири. Скажи мне, а этот твой герой, он у тебя с тех пор не появлялся?

Сонечка. Я его четыре раза видела. Первый раз он домой пришел, а потом мы на вокзале встречались. Но больше ничего такого не было. Мы только в кино ходили. И целовались.

Елизавета. А ты ему сказала?

Сонечка. Нет. Он придет, наверное, в следующее воскресенье.

Елизавета. Так вот, когда он придет в следующий раз, ты скажи ему, что беременна. Ты поняла?

Сонечка. Нет, не смогу. Ну как это я ему такое скажу! Да он и не поверит! Мне все же кажется, здесь какая-то ошибка.

Елизавета. Ты скажи ему, и мы посмотрим, как он себя поведет.

Сонечка. А Эсфирь Львовна?

Елизавета. А вот ей пока что ничего не говори. Ах ты, горе мое, и откуда ты такая взялась?

Картина четырнадцатая
Сонечка и Витя в подъезде.

Витя. Это точно?

Сонечка. Точно.

Витя. Потрясающе! Мать моя обалдеет!

Сонечка. Вить!

Витя. Ну, не ожидал от тебя, Сонька! Не ожидал!

Сонечка. Ты как вообще к этому относишься?

Витя. К чему?

Сонечка. Ну, к ребенку...

Витя. Я же тебе говорю, я не против!

Он пытается ее поцеловать, она его отстраняет.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Витя. А что такого? Мы свадьбу устроим! Я со свадьбы не сбегу, за меня не беспокойся! Позовем твоего профессора, вот смех будет!

Сонечка. Он не профессор, он кандидат наук.

Витя. Ну, какая разница. У нас в Бобруйске это без разницы! Да вообще, я представляю, как весь Бобруйск обалдеет: выходила за профессора, а вышла за Витьку Михнича!

Сонечка. Да я тебя не про то, я тебя про ребенка спрашиваю – как ты относишься?

Витя. Я же тебе говорю – я не против! Ты же девочка была, я что же, не понимаю... Распишемся. Я знаю, у нас в части один парень вот так расписывался с бабой, она приехала, беременна, и расписали по военному билету. Распишемся – и поедешь к моей матери. Вот она обалдеет! А бабка моя (хохочет) – та вообще с ума сойдет! Она ваших ужас как не любит!

Сонечка. Кого не любит?

Витя. Да евреев она не любит.

Сонечка (с испугом). Правда?

Витя. Да что ты так испугалась, плевать на нее. Мне-то все равно. Я тебя знаю, ты девчонка хорошая, хоть и еврейка.

Сонечка (после паузы). Вообще-то я не совсем еврейка. Меня мама из детдома взяла...

Витя. Иди ты! Ты никогда не говорила! И в классе никто не знал!

Сонечка. Так что я совсем даже не еврейка...

Витя. Сонь, да мне все равно! Я бы на тебе, хоть и на еврейке, женился, ты не думай... Я же не подонок какой... Вообще-то, конечно, ты на еврейку и не похожа. У них носищи такие, и они черные, а ты как русалочка, наоборот, вся светленькая такая... (Тянется ее поцеловать.)

Сонечка. Но мама моя была еврейкой.

Витя. Да что ты заладила, мне плевать вообще-то, плевать, я тебе говорю!

Сонечка. Нет, ты объясни мне, почему твоя бабушка евреев не любит?

Витя. Ну ты даешь, привязалась!

Сонечка. Но, правда, ты объясни мне, что ты имеешь против евреев?

Витя. Тьфу ты! Хорошо, могу объяснить! Пожалуйста! Потому что евреи хитрые, ищут, где бы получше устроиться, чтоб поменьше работать и побольше загребать. К примеру, эти твои, обрати внимание! Мой папаша всю жизнь вкалывает на заводе, а с апреля на садовом участке потеет, и мать тоже, а твои? Свекруха на машинке строчит! Тоже мне работа! Не на заводе! А лёва твой в лаборатории, на чистенькой работе триста рублей загребает. И вообще, где потяжелее, на черной работе, там их не увидишь. Они сидят, как тараканы, в теплом месте. Поняла теперь?

Сонечка. Вить, ты говоришь что-то не то про легкую еврейскую работу. Моя мама всю жизнь за сто рублей работала в музыкальной школе. С утра до ночи. И Эсфирь Львовна не на легкой работе... и тетя Лиза... Нет, Вить, нет!

Витя. Ну хорошо, идем дальше! Чего они уезжают? Ну, в Израиль там, в Америку? Родину бросают и уезжают, чтоб жить хорошо. Другие, может, тоже уехали бы, а выпускают только евреев. Поняла?

Сонечка. Я про это мало знаю, Витя. Но я думаю, что если б нас меньше ненавидели, так и не уезжали бы!

Витя. Да ладно, брось ты! Меня эта тема вообще не интересует, я же тебе сразу

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
сказал, мне все равно.

Сонечка. Я пошла, Вить.

Витя. Куда ты?

Сонечка. Я пошла. Меня тошнит.

Витя. Сонь, что с тобой? Тебе плохо?

Сонечка. Да. Плохо. Уходи, Витя.

Витя. Как – уходи?

Сонечка. Так – уходи и больше не приходи.

Витя. Да ты что, обалдела, Сонька?

Сонечка. Уходи!

Витя. Смотри, я уйду! Ты пожалеешь! (Пауза.) Я ведь могу и уйти! (Стоит на месте.) Тебе же хуже будет!

Сонечка. Уходи! (Убегает.)

Картина пятнадцатая
Квартира Эсфири Львовны. У нее сидит Елизавета Яковлевна.

Эсфирь. Да ты понимаешь, Лиза, что ты говоришь?

Елизавета. Понимаю.

Эсфирь. Да этого не может быть!

Елизавета. Раз я это говорю, Фира, значит, это именно так. Вот в этом я как раз понимаю.

Эсфирь. Глупости! Просто девочка у меня поправилась. Она была такая худенькая, просто недокормленная! Конечно, ты же понимаешь, как они жили! Просто в нищете! Она ухаживала за мамой и вся растаяла. Ты думаешь, это просто – потерять маму, да еще в таком возрасте!

Елизавета. Беременность десять недель.

Эсфирь. Какие десять недель? Не смеди меня!

Елизавета. Я водила ее к себе в роддом, к нашему главному врачу, он сказал, что все в полном порядке, срок десять-одиннадцать недель.

Эсфирь. Господи! Да откуда? У нее же никого не было! Что ты мне сказки рассказываешь? Тоже мне, Дева Мария!

Елизавета. Было, не было – это как раз не наше дело.

Эсфирь. Да кто же это? Кто этот мужик?

Елизавета. Ее одноклассник бывший.

Эсфирь. Как, этот солдатик?

Елизавета кивает.

Эсфирь. Да он же совершенный балбес! Что он может ей дать? Нет, нет, не может этого быть!

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Елизавета. Сонечка тоже считала, что этого не может быть. Она болела, у нее была температура...

Эсфирь. А-а! Он ее изнасиловал!

Елизавета (машет рукой). Да что ты, что ты! Он не такой большой специалист в этом вопросе. Я думаю, что он в этом деле понимает ненамного больше ее.

Эсфирь. Слушай, Лиза, он приходил к нам с месяц, что ли, назад, и они игрались в детский конструктор. Я достала Лёвин конструктор с антресолей, хотела отдать соседскому мальчику, и они целый вечер в него игрались... Не может быть! Что же теперь делать?

Елизавета. Я водила ее к главврачу... и договорилась, она будет у нас рожать, и я сама приму роды. Все будет в порядке.

Эсфирь (качается на стуле из стороны в сторону, обхватив голову руками). Но почему, почему она мне сама не сказала?

Елизавета. Скажет. Сегодня скажет. Но пусть она сначала скажет этому... кавалеру...

Эсфирь. Кавалеру... да... Что я тебе скажу, Лиза? Я думала, что все будет не так. Но хорошо, пусть будет так! У нас родится мальчик, и мы назовем его Вениамином.

Елизавета. А если родится девочка?

Эсфирь. Глупости! В нашей семье первенцы всегда были мальчики!

Входит Сонечка, заплаканная. Эсфирь Львовна встречает ее долгим взглядом.

Эсфирь. Сонечка, доченька, подойди ко мне!

Сонечка подходит.

Эсфирь. Сонечка, как же тебе не стыдно? Почему ты так долго молчала? Почему ты ничего не сказала маме? Как же так можно? В твоем положении нужно хорошее питание, доченька! (Целует ее, плачет, сдерживается, дальше сквозь слезы.) И творог! И фрукты! И витамины!

Слышен свист из окна.

Эсфирь. И мы назовем его Вениамином!

Сонечка. Я думала, что вы...

Эсфирь. Мало ли что ты думала! Я столько всего передумала, что моя голова стала как гнилой орех. Ты приведи своего солдата, я хочу с ним получше познакомиться.

Сонечка (качает головой). Нет, в этот дом я его никогда не приведу.

Эсфирь. А почему? Чем наш дом для него нехорош? Что ты молчишь?

Сонечка. Я не могу этого сказать. Не хочу этого сказать.

Свист.

Елизавета Яковлевна подходит к окну.

Эсфирь. Очень интересно. Наш дом ему не подходит. Наш еврейский дом ему не подходит. Правильно я поняла?

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Сонечка. Нет, он другое говорил.

Эсфирь. Я же вижу, Лиза, он полный балбес! Что, Сонечка, он не хочет на тебе жениться?

Сонечка. Я не хочу. Я совсем не хочу выходить за него замуж.

Эсфирь (очень мягко). Сонечка! Не хочешь, и не надо! И даже лучше! Мы сами вырастим нашего мальчика!

Снова с улицы слышен свист.

Елизавета. Соня, там на улице твой солдат тебя свистит.

Сонечка. Я слышу. Я не пойду.

Пауза.

Эсфирь. Ой, я не знаю. С другой стороны, мальчику нужен папа. Ой как нужен. Ты пойди и приведи его. Поживет, и увидим. И потом: он ужасно шмыгает носом. Ему нужно купить носовые платки. Недавно я видела в Марьинском Мосторге очень хорошие. Индийские. Соня, почему ты молчишь? Лиза, почему ты молчишь?

Занавес

1988

Истории про зверей и людей

История про кота Игнасия, трубочиста Федю и Одинокую Мышь

I глава. Отчего Мышь была так одинока

У мышей, как всем известно, очень большие семьи. У каждой мыши, кроме многочисленных братьев и сестер, кроме родителей, бабушек и дедушек, есть еще пять-шесть поколений живых предков. Мышь, о которой пойдет речь, была одинокой. Ее муж еще в молодые годы утонул в большом кувшине молока, дети выросли и переехали в другой город, кроме одного сына, который и вовсе поселился на пароходе, а пароход ушел в кругосветное плавание, и с тех пор ни о пароходе, ни о мышонке ничего не слышали. Родители Мыши и ее деревенская родня погибли от несчастного случая: старая изба, в которой они жили, сгорела вместе с большой мышинной семьей. Конечно, кое-какие родственники остались в живых, но характер у нашей Мыши, которую давно уже прозвали Одинокой Мышью, был нелюдимый, вернее было бы сказать, немышимый, она очень редко виделась с оставшейся в живых родней и ограничивалась тем, что посылала им поздравительные открытки к Новому году. Это было очень хлопотное дело, ведь надо было написать 188 открыток! Чтобы успеть написать такую кучу открыток к сроку, Одинокая Мышь начинала эту работу с того самого дня, как только выпадал первый снег, и никогда не успевала закончить к Новому году. Последнюю открытку она обычно писала как раз в то время, когда появлялась первая травка. Поскольку спешить всё равно было поздно, она складывала открытки на полочку и опускала их в почтовый ящик в тот самый день, когда выпадал первый снег и пора было начинать писать 188 открыток к следующему Новому году.

От этой бесконечной писательской работы у Одинокой Мыши немного испортилось зрение, и ей пришлось заказать очки. Но, несмотря ни на что, она любила писать эти поздравления. Ведь когда пишешь письма, не чувствуешь себя одинокой. К тому же есть надежда, что придет ответ.

Правда, деревенские родственники Одинокой Мыши были неграмотными и никогда не отвечали ей на поздравительные открытки, но когда они изредка приезжали в город, то привозили замечательные подарки: один троюродный брат привез ей однажды целую головку подсолнуха, набитую семечками, а один двоюродный дедушка – кусок сала размером почти со спичечную коробку.

Что касается городских родственников, то они, несмотря на то, что были

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru грамотными, тоже не отвечали, поскольку были очень занятыми. Зато они звонили ей иногда по телефону, и это тоже было приятно. Когда звонит телефон, не чувствуешь себя такой одинокой.

II глава. Шкаф

Одинокая Мышь долгое время, пока не вышла на пенсию, работала в переплетной мастерской. Она умела замечательно быстро прогрызать кожу и очень аккуратно подравнивать зубами толстые стопки бумаги. Это была ее дневная работа. Свои ночные часы трудолюбивая Мышь тоже не тратила даром – работала сторожем на Большой Городской Свалке. Надев длинный прорезиненный плащ и взяв в одну лапу палку, а в другую фонарь, рыскала Одинокая Мышь по свалке из конца в конец, оберегая горы отличного мусора от воров. Ее ночная работа почти всегда была плодотворной, и к утру она набивала свой рюкзачок кое-каким добром.

Разумеется, это было не воровство, а честно заработанное имущество. К этому надо добавить, что Одинокая Мышь никогда не выбрасывала того, что однажды попало в ее дом.

В конце концов у Одинокой Мыши скопилось великое множество всякого добра, которое завалило всю мышиную квартиру и причиняло массу неудобств, как это всегда бывает с имуществом, и чем его больше, тем больше от него неудобств.

И чтобы это прекрасное имущество, собранное тяжелым ночным трудом, не портилось и не ломалось, не трескалось и не билось, не плесневело и не гнило, не червивело и не высыхало, Мышь решила заказать огромный шкаф.

Известный в городе краснодеревщик Шашель взялся за работу.

Целый год Шашель вместе со всей своей семьей вытачивал для Мыши шкаф, а когда работа была окончена, оказалось, что шкаф этот вполне заменяет дом.

Выточенный из цельной дубовой колоды, с отверстиями, прорезанными для окон и дверей, шкаф нуждался только в крыше, чтобы стать самостоятельным домом. Крышу сделали, в середине шкафа устроили настоящую печь с дымоходом и комнатку с кухней, и Одинокая Мышь поселилась внутри замечательного шкафа.

Сколько было в этом шкафу ящиков, полок, отделений и углублений, и сам Шашель не знал, потому что даже самые маленькие из его детей, которые еще не умели считать до трех, принимали участие в постройке шкафа и вытачивали самые маленькие из ящичков – по своему разумению и своему размеру. А сколько там было потайных замочков, секретных пружин и защелок! Но о самом большом секрете, который скрывался в глубинах шкафа, Одинокая Мышь и понятия не имела. Хитрый Шашель провел потайной ход из шкафа прямо в дымоход – на всякий случай. Ведь когда у тебя такая большая семья, заранее никогда нельзя знать, что может понадобиться через год.

Итак, возвращаясь к ящикам. Нельзя не сказать, что, кроме разнообразия размеров, они поражали и разнообразием формы. Ящички для перьев, карандашей, ложек, батареек для электрического фонарика были длинные, вроде пеналов, а для круглого голландского сыра, который выделяется в виде головок, или для шляп ящички были круглыми. Были и полки для книг. Одинокая Мышь еще со времени работы в переплетной мастерской очень любила книги, особенно старинные, в переплетах из настоящей кожи, с очень приятными на вкус иллюстрациями. Что и говорить, в старое время типографские краски были гораздо вкуснее теперешних. К примеру, медицинский атлас: картинки в нем цветные, все цвета хороши на вкус, а красный – лучше всякого пирожного.

Была у Мыши и коллекция лоскутков – шелковых, бархатных, хлопчатобумажных и синтетических. Для каждого вида – своя коробочка. Была и вешалка с платьями. Новыми, поношенными, просто старыми и такими ветхими, что Одинокой Мыши иногда приходило в голову, не подарить ли их бедным людям. Зашитая в белую простыню, висела на вешалке половина енотовой шубы – Мышь надеялась когда-нибудь найти к ней недостающую половину. Четвертый этаж сверху, по правой стороне, занимал отдел зубных щеток и шляп, пятый – лампы и свечи, шестой – футляры для хвоста. Футляров, как говорят, было всего пять, по одному на каждый сезон плюс один парадный – замшевый.

Короче говоря, ленты, кружева, ботинки, нижние юбки и что угодно для души, – все

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru лежало на своих местах, в своих коробочках, под своим номером. Мышь больше всего на свете любила свой дом-шкаф и часами любовалась своими богатствами: переключивалась, перебирала. Особенно приятно было заниматься этим в плохую погоду.

III глава. Происшествие

Однажды утром Одинокая Мышь сварила себе кофе и, собравшись сделать бутерброд с сыром, открыла круглый ящичек, в котором второй год хранилась очень симпатичная головка голландского сыра. Она отрезала кусочек – и страшно заволновалась: на сыре были следы чьих-то зубов! Да, да! Чьи-то маленькие зубки обгрызли ее замечательный сыр!

Видимо, в шкафу завелся вредитель. У бедной Мыши даже аппетит пропал при мысли, что кто-то лазает в глубинах ее шкафа, трогает ее вещи, ест ее припасы.

«Ах, – думала она, – хорошо тем, у кого ничего нет. Они спят спокойно и не тревожатся об ущербе, который могут нанести злоумышленники и воры».

Впрочем, Мышь вовсе не хотела бы поменяться местами с теми, кому не о чем было тревожиться.

С этого ужасного дня у Мыши началась бессонница. Когда же она наконец засыпала, ее мучили кошмары, снились грабители, воры, лягушки, которых она с детства боялась, а также пожары и наводнения. С сильным сердцебиением она просыпалась среди ночи, кидалась к полкам, искала новые следы порчи – и находила!

Однажды во вторник Одинокая Мышь обнаружила, что злодей съел полбанки земляничного варенья и обгрыз мак с сушки, подаренной двоюродной сестрой на именины. В среду она нашла четыре скорлупы от миндальных орехов, которые берегла для миндального торта к Новому году. В четверг исчезли пачка печенья и большой кусок колбасы.

К концу недели Одинокая Мышь убедилась, что имеет дело не только с ловким вором, но и с хулиганом. Собираясь на улицу, она достала обувную коробку с выходными ботинками, сунула лапку в ботинок и запищала от боли – злодей положил туда подушечку с иголками!

Мышь заплакала. Слезы потекли по ее серым щекам. Она взяла свежий носовой платок, чтобы утереться, поднесла его к носу – и начала чихать! Платок был пересыпан перцем. До позднего вечера она чихала и плакала.

«Так жить невозможно. Надо что-то предпринять», – решила она.

IV глава. Тараканий обед. Тараканий совет

Одинокая Мышь была вовсе не глупа, но она пребывала в такой растерянности от свалившегося на нее несчастья, что решила посоветоваться с Тараканом. Таракан считался самым большим умницей в городе. К тому же он был адвокатом, то есть знал все на свете законы и пути, которыми эти законы можно обойти.

Мышь позвонила ему по телефону и пригласила его на завтрашний обед. Таракан был очень с ней любезен и обещал прийти на обед ровно к шести часам, но не завтра, как приглашала его Мышь, а, если можно, сегодня.

Повесив трубку, Мышь страшно засуетилась. Она одновременно месила тесто, терла шоколад, взбивала белки, чистила столовое серебро и крутила мясорубку. Четыре лапки и розовый хвост мелькали по кухне во всех направлениях. В этой спешке ей и в голову не пришло попробовать на вкус сахарный песок, который она достала с полки. А между тем в коробке с надписью «Сахар» была насыпана соль.

Самое забавное заключалось в том, что об этой проделке неведомого врага Одинокой Мыши так и не суждено было узнать, потому что Таракан съел торт целиком, не оставив Мыши ни кусочка, и настолько быстро, что не успел заметить странности его вкуса.

Таракан пришел ровно в шесть. Снял с блестящей головы черную блестящую шляпу, с ножек – три пары сверкающих галаш и поцеловал Одинокой Мыши лапку. Мышь несколько смутилась. Она была уже в летах, отвыкла от мужского общества, и, откровенно говоря, даже в молодые годы ей не часто целовали лапки. Она даже

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru покраснела от удовольствия, но это было совершенно незаметно благодаря густой серой шерсти.

Одинокая Мышь усадила Таракана в большое кресло, и он просто остолбенел, увидев накрытый стол. Придя в себя, он немного пошевелил усиками, раздумывая, с чего бы начать, – и начал с краю.

Как комбайн идет по полю, не оставляя за собой ни одного колоска, шли тараканьи челюсти по столу.

Он съел:
суп гороховый,
винегрет,
селедку,
шарлотку,
пять котлет,
торт шоколадный,
сыр овечий,
из подсвечников свечи,
с луком зразы
и цветы из вазы.
И в придачу –
розовую салфетку.

Когда он, разогнавшись, начал грызть край стола, Одинокая Мышь вежливо кашлянула. Стол имел вид пустыни. Таракан очнулся, вздохнул, уселся поудобнее в кресле и сказал Одинокой Мыши, у которой просто дыхание перехватило от изумления при виде такой быстрой и четкой, можно сказать, артистической работы:

– Слушаю вас, дорогая Одинокая Мышь. Мне казалось, вы хотели со мной о чем-то посоветоваться?

И тогда Мышь рассказала Таракану всю историю, начиная с той минуты, как обнаружила на сыре следы чьих-то зубов, – и вплоть до иголок, засунутых ей в ботинки.

Таракан сидел с закрытыми глазами и тихонько шевелил усами, и только по этому легонькому шевелению можно было догадаться, что он не спит. Мышь окончила свой рассказ. Таракан немного помолчал, а потом сказал:

– Дорогая Мышь! Наше тараканье семейство одно из самых древних на земле. Нам знакомы все способы истребления, поскольку не было таких способов, которые не использовали в борьбе с тараканами. Как видите, вымерли ихтиозавры, динозавры и даже лошади Пржевальского, а мы, тараканы, вышли из борьбы победителями. Судя по тому, как ведет себя обитатель вашего шкафа, он, уж во всяком случае, не таракан. Хотя тараканы и имеют привычку съедать все подряд, но таракан никогда не позволит себе хулиганства. Для начала необходимо выяснить, кто именно поселился в вашем шкафу. Сделать это очень просто. Надеюсь, у вас осталось немного муки? Посыпьте полки мукой, и через некоторое время мы будем знать, с кем имеем дело. Преступник оставит свои следы. Я найду к вам через несколько дней, а еще лучше завтра, взглянуть на его следы... У меня уже сейчас есть некоторая догадка относительно вашего жильца, но пока говорить что-нибудь определенное преждевременно.

Затем Таракан откланялся, снова поцеловал Мыши лапку, надел шляпу и галоши и с трудом переполз через порог, волоча туго набитое брюхо.

V глава. Липучка

Как только Таракан ушел, Мышь сразу же насыпала на дно нескольких ящиков тонкий слой муки. Наутро на муке обнаружилась ровная цепочка следов, точь-в-точь как на дорожке после снегопада. Это были отпечатки двух маленьких лап с пятью пальцами и без когтей. Следы шли из одного ящика в другой. Мышь, надев очки, внимательно эти следы разглядывала, пока наконец в одном пустом ящике, сплошь засыпанном мукой, не обнаружила надписи «ФЕДЯ».

Мышь нацепила шляпку и, впервые в жизни не позавтракав, выскочила из дому. В половине десятого она была у Таракана. Он еще крепко спал. После вчерашнего мышиною обеда он вполне мог бы проспять два-три дня. Однако Мышь не могла так долго ждать, она разбудила его и рассказала об обнаруженных следах и надписи.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Да, так я и думал, – сказал Таракан, – ничего хуже быть не может. Это человек. Дорогая Мышь! Я знаю множество способов истребления вредителей:

в них бросают молотком,
обливают кипятком,
травят жутким порошком,
угощают сладким ядом!
Их дома, еду и норы
обливают чем-то хлорным,
мажут щели керосином
и бурю с глицерином!
Тут Таракан вздохнул и добавил:

– И главная беда в том, что все это придумал человек. Ужасное животное!

– Я придумала! Я придумала! – пропищала Мышь и, махнув хвостом, побежала в хозяйственный магазин. Она купила две длинные липучки от мух, свернутые в трубочку. Дома она отгрызла от них колпачки и принялась разматывать липкую ленту возле дверцы самого большого ящика с вареньем.

Он полезет в этот ящик, наступит своими босыми ногами на ленту и прилипнет. Прилипнет! Как еще прилипнет! – радовалась Одинокая Мышь.

Хвостик ее от волнения ходил из стороны в сторону и – раз! – коснулся липучки. Она продолжала раскручивать ленту, пока не заметила, что хвост ее прилип.

– Ой! – воскликнула она и попыталась отодрать липучку. Не тут-то было! Липучка прилепилась к лапкам, к спине, к животу, и через минуту вся Мышь оказалась облепленной. Она заметалась в ужасе. Хорошо еще, что на столике как раз стоял таз с водой, в котором она собиралась стирать свой передник. Она храбро прыгнула прямо в таз – а на такой подвиг способна далеко не каждая мышь – и принялась в нем бултыхаться. Бумага довольно скоро размокла, и Мышь, мокрая и обессиленная, легла на кровать отдохнуть после неожиданного купания. Первая атака на Федю провалилась...

VI глава. Знакомство с Федей

Федя сразу заметил, что на дне ящика что-то насыпано. Он посветил фонариком: что-то белое, не то мел, не то мука. Вначале он не обратил на это никакого внимания, но, когда рассыпанная мука обнаружилась и во втором, и в третьем ящике, он догадался, в чем тут дело:

– Ага, старушка, кажется, хочет со мной познакомиться. Я согласен. Только при условии, что наши отношения не будут слишком тесными!

И Федя с большим удовольствием голой пяткой написал на муке свое имя. Сам-то он прекрасно знал, что хозяйку зовут Одинокая Мышь.

К этому времени прошло уже больше недели с тех пор, как Федя поселился в Мышином шкафу. Он был трубочистом, прочищал дымовые трубы во всем городе. Вообще-то его вызвала подслеповатая Змея, соседка Мыши. У нее засорился дымоход, и она чуть не задохнулась от дыма. Перепутав крыши, Федя попал через трубу в Мышин дом, прямо в печку, и оказался таким образом в том самом потайном ходе, который пробуравил Шашель на всякий случай, когда заканчивал постройку шкафа.

Когда Федя сообразил, где он находится, он просто влюбился в этот дом-шкаф. Да и кто бы не влюбился! Это был настоящий лабиринт, по которому особенно интересно путешествовать потому, что в конце каждого путешествия ожидало Федю не чудовище, а банка земляничного варенья, сушеные сливы или старинные конфеты, окаменевшие от времени, но все равно сладкие. Это был клад, в котором среди всякой чепухи иногда попадались настоящие сокровища. В шкафу были такие диковинные коридоры, закоулки, лесенки между этажами, что Феде иногда приходилось совершать настоящие горные восхождения. Не забывайте, что он был все-таки трубочист и у него была при себе раздвижная лесенка и моток веревки.

Короче говоря, Федя забыл про засоренный дымоход Змеи и остался в шкафу, так что Змее пришлось самой прочищать свой дымоход, что, собственно говоря, было для нее не особенно сложно. Вряд ли можно найти другое существо, столь хорошо

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru приспособленное для этого занятия: Змее пришлось всего-навсего проползти из печки своего дома на крышу, но не совсем обычным образом – хвостом вперед. Как ей и полагалось, она была мудрая Змея и потому сообразила, что если она поползет головой вперед и застрянет, то за хвост вытягивать ее из дымохода будет слишком сложно и к тому же очень больно.

Что же касается Феде, он решил навсегда поселиться в Мышином шкафу.

VII глава. Появляется Игнасий

Для Одинокой Мыши настали тяжелые времена. Она похудела, вздрагивала от каждого шороха – мыши от природы очень пугливы и нервны. Свое утро она теперь начинала не с чашечки кофе, как прежде, а с обхода шкафа. И каждый день приносил ей новые огорчения. В один печальный день она обнаружила, что Федя добрался до ее библиотеки, вырвал самые вкусные картинки из тех книг, что раскрашены, и куда-то уволок.

Наконец, в ящик с постельным бельем была вылита бутылочка синих чернил!

В середине второй недели Одинокая Мышь, превозмогая природное отвращение к вещам подобного рода, зарядила две ловушки того самого образца, которые мы называем мышеловками. Одну – сыром, другую – салом.

Федя просто от смеха затрясся, когда их увидел: «Видно, она меня за дурака принимает! Даже обидно немного». Он подцепил крючком сало, мышеловка сработала, шелкнула, после чего Федя вынул сало из мышеловки, сбегал за хлебом – не в булочную, конечно, а в соседний ящик, – сделал бутерброд с салом и сверху густо намазал его горчицей. И оставил на видном месте – в подарок Одинокой Мыши.

Но этого Феде показалось мало. Своим перочинным ножиком, к слову сказать, очень хорошим – с двумя лезвиями, с открывалкой для консервов, штопором и даже с ножницами, – он разрезал все мешочки с крупой, такие пузатенькие, аккуратные, Мышь их так любила... Словом, когда она обнаружила издевательский бутерброд и разрезанные мешочки, у нее был самый настоящий сердечный приступ. Ей пришлось выпить три большие капли валерьянки.

Но она решилась! Решилась на самую последнюю меру – поселить в доме кота.

После длинной и утомительной поездки в трамвае Мышь попала на рынок. Она очень растерялась, когда попала в кошачий ряд, – она и представить себе не могла, сколько на свете кошек всех возможных цветов, размеров и возрастов. Мышь долго выбирала себе такого кота, чтобы он влез в корзинку, которую она с собой захватила, и не был бы слишком тяжелым – все-таки до трамвайной остановки идти было довольно далеко.

Подходящий кот оказался с виду довольно обыкновенным, серым в полоску, с редким именем Игнасий. Без всякого восторга он залез в корзинку, всю дорогу молчал, только шевелил усами и иногда фыркал. Мышь поставила корзинку к себе на колени и размышляла, не посадить ли ей кота на цепочку и спускать его только на время охоты за Федей. Она прекрасно помнила, что в шкафу в одном из ящиков хранился кошачий ошейник! Да, правильная мысль: посадить кота на цепочку! Все-таки очень неприятно, когда по квартире беспрепятственно разгуливает кот.

«А кормить его буду гречкой. Кажется, коты не очень любят гречку, но если он будет объедаться, он не захочет охотиться», – размышляла она.

Когда, приехав домой, Мышь вытащила кота из корзины и поставила перед ним блюдце с гречневой крупой и второе с водой, кот от возмущения только рот раскрыл. Придя в себя, он ехидно произнес:

– Урр, и все это мне?

И отвернулся, а про себя подумал – завтра же убегу!

Но это было еще не все! Мышь надела на кота ошейник и прицепила к нему цепочку от сломанных ходиков.

Второй конец цепочки она обмотала вокруг ножки стола. После этого она села с важным видом и произнесла следующее:

дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Я не люблю котов. Но тебя, Игнасий, я купила, чтобы ты поймал то существо, которое поселилось у меня в шкафу. После того как ты его поймаешь, ты совершенно свободен, можешь сам собой распоряжаться, наняться, например, в такой дом, где любят котов, или поступить на государственную службу.

Игнасий все Мышиные слова, от первого до последнего, пропустил мимо ушей, переживая неслыханное оскорбление. Глаза у него сверкали зеленым огнем, а усы тряслись от злости.

«Меня! Как собаку! На цепь! Это тебе будет дорого стоить, хозяйка!» – думал он.

Но ни слова не сказал – он был молчаливый и сдержанный кот, лишнего не говорил.

VIII глава. Знакомство Феди с Игнасием

И вот настал час, когда Одинокая Мышь сняла с раздраженного и голодного Игнасия ошейник и сказала, что ему пора идти на охоту, а ей – спать.

Одинокая Мышь пошла в свою спальню, а Игнасий решил для начала обнюхать, чего хорошего можно найти в шкафу. От ящиков с одеждой несло нафталином.

«Скучный и противный запах, – подумал Игнасий. – Хотя я и не моль, но запах этот мне не нравится».

Он продолжал свой обход – бакалейные запахи тоже были малоинтересны. Что толку в сухой крупе? Потом запахло мылом.

«Тоже глупости. Самое милое дело – облизать лапу да протереть как следует морду. А хозяйка, поди, мыло тоже не для мытья держит. Грызет небось по праздникам», – ехидно ухмыльнулся кот.

«Ну вот наконец нужный ящик. С него мы и начнем охоту. Пахнет колбаской. Надеюсь, в ней не слишком много перца...»

Игнасий подсунул когти под ящик, попытался выдвинуть его, но он не шел.

«Полным-полнехонек», – обрадовался кот.

Потом он уперся задними лапами в стену, а обе передние подсунул под ящик. Скреб, толкал, пытался, но ничего не получалось. Вдруг он услышал из ящика чей-то голос:

– Эй, кот, да ты совсем упарился! Небось колбаски захотелось? Я тебе помогу. Подожди, я просуну веревку в замочную скважину, а ты тяни...

И действительно, в замочной скважине появилась веревка, Игнасий схватил ее зубами, сел на хвост и, помогая себе всеми четырьмя лапами, попятился, таща за собой ящик.

– Ну что, сам заберешься или сбросить тебе колбаски? – услышал Игнасий.

Но кот уже сидел в ящике с длинным батоном колбасы в зубах.

– Благодарю вас за любезность, которую вы мне оказали, – протянув веревочку, произнес кот, не выпуская из пасти колбасы, и торжественно поклонился. – Меня зовут Игнасий.

– А я – Федя, – ответил трубочист. – Никогда в жизни не слышал такого красивого кошачьего имени. Не то что Васька или Барсик.

– Да, – важно кивнул Игнасий, – меня называли так в один памятный мне день в честь знаменитого монаха... – И кот вздохнул.

– Между прочим, я могу открыть тебе консервную банку с ветчиной. Хочешь?

– Не стану отказываться. Ветчина полезна для здоровья.

Федя достал из кармана свой замечательный нож, вытянул из него лезвие для открывания консервов и открыл коту большую продолговатую банку, на которой была

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru нарисована улыбающаяся свинья. Вдвоем они справились с ветчиной. Пузо у кота раздулось, он почувствовал жажду:

– Федя, а нет ли тут молока? Или, на худой конец, воды?

– С этим очень плохо, – отвечал Федя. – Молоко Одинокая Мышь держит в холодильнике на кухне, а я туда не заглядываю. Здесь, в шкафу, есть несколько бутылок с сиропом, но он очень уж сладкий, пить противно. И еще есть уксус. Слишком кисло. Мне приходится вылезать на крышу за водой во время дождя. Ведро к водосточной трубе подвешиваю. Но вчера вода как раз кончилась. А на кухню – нет, предпочитаю не ходить. С тех пор как я здесь живу, я не хочу попадаться ей на глаза.

– Погоди, погоди, – изумился кот, – так ты и есть то существо, которое поселилось в шкафу?

И тут кот лег на спину, чтобы удобнее было смеяться, и захохотал так, что его набитое колбасой и ветчиной пузо заходило ходуном. Отсмеявшись, он продолжал:

– Знаешь ли ты, что Одинокая Мышь купила меня на рынке сегодня утром специально для того, чтобы я тебя поймал?

Теперь настала Федина очередь смеяться – где это видано, чтобы коты охотились за трубочистами?

Но что уж тут поделаешь, если жизнь так устроена?

– Федя, я умираю от жажды, сейчас я принесу молока, – сказал Игнасий и прыгнул из ящика в кухню.

Через несколько минут Игнасий позвал Федю. Оказалось, что холодильник у Мыши был заперт на замок, но ключик она оставила в замке. Коту было трудно его повернуть. Но феде это было раз плюнуть – он залез на спину Игнасию, открыл дверцу и достал молока.

После того как они напились, кот зажмурился, важно поклонился и произнес:

– Мне было очень приятно с тобой познакомиться. Мы прекрасно поужинали, и, на мой взгляд, пора ложиться спать. Старуха Мышь кинула мне какую-то тощую подстилку, как дворняге, но делать нечего...

– Знаешь что, Игнасий, – почесывая ногу об ногу, предложил Федя, – переезжай-ка ты в шкаф. Там ты найдешь и перину, и подушку. Я тебе покажу главную дорогу через дымоход, если ты, конечно, не станешь об этом болтать.

Игнасий, услышав такое предложение, кувыркнулся от радости, насколько ему позволяли набитое брюхо и природная важность, и полез в указанном направлении...

IX глава. Пожар

Игнасий и Федя замечательно устроились на ночь в самом большом ящике на первом этаже, между двумя пуховыми перинами. От Игнасия исходило приятное кошачье тепло, и Федя мгновенно уснул. Игнасий же от волнений этого дня никак не мог уснуть. Полчаса проворочавшись, он пихнул Федю лапой в живот и спросил, не хочет ли Федя чем-нибудь развлечься. Развлекаться Федя любил, вопрос был лишь в том, как именно.

– Давай сыграем в карты, – предложил Игнасий. – Должны же быть у старухи Мыши где-нибудь карты.

Федя вспомнил, что видел карты в одном из ящиков четвертого этажа, но в такой темноте их будет трудно разыскать.

– Ты возьми фонарик и иди вперед, а я за тобой.

– я и без фонаря прекрасно вижу в темноте, пошли! – велел кот.

Федя был сговорчив, и они полезли между ящиками в четвертый этаж, где довольно быстро нашлись карты. Они были старые и такие засаленные, что Игнасий взял их

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
брезгливо и проворчал, что на них, наверное, картошку жареную ели...

Они вернулись в свою «спальню», сдвинули одну из перин, на другую сели, поставили между собой свечу в обломанном подсвечнике и начали играть. Играли не на деньги – на Мышиные ящики. Хитрый Игнасий выигрывал одну партию за другой, и через час Федя проиграл коту восемнадцать ящиков первого этажа. Федя давно уже понял, что имеет дело с настоящим мастером картежной игры. Так оно и было – Игнасий был необыкновенно ловкий картежный шулер. Своей толстой мохнатой лапой он прикрывал колоду и, когда надо было взять одну карту, тянул еще парочку лишних. Всякую мелкую пташку вроде шестерок и семерок он клал себе под зад, а карты позначительней и, конечно, козырей оставлял на руках.

Федя не замечал его хитростей, только удивлялся, до чего же Игнасию везет. Наконец Феде показалось, что колода слишком быстро кончается, и он предложил Игнасию пойти посмотреть, не оставили ли они в ящике часть колоды.

– Давай, давай сходим, – посмеиваясь в усы, поддержал Игнасий, – действительно, что-то больно быстро кончается колода.

И они полезли наверх. Фонарик Федя взял с собой, а горящую свечку оставили в ящике.

Никаких карт на старом месте, конечно, не оказалось. Зато Федя нашел сломанный свисток и горсть грецких орехов. Игнасий до орехов был не охотник, но помог Феде их поколоть. Они вместе нашли подходящий маленький ящичек, засовывали под дверцу орех и на счет «раз, два, три» с силой хлопали. Это занятие понравилось Феде гораздо больше, чем проигрывать в карты. Пока они возились с орехами, свеча сильно оплыла воском и перевернулась. Замасленные карты с треском разгорелись, старая перинка – тоже, и ящик на первом этаже запылал, как хороший костер.

Довольно скоро чуткий на запахи Игнасий почувствовал запах гари. Как всякий нормальный кот, больше всего на свете он не любил воды и огня. Шерсть у него встала дыбом, он еще раз принюхался и сказал Феде только одно слово: «Бежим!»

Толком не поняв, в чем дело, Федя поспешил за котом. Проход между этажами был узкий, они протискивались с трудом, впереди Игнасий, за ним Федя. Федя только диву давался, когда это кот успел запомнить дорогу, да еще в такой темноте. Дыму было все больше и больше. С необыкновенной ловкостью пробирался Игнасий по дымоходу, вылез через трубу на крышу и по водосточной трубе наполовину скатился, наполовину съехал на землю. Через некоторое время Федя, который отстал по дороге, тоже приземлился у водосточной трубы.

– Да, такого приключения у меня еще не было, – причесывая усы, сказал Игнасий, – это, конечно, от нашей свечи пожар разгорелся. Давай отойдем в сторону, посмотрим, как будет гореть Мышиный дом. Увидишь, пожар будет замечательный!

– Ох! – вскочил Федя. – Одинокая Мышь в доме! Надо ее спасти!

– Спасти Мышь? Ну, это уж без меня. И тебе не советую, – недовольно проворчал кот.

X глава. Спасение Одинокой Мыши

Но Феде уже не было рядом с Игнасием. Он несся к входной двери. Дверь была, конечно, заперта. На всякий случай Федя звякнул в звонок, грохнул по двери кулаком, а потом уж полез на крышу по водосточной трубе. Это было гораздо труднее, чем спускаться с нее, но все-таки у Феде был большой опыт лазанья по крышам и трубам. Он вскарабкался на крышу. Из трубы шел черный дым, но Федя, не раздумывая долго, исчез в трубе. В дымоходе было темно и дымно – это в шкафу тлели, а кое-где уже полыхали Мышиные сокровища. С трудом нашел Федя проход в шкаф. Во внутренних комнатах тоже сильно пахло гарью, но пока весь пожар происходил в шкафу. Огню из ящиков не так просто было вырваться.

Федя вбежал в Мышиную спальню с криком:

– Пожар! Спасайтесь!

Мышь мгновенно вскочила с кровати, поморгала своими круглыми глазками, ничего со сна не соображая.

дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Пожар, пожар, говорю! Шкаф горит! – орал Федя.

– Боже мой! – простонала Мышь. – Какой кошмар! Надо спасти имущество!

– Надо спасти жизнь! Как только прогорят стенки ящиков, мы погибнем! – Федя тянул Мышь к окну.

Но Одинокая Мышь вырвалась из фединых рук и металась как угорелая (возможно, она действительно угорела, потому что запах гари делался всё сильнее). Она хватала в лапы первые попавшиеся вещи, носилась с ними по комнате из угла в угол. К груди она прижимала большую подушку, в одной лапе зажала кофейник, в другой – часы и еще пыталась ухватить с окна цветочный горшок.

Тем временем из шкафа показались первые язычки пламени.

– Бежим! Скорее! Где ключ от двери? – кричал Федя.

Обычно ключи лежали у Мыши под подушкой, но, когда она схватила подушку, ключи упали на пол. Она кинулась к кровати – ключей не было.

– Украли! Мои ключи! – завопила Мышь и кинулась к окну. Дрожащими лапами она хотела открыть задвижку, но это ей не удавалось. Тогда онахватила часами по стеклу, раздался двойной звон – разбитых часов и вылетевшего стекла.

Тем временем Федя поднял с полу ключи.

Мышь совершенно ничего не соображала. Она все еще пыталась спасти свое имущество. Она пихнула в окно стул, но он застрял в оконном проеме. Она протиснула в окно подушку и выбросила кофейник. Язычки пламени из нежных и маленьких превращались в большие и яркие. Федя понял, что нельзя ждать ни минуты. Он схватил Одинокую Мышь на руки – это было совсем не просто, она была очень большая и толстая и весила никак не меньше Феде. К тому же она отбивалась, даже пыталась укунить Феде в плечо. Но Федя волок ее к двери, а за ним тянулась скатерть, которую Мышь ни за что не хотела выпускать из лап. В прихожей было совершенно темно от дыма и нечем дышать. С большим трудом Федя отпер задвижку, большой крюк, цепочку и два замка, на которые была заперта дверь.

В тот самый миг, когда они вывалились из двери на улицу, шкаф не выдержал напора огня и запылал огромным костром.

Как только Одинокая Мышь очутилась на улице, она потеряла сознание и упала на спинку.

Федя обмахивал ее скатертью, выпавшей из ее лап, и одновременно вытирал со лба пот. Возле дома уже собралась толпа соседей. Кто-то вызвал пожарную машину, а некоторые даже подумывали о том, не попробовать ли самим начать тушить пожар. Таракан сказал, что сейчас сходит домой и поищет книгу о тушении пожаров – у него была лучшая библиотека в городе. Змея мудро улыбнулась и посоветовала ему принести лучше ведро с водой.

Тем временем приехали пожарные, размотали свои шланги и быстро загасили остатки того, что недавно было Мышиным домом. Потом они стали сматывать свои шланги, и Змея мудро уползла к себе домой, испугавшись, как бы ее не смотали вместе со шлангами.

Наконец Одинокая Мышь открыла глаза, вдохнула и тихо заплакала.

– Где Федя? – прошептала она. – Он спас мне жизнь. Ему надо дать медаль «За спасение погибающих».

Голова ее лежала на подушке, она была прикрыта скатертью, а рядом с ней стоял ее любимый кофейник. Это было все, что у нее осталось.

Глава последняя. И самая короткая

Вот и вся история про Одинокую Мышь. Остается только добавить, что благородный Таракан пригласил ее жить к себе. Вскоре они поженились, и оба вполне счастливы. Одинокая Мышь гордится тем, что у нее такой умный и образованный муж, а Таракан

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru очень ее уважает за те замечательные обеды, которые она ему готовит каждый день – кроме тех случаев, когда Таракану после особенно вкусного обеда хочется поспать денек-другой. Но это бывает редко, вообще он старается обедов не просыпать.

Одинокой Мыши, конечно, жаль и шкафа, и имущества, но всё-таки она очень довольна своим новым положением – она ведь перестала быть одинокой.

Федя иногда заходит к ним в гости – Мышь на него совсем не сердится. Ни за то, что он когда-то поселился у нее в шкафу, ни за его проделки, ни за пожар. К его приходу она печет пирог с вареньем. И хотя Таракан успевает съесть большую часть, зато Феде всегда достается большой кусок из самой серединки.

Игнасий исчез. С того момента, как Федя полез на крышу для спасения Одинокой Мыши, его никто больше не видел. Таковы коты.

А Мышь уже больше не пишет к Новому году 188 поздравительных открыток.

Она пишет одну-единственную.

Догадайтесь – кому?

История о старике Кулебякине, плаксивой кобыле Миле и жеребенке Равкине. Старик Кулебякин был добрейший человек. Если бы не так, он давно бы уже переехал из своего деревенского домика-развалюхи в новую просторную однокомнатную квартиру в самом центре города. Но по своей доброте он не мог не считаться с кобылой Милой, которая жила у него уже больше двадцати лет. А она всякий раз, когда он затевал разговор о переезде, начинала плакать. И приходилось им вдвоем, старику Кулебякину и жеребенку Равкину, ее утешать. А утешать ее было совсем не просто. Старик бежал в стационарный буфет за двенадцать километров и покупал там булочку с маком, а жеребенок Равкин чего только не делал, чтобы утешить плаксивую кобылу Милу: на дудочке играл, кувырчался, ходил на передних ногах, проигрывал ей в шахматы и пел романс «Я помню чудное мгновенье»...

Кое-как Милу утешали, и старик Кулебякин зарекался говорить с ней о переезде, однако долго не выдерживал и нет-нет – опять заговаривал. Уж больно надоел ему домик-развалюха без водопровода, без газа, с уборной во дворе. Но Мила опять начинала плакать, даже не объясняя никак своего нежелания переезжать.

В конце концов она сказала:

– Кулебякин! Нас загонят на пятый этаж без лифта. Я терпеть не могу высоты. На балконе мне будет страшно, а переезжать в квартиру без балкона обидно, раз у других балконы есть. Я не умею ходить вниз по лестнице, да и вверх по лестнице, признаться, мне тоже не нравится ходить. Я не хочу пить воду из унитаза. Я уже старая кобыла, я хочу умереть в своем доме, а не в проклятой однокомнатной квартире.

Кулебякин возражал, как мог:

– Мы не поедem на пятый. Нам дадут квартиру на первом этаже. Мы посадим деревья под окном так, чтобы ветки заглядывали в окно. Я никогда не предложу тебе пить из унитаза, будешь пить из своего ведра, к которому ты привыкла. И недалеко от нас, просто в двух шагах, будет кафе, и там можно будет в любой момент купить тебе булочку с маком, а мне – бутылку пива.

Но на Милу такие слова не действовали – она опять начинала плакать. В конце концов не выдержал Равкин.

– Послушай, Мила, – сказал он. – Я еще молодой. У меня вся жизнь впереди. Я хочу получить образование, чтобы в нашей семье был хоть кто-нибудь с высшим образованием. Я хочу стать цирковой лошаdью. Неужели ты не понимаешь, что нам необходимо переехать в город, чтобы я мог поступить в цирк?

Мила задумалась, опустив голову. Так она простояла всю ночь и половину следующего дня – она вовсе не была глупой, просто медленно думала. Наконец она сказала:

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Равкин, ты прав. Тебе действительно надо получить образование. Сегодня ночью я вспомнила, что, когда я была молодой, я тоже хотела стать цирковой лошадью. Но тогда была война, и мне пришлось вместо цирка служить в обозе. Я согласна переехать, только пусть Кулебякин знает, что на пятый этаж я не поеду ни за какие деньги, это – во-первых. А во-вторых, чтоб каждый день у меня была булочка с маком.

И на всякий случай она опять заплакала.

Равкин немедленно побежал к старику Кулебякину сообщить, что Мила согласна переезжать, а уж потом взял свою дудочку и стал играть Миле самую веселую из известных ему песен.

В один прекрасный день Кулебякин сложил в тележку все свои пожитки: ведро, кастрюлю, веник, телевизор, который никогда не работал, три подушки, ложку и свои вставные зубы, которые были очень красивые, но такие неудобные, что он держал их обыкновенно на окошке просто для красоты.

Потом Кулебякин долго извинялся перед Милой, что ей придется их перевозить. Наконец он запряг ее, и они поехали. То есть поехала тележка, а Кулебякин, конечно, шел позади и подталкивал тележку. Равкин бежал рядом, с ключом от новой квартиры в зубах, а Мила на всякий случай плакала.

Наконец они доехали до центра города и остановились около очень симпатичного пятиэтажного дома, в котором все квартиры были заселены, кроме одной, на первом этаже. В нее и въезжали. Кулебякин вносил вещи, а Мила стояла у подъезда и крутила головой, и слезы от этого падали в разные стороны, на большое расстояние, и весь дом видел, как убивается кобыла Мила, переезжая на новую квартиру.

Старик Кулебякин тихонько просил ее перестать плакать, потому что жильцы дома могут подумать, что он плохо с ней обращается, и вызвать милицию.

Равкину в новой квартире всё очень нравилось: и газ, и водопровод, и выключатели. Он быстро научился пользоваться всеми этими штучками, а Мила плакала не переставая, так что старику Кулебякину пришлось подставить ведро, чтобы она не мочила паркет, потому что он от воды, то есть от слез, портился, и быстро сбегать за булочкой.

На следующее утро, а это было воскресенье, самый рабочий из всех рабочих дней в цирке, Равкин проснулся очень рано, надел кулебякинскую кепочку, причем без спросу – Кулебякин, конечно, разрешил бы, но он еще спал, и Равкин не хотел его будить, – и побежал в цирк.

Он подошел к служебному входу и спросил у швейцара в униформе с большими металлическими пуговицами, нельзя ли видеть директора.

– А по какому вопросу? – спросил швейцар.

– Видите ли, я бы хотел поступить в цирк учиться, то есть работать. В общем, я не умею ничего такого, что мне хотелось бы... – Тут Равкин совершенно запутался и замолк.

Швейцар смотрел на него строго и задумчиво, как будто решал что-то. И Равкин подумал, что, наверное, он и есть директор цирка.

– Нет, – сказал швейцар. – Ты нам не подойдешь. У нас уже есть лошади. Вот если бы ты был лев, тогда можно было бы еще подумать.

– Нет, – вздохнул Равкин, – я не лев, я жеребенок.

– Ну тогда хоть леопард!

– Нет, я не леопард. Я жеребенок.

– Ну ладно, не огорчайся. В конце концов, я тоже не директор цирка, нанимать зверей не моя забота. Зайди к директору, вон по тому коридорчику, потом вниз.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Первая дверь налево.

И Равкин пошел к директору. Он нашел нужную дверь и постучал легонько копытом.

– Войдите, войдите! – раздался голос за дверью.

И Равкин вошел. Толстый лысый человек в майке сидел за столом. Перед ним на столе стояли четыре бутылки лимонада, полный ящик мороженого в стаканчиках и куча леденцовых петушков на палочках.

– Здравствуйте, – пробормотал Равкин.

– Здравствуй, здравствуй, дорогой! Что тебе нужно? Ты, наверное, хочешь работать в цирке, но ничего не умеешь делать и хотел бы научиться цирковой науке? – спросил директор.

– Да, – вздохнул Равкин и понял, что всё пропало.

– Ну ладно, поговорим потом. Сейчас я как раз собираюсь завтракать. Надеюсь, ты еще не завтракал? Давай-ка поближе к столу. Я терпеть не могу есть в одиночестве.

Равкин сел на стул, который подвинул ему директор. Директор дал Равкину бутылку лимонада, четыре порции мороженого и двух петушков. Пока Равкин любовался этими красными петушками, чья-то маленькая коричневая ручка – раз-раз! – и вытянула их из-под носа. Это была обезьянка, которая до этого момента сидела тихо на шкафу и ни во что не вмешивалась. Директор увидел, как она стащила петушков, и сделал ей замечание:

– Генриетта, отдай петушков. Да, кстати, как тебя зовут?

– Равкин.

– Так вот, Генриетта, отдай петушков Равкину, а то вообще ничего не получишь.

Как ни странно, бесцеремонная обезьянка послушалась и сунула петушков Равкину прямо в ухо.

– Так, так, так, – сказал директор. – Сейчас я тебя расшифрую. Ты, наверное, сын Радия и Виконтессы?

– Нет, – удивился Равкин.

– Тогда ты, наверное, сын Раймоны и Виктора?

– Нет.

– Так откуда же образовалось твое имя? Разве ты не знаешь, как называют жеребят? Берут первые буквы имен их родителей и получают новое имя. Например, мать Балерина, отец – Дар. Их ребенок будет Бал-да. Да. Не очень красивое имя получилось. Возьмем другой пример: мать – Даная, отец – Морской, их жеребенку дадут имя Мор-да. Да. Опять не очень красиво получилось. Так ты скажи, как же твое-то имя образовалось?

– Да никак особенно, – ответил Равкин. – Просто в тот день, когда старик Кулебякин нашел меня совсем маленького на выгоне, как раз выросла новая зеленая травка. Он взял зеленую краску, другой у него и не было, и написал на загородке:

ТРАВКИН,

но первая доска держалась на одном гвоздике, я взбрыкнул копытом, и она оторвалась вместе с первой буквой, и вместо

ТРАВКИН я сделался РАВКИН.

– Да, очень интересно, – кивнул директор. – Да ты ешь мороженое. Какое ты больше всего любишь? Я – фруктовое.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
– А я еще никогда не пробовал мороженого, – сказал Равкин.

– Да ты что? – изумился директор. – Неужели такие существа на свете бывают? Скорей попробуй, как оно тебе?

Равкин аккуратно положил в рот стаканчик с мороженым и закрыл глаза. Он молчал.

– Ну как оно тебе? – нервничал директор. – Ну что же ты молчишь? Нравится?

Равкин молчал.

– Что, не нравится?

Но Равкин всё молчал. А потом сказал:

– Это, как его, мороженое – просто как музыка во рту. И оно растаяло как музыка, но что-то прекрасное во мне осталось, как остается после музыки.

– Вот именно! Вот именно! – закричал директор, – Возьми фруктовое, розовое, оно имеет отношение к «Венскому вальсу».

И они съели весь ящик мороженого. Обезьянка сидела на шкафу и скалила зубы – ей директор не дал мороженого, потому что у нее вчера болело горло. Она грызла леденцовых петушков вместе с палочками и сердилась.

Когда мороженое было съедено, директор спросил Равкина:

– Ты умеешь бегать по кругу?

– Я никогда не пробовал, так что можно считать, что не умею, – честно признался Равкин.

– А ты умеешь брать барьеры?

– А что это такое? – переспросил Равкин.

– Это значит на полном бегу перепрыгнуть через заборчик, – объяснил директор.

– Этого мне тоже не приходилось делать.

– Так. Танцевать ты, конечно, тоже не умеешь. Это плохо, что ты ничего не умеешь. Но всё-таки пойдём на арену, ты пробежишь кружок-другой, а я посмотрю, как это у тебя получается.

И они вышли на арену. Ах, как понравилась Равкину арена!

Она была посыпана опилками, и пахли они так восхитительно, что Равкин подумал, что сегодня у него самый счастливый день в жизни, потому что он ел мороженое и видел арену цирка, и что теперь весь остаток жизни он будет вспоминать об этом счастливом дне.

– Ну, чего ты мешкаешь, иди сюда и пробеги кружок.

Равкин стал бегать по кругу, пока директор не остановил его:

– Плохо дело. Ты слишком забрасываешь задние ноги при беге и задираешь голову, это никуда не годится. Попробуй теперь взять барьер.

Равкин разбежался и прыгнул. Он прыгнул гораздо выше барьера, но его прыжок был скорее в высоту, чем в длину, и поэтому, когда он приземлялся, задние копыта зацепили барьерчик, и он упал на желтые опилки вместе с барьерчиком.

– Да-а, – задумчиво произнес директор. – Ну просто не знаю, к чему тебя приспособить. Может, ты умеешь ходить на задних ногах?

– Нет. Не умею. Только на передних, – чуть не плача, сказал Равкин.

– Ты хочешь сказать, что умеешь ходить только на всех четырех?

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Нет, я хочу сказать, что я не умею ходить на одних задних, я умею ходить только на одних передних. Да что толку, если нужно как раз на задних...

– А ну покажи, – попросил директор просто так, на всякий случай.

И тогда Равкин задрал вверх задние ноги и пошел не спеша на передних вокруг арены. Он сделал полный круг и остановился возле потрясенного директора.

– Ну, я тебе скажу... – развел директор коротенькими руками. – А что ты еще умеешь делать?

– Да я же говорю, ничего.

– Да, ты говоришь – ничего, а после показываешь такой удивительный номер. Вот я потому и спрашиваю: что еще ты умеешь делать?

– Ничего.

– Ладно. Того, что ты умеешь, вполне достаточно, чтобы взять тебя в цирк.

Равкин опустил от неожиданности на все четыре ноги и тихо сказал:

– Это правда? Ты не шутишь?

– Какие тут шутки! У тебя готовый номер – жеребенок, который ходит на передних ногах. Я ужасно рад, что ты пришел к нам в цирк. Даже если бы ты умел петь романсы или играть на дудочке, я бы не смог обрадоваться больше, чем сейчас! – сказал директор.

– Послушай, но всё-таки немного бы обрадовался? Я ведь немного умею петь и играть на дудочке. Только дудочка осталась дома. Но я могу за ней сбегать!

– На тебе дудочку! – И директор немедленно вынул из кармана деревянную дудочку.

Равкин сел на стул и заиграл. Потом директор взял у него дудочку и заиграл сам. Пожалуй, директор играл несколько лучше, чем Равкин, но зато, когда Равкин запел своим прекрасным голосом романс «Я помню чудное мгновенье», директор прослезился. А когда Равкин дошел до «Я встретил вас», директор попросил немедленно прекратить пение, потому что врачи категорически запретили ему волноваться, а он чувствует себя таким взволнованным, как никогда в жизни.

Директор пожал Равкину копыто, поцеловал в холку и попросил, чтобы он немедленно привел в цирк своих родителей.

– Я приведу кобылу Милу и старика Кулебякина, они у меня вместо родителей, – сказал Равкин и побежал домой, высоко задирая на бегу задние ноги и закидывая голову, но это уже не имело никакого значения. Он был уже принят в цирк!

Когда он прибежал домой, кобыла Мила, как всегда, плакала, на этот раз из-за того, что в комнате не было изгороди, на которую она привыкла класть подушку, прежде чем положить на подушку голову.

Старик Кулебякин вбил гвоздик и повесил на него подушку, но так Миле не нравилось, и она теперь плакала, зачем она допустила такую глупость и согласилась переехать в город.

Кулебякин уже побежал в кафе за булочкой, а по дороге ему еще нужно было раздобыть доску, чтобы сделать на стене полочку для подушки или, может, если Миле не понравится полочка, сколотить загородку, на которую она сможет положить подушку, а уж на подушку – голову.

– Мила! – закричал Равкин с порога. – Меня приняли в цирк! Пойдем скорее к директору, он хочет познакомиться с тобой и с Кулебякиным!

– Ты сошел с ума, я никуда не пойду в таком виде. У меня заплаканные глаза, и вообще я сегодня плохо выгляжу! – отрезала Мила.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru – Мила! – взмолился Равкин. – У тебя всегда заплаканные глаза, и выглядишь ты, по-моему, всегда одинаково. А директор цирка очень хочет с тобой познакомиться.

В это время пришел Кулебякин с доской и булочкой с маком. Равкин ему рассказал всё как было, и Кулебякин страшно обрадовался и начал уговаривать Милу поскорее привести себя в порядок и идти в цирк. Мила наконец пошла в ванную и долго там сморкалась, всхлипывала, причесывалась и пудрилась. Вышла она при полном параде и даже с ленточкой в гриве. Кулебякин и Равкин даже удивились, какая она еще интересная кобыла (откровенно говоря, она была совсем немолодая, ведь двадцать лошадиных лет – это совершенно не то же самое, что двадцать человеческих).

И вот они втроем пошли в цирк: впереди бежал Равкин в кулебякинской кепочке, которую ему Кулебякин на радостях подарил, а позади шли очень интересная кобыла Мила и старик Кулебякин в старой пилотке, которая сохранилась еще с того военного времени, когда он служил в обозе. Вид у них был очень торжественный.

Так и пришли они к директору цирка. Директор ждал их у себя в кабинете, и на столе перед ним стоял полный ящик мороженого. Директор тут же пригласил их к столу – пообедать мороженым. Но кобыла отказалась, сказавши, что любит только булочки с маком и ничего нового никогда не пробует. Равкин наступил ей под столом на копыто и шепнул:

– Мила, попробуй, это мороженое – вкуснее всего на свете!

Но Мила только фыркнула. Кулебякин, напротив, не стал ломаться, а съел четыре стаканчика, запивая лимонадом. Хотя на самом деле пиво он любил гораздо больше, чем лимонад.

Когда они таким образом пообедали, директор объявил очень торжественно, что принимает Равкина в цирк, потому что Равкин умеет делать то, чего ни одна лошадь на свете делать не умеет, и что он восхищен стариком Кулебякиным, который сумел Равкина всему этому обучить. Кулебякин только плечами пожал:

– Да я его ничему и не учил. Наоборот, он умеет делать многое такое, чего я сам не могу. Например, Равкин умеет кувыркаться, а я в силу моего возраста совершенно этого не могу. Или взять шахматы: ведь это Равкин меня научил, и с каким трудом! Откровенно говоря, я так ни разу у Равкина и не выиграл...

Тут Мила фыркнула – она вообще не любила, когда кого-нибудь хвалили:

– Оставь, пожалуйста, Кулебякин, не так уж он хорошо играет. У меня он, между прочим, ни разу не выиграл.

Равкин ужасно смутился. Мила действительно играла в шахматы хорошо, но он никогда не выигрывал просто потому, что не хотел ее огорчать.

Директор тотчас же предложил сыграть партию, и Генриетта достала со шкафа деревянную коробку с фигурами...

Вот и всё. Осталось рассказать немного. Они все живут теперь при цирке. Равкин выступает на арене – он ходит на передних ногах, играет на дудочке, а «на бис» поет романсы. Зрители его обожают, хотя никто не верит, что поет он сам. Все думают, что это транслируют по радио какую-то запись, а жеребенок только открывает рот. Это потому что уж больно хорошо он поет. Для лошади.

Мила во время выступлений непременно сидит в первом ряду с недовольным видом, но аккуратно причесанная и с бантиком в гриве. В свободное от выступлений время она играет в шахматы с директором, но пока что ему ни разу не удалось выиграть. Об этом, конечно, никому не рассказывают, потому что всё равно никто не поверит.

Старик Кулебякин из старой тележки оборудовал настоящий цирковой фургон, обил его парусиной и написал зеленой краской: «Здесь живет знаменитый цирковой жеребенок Равкин, кобыла Мила и старик Кулебякин».

Но Мила, как увидела эту надпись, начала плакать, но ни за что не хотела сказать, чем ей эта надпись так не понравилась. Пришлось закрасить. Получилось большое зеленое пятно.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
В фургон Кулебякин сложил все свои пожитки: ведро, кастрюлю, веник, сломанный телевизор, три подушки, ложку и свои вставные зубы, которые были очень красивые.

Они путешествуют вместе с цирком. Это всех вполне устраивает: Равкина – потому что он стал цирковой лошадей, кобылу Милу – потому что ей всё-таки не надо жить в городской квартире, а старика Кулебякина – потому что ему на самом деле нужно только одно – чтобы всем было хорошо!

История про воробья Антверпена, кота Михеева, столетника Васю и сороконожку Марью Семеновну с семьей
Глава первая

До совместной истории воробья Антверпена, кота Михеева, столетника Васи и сороконожки Марьи Семеновны с семьей у каждого была своя отдельная печальная история. Все они, кроме Марьи Семеновны, были неудачниками. Марья Семеновна была по природе такая скрытная, что про нее вообще ничего не было известно.

Встретились все они в покинутом доме. Люди, которые прежде здесь жили, переезжая на новое жилье, оставили весь свой хлам – сломанные стулья, изношенные ботинки и рваную одежду, старые кастрюли и гору обыкновенного мусора. Словом, оставили всё ненужное. А на окне оставили большой цветочный горшок с прекрасным столетником. Столетник поначалу решил, что хозяева его забыли и вскоре за ним вернуться. Но никто за ним не вернулся, и он остался один-одинешенек в полуразрушенном домике, на щелястом подоконнике, под открытой форточкой. Никто не приходил. Столетник отчаялся ждать и понял, что его бросили.

Прежде он любил наблюдать за людьми, слушал их разговоры, иногда и ругань, теперь жилось ему скучновато, и единственным доступным занятием было чтение. Дело в том, что рядом с ним на подоконнике лежала открытая энциклопедия, тоже совершенно ненужная бывшим хозяевам. Из форточки, которая постоянно была открыта, падали на подоконник снежинки и капли дождя, а порой задувал ветер. Ветер иногда бывал таким сильным, что переворачивал страницы энциклопедии. Это случалось не так уж часто, но каждый раз столетник очень радовался, потому что к тому времени, когда ветер переворачивал очередную страницу, предыдущую он уже успевал выучить наизусть.

В общем, столетник Вася, с тех пор как остался один в покинутом доме, считал себя неудачником.

Глава вторая

Еще одним неудачником был кот Михеев. Он был неудачником от самого рождения: ему не повезло с семьей. Мать его была дворовая кошка, а это совсем не то же самое, что кошка домашняя: ни одна живая душа о ней никогда не заботилась, никто никогда не сказал – надо бы пойти в магазин и купить нашей кошке мороженой рыбки или хотя бы кошачьего корма «Вискас», никто никогда не подумал – что-то блюдечко стоит пустое, не налить ли нашей кошке молока. Про михеевского отца вообще ничего не известно – да и был ли он?

Сам Михеев родился на чердаке. Мать была так невнимательна к сыну, что забыла дать ему имя и называла его просто «котенок». Он ее сосал две недели, потом ей это дело надоело, и она бросила его на произвол судьбы. Всё свободное время мать проводила в обществе несимпатичного и грубого кота. Котенок сам спустился во двор, научился бегать от разных опасностей и рыться в помойке в поисках пропитания.

Ночевал он в подъезде, под дверью на третьем этаже. На двери было написано «кв. 5» и еще «Михеев». Иногда туда приходил почтальон, звонил в дверь и говорил:

– Откройте, пожалуйста, я к Михееву.

«Если на двери написано „Михеев“, значит, я тоже Михеев», – решил котенок. Так котенок перестал быть безымянным.

Дверь открывали, человек Михеев почтальона впускал, а котенка, который тоже был теперь Михеевым, – ни в коем случае. Правда, иногда этот самый человек Михеев оставлял под дверью рыбью головку или старую котлету. Однажды, когда котенок Михеев как раз пристроился под дверью, чтобы закусить кусочком старой колбасы, с чердака спустилась мать-кошка с неприятнейшим котом, и тот выхватил прямо изо рта у котенка только-только начатый кусок и мгновенно проглотил. А мать хоть бы

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru слово сказала в защиту голодного ребенка! Михеев страшно обиделся.

Все мы прекрасно понимаем, что это не очень-то хорошо – осуждать своих родителей, но иногда впадаем в этот грех. И Михеев осудил свою мать, решив окончательно порвать с ней всякие отношения и сменить место жительства. Навсегда!

И он ушел.

Шел он долго, спал под кустами, рылся на помойках в поисках еды, бегал от собак и других опасных животных. В дороге он вырос настолько, что перестал быть котенком и превратился в довольно большого серо-полосатого кота, худого и очень осторожного. Но места, в котором бы его приняли по-братски, всё не находилось.

Глава третья

А теперь – про воробья. В своей воробьиной семье он был самым слабым птенцом – это оттого, что он простудился во младенчестве, всё детство проболел бронхитом и по этой причине был и ростом мал, и перышками жидковат. За постоянный кашель его прозвали Перхачом, и имя это было очень обидным, тем более что у его братьев вообще не было никаких имен и они прекрасно без них обходились. К тому же они были сильные ребята и постоянно лупили и клевали слабого братишку. У них была любимая игра: стоило Перхачу задуматься, как кто-нибудь из братьев подлетал к нему сзади и крепко клевал в затылок. Пока бедняга тряс головой от боли, братья, хохоча, окружали его и кричали хором:

– Угадай, кто тебя клюнул? Угадай, кто? Угадай, кто?

Перхач тыкал наугад в одного из братьев, а они только чирикали и смеялись:

– Не я! Не я!

Их, сильных, было много, целая толпа, а он, слабый Перхач, – один, и потому он держался от них подальше.

Однажды Перхач улетел от братьев на школьный двор, сел на школьный подоконник, пригрелся на солнышке и вдруг услышал, как учительница географии рассказывает ребятам о дальних странах. Речь шла об Антверпене, городе в Бельгии, о его гаванях, баржах, биржах и башнях.

«До чего же красивое слово „Антверпен“! – подумал Перхач. – Если бы меня звали Антверпеном, я был бы самым счастливым воробьем на свете. А с именем Перхач просто жить невозможно!»

И тут его осенило: он улетит куда-нибудь далеко-далеко и в новых местах назовется новым именем – Антверпен! И никто никогда не узнает его прежнего имени.

Он вспорхнул и, не попрощавшись с братьями, полетел в новые далекие края. Он летел часа два, весь вспотел. Его слабые крылья устали, и к вечеру он приземлился возле полуразвалившегося домика, одиноко стоящего на пустыре. Место было незнакомое, совершенно новое и уж точно очень далеко от дома.

«Здесь я и поселюсь, – решил воробей. – Надо только найти, кому я могу сказать, что меня зовут Антверпен». Он покрутил головой направо-налево, но не обнаружил никого, кому мог бы об этом сообщить. Тут он заметил, что форточка в доме приоткрыта, и влетел в комнату. На первый взгляд там никого не было.

– Здравствуйте! – сказал воробей на всякий случай. – Есть здесь живая душа?

Он не рассчитывал на ответ, но, как ни странно, его услышали. Раздался тихий голос:

– Здравствуйте. Меня зовут Вася. Очень приятно познакомиться.

Воробей не понял, откуда раздался этот голос. Он покрутил головой и спросил:

– А где вы, Вася?

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
– Я стою на подоконнике.

На подоконнике стоял глиняный горшок со столетником и лежала толстая книга – и больше ничего. Воробей сел на подоконник и стал заглядывать во все щели, но никого, кто мог бы подавать голос, не обнаружил.

– Это я с вами разговариваю, я – столетник Вася.

– Первый раз слышу, чтобы растения разговаривали! – изумился воробей.

– Я очень давно живу на этом подоконнике, практически один. И от одиночества я научился читать и разговаривать. Правда, разговаривать не с кем. В дальнем углу живет сороконожка Марья Семеновна, но она неразговорчива. А вас как зовут?

Наступил важнейший момент: у бывшего Перхача спросили, как его зовут.

– Меня зовут... – от волнения воробей даже запнулся, – Антверпен.

Итак, началась новая жизнь. Столетник качнул верхним листом и тихо сказал:

– Какое красивое имя!

И тут воробей страшно раскашлялся. То ли, пока летел, простудился, то ли под форточкой прохватило холодным воздухом, но, кажется, он опять заболел бронхитом.

– Ах ты, господи, как расперхался! – посочувствовал воробью столетник Вася, а у бедного воробья просто дыхание перехватило: ну вот, сейчас столетник скажет, какой, мол, из тебя Антверпен, ты самый настоящий Перхач! И тогда всё пойдет насмарку, придется опять начинать жить сначала, опять лететь далеко-далеко и снова искать, кому бы представиться: не так уж часто спрашивают у воробьев, как их зовут.

Но Вася ничего такого не сказал, он сказал другое:

– Давай я тебя подлечу. Я ведь, в сущности, лекарственное растение. Отщипни немного от моего нижнего листа и пополющи горло моим соком. И ты сразу выздоровеешь.

– А тебе не будет больно? – спросил Антверпен.

– Немного больно, но я потерплю.

– Спасибо тебе, Вася, – поблагодарил Антверпен и отщипнул немного от листа. Сок оказался невероятно горьким, но кашель сразу же прошел.

– Я буду рад, если ты останешься здесь жить. Останься, пожалуйста, – попросил Вася.

И воробей конечно же немедленно согласился.

– В этом доме, когда здесь еще жили люди, держали чижа в клетке. Поищи, она стояла на полке, – сказал Вася.

Действительно, на полке стояла клетка. Она была без дверцы, но это было как раз кстати: ведь Антверпен не собирался держать себя взаперти. Зато как приятно иметь крышу над головой – сидеть в своем собственном доме, который, в свою очередь, тоже стоит в собственном доме, а рядом такой приятный сосед!

Глава четвертая

Так они зажили вдвоем, потому что Марью Семеновну тогда еще можно было не считать, – и зажили очень дружно. Антверпен каждое утро улетал подкормиться и попить и никогда не забывал принести в клюве водички, чтобы полить Васю. Конечно, во дворе домика стояла бочка, в которой скапливалась дождевая вода, но для питья она не очень-то годилась, поскольку дождей давно не было и старая вода в бочке зацвела. Не говоря уже о том, что до той воды Васе было не дотянуться. Пока Антверпен не появился в доме, Вася часто страдал от жажды: лишь изредка в открытую форточку капал дождь. Но это случалось слишком редко, и потому Вася рос

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
медленно: без воды растения – даже если они родом из пустыни и умеют очень экономно расходовать влагу – очень плохо себя чувствуют. Теперь, благодаря Антверпену, Вася от жажды больше не страдал.

Со своей стороны, Вася совершенно излечил Антверпена от кашля. Первое время у воробья иногда случались простуды и бронхиты, но сок столетника быстро ему помогал. Оба они окрепли – Вася от регулярного полива, а Антверпен от целебного сока.

К тому же Антверпен каждое утро, перед тем как улететь на промысел, перелистывал страницу энциклопедии, и Васе не надо было ждать, пока случайное дуновение ветра откроет перед ним новые знания.

Однажды вечером, когда Антверпен уютно уселся прямо на краю Васиного горшка и Вася рассказывал ему, как устроена электрическая лампочка, а об этом он как раз накануне прочитал в энциклопедии на букву «Э», кто-то заскребся в дверь.

Естественно, это был кот Михеев.

Дверь скрипнула, и они услышали довольно робкий голос:

– Можно войти?

Прятели замерли: к ним в дом никто не ходил. Воробей посмотрел на Васю, Вася качнул верхним листом, и они отозвались:

– Пожалуйста, пожалуйста.

И вошел кот Михеев.

Тьма была кромешная, и хотя кошки отлично видят в темноте, Михеев никого не увидел, как ни пялился по сторонам.

– Здравствуйте, – на всякий случай поприветствовал Михеев невидимок.

– Здравствуйте, – услышал Михеев двухголосый ответ и удивился, увидев сидящего на цветочном горшке одного-единственного воробья. Он говорил как будто за двоих.

– Не пустите ли вы меня переночевать? Только на одну ночь. Я одинокий путник и очень устал, – произнес кот неуверенно.

– Какой воспитанный кот! – шепнул Антверпен Васе.

Но у кота было не только отличное зрение – слух тоже был отменный, он услышал это замечание и сразу же возразил:

– Ну что вы! Какое там воспитание! На помойке вырос! Практически сирота!

– Заходи, раз сирота, – обрадовался Антверпен, вспомнив своих драчливых братьев.

Знакомство состоялось. Антверпен во второй раз в жизни, опять не без удовольствия, представился, а Вася обрадовался, что у него появился еще один слушатель.

– Вы хотите сразу лечь спать или послушаете, как устроена электрическая лампочка?

Михеев, страшно уставший с дороги, очень изумился:

– А можно я прилягу и послушаю про лампочку лежа?

Михеев осмотрелся, углядел своим ночным зрением старое пальто в углу комнаты и лег на нем, растянувшись с полным комфортом. «Наверное, мне всё это снится», – подумал он перед тем как заснуть по-настоящему. И уснул на целых двое суток.

Глава пятая

Кота Михеева сразу же, как он проснулся, приняли в свою компанию, и Михеев в первый раз в жизни почувствовал, что находится в приличном обществе. Про воробья

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru он думал, что тот очень знатного происхождения, потому что у него такая красивая фамилия. Но тут он был не прав, потому что Антверпен было его имя, а не фамилия, – фамилии у воробья вовсе не было, в отличие от Михеева, у которого, наоборот, фамилия была, а не было имени.

Васи кот сначала немного стеснялся – уж больно столетник был образованный и умный. Сам-то Михеев знал всего пять букв – М, И, Х, Е и В. Кроме того, он даже не знал, сколько именно букв он знает, потому что считать он умел только до четырех, оттого что лап у него было четыре. Он полагал, что знает четыре буквы и еще одну.

Постепенно Михеев пообвык, перестал стесняться и даже попросил Васю научить его грамоте, и Вася немедленно приступил к занятиям. К сожалению, дела шли не очень хорошо. Может, Михеев был не очень способным учеником, а может, Вася был не очень хорошим педагогом. Грамота продвигалась плохо, а вот зажили они очень дружно. Вася, как мог, занимался образованием Михеева и Антверпена, учил их всему, что прочитал в энциклопедии, и лечил, когда была нужда, своим горьким соком.

Антверпен по-прежнему носил для Васи воду в клюве, а Михеев навел в доме чистоту и порядок – кошки по природе очень чистоплотны! – и, к большой Васиной радости, разыскал в чулане самовар, начистил его и поставил на стол. С тех пор они каждый вечер проводили не на подоконнике, а за столом – пили чай. При этом Михеев очень аккуратно и почтительно переносил Васю вместе с его горшком и ставил на почетное место во главе стола – около самовара. А рядом он ставил клетку, в которую залетал Антверпен, садился на жердочку и чирикал что-нибудь веселенькое.

После чая Михеев ложился на спину, выпячивал свой белый живот, а Антверпен выклевывал из шерсти блох, приговаривая:

– Маловаты блошки, зато как вкусны!

Глава шестая

Так они жили. Иногда по ночам кот слышал какие-то вздохи и шорохи в дальнем углу, но не обращал на них внимания. Однажды ночью кто-то особенно развздохался и расстонался. «Это, наверное, Марья Семеновна, – догадался кот. – Видно, заболела. Надо дать ей завтра каплю Васиного сока».

Вскоре вздохи и стоны сменились страшной возней, потом раздался писк, шебуршание и еще какие-то непонятные звуки. В конце концов все услышали громкий шепот Марьи Семеновны:

– Не расползайтесь! Вы потеряетесь! Вы пропадете! Вас поймают кот! Вас съест воробей!

Возня не прекращалась до самого утра, а утром оказалось, что дом полон маленькими сороконожками. Они были необыкновенно подвижные, очень симпатичные, с блестящими глазками и пухлыми младенческими ножками. Наконец-то удалось разглядеть как следует и самое Марью Семеновну, которая до этого момента и носа не высывала из своего угла. Она оказалась простоватой робкой особой, к тому же довольно неповоротливой, несмотря на все свои многочисленные ножки. Теперь ей приходилось носиться по всей комнате, собирая деток в кучу. Время от времени раздавался чей-нибудь оглушительный рев. Они были еще глупенькие, постоянно падали, ушибались, где-то застревали. Один малыш залез на циферблат сломанных часов-ходиков, уцепился за минутную стрелку, и часы вдруг пошли, к восторгу малыша. Он целый час катался на минутной стрелке, прокрутился полный оборот, а потом одна из его ножек застряла между стрелкой и циферблатом, и он поднял дикий рев. Марья Семеновна впала в панику, кинулась на стену, но никак не могла взобраться, несколько раз падала со стены.

Когда Антверпен подлетел к часам, чтобы снять малыша, она заорала не своим голосом, испугавшись, что воробей склюет ее непутевого сыночка. Малыш при этом, не замолкая ни на минуту, орал тонким голосом.

Только утешили одного, как второй провалился в щель между половыми досками, и Михееву пришлось его оттуда выковыривать длинными когтями. Одна парочка не переставая колотила друг друга. Четверо самых рослых затеяли на столе играть в

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya.ludmila.ru
футбол сухой горошиной и гоняли ее до тех пор, пока один дурачок не свалился со стола и не сломал сразу четыре ножки. Пришлось его лечить Васиным соком. Надо сказать, что Вася и прежде был безотказен, по первой необходимости предоставлял свой толстый лист для медицинских целей, но с тех пор как у Марьи Семеновны появились дети, ему всё чаще приходилось расставаться с листочками.

От этого детского сада все сбились с ног, а у Васи даже начались головные боли. Правда, он точно не мог сказать, где именно его голова находится. Где-то в районе верхних листьев.

Малыши быстро съели всё съедобное, что обнаружили в доме, и вопили от голода. Марья Семеновна оказалась совершенно не приспособленной к жизни: прежде у нее никогда не было детей, и она не знала, как и чем их кормить. Михеев схватил бидон и побежал за молоком – неизвестно куда. Уходя, он проворчал:

– Я бы лишил ее материнства! Какая беспомощность! Безобразие!

Часа через два он пришел, страшно усталый, весь в пыли, но с полным бидоном молока. Он налил молоко в блюдечко, и малыши накинулись на еду, отталкивая друг друга ногами.

– А ну по очереди! – прикрикнул Михеев.

Как ни странно, малыши его послушались. Марья Семеновна смотрела на кота с восхищением, потом подошла к нему и тихо-тихо прошептала:

– Большое вам спасибо, Михеев, вы меня так выручили! Я и не знала, что вы такой добрый. Я вас всегда так боялась.

И заплакала. А Михеев отвернулся и пробормотал в сторону:

– Да ничего, ничего, пустяки. Я детей люблю. У меня у самого было такое тяжелое детство... – И вздохнул.

Маленькие сороконожки немедленно вылакали всё молоко, животы у них раздулись, ножки ослабели, и они вповалку заснули тут же, около блюдечка.

«Ну, просто как котята», – подумал Михеев.

Глава седьмая

В домике опять началась совершенно новая жизнь. Михеев нанялся охранять амбар от мышей в соседней деревне – за это ему наливали каждое утро бидон молока. Антверпен целый день нянчился с малышами. Ему приходилось по двадцать раз на дню спасать из беды то одного, то другого. Кроме того, он должен был успеть слетать за водой для себя и Васи, а по дороге еще и склевать несколько зернышек, подкормиться. Он похудел и выглядел озабоченным.

Помимо молока, детки любили и всякую другую пищу, которая попадалась.

Не просили есть они только в двух случаях: пока жевали и когда спали. Мама-сороконожка разрывалась на части между шитьем и поисками пищи. Она сшила Антверпену рюкзачок, и теперь Антверпен тоже без корма для детей домой не возвращался. Он собирал зернышки и варил из них детям кашу на молоке. Все выбивались из сил. Марья Семеновна говорила, что просто погибла бы, если бы не помощь друзей.

Конечно, ей доставалось больше всех: ей надо было всех умыть, причесать, уложить спать, а они были такие непослушные, что нельзя было сказать, что кто-то из них особенно плохо себя ведет – все они вели себя только плохо.

Кроме того, они были совершенно неотличимы, и это создавало для воспитания большие сложности. Если провинившегося сразу не схватить за шиворот и не наказать немедленно, он убежал, и разыскать его среди братьев было совершенно невозможно. Только по штанам. Марья Семеновна специально шила для них разного цвета штаны, но дети вырастали слишком быстро, и Марье Семеновне приходилось целыми днями шить. И хотя Марья Семеновна шила одновременно двадцать пар – каждой парой своих своих ножек по паре штанов, – всё равно несколько ребятишек оказывались голозадыми.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Столетник Вася был озабочен воспитанием больше всех, он чувствовал, как глава дома, ответственность за всю эту семью. В энциклопедии, которую он прочитал от корки до корки, была всего одна статья по педагогике, он знал ее наизусть, но этого было явно недостаточно. Он чувствовал пробел в своем образовании. Действительно, какое имеет значение, если ты знаешь, как устроена электрическая лампочка, почему летает самолет и что такое обмен веществ, но не можешь объяснить ребенку, почему не надо есть кашу восемью ногами сразу.

«Необходимо достать такую книгу, в которой написано, как воспитывать детей, – решил Вася. – Я буду читать ее по вечерам вслух, ведь все мы – я сам, Антверпен и Михеев – существа холостые и бездетные, а Марья Семеновна в воспитании ничего не смыслит, хотя и многодетная мать, и в результате малыши не получают никакого воспитания или, что еще хуже, получают неправильное воспитание».

От этой мысли Вася даже вспотел.

«Необходимо добраться до библиотеки, – думал он. – Я, как существо сидячее, этого сделать не могу. Антверпену не дотянуть толстой книги, даже если он ее и найдет. Михеев необходим здесь, в доме, потому что он приносит в дом молоко. Придется послать за книгой Марью Семеновну».

Вечером, когда дети уснули, взрослые устроили родительское собрание, на котором Вася изложил все свои соображения. Все с ним согласилось. Кроме Марьи Семеновны, которая поначалу пыталась возражать, что, мол, ее воспитывали без книг и ничего плохого не случилось. Но Вася на это твердо возразил:

– Если бы вас, Марья Семеновна, воспитывали по книгам, может быть, ваши малыши лучше вас слушались бы!

Марье Семеновне пришлось признать, что дети ее не слушаются. Михеева маленькие сороконожки уважали за молоко, Антверпена побаивались за крепость желтого клюва, который, впрочем, он никогда не пускал в дело, к Васе проявляли полное равнодушие за его сидячий образ жизни, а мать действительно ни в грош не ставили.

Наутро Марья Семеновна встала раньше всех и тихонько, чтобы не разбудить малышей, собралась в город, в библиотеку. Ползла она не очень быстро, дорога была ей незнакома, путешествие обещало быть долгим и трудным.

Глава восьмая

Малыши, проснувшись, отсутствия матери не заметили, съели большую кастрюлю каши, чуть не утопив при этом одного из братьев в кастрюле. Съевши кашу до дна, они хорошенько облизали и братца. Потом они выползли из дома, и сколько им Вася со своего подоконника ни кричал вдогонку, что надо умыться и почистить кастрюлю, ни один не обернулся. Одни легли на самом пороге, на солнышке, другие расползлись по дорожкам. Некоторые остались дома: немного играли, немного дрались.

После утомительной ночной работы пришел Михеев с бидоном молока.

Молоко ему не задаром досталось: он ни минуты не спал всю ночь, охраняя от мышей амбар.

Михеев поставил бидон на стол и пошел спать. Всё последнее время он недосыпал, а для котов недосыпание хуже, чем недоедание.

Только кот забрался на печку, сороконожки влезли на стол и устроили около бидона возню: одни хотели его подвинуть, другие – наклонить, третьи влезли на ручку бидона и повисли на ней, как гроздь винограда. Бидон немного покачался и опрокинулся. Сороконожек это нисколько не огорчило, они стали пить молоко со стола, купаться в нем, брызгаться, а один, самый умный, соображал, как бы запустить в молочной луже кораблик с белым парусом...

Вася на окошке напрасно надрывался – его не слышали. Шум, поднятый сороконожками, разбудил Михеева. Он страшно огорчился, увидев пролитое молоко, хотел задать им трепку, но вспомнил о своем несчастном детстве и сдержался.

– Ты, Васенька, прав, без книжки тут не обойтись, – сказал он столетнику. –

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Раньше они меня хоть немного слушались, а теперь подросли и совсем перестали...

И Михеев принялся за уборку. А сороконожки побежали во двор и помогать не стали.

Дело шло уже к вечеру, а Антверпен, улетевший рано утром за зерном на дальнее поле, всё не возвращался. Дети требовали каши, Михеев накормил их какими-то домашними остатками и уложил спать. Теперь Михеев и Вася очень беспокоились, не случилось ли с Антверпеном чего плохого. До самого утра просидел Михеев на подоконнике рядом с Васей, глядя в темное окно. Ни Марьи Семеновны, ни Антверпена.

«Погиб, погиб наш друг», – совсем уж было отчаялись Вася с Михеевым.

Но Антверпен не погиб, хотя неприятность действительно случилась. Он набил полный рюкзачок зерном, хотел взвалить его себе на спину, но сделал неловкое движение и вывихнул крыло. Лететь он теперь не мог. Он, конечно, давно бы добрался до дома, если бы был порожняком, но ему было жаль бросить набитый зерном рюкзачок, поэтому он еле-еле ковылял по дороге, толкая перед собой зерно для сороконожек. Только к вечеру следующего дня добрался он до дому. Он был весь в пыли, крыло волочилось по земле, клюв раскрыт, он еле дышал.

– Живой, голубчик ты наш! – прошептал Вася.

Михеев, втянув поглубже свои острые когти, прижал друга к груди. Кошачье и воробьиное сердца бились в лад.

А жестокосердые сороконожки, поужинав, продолжали свои мелкие драки и глупые игры и на чужие страдания не обращали никакого внимания.

Вася и Михеев принялись за лечение Антверпена. Вася велел аккуратно отрезать самый толстый из своих листков и привязать к больному крылу. Михеев растопил печь и поставил на нее ведро с водой из бочки, чтобы обмыть Антверпена – у него от пыли и грязи все перья слиплись. Когда вода закипела, случилось еще одно несчастье: Михеев поскользнулся на яблочной кожуре.

Обычно все поскользываются на банановой кожуре, в крайнем случае на апельсиновой, но где их взять в нашей средней полосе, где не растут ни бананы, ни апельсины, а до магазина очень далеко. С яблоками дело тоже обстояло не блестяще, но как раз накануне Михеев сам же побаловал деток и принес полтора килограмма яблок белый налив. Вот сороконожки и разбросали по полу яблочную кожуру – другой-то не было.

Так и произошло несчастье: Михеев поскользнулся, кастрюля с кипятком выпала из его лап, и он обварился с ног до головы. Он издал дикий вопль и запрыгал по всему дому от ужасной боли.

Теперь, когда Михеев нуждался в лечении гораздо больше, чем Антверпен, воробей совершенно забыл, как отвратительно он чувствовал себя всего минуту тому назад. И он взялся за лечение кота: растопил чистую простыню, уложил на нее стонущего Михеева и стал его обмазывать соком столетника. Вася только подставлял всё новые и новые листики, чтобы воробей их отклеивал и прикладывал к ожогам. И всю эту процедуру Антверпен проделал героически – одним крылом. Второе, с компрессом из Васиного сока, бессильно болталось и только мешало ему.

Вася, сидя в своем горшке, не мог сдержать слез и причитал не переставая – за что ему такое несчастье, почему он родился жалким растением, у которого нет ни рук, ни ног, чтобы помочь своим друзьям в беде. Друзья утешали его как могли: Антверпен говорил, что не встречал ни среди животных, ни среди растений такого образованного и такого благородного существа, а Михеев сквозь стоны слабым голосом сказал, что он особенно любит его именно за то, что он растение и что его зеленый цвет такого редкого и прекрасного оттенка, какой не встречается у птиц и животных, даже у африканских: у лягушек, к примеру, противный грязноватый оттенок, а зеленая окраска попугая нестерпимо вульгарна.

Антверпен тем временем отклеивал от Васи по листику, пока не обнаружил, что от столетника почти ничего не осталось: всего один маленький лист торчал из земли!

Неумытые сороконожки, оставшись без надзора взрослых, заснули прямо на столе,

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru среди грязной посуды..

Глава девятая

Мальши проснулись и подняли страшный шум – просили есть. Михеев был так измучен ожогами, что и хвостом шевельнуть не мог. Антверпен закричал в своей клетке и вылез, волоча больное крыло, чтобы приготовить завтрак. Молока не было. Но рюкзак с зерном стоял у двери, и на несколько дней еды сороконожкам должно было хватить. Пока воробей, шатаясь от слабости, варил детям кашу на воде, они дружно били ложками по столу и кричали: «Каша! Каша! Каша!»

Антверпен, из последних сил мешая кашу, обратился за помощью к другу:

– Вася, объясни им, пожалуйста, что сырые зерна вредны для детского пищеварения.

Антверпен обернулся к Васе, чтобы получить от него поддержку, но – о боже! – Васи в горшке не было. Почти не было.

Вместо пышного зеленого куста в горшке торчал один-единственный, усохший за ночь листик.

– Погиб! – завопил Антверпен. – Вася погиб! Вася засох! О горе! Он отдал все свои прекрасные, толстые, здоровые листики, чтобы вылечить Михеева, а себе для жизни оставил один-единственный листик, и теперь он погиб! Умер бедный наш друг!

Михеев заплакал на печке. Но он был так слаб, ожоги вызывали такую ужасную боль, что он не мог встать.

– Он умер, – сказал один из малышей.

– Надо посмотреть, как это, – сказал другой.

Один за другим они влезли на подоконник и заглянули в горшок: вместо могучего рослого столетника с множеством толстых листьев в середине горшка торчала какая-то сухая закорючка.

Горько плакал Михеев, облепленный целебными листьями.

– Он умер из-за меня! Он отдал все свои листья, чтобы залечить мои раны!

Антверпен хотел сказать что-то утешительное, но ему ничего не приходило в голову.

Зато один из малышей, наверное, самый смелый, сказал:

– Не плачь, Михеев. Он умер из-за нас. Ты не виноват. Это мы нарочно разбросали яблочную кожуру, потому что хотелось посмотреть, как ты шлепнешься.

– Это ты хотел, чтобы Михеев шлепнулся? – спросил Антверпен у самого смелого, но он сразу же пискнул: «Не я!» – и спрятался среди братцев и сестер. – Так кто же из вас хотел, чтобы Михеев шлепнулся? – спросил пораженный Антверпен.

Мальши закричали вразнобой:

– Не я! Не я! Все хотели! Никто не хотел! Все! Мы все кидали кожуру! Я не кидал! Ты кидал! Мы все кидали!

«Как они напоминают мне моих братьев, – подумал с грустью Антверпен. – Такая же злая толпа».

– Не ругай их, Антверпен. Это несчастный случай, и я виноват во всем сам. Бедный наш Вася! – прошептал с печи Михеев слабым голосом.

– Только не умирай, – взмолился Антверпен. – Прошу тебя, не умирай.

– Если я умру, похорони меня рядом с нашим другом Васей, – раздался с печи голос Михеева.

– Тогда я и сам умру от горя! – воскликнул Антверпен.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

И тут раздался дружный рев малышей-сороконожек.

– Но мы не хотим, чтобы все умерли! – закричал один.

– А кто принесет нам поесть? Антверпен, не умирай! – закричал второй.

– А кто принесет молоко? Михеев, не умирай! – закричал третий.

– Мы больше не будем разбрасывать яблочную кожуру! – закричал четвертый.

– И вообще – где наша мама? – заплакал пятый. И тут все они вспомнили, что давно не видели маму Марью Семеновну. И подняли такой крик, какого еще никто не слышал. Они пищали, скулили, ревели, рыдали и выли. Они не вспоминали про маму все эти дни, но вдруг оказалось, что она им очень нужна.

А мама Марья Семеновна уже неслась на всех сорока ножках по дорожке к дому на предельной скорости. На спине она тащила огромную толстую книгу, на которой было написано: «Как воспитывать непослушных детей». И к дому она поспела как раз в ту минуту, когда вопли ее детей достигли предельной громкости.

– О боже! – тихо произнесла Марья Семеновна. – Что тут происходит?

Дети облепили ее со всех сторон, тянулись к ней всеми своими ножками и мордочками, чтобы поцеловать измученную длинной дорогой и тяжелой поклажей маму.

– Ужасные новости! Умер Вася! Михеев обварился кипятком и тоже собирается умирать! И Антверпен обещал умереть! Мамочка! Как хорошо, что ты пришла!

Глава десятая

По настоянию Марьи Семеновны останки Васи вместе с цветочным горшком похоронили прямо во дворе. Зарыли в землю и сверху насыпали могильный холмик. Книгу по педагогике положили на подоконнике рядом с энциклопедией, но – увы! – никто теперь не мог прочитать столь нужную книгу: Антверпен не успел научиться читать, а Михеев, хотя и знал пять букв, но этого было явно недостаточно. Не говоря уже о том, что он лежал на печи и стонал – ему было всё хуже и хуже.

И тут Марья Семеновна проявила неожиданную сообразительность и твердость характера – собрала всех своих детей и сказала им буквально следующее:

– Михеева надо лечить. Васи теперь нет с нами, но вокруг нашего дома несметные заросли ромашки, а ромашка, как говорил Вася, растение лекарственное. Так что все быстро за дело – собирать ромашки!

Конечно, в это трудно поверить: маленькие сороконожки бросились со всех ног на промысел. За час они набрали целую кастрюлю цветков. Марья Семеновна с Антверпеном приготовили отвар и сделали Михееву огромный компресс на голову, на спину, на живот, на все четыре лапы и на хвост. И Михееву стало чуть-чуть лучше. Утром сороконожки снова набрали кастрюлю ромашки, и снова было сварено лекарство и сделан новый компресс, и Михееву стало еще немного лучше...

К счастью, пошли дожди, и теперь Антверпену не надо было далеко летать за водой, потому что бочка наполнилась свежей водой, она вполне годилась и для компрессов, и для питья.

К концу недели Михеев спустился с печи. Выглядел он ужасно: старая шерсть почти вся сошла, а новая только пробивалась.

Но уже было видно, что новая шерсть вырастет и лысым на всю жизнь он не останется. Первый день он ходил по дому, а на второй вышел за порог – взглянуть на могилу Васи. Утирая скупые кошачьи слезы, Михеев подошел к могильному холмику...

Хотите – верьте, хотите – нет! В это действительно трудно поверить: в самой середине могильного холма вырос маленький столетник!

– Вася! – воскликнул Михеев. – Ты ли это?

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
– Уа! Уа! – раздалось в ответ.

Антверпен, у которого только-только начало заживать вывихнутое крыло, от неожиданности взлетел на забор.

– Это Вася! – чирикнул он. – Вася снова вырос!

– Уа! Ва-ва! – пролепетал маленький столетник.

Прибежали все сороконожки во главе с Марьей Семеновной и подняли радостный крик:

– Вася! Наш Вася не умер! Он вернулся!

– Всё дело в корешке, – объяснил Михеев. – Он же растение, и он снова вырос из старого корешка. Как хорошо быть растением!

– Вася! Мы больше не будем разбрасывать яблочную кожуру! – дружно закричали сороконожки.

– А-гу! Гу-гу! Ку-ку! – согласилось растение. Этот новый столетник был, несомненно, Вася, но только не прежний мудрый и добрый Вася, а младенец.

Михеев поглаживал растение своей не совсем еще зажившей лапой:

– Мы тебя любим, Вася! Пожалуйста, вырастай поскорей! Ну, скажи: «Ва-ся»!

– Уа-уа! – заплакал маленький столетник.

– Он хочет пить, – догадался Антверпен. И все бросились поить Васю: Антверпен принес воды в клюве, Михеев поливал из бидона, а сороконожки выстроились друг за другом и протянулись цепочкой от верха бочки прямо до бывшей могилы, которая теперь была уже не могилой, а обыкновенной клумбой. Они передавали кружку воды – из ножек в ножки – и почти ничего не проливали по дороге.

До самого вечера, прервавшись лишь на обед, они поливали маленького Васю, и он рос прямо на глазах. К вечеру он вырос в два раза и сказал свое первое слово. Оно звучало странно:

«Па-би-бо!»

Глава последняя

Уложив сороконожек спать, Михеев и Антверпен уселись на подоконнике, где лежали две толстые, никому не нужные книги, и тихо беседовали.

– Какого друга мы потеряли, – с грустью заметил Антверпен. – Он был так умен, так образован, а теперь у нас еще один ребенок на руках.

Антверпен вспрыгнул на лежащую книгу, клюнул несколько раз в название.

– И теперь мы никогда не узнаем, как правильно воспитывать трудных детей.

– Не знаю, не знаю, – загадочно улыбнулся Михеев.

Известно, что кошки большие мастера на загадочные улыбки. Тут подала из своего угла голос робкая Марья Семеновна:

– А если бы вы знали, как тяжело было тащить эту книгу на спине. И как жаль, что мы никогда не узнаем, как воспитывать трудных детей.

Антверпен ее поддержал:

– А подростки? Когда они станут подростками, мы с ними вообще не справимся, они пойдут по дурному пути, начнут курить и бросать окурки и пустые бутылки на землю, ездить на мотоцикле без глушителя, обижать слабых и – не дай бог! – ненавидеть всех, у кого нет сорока ног, например, воробьев, кошек, столетников! Не правда ли, Михеев?

А Михеев сидел, молчал и продолжал загадочно улыбаться, как будто он знал что-то

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru такое, что известно ему одному. Так оно и было: ему пришла в голову мысль, что хорошая книжка делает свое дело, даже если ее некому прочитать. Но он пока решил ничего не говорить об этом своем соображении другу Антверпену, а еще немного подождать.

Ждать пришлось совсем недолго. На следующее утро сороконожки первым делом побежали смотреть на Васю. Он за ночь еще немного подрос, а когда они к нему подошли, он прошептал очень тихо и не очень разборчиво: «Здравствуй-те!»

Сороконожки снова выстроились друг за другом от верха бочки до клумбы и опять начали поливать Васю из кружки.

Днем Михеев подошел к Васе, понюхал его, погладил лапкой, на которой отрастала очень успешно новая шерсть, пошептал ему что-то и ушел вполне довольный. В этот день он решил, что уже окончательно окреп. Под вечер он взял пустой бидон для молока и пошел на работу.

История, в сущности, близится к концу: через неделю Вася вырос до взрослого состояния, он вспомнил почти всё, что с ним происходило в прошлой жизни, когда он был старым столетником и стоял на подоконнике. Теперь он был снова молодым. Хотя одно его удивительное качество не восстановилось: читать он теперь не умел.

За то время, пока маленькие сороконожки поливали Васю, помогая ему вырасти, они сами повзрослели и поумнели и даже стали сомневаться в том, стоит ли разбрасывать яблочную кожуру.

Настал момент, когда Михеев высказал вслух мысль, которая пришла ему в голову, когда он сидел с Антверпеном на подоконнике, а Вася был младенцем: хорошая книжка делает свое дело, даже если ее некому прочитать.

Этой мыслью он поделился с Васей, и Вася с ним в принципе согласился. Тем более что к этому времени он уже выучил все буквы и не терял надежды снова научиться читать.

А у Антверпена тоже возникла своя собственная мысль, касающаяся воспитания. Она была короткой, как воробьиный нос: у каждого существа должно быть имя! Хорошее, правильное имя. Как у него самого. Пока он был Перхач, дела его шли плохо, а когда он стал Антверпеном, всё пошло на лад. Следовательно, надо исправить упущение неопытной Марьи Семеновны – немедленно придумать имена всем ее детям. Мысль эта всем чрезвычайно понравилась, и в первую очередь самим сороконожкам. Оставалась одна нерешенная проблема: откуда брать имена? Тогда Вася поднатужился и вспомнил, как складывать буквы в слова. На новое освоение чтения у Васи ушло два дня: оцените его огромный талант!

Через два дня утром Вася попросил, чтобы его с клумбы перенесли на подоконник. Там он открыл энциклопедию и начал читать заглавия всех статей от А до Я. Сороконожки выбрали себе имена по вкусу: Абельяр, Авраам, Агат, Аритмия, Афина Паллада и так далее – до Японии. И какое же это было счастье!

Конечно, они по-прежнему были очень похожи друг на друга, но теперь у каждого было свое собственное имя, и теперь они называли друг друга очень торжественно: брат Агат! сестра Япония! Больше всех радовался Вася, который достиг своей прежней мудрости. Последнее его высказывание как раз и свидетельствует о том, насколько он умен. А сказал он следующее:

– Дорогие мои Абельяр, Авраам, Агат, Аритмия, Афина Паллада... и так далее до Японии! Уважайте свое имя! Существа, которые уважают свое имя, не разбрасывают яблочную кожуру по полу, не швыряют окурки и пустые бутылки на землю, не гоняют на мотоцикле без глушителя, не обижают слабых и любят всех, даже тех, кто на них несколько не похож, например воробьев, кошек и столетников! А те, кто своего имени не уважает, составляют дикую толпу, которая разбрасывает яблочную кожуру и так далее и тому подобное отсюда и до самой Японии!

Какая мысль!

Михаил Горелик. Истории про...

Мышиный апокалипсис

«История про кота Игнасия, трубочиста Федю и Одинокую Мышь». Почему в названии

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
нет таракана? Таракан важен, не говоря уже о том, что он забавен и мил, все перечислены, он нет, за что такое изъятие?

История начинается с семейного контекста – классическое начало, фирменный прием Улицкой: не сама по себе, не в капусте нашли, не из банной сырости, исторически укоренена, маленький листок обильно-лиственной кроны.

У мышей, как всем известно, очень большие семьи. У каждой мыши, кроме многочисленных братьев и сестер, кроме родителей, бабушки и дедушки, есть еще пять-шесть поколений живых предков.

Пять-шесть поколений живых мышиных предков – профессиональное замечание, биофак, опыт университетских лабораторий, привет из юности, не то что бы с регулярной постоянностью, но время от времени вдруг дает о себе знать, Одинокая Мышь в известном смысле мышь лабораторная, то есть определенно, определенно лабораторная.

Пращур нашей героини по отцовской линии пожаловал в Москву в наполеоновском обозе, во время пожара в Первопрестольной спас из Покровского собора бедную церковную мышь, женился на ней, зажил размеренной жизнью московского обывателя, обрусел, не утратив однако парижского шарма, наплодил неисчислимое потомство, романтическая история отца-основателя стала важной частью большого семейного предания, по мере сил украшаемого каждым новым поколением, но от этого ничуть не теряющего (скорей прибавляющего) в аутентичности.

Рука судьбы подкинула праотца Одинокой Мыши по материнской линии (тогда еще неразумного мышонка) в карету, повлекшую Алтер Ребе по злему митнагедскому навету в Петропавловку, где в сырой и темной камере делил с праведником кров и стол, ел благословенный им хлеб, возматал у его ног, питался медом его мудрости, праздновал с ним святую субботу, присутствовал даже и при беседе его с самим государем-императором, посетившим (инкогнито) сидельца в узах, за что прославился во многих мышиных поколениях, любил при случае (порой, особенно в старости, невпопад) процитировать ребе, почитал его своим учителем, с чем ребе вряд ли бы согласился.

И так вот неторопливо, любовно, со знанием дела, с улыбкой перебирает Улицкая узелки семейной памяти, покуда не доходит до Одинокой Мыши, родившейся на скрещении дорог двух некогда славных и столь непохожих друг на друга семейных кланов.

Улицкая поступает так во всех своих романах, однако же после процитированного пассажа, противу обыкновения, не отправляется с читателем на запланированную историческую экскурсию, проведенную мной по крайне урезанной, основанной на сомнительных, попросту баснословных фактах, программе, но кардинально расправляется со всеми шестью не заслуживающими внимания поколениями родственников, так что несчастная мышь и впрямь оказывается бесконечно одинока.

Ее муж еще в молодые годы утонул в большом кувшине молока, дети выросли и переехали в другой город, кроме одного сына, который и вовсе поселился на пароходе, а пароход ушел в кругосветное плавание, и с тех пор ни о пароходе, ни о мышонке ничего не слышали. Родители Мыши и ее деревенская родня погибли от несчастного случая: старая изба, в которой они жили, сгорела вместе с большой мышинной семьей.

О судьбе прочих пострадавших или не пострадавших от огня обитателей старой избы сказительница умалчивает и правильно делает: с мышинной точки зрения, их судьба не представляет ни малейшего интереса.

С жалкими остатками фамилии Мышь общается посредством поздравительных открыток общим числом 188. Писание становится едва ли не главным ее занятием, в каком-то смысле Одинокая Мышь – коллега Улицкой. Правда, у Улицкой тиражи больше. Деревенская родня Мыши неграмотна: не то что ответить, они и прочесть-то приветы своей одинокой родственницы не в состоянии, что касается уцелевшей городской части клана, им всё как-то недосуг ответить, а не исключено, что и прочесть.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Отсутствие обратной связи не смущает писательницу: во-первых, она исполняет моральный долг, во-вторых (а может, как раз и во-первых), ей просто нравится это занятие, в-третьих, оно делает мышиную жизнь осмысленной, есть еще и в-четвертых: интровертная героиня не больно-то и нуждается в обратной связи, в самом деле, что они могут ей ответить, чего бы она заведомо не знала, что их жизнь, так, возня мышиная, в сущности 188 родственников присутствуют в ее жизни чисто виртуально – как персонажи большого эпистолярного романа.

Итак, бесконечно одинока, исторически, вопреки моему анонсу, не укоренена, никакого культурного бэкграунда, всем и всему чужая. Вымарываем из генеалогического древа самовольно нарисованных мною праотцев, какое нахальство лезть в чужие книжки, нейметса, пиши свою, восстанавливаем статус кво, вымарываем, их не было, жаль, выглядели как живые, вымарываем и само древо, его тоже не было.

Чем занимается на этом свете Одинокая Мышь, помимо писания поздравительных открыток? Собирает по ночам со свалки нужные (кажущиеся нужными) и не очень вещи, авось когда пригодятся, порой странные и разнородные, всегда случайные, раскладывает согласно классификации (плод систематического мышиноума) в бесчисленных ящиках грандиозного шкафа.

Нельзя не сказать, что, кроме разнообразия размеров, они поражали и разнообразием формы. Ящички для перьев, карандашей, ложек, батареек для электрического фонарика были длинные, вроде пеналов, а для круглого голландского сыра, который выделывается в виде головок, или для шляп ящички были круглыми...

...в самой середине мыльница, за мыльницею шесть-семь узеньких перегородок для бритв; потом квадратные закоулки для песочницы и чернильницы с выдолбленной между ними лодочкой для перьев, сургучей и всего, что подлиннее; потом всякие перегородки с крышечками и без крышечек, для того, что покороче, наполненные билетами визитными, похоронными, театральными и другими, которые складывались на память...

...Были и полки для книг... Была у Мыши и коллекция лоскутков – шелковых, бархатных, хлопчатобумажных и синтетических. Каждый род – по своей коробочке. Была и вешалка с платьями. Новыми, поношенными, просто старыми и такими ветхими, что Одинокой Мыши иногда приходило в голову, не подарить ли их бедным людям. Зашитая в белую простыню, висела на вешалке половина енотовой шубы – Мышь надеялась найти к ней недостающую половину. Четвертый этаж сверху по правой стороне занимал отдел зубных щеток и шляп, пятый – лампы и свечи, шестой – футляры для хвоста. Футляров, как говорят, было всего пять, по одному на каждый сезон плюс один парадный – замшевый.

Короче говоря, ленты, кружева, ботинки, нижние юбки и что угодно для души – всё лежало на своих местах, в своих коробочках, под своим номером. Мышь больше всего на свете любила свой дом-шкаф и часами любовалась своими богатствами: переключивалась, перебирала; особенно приятно было заниматься этим в плохую погоду.

И свалка, и шкаф – места очевидным образом мистические. Ночь – время, сугубо располагающее к мистическим упражнениям. И свалка, и шкаф – целые миры. В недрах шкафа-дома Мышь и живет, жилое пространство тоже своего рода комбинация ящиков. Шкаф – главный герой повести, хотя и не вынесенный в название, где с педантичной аккуратностью перечислены все, кроме несправедливо обойденного таракана, персонажи, быть может, искусный прием скрыть подлинного протагониста – творение не столько целеполагающего разума, сколько природное, отнюдь не подчиненное тотальному замыслу, прозрачное для практического ума только отчасти, пространство искривлено, точные навигационные карты отсутствуют, чего где положено известно разве что для ближних полок, границы ойкумены в тумане, в дальних ящиках клубится хаос, шкаф живет своей жизнью, независимой от воли его (вроде бы) хозяйки, на самом же деле лишь важнейшей его внутренней составляющей. Мышиный шкаф, метафора постмодернизма, напоминает библиотеку Борхеса, много уступает ей количественно, но далеко превосходит в качественном разнообразии.

Далее повествуется о гибели шкафа. Лев Шестов: говорят, от грошовой свечи Москва

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru сгорела – от двух грошовых свечей, Распутина и Ленина, сгорела Россия. Вот и шкаф тоже сгорает от двух грошовых свечей, запаленных в его недрах двумя мелкими безмозглыми существами для ничтожной картежной надобности. Какой шкаф погубили! Прямая апелляция к булгаковской Аннушке, возможно, той самой (наверняка той самой!), что разлила масло, идиотическая небрежность ее, и нету дома, сгорел дом.

Большая часть мышино́й фамилии погибла во время пожара, и наша героиня живет в отблесках его пламени, теперь ей уготована та же злая участь. Пожар вспыхивает ночью, когда Мышь спит и поживает. А надо бы бодрствовать! Шкаф (неодушевленная проекция Мыши) со всеми его сокровищами погибает в огне. А надо бы собирать сокровища, огня не боящиеся! Само собой, я не имею в виду рукописи, что за глупость, один ляпнул, все наперебой повторяют, рукописи горят отменно. Шкаф погибает – Мышь чудесным образом спасается. Впрочем, спасение ее можно понимать и метафизически: как спасение в жизнь вечную. Огонь освобождает Мышь от порабащующей вещественности шкафа (скорее, шкафа). В таком случае и брак ее с тараканом по ту сторону заключенного в шкаф бытия – брак мистический, хотя и наполненный убедительными приметамы поскоторонней жизни, можно представить, что всё это происходит в раю Сведенборга, где (допускаю) смешанные браки бывают счастливыми.

В инобытии Одинокая Мышь перестает быть одинокой, становится самой обыкновенной мышью, теряет интерес к творчеству (писание поздравительных открыток) – тщетной компенсации неполноты бытия, жизнь ее, как и любая иная, наполненная семейным счастьем, тривиализуется, если только считать тривиальным брак мыши с тараканом, а почему бы в сущности нет, я сам знаю несколько: раз, два, три, четыре, нет, всё-таки три, таких брака.

Мила кобыла Мила

Сказать, что в сочинениях Улицкой недостает юмора, – значит сказать очевидную неправду. Этого добра хватает. И в «Шурике»[1] тоже хватает. В сущности одна из проекций книги – роман-анекдот, однако этот анекдот – самое безнадежное из ее сочинений. Самое последнее – самое безнадежное. У людей перед праздником уборка: отодвинула мебель, перетряхнула вещи и книги, прошлась влажной тряпкой и пылесосом – чтобы не завалюсь случайно ни одной засохшей крошки надежды, выискивала со свечой. Хорошая хозяйка. Дышать трудно.

Открываешь ее детские книжки и – как окно открыли. Правда, в «Одинокой Мыши» много ужасов, не без этого: один утопленник, один без вести пропавший, два пожара с обильными жертвами. И вообще, дело происходит преимущественно ночью и в замкнутом пространстве: если человек с воображением и клаустрофобией, не стоит и читать. Да только история эта милая и смешная, а ужасы карнавальные. И вектор, противоположный Шурикову: у Шурика – как бы ни было забавно, всё кончится плохо; у Мыши – как бы ни было (понарошку) ужасно, всё кончится лучше некуда и даже еще лучше. В мире Шурика свадьбы не играют, семьи разваливаются, безнадежные невесты становятся еще более безнадежными, а одинокие (все) еще более одинокими. А у Мыши, невесты безнадежной, – свадьба, а у Мыши, вчера такой одинокой, – жизнь семейная счастливая хоть куда! Сказка!

«Кобыла Мила» – еще один шаг в правильном направлении. От обложки до обложки – солнце и софиты арены. Темноты не существует вообще. Широкое пространство – никакого дискомфорта для страдающих клаустрофобией. Никаких ужасов – даже и карнавальных. Ни одного злодея, но это не делает повествование приторным и вялым. Динамика сюжета: сейчас хорошо, завтра еще лучше, послезавтра хорошо невообразимо, причем – благодать на благодать – перспективы неисчерпаемы. Всё это весело, легко, неожиданно, забавно. Весь текст соткан из улыбки.

«Кобыла Мила» – последняя увидевшая свет книжка Улицкой – написана лет пятнадцать назад, она излучает дух эпохи, ставшей уже историей. Прекрасное чувство весенних надежд и радостных ожиданий. Со старой развалюхой покончено, покончено, покончено! Переезжаем на новую, на новую, на новую квартиру! Две возможные проекции смысла: новая квартира – как новая Россия и – в Америку, Израиль, Европу, Австралию. Мир велик, двери распахнуты: можно ехать! Наконец-то можно! Новая квартира – новая жизнь. Полная эйфория!

Но не для всех. Бедная рефлектирующая кобыла Мила! Глаза у нее на мокром месте! Как это – вдруг ни с того ни с сего взять и сняться с насиженного места! Она привыкла к своей развалюхе, у нее стереотипы. Да разве у нас плохо?! Разве мы

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru плохо жили?! И что ждет нас на новом месте?! И от добра добра не ищут! И вообще: «Я уже старая кобыла, я хочу умереть в своем доме».

«Кобыла Мила» – хорошо звучит: «Кобыла Мила». Специфическое чувства юмора у автора: Людмила Улицкая называет бедолагу производным собственного имени. Сама-то, небось, не испытывала желания пролить слезу, покидая советское прошлое, распрощалась с ним, как рекомендовал Маркс, – весело.

Улицкая подбрасывает на весы боязливой Милы аргумент, перевешивающий все ее страхи: жеребенку надо дать образование, а в нашей-то глуши – какое уж образование! В детстве Мила сама хотела стать цирковой лошадей, не вышло, стала обозной, пусть сложится у ребенка, коли так, ехать, хочешь не хочешь, надо, материнский долг велит, да, она готова. И пусть ее несказанная жертва, ее душевные страдания и обильные слезы вызывают у домашних чувство вины, пусть! чем больше, тем лучше! она так много делает для них, они это заслужили!

Ах! Она не знает, как хорошо и неожиданно всё кончится, вернее, не кончится, а только начнется и будет счастливо продолжаться и продолжаться, какими смехотворными покажутся ей бывшие страхи! И даже – представьте себе, кто бы мог подумать! – какая она еще интересная, и не такая уж старая, а если отереть слезы, слегка припудриться, вплести в гриву игривую ленточку – очень даже еще ничего!

Сколько кобыл, не отважившихся на переезд, доживают жизнь, проливая слезы, в развалюхах, которые развалились с тех пор еще больше! В жизни скольких кобыл, отважившихся на переезд, сбылись худшие предчувствия трепетной, с катастрофическим сознанием, Милы: в новом доме им пришлось – это кобылам-то! – подниматься по лестнице на пятый этаж и, что еще хуже, спускаться, им пришлось (страшный сон Милы) пить воду из унитаза, наших тонких, интеллигентных кобыл превратили в ломовых лошадей, их впрягли в плуг и в эту, как ее, борону, на них стали пахать, причем не только весной, но также летом, осенью и зимой, жеребят не приняли в цирк, а инициатор отъезда старик Кулебякин не сдержал клятву (цена мужских клятв!) и уже через неделю отказал в обещанной каждодневной булочке с маком, а она (дура!) ему верила.

Вот какие несчастные бывают у кобыл судьбы!

Но только не в нашей книжке.

Я тут посчитал число восклицательных знаков в своем тексте: оно беспрецедентно, сплошные восклицательные знаки, я так не пишу. Но в этой прекрасной истории без восклицательных знаков никак не обойтись.

Да, вот еще что: совсем нет сексуальной озабоченности. Что для мира Улицкой не так уж и характерно. Секс обыкновенно располагает к серьезности – «Кобыла Мила» совершенно несерьезное сочинение, детское сочинение, сказка. Какая, однако, интересная эволюция: от «Кобылы Милы» к «Шурику».

И свойственной Улицкой родословной озабоченности, переносимой из одного романа в другой, – тоже нет. Старик Кулебякин собирается посадить под окном деревья, но эти деревья не родословные. Еврейская фамилия жеребенка Равкина – результат не исторической преемственности, но веселой случайности. Старик Кулебякин нашел его на весенней травке – так находят детей в капусте. Он взялся из ниоткуда. Возможно, его принес аист. Как вы полагаете, маленький жеребенок не слишком большая ноша для аиста?

Должно быть, это единственная книжка Улицкой, где история вообще не предполагается. И не надо! И без нее хорошо! Здесь нет вчера. И нет завтра. Я тут что-то говорил про завтра и послезавтра – забудьте, мало ли что сказал, не всякое лыко в строку, это решительно ничего не значит, ну разве что как метафора «потом» и «потом после потом».

Здесь длится один прекрасный бесконечный день.

И ночь никогда не наступит (Откр 22:5).

Евангелие от воробья
У сороконожки

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya.ludmila.ru
Народились крошки.

Что за восхищенье, радость без конца.

Все они ну прямо –

Вылитая мама:

То же выраженье милого лица.

Грэм Грин делил свои сочинения на Novels (серьезное) и Entertainments (развлекуху). Любимое мной «Путешествие с тетушкой» – авантюрный роман, не обремененный категорическим императивом, – развлекуха, хотя по форме такой же роман (novel), как «Суть дела». Почему вообще такой человек, как Грин, писал развлекуху? Потому, что есть вещи, которые могут быть выражены только таким: легкомысленным и игровым способом. И есть настоящая потребность выразить именно эти вещи и именно таким способом.

У Улицкой – то же.

«Даниэль Штайн» – Novel, «Воробей Антверпен» – определенно Entertainment.

Правда, в отличие от Грина, Улицкой не приходило в голову облекать

Entertainments в форму романов.

«Даниэль Штайн, переводчик» оказался сильным провокативным текстом. Его литературные достоинства-недостатки обсуждались слабо, внимание многих читателей сосредоточилось на взглядах главного героя, бросавших вызов нормативному церковному сознанию. Полемицировали с персонажем, как с живым человеком, обличали – хула, оборачивающаяся хвалой роману: как, однако, Даниэль Штайн убедителен. Вплоть до написания богословских трактатов. Явились знатоки, не затрудняющиеся отличить $\rho\mu\omicron\upsilon\sigma\tau\omicron\varsigma$ от $\delta\mu\omicron\upsilon\sigma\tau\omicron\varsigma$. Как ответ на беллетристику – беспрецедентно. Подобное всенародное обсуждение в прошлый раз, если мне не изменяет память, случилось, кажется, в IV веке, когда на константинопольском базаре торговли рыбой вели между собой оживленные тринитарные споры.

Между тем у Улицкой есть сочинение в своем роде куда более острое и провокативное – написано оно много раньше ее богословского романа[2] и совершенно обойдено читательским вниманием, во всяком случае, вниманием тех читателей, которых взволновали взгляды Даниэля Штайна. С одной стороны, сочинение заведомо несерьезное: сказка. И, что более важно, – в отличие от оказавшегося в фокусе читательского внимания романа, – не прямое высказывание. Сочинение это, как и все сказки Улицкой, называется намеренно громоздко: «История про воробья Антверпена, кота Михеева, столетника Васю и сороконожку Марью Семеновну с семьей».

На сказочной сцене, в своего рода вертепе, разыгрывается пасхальная драма и даже более широко – христианская богословская парадигма, преображенная природой райка.

Злонравные и, как положено, неблагодарные юные сороконожки – нахальные, буйные, прожорливые, пустоголовые, не различающие правых ног от левых, – приводят райское место с благорастворением воздухов и изобилием плодов земных в полное запустение. Местные архонты и апостолы при смерти: у воробья сломано крыло, кот обварился кипятком. И всё из-за юных олухов.

Марья Семенова отбыла (уползла) в мифологическую библиотеку за книгой, скорей уж Книгой, которая должна просветить и преобразить ее неразумных деток. Отбыла – и сгнула: вестей от нее нету. Буйные детки в ужасе и раскаянии: они одиноки, голодны, мамы нет, а кормильцы (воробей и кот) недееспособны и того и гляди оставят их навсегда.

И тут мудрец и целитель, столетник Вася – местное Древо Жизни – отдает во исцеление болящих и насыщение алчущих всю свою плоть (листья) и всю свою кровь (сок).

Больные исцелены.

Алчущие насыщены.

Ходившие (ползавшие) кривыми путями исправляют пути.

Отдавшего всё и положившего душу свою за други своя засохшего Васю погребают на клумбе – он восстает свежим ростком.

Дар нерукотворный (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Приползает чаемая Марья Семенна с чаемой Книгой, сколько трудов положила, но вот беда: воскресший младенцем Вася не может ее прочесть – в новом рождении он временно утратил культурные навыки прошлой жизни; прочие же насельники-простецы безграмотны. Но тут выясняется, что книгу вполне можно не читать – достаточно почитать, и тогда ее духовное действие скажется в полноте, силе и славе. Не читать даже лучше: если читать, можно понять неправильно. Впрочем, поскольку книгу никто не удосужился открыть, вообще неизвестно, написано ли там что-нибудь. Если нет, это какая-то буддийская книга. С другой стороны, понять неправильно можно не только текст, но и его отсутствие.

Всю жизнь мудрец Вася читает лежащую с ним рядом на подоконнике энциклопедию, большую часть жизни – статью «Электрическая лампочка». Это потому, что тогда в его вселенной не было еще воробья и kota – существ, обладающих чудесной способностью перевернуть страницу. Бессмысленность, абстрактность, отвлеченность, абсолютная оторванность от реальной жизни научного знания в лице электрической лампочки противопоставлена преображающей мир благодатной книге.

Сороконожские дети, чьи грехи отпущены, духовно и нравственно преображены. Потерянный рай обретен вновь. Мистерия завершается торжественной речью стремительно повзрослевшего Васи – он дает юным сороконожкам новые имена (старых, правда, и не было), имена, приличествующие новому статусу райских существ, у которых нравственный закон записан теперь не только в Книге, которую никто не читал, но и в их маленьких сороконожьих сердцах.

Благодатное действие Книги оплодотворяет и преображает научное знание, сообщает ему теплоту и смысл – теперь оно востребовано и востребовано, что важно, в своей полноте: Вася нарекает неотличимых друг от друга существ по энциклопедии: от Абеяра до Японии, включая, надо полагать, и любимую Васей Электрическую Лампочку. Теперь, у них есть имя, лицо, личность.

Все поют аллилуйя.

Примечания

1 Роман «Искренне ваш Шурик» был опубликован в 2004 году. Сказки – тоже. И этот отклик на «Кобылу Милу» написан в том же году. Текст застрял в том времени, когда последним романом Улицкой был «Шурик». Пусть он в том времени и остается.

2 «Даниэль Штайн, переводчик» как богословский роман – см. Горелик М. Я. Прощание с ортодоксией // Новый мир, 2007, № 5, с. 168–172.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://ulitskaya@ludmila.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!